



КНИГА



НА ВСЕ
ВРЕМЕНА

Ричард
ОЛДИНГТОН

Все люди — враги



Ричард ОЛДИНГТОН

Все люди – враги



ас
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Астрель
МОСКВА

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)
О-53

Richard Aldington
ALL MAN ARE ENEMIES

Перевод с английского *В.Л. Дуговской (ч. 1, 2),
Е.А. Лопыревой (ч. 3, 4)*

Печатается с разрешения The Estate of Richard Aldington
и литературных агентств Rosica Colin Limited и Andrew Nurnberg

Олдингтон, Р.

О-53 Все люди — враги : [роман] / Ричард Олдингтон;
пер. с англ. В.Л. Дуговской, Е.А. Лопыревой. — М.:
АСТ: Астрель, 2011. — 633, [7] с.

ISBN 978-5-17-070633-4 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-34620-0 (ООО «Издательство Астрель»)

Самый яркий и жестокий роман в литературной истории английского «потерянного поколения». История Антони — человека, для которого жизнь безжалостно разбита на половины — «до войны» и «после». «До» были чувства, надежды и иллюзии, вера и духовные искания — словом, все, что характерно для интеллигентного юноши из привилегированного класса. «После»... не осталось ничего, кроме горечи, разочарования и недоверия людям. Любовь? Болезненная плотская страсть. Дружба? Непонимание и взаимное одиночество. Основной инстинкт самосохранения по-прежнему заставляет Антони искать в жизни какого-то смысла, какого-то наполнения...

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)

© Richard Aldington, 1933, 1960, 1988
© Перевод. Лопырева Е.А., наследники, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 2011

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1900–1914

Когда теперь бессмертные боги собираются на совет, они говорят о многом и больше всего скорбят о спустившихся на них сумерках, о разрушенных храмах, о забытых жертвоприношениях и о запустении мира, который они превратили бы в чудесный сад, где боги гуляли бы с людьми. Ибо хотя боги и бессмертны, они не всемогущи; все их могущество заключено в человеке и осуществляется через человека. Говоря откровенно, это лишь вымысел поэтов, что они обсуждают судьбы отдельных людей и спешат по воздуху, чтобы помочь или навредить человеку, избранному ими из любви или ненависти.

Боги собрались в великом мегароне* олимпийского Зевса¹, светловолосые прислужники-отроки поставили перед ними нектар и амброзию, неизменную пищу бессмертных. Когда они насытились и звуки лиры развеселили их, Зевс-громовержец стал держать речь:

— Да падет на людей позор и гибель! Ибо когда мы им дали лучшее, что есть на свете, и шар вселенной для жилья, они последовали за дурными видениями и призраками ночи, и нет человека, который не ненавидел бы собратьев либо открыто, либо в тайниках своей души. Но говорите, о боги, и откройте мне мысль вашу, ибо сейчас на земле, на

¹ Все слова, помеченные звездочкой, объяснены в конце книги в алфавитном порядке.

сладостном ложе любви, зарождается человек, для которого уготована странная судьба. И суждено ему будет вкусить много сладости и много горечи, знать много людей и много городов, всегда бороться за жизнь, подобную нашей, и терпеть поражение от людского зла. Скажите же мне, одарим ли мы этого человека или же дадим ему пасть еще одним незаметным листом в быстро проносящихся поколениях людей?

И ответила светлоокая Афина, и груди ее, не кормившие младенца, были тверды как кованая кольчуга:

— Отец Зевс и вы, неумирающие боги, прежде всего пусть судьба этого человека будет поручена мне, ибо из всех богов он никого не будет любить более меня. И я искореню всякое лукавство из его души и сделаю ясным его внешнее и внутреннее зрение, чтобы он любил правду и ненавидел ложь. И он получит ту небольшую толику знания, которая приличествует ему, ибо разум человека — лишь хрупкая скорлупа, и ни в коем случае не должен он в нее собирать великое море. И больше всего я наполню его сердце ненасытной жаждой добра и надеждой и наделю его непреклонным мужеством и верой в своих собратьев, как бы порочны они ни были.

Она замолкла, и среди бессмертных богов поднялся шум, ибо каждый хотел быть услышанным. Но золотая Афродита упала к ногам Зевса; ее прекрасные нагие груди коснулись его колен, божественные синие глаза, перед которыми не может устоять ни один человек, взглянули в его очи, и она стала ласкать его бороду своей тонкой рукой. Зевс улыбнулся, мягко положил руку на ее нежную головку, дотронулся до ее обнаженного плеча и сказал:

— Дитя мое, мало того, что при твоём появлении грозный восторг любви просыпается в людях и во всех живых существах земли, воды и воздуха и они загораются ненасытным желанием, изливают богатое семя и наполняют

прекрасное чрево? Жаждешь ли ты ныне соблазнить даже нетленных богов и меня, своего отца? Но говори, а вы, бессмертные боги, храните молчание.

И синеглазая Афродита, золотистая, вечная, засмеялась из-под волнистых волос, как весной счастливые поля словно улыбаются из-под множества цветов — анемонов, гиацинтов и многолепестковых дойников. И сказала:

— Отец Зевс и вы все, неумирающие боги, неужели вы так плохо знаете людей, что думаете, будто человеческое дитя может действительно жить без меня? И потому ли, что я отдалась от многих ненавидящих меня, вы полагаете, что у меня нет даров для этого человека? Пусть позор падет на меня, если я не наделю его многими скрытыми прелестями, дабы он был любим женщинами и ему знакомы были все виды любви, среди которых нет порочных. И сверх всего я наделю его божественным чувством осязания, благодаря которому он познает бессмертных богов.

Тотчас же в гневе заговорила девственная Артемида:

— Прочь отсюда, собакоглазая, бесстыжая! Зло ты всегда сеяла среди мужчин, а для женщин ты тяжелое проклятие. Ибо когда, прибегнув к обману, ты наполнила ее чрево и она в муках рождает, тогда женщина призывает меня на помощь в своих тяжких страданиях, а тем временем ты возлежишь с каким-нибудь любовником на своем цветочном острове, позабыв о ней. Знай же, этого человека я не наделю дарами, а буду всегда враждебна ему из-за тебя. Я возбужу ненависть против него, страдания принесу ему и сладостную надежду на потомство отниму у него, пусть он страшится вражды моего народа.

Так сказав, она со злобой взглянула на золотую Афродиту, но та с лукавым смехом удалилась от них, скинув свои одежды, чтобы все могли узреть ее нагое тело, великолепное, бессмертное — наслаждение для богов и людей. И все

боги жадно впились в нее взором, а богини в злобе отвернулись, все, кроме лишь Афины, от которой ничто не скрыто. Тут поднялся Арес, спешивший последовать за бессмертной, чтобы возлечь на ее груди. Но прежде чем удалиться, он произнес:

— Дай мне сказать слово, о Зевс. Я одарю этого человека силой и в битве буду стоять подле него.

И Арес повернулся и последовал за вечной Афродитой, и они возлегли на золотое ложе работы Гефеста, будучи совершенны во всех деяниях любви. И Афродита склонила кипарисы и соединила их вершинами, чтобы скрыться от взоров богов и людей, а на полях зацвело множество цветов, и воздух наполнился благоуханием от их дыхания.

Когда они ушли, остальные боги и герои говорили в собрании, и каждый приносил свой дар, некоторые искренно, но большинство с насмешкой и ехидством, ибо, как и детям человеческим, богам тоже ведомы гордость и злоба, и они тяжко гнетут праведника, борющегося со злом. Но наконец заговорили Изида*, богиня варваров, старшая среди богов, из милости давших ей приют у своего очага, и она так сказала:

— О владыки, не пристало мне, изгнаннице и просительнице среди богов, наделять дарами хотя бы даже одного из той слабой породы людей, которая неисчислима, как песок, и быстротечна, как свет на мерцающей ряби вод. Но все же богиня я — и вот мой дар! Подобно тому, как я обречена вечно скитаться в поисках утраченных частиц тела Озириса, моего повелителя, так я обрекаю этого человека вечно скитаться в поисках утраченных частиц красоты, которая исчезла, покоя, которого быть не может, экстаза, который возможен лишь в мечтах, и совершенства, которого не существует. И пусть свидетелями этих слов моих будет солнце над моей головой, луна под моими ногами и неисчислимые толпы звезд.

Услышав это, боги опечалились и сидели в молчании, думая обо всем том, что они потеряли, и о мире, который преисполнился для них горечи, подобно тому как сладкие воды источника Аретузы стали горькими от соленого моря...

II

Дом, в котором родился Антони Кларендон, был, должно быть, построен в конце семнадцатого века. Умелое сочетание кирпича и камня, изысканность пропорций, изящное оформление окон с довольно смелым использованием выступающего неровного фронтона, пухлые амуры, поддерживающие неразборчивый герб над главным входом, цветистые перила полукруглой лестницы — все это навевало воспоминания о большой башне в Ниме, о классиках в отражении версальского остроумия, о предрассудках англиканской церкви, о погребе с хорошим старым вином, вопреки договору с Метюеном*, и о скромной зажиточности. Быть может, это был просто вдовый дом, случайно порученный хорошему архитектору; так же случайно его дали бы и плохому, если бы тот оказался дешевле или его было бы легче найти. Или, может быть, это был дом какого-нибудь верноподданного, рассердившегося на успехи интриганов-виггов и удалившегося от двора в надежде предаться тому утонченному эпикурейству, которое так горячо проповедовали достопочтенный мистер Коули* и знаменитый мосье Гассенди*.

В конце девятнадцатого столетия никто, по-видимому, особенно не интересовался происхождением этого дома. То был просто приятный старый загородный коттедж, не слишком большой, с относительно современными удобствами, в здоровой местности и обращенный фасадом к югу.

Из-за этого Кларендоны и сняли его в долгосрочную аренду, хотя, быть может, решающим фактором явилась небольшая куполообразная обсерватория, построенная над одним из чердаков, — отец Антони, помимо других занятий, по-любительски увлекался еще и астрономией.

Если бы вы спустились от Вайнхауза и, перейдя через долину, взобрались на гребень длинной лежащей напротив гряды холмов, то дом напомнил бы вам макет архитектора, установленный на площадке в выемке противоположного склона, словно выкопанной чьим-то колоссальным пальцем. С этого расстояния было видно, как удачно дом расположен за небольшим отрогом горы, скрывавшим его от деревни (в действительности она находилась поблизости), и двумя стенами огромных старых вязов и переплетавшихся каштанов, защищавших дом от сильных восточных и западных ветров. Очевидно, зодчий с неохотой отказался от большой аллеи во французском стиле — дом стоял на холме, и участок был слишком мал — и примирился с двумя стройными рядами лиственных гренадеров, предназначенных для того, чтобы отпугивать всех посторонних и придавать дому тот величественный облик, который могут дать только старые деревья. С террасы, с ее густо заросшей мхом и порядком разрушенной каменной балюстрадой, взгляд падал немного наискось вниз на долину и на оголенный овечий загон за нею, а прямо перед домом, сквозь просвет между дюнами, в ясные дни виднелась сверкавшая полоска моря.

Даже в ветреные дни, столь частые в Англии, можно было — если только не бушевал ураган — сидеть под деревьями возле чащи рододендронов, почти вполне защищавшей от бури, и слушать громкий шелест и стон гнувшихся от внезапных порывов ветра и затем опять выпрямлявшихся высоких стволов. Забавно было наблюдать, как грачи, вившие гнезда на ветвях зеленевших вязов, злились на ве-

тер, сердито каркая на этого неразумного врага, создававшего постоянные землетрясения у основания их жилищ и в мгновение ока уносившего ценные строительные материалы прежде, чем успеешь произнести «кра». В тихие дни, в особенности когда замолкали певчие птицы, терраса казалась погруженной в необъятную тишину среди неподвижных деревьев. Если вы сидели совсем тихо и достаточно долго, то вам начинало казаться, что времени больше нет, а есть только ощущение нескончаемого бытия; не пространство, а лишь воздушный узор красок. Казалось, достаточно поднять палец, чтобы дотронуться до высокой вершины деревьев, и достаточно вытянуть руку, чтобы погладить шелковистую траву далекого холма. Но двигаться нельзя было: движение нарушало очарование странных явлений. Бабочка прилетала с лужайки — легкое порхание, остановка, опускание, снова взлет красной пятнистой *Vanessidae* или трепетный полет белых мотыльков. Затем доносились резкий, пугающий крик голубой сойки из рощи, или же монотонное бряцание овечьих колокольчиков, или топ-топ-топ, топ-топ-топ какой-то лошади, бегущей по твердой белой дороге. И снова все погружалось в безвременный, беспространственный мир с его ароматом скошенной травы и далеких плодов.

Подобно тому как в каждом человеке две переплетающихся жизни, одна — явного, социального человека, другая — таинственной, самобытной индивидуальности, так есть и два воспитания, одно — формального обучения, другое — подсознательного влияния; и в обоих случаях последнее значительно важнее первого. Лишь гораздо позднее Антони осознал ту роль, которую сыграли в воспитании его чувств Вайнхауз и местность, где этот дом стоял. Множество раз он, поглощенный тем или иным интересом детства, входил в дом и выходил из него, сотни раз пересе-

кая долину и холмы к северу и югу, не воспринимая их в своем сознании. И все же каждый раз что-нибудь оставляло на мальчишке свой отпечаток.

Он понял это двадцать пять лет спустя, когда во время своих странствований вернулся в долину и взглянул на то, что некогда являлось его домашним очагом. Он вернулся не в слезливом настроении, чтобы помечтать о детстве, еще менее из сентиментального духа патриотизма, рассматривающего пейзаж как личное владение, продолжение своего «я», которое надо держать в таком же нетронутым виде, как и само это ценное «я». Он вернулся просто, чтобы понять, почему дом этот так много значил для него, почему он его вспоминал с такой удивительной ясностью в суе и гаме парижского бара, в темном отупении окопов, среди вдохновляющей пустоты гор. Новая железнодорожная ветка простирала вниз по долине свои сливавшиеся вдаль рельсы; белая лента дороги распухла в темного гудронного удава, проглотившего когда-то цветущие изгороди; бензиновые колонки, вытеснив великолепные дикие каштаны, горделиво построились в шеренгу оранжевых и красных человекообразных автоматов, готовых в любую минуту извергнуть из себя бензин; деревня подкралась из-за угла, разбросав ряды дач по овечьему загону, где уже не было больше никаких овец. Сам дом разукрасился карнизами безвкусного кирпича над полукруглыми окнами; более половины вязов было срублено, уступив место твердой теннисной площадке, и два или три полусгнивших каштана меланхолично поникли над бетонным гаражом.

Антони поспешил уйти, испытывая нечто вроде возмущения и отчаяния. Но, приближаясь к новой станции, кирпичное здание которой тяжело навалилось там, где некогда стояла ивовая роща, чей мягкий, круглый цвет навевал на Тони мечту о золотистом пушке на девичьих лицах, он отчетливо понял, почему старый дом и его окружение так много значили для него. Благодаря редчайшей удаче, выпав-

дающей на долю едва ли одной из десяти тысяч жизней, он провел почти двадцать лет в такой полной гармонии, что вдыхал ее так же естественно и бессознательно, как чистый воздух. Разрушение гармонии еще ярче восстанавливало ее в памяти. Самый дом был гармонией, творением людей с ясным восприятием красоты, которые сделали его символом самих себя. Дом, в свою очередь, гармонировал с пейзажем, так что одно дополняло другое. Гармония действительно существовала, ибо Антони жил ею, хотя бы в идиллических мечтах детства и отрочества; ей он обязан был своими самыми изысканными и незабываемыми переживаниями. Теперь она исчезла, как радужное сияние с весеннего облака, и никогда уж больше не вернется. Как создать хотя бы относительную гармонию из современных сил и диссонансов?

Новая станция была убогой постройкой из кирпича и покрытых лаком досок, напоминавшей неудачный швейцарский домик, который всегда только жалок. На станции никого не было, кроме возившегося с какими-то лампами носильщика, в одном жилете и без пиджака. Антони сразу узнал в нем одного из деревенских мальчишек, ставшего теперь уже взрослым мужчиной, но тот, к удовольствию Антони, очевидно, не помнил его — обмен воспоминаниями был бы неприятен. После обыденного вопроса о расписании поездов Антони спросил:

— Не знаете ли вы случайно, кто живет сейчас в Вайнхаузе?

— Какие-то лондонцы, — ответил носильщик. — Они не часто приезжают. Вроде того, что прикатят на своих машинах на воскресный день. В деревне поговаривают, что у них там бывают необыкновенные кутежи, но я никогда не видел, чтобы они что-нибудь делали, только в теннис играют или на граммофоне и радио. Меня это не касается — мне-то что?

— Они как будто многое тут переделали?

— Еще бы, потратили кучу денег, но это старый дом, надо было его как следует подправить. Одно время они постоянно тут торчали, а теперь почти никогда не приезжают.

— Что ж, может быть, они скоро совсем выедут?

— А мне какое дело? Лучше всего, если бы они все отсюда убрались.

Антони впал в уныние от этого бесцельного разговора. Он не отдавал себе вполне отчета, почему он его упорно продолжает, разве только чтобы еще лучше убедиться в том, что поэтической действительности его детства более не существует. Над головой бесконечно жужжал какой-то самолет. Да, носильщик побывал на войне, в пехоте, под Лаосом его наградили шрапнелью. Нет, он не доволен своей работой. Все работай, а платить не платят. Сыт этим по горло, вот что! Он полагает, в один прекрасный день большие настанут перемены. Рабочие долго терпеть не будут. Вот, например, господские дома стоят шесть шиллингов шесть пенсов в неделю, без электричества, а прачечные — сплошной позор! Торговля падает, жалованье падает, безработица растет. Нет, он не знает, что нужно делать. Да, он всегда голосует за лейбористов, но что толку? Они точно такими же становятся, как и другие тузы, стоит им только попасть в парламент. Он лично полагает, что в ближайшем будущем большие будут перемены... Обратная сторона медали.

III

Важной личностью в раннем детстве Антони была горничная Анни. Кухарки, судомойки, кухонные мальчишки могли меняться и в действительности постоянно менялись, но Анни оставалась неизменной. Сперва ее звали Нанни,

потому что она была няней Антони: она купала его, одевала и водила гулять. У нее были две песни, в которые она верила, как в колдовство. Одна называлась «Марш муллиганской гвардии» и, по мнению Анни, была веселой и бодрой песней, которую надо было петь, чтобы отвлечь Тони от неприятностей купания, одевания или трагической необходимости идти спать. Другая была чрезвычайно мрачным гимном, начинавшимся словами «Пройдет еще немного лет». Эту песню Анни считала весьма сильно действующей колыбельной, и на самом деле она навевала такое смертельное уныние, что сон становился непреодолимым. Под нежное музыкальное укачивание Анни Антони много раз казалось, что он уже умер. Позднее, когда Антони пошел в школу и удостоился, вместо горячих ванн с Нанни в роли Эвриклеи* — утренних холодных омовений без свидетелей и дважды в неделю вечернего основательного мытья еще под присмотром, — Нанни плакала и утешилась только производством в чин привилегированной горничной, прибавкой жалованья и наименованием Анни. Она продолжала свои осмотры во время горячих ванн еще долго после того, как они бывали действительно необходимы, под пустым предлогом плохо вымытых ушей и шеи, причем никогда не упускала случая заметить, словно ее поразила необычайно оригинальная мысль:

— Вот уж правда, мастер Тони! Как вы растете! Вы почти такой же стройный, как наш Билл, а он ведь у нас особенный!

Болезненно сентиментальная черта в характере Анни подчас проявлялась в кратких, но бурных взрывах религиозного усердия, возможно, происходивших от несправедливых половых инстинктов, в которых она никогда бы не призналась. У Анни был «кавалер», сын мясника в ее родной деревне и сам тоже мясник. Но его держали на таком почтительном расстоянии, которое сделало бы честь самой

целомудренной и надменной барышне из Прованса: ему разрешалось писать лишь раз в две недели без гарантии ответа, а видеть Анни лишь два раза в год в Вайнхаузе и в тех редких случаях, когда она ездила к себе домой «в нашу деревню». Однако Анни считала себя бесповоротно обязанной рано или поздно выйти замуж за своего «кавалера» и энергично отвергала всякие авансы молодых зеленщиков и разносчиков молока, приходивших на кухню; в отместку те кричали «мясник!», удаляясь вниз по боковой дорожке, а Анни краснела и ругала их нахалами.

Поэтому неудивительно, что Анни приходилось время от времени прибегать к помощи религии. У нее были Библия и молитвенник, переплетенный в какой-то пестрый материал, который походил на оникс и был, по-видимому, просто целлюлоидом. Молитвенник был подарком мясника; на нем была надпись, сделанная дрожащим ученическим почерком: «Дорогой Анни от любящего ее Чарли». Хотя формально Анни принадлежала к англиканской церкви, но в период душевных смятений она выражала несколько еретические взгляды на предопределение — быть может, смутная семейная традиция времен пуританства. Красные глаза и внятные слова молитв, доносившиеся из комнаты Анни, служили внешними признаками этих мучительных религиозных бурь. В то же время она старалась умиловить гнев ревнивого Бога, играя в странную игру. У нее были карты для каждого месяца года, с текстом из Библии на каждый день, но без указания, откуда этот текст взят. По-видимому, Господу доставляло удовольствие, чтобы Анни ежедневно перелистывала с быстротой марафонского бега Священное Писание в поисках книги, главы и строки для каждой цитаты. В пользу ее вообще здравого ума несомненно говорило то, что к концу года она обычно отставала приблизительно на десять месяцев, да и то жульничала, прибегая к помощи Антони и кухарки.

Антони эти кризисы не нравились. Он не выносил вида Анни, молчаливо бродившей в слезах и отчаянно рывшейся в Библии, вместо того чтобы рассказывать разные смешные истории о «нашей деревне» и «нашем Билле». В попытке развлечь ее в один из таких моментов он сказал:

— А меня в наказание оставили сегодня в школе!

— Да что вы! — укоризненно воскликнула Анни, не поднимая все же слезливых глаз с книги Левит. — Скверный вы мальчик, что же вы такое сделали?

— Да ничего. На математике сегодня утром этот дурак Картер сказал...

Жалобный стон Анни прервал его:

— О мастер Тони, мастер Тони, не употребляйте этого ужасного слова! Разве вы не знаете, что тому, кто скажет про брата своего «ты дурак», грозит Страшный суд? Готовься встретить Бога своего, готовься к немедленной смерти!

— Что такое смерть? — спросил Тони пытливо. Анни набожно застонала.

— Вы не знаете, что такое смерть? Вот что значит не ходить в воскресную школу! Когда человек умирает, он делается весь белый и неподвижный, и приходится его закапывать, и там он лежит веки вечные, пока ангел не протрубит в трубу, возвещая о Страшном суде, когда всех грешников низвергнут в ад.

Анни со сладострастием выговаривала слова «смерть» и «ад». Антони побледнел, в содрогании ужаса чувствуя, как вся сила покинула его руки и ноги. Ему впервые говорили о смерти, впервые он смутно понял, что чудесные дни, воспринимавшиеся им так беззаботно и счастливо, окончатся: «человек делается весь белый и неподвижный, и приходится его закапывать». Это казалось невероятным и чудовищным, но Антони верил Анни, потому что она не сказала бы ему неправды. И он не чувствовал озлобления,

хотя она грубо разрушила его прекрасную детскую вечность. Заразившись ее мрачностью, он спросил:

— А что такое ад?

— Это куда человек попадает после смерти, если он был дурным, и он горит там в огне веки вечные, без капли воды, чтобы охладить свой язык, так это и написано.

— Но как же могут бросить человека в огонь, если его закопали в землю, и как он может что-нибудь чувствовать, если он весь белый и неподвижный?

— О мастер Тони, перестаньте кощунствовать, перестаньте! Это — воскресение из мертвых, когда все мертвецы попадут в ад, кроме тех, на ком лежит печать искупления.

— А на маме лежит печать искупления?

Разговор принимал неприятный оборот, но Анни не сдавала своей теологической позиции.

— Только если она будет в числе праведников, а то нет.

— М а м а попадет в ад?! Анни! Ты дура, ты р а к á*.

Антони тоже читал Библию, с неизбежным результатом, когда дело доходило до теологических споров!

К счастью, эти религиозные приступы случались довольно редко и никогда долго не продолжались. В остальное время Анни отличалась бесконечным добродушием, со свойственной ей какой-то физической интимностью, точно молодая кобыла, заботящаяся о чужом жеребенке. После завтрака, когда Анни одевалась к обеду, Тони разрешалось беседовать с ней, сидя на деревянном сундучке с медными гвоздями и надписью «А. Джиллоу», выведенной на крышке черными буквами. Тони смутно подумывал, что бы такое значило «А. Джиллоу», — ему были чужды дела иного мира, и он даже не знал, что его Анни была «мисс Джиллоу» для почтальона и для ловкого молодого бакалейщика, хваставшегося тем, что он страстно любит пикули и прошел ученичество в известной торговле колониальными

товарами. Пока Анни меняла ситцевое платье на черное с белым обшитым кружевами передником, выстиранным, накрахмаленным и выглаженным ею самою, Антони знакомился с «нашим Биллом» и «нашей деревней».

С «нашим Биллом» всегда случались какие-нибудь неприятности, которые «отец» немедленно разрешал, угощая Билла ремнем. Если, бывало, Анни немного пригорюнится над умывальником и напевает «Пройдет еще немного лет», Тони тотчас же догадывался, что «наш Билл» отведал ремня.

— Что случилось, Анни?

— Мать написала мне сегодня письмо, что отец дал нашему Биллу ремня.

— За что?

Обнаженная до талии Анни налила в большой таз холодной воды, чтобы «хорошенько пополоскаться».

— Видите ли, — начала она, намыливая салфетку желтым мылом, — отец пошел в «Красный лев» за пивом, а вернувшись, подошел к буфету, чтобы взять немного хлеба и сыра, которые он туда положил, а они исчезли, потому что когда Билл пришел с работы, он съел их после чая.

— А почему Билл их съел, Анни?

— Дурачок! Потому что был голоден.

— Почему же твой отец не взял еще хлеба и сыра?

— Больше не было.

— Но ведь их сколько угодно в лавках!

Анни потрясла головой, растирая салфеткой белую, мускулистую спину.

— Не думайте, что все вырастают в богатых домах, как вы, мастер Тони, — объяснила она. — Отец зарабатывает всего лишь пятнадцать шиллингов в неделю, а наш Билл получает пять шиллингов и обед, который трудно даже назвать обедом. Два с половиной шиллинга идут на оплату квартиры, шесть пенсов на клуб, и еще надо купить табак

и пива для отца. И вот у матери остаются на все расходы только пятнадцать шиллингов в неделю. Наш Билл отдает матери все свои деньги, но, видите ли, он так много ест, точно в доме целый полк! Отец дал ему трепку, когда поймал его с папиросой, и сказал, чтобы он не смел курить, пока не станет взрослым мужчиной и не будет зарабатывать как взрослый мужчина.

Анни закончила свое объяснение тоном добродетельного одобрения и начала тереть себе шею и груди с таким усердием, словно то была просто мебель. Тони задумался над этими откровениями.

— А мой отец богатый? — спросил он.

— Конечно! — воскликнула Анни. — Если бы он не был богат, разве могли бы вы все жить в таком большом доме и дважды в день кушать мясо и держать лошадей в конюшне, а вы — ходить в школу для благородных мальчиков?

— А почему твой отец не богатый?

— Потому что Богу было угодно сделать его таким.

Тони снова задумался, пока Анни вытирала свое мокрое тело мохнатым полотенцем, с легким присвистом, как конюх, когда он чистит лошадь.

— Вот что, — сказал он наконец. — Я не понимаю, почему Богу угодно делать людей бедными, и считаю, что жестоко со стороны твоего отца сечь Билла за то, что он съел кусочек хлеба и сыра, когда был голоден, вот и все!

— О мастер Тони!

Выразив полным ужаса тоном свое неодобрение подобному анархизму, Анни больше ничего не сказала, не зная, что ей сказать, и, возможно, полагая, что Бог все же должен бы отвечать за некоторые странные явления. Она подошла к простому деревянному туалетному столику в другом конце комнаты и стала причесываться. Лучи вечернего солнца, пробиваясь сквозь плющ, рисовали пестрые узоры играющих золотых и синих бликов на ее белой коже; под-

нятые руки, с темным крылышком волос под мышками, крепко натягивали груди, и маленькие красновато-коричневые лепестки сосков с выступающим посередине бутонном — словно распутившийся красновато-коричневый мак, — были почти оранжевыми в ярком сиянии. Тони смотрел на Анни, как и десятки раз до этого, отсутствующим взглядом, — глядя, но не видя Анни, совершенно не сознавая, что перед ним — полуобнаженная женщина. Им никогда не овладевало желание коснуться ее (это бы ее глубоко возмутило) — ведь, в конце концов, она была «только Анни», да и вообще такие вещи его еще не интересовали. Однако много лет спустя он не помнил этих бесед, а только стройную сильную спину Анни и ее такие с виду горячие груди, освещенные солнцем. Поглощенная процессом одевания и своими мыслями о Билле, Анни, совершенно не сознавая этого, показала Тони, как прекрасно и обольстительно тело здоровой женщины.

Думая совсем о другом, Тони спросил:

— Почему тебе тут меньше нравится, чем у вас в деревне, Анни?

— О мастер Тони, как можете вы так говорить! Мне здесь нравится. Но нигде ничто так не растет, как у нас в деревне. Вы бы видели наши вишневые деревья! У нас замечательные черные вишни и белые черешни, которые отец посадил еще до женитьбы. А малина, земляника и сливы в марлэндской усадьбе — вы никогда ничего подобного не пробовали! Старший садовник дал нам немного, когда был огромный урожай, и мать сварила варенье из ягод, которых мы не могли съесть. Как жаль, что сахар так дорог!

— Почему?

— Мать варит чудесное варенье, и если бы сахар не был так дорог, у нас были бы круглый год варенье из слив и желе из айвы. Жаль, что ягоды гниют, но никто их не покупает, так их много у нас в деревне.

— Я не люблю сливового варенья, в нем слишком много косточек, — сказал Тони.

— Мать вынимает косточки из ягод, — возразила Анни. — И еще там крыжовник и смородина — вы же любите варенье из черной смородины, правда?

— Да, но больше люблю пудинг из черной смородины.

— Вы бы поглядели, как у нас в деревне все фруктовые деревья цветут весной, и колокольчики и ромашки в марлэндских лесах, и какой там сенокос и жатва, а лучшей свиной грудинки нет на свете, так отец говорит!

— Ты возьмешь меня с собой к вам в деревню, когда будешь выходить замуж, Анни?

— Ну вот еще! — воскликнула Анни, густо покраснев и яростно втыкая шпильки в волосы. — Кто это вбивает такие мысли в голову ребенка?

Свадьба Анни не заставила себя долго ждать. Либо Чарли стал более настойчивым (что казалось неправдоподобным, если принять во внимание его покорность перед Анни), либо религия перестала удовлетворять, либо же просто подействовала весна и мысли о «нашей деревне», — во всяком случае внезапно Анни решила выйти замуж и назначила день свадьбы на первые числа июня, так как майские браки несчастливы. После многочисленных просьб родители Тони согласились отпустить его на свадьбу, при условии, что он будет себя примерно вести и что «отец» на следующее утро доставит мальчика домой.

Для Тони свадьба Анни началась упоительно, а кончилась довольно грустно — обычное явление для всех таких обрядов. У него было самое смутное представление о том, что значит «пожениться», и, безусловно, он не сознавал, что Анни расстанется с ним навсегда. Для него это была просто чудесная экскурсия с Анни в страну мечты, в «нашу деревню», в волшебное царство, где всегда цветы, фрукты, варенье и лучшая в мире свиная грудинка.

Накануне свадьбы «отец», «наш Билл» и Чарли прибыли в Вайнхауз, чтобы отвезти Анни домой в каком-то странном, допотопном экипаже, который, должно быть, когда-то служил брумом* холостяку, потому что снаружи было только сиденье для возницы, одно сиденье внутри и низенькие перильца вокруг того, что некогда было блестящим верхом. В коляску был впряжен коренастый, низкорослый жеребец, принадлежавший мяснику, отцу Чарли, и имевший привычку автоматически останавливаться у каждой пивной. В виде особого почета по случаю отъезда Анни эта странная реликвия викторианского великолепия подкатила к парадной двери, где жеребец отгонял хвостом мух и по временам оборачивался назад, как будто неприятно пораженный видом странного предмета, в который он был запряжен.

Тони полагал, что «наш Билл» окажется хрупким и замученным юношей, может быть — даже немного бледным и окровавленным от последней встречи с ремнем. Ничего подобного! «Наш Билл» был крепким крестьянским парнем, по меньшей мере на целую голову выше «отца», с широким веснушчатым лицом, добротным английским вздернутым носом и пыльного цвета волосами, которые норовили стоять торчком, хотя и были смочены водой и крепко приглажены. На нем был костюм из рубчатого бумажного вельвета, и он весело скалил зубы. В качестве образца домашнего людоеда «отец» обманул все ожидания. Могли быть тираном, если судить по Анниным рассказам, этот маленький молчаливый кривоногий человек, правда — довольно коренастый, но несколько согбенный сорокалетней работой на сырых английских полях? Что же касается Чарли, то Тони его почти что не заметил (Анни никогда не рассказывала о нем ничего интересного), увидев только, что у него красноватое лицо, широкая серебряная часовая цепочка и что он изрядно потеет.

* * *

После многих шепотом данных наставлений насчет того, как надо вести себя, Анни торжественно провела гостей в гостиную, где их ждали отец и мать Тони и сам Тони со шляпой в руке, в мучительном нетерпении поскорее отправиться в путь. Гости были чрезвычайно смущены и, казалось, не знали, что им делать с пирогом и портвейном, которыми их угощали, пока «отец» не подал примера: он стал откусывать крохотные кусочки пирога и пить маленькими глотками вино, так жеманно-изысканно, словно был пресыщен подобными деликатесами и глотал их только из одной вежливости. Атмосфера была насыщена смущением; наконец, мистер Кларендон, сам немного смущенный, произнес короткую речь с пожеланиями всякого счастья и преподнес Чарли несколько бутылок шампанского, чтобы выпить за здоровье новобрачной. Затем миссис Кларендон приколола к платью Анни модные в то время золотые часы с цветистой чеканкой, несмотря на жеманные возражения Анни: «о сударыня, я не могу, правда» и «право же, не надо, сударыня». Но миссис Кларендон ласково прервала их, поцеловав Анни и выразив надежду, что ее брак окажется счастливым. В ответ на это Анни заплакала и приняла такой вид, будто она ждет как раз обратного. И смущение все росло, пока мистер Кларендон не положил ему конец, взглянув на часы и заметив, что им следовало бы, пожалуй, отправляться в путь, что они и сделали с большой поспешностью, рассыпаясь в неожиданно сердечных выражениях благодарности.

Тони пришлось сидеть внутри брума вместе с Анни и Чарли, а «наш Билл» наслаждался на верхнем сиденье, позади «отца» и впереди Анниного сундучка и Тониного чемодана. Стиснутому между Анни и Чарли — они за его спиной держались за руки — Тони было жарко, поэтому, когда лошадка по собственному почину остановилась у

первой же пивной и «отец» слез козел, заметив, что он не прочь выпить полбутылки, Тони настоял на том, чтобы поменяться местами с «нашим Биллом», невзирая на повторные предсказания Анни, что он упадет, убьется — и «что же мы тогда будем делать!».

Очутившись наверху, Тони с просвещенным эгоизмом упорно держался своего места. «Отец», сидя на козлах, порой начинал дремать — в те дни рабочий человек редко высыпался в свое удовольствие, — но лошадка знала дорогу и путевые правила не хуже самого хозяина. Когда они проезжали деревни, люди с удивлением глядели на этот странный экипаж, и Тони, увидев как-то свое отражение в большом зеркальном окне «международного универсального магазина», сам несколько поразился столь необычным видом. Но большую часть пути поездка была истинным наслаждением. Равномерные удары копыт и скрип колес по твердой белой дороге превратились в какую-то убаюкивающую музыку. Когда солнцепек становился мучительным, они подъезжали к длинному прохладному туннелю из темно-зеленых вязов, где подорожники приветствовали их своим веселым щебетанием. Июньские луга тянулись сложными узорами зеленых, желтых и серебристых красок; края дороги, поросшие тысячелистником, таволгой и ромашкой, казались белым кружевом; виднелись ярко-зеленые пшеничные поля и чудесные постройки из шестов, шпагата и длинных ползучих стеблей, которые оказались хмелевыми садами, этими гонимыми виноградниками Англии; коровы стояли под тенистыми дубами по колена в воде прудов или ручейков, обрамленных камышами, вербейниками и мятой. Тони хотелось, чтобы поездка длилась бесконечно, с «отцом», дремлющим впереди, узкой белой дорогой, все время развертывавшейся перед ними, и красочным миром, скользившим мимо. Даже пение соловьев

в роще за садом дома Анни не могло утешить Тони и примирить его с окончанием волшебного путешествия в «нашу деревню»...

К завтраку Тони дали попробовать «лучшей в мире свиной грудинки», но он нашел ее пересоленной и чересчур жирной. И хотя его очаровали домик Анни и ее мать (она была точной копией Анни, только потолстевшей и немного поседевшей), он должен был признать, что «наша деревня» чуточку его разочаровала — слишком уж она была плоская, возделанная и огороженная. И хотя сад был полон фруктов и овощей, но мальчик тотчас же почувствовал, что ему милее огромные деревья и вид на широкий простор холмов с террасы Вайнхауза. Даже Анни — и та казалась чужой в белом платье с прозрачной вуалью и пылавшими, разрумянившимися щеками.

— А ведь красивое у меня платье, не правда ли? — спросила она.

— Ты мне больше нравишься в ситцевом, — упрямо возразил Тони, — на нем цветы. В этом у тебя какой-то неуклюжий вид.

Во время венчания пришел черед Тони почувствовать смущение — здесь он был чужой. Потом они отправились на так называемый завтрак, к мяснику в дом, который Тони совсем не понравился, в особенности после домика Анни. В воздухе стоял шум от церковных колоколов, не перестававших звонить: звонари вызвались звонить в честь Анни вдвое дольше, чем полагалось. За свадебным завтраком было поразительное количество еды, в особенности мяса, поразительное количество странных родственников и поразительное количество совершенно бесполезных и безвкусных подарков для Анни и Чарли. Мистер Хогбин, отец Чарли, — над фасадом лавки значилось золотыми буквами: «Дж. Хогбин и сын, семейная мясная» — был

очень краснолиц и носил широкую золотую цепочку от часов, еще шире, чем серебряная цепочка Чарли. Он не переставал заявлять, что он веселый, «да, да, ужасно веселый», и рассказывал анекдоты, которые дамы пытались немедленно замять. Там были высокие и низенькие парни, много евские и пившие, и несколько жен торговцев, сначала очень смиренных и жеманных, а затем, пожалуй, чуть-чуть шумных и возбужденных после шампанского и пива. Там был молодой человек из Лондона в синем костюме; он ковырял зубочисткой в зубах, всех чрезвычайно презирал, как кучу мужланов, и сообщил Тони, что «если вы хотите увидеть что-нибудь особенное, то ничто не может сравниться с эппингским лесом». И там был шутник-кузен, который с таинственным видом покинул комнату и шумно вернулся с ночным горшком, наполненным до половины пивом, и попросил разрешения выпить за здоровье новобрачных из этого символа домашней жизни, но был совершенно заглушен дамами, хором закричавшими: «Ну что же это такое! Такую штуку выкинуть, да еще при дамах! Безобразие, вот что! Мало чести для тех, кто его вырастил!» и т. п.

Пиршество закончилось шумными поцелуями, слезами, объятиями и восклицаниями. Анни театрально заключила Тони в свои объятия, поцеловала его, прижавшись к нему заплаканным лицом, умоляя никогда ее не забывать и всегда молиться. Затем они с Чарли сели в кеб, все стали забрасывать их конфетти, а шутник-кузен пытался привязать старый башмак к задней оси, но и на этот раз потерпел поражение, так как пролетка неожиданно двинулась, поэтому он бросил им старый башмак вдогонку. И все почувствовали себя несколько опустошенными.

Тони бродил один по дорожкам, чувствуя себя все более и более брошенным и печальным и осознав наконец, что он лишился своей Анни. На следующий день, когда «отец» повез его домой, ему пришлось сидеть внутри старой ко-

ляски, которая пахла затхлостью; погода была облачная, дул сильный ветер, и все волшебство исчезло. Он с радостью простился с «отцом», уселся в тени деревьев и рододендронов на террасе и стал думать о том, как он теперь будет жить без Анни.

IV

В нижнем саду под перилами террасы была большая запущенная группа кустов лаванды, скрытых за португальским лавром и сиренью. В те редкие солнечные дни, когда даже на террасе было жарко, Тони брал складной стул и сидел там часами, следя за пчелами и маленькими бабочками, порхавшими над высокими лиловыми цветами лаванды и пившими неиссякаемый мед. Так он сидел час за часом в каком-то забытьи, замороженный нимфами, — словно какой-нибудь сицилианец, плененный волшебным чаем, когда Пан спит, прислушиваясь к долгому шепоту пчел, следя за мельканием синих, медно-красных или черных, усеянных блестками крылышек и вдыхая аромат земли, листьев и теплой лаванды. Ему не хотелось убивать летающих созданий или рвать лаванду, ибо ему казалось, что он ими гораздо полнее обладает, поглощая все, что они могут дать, — глубокое, безвременное счастье. Хотя он бодрствовал, его думы были такими же радостными и золотыми, как те, что овладевают нами, когда мы погружаемся в сон, но то, что он испытывал, было скорее гаммой необъяснимых ощущений, чем ходом мыслей. Это напоминало чувство бесконечности, пережитое им на террасе, но более интимное, более земное, более острое. В то же время обмен — самоотчуждение и слияние с этими таинственными присутствиями — был менее жутким и подавля-

ющим. Он чувствовал себя окутанным в звук, аромат и краски — как пчела, плененная в ярком мире петуний, — вместо того, чтобы растворяться в необъятности. Доморощенные боги были более близкими и менее требовательными, чем те — величественные и вездесущие.

Быть может, верно, что нельзя научиться тому, что достойно знания, — все, что учитель может сделать, это лишь указать на пути. Тони пошел по собственному пути, лежавшему между наукой отца и музыкой и поэзией матери. Он знал, что он их разочаровывает, но это его мало тревожило. У него просто не было никакого интереса к математическим отвлеченностям, увлекавшим его отца. Все, что основывалось на реальности или иллюзии чувств, для него не существовало, и даже когда он был еще мальчиком, решение задач казалось ему лишь одной ступенью выше решения загадок, помещаемых в воскресных газетах. Он предпочитал бродить по молчаливой поляне, любоваться желтовато-белой луной и испытывать глубокое, странное влияние ее мягкого сияния, чем разглядывать в телескоп уродливо-фантастическое увеличение, будто бы представлявшее мертвый мир, и заучивать фантастические названия несуществующих «морей» — названия, которые он тут же с отвращением забывал. Что за нелепая страсть к каталогизации и номенклатуре! Тони слушал почтительно и терпеливо и забывал с безразличием, принимаемым за глупость. Но самому себе он говорил:

— Ну какой смысл считать, что вы сделали нечто замечательное, назвав воробья *Passer vulgaris* или как он там называется? И что можно узнать о воробьиных свойствах воробья, вскрыв его маленький трупик и составляя потом целые теории о форме его коготков и клюва? А затем из него набивают чучело и воображают себя Гёте!

Тут он приходил в ужасное волнение и молился, сам не зная чему:

— О Господи, пожалуйста, не делай из меня набивателя чучел Passer'ов, пожалуйста, не делай! Я хочу..

Он не знал, как выразить свои желания, но мысль его была такова: «Я хочу жить с живыми существами, жить их жизнью и чувствовать, что они живут во мне, а не вскрывать их и давать им названия».

Точно так же обстояло дело с ботаникой и зоологией. К чему выискивать редкие растения, собирать коллекции каких-то поблекших листьев, стеблей и увядших лепестков и утверждать, что любишь цветы? Однажды ему стало совсем тошно: он нашел особый вид зверобоя и гордо указал на него отцу, который тотчас же сорвал растение, показав Тони, что у него более узкие листья, чем у другого вида, — что Тони видел и до того, как растение было сорвано, — и поэтому оно называется «ангустифолия». Ангустифолия! Всякий и без того увидел бы, что у растения узкие листья, не давя его под прессом. Тони всегда с наслаждением ездил в Лондон в зоологический сад, из которого его с трудом уводили, но в то же время терпеть не мог Музея естественных наук с его бесконечными рядами стеклянноглазых чучел за стеклянными витринами.

И Хенри Кларендон, поглаживая свою темную бороду, окидывал сына холодным взглядом голубых глаз и говорил, что из него никогда не выйдет ученого. Это не мешало Тони чрезвычайно гордиться ученостью отца и считать его самым благородным человеком на свете. Итак, они безмолвно пришли к дружескому соглашению быть разными, хотя Хенри Кларендон не мог не испытывать легкого презрения к человеку, лишенному научных интересов, а Тони не мог не поражаться, что люди придают столь большое значение таким мелочам, — если вы смотрите на вещи обоими глазами — вы невежественны и подвержены заблуждениям, но если вы прикроете один глаз козырьком и поставите микроскоп между вторым глазом и рассматриваемым предметом, то вы непогрешимы.

Хенри Кларендон был сознательным атеистом. Тони, озадаченный тем, как директор школы истолковал один текст Священного Писания, спросил отца:

— Папа, как бы ты определил, что такое Бог?

Хенри Кларендон поднял голову от заметки «о колебаниях в плоскости эклиптики», которую он читал, и спокойно ответил:

— Бог — это точный эквивалент шекспировского «дукдам»* — слово, чтобы собирать дураков.

И возобновил прерванное чтение, а Тони ушел ни с чем, ушел посидеть у кустов лаванды.

Хенри Кларендон никогда не вмешивался в религиозные убеждения жены и позволял ей делать все, что заблагорассудится, чтобы обратить сына. Он принадлежал к тому, ныне вымершему, типу людей, которые все еще верят, что истина — их истина — велика и одержит верх. Тони обнаружил, что с материнской религией труднее бороться, чем с отцовским практическим атеизмом. В религии было слишком много элементов, привлекавших его, и в то же время миссис Кларендон пускала в ход все средства материнского убеждения, что Тони считал не совсем честным. И Тони, которому было тогда около пятнадцати лет, однажды сказал отцу, обсуждая с ним эти вопросы:

— К женщинам надо иначе подходить, чем к мужчинам, папа. Они не признают дружеского разногласия во взглядах и не всегда пользуются честными средствами.

И Хенри Кларендон, посмеиваясь в бороду, ответил с напускной серьезностью:

— Ты открыл важную истину. Придерживайся ее.

Франсес Кларендон происходила из музыкальной семьи, образовавшей часть восторженных электронов вокруг прерафаэлитского* ядра. Родные ее были евангелистами,

обожали Рескина* и весьма серьезно относились к культуре. На Франсес особенное влияние оказала Кристина Россетти*, с которой она однажды встретилась, будучи еще ребенком, и Холман Хэнт*, которого она часто видала. Она питала глубокую антипатию к Уистлеру* и ко всему, что называла «галльским», а в Италии признавала лишь Асси-зи* и избранные произведения искусств, получившие положительную оценку в журналах «Современные художники» и «Утра во Флоренции». Это смешивалось с боготворением германской романтической музыки, с культом Вордсворта* и трогательной верой в социальные теории Уильяма Морриса*. Все же Тони никогда не мог точно понять, каким образом и почему все эти святые оказались включенными в кроткую христианскую иерархию, под председательством бога, неотличимого от Иисуса Христа и уготовлявшего кристально-чистую эпоху счастья и справедливости, которая должна была вот-вот наступить. Для того чтобы попасть в этот земной рай, надо было лишь верить и взять себе за образец сира Галахеда*. И необходимо было ходить в церковь.

Прошло немало времени, проведенного в долгих беседах с самим собой у кустов лаванды или под старыми деревьями на террасе, прежде чем Тони удалось разобраться во всех этих вопросах. Первое, что он с некоторым удивлением обнаружил, это что хождение в церковь и все с ним связанное оставляет его совершенно безучастным или даже отталкивает его. Он с удовольствием посещал церковь в будние дни и слушал объяснения приходского пастора — энтузиаста церковной архитектуры — о нормандских и готических окнах, о трилистниках и пятилистниках, веерообразных и цилиндрических сводах, о церковных аркадах и галереях и о всех причудливых выдумках средневекового символизма. Но когда в остальном приятный пастор надевал стихарь и мрачно, нараспев, начинал проповедовать у

алтаря, Тони испарялся. Его просто не интересовал Иисус и все совершаемое его именем — вернее, его не интересовал Иисус матери, или Анни, или пастора. Прочтя в школе первую греческую трагедию и набравшись теорий на этот счет, он очень огорчил мать таким замечанием:

— Самая сущность Иисуса пропадает, если делать из него бога. Истинная трагедия заключается в том, что он был героем цивилизации и был умерщвлен теми, кому пытался помочь.

Для утешения матери Тони пришлось пообещать ей, что в этом году он обязательно пойдет на конфирмацию, хотя он уже много раз это откладывал. А чтобы утешить себя за эту неприятную уступку, он начал писать трагедию о Христе, под оригинальным названием «Ессе Номо», но, разумеется, дальше первого акта дело так и не пошло.

В отношении книг он должен был признать, что предпочитает Диккенса и Броунинга* Кристине Россетти и Рескину, хотя ему, пожалуй, нравился Рескин, когда тот либо проповедовал, либо плел яркие пустозвонные фразы. Он не выносил вымученных стишков Кристины: «Вьется ль дорога на всем пути в гору?» — которыми его мать так восхищалась. Ни единого развлечения на всем пути! Он любил тихо сидеть и слушать игру матери, в особенности когда та играла Баха, но это бывало редко. Более поздние немцы, за исключением Бетховена, его несколько раздражали своей приторностью и аффектацией. Он с большой неохотой ежедневно упражнялся на немой клавиатуре — миссис Кларендон не выносила диссонансов при робком нащупывании начинающего — и в результате так и не научился играть на рояле. И хотя некоторые стихи, музыкальные произведения и картины приводили его в восторг, но его безумно раздражало, что он должен относиться к ним с «елейной святостью», как он выражался. Ему претило, что перед Шуманом и Джотто* должно испытывать чувство

какого-то ханжеского преклонения. В особенности он не любил двух копий Холмана Хэнта, висевших в его спальне. На одной был изображен белый козел с опущенной головой среди бесконечных песков, с багровыми горами и алым небом в отдалении. Другая изображала женщину с ребенком на осле, в сопровождении мужчины и множества младенцев, пускавших в воздух пузыри, причем на каждом пузыре была изображена какая-нибудь сцена Священного Писания, воспроизведенная с пошлыми подробностями.

Так, с обеих сторон, он инстинктивно изо всех сил старался избежать ограниченности, которую ему навязывали. Но не всегда было легко найти золотую середину между расчленением и классификацией и утонченным Христом и любовью к удобоваримым изящным искусствам. Это было еще тем труднее, что он испытывал настоящее влечение к тому, что интересовало его отца, и вместе с тем зарождающуюся страсть к искусствам, на которые мать налагала отпечаток своей болезненной чувствительности. Между чистой интеллектуальностью, с одной стороны, и трепетной бестелесностью, с другой, ему приходилось скрывать свое собственное чувственно-страстное восприятие жизни, словно это было что-то пошлое и гадкое. Он погрузился в глубочайшее молчание. И даже иногда сознавал, что своими самыми сокровенными, самыми важными переживаниями можно делиться с другими лишь на свой собственный риск и страх. Можно принимать жизнь беспечно, с внешней стороны, как это делают в школе, или подойти к ней отвлеченно-интеллектуальным путем, как отец, или же сделать ее духовной абстракцией, как мать; но если идешь к жизни с раскрытыми чувствами и телом и душой, с собственными свежими восприятиями, вместо отвлеченных, навязанных вам ощущений, тогда, конечно, все люди будут тебе врагами.

* * *

Лишь значительно позже Тони стал пытаться подвести итог преимуществам и недостаткам своего воспитания. Сначала ему, разумеется, было гораздо легче понять, в чем он расходится со своими родителями, чем оценить их положительное влияние. Хотя он не мог проследить ни того ни другого до конца и еще менее был способен синтезировать это, все же позднее он понял, что они были основой, тем фундаментом, на котором он пытался построить свою жизнь. Любовь его отца к истине и презрение к фальши и ограниченности, чувствительность матери и ее вера в истинное человеческое благородство — вот это было основное, хотя, быть может, родители представляли себе это иначе. Их ошибка, по мнению Тони, заключалась в пренебрежении к физической стороне жизни — словно они порвали всякую связь с землей, туго перевязали артерии жизненного инстинкта. Чтобы выразить свои собственные неловкие искания более жизненных ценностей, он говорил так: «Представьте себе, что вы жаждете здорового, красочного мира Боккаччо, а вас кормят чахлой культурой Мэтью Арнольда*, этого Ипполита высшей школы».

Тони не мог припомнить, чтобы за всю его жизнь родители когда-либо повышали при нем в гневе голос или обменивались раздраженными словами. Если они и ссорились, то от него это скрывалось. Лишь много лет спустя он догадался о разочаровании и неудовлетворенности, скрывавшихся в насмешливой иронии отца и кроткой томности матери. Но для него они создавали впечатление безмятежного счастья, и он всегда считал это нормальным явлением. И никогда не мог понять тех семейных отношений, когда жизнь протекает в постоянных ссорах, которые, по-видимому, доставляют удовольствие. Анни своей болтовней о смерти и аде разрушила его детское представление о веч-

ности. Она разрушила точно так же и его слепую веру в постоянство жизни, уверенность в том, что все останется навсегда неизменным и, может быть, лишь станет потом еще немного приятнее. Анни достигла этого просто своим уходом из его жизни, тем самым открыв ему обыденную, но основную истину, что человеческое существование — это вечное течение, к которому надо постоянно принаравливаться.

Он вспоминал с благодарностью, а часто и с удивлением, и иные моменты из эпохи минувших дней, когда лучше ознакомился с домашней жизнью других людей. В их доме ни о ком никогда не судили по внешности — там совершенно отсутствовало отвратительное чванство, разъедающее английский быт. Деньги никогда не являлись предметом обсуждения, кроме как в связи с хозяйственными вопросами, — они не считались чем-то существенным. Правда, Тони учили бережно тратить свои карманные деньги, но только из соображений дисциплины. Там не было ни боготворения денег, ни особого уважения к богачам, скорее отвращение ко всему показному и пышному. В их доме отсутствовал также и нелепый культ спорта, превращающий огромную часть помещицкой Англии в валгаллу дикарей. Хенри Кларендон не охотился и не стрелял, его поместье служило убежищем для птиц и животных, где их убивали только в силу печальной необходимости в интересах науки. Но там никого не убивали ради того, чтобы убить, и не перебрасывались мячами, чтобы заполнить пустые мозги. Тони дали пони, затем жеребца и научили ездить верхом. Его не надо было упрашивать бывать чаще на воздухе — он с удовольствием ходил, а гораздо чаще бегал в нетерпеливой порывистости юности. Когда он случайно отличился в школьном крикетном состязании, отец дал ему десять шиллингов, но с насмешливой улыбкой, показавшей Тони, что

хвастаться тут особенно нечем. Что же касается так называемого полового вопроса, то ему объяснили его при помощи передового в то время метода ботанической аналогии. К счастью для Тони, он был совершенно неспособен обнаружить какую бы то ни было связь между функциями пестиков и тычинок и ощущениями собственного тела, благодаря чему сохранил свои врожденные чувства неизвращенными.

Это была нереальная жизнь, потому что она игнорировала черствость и порочность мира и без всякого основания предполагала, что ее кроткая идеология разделяется всеми и каждым, за исключением немногих недостойных и неважных людей, преимущественно из преступного мира. Никто никогда не говорил Тони, что в Англии есть обширные районы, где дети никогда не видят зеленой травки, где вечный дым скрывает солнце, где дождь черен от копоти, а жизнь подобна организованному аду. Никто не говорил ему о злобной борьбе за власть, о ничтожных политических дрызгах, о жалкой алчности государств. Никто не говорил ему о легионах женщин, которые зачинают против воли, рожают в страданиях и влачат существование, полное лишений и забот, чтобы прокормить нежеланных, но все же нежно любимых детей, ибо ханжи и политические проходимцы отказывают им в элементарной свободе распоряжаться собственным телом. А если же эти или сотни других мерзостей и упоминались, то лишь как факты минувшего или как что-то, пожалуй, несколько нежелательное, подлежащее немедленному исправлению Наукой (с большой буквы) или несколькими исцеляющими глотками из источника, находящегося на краю света. Тем не менее в жизни этой, как она шла, не было ни подлости, ни мещанства. Даже при самой строгой критике Тони должен был признать, что влияние его родителей, и сознательное и бессознательное,

было во всяком случае направлено к тому, чтобы сделать из него человека, который относился бы и к другим как к самому себе, а не как выдрессированному изеху*.

V

— Папа! — воскликнул Тони, вбегая в лабораторию отца. — Не правда ли, Суинберн* — замечательный поэт?

— Положим, «замечательный» — это будет немного сильно сказано, а? Суинберн был в большой моде, когда я был еще мальчишкой, но я пришел к заключению, что он многословен и все его переживания искусственны — слишком литературны.

— Но, папа, послушай только!

И Тони стал читать почти с благоговением:

По следам зимы мчатся псы весны,
Мирный май царит в просторах полей:
Тенистые рощи под ветром полны
Лепетом листьев и дробью дождей.

И светел серый соловей —
Он утешен, любя, и почти забыл
Фракийца ладью, лик чужой страны,
Скорь немых ночей и тебя, Итил.

— Папа, неужели ты не видишь, что он знал...

В своем волнении Тони чуть было не раскрыл частичку своих собственных переживаний, но сдержался.

— Аталанту*? — спокойно спросил Хенри Кларендон, продолжая свою работу точными, ловкими пальцами, ко-

торые преисполняли Тони восхищения и стыда за собственную неуклюжесть. — Почему он говорит, что соловей светлый? У него очень простое оперение.

— Но он имеет в виду голос.

— Разве? А как может голос быть светлым — ты когда-нибудь видел светлый голос?

— Он хочет сказать: чистый, глубокий, проникающий, как яркий свет, — молвил Тони.

— Хм. — Отец задумался. — Может быть, ты и прав, но какой окольный путь, чтобы это выразить! И потом, в поэме о весне он говорит о падающих каштанах, а это — осеннее явление.

Тони это озадачило. Он был слишком поглощен прелестью самого стиха и не заметил, что в поэме говорится о четырех временах года.

— Кроме того, — продолжал отец, — я, кажется, припоминаю, что в одной из строф он начинает с того, что это было до начала всех лет, а через несколько строк забывает об этом и говорит о песке, осыпающемся под стопую лет. Ни на что не похоже!

— Я этого не считаю, — медленно произнес Тони, — я не считаю, что это меняет... меняет...

Он мучительно искал слова, чтобы выразить скорее ощущение, чем мысль, но тщетно. Хенри Кларендон не помог ему и продолжал свою кропотливую работу. Тони повернулся, чтобы уйти, но остановился у дверей.

— Папа, Суинберн умер?

— Нет, — сказал Хенри Кларендон немного жестоко. — Не слышал, чтобы он умер. Если не ошибаюсь, он проходит курс лечения от запоя в Путнеи под присмотром одного адвоката по фамилии Уоттс, который называет себя Дентон.

Это был удар, но Тони выдержал его.

— Мне все равно. Я думаю, он знал... я думаю, он чувствовал... я... я знаю, что он бессмертен!

Но, закрывая за собой дверь, Тони услышал иронический смех отца и почувствовал себя дураком.

В саду солнечный свет был силен и ярок — словно песнь соловья, подумал Тони. Мать беседовала с гостями, сидевшими в садовых креслах на тенистой стороне лужайки. Обычно Тони любил общаться с людьми и молчаливо прислушиваться к их беседе, но сейчас он прокрался мимо рододендронов на свою маленькую тропинку, которая вела к лаванде. Высокие кусты были в полном цвету, отдавая окружающей теплоте свой аромат, и, казалось, радостно подставляли себя нежно пьющим бабочкам и более тесному объятию пчел. Воздух был насыщен тихим жужжанием, нежным и чувственным.

Тони поставил свой складной стул под тенью высокого куста сирени, белые цветы которой уже пожелтели, и стал наблюдать за быстрым мельканием удивительно проворных крылышек огромной бабочки — сфинкса. Он видел, как она развертывала длинный хоботок и проникала им в хрупкий цветок лаванды, окутываемая при каждом своем движении пылью, которую поднимали ее трепещущие крылышки, но бабочка беспокойно порхала, словно вечно неудовлетворенная именно этим цветком и все надеясь, что следующий будет совершенным. Другая — жадная маленькая голубая бабочка — поступала как раз наоборот: она сидела на одном стебельке и с упоением, методически пьянела от сочного цветка. Можно избрать любой из этих жизненных путей, подумал Тони, и тогда, в конце концов, вероятно, придешь к заключению, что ты не прав, а вот тот, другой, прав; но сфинксу следовало бы сидеть подольше, а голубой бабочке чуточку больше двигаться.

Тони был слегка взволнован этим происшествием с Суинберном. Он, пожалуй, ожидал услышать похвалу за то, что сам открыл Суинберна. Кроме того, его несколько

обидело насмешливое отношение отца к его незрелому энтузиазму. Некрасиво было намекать, что Суинберн пьяница — что же тогда сказать о их великом Шекспире и о таверне «Морская царевна»? Его интересовало, отнеслась ли бы мать с большим сочувствием? Внешне — да, и она бы не сделала таких не относящихся к делу критических замечаний, но Тони сомневался, чтобы она одобрила поэта. Например: «Груды нимфы в чаше».

И будто слова эти были зачарованы: перед его мысленным взором внезапно предстала Анни, как он часто видел ее, обнаженной до талии, с грудью, серебристо-влажной от воды или покрытой пушком в солнечных лучах, когда она сидела перед своим зеркалом в деревянной оправе. Анни отнюдь не была нимфой, и она уже так давно ушла из жизни Тони, что он почти забыл ее, но сейчас эти воспоминания живо воскресили ее. Ему почти казалось, что если он раздвинет гладкие блестящие листья сирени, то мельком увидит белое убегающее женское тело, у которого груди будут такие же, как у Анни, круглые, крепкие, белые с красновато-коричневыми сосками, ярко освещенными солнцем. Как чудесно было бы увидеть девичье тело, нагое в солнечных лучах, на которое листья сирени бросали бы при каждом своем шелесте трепетную тень. И какое, должно быть, несказанное упоение держать прохладные груди в ладонях рук и чувствовать, как жизнь их течет в его пальцы, как и его жизнь течет к ним в ответ, и вкусить нежность и аромат чуткими губами.

Это было в праздник Троицы. Во время летних каникул к ним приехала погостить недели на две его двоюродная сестра Эвелин. Тони встречался с нею в разную пору и знал ее с тех лет, как себя помнил, — сперва девочкой в короткой юбке и с длинными черными косами, затем в юбке до щиколоток и с удивительно гладенькой прической. В те дни

они играли вместе в теннис и крокет, всегда споря и обвиняя друг друга в плутовстве. Отец говорил Тони, что он должен ей уступать, раз Эвелин девочка, но высокое мнение Тони о женщинах не позволяло ему с этим согласиться. Молча разрешать девушкам мошенничать — это значит превращать их в низшие существа. У Тони с отцом был по этому поводу долгий и горячий спор, причем инстинктивное стремление к равенству неуклюже и робко противопоставлялось наследственному английскому презрению, маскирующемуся рыцарством, возводящему женщину на пьедестал и превращающему его в свою скамейку для ног.

Быстрый расцвет молодости подобен восхождению на крутой холм — пейзаж меняется почти с каждым шагом. Так и Тони едва сопоставлял Эвелин прошлых лет с этой новой Эвелин, которая носила такие же белые летние платья, как и его мать, ездила с ней в коляске по визитам или сидела на лужайке за чтением романов, которые ей дважды в неделю присылали из Лондона в маленьком ящике. Эвелин переодевалась к обеду, оставалась в гостиной после того, как Тони уходил спать, и, казалось, окончательно примкнула к враждебному лагерю взрослых. По приезде она небрежно поцеловала Тони, но вместо тенниса, крокета и совместных прогулок через леса к овечьим загонам они теперь едва встречались, разве только за столом.

На следующее утро после приезда Эвелин Тони проснулся рано — это с ним часто бывало. В хорошую погоду он иногда катался на велосипеде по белым дорожкам, казавшимся пустынными и странными в утреннем свете, или же седлал жеребца и ездил верхом на вершину обнаженного холма, откуда видно было море, на которое солнце бросало широкую ослепительную полосу дрожащего золота. Если же было сыро или облачно, он читал или мечтал, пока не наступало время вставать. В это утро он ниче-

го такого не сделал. Через мгновение он уже совсем проснулся и, без всякой преднамеренности, без всякого плана или причины, следуя лишь инстинктивному порыву, пошел к спальне Эвелин. Его чувства были чрезвычайно обострены, и он слегка дрожал от волнения. Тони не спрашивал себя, почему он так странно поступает или чего ждет. Казалось, его движениями руководила какая-то внешняя сила, так что он делал каждый шаг, не зная, каким будет следующий, — вот он еще крепко спал, а в следующее мгновение уже открывал дверь из своей комнаты. Крадучись по отделанному дубом коридору, он чувствовал твердое, холодное прикосновение паркета к своим босым ногам, а затем более теплое бархатное прикосновение густого ковра. Он слышал молчание спящего дома, но шел спокойно, не страшась и не прячась, и даже на секунду остановился, чтобы поглядеть на мягкий, густо-желтый солнечный свет, нежно струившийся сквозь закрытые ставни решетчатых окон.

Не останавливаясь, он открыл дверь в комнату Эвелин, все еще со странным, почти галлюцинирующим чувством подчинения какому-то внешнему импульсу, все еще едва понимая, зачем он пришел. Комната Эвелин выходила не на солнечную сторону, и окна были затянуты тяжелыми портьерами, поэтому спальня казалась почти темной после освещенного коридора. Когда струя воздуха проникла в открытую дверь, конец портьеры взметнулся, и Тони увидел Эвелин, отвернувшуюся от него и спавшую на боку, с длинной темной косой, иссиня-черной на белой простыне. Он закрыл дверь, и портьера плавно вернулась на свое место, оставив в сумеречном свете лишь слабое мерцание белого одеяла. Быстро и безмолвно Тони скользнул в постель рядом с Эвелин. Он почувствовал, как она вздрогнула и наполовину обернулась к нему, когда его рука коснулась ее руки, но он быстро прошептал:

— Это только я, Тони. Можно мне побыть немного?

Эвелин не ответила и не шевельнулась — или она еще не проснулась, или же притворялась спящей. Тони едва смел дышать, хотя сердце у него громко билось, и он лежал совсем тихо, казалось, в течение целой золотой вечности. Его закрытые глаза были полны какими-то золотистыми сумерками, а все тело превратилось в ощущение, чистое и струящееся, как свет. Он не знал, долго ли длилось это ощущение — оно было вечностью, и вместе с тем мелькнуло как молния. Не двигаясь и не открывая глаз, Эвелин шепнула:

— Тебе надо уйти теперь, милый, скоро придут меня будить.

Не колеблясь и не протестуя, он встал, оправил постель и вернулся к себе в комнату, где упал ничком на кровать и, пока не пришли его будить, лежал, дрожа всем телом и все повторяя про себя: «Груды нимфы в чаше, груды нимфы в чаше».

Когда они встретились за завтраком и потом в течение дня, Эвелин ни малейшим знаком, даже ни единым взглядом не выдала своего соучастия. Тони и не ждал этого, ибо ему казалось, что все случившееся произошло между двумя существами, совершенно отличными от тех, которые теперь одеты и болтают, как обычно. Однако он все утро находился в состоянии какого-то подавленного счастья, почти бессознательного, но реального, какое мы иногда испытываем после особенно радостного сновидения. И право, все это казалось каким-то чудесным сном, так полно было ощущение, что все это пережил кто-то другой. И его поступок был настолько инстинктивным и невинным, что Тони пребывал в состоянии блаженства без каких-либо ясных образов, вызываемых в памяти. Только за вторым завтраком, когда Эвелин казалась особенно надменной и холодной, ему пришло в голову, что она, быть может, сердится на него, может пожаловаться и рассказать, что он сделал. Тогда настроение его сменилось каким-то страхом, и он всю остальную часть дня и начало вечера провел в длительной

прогулке. Для него невыносима была мысль, что эти чудесные переживания будут загрязнены в его же собственных глазах презрительными упреками, что испытанный им восторг будет унижен.

Он бродил по лесу, по обнаженным дюнам, раскаленным от жары, очутился в другом лесу, далеко от моря, и сел у подножия могучего бука, где ручеек пробивался сквозь чащу ольховника. Высокие ветви протягивали свои плоские листья, словно металлические зеленоватые и золотистые пластинки; мерцание исходило от узкой ленты ручейка, там, где он почти бесшумно низвергался крохотным водопадом в темное маленькое озеро; а со всех сторон Тони окружали тенистые стволы и кустарник. В течение долгих минут лес был абсолютно безмолвен в летнем затишье птиц и мертвой неподвижности воздуха. Тони услышал крик сойки и ответный крик другой и шум их крыльев, когда они пролетели по лесу; затем водяная курочка, появившись из-за камышей, начала клевать траву, и белка грациозно спрыгнула с дерева и принялась грызть буковый орешек. Затем и они исчезли, и вновь все стало безмолвным и неподвижным. Тони снова объяло странное блаженство — неожиданно, непредвиденно, точно прекрасная умиротворенность, но с чувством гармонии, которое заставляло его ощущать, как Жизнь музыкально течет в него и вытекает из него. Это не походило на упоительный восторг от прикосновения к Эвелин, и все же было сходно с ним. То чувство было более острым, личным и сосредоточенным, а это — более рассеянным и безличным — общение с таинственными созданиями, такое же неуловимое, но столь же возбуждающее, как и благоуханное. Оно было подобно немой беседе с богами.

Наконец он поднялся и неторопливо побрел домой, совершенно умиротворенный, все еще с тайной лесов в глазах. Он мало говорил за обедом и почти не обращался к

Эвелин. Утомленный прогулкой и горячей ванной, он рано лег в постель и сразу же заснул без всяких сновидений. И опять внезапно проснулся, словно его окликнул чей-то голос, и опять то же властное побуждение идти к Эвелин. Однако накануне вечером он был далек от подобной мысли и, конечно, не думал об Эвелин, когда засыпал. И снова он пробирался по молчаливому коридору, и снова портьера в ее комнате взметнулась, когда открылась дверь, и он увидел Эвелин спящей, с простыней, натянутой до самого подбородка.

Либо став смелее, либо же находясь во власти того же таинственного побуждения, он на секунду остановился у ее изголовья, а затем тихо улегся рядом с ней. На этот раз она не вздрогнула, и Тони, к своему изумлению и восторгу, увидел, что она не спит и ждет его, но притворилась спящей, ибо слова разрушили бы чары прикосновений. Эвелин охватила его рукой, его лицо коснулось ее лица на подушке, и их дрожащие губы слились в долгом поцелуе. Тони казалось, что он теряет сознание; сумеречное золото его закрытых глаз тускнело все больше и больше, по мере того как кровь отливала от мозга, а затем медленно возвращалось, все ярче, ярче, пока он не открыл глаз — и встретился с глазами Эвелин, нежными и блестящими. Эта поглощенность божественным прикосновением отступала перед мыслью, что теперь его рука стала навеки прекрасной. То был решающий момент в его жизни — отныне женское тело должно будет всегда казаться ему прекрасным и желанным.

Они лежали друг у друга в объятиях, почти без движения. Они унеслись за пределы времени, и им казалось, что прошло всего лишь одно блаженное мгновение, когда до них донесся бой часов, и Эвелин прошептала:

- Теперь уходи, милый, но приходи завтра.
- Ты подобна лесам, и солнцу, и цветам...
- Тише! Надо уходить. Но приходи...

— Приду!

С последним поцелуем, полуробкой-полустрастной данью благоговения, он расстался с нею и ушел.

Каждое утро, пока длилось пребывание у них Эвелин, Тони украдкой приходил к ней в комнату в ясном свете зари и лежал в ее объятиях, испытывая новообретенный восторг прикосновений, такой непосредственный и невинный. Разумеется, Эвелин должна была испугаться, когда Тони пришел в первый раз, и женский инстинкт самозащиты побудил бы ее рассердиться на Тони и прогнать его, если бы что-то в прикосновении молодого мужского тела к ее девственному телу не парализовало ее. И Эвелин покорила его прикосновению сперва почти равнодушно, а затем с внезапным наслаждением, почти столь же глубоким, как и у него. Она старалась оправдать себя мыслью, что это лишь своего рода игра с большим мальчиком, но в глубине души знала, что это и прикосновение мужчины. Ей льстили его преклонение и восторг, и они были столь же неотразимы, как и прикосновение молодого сильного мужского тела, жаждавшего ее так просто и естественно и так инстинктивно пробуждавшего в ней чувства. И все же она боролась с собой и даже, наконец, решила, что больше не позволит, чтобы ее ласкал такой большой мальчик, и заперла свою дверь на ключ, когда пошла спать. Но минут за десять до вторичного прихода Тони она проснулась, несколько минут лежала в полной неподвижности, затем быстро и бесшумно отперла дверь, секунду постояла перед зеркалом и, услышав, как его рука коснулась ручки двери, притворилась спящей.

В последний день, в десять часов утра, Тони с родителями провожал Эвелин на вокзале. Воспользовавшись моментом, когда мистер и миссис Кларендон отошли, Эвелин взяла Тони за руку и спросила:

— Ты не забудешь?

Он взглянул в ее глаза и ответил:

— Никогда, никогда! Ты всегда будешь жить в моем сердце, как жемчужина в раковине.

Казалось, это ей понравилось, и она сказала:

— Обещай мне, что, пока я живу, ты никогда, ни единым словом, ни малейшим намеком не обмолвишься о том, что было!

Он снова с обожанием взглянул ей в глаза и ответил:

— Даю тебе честное слово, милая Эвелин.

Они были скрыты от всех за грудой багажа и одним из станционных столбов. Эвелин порывисто наклонилась, страстно поцеловала Тони в губы и, предостерегая его взглядом, пошла навстречу его родителям. Тони дрожал с головы до ног, но старался подражать ее спокойствию, когда она прощалась с ним и небрежно, по-родственному поцеловала его в щеку. Он даже не помахал ей рукой, когда поезд тронулся, а пошел со станции впереди родителей, с глазами, полными слез. Когда отец и мать подошли к коляске, он шутил с кучером.

Почти год спустя он узнал, что Эвелин выходит замуж. Он ничего не сказал; потом поднялся наверх и поцеловал подушку на кровати в комнате для гостей.

VI

У Тони было много друзей в окрестностях, но когда он стал старше, он никого так не ценил, как старого Хенри Скропа из Нью-Корта. Скропы были младшей ветвью знаменитого северного рода, носившего ту же фамилию, который появился на юге Англии в четырнадцатом веке и

приобрел поместья на службе у Эдуарда III. Эта семья привлекала Тони: она представляла наследственных вождей английского народа, спокойно принимавших предводительство как дань своему обаянию и энергии, но в то же время с полным сознанием своих обязательств. Честные до чудачества и упорно верные своим принципам, они очень редко умели согласовывать свою лояльность и честь с собственной выгодой. При Генрихе VIII и Елизавете они прямо оставались католиками, хотя все мужчины из этой семьи пошли воевать при угрозе Армады. Один из Скропов пал в битве при Ньюбери, сражаясь под командой Руперта*, его наследник подвергся тяжелой каре как неблагонадежный и отправился за море присягнуть в верности наследному принцу. Из отвращения к общей неразберихе при Реставрации* этот Скроп стал пуританином, был тяжко оскорблен королем Иаковом II, но после его отречения и бегства остался верен Стюартам. Следующий Скроп оказался единственным приспособленцем из этой семьи, он перешел в англиканство, служил с Мальборо* и восстановил фамильное состояние, прибавив еще тысячу акров к своим поместьям. В течение восемнадцатого века главы семьи довольствовались тем, что управляли своими землями и провозглашали умеренно-крамольные тосты, но младшие поколения, как об этом свидетельствовали их портреты, образовали величественную шеренгу епископов, генералов и адмиралов.

Все это Тони узнал постепенно, главным образом от отца, ибо хотя старый Скроп и гордился своим происхождением, но его очень редко можно было навести на разговоры о семье. Впрочем, своего отца и деда, которых он знал при жизни, он иногда упоминал в разговоре, прерывая свои замечания басистым смехом.

— Мой дед, — рассказывал он в ответ на пытливые расспросы Тони, — был замечательным примером политичес-

кого легкомыслия, мой мальчик. В дни своей молодости он всей душой стоял за Францию и санкюлотов и устроил иллюминацию, когда убили этого жалкого Людовика XVI, ха, ха! После того как Амьенский мир* был расторгнут, бог знает кем и почему, он стал таким же неистовым противником французов или, вернее, Бонапарта, каким был прежде сторонником головореза Дантона. Он считал, что надо свергнуть Бонапарта, чтобы спасти революцию. Надо сказать, что эта мысль была не так уж глупа, но она завела его слишком далеко. Он дал Биллу Питту* честное слово, что будет искренен, и ему поручили заключать всякого рода темные сделки с Австрией и Россией и этими чертовскими пруссаками. Но ему следовало бы видеть, к чему все это ведет, и, конечно, не служить этому чистокровному прохвосту Каслри*. Венский конгресс и создание Священного союза поразили его как апоплексический удар, говоря метафорически, и он вышел в отставку в тот самый момент, когда его собирались назначить посланником к великому герцогу тосканскому. Весьма характерно, мой мальчик, весьма характерно!

— А ваш отец? — спросил Тони. — Что он делал?

— Он был человеком с весьма определенными взглядами на честь и гражданский долг, — сказал серьезно Хенри Скроп. — Всегда носил высокие стоячие воротнички, даже когда ездил на охоту, и сек меня до синяков за малейшую ложь. И вот он — в роли дипломата! Ха, ха! Но он был совершенно прав. Слишком мало уважают правду в наши дни. Отец находился в прекраснейших отношениях с Палмерстоном* в течение многих лет, но тут произошел этот скандал, когда Палмерстон, пригрозив Франции войной, не сообщил об этом Кабинету министров. Отец воспринял это чрезвычайно оригинально и сказал: «Будь я проклят, если буду когда-либо сотрудничать с человеком, подвергшим опасности честь своей страны!» А я скажу — будь я проклят, если пойму, при чем тут честь! А ты понимаешь?

— Пожалуй, нет, — нерешительно ответил Тони. — Но, может быть, он считал, что лорд Палмерстон не совсем честно поступил по отношению к своим коллегам.

— Они ведь всегда могли отречься от него, тут не было бы ничего нового, ха, ха! Это была страшнейшая наглость, но ничего бесчестного. А наш престиж высоко стоял в те дни. Но как бы там ни было, отец вышел в отставку, женился, произвел меня на свет, а затем провел много времени на Востоке, вот таким-то образом и я туда попал. Чудак-человек он был, дорогой мой мальчик! Даже сейчас, когда я вспоминаю, как он наплевал на свою первоклассную карьеру из-за такой ерунды, мне становится просто смешно.

— Но я думал, — сказал Тони, — вы сами бросили дипломатическую службу?

— Слава богу, я никогда и не состоял на ней.

— Ах, простите, я думал...

— Это было чрезвычайно позорное дело, дорогой мой мальчик, — с горячностью начал Хенри Скроп; его голубые глаза засверкали из-под густых бровей, а широкая седая борода, казалось, вздулась от возмущения. — Чрезвычайно позорное, не для меня, а для всей нации. Вот что произошло. Благодаря своим странствиям и способности к языкам я духовно сроднился с некоторыми племенами. Им хотелось политической независимости. Я направился к премьер-министру того времени, просто как частное лицо, и рассказал ему обстоятельства дела. Он дал мне свое слово, заметь, с в о е с л о в о, что Англия их поддержит. Я дал им тоже слово. Затем завязалась какая-то политическая интрига, и молодчик скис. Премьер-министр Англии изменил своему слову! Вообрази мое состояние, когда мужественные и честные люди пошли на смерть в полной уверенности, что я их предал.

— А что вы тогда сделали? — спросил глубоко заинтересованный Тони.

— Сделал? — воскликнул старик. — Я сделал единственно возможную вещь: вернулся в Англию, готовый отхлестать этого негодяя. Он отказался меня принять; тогда я опубликовал брошюру, в которой в очень сдержанных выражениях объяснял положение дела и указывал, что министр лжец, убийца и презренный подхалим. Мой весьма обоснованный протест сочли крамольным призывом к возмущению и упекли меня на три месяца в тюрьму, ха, ха, ха! Это принесло мне колоссальную пользу, мой мальчик! Человек только тогда становится настоящим человеком, когда он посидит в тюрьме за свои принципы. Как только меня освободили, я отправился на Восток, чтобы поднять мусульманское восстание от Бирмы до Судана, но меня перехитрили. Не дали мне высадиться. Тогда я перевел свою брошюру на четырнадцать языков и роздал ее даром. Я был горячим малым в те дни и поклялся, что ноги моей больше не будет в Англии!

— Однако вы вернулись!

— Вернулся. Я было собирался отправиться в экспедицию по пути следования армии Александра Македонского от Босфора до Гиндукуша, но в это время получил цедулку от нескольких своих арендаторов, жаловавшихся на скверное обращение с ними моего управляющего. Я сел на первый пароход, вернулся домой, установил, что мне сообщили правду, с позором уволил подлеца и с тех пор исполняю обязанности своего собственного управляющего.

Когда Тони скакал домой, он невольно улыбался, вспоминая, с какой горячностью старик излагал эту историю, в которой он, по-видимому, оказался великодушным простаком, обманутым обеими сторонами, ибо считал людей столь же бескорыстными и честными, как и он сам. Было что-то благородное в старике Скропе. Его большое тело, которому было привольно только в свободной одежде или

в бурнусе, густые пряди седых волос и широкая борода, всегда такая холеная, тонкие мускулистые руки, высокий лоб, чистый открытый взгляд под нависшими бровями, точеный нос и здоровый загар лица — все это создавало впечатление благородства. Неблагодарному критику, может быть, показались бы смешными и чрезмерная шепетильность Хенри Скропа, и его запальчивость при изложении своих взглядов, и его басистый смех. Тони все это нравилось; и даже смех, который у многих вызывал раздражение, казался ему достоинством: словно что-то в самом человеке держалось несколько в стороне и иронически посмеивалось над собственными причудами и горячностью. Было что-то благородное и в той жизни, которую вел теперь Скроп, — среди книг, трофеев, воспоминаний и традиций благородных жизней, когда олени и лошади ели из его рук, павлины с лужайки вечно воевали с индюками с птичьего двора, — и в его властном, но вместе с тем неизменно гуманном обращении со своими арендаторами. Скроп рожден был властвовать — люди радостно доверились и повиновались бы ему, — только ему не дали власти.

Подъехав к гребню длинного холма, спускавшегося к дюнам, Антони остановился, чтобы дать отдышаться коню, и обернулся назад. Большая часть долины внизу и гряда ближайших холмов за ней принадлежали Хенри Скропу. Мглистый золотой закат сулил дождь, и внезапные порывы ветра, первые предвестники приближавшей бури, проносились над возвышенностью. Сквозь деревья просвечивали белокаменный классический фасад Нью-Корта и две башенки с тюдоровской стороны дома, — Тони вспомнил, что Хенри Скроп предпочитает комнаты восемнадцатого века как «более цивилизованные, дорогой мой мальчик», хотя и перенес старинные ковры, доспехи и большие таганы в тюдоровский зал, вызывавший восхищение у всех посетителей — любителей послепрафаэлитского искус-

ства. Тонкие струйки дыма поднимались из труб ферм в безмолвной долине и уносились на восток. Синеватая мгла лежала под высокими куполообразными деревьями, а церковный шпиц и небольшая группа домов, почти скрытых листвой, указывали на присутствие деревни. В наступившем полном затишьи до Тони доносились отдаленное карканье грачей, летевших с полей, мычание стад, возвращавшихся на ночь в свои хлева, унылое бряканье колокольчиков да робкое бляение невидимого овечьего стада, где-то далеко от него на дюнах. Затем пронесся новый порыв надвигающегося шторма, который и заглушил все эти звуки в шорохе короткой травы.

Это был идеально культивированный пейзаж, полнейшая гармония. Каждое дерево, каждый куст, каждый колос пшеницы и ячменя, почти каждый стебелек травы на сочных лугах были взращены человеком. Это была не «природа» — в Англии нет дикой природы, — а земля, обработанная с трудом и любовью. Антони подумал о неогороженных полях Бельгии и севера Франции, где люди, казалось, были озабочены лишь тем, чтобы выжать последний грош выгоды из истощенной почвы, — он не видал изобилия центральной и западной Франции. Здесь, в Англии, его воображению люди рисовались более щедрыми, больше помышляющими о смысле бытия, чем о хлебе насущном, и в своем энтузиазме Тони воображал, что благородство Хенри Скропа как бы отразилось и на его земле. Неверная мысль, ибо понадобились века на ее создание. У него сжалось сердце при мысли, что эта гармония, существовавшая так долго, теперь обречена. Она стала уже наполовину паразитической, раз доходы Хенри Скропа позволяют ему снижать арендную плату и ухаживать за землей, подобно садовнику. Будущий наследник был картежник... И вместе с тем существует немилосердная конкуренция стран, где с землей обращаются как с рабыней, а не как с любимой женой.

Резкий порыв ветра чуть было не сорвал шляпу с его головы и разметал гриву лошади. Солнце почти исчезло в огромном хаосе темных туч, нависших подобно зловещим громадам. Антони повернул лошадь и поскакал домой. Когда он открывал ворота во двор Вайнхауза, уже начала падать первая дробь дождя.

После посещения старого Скропа Антони всегда чувствовал себя счастливым и как бы вдохновленным. Правда, Скроп был представителем давно минувшего поколения и единственным из знакомой Антони местной аристократии, кто не внушал ему желания избегать этих знакомств. Но ведь нужен только один вождь, а может ли быть вождь лучше этого сильного донкихота с басистым смехом? Если бы у Антони спросили, на кого он хотел бы походить, когда состарится, он, конечно, ответил бы: «На Хенри Скропа». Но даже при всем своем юношеском преклонении перед героями — это страсть, не допускающая особых возражений, — он иногда прислушивался к язвительной критике своего приятеля — другом он по совести не мог бы его назвать — Стивена Крэнга. И эта критика проникала тем глубже, что Антони не мог не признать правоты и справедливости некоторых замечаний Крэнга; и даже признавался сам себе в том, что если Хенри Скроп как бы представляет идеальное прошлое, в котором ошибки и грехи скрыты под облагораживающей патиной* времени, то Крэнг, быть может, олицетворяет голос страшно близкого будущего.

Отец Стивена Крэнга был мелким фермером из Девоншира, а мать происходила из Уэллса. Земля была неплодородная, условия жизни становились все более тяжелыми, и фермер был вынужден продать свой участок, чтобы расплатиться с долгами, и переселился в мрачный промышленный город Хэддерсфилд. Стивен, третий сын и пятый ребенок в семье, пробился в жизни исключительно благо-

даря своим способностям, добился стипендий, но вместо университетской карьеры, о которой он мечтал, вынужден был примириться с жизнью учителя начальной школы. У него были жена и ребенок, и хоть он и любил свою семью, но считал ее главным звеном цепи, приковавшей его к нищете и прозябанию. Эта раздвоенность, эта дисгармония проходили через все его существо, может быть, из-за смешанной наследственности, а также из-за разочарований и тягостей жизни. Годы, проведенные им в Хэддерсфилде, — когда он иной раз голодал, вечно в заплатанной одежде, переходившей к нему от старших братьев, вечно в нищете, шуме и грязи, — прожгли его впечатлительную душу словно адским огнем. Он не мог ни забыть, ни простить. И вместе с тем, к бесконечному удивлению Тони, Стивен ненавидел и деревню. Он насмеялся над страстной любовью Тони к лесам, дюнам и одиночеству, наполненному чудесными присутствиями. Для Стивена деревня означала длительную борьбу с упрямой землей, пронизывающими ледяными ветрами, проливными дождями, невыносимой жарой, ящуром у овец, сгнившей пшеницей, болезнями злаков и всеми муками задолженности и разорения, которые гложут сердце и душу несчастного фермера.

— Для вас деревня — просто место для и г р и з а б а в, как и для большинства из буржуазии, — говорил Тони Крэнг. — Если бы вам пришлось существовать при помощи земли, вы бы поняли, как это горько и мучительно. У вашего отца около двадцати акров, которые он превратил в место для развлечений и, — с бесконечным презрением, — в п т и ч и й з а п о в е д н и к, где разводят воздушных паразитов, обкрадывающих землю других. Если бы у него было двести акров, как вы думаете, мог бы он прожить на доход с них?

— Я этого не думаю, — ответил Антони с некоторым неудовольствием. — Он ведь не фермер. Но я не замечал,

чтобы для арендаторов мистера Скропа земля была горькой и мучительной.

— Уж этот старый набоб! У него три тысячи акров, но они тоже лишь место для прогулок. Он взимает низкую арендную плату и вечно вводит улучшения — согласен. Но делает это не за счет доходов, получаемых с земли. Он так поступает, потому что имеет деньги, и каково бы ни было происхождение этих денег, они создаются для него, непосредственно или косвенно, рабочим классом. Он субсидирует свое поместье, и это — его конек!

К сожалению, Тони должен был признать, что в этом есть, по крайней мере, доля правды. Он тихонько вздохнул. Они сидели в маленькой комнате Крэнга, все стены которой были заставлены книгами на грубых дощатых полках; книги были нагромождены и на столе, и на стульях, и на полу. Тони окинул взглядом некоторые заглавия и фамилии авторов: Ницше «Промышленная революция», «Теория денег», Ибсен, «Капитал» Карла Маркса, «Насилие» Сореля, «На пути к демократии», Макс Штирнер*, Дуркхейм, Брандее, Жорес, Рэссел — большинство из них Тони знал лишь по названию. Он снова вздохнул, смиренно подумав о своем невежестве, и честно признал, что, разумеется, он никогда не может рассчитывать быть столь же начитанным в сочинениях этих авторов, как Крэнг. Однако не был ли Крэнг просто хорошо начитан, но не образован? Книги разожгли его недовольство — а бескорыстное недовольство может быть и благородным, — но они оставили его разум в хаосе отвлеченных систем. Они закупили его чувства абстракциями и образами совершенной организации, которая в конечном итоге зависит от того, чтобы все и каждый согласился с автором и стали выполнять его заповеди. Мировые революционеры, подумал Тони, требуют более полного повиновения, чем любой деспот!

Он поднял голову и встретился со взглядом Крэнга, презрительным и вместе с тем доброжелательным. С чувством невольного сострадания Антони узнал о горьких годах незаслуженных страданий по острому бледному лицу Стивена, со впалыми щеками, печальными, трагическими глазами и резкими линиями вокруг рта, которые придавали ему презрительный и озлобленный вид. Через несколько лет Антони увидел тот же самый взгляд, но еще более глубокий, более трагический и лишенный злобы, на лицах солдат, возвращавшихся с фронта, и вспомнил Стивена, для которого жизнь всегда была своего рода постоянной войной с убожеством. Правда, в Крэнге были и мягкость, и доброта, но они целиком относились к страдающему народу, с которым он провел свое детство и юность. К тому же, что он называл «системой» и «эксплуататорами», он питал страшную и пылкую ненависть и презрение. Однако тут, как инстинктивно чувствовал Антони, наблюдалось какое-то безнадежное несоответствие. Крэнг не любил этих страдальцев как человеческие существа и уклонялся от общения с ними; ему нужно было использовать их обиды и страдания как аргументы для своего собственного недовольства, и он в лучшем случае стремился внушить им с в о ю точку зрения на то, что является лучшей жизнью. Но в действительности Крэнг явно предпочитал общество Тони обществу любого из крестьян или рабочих из Хаддерсфилда или своих собственных братьев. И испытывал смущение от польщенной суетности, когда его посещал Хенри Скроп, как бы Крэнг потом ни притворялся, что он презирает «старого набоба».

Несмотря на такое непримиримое различие, может быть, объясняющееся просто различием темпераментов, Антони с удовольствием слушал Стивена Крэнга и учился у него. Во всяком случае он осознал, в каком его держали грубом

неведении относительно более низменных фактов общественного строя. Но что-то в Крэнге его отталкивало — казалось, тот все умалчивает и сводит всю жизнь к вопросу о пропитании. Совершенно естественно, думал Антони, что неимущие, но умные люди, видя, что их ум не находит применения из-за их бедности, видя также могущество денег, начинают считать экономику началом и концом каждой проблемы. Он никогда не рассказывал Стивену о своих молчаливых восторгах при свете солнца и, разумеется, никогда даже и не намекал о том блаженном мире, к которому он прикоснулся через Эвелин; но его вера в жизнь чувств иногда колебалась перед едкой горечью Стивена. Когда тот говорил об убожестве и ограниченности деревенской жизни или указывал с какой-то язвительной веселостью на то, что в природе ведется постоянная война, что каждое дерево, растение и животное яростно борется с другими, пожирая или будучи само пожираемо, Тони иногда спрашивал себя, не погряз ли он в каких-то сентиментальных мечтах? Ему вовсе не хотелось походить на ту артистически настроенную даму, которая горько жаловалась, что Флоренция п о г и б л а: ведь там построили фабрику! И тем не менее все его инстинкты громко провозглашали, что его жизнь чувств — это истинная жизнь, а жизнь Крэнга, состоявшая из отвлеченностей, систем и лозунгов, на основе ненависти и зависти вместо любви и доброты, — это жизнь ложная. Тони столько же знал о жестокости природы, сколько и сам Крэнг, начиная с ястреба, бросающегося на скворца, хорька, разрывающего острыми зубами визжащего кролика, и кончая оводом, который откладывает яйца в личинку, парализованную его укусом и обреченную на съедение живьем. Но в те минуты, когда Тони, современный нимфолепт*, бывал вне себя от экстаза, весь этот ужас растворялся в живой гармонии. Несомненно, и среди людей бывают и ястреба, и хорьки, но либо они должны перестать

быть ястребами и хорьками, либо же надо бросить хвастовство о том, что человеческое общество построено на более благородных законах и с более утонченными инстинктами.

— Не следует смешивать французскую революцию с революцией промышленной, — однажды сказал с раздражением Крэнг. — Французская революция была политической и закончилась подменой короля и знати буржуазией. Никогда она по-настоящему не влекла за собой ни социальных, ни экономических перемен. У Гракха Бабефа были проблески истины, как впоследствии у Сен-Симона, но Бабефа убили, а Сен-Симон так или иначе устарел в наши дни, подобно Фурье и Луи Блану*.

Тони не ответил на это. Эти имена ему ничего не говорили, но он чувствовал, что Сен-Симон Крэнга не может быть тем спесивым герцогом, чье кривляние, поза и ехидство так сильно забавляли Хенри Скропа. Поэтому он молчал, а Крэнг продолжал говорить.

— Промышленная революция была совсем иным телом. Она зародилась в Англии, хотя и захватила весь мир. Она выразилась в замене старых кустарных ремесел фабрикой и машиной. Но не воображайте, что кустари-ремесленники жили в каких-то грезах, — продолжал раздраженно Стивен, видя, что Тони собирается заговорить. — Они жили в лачугах, целые семьи работали по четырнадцать, по пятнадцать часов в день, чтобы только прокормиться, а английские джентльмены, которыми вы так восхищаетесь, еще хотели обложить налогом их грошовые заработки.

— И обложили их? — спросил Тони.

— Нет, — ответил неохотно Стивен. — В том случае, который я имею в виду, этого не было сделано. Некто Коупер* выразил протест, и от налога отказались.

— Коупер, поэт?

— Да. Но их немилосердно эксплуатировали, и они жили в чудовищной нищете. Когда были введены машины в текстильной промышленности, рабочие взбунтовались и сожгли их. Рабочих расстреляли, а машины снова поставили, на этот раз навсегда. Люди стекались в фабричные районы со всех концов страны, отчасти потому, что там заработок был выше, а отчасти потому, что все заразились от хозяев жаждой быстрой наживы. Вот дураки! Как будто можно разбогатеть, работая на кровопийц! Когда у рабочих бывали заработки, они их пропивали, чтобы забыть свои невзгоды; когда же бывали без работы, они вместе со своими детьми голодали. Да, скажу вам, история промышленной революции — отвратительная штука! Известно ли вам, что маленькие дети работали в рудниках вместо шахтерских лошадей? Разумеется, вы этого не знали! Вы, буржуа, никогда не знаете о тех преступлениях и страданиях, которые создают ваши деньги. *Non olet*¹. Брр!

Антони с любопытством глядел на Крэнга, несколько пораженный горячностью, хотя и немного отгалкиваемый ею, но вместе с тем тронутый тем личным страданием, которое она обнаруживала. Бледное лицо Стивена стало еще бледнее, его уэллские глаза горели, а оттянутые назад губы обнажали зубы. Казалось, им овладел припадок ненависти. К удивлению Тони, сила этих переживаний не производила на него почти никакого впечатления, может быть, оттого, что полная потеря самообладания была ему противна. Но в то же время он подумал, что глубокая неприязнь и обиды, порождающие такую ненависть, конечно, должны объясняться вескими причинами. Чтобы дать Стивену время прийти в себя, он мягко сказал:

— То, что вы мне рассказываете, я уже знал отчасти, хотя ваши личные переживания, естественно, заставляют

¹ «*Pecunia non olet*» — «деньги не пахнут» — так сказал римский император Веспасиан (69—79 гг. н. э.), когда его сын протестовал против введения налога на мочу.

меня острее чувствовать несправедливость. Не моя вина, что я родился в таком классе и в такой части страны, где эти факты не поняты. Я отказываюсь считать своих родителей «кровопийцами» или поверить, что они каким бы то ни было образом непосредственно ответственны за те ужасы, которые вы описываете. Их ошибка заключается в их же достоинствах — они слишком благородны и доброжелательны, чтобы поверить, что страдания причиняются ради материальной выгоды. И если в мире не все благополучно, они верят, что это будет исправлено. Кроме того, описываемое вами положение дел относится к уже далекому прошлому, а совестливый голос, повествовавший о нем, дошел до класса буржуазных художников, слова которых вы так презираете, — Соути*, Шелли, Элизабет Броунинг*, Рескина и Уильяма Морриса.

Тони говорил только для того, чтобы дать Крэнгу возможность овладеть собой, и замолк, увидав, что это ему удалось. Единственные слова, которые Стивен запомнил, была фраза о делах прошлого. Он заговорил с каким-то истощенным спокойствием, подействовавшим на Тони сильнее, чем прежняя страстность.

— Дела прошлого? Но удивляет ли вас, что память о них еще растревляет душу? Будь вы рабочим в каком-нибудь промышленном городе на севере, вас это не удивило бы. Все же надо признать, что некоторые из самых диких условий изменились, благодаря тред-юнионам.

— А кто навел их на мысль о тред-юнионах? — спросил Тони. И затем, так как Стивен не ответил, добавил: — Вы говорили, что современные условия жизни рабочих хуже, чем когда бы то ни было. Верно ли это исторически?

Стивен вспыхнул, и его карие глаза опять засверкали, но он сдержался.

— Логическими рассуждениями не поможешь, Кларендон. Прежде всего, наше так называемое гуманное законо-

дательство — фарс. Правда, трудом детей уже нельзя пользоваться, но ничего не делается, чтобы возместить потерю их заработка. Предполагается, что мать, работающая на фабрике, пользуется четырехнедельным отпуском — без содержания. И, конечно, она возвращается на работу при первой же возможности. Все это замазывание истинного положения вещей ничего не стоит. Нужно изменить всю систему. Должна быть общественная собственность на средства производства, на распределение и на обмен.

Тони ужасно не любил этих стереотипных фраз, которые, в его представлении, были политическими лозунгами, звучащими грандиозно, но представляющими полумысли-полуистины. Он сказал:

— Это влечет за собой превращение половины общества в государственных чиновников. Вам нравятся бюрократы? А на каких же принципах вы будете производить и тому подобное?

— Мы будем производить по потребностям, а не ради прибыли.

Еще одна фраза! Тони продолжал атаку:

— А как вы будете определять потребности?

— Каждому по его потребностям и от каждого по его способностям.

— А как быть, если общая сумма потребностей значительно превысит общую сумму способностей? Лично я лишь посредственно добродетелен. Мне кажется, мои потребности будут изрядно высоки. В моем случае это означало бы, что я отдам свое пенни и прикарманю ваш шиллинг.

— Государство скоро расправится с вами, — мрачно заметил Стивен.

— Принуждение! Но ваша система сразу же разваливается: мои потребности остаются без удовлетворения.

— Они будут удовлетворяться в пределах справедливости.

— Кем устанавливаемой? Каким-нибудь государственным департаментом? Благодарю покорно!

— С экономической точки зрения вы паразит, — сказал Стивен, — и как таковой вы, естественно, будете сметены. Вы несправедливо извлекаете выгоду из существующей гнилой системы и, разумеется, не хотите, чтобы она была изменена. Но она будет изменена, вопреки вам и вашему классу! Все ваши доводы не могут скрыть того факта, что народ в цепях, в цепях невежества, нищеты, труда и безысходности. А как сказал Руссо, человечество — это народ, остальных так мало, что они в счет не идут.

— Значит, Руссо был несправедлив к самому себе, ибо он совершил больше, нежели десять миллионов крестьян. Все настоящие достижения человечества создаются исключительными личностями, вождями. Ваш мир бюрократов уничтожит их, и мы застынем на месте, а застой означает регресс. Различие между нами заключается в том, что вы рассматриваете человечество с количественной, а я с качественной точки зрения.

— Итак, вы считаете, что на свете все благополучно? — презрительно спросил Стивен.

— Нет, — ответил Тони, поднимаясь, чтобы уйти. — Откровенно говоря, я этого не считаю. Я верю вам и своим собственным глазам и ушам, которые показывают мне, что многое неблагополучно. Но я считаю, что меньшие должны служить большим. Качество общины определяется качеством ее вождей и характером повиновения, которое им оказывается. В своих расчетах вы упускаете почти все, что есть человеческого в людях. Вы рассматриваете людей только как экономические единицы с несколькими элементарными потребностями, которые подлежат удовлетворению. Вы отбрасываете все надежды, желанья, стремления, восторги, трагедии, комедии, великолепия и неудачи человечества — словом, все, что делает жизнь интересной и яр-

кой, — и предаете нас посредственности комитетов, которые будут возвращать нас в городах-садах и кормить лучшим сортом стерилизованного молока и пьесами Бернарда Шоу. К черту и комитеты и системы! Народ должен идти за своими естественными вождями, за людьми, подобными Хенри Скропу...

— Ага! — иронически прервал Крэнг. — Так я и думал, что мы вернемся к старому дворянству. Сноб всегда остается снобом. Ну что ж, наслаждайтесь, пока это длится, — только длиться это будет недолго!

Антони вспыхнул от досады, но не стал спорить и простился. Ему не хотелось дать Крэнгу повод вывести себя из терпения. По дороге домой он пытался понять, почему это, покидая Крэнга, он всегда чувствует себя подавленным и несчастным, между тем как Хенри Скроп всегда его вдохновляет, всегда вселяет в него чувство, что жизнь — увлекательное приключение, стоящее всех горестей ради радостей. Не оттого ли это, как говорит Крэнг, что они несправедливо пользуются рабским положением других и потому не хотят расставаться со своими привилегиями? Тони старался подавить такую мысль — она была ему неприятна. Он допускал, что его возражения против доводов Крэнга были любительскими и незрелыми, но все же чувствовал, что должен придерживаться своих внутренних убеждений. Одно из них заключалось в том, что оба они допускают ошибку, стремясь подогнуть человечество к теориям, вместо того чтобы разрешить человечеству развивать свои собственные принципы и методы. Ему было смешно вспомнить, как серьезно они взяли на себя роль непризнанных законодателей человечества. И как мало каждый из них в сущности знает! Уж эти любители-диктаторы! У Тони мелькнула мысль, что социальные реформы следовало бы начать со своего дома, но даже и она заставила его тревожно задуматься над тем, как сложна подобная задача.

* * *

Несколько дней спустя Антони отправился в Нью-Корт и повез туда свои незрелые сомнения о борьбе с проблемой, которая была ему не по силам. Он нашел Хенри Скропа сидящим на лужайке под громадным кедром, в дубовом кресле резной работы. Его колени были покрыты пледом, а возле него стоял столик, на котором лежали несколько книг и ручной колокольчик.

— Я видел, как ты скакал по парку, — окликнул Скроп приближавшегося Антони, — и позвонил, чтобы принесли еще кресло. Сейчас его принесут. Как живешь? Надеюсь, родители здоровы?

Огромная борзая неожиданно появилась из-за дубового кресла, обнюхала следы Тони своим длинным изящным носом, затем весьма живописно села у ног старика, явно выражая всем своим видом: «Надеюсь, ты понимаешь, какие я прилагаю колоссальные усилия ради твоей защиты?» Хенри Скроп погладил ее по голове, а Тони уселся в принесенное ему кресло. После обычных предисловий Тони довольно робко изложил суть своего последнего спора с Крэнгом. Старик слушал внимательно.

— Крэнг? — сказал он. — Парень озлоблен, он сам с собой не в ладах. Ну что ж, пусть ответит душу — это никому не повредит, кроме него самого. И я в свое время отводил душу. Я к этому парню неплохо отношусь.

Тони это удивило, как и легкомысленный тон Скропа. Он почему-то убедил себя, что очень многое зависит от отношения человека к подобным проблемам.

— И я к нему неплохо отношусь, — ответил он, — но он меня волнует, выводит из равновесия, и потом он такой язвительный, такой резкий, такой завистливый.

— А почему бы ему тебя чуточку не встряхнуть? Если бы нам довелось жить его жизнью, не сомневаюсь, что мы тоже были бы завистливыми!

— Значит, вы согласны с ним? — воскликнул с удивлением Тони.

— Нисколько. Его отношение — это естественный результат его жизни, как и мое — результат моей. — Затем, видя, что Антони немного задет его несерьезным тоном, он ласково добавил: — Дорогой мой мальчик, ты ищешь абсолютного в этих вопросах, как и во всем другом. Так и должно быть! Это привилегия молодости. Требовать абсолютной справедливости для всего человечества — благородная мечта, но она только мечта. Нельзя сшить кошелек из свиного уха и нельзя создать идеальное общество из отъявленных негодяев, какими мы все являемся. Человеческое общество — старо, оно беспорядочная мозаика поколений. Крэнг хочет соскоблить ее и начать все сызнова. Будь я в твоём возрасте, я, пожалуй, согласился бы с ним. Но сколько бы он ни скреб, у него будет все тот же материал — человеческие существа.

— Вы несколько уклоняетесь от прямого ответа, — сказал недоуменно Антони. — Разве вы не согласны с тем, что на свете много зла? Разве вам не кажется, что мы все должны бороться с ним?

Хенри Скроп засмеялся и погладил голову собаки.

— Видишь ли, мой милый мальчик, это проблемы для высококвалифицированных специалистов, а не для тебя, меня и первого встречного. Лично я в такой же мере не доверяю специалистам, как и всякому другому, а в особенности не люблю людей, которые желают нас умчать в Утопию на том основании, что они прочли несколько учебников. И я не верю в какое-либо настоящее улучшение: обычно это сводится к тому, что получаешь два полупенса за один пенс, а то и за все шесть пенсов!

— Я говорил Крэнгу, что не верю в его отвлеченные системы и в его взгляд на человечество, словно все люди как две капли воды похожи друг на друга. Я сказал ему, что нам нужны вожди, люди вроде вас!

— Ха, ха! — захохотал Скроп. — Ха, ха, ха! Очень мило с твоей стороны, дорогой мой мальчик, но должен тебе заметить, что я неисправимый самодур, трусливый и бесхребетный, и совершенно неспособен вести кого бы то ни было куда бы то ни было. Но хватит, оставим это! Что ты собираешься делать теперь по окончании школы?

— Сам не знаю, — нерешительно сознался Антони. — Я не особенно преуспевал в школе.

— Совершенно верно, — прервал Скроп, — прилежные ученики — тупицы. Мелкая почва воспринимает схоластическое семя, но глубокую почву приходится поднимать, выкидывая камни.

— Меня не выкинули, — сказал Тони со слабой попыткой на каламбур, — но я не слишком блестяще кончил. Отец считает, что мне нет смысла идти в университет, раз у меня нет научных склонностей.

— Благодарю за это свою звезду, — сказал с чувством Скроп. — Просвещенные ремесленники, милый мой мальчик, и вдобавок еще педанты. Что бы тебе хотелось делать в жизни? Есть у тебя какая-нибудь мысль?

Антони вспыхнул.

— Я бы хотел созидать, — сказал он робко. — Я... пожалуй, я думаю, я мог бы стать архитектором!

— Архитектором! — воскликнул Хенри Скроп в изумлении. — Но ведь это же только другая форма ремесла в наши дни! Тебе не поручат воздвигнуть собор Святого Петра или Эскориал — тебе придется строить мясные лавки и шеренги дач. — Затем, увидя замешательство Тони: — Но мы все мечтаем. Когда я был в твоём возрасте, я разъезжал по Венеции в гондоле, в черном плаще и воображал, что я большой гений, чем Байрон. Таким дураком ты не будешь, ха, ха!

Антони невольно подумал, что старые люди, даже и славные, всегда немного обескураживают.

— Все это нелегко, правда? — спросил он.

— Не стоит падать духом. У тебя уйма времени. Знаешь что, ты прожил восемнадцать лет своей жизни в Англии — почему бы тебе не попросить отца, чтобы он отправил тебя путешествовать? Взгляни на Европу, затем уезжай подальше. Пока человек не побывал на Востоке, он не знает жизни.

— Я подумывал об этом. Я даже просил отца разрешить мне поехать...

— Куда?

— В Париж.

Хенри Скроп взглянул на него:

— В Париж, вот оно что? А почему именно Париж?

Антони покраснел и не мог скрыть своего смущения.

— Мне казалось, что это самое подходящее место, — сказал он неловко. — Ближайшая большая столица и...

— Каждому следует повидать Францию, в особенности потому, что французскую цивилизацию и французскую жизненную силу недооценивают в Англии. Но не воображай, что Париж — это Франция, и не наделай там глупостей.

Видя, что Тони не отвечает на его скрытые намеки, он продолжал:

— Советы стариков молодежи — не только пустая трата времени, но и дерзость. Каждое поколение считает себя совершенно отличным от своих предшественников, а в конце концов оказывается таким же. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что заблуждался, то же самое увидишь и ты в моем возрасте. Но ступай же и заблуждайся! Такова жизнь. Не думай, что можно стать совершенством, — им все равно не станешь. Выработывай себе характер, чтобы в минуту испытания — а она настанет — встретить ее как человек. Не обольщайся общими идеями и высокопарными абстракциями. Путешествуй, повидай мир, узнай, что такое

люди, работай над тем, что тебя интересует, влюбляйся, валяй дурака, если понадобится, но делай все это с увлечением! Самое главное — прожить свою жизнь с увлечением! Быть может, существуют еще и будущие жизни, но если они наступят, то ты их тем более заслужишь, чем полнее проживешь настоящую жизнь. Избегай нытиков. Ну вот, проповедь окончена! Теперь скажи мне, что я старый ворчун.

VII

Едва ли надо было учить Антони, что жизнь следует прожить с увлечением; собственно говоря, Скроп оказал бы ему услугу, поведав, что в мире, где главная цель нажива и где, вследствие этого, все еще процветает всякого рода фальшь в поступках и в мыслях людей, за увлечение жизнью приходится платить слишком дорого. Но как бы там ни было, даже самого ревностного поборника «*joie de vivre*»¹ удовлетворило бы то острое возбуждение, которое испытывал Тони, когда поезд, оставив за собой предместье Парижа, торжественно прогремел по железному мосту у Аньера и медленно подошел к станции с громким шипением и самодовольными вздохами паровоза.

В течение последних пятнадцати минут своего путешествия Тони стоял у окна пустого вагона третьего класса, со шляпой на голове и с чемоданом, лежавшим подле него на скамейке, и ему так не терпелось поскорее приехать, что он почти не замечал окружавшего убожества, несуразных массивов высоких строений с голыми, неотделанными стенами, которые были облеплены объявлениями и возвышались на месте садов, когда-то принадлежавших старинным

¹ Радости жизни.

белым домикам с зелеными ставнями. У Тони не было ясного представления о том, что он будет делать и увидит в Париже, и он сознательно воздержался от составления точного плана своего времяпрепровождения, как на этом настаивал отец. Точно так же его нисколько не радовала перспектива предъявить свои рекомендательные письма другу отца, знаменитому профессору College de France, или даже другу Скропа, графу де Руссиньи-Перенкур, который жил возле площади Звезды. Париж был авантюрой, первой настоящей авантюрой Тони, несомненно сулившей ему какие-то новые и, конечно, восхитительные переживания. И потом, он ведь увидит Маргарет — об этом он никому не сообщал, даже своей матери. Мысль об этом преисполнила его смущением, когда старик Скроп шутя предостерегал его не делать глупостей в Париже. Удивительная вещь, подумал Тони, что даже самые славные старики всегда предполагают, будто юноши только и жаждут побывать в публичном доме!

Носильщики в синих блузах, с огромными усами и низкими, зычными голосами, поспешно отбирали безупречные чемоданы из свиной кожи у английских милордов из первого класса, внезапно принявших специфически английский вид от сознания собственного превосходства. Тони прошел мимо них, сам неся свой чемодан, и нанял фиакр вместо такси. Экипаж был ярко-желтый с синими подушками, а для глаз, привыкших к английским извозчицким лошадям, кляча казалась маленькой и тщедушной. Впрочем, фиакр довольно быстро покатился по булыжной мостовой после того, как Тони, к своему безграничному стыду, был вынужден написать название гостиницы на бумажке, так как возница не мог понять его произношения. Тони заметил неуловимо своеобразный запах Парижа — марсельское мыло с примесью кофе и чеснока, — высокие

дома с белыми ставнями, деревья на улицах, неожиданные просветы, более чистый воздух, скорость уличного движения и неистовую перебранку между извозчиками и шоферами такси на перекрестках. Но все впечатления были смутными и похожими на сон, и Тони уже доехал, не успев еще прийти в себя, чтобы все это оценить.

Отель на улице Риволи, рекомендованный ему отцом, был, разумеется, слишком большим, слишком дорогим, слишком шумным — везде красный плюш, позолота, бронза и тяжелые портьеры. Тони тотчас же решил поискать другой, но взял комнату, чтобы переночевать. Помывшись и переодевшись, он стал внимательно изучать план Парижа. Да, Университетская улица находится на противоположном берегу реки, по ту сторону сада, видневшегося из окна. Выйдя снова на улицу, Тони почувствовал теплоту, которая, казалось, проникала сквозь его легкую одежду и ласкала кожу. Сад был тоже своеобразный, с рядами одинаково подстриженных деревьев, несколькими редкими клумбами, но многочисленными фонтанами и статуями. Люди расхаживали по саду, некоторые торопливо, но большинство с видом гуляющих; было много детей, игравших спокойно и тихо, словно они уже родились благовоспитанными. Тони на минуту остановился, чтобы поглядеть на карусель для совсем маленьких детей, которые сидели с торжественными и немного испуганными лицами на лошадках и поросятах, пока старик с немного угрюмым видом вертел колесо, приводившее карусель в движение. Тони подумал, что он им больше дал бы за их полпенса, и решил, что вот было бы замечательное занятие для его старости! Затем, пройдя наискосок через сад, он увидел перед собой обширный двор Лувра, с нарядным фасадом дворца и высокими черепичными крышами, а обернувшись назад, обнаружил, что перед его глазами открывается огромная перспектива вплоть до самой Триумфальной

арки. Благодество линий и форм произвело на него глубокое впечатление.

Продолжая идти, он пересек набережную, тенистую от деревьев и шумную от движения, и с удивлением увидел громадный паровой трамвай с сиденьями наверху, обращенными по обеим сторонам наружу, который, пыхтя, пробивал себе дорогу — в Версаль, если только не обманывали надписи. Тут Тони понял, что в свое время здесь произошла революция. Посреди моста он снова остановился, чтобы поглядеть на реку. Позади него солнце садилось в огромном золотом зареве; над головой с криком носились стрижи по небу особенно нежной синевы, чистой голубизны Иль-де-Франса*; перед ним мерцала солнечными бликами река с караваном тяжелых коричневых барж, медленно плывших за маленьким буксиром, распутившим хвост дыма, и с двумя длинными белесыми речными пароходиками, со множеством пассажиров, скользившими почти бесшумно. Обращенный к реке фасад Лувра почти утопал в освещенной солнцем зелени, а светло-серые башни собора казались коленапреклоненными среди вершин деревьев. За деревьями, направо, возвышался купол изысканных пропорций, который выглядел каким-то южным и итальянским в ярком свете. Если бы только этот великолепный вид не перерезался железным пешеходным мостом: серьезный, непростительный промах для народа, умеющего планировать с таким ясным, четким величием.

Немного усталый от поездки, немного ошеломленный обилием света, шума и эмоционального восприятия такого огромного количества новой красоты, Тони был рад, когда наконец очутился в прохладной темной гостиной пансиона, в котором остановилась Маргарет. Комната казалась переполненной всевозможными предметами, все имитации «стиля Людовика XV», за исключением часов и

подсвечников с бронзовыми сфинксами, явно псевдоампирными, и подушек, скатерти и кружевных чехлов на креслах, несомненно, девятнадцатого века. Это было первое знакомство Тони с рыночным, или «дворницким», стилем мебелировки, столь любимой французами, но неприятно поражающей после английского стиля там, у себя дома...

Послышалась английская речь:

— Итак, вы здесь! Когда приехали?

— Маргарет!

Он пожал прохладные пальцы, когда она как-то робко с ним поздоровалась, вытянув руку, словно желая удержать его на некотором расстоянии от себя. Они уселись у противоположных сторон стола, и Тони заметил, что на Маргарет коричневато-красное платье с короткими рукавами, обнажающими до локтя ее белые тонкие руки. Она заговорила:

— Я, право, не ожидала вас здесь увидеть. Вы давно в Париже?

— Я приехал сегодня. О Маргарет, ведь я же сказал вам на вечеринке у леди Ходжсон, что приеду, если вы будете здесь, и написал вам, что еду. Разве вы не получили моего письма?

— Могла ли я знать, что вы говорите серьезно? — Она нервно рассмеялась. — Что вы предполагаете здесь делать?

— Прежде всего я надеялся видеть вас.

— Ну вот вы меня видите! — Ее смех снова прозвучал немного нервно и искусственно. — Надеюсь, вы не предприняли такого путешествия только ради этого?

— Я вполне на это способен, — спокойно ответил Тони.

Его возбуждение падало с такой же быстротой, с какой птица летит с высоты на землю. Он понял, что слишком много ждал и возлагал слишком много несбыточных надежд на эту встречу. Маргарет его дум была воображаемой Маргарет, которая всегда поступала и чувствовала так, как

ему хотелось, тогда как настоящая Маргарет все это время жила будничной жизнью, чистила по утрам зубы и брала уроки музыки. В течение всех этих недель он мечтал о необычайном, неслыханном блаженстве, а сейчас между ними была уродливая скатерть, и они сидели, ведя пустую беседу, почти что чужие. «Глупец, — сказал он себе, — помни это, глупец, никогда не рассчитывай, что другие разделят твои чувства или будут созвучны твоим настроениям». Он услышал голос Маргарет:

— Во всяком случае тут есть что посмотреть, и я полагаю, вы найдете много друзей. Как долго вы здесь будете?

— Это зависит от обстоятельств, — ответил Тони, чувствуя в этот момент, что он не прочь был бы уехать на ближайшем пароходе, — но я, собственно, надеялся, что мы сможем походить вместе и все повидать. Не могли бы вы пообедать со мной сегодня?

— Боюсь, что не сможем! — воскликнула Маргарет. — Видите ли, мы обедаем с Уэзерби, а затем поедem в оперу. Но, может быть, я смогу позавтракать с вами как-нибудь на этой неделе. Я спрошу у мамы.

— Ваша мать здесь? — спросил Тони с некоторым унынием.

— Ну конечно! Неужели вы думали, что я приеду в Париж одна? — В ее тоне послышался намек на что-то невыразимо гадкое.

— Нет, конечно, нет, — поспешно и малодушно сказал Тони, хотя про себя подумал: «А почему бы ей и не приехать одной? Разве она не взрослый человек?» Он почувствовал, и, по-видимому, не без основания, что эта мысль была бы принята не слишком благосклонно.

— Позвольте, я должна сообщить, — сказала Маргарет со светски важным видом, который был неприятен Антони, — сегодня понедельник. Я знаю, что мы приглашены

на завтрак завтра и в пятницу, и, кажется, мама получила еще приглашение на среду. Таким образом, я, вероятно, могла бы прийти в четверг. Я пойду и спрошу у нее.

Тони открыл ей дверь, и Маргарет с горделивым видом, прошелестев платьем, вышла из комнаты, а он почувствовал двойной удар в сердце — от ее красоты и чудесной молодости и от ее глупой позы превосходства. Какая наглость! Он вернулся к своему креслу, и смутный гнев овладел им.

«Право, что за дерзость! Но надо в этом разобраться. Страдаю ли я просто от уязвленного самолюбия и разочарования, или же она действительно пытается унижить меня? Я почти склонен объявить ей, что никак не смогу освободиться в четверг, — но нет, это было бы слишком прозрачно и мелочно. Нужно быть осторожнее. Никогда, никогда я не буду больше раскрывать свою душу так искренно и чистосердечно. И все же — как она прекрасна!»

Лифтер в форменной одежде открыл дверь, и вошла Маргарет. Антони встал и так и остался стоять.

— Мама просит извинить ее, что она не сошла вниз, но она как раз переодевается. Я могу прийти в четверг, а потом мы могли бы пойти на концерт, который состоится днем в Зале Плейель. Если вы хотите идти, то лучше купите билеты сейчас же, потому что во время этих концертов зал обычно бывает переполнен.

Антони был немало изумлен такой бесцеремонной уверенностью в бесплатном развлечении — а он-то рассчитывал быть чрезвычайно бережливым, чтобы иметь возможность как можно дольше пожить в Париже. Но он тут же решил, что нет иного исхода, как поступать вполне по-светски. Он вынул карманный календарь, стараясь скрыть от нее, что все страницы в нем еще совершенно чисты, за исключением одного слова «Маргарет», написанного под сегодняшним числом, и сказал:

— Хорошо. В четверг. Я приеду за вами в полдень — с билетами.

Маргарет заметила перемену в его тоне и полузастенчиво сказала:

— Ужасно приятно снова встретиться с вами, Антони.

Он полунасмешливо поклонился и ответил:

— Все удовольствие досталось мне.

Он знал, что она это поймет, — они вместе смеялись на балу над одним жеманным старым щеголем, который твердил эту бессмысленную фразу каждой женщине в зале. Не дожидаясь ответа, Тони открыл дверь перед Маргарет, пропустил ее вперед и в большом белом с золотом вестибюле небрежно пожал ей руку, промолвив:

— До свидания!

И больше ничего. Хотя он и знал, что она глядит ему вслед, но не обернулся и не взглянул на нее.

Антони вынужден был признать, что его мечты об упоительных днях с Маргарет в Париже потерпели крушение, но все же он не чувствовал себя несчастным. Он вполне разумно отдавал себе отчет в том, что другие юноши и девушки не пользуются свободой, которая для него стала столь же естественна, как воздух; и в конце концов, едва ли Маргарет виновата, если ее родители настаивают на том, чтобы она вела себя как светская барышня, а не как человеческая личность. И хотя с этим было труднее согласиться, однако приходилось признать, что сам он считал истинными и необходимыми те ценности, которые отнюдь не воспринимаются как таковые другими людьми. Он много думал над этим и наконец понял, что тот, кто намерен попробовать жить полной жизнью исключительно ради самой жизни, жить «с увлечением», неминуемо будет разочаровываться в своих взаимоотношениях с другими. Что не помешало ему и впредь совершать ту же самую ошибку.

Первой его мыслью было перебраться из претенциозного отеля, который, в довершение всего, раздражал его своим напыщенным сходством с пансионом Маргарет — второклассным пансионом, переряженным в первоклассный отель. На одной из боковых улиц левого берега он нашел маленькую комнату в самом верхнем этаже не слишком грязного «*hotel garni*». Правда, комната была очень мала и в ней было всего лишь одно крохотное оконце, но зато из него виден был почти весь Париж, а кроме того, она стоила только один франк в сутки. Тони почувствовал себя удовлетворенным и даже добродетельным — при мысли, что он живет в комнате, которая стоит всего лишь один франк в сутки. Какой смысл платить в шесть и десять раз дороже за псевдомеблировку и жадных до чаевых джентльменов в ливрее? Он уложил белье и платье в ящики небольшого желтого комода, разложил на столе книги, купил цветов и решил, что ведет такую же романтическую жизнь, какая описана в «Луизе». Только никакой Луизы не было, что его не особенно огорчало. Если бы Маргарет... Но раз Маргарет не хочет или не может, то лучше он будет жить в одиночестве.

Возможно, что он чувствовал бы себя несколько одиноким, если бы не случайная встреча. Он предъявил письмо отца профессору, и тот повел его в кафе, весьма торжественно заговорил об исследованиях его отца, называл Антони «*jeune homme*»¹ и, по-видимому, обрадовался, когда тот отказался от приглашения на обед. Тони не стал навязываться на это знакомство и даже решил не подвергать себя риску подобного же приема у графа де Руссиньи. При их втором свидании Маргарет была очень мила, но, пожалуй, немножко расточительна и взыскательна. Ему пришлось повести ее в большой ресторан вблизи Елисейских

¹ Молодой человек.

Полей, где, разумеется, было прелестно, но зато обед стоил почти столько же, сколько десять обычных обедов Тони. После концерта они поехали кататься в Булонский лес, и Антони настолько позабыл о своем решении быть сдержанным, что держал ее за руку. Они расстались гораздо более дружески, и Маргарет обещала провести с ним почти целый день в Версале.

Тони старался не думать о ней и, в особенности, пытался не возлагать слишком больших надежд на эту версальскую поездку, но ловил себя на том, что постоянно думает о Маргарет, находится ли он в Лувре или в музее Карнавале*, сидит ли он под деревьями Люксембургского сада или же гуляет после заката солнца вдоль реки. Все же, несмотря на испытываемую от этого радость и на специфическую радость, как бы излучавшуюся от приятной парижской жизни, он стал чувствовать себя немного одиноким. Среди всех этих людей одиночество казалось ему фальшивым, и хотя толпа создавала непрерывно движущееся, блестящее зрелище, все же для того, чтобы действительно быть счастливым в одиночестве, нужны тишина лесов, полей и холмов и боязливые движения диких тварей. В тот вечер он долго сидел в кафе, то наблюдая за прохожими, то почитывая томик Бодлера, купленный им в ларьке под «Одеоном»*, а затем совершил большую прогулку вдоль обоих берегов Сены, глядя на отраженные огни, мелькавшие на воде наподобие светлячков, и прислушиваясь к мягкому шелесту листьев в темных ветвях над головой.

На следующее утро он сосредоточенно разглядывал «Сельский праздник» Джорджоне*, отчасти, конечно, из-за побочных переживаний, навеянных на него сонетом Россетти, но отчасти и с истинным наслаждением. Ощущение идеального момента в жизни, гармоничность пейзажа с нагой женщиной, все еще внимающей игре на лютне, ког-

да последний звук ее уже замер в полуденной тиши, заставили его подумать, что Джорджоне воспроизвел здесь в красках, на более совершенном примере, его собственные настроения восторженного созерцания красоты в одиночестве. То была утонченная, загадочная поэзия, но с самоуверенностью молодости Антони казалось, что он нашел разгадку к ней... Он слегка вздрогнул, почувствовав, что кто-то рядом смотрит на него. Быстро взглянув, он увидел высокого, довольно бедно одетого юношу, на несколько лет старше себя, с нелепым высоким воротничком, копной светлых волос и изумительно синими глазами. Тони с английской надменностью уже хотел было отвернуться, но тут юноша улыбнулся, и в этой улыбке было что-то такое, какая-то такая смесь дерзости, привлекательности и печали, которая заставила Тони тоже улыбнуться.

— Вам это очень нравится? — спросил юноша, полудружески-полунасмешливо.

— Да, — ответил Тони и затем, сам не зная почему, добавил: — Картина как бы растолковывает мне самого себя, словно мне тоже удалось мельком уловить совершенство, которое он видел так ясно и полно.

Юноша опять улыбнулся, и снова Антони не мог сказать с уверенностью, дружеская ли это или же насмешливая улыбка.

— О да, — сказал он небрежно, все еще глядя на Тони, а не на картину. — Да. Она безупречна, разумеется, но слишком отвлеченна и идеалистична, слишком искусственна. Знаете, она напоминает «Королеву фей» Спенсера*...

— Неужели вы так думаете? — прервал Тони. — Но ведь то — аллегория, а это — символизм. Между ними целая бездна.

— Совершенно верно, — неожиданно согласился странный человек. — Мне было интересно, заметите ли вы это или нет. Но это пастораль, а вся пасторальная поэзия очень

надоедает: хочется рабочей блузы и подбитых гвоздями сапог — хлеба с маслом вместо пышек с вареньем. Кстати, меня зовут Робин Флетчер. А вас?

— Антони Кларендон, — ответил Тони, улыбаясь такой непосредственности, которая ему, однако, понравилась.

— Вот как! Ан-то-ни Кла-рен-дон! Ах, черт, уж не аристократ ли вы?

Тони невольно расхохотался, но сразу же замолк, заметив грозный взгляд служителя, обращенный к ним, и явное возмущение какой-то пожилой женщины, копировавшей тициановский портрет.

— Не обращайтесь на них внимания, — сказал Флетчер, — они живут этими картинами, как омела деревом, только они не так привлекательны. Пойдемте посидим в кафе, хотите?

После некоторого колебания Тони согласился. По дороге к выходу он остановился поглядеть на фрески Боттичелли наверху лестницы, а затем, спускаясь, на «Возницу» и «Крылатую победу».

— Вам они нравятся? — спросил Флетчер. — Мне они тоже нравились, но теперь я предпочитаю более примитивное и древнее искусство. Эти художники представляют как бы начало нашей гнилости. Я хочу уйти от всего этого, от христианства и начала христианства. Но мы поговорим об этом потом. Где вы остановились?

Тони сказал ему.

— Совсем близко от меня. Я живу в Hotel du Dragon. Сколько вы платите за комнату?

— Франк в день.

— Неужели! Вы долго пробудете?

— Нет, около двух недель. А что?

— Я плачу два франка в день, и для меня было бы большой экономией, если бы вы передали мне свою комнату, когда уедете. Но я бы не подумал, что вы так скромно живете!

— Почему? — спросил, смеясь, Тони.

— Ну, ваш костюм, манера разговаривать и все прочее! Можно мне будет занять вашу комнату, когда вы уедете?

— Конечно, я попрошу мадам. Вы собираетесь обосноваться в Париже?

— Вот и кафе, — сказал юноша, подводя Тони к столику под широким полосатым тентом. — Что вы будете пить? Кофе со сливками? Я тоже. Человек, две чашки кофе со сливками! Послушайте, я лучше объяснюсь. Я увидел вас вчера в Лувре и решил, что вы англичанин. Мне понравились ваше лицо и ваша манера по-настоящему смотреть на картины, вместо того чтобы озира́ться кругом с бедкером в руках, и я решил заговорить с вами. Я писатель.

К величайшему удивлению Тони, юноша расхохотался.

— Ну не смешно ли? — вымолвил он, все еще задыхаясь от смеха. — Я писатель, вот здорово!

— А почему бы вам и не быть им? — спросил Тони.

— Действительно, почему бы мне и не быть им? — насмешливо повторил Флетчер, а затем, ударяя себя в грудь и обращаясь к самому себе: — Ну перестань же, имей хоть чуточку благопристойной гордости! — Затем вдруг стал серьезным: — Мне двадцать четыре года, и я девять лет корпел в конторе, а на прошлой неделе бросил ее и прибыл из Тильбэри в Гавр на грузовом пароходе, а оттуда пришел пешком в Париж — и все это имея в кармане пятьдесят фунтов за свою первую книгу. Безрассудство, не правда ли?

Тони мысленно согласился, что это безрассудство, но промолчал. Ему нравился этот юноша, который так откровенно говорил о себе, и он восхищался его смелостью — вот, по крайней мере, человек, который живет с увлечением. Флетчер наклонился вперед и пристально посмотрел на Тони горящими глазами.

— Новый дух кругом, — сказал он, — вы, наверное, заметили?

— Я заметил, что люди, в особенности здесь, какие-то беспокойные и непоседливые, если вы это имеете в виду.

— Нет, не это! Послушайте, я давно уже наблюдаю людей и вижу, что происходит. Во всей Европе чувствуется поразительный подъем в рабочем классе, и он покончит со старым порядком.

— Социализм? — разочарованно спросил Тони.

— Да, если хотите. Но не просто муниципализация домов и государственное страхование — хотя и это, пожалуй! И, разумеется, не классовая война. Все классы примкнут к этому. Сейчас 1913 год. К 1918-му у нас будет новый мир, и его создадут на началах доброй воли. Людям невтерпех от старых порядков, и повсюду человек будет работать, чтобы жить, а не ради денег.

Это звучало чрезвычайно просто, так просто, что Тони не знал, в какую ему форму облечь свои возражения, чтобы они не были обидны. Там, в Англии, был Крэнг, который собирался достичь идеальной справедливости путем ненависти, а здесь этот юноша стремится достичь того же путем доброжелательности.

— Конечно, — небрежно добавил Флетчер, — нам придется уничтожить машины — они-то и поработили людей и убили в них все человеческое.

— Как! — воскликнул Тони. — Даже железные дороги и пароходы?

— А зачем нам они?

— Зачем нам они? Дорогой мой, без железных дорог большой современный город сдохнет с голоду через несколько недель, а без кораблей — вся Англия через несколько месяцев. Вот зачем!

— О, мы с этим вполне справимся, — беспечно сказал Флетчер. — Это лишь вопрос доброй воли и проработки деталей. Как бы там ни было, лучше быть немного голодным, чем мертвым, не правда ли?

— Пожалуй!

— Ну а сейчас большинство людей мертво, и их надо снова вернуть к жизни. Нельзя же сказать, что вы «живете», если вы всю свою жизнь крутите какую-то машину. Я лично предпочел бы умереть и лежать в могиле.

— Я тоже. Но мне скорее думается, что уничтожат нас с вами, а число рабов машин будет увеличиваться и размножаться.

— Да, и машины закрутят их и доведут до гибели. Их надо истребить.

Антони пришел в уныние; такие пустые рассуждения всегда действовали на него угнетающе. Его поразило, что Флетчер, презирающий тончайшую поэтическую грезу Джорджоне, в то же время верит, что его собственные бессвязные мечты могут действительно претвориться в жизнь. Однако нельзя было отрицать, что машины превратили мир в довольно унылое место с механическим рабством, с одной стороны, и бессмысленной, тоскливой роскошью, с другой. Можно ли продолжать извлекать деньги из мира машин и в то же самое время уклоняться от ответственности за это, живя в каких-нибудь приятных уголках мира, куда машины еще не проникли? Он мрачно сказал:

— Мне кажется, мы скорее приближаемся к бесславному концу, чем к доблестному началу.

Тут Флетчер снова воспламенился и, объявив Антони капиталистическим штрейкбрехером и трусом, принялся рисовать картины замечательного дохристианского мира, который будет создан доброжелательностью. Антони отчасти слушал, но порою отвлекался. Рядом с ними какой-то степенный француз с шелковистой бородой сосредоточенно читал «Le Petit Parisien»; две изящно одетые девушки лили воду через кусок сахара, удерживаемый на верху стакана никелевым зажимом, в прозрачную зеленую жидкость,

которая тотчас же становилась мутной; позади них многочисленное семейство занимало три столика и, по-видимому, праздновало с благопристойным весельем какое-то торжественное событие, а на другом конце террасы кафе группа студентов с невероятной быстротой уничтожала отбивные котлеты, болтая при этом еще быстрее. По ту сторону сквера высокая колокольня с остроконечной крышей вырисовывалась на фоне безмятежной лазури, и в те мгновения, когда шум движения и разговоров затихал, слышен был крик стремительно пролетающих стрижей. С дуновением ветра сквозь пыльный, насыщенный бензином воздух долетал слабый запах конюшни от стоявших в ряд фиакров, а лошади и возницы дремали на солнце. Трамваи со звоном неслись по бульвару между деревьев; изредка длинный зеленый автобус с гроыханьем появлялся из-за угла и останавливался со скрипом тормозов, чтобы пассажиры могли войти и выйти. Мальчик газетчик выкрикивал: «Editioa speciale — La Presse-e»¹. Люди проходили непрерывным потоком, поодиночке или парами, и Тони улавливал обрывки разговоров «figure-toi, mon cher, et pis alors»² и все время парижское «уи». Все выглядело таким нормальным и безмятежным, несмотря на суету, и если эти люди и на самом деле рабы машин и заработка, как продолжал убеждать его Робин Флетчер, тогда они, по-видимому, вполне с этим мирятся. В эту минуту Тони почувствовал, что кафе, быть может, являются более действенным орудием доброжелательности, чем даже муниципальные бойни и принудительный осмотр беременных женщин...

За день до своей обещанной экскурсии с Маргарет Антони поехал один в Версаль, чтобы потом иметь возможность показать ей самое лучшее, не утомляя ее и не теряя

¹ Экстренный выпуск.

² Представь себе, мой дорогой, и вот...

времени. Его впечатления были ясные, хотя и не цельные. Пусть те, кто создал Версаль, жили гнусной неправдой, пусть они не знали человеколюбия, но зато они обладали вкусом и умением сотворить вокруг себя духовную гармонию.

Так как день был будничным и сезон только начинался, народу было мало — дети с няньками или матерями и случайные группы туристов с фотоаппаратами и биноклями. Антони так глубоко проникся духом Версаля, что почти не замечал их или их неуместного присутствия в этих величественных переходах и галереях. Он бродил в течение многих часов, впитывая в себя эту изысканную красоту и в то же время воспринимая величавую печаль этого покинутого жилища королей. Ни свежая весенняя листва на прекрасных деревьях, ни пение птиц, ни мирное сияние солнца не могли замаскировать печали, как и своеобразная нежная грусть не могла уничтожить красоту. Не то чтобы Тони сожалел о прошлом или мысленно разыгрывал костюмированную драму с историческими личностями. Он просто никак не мог себе представить Версаль в блеске новизны — еще строящийся дворец, вместо деревьев — просто геометрические линии саженцев и фонтаны, отягощенные позолотой. Созерцаемый им теперь Версаль обладал более тонкой красотой, чем во времена Бурбонов, хотя художники, быть может, и стремились к ней. Дух этой местности еще витал в слабом аромате и едва уловимой музыке утонченных жизней, нашедших для себя здесь выражение, совершенно независимо от деспотизма, постыдным памятником которого, по-видимому, считался Версаль. Буржуазный машинный строй абсолютно неспособен создать что-либо подобное. И он умильно пытается прикрыть свою несостоятельность в дешевых насмешках над отсутствием ванн и ватерклозетов или кричит о разврате и эксплуатации труда. Однако нет ничего возвышенного в

созерцании ватерклозетов и водостоков, а в отношении разврата и эксплуатации монархия Бурбонов по сравнению с капиталистическим строем кажется благородной и гуманной. И — будьте спокойны — буржуазный мир не оставит в наследство п о т о м с т в у никаких Версалея!

Уже спустились ранние сумерки, когда Антони сел в поезд, чтобы вернуться в Париж. Поезда, идущие в город, были переполнены народом, возвращающимся в пригороды, но в Париж ехало мало народу, и Тони был один в своем тускло освещенном купе. В окно он видел смутные, незнакомые очертания лесистых холмов, а в отдалении — огромное зарево Парижа, как бы отражавшее закат. Он чувствовал упадок энергии и настроения, который охватывает в сумерки одиноких людей в чужой стране, а также и усталость от ходьбы и зрительных впечатлений дня. Проникнется ли Маргарет духом Версаля, или же для нее это будет просто парк и дворец с обрывками истории и несколькими именами, которые необходимо знать? Ехать туда с человеком, неспособным воспламениться, значило бы утратить поэзию и оказаться в опошленном туристами месте. Как мало знаешь друг друга! Она может оказаться созвучной ему, может даже найти больше, чем он; но может и преподнести ему избитые фразы о том, что живешь в прошлом, будучи вместе с тем «современной».

Он закрыл глаза и постарался вспомнить те места, которые ему хотелось показать Маргарет, — величественный парадный въезд и нарядный центральный дворец эпохи Людовика XIII, вид с террасы на газоны к далекому, меланхолическому горизонту, фонтан с фигурами детей — создание Донателло* — и аллею к фонтану, изображающему Нептуна с двумя рядами чудесных бронзовых играющих детей, фонтан с гроздьями винограда, колонны из красного с прожилками мрамора Большого Трианона* и синюю с золотом решетку «Trianon sous Bois», павильон Помпадур*...

И больше всего аллеи деревьев. Тут из деревьев сотворена прекрасная поэма, симметричная, как трагедия Расина, подобно тому как англичане создали беспредметную лирику из своих цветников. С какой насмешкой отнеслись бы Стивен и Робин к его сентиментальным восторгам, вызванным старым жилищем гнилых деспотов! Но зачем отрицать переживания, в особенности переживания чувств? И что за глупая поза утверждать, будто все и так известно! Отрицать впечатление, производимое Версалем, лишь потому, что все там побывали, все равно что отказываться переживать страсти Лира и Гамлета, потому что о них все читали.

Версаль и Париж — символы двух враждебных человеческих верований: мистическая вера в человека-бога, в фараона, в котором сосредоточены и осуществлены все жизни, и мистическая вера в народ-богоносец, который безгрешен, чей глас — божий глас и чьими устами глаголет мудрость. Вся историю человечества можно рассматривать как столкновение этих двух начал — неразрешимая загадка-головоломка, непримиримые противоречия. И одно не может ничего сделать без другого — полная победа одного ведет к прозябанию и бесплодию. Что значит народ без героев, его вдохновляющих; что значат герои без народа, для которого нужно трудиться? Геркулес столь же бессмыслен, как и прерафаэлитский странствующий рыцарь, если он совершает свои подвиги не для народа. Религия народа, разрушившего Римскую империю, должна была воплотиться в историю жизни и страданий бога-человека, а затем, чтобы продолжать свое существование, была вынуждена создать иерархию с сенатом из духовных князей и увенчанного тройной короной слугу божьих слуг. Когда богочеловек — Александр, тогда сам народ становится героическим; когда он — Траян, народ разделяет с ним его спокойное царствование, и потомство называет это золотым веком. Но что происходит, если он Гелиогабал или Людовик XV?

Даже страстная французская революция вынуждена была вещать устами Дантона и Робеспьера, а когда народ действует через Каррье* и Фукье-Тенвиля*... устами Бонапарта. Спустя сто двадцать пять лет мы все еще стремимся выполнить заветы 1789 года. Но страсть выдохлась и свелась к пикированию на парламентских выборах, а декларация прав человека выродилась в муниципализацию трамвая, в государственное страхование и тридцатишиллинговый минимум недельного заработка. Затхлость, затхлость, ограниченность, застой, бездарность. Они хотят обновить мир, а вместо этого грызутся из-за денег и приходского колодца. Разрешите мне представить друг другу два столетия: Дантон! Мистер Сидней Уэбб*!

Случилось так, что Маргарет не захотела поехать в Версаль, а потому отпали опасения Тони и его планы показать ей все самое лучшее. Они поехали на речном пароходе в Сен-Клу и гуляли в окрестных лесах.

Было бы ошибочным сказать, что Антони не мечтал об этих часах, которые он проведет наедине с Маргарет; но, конечно, он был далек от того восторга, с которым подъезжал к Парижу. Впервые в жизни он испытывал смущение, даже робость, в своих отношениях к другому человеку. Он даже не был уверен в своих чувствах к Маргарет, хотя и сознавал, что ее образ то слабее, то ярче окрашивал каждое мгновение его пребывания в Париже. Его поражал контраст между его прежними чувствами к Эвелин и нынешним отношением к Маргарет. Первое было внезапным, произвольным расцветом глубоких неосознанных инстинктов и чувственных восприятий; и хотя ни он, ни Эвелин этого ничуть не подозревали, они бессознательно совершали древнеэллинический предбрачный обряд юноши-возлюбленного, так прекрасно описанный Каллимахом*. Ко второму примешивались застенчивость и неуверенность.

* * *

В отношении к Маргарет его страстное стремление раствориться в другом существе, жить всецело в нем и через него потерпело неудачу. Он должен был с грустью признать, что таких чистых, ясных и идеальных отношений, как с Эвелин, ему, вероятно, никогда уж больше не удастся создать. Но та идиллия возникла на заре жизни, в милой свежей прелести утра жизни. Теперь побуждения и переживания потеряли свою цельность и усложнились всем тем, что столь отвратительно называется «душой» и нелепыми, хотя и необходимыми законами общества. Они с Эвелин невинно полакомились украдкой со стола богов, но если они и были возлюбленными, они не были сотоварищами, и отношения их не могли быть постоянными. Постоянство! Какая иллюзия! Постоянство в жизни, которая сама лишь радуга на проходящем облаке, столь же прекрасная, но и мимолетная, как луч света. Он со смехом подумал об отце Маргарет, степенно осведомляющемся об его средствах и видах на содержание семьи, — нет, не это, только не это! И все же как страстно он жаждал дружбы Маргарет, какое нежное чувство благоговения она в нем пробуждала, как любопытна эта робость чувств — ощущение того, что ему вовсе не хочется дотронуться до нее, а только жить в ее присутствии, присутствии, которое превращает весь мир в красоту и не оставляет места для скуки!

Такие мысли проносились в голове Тони не в виде ясных представлений, а только как обрывки ощущений и эмоций, пока они сидели друг подле друга на вздрагивавшем, но мягко скользившем речном пароходе. Бессознательно подражая Робину, Тони одевался довольно небрежно и допустил свойственный англичанам грубый промах, облачившись в клетчатый шерстяной костюм в чужой столице. Маргарет была почти нарядной в белом платье, красной шляпе и с красным зонтиком, которые придавали ей более

зрелый и более неприступный вид — в том смысле, что дама никогда не бывает вполне человеческим существом. Но она была как-то необычно обаятельна и мила, давая Тони чувствовать — скорее своей манерой держаться, чем словами, — что ее прежнее поведение было неумышленным, навязанным ей таинственными законами семьи и светских приличий. Антони не занялся анализированием этого, безмерно наслаждаясь тем, что он наконец-то опять с нею, чувствуя по ее веселью и немногим словам и взглядам, что она тоже счастлива с ним и что так или иначе, но быть молодым вдвоем — несказанное блаженство.

Пока они медленно взбирались с берега по зеленому склону, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться фонтанами, бассейнами и статуями, Тони рассказывал ей про Робина.

— Он интересный парень, — сказал Тони, описав ей, как он встретился с Робинотом и о чем они беседовали. — Сперва я думал, что он просто со странностями, обычный чудако-социалист. Но он много выстрадал, не став от этого озлобленным, как Крэнг, этот школьный учитель у нас дома. Его идеи сначала кажутся странными и бессмысленными, но они не лишены логики. А его социализм на самом деле — крайняя форма индивидуализма, и в этом отношении я с ним схожусь. Надо раз и навсегда разрешить элементарный вопрос о средствах существования людей, а затем уже строить настоящую человеческую жизнь, нашу собственную, личную жизнь. Но самое интересное в нем — это его индивидуальность... Можно ли описать чью-либо индивидуальность?

— Он вам очень нравится? — спросила Маргарет с легкой ноткой ревности в голосе, которой Антони не заметил.

— Да, он мне нравится. Журналист, пожалуй, сказал бы, что он неотделанный алмаз. Он откровенен, даже резок с

нашей точки зрения, но искренен. А под его манерностью скрывается способность чувствовать по-настоящему. В гостинной он, вероятно, был бы просто смешон, но в своем окружении он... почти вдохновляет. Он помог мне разобраться в себе.

— Не думаю, что вы нуждаетесь в чьей-либо посторонней помощи, — возразила Маргарет, и на этот раз Антони уловил в ее тоне ревнивую нотку, которая ему отнюдь не была неприятна. — Я всегда считала, что вы слишком непоколебимы и стойки в своих взглядах. Вы не делаете никакого снисхождения.

— А зачем? Делать снисхождение, когда произносишь приговор, — это одно, но если начать относиться снисходительно к самому себе, то скоро обнаружишь, что ты погряз в пошлости. Посторонние люди могут помочь нам увидеть себя со стороны, как и достоинства своей родины мы видим только за пределами ее. Я чувствую себя здесь гораздо больше англичанином, чем дома.

— Ну, а по-моему, вы немного офранцузились, и этот человек, которого вы здесь выкопали, сделал вас социалистом.

— О Маргарет, что ж в этом плохого? Почему мне не поучиться у Робина? Почему не взять того, что Франция мне предлагает? Неужели вы думаете, что они могут изменить мою сущность? Мы должны отдавать себя другим, прежде чем брать что-либо от них. Вполне правильно ненавидеть то, что считаешь дурным, но только то, что мы любим, способствует нашему росту. Ненависть динамична, как божий меч. Могу ли я не ненавидеть тупого, злого человека, о котором знаю, что он притесняет народ, что он, пресмыкаясь и застрашивая, достиг могущества и пользуется своей властью, чтобы противодействовать всякому усилию, направленному к улучшению человеческого существования и к счастью. Разве это социализм?

— Мне кажется, мы должны, по крайней мере, пытаться любить всех...

— Нет, нет! — с жаром прервал он ее. — Мы можем их жалеть, но не можем любить. Любовь — это самое интимное, самое личное в человеке. Она подобна цветку, который можно подарить в данный момент только одному человеку. Нельзя же дарить цветок толпе или государству. Если любишь, надо всего себя отдать и чувствовать, что тебя принимают, — и, быть может, в любви труднее все принять, чем все отдать. Мы знаем, что даем, но не можем знать, что получим.

— Вы очень многого требуете, — сказала она с притворным смехом.

Они достигли вершины холма и теперь шли по узкой тропинке через густой кустарник, где стоял бледноватый сумрак под сенью высоких деревьев. Антони нежно взял Маргарет за руку, и они остановились на травянистой дорожке, глядя друг другу в глаза. Снова Антони охватило странное чувство повиновения какому-то внешнему импульсу, точно и слова и поступки предписывались ему извне. Он не сводил глаз с лица Маргарет и скорее почувствовал, чем увидел мгновенную вспышку света, когда листву раздвинуло ветром, и стаю воробьев, пролетевшую с пронзительным чириканьем над длинной, узкой дорожкой.

— Маргарет, я говорил обо всех вообще, но теперь знаю, что на самом деле имел в виду только вас. Я не ухаживал за вами — я любил и люблю вас. Дальше этого я ничего не вижу. Не могу и не хочу приносить клятвы. К чему слова? Я знаю только, что сейчас я живу лишь вами и в вас.

Она ничего не сказала; и не отдавая сам себе отчета, он обнял ее, и его уста коснулись ее нежных губ; он шептал какие-то слова, которые даже тогда показались ему глупыми и несоответствующими, но почему-то необходимыми. Но уже через мгновение его разум захлестнуло чувство бес-

предельного экстаза — не тот чистый золотой свет эмоций, как с Эвелин, а целая радуга переживаний, где прикосновение тонуло в смутном, бесконечном желании. Не женщину обнимал он, а любовь; не прекрасное тело, а идеальную страсть. Когда-то он закрывал глаза, чтобы лучше познать божественное прикосновение Эвелин; а теперь он закрыл их, чтобы удержать мечту, не зная, что отказался от реального ради несбыточного.

Маргарет первая заметила в отдалении полевого сторожа¹, шедшего им навстречу. Они отошли друг от друга и медленно продолжали свой путь, храня молчание. Маргарет пригладила волосы под шляпой и поправила слегка измятый воротник платья. Она чуть покраснелась, но казалась Антони необычайно спокойной, уже полностью облаченной в женскую броню бессознательного лицемерия. Можно было поклясться, что даже мысль о поцелуях и страстных признаниях никогда не касалась такой неприступно ясной девственности. Он почти не верил собственным ощущениям, подсказывавшим ему, что Маргарет не только принимала его поцелуи, но и отвечала на них, не только слушала его бессвязный лепет, но и вторила ему. Его щеки еще горели, сердце колотилось и все тело дрожало, когда они прошли мимо сторожа, Антони — в молчании, она — со спокойным «Bonjour» в ответ на его «Bonjour, 'sieur, dame». Неужели она осталась так холодна? Как только сторож скрылся из виду, Тони снова обнял Маргарет и нежно положил руку на ее сердце. Оно так же учащенно билось, как и его собственное.

Антони расстался с Маргарет у дверей ее пансиона, не требуя никаких обещаний, кроме одного: Маргарет постарается встретиться с ним на следующий день за чаем, «что-

¹ Низший чин сельской администрации, выполняющий полицейские функции.

бы переговорить». Никто из них точно не знал, о чем им, собственно, надо переговорить, но если юноша и девушка горячо целуются в лесах Сен-Клу, то такой необычайный и почти небывалый поступок, по-видимому, создает положение, требующее обсуждения. Быть может, это милость судьбы, что влюбленные столь серьезно относятся к самим себе, раз никто другой этого не делает.

В кафе Антони написал Робину короткую записку, сообщив, что не сможет пообедать с ним, и оставил ее в гостинице Робина. Затем пошел бродить по улицам, с трудом веря своему счастью и не понимая, отчего это люди бывают такими хмурыми и недовольными. Он всех очень жалел и сознавал, что не должен злоупотреблять своим превосходством — положением владельца неисчерпаемого сокровища. Он дал нищему несоразмерно большую сумму, не подозревая, что благодетельствованный им подумал: «*Quelles poires, ces anglisches, mais quelles poires!*»¹.

Звезды чудесно зажглись светящимися точками на вечернем сумеречном небе, едва видимые в блеске залитого огнями города. Ничто не могло быть прекраснее этих поздних парижских сумерек с невидимой Маргарет вот тут, рядом с тобой!

В эту ночь Антони даже во сне ни на мгновение не терял сознания, но жил в долгой упоительной грезе наяву, отчасти воспоминаниями о минувшем дне, отчасти со смутным, но совершенно восхитительным предвкушением бесконечного ряда «завтра», которые все будут походить на этот день, но будут еще более сладостны. К его неудовольствию, он был разбужен приходом сухошавой служанки, принесшей ему завтрак и притащившей круглую комнатную ванну. Попивая кофе, Антони с удивлением думал, как это он может выносить такое счастье, и в то же время как ему пере-

¹ Какое дурачье эти англичане, какое дурачье!

жить нескончаемые часы до чая — момента встречи. Тут в дверь постучались, и служанка подала ему маленькую запечатанную синюю телеграмму. Неужели Маргарет посылает ему привет? Или она не может прийти сегодня? Он неловко вскрыл телеграмму и прочел: «Мама серьезно ранена катастрофе экипажем. Немедленно возвращайся. Отец».

VIII

Обратная поездка в Англию обладала свойствами всякого путешествия, предпринятого в страхе, что ты едешь навстречу какой-то неизвестной беде; она была безгранично мучительна и казалась нескончаемой. Энергично действуя, Тони успел попасть на поезд, отходивший утром из Парижа и согласованный с пароходом; он даже не забыл послать телеграммы Маргарет и Робину. Он прекрасно знал, что его отец не послал бы такого категорического предписания, если бы не было опасности — и опасности того, о чем Антони не в силах был даже подумать. Его удивляло собственное спокойствие; ему казалось, что он погрузился в какую-то серую пустоту, далеко от всех, словно поток жизни в нем внезапно остановился. Даже Маргарет казалась невероятно далекой. В Фолкстоне ему пришлось ждать местного поезда, который останавливался на каждой станции; затем он провел полтора часа, шагая взад и вперед по платформе небольшого железнодорожного узлового пункта, и вынужден был ехать семь миль на лошадях, чтобы добраться до Вайнхауза.

После потрясения, испытанного им при получении телеграммы, он почувствовал первый удар, увидев, что фасад дома погружен во тьму и никто не вышел к нему навстречу

из парадной двери, хотя шум колес был слышен во всех передних комнатах. Он рассчитался с извозчиком и, обойдя дом, подошел к черному ходу. В кухне тоже было темно, но свет горел в комнатах слуг и в кабинете отца. И больше нигде. В течение минуты Антони стоял неподвижно, почти теряя сознание от страха, усталости с дороги и голода и все еще испытывая странное ощущение пустоты и отчужденности, как будто все это происходило с кем-то другим. Он тихо постучал, а затем еще раз — более нетерпеливо. Знакомый голос испуганно спросил:

— Кто там?

— Антони. Впустите меня скорее, Мэри.

Голос взволнованно позвал:

— Кухарка, кухарка! Это мастер Антони приехал домой. О боже, о боже!

— Тише! — сердито сказал Антони через дверь. — Впустите же меня и не шумите так!

Послышался звук отодвигаемых засовов и поворачиваемого в замке ключа, и Тони увидел перед собой двух заплаканных служанок в серых фланелевых капотах; каждая держала свечку в дрожащей руке. Он навсегда запомнил, хотя тогда едва заметил, красное, опухшее лицо кухарки и ее волосы в бумажных папильотках. Служанки приветствовали его каким-то воплем, и он почувствовал раздражение от проявления ими горя и жалости:

— Тише! Как мама?

— Ее нет больше, сэр! О мастер Антони, она умерла!

— Когда?

— Вчера в четыре часа дня, сэр!

Когда он был с Маргарет в Сен-Клу, изумляясь, как можно выносить такое огромное счастье!

— Так. Дайте мне свечку, Мэри. Где отец?

— Наверху, в кабинете, сэр. Он ничего не ел и не ложился с тех пор, как случилось несчастье. Заставьте его поесть. Вам подать ужин?

— Нет, спасибо, Мэри. Идите теперь спать. Но не забирайте буфетной, чтобы я мог ему что-нибудь достать.

Антони три раза постучал в дверь кабинета и, не дождавшись ответа, тихо приоткрыл ее. Горела одна только настольная лампа с зеленым абажуром, и мягкий свет ее, всегда казавшийся Антони таким мирным, был теперь каким-то мрачным и трагичным. Отец поднял голову, когда он вошел, и при виде бескровного лица и полных ужаса глаз Антони вдруг стало ужасно холодно.

— Ты приехал, — сказал отец, по-видимому, скорее для того, чтобы сказать что-нибудь, а не потому, что он понимал, что говорит. Антони задул свечку и осторожно поставил подсвечник на книги. Он подошел и, присев на широкую ручку отцовского кресла, обнял отца за плечи и взял его холодную, безжизненную руку.

— Мне сказали внизу, — тихо произнес Антони.

Наступила полная тишина, прерываемая лишь легким жужжанием воздуха в лампе, которое сливалось в ушах Антони с шумом его собственной пульсирующей крови. Отец не говорил и не двигался. Антони поймал себя на том, что машинально читает название какой-то книги, думая в то же время: «Неужели это действительно происходит со мной? А я должен что-то сделать, чтобы он лег. Что сказать?»

— Она... она ничего не просила мне передать?

— Она не приходила в сознание.

Почувствовав, что отец слегка сжал его руку, он продолжал:

— Как это случилось?

Отбросив руку Тони, отец порывисто встал:

— Не терзай меня вопросами! Иди спать, Антони, и оставь меня одного!

Антони тоже встал, бледный и с таким головокружением, что свет лампы неистово плясал перед ним. Во что бы

то ни стало надо сломить отчаяние отца. Он заговорил очень ласково:

— Не сердись на меня, папа. Пойми, я ничего не знаю, кроме твоей телеграммы и нескольких слов, сказанных внизу, — а ведь она была моей матерью.

— Прости, Тони. Но оставь меня, будь хорошим мальчиком. Завтра...

— Можно мне пойти к ней?

— Нет.

— Почему?

Он увидел, как исказилось лицо отца, и не знал, от скорби ли это или от гнева.

— Потому что... ее сейчас же положили в гроб.

Антони с содроганием понял, что, значит, она была изуродована. Он поборол рыдания и сказал все так же ласково:

— Я не могу уйти, пока не узнаю, что случилось.

Сжав руки за спиной, Хенри Кларендон несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. Потом заговорил:

— Ты вправе знать. Она выехала на новой кобыле в двуколке, а конюх не подтянул как следует сбрую. Во всяком случае, кобыла понесла. Коляска ударилась о дерево и разлетелась вдребезги. Франсес к вечеру умерла. — Затем он добавил: — Я вынужден был приказать застрелить кобылу, бедное животное.

Антони увидел слезы на глазах отца; он добился своей цели, хотя каждое слово острой невыносимой болью раздирало его сердце. Быстро перейдя комнату, он обнял отца, поцеловал его и прошептал:

— О папочка, папочка! Что же будет с нами?

К своему ужасу он вдруг почувствовал, что тело отца содрогается от рыданий, и голова его упала на плечо сына. Тони стоял неподвижно, поддерживая отца и изо всех сил сжимая его руку. Чувство отчужденности исчезло; он за-

стыл, и голова его разрывалась от боли. Он ухватился за одну мысль, как будто только она имела значение, — надо во что бы то ни стало добиться, чтобы этот надломленный человек уснул. Наконец, когда, казалось, прошла целая вечность мучений, рыдания прекратились — ужасно было видеть, как плачет мужчина, в особенности тот, кто в детстве казался ему богом. Тони шепнул:

— Прости меня, папа. Я не хотел причинить тебе такую боль. Завтра, когда отдохнем, мы поговорим. Теперь пойдем спать.

Кларендон отошел от него и покачал головой.

— Так надо, — настаивал Тони. — Займи мою комнату. Я лягу в одной из запасных. Пойдем.

Он повел отца по коридору, держа свечку в свободной руке, и усадил его на кровать. Когда он увидел свою комнату, у него снова мучительно сжалось сердце, и он с тоской пожалел, что так высокомерно выкинул обе картины Холмана Хэнта. Он зажег еще две свечи и сказал:

— Подожди меня. Я сейчас вернусь.

Он ощупью спустился по лестнице, сквозь огромные колеблющиеся тени, отбрасываемые свечой, не решаясь взглянуть на дверь той комнаты, где находилось *оно*. До него донесся слабый, страшный запах йодоформа, цветов и еще чего-то, безыменного, что заставило его почувствовать себя затравленным животным. На кухне он нашел и откупорил бутылку красного вина и залпом выпил полстакана. Вино придало ему силы и приостановило ощущение мучительного озноба и головокружения. Разыскав поднос и тарелки, он взял несколько ломтей холодного мяса и руками разорвал жареного цыпленка, — он так сильно дрожал, что не мог воспользоваться ножом. Он пытался что-нибудь съесть, но безуспешно. Он сунул в карман булку, поставил на поднос чистый стакан, вино и свечу, взял еще две булки и медленно поднялся по лестнице.

Отец все так же сидел на кровати, безнадежно глядя на стенку. Тони очень тихо поставил поднос на столик и сказал:

— Я внизу поел и принес это тебе на случай, если ты потом почувствуешь голод. Не раздевайся, просто ложись. Вот так. Не гасить свечку, нет? Спокойной ночи.

Он наклонился, чтобы поцеловать отца, почувствовал, что тот пожимает его руку, и услышал шепот:

— Ты славный мальчик.

Он понял, что достиг своей цели.

В запасных комнатах не было белья, только серые полосатые подушки без наволочек и аккуратно сложенные одеяла. Антони не пошел к бельевому шкафу и кое-как устроил себе постель из одеял, выбрав комнату, в которой не жила Эвелин.

IX

Так Антони узнал, сколь бесповоротна, сколь неумолима смерть. Гнетущая атмосфера, создаваемая отцовским горем — горем тем более безысходным, что честность ученого отвергала пошлые утешения веры в загробную жизнь, — побуждала Антони сосредоточиться на мучительных образах. В течение многих недель, во сне и наяву, его преследовала картина несчастья, которого никто не видел и которое так и осталось тайной. Что испугало кобылу? Тони в его душевных терзаниях иногда казалось, будто он сам был косвенно виноват, словно какая-то враждебная ему сила принесла в жертву его мать, чтобы разбить его счастье; но уже через мгновение ему становилась очевидной нелепость такой мысли. Еще чаще он проклинал ясность своей памяти, ко-

торая, вопреки ему самому, упорно воскрешала то, что он жаждал забыть! И снова и снова видел гроб, неуклюже покачивавшийся на плечах людей в черном, по роду своей службы обязанных быть безмолвными и мрачными. Затем гроб застывал на высоком катафалке и выглядел таким несказанно мертвым. Сам погребальный обряд казался тривиальным, неуместным и невыносимым из-за своей показной стороны. Тони не мог изгнать из своего сознания чувства ужаса и возмущения, испытанного им во время долгой, медлительной поездки в церковь; мучительного, безмолвного ожидания начала службы; мрачной сентиментальности, которую пастор и присутствующие вкладывали в слова, по существу не лишённые сами по себе известного величия; нового страшного покачивания гроба на пути к вырытой могиле; бескровного, искаженного страданием лица отца и судороги отчаяния, когда земля гулко ударилась о дерево гроба; дальних родственников, которых он видел впервые; болезненного любопытства деревенского люда и безысходной пустоты остатка дня. Все это было бесчеловечно жестоко.

Позднее при каждом посещении кладбища у Тони болезненно сжималось сердце, когда он видел, как могильный холмик постепенно оседал и разрушался под действием дождя и солнца, как затем дерновый покров, сперва положенный отдельными ясно заметными кусками, постепенно становился сплошным и, наконец, как его сменил уродливый белый камень с еще более уродливой надписью на нем. Тони глядел на выгравированное имя и две даты — банальные скобки, в которые заключена была человеческая жизнь, бывшая частью и началом его собственной жизни. Он чувствовал, что либо законы человеческого бытия жестоки и отвратительны, либо человеческое сознание развилось настолько, что стало проклятием. Это было так грустно, что превращалось почти в позор.

* * *

Хенри Кларендон замкнулся в безмолвной скорби, которую Антони не в силах был побороть. Они встречались лишь за столом, да и тогда беседа велась настолько односторонне, что Тони легко впадал в молчание. Отец жил за запертой дверью кабинета или же совершал продолжительные одинокие прогулки. Иногда ночью, когда Антони не спалось, он слышал, как отец беспокойно бродит по дому. И Тони стало казаться, что солнце покинуло небеса и жизнь его превратилась в бесконечную вереницу серых, безрадостных недель. Предоставленный самому себе, он тоже бродил часами или же сидел, погруженный в тяжкие думы, на террасе, в лесу, или на овечьих ветром холмах. Но упоение природой прошло, и если в нем и пробуждалось вновь ощущение вечности бытия — то была вечность печали. Помимо того, он без конца читал, сперва книги матери, стараясь проникнуться мыслями, которые когда-то были ее собственными, а затем почти без разбора все, что мог найти. Только это и спасло его от духовного самоубийства — мертвенной отцовской апатии.

Маргарет и Робин прислали ему соболезнующие письма, которые, казалось, пришли из другого мира; и все же они тоже помогли ему не погрузиться в унылую атмосферу дома. Робин закончил свою вторую книгу, она принята, и он поехал в Италию, чтобы начать третью. Его описания Флоренции и Рима пробудили в Тони ревнивый интерес, и он стал читать все книги домашней библиотеки, имевшие отношение к Италии. Маргарет сообщала ему о пьесах, операх и лондонских вечерах; а затем на лето уехала с семьей в Шотландию. Тон ее писем был дружеский, но не более, а у Тони не хватало духа изображать страсть, которая, казалось, была погребена под серым пеплом бессельного существования.

* * *

Лето печально поблекло и перешло в осень, а осень сменилась зимой с опустошающими ветрами, проливными дождями и холодными, бесконечными тучами. И вот когда Тони уже был готов возмутиться против такой бессмысленной траты жизни и собирался было серьезно поговорить с отцом о своей будущности, ему неожиданно сообщили, что от аренды Вайнхауза отказались и в декабре они переедут в Лондон. Антони не осведомился о причине отцовского решения и не стал спрашивать, что же они будут там делать. Он вывел заключение — хотя этот вопрос его мало интересовал, — что их доход уменьшился, так как деньги матери были только пожизненной рентой, которую она не могла завещать. Хотя Тони в течение многих недель жаждал уехать подальше от Вайнхауза, однако он никогда не собирался покинуть его навсегда. И Лондон, который прежде казался ему таким привлекательным, стал для него теперь ненавистным видением тумана, грязи, шума и бесчисленных равнодушных людей. Даже мысль о том, что он будет ближе к Маргарет, не прельщала его; ему было невыносимо тяжело покидать навсегда свою террасу и простор полей. В своем замешательстве он пошел пешком навестить Хенри Скропа — после несчастья отец запретил ему ездить верхом и лошади были проданы.

Он застал старика у камина играющим в шахматы с каким-то молодым человеком, которого Скроп представил как лорда Фредерика Клейтона.

— Только что вернулся из Центральной Африки, — пояснил Скроп, — и чуть было вообще не остался там навеки.

— Почему? — недоуменно спросил Тони.

— Я попал в плен к довольно свирепому племени, — объяснил молодой человек, — и спасся лишь благодаря хитрости.

Умелыми наводящими вопросами Скропу удалось преодолеть сдержанность путешественника, и тот скромно, но занимательно стал рассказывать о своих приключениях. Из замечаний Скропа Антони понял, что экспедиция сделала какие-то научные открытия и привезла огромные коллекции растений, животных и насекомых. Тони почувствовал некоторое смущение при мысли, что человек, лишь на несколько лет его старше, совершил нечто заинтересовавшее ученых, тогда как сам он просто тратит свои дни в мрачной задумчивости и бессистемном чтении. Они продолжали беседовать, а потом лорд Фредерик, догадавшийся, что Антони хочет поговорить со Скропом наедине, вышел, сказав, что пойдет погулять.

— Н-да, — буркнул Скроп, когда Тони сообщил ему о планах отца. — Приятное для тебя Рождество, нечего сказать! Но я рад, что ты об этом заговорил. Очень нехорошо, что ты все время шатался без всякого дела.

— А что же мне делать? Папа никогда об этом не заговаривает, и он так потрясен маминой смертью, что я не могу его тревожить.

— Малодушие. Я не хочу критиковать твоего отца, мой мальчик, но даже если ему кажется, что его жизнь кончена, ему следовало бы помнить, что твоя только начинается. Мы все должны лишиться своих родителей, а некоторым из нас — мне, например, — суждено было также лишиться жены и ребенка. Мой сын убит в Южной Африке.

Тони никогда об этом не слышал и только сейчас понял, какая глубокая рана таилась под внешней сдержанностью старика.

— Мы обязаны чтить память умерших, но не впадать в малодушную апатию. Долг живых — жить. В особенности ты должен жить. А ведь ты — трудный субъект. Я не хочу сказать «трудновоспитуемый», но проблема, проблема! Слишком развит в одних областях, недоразвит в других и

совершенно неприспособлен для грубой жизненной сутолоки. Когда же мы наконец пойдем, что воспитание должно заключаться не в знакомстве с классиками, не в правилах хорошего тона, а в подготовке к какой-нибудь определенной жизненной цели? Боюсь, что никогда! А пока что таким, как ты, приходится расплачиваться. Тебя сделали чувствительным ко всем ударам жизни и не дали щита против них. Тебе надо иметь какое-нибудь занятие, профессию. Все еще интересуешься архитектурой?

— Да, — ответил Тони, несколько пристыженный своей несостоятельностью.

— Тоскливая ныне жизнь. Но если это серьезно, тебе давно следовало бы начать. Чего бы тебе еще хотелось?

— Я бы хотел поехать в Италию.

— Правильно. Путешествие большему научает, чем сдача экзаменов, что бы ни говорили педанты. Каждому в двадцатилетнем возрасте следовало бы провести шесть месяцев в Италии, а затем ему нужно навсегда запретить въезд туда. Италия — это музей, мой мальчик, но и дьявольская обольстительница, если позволить себя вовлечь в круг иностранных эстетов. Они — изнеженная и праздная свора, поверь мне! Флоренция — это клоака. А современные итальянцы, за исключением крестьян, — жалкая шайка корыстных головорезов, ха, ха! Никогда из них не выйдет никакого толка, пока их не заберет кто-нибудь в ежовые рукавицы, но где им сыскать такого человека?.. Впрочем, все это ты сам увидишь. По-моему, хорошо бы тебе сейчас же и уехать, чтобы избежать всей горечи переезда и прощания с вашим старым домом. К чему тебе еще мучиться?

— Я не знаю, как это устроить, — безнадежно сказал Тони. — Конечно, я поговорю с папой, но...

— Но что?

— Он теперь так меня чуждается. Словно я напоминаю ему маму, ничуть его при этом не утешая. И он просто подумает, что я стараюсь увильнуть от всяких неприятностей.

— Н-да, — буркнул Скроп, — вот оно как? Придется, пожалуй, мне с ним поговорить. Знаешь что? Скажи ему, что я завтра заеду его повидать в три часа, хорошо?

Тони провел несколько беспокойных дней, с волнением ожидая дальнейших событий. Уже наступила вторая неделя декабря, и вот как-то, когда он сидел за книгой, к нему вошла горничная и сказала, что его просят зайти в кабинет. Он пошел почти с таким же виноватым чувством, какое испытывает ученик, идущий к директору школы за головнойкой.

— Я слышал, — без всяких предисловий начал отец, — что ты хочешь изучать архитектуру как профессию и считаешь необходимым провести несколько месяцев в Италии, чтобы сделать кое-какие расчеты и вообще заняться научным анализом различных стилей?

Антони и не думал составлять такого плана, но тотчас же сообразил, что Скроп нарочно представил это дело в подобном виде, чтобы вызвать сочувствие отца; поэтому он просто ответил «да».

— Мне казалось, что современные научные принципы можно лучше изучить в Англии или в Германии, но Скроп заверил меня, что твой образ действий правилен. Пока ты будешь в отсутствии, я в Лондоне все устрою, чтобы ты мог продолжать занятия в надлежащем направлении, когда оно выяснится, — я совершенно не осведомлен в таких вопросах.

— Спасибо тебе, папа.

Отец отмахнулся от благодарности, считая ее излишней, и продолжал:

— Я бы предпочел для тебя научную карьеру — но не будем об этом говорить. Ты знаешь, я не богат, и я тебе говорил о маминых...

— Да, да, — прервал Тони, со страхом увидев страдальческий взгляд отца, вызванный мыслью об умершей.

— Я не в состоянии широко обеспечить тебя, но этого должно тебе хватить месяца на два. Вот тебе наличные деньги на билет и проездные расходы, а по этому документу ты получишь деньги в главных итальянских банках. Будь бережлив и помни, что большим ты не сможешь располагать.

— О папа, как мне благодарить тебя!

— К твоему возвращению я уже буду жить в Лондоне. Я тебе сообщу адрес. Тебе придется самому позаботиться о себе, — забудь происшедшую здесь трагедию... и... веселись.

И он вручил Тони десять фунтов золотом и аккредитив на сто фунтов стерлингов.

X

Впервые за много месяцев Антони чувствовал подъем духа, когда тихоходный местный поезд вез его по оголенной, размытой дождями равнине в Ньюхэвен. Он выяснил, что поездка в третьем классе через Диепп до Рима обойдется ему всего лишь в три фунта, и рассчитывал экономить на всем, чтобы как можно дольше прожить в Италии. Кроме того, поездка в третьем классе сулит больше приключений: там не будет никаких англичан и ему придется всецело полагаться на свой скудный запас итальянских слов, которые он выучил сам или же почерпнул от Хенри Скропа. Теперь, как бы избавляясь от гнета отцовского культа

умершей, он не ощущал никакой горечи, но испытывал растущее чувство свободы и живой интерес ко всему.

На пристани в Ньюхэвене было темно и ветрено, а поездка на пароходе оказалась более чем неприятной, так как пассажиры третьего класса ютились на корме, непосредственно над винтом. Тони лежал на деревянной койке и боролся с тошнотой, раздумывая о своей жизни, о Маргарет, о Робине, о книгах, которые он прочел, и о местах, которые он увидит. Скамейки во французских вагонах были жесткие, а ночь — черная и бурная, но скорость поезда убаюкивала его, и он уснул, а когда проснулся, поезд с визгом уже прокладывал себе путь к окраинам Парижа и заря рассеивала ночные тени. Тони, единственный из пассажиров, объехал кругом к Лионскому вокзалу по железнодорожному кольцу (обнаружив, что это входит в стоимость его билета), затем прошелся по покрытым слякотью парижским улицам, напился кофе, съел булку и купил плитку шоколада. В десять часов он уже находился в поезде железной дороги Париж — Модена и ехал через незнакомую местность. Весь день он сидел в своем углу, читая по-итальянски или глядя на безлиственный, равнинный пейзаж. К его удивлению, воздух становился все холоднее по мере того, как они приближались к югу. Склоны высоких холмов у Дижона были покрыты снегом, а на следующих станциях лежал мокрый снег. Стемнело еще задолго до того, как они достигли Шамбери, а когда начался продолжительный, медленный подъем через Савойские Альпы, Тони увидел смутные очертания величественных снежных гор, черных от сосен. Поезд полз все выше и выше, останавливаясь на мелких второстепенных станциях, где закутанные в плащи люди выходили из вагонов и тяжело ступали по снегу. А в Англии было сыро, но тепло!

В Модене был пронизывающий холод, и даже приятное возбуждение при переводе часов на средневропейское вре-

мя не искупило уныния таможенных формальностей и нескончаемого ожидания. Пустой вагон, в котором он занял место, постепенно наполнялся итальянскими крестьянами — мужчинами, женщинами, детьми, бесчисленными узлами и бесконечным добродушием. Как только пассажиры уселись, они начали есть (тут Тони вспомнил, что он сам голоден) и пить красное вино из больших оплетенных бутылок. Дети возились на полу, женщины болтали без умолку, а мужчины курили черные сигары, которые для некурящего человека воняли нестерпимо. Затем, пока поезд мчался все дальше сквозь снег и ночь, пассажиры один за другим стали засыпать в невероятно неудобных позах. Не спал лишь сидевший напротив Тони молодой итальянский солдат, возвращавшийся из отпуска на триполитанский фронт*. Руки у него были огромные, с черными ногтями, от него слегка пахло, но он с подкупающим благодушием дал Тони урок итальянского языка, а затем вытащил из своего походного мешка томик поэм Кардуччи* и прочел некоторые из них с прекрасным выражением и ритмом. Антони был поражен: что это за народ, у которого грязные рядовые читают стихи и любят поэзию? Потом и солдат уснул, и Тони остался как бы один в длинном вагоне с шумным храпом спящих людей, спертым воздухом и сильно запотевшими окнами. Он стал клевать носом и задремал.

Он проснулся и мгновенно осознал, что вагон залит холодным, отраженным от снега светом. Протерев затуманенное окно, он увидел позади гигантские гребни Альп, прозрачно алевшие на фоне пылавшего неба. Тони тихонько опустил стекло, струя изумительно холодного воздуха наполнила его легкие, и он стал любоваться горами цвета зари, казалось, сулившими вечную красоту. Вся мука и тоска последних месяцев спали с него, словно сума пилигрима, и он почувствовал, что вступил в новую жизнь. Ради таких мгновений, ради такого зрелища поистине сто-

ит жить!.. Чья-то рука дотронулась до его плеча, какой-то голос сказал «freddo»¹, и высокий человек в длинном черном плаще и черной шляпе вежливо, но безапелляционно закрыл окно.

Ряд туннелей и затем поворот рельсового пути скрыли все великолепие, и поезд, достигнув обширной ломбардской равнины, ринулся в густой туман. Унылый пейзаж — искривленные карликовые деревья, обвитые скорченными безлистными лозами дикого винограда и занесенные глубоким снегом. На станции в Турине, где Тони позавтракал и купил себе немного съестного про запас, было грязно и холодно. И все было мокро от тающего снега. И дальше к югу на пути в Геную снег все еще лежал на равнинах. Антони заснул, кляня носом, обескураженный унылостью снега и тумана, сквозь который красновато просвечивало почти что лондонское солнце. Он проснулся от ощущения духоты. Вагон утопал в солнечном свете, столь ослепительном, что Тони невольно прищурился. Ни следа снега или тумана, а такого чудесного темно-синего неба удивительной чистоты Тони никогда не видывал. Поезд быстро мчался по склону, среди высоких холмов, с раскинувшимися на уступах виноградниками, еще золотистыми от последних листьев; а у переезда Тони увидел остановившиеся перед шлагбаумом телеги, в которые были впряжены рослые серые волы. Поезд прогремыхал через большой пригород, мелькнуло синее море, белые, залитые солнцем домики с зелеными ставнями, а затем поезд замедлил ход, возбужденные голоса закричали «Генуя, Генуя!», и крестьяне в суматохе принялись собирать узлы и детей.

После бесконечной стоянки поезд, и так опаздывавший почти на час, запыхтел и медленно двинулся в путь вдоль лигурийской Ривьеры. Антони был один в вагоне, и в про-

¹ Холодно.

межутках между докучливо частыми туннелями, отвратительными своим зловонным дымом, держал окно открытым. Дуновения теплого, душистого воздуха проникали в вагон, и Тони урывками видел огромные синие волны, взлетающие цветистой белой пеной и с грохотом разбивавшиеся об утесы. Он забыл о своей усталости в восхищении при виде роз на белых, освещенных солнцем станциях, золотистых апельсинов среди темной гляцевитой листвы и пушистых желтых клубочков мимозы. Если бы только не было так много дымных туннелей! Поезд шел мимо коричневых и белых деревень, с башнями и колоколенками, и маленьких бухт, обрамленных пальмами и кустами алоэ. В одной из бухт несколько голых мальчиков, хлюпавшихся в воде в волнах прибоя, обернулись и помахали поезду.

К тому времени, когда поезд подходил к Пизе, темнота уже спустилась, и Антони чувствовал себя очень утомленным. Конечно, остановка длилась полтора часа. Тони потащил свой чемодан в буфет, оказавшийся претенциозным и дорогим, и поел спагетти*, запивая их крепким кьянти* с легким привкусом перца. Вино показалось вкусным после воды, хранившейся в бутылке, и твердых, черствых булок с кусочками жесткой копченой колбасы. Несмотря на усталость и холодный вечер, Тони радовался, что он уже в Пизе, и твердо решил добраться в тот же вечер до Флоренции. Еще два утомительных часа он сонно прислушивался к скрежету вагонных колес, и вот он уже пересекает, шатаясь, просторную площадь с четким силуэтом башни Санта-Мария Новелла на фоне звездного неба. Он завернул в первую попавшуюся гостиницу, упал на отведенную ему кровать и через минуту спал мертвым сном, измученный усталостью. Его последняя мысль, когда он засыпал, была ликующей: он проехал прямо из Англии во Флоренцию без остановки, в третьем классе, зимой, вопреки уверениям всех, что это невозможно!

* * *

Весь следующий день Антони бродил пешком по Флоренции в грезах счастья, когда усталость не имеет никакого значения. Было 21 декабря, а он обещал Робину позавтракать с ним в Риме двадцать второго.

Уличный воздух за стенами отеля был холоден, но изогнутая линия коричневых каменных домов с выступами крыш металлически резко выделялась на фоне темно-синего неба. Тони не видел нынешней торгашеской Флоренции, показывающей за деньги поблекшее великолепие своих предков, — он видел ту Флоренцию, о которой мечтали ее творцы. Неожиданно оказавшись перед собором, он остановился, пораженный величественным буро-красным куполом, длинной внешней стеной нефа* с ее мозаикой из разноцветных камней и высокой, лишенной шпиля колокольной, — он сразу узнал их по фотографиям, но его ошеломило и восхитило все то, что фотографии не могут воспроизвести — изысканный подбор красок и синий свод небес, на фоне которого они сверкали, как драгоценные камни. Тони казалось, что вся эта красота всегда таилась в нем, только выжидая мгновения, чтобы воплотиться; словно встретившись с нею лицом к лицу, он открыл в себе самом нечто прекрасное, нуждающееся лишь в мгновенной вспышке соприкосновения, чтобы стать его достоянием навеки.

По счастливой случайности, благодаря этому единственному идеальному дню, Флоренция навсегда запечатлелась в памяти Антони не как город-музей, а как вечно живой символ прекрасных и страстных жизней. Во время своих блужданий он увидел бронзовые врата и двери Баптистерия, громадный, суровый кафедральный собор с алтарными огнями, мерцавшими в коричневом сумраке, притворы и роспись трансептов* церкви Санта-Мария Новелла,

запрестольные образа кватроченто и две базальтовые гробницы в церкви Святой Троицы, с дохристианскими символами, изображенными на них, гробницы и фрески в церкви св. Креста и красочную стенную живопись Гоццоли* во дворце Рикарди. Запутавшись в клубке узких улочек, он внезапно вышел на Пьяцца Синьории* с ее высокой, стройной сторожевой башней, вздымающейся к небу как грозящая рука, с белыми статуями у основания и обширной лоджией с Персеем Челлини* и бронзовыми нимфами и сатирами на фронтоне. Во дворе палаццо он увидел колонны, богато украшенные резьбой, — гроздьями винограда, плодами, птицами, фигурами детей и сирен, — изящные как ювелирная работа: блеск, грация — сочетание явной чувственности с утонченным идеализмом, который для севера всегда оставался лишь мечтой, недостижимой вне поэзии. В Уффици он медленно прошел вдоль колоннады Вазари*, — не зная, что Вазари был строителем Уффици, — читая имена великих флорентийцев под их весьма посредственными статуями; затем, пройдя через тройную арку, напоминавшую фон веронезовского «Пира», вышел к Арно, зеленоватые воды которого текли под сводами старого моста, и увидел лавки ювелиров, прилепившиеся как ласточкины гнезда, ряды старых домов на противоположном берегу и в отдалении — кипарисы и оливковые рощи по дороге к Сан-Миниато.

Для одного дня Тони уже очень много повидал, однако он продолжал бродить до темноты и прервал свою прогулку лишь для того, чтобы поесть в маленьком ресторане у собора, где вино подавалось в небольших оплетенных бутылках с длинными узкими горлышками и где пища была простая, но вкусная. В лучшем случае этот день остался лишь мимолетным воспоминанием, но для Тони его было достаточно, чтобы почувствовать Флоренцию далекого прошлого. Все благоприятствовало ему — безоблачное небо,

резкий контраст после долгого мрака особенно унылой северной осени, собственное возбуждение и восприимчивость к языку камня и красок, и ощущение радости бытия после перенесенных в Англии страданий. Впервые в своей жизни Антони усомнился в справедливости одного из утверждений Скропа. Музей ли Италия? Нет, если только вы не захотите превратить ее в музей своим собственным поведением. Италия — это освобождение, внезапный свет, озаряющий человеческий дух, подобно ее собственному Возрождению. Но чтобы приобщиться к ней, проникнуться ею, надо любить мир всеми чувствами, с тем же совершенством, с каким любили они — Персей и Давид — освободители.

С трудом пробираясь со своим чемоданом сквозь толпу людей на вокзале в Риме, Антони почувствовал чью-то руку на своем плече, и голос Робина произнес:

— Молодец! Я не думал, что вы сдержите слово. Ну и утомленный же у вас вид!

— Это лишь так кажется. Просто я ужасно запыхался в дороге. Мне надо помыться и переодеться, и все будет в порядке.

— Ну тогда пойдем. Я снял для вас комнату наверху у Испанской лестницы. Я живу внизу, на виа Дие Мачелли.

Робин промчал его сквозь строй неожиданно обступивших их со всех сторон комиссионеров, назойливо зазывающих в гостиницы, и вскочил с ним в экипаж.

— Посмотрите! — воскликнул Тони, едва они отъехали. — Что это за огромные развалины?

— Термы* Диоклетиана*. Они когда-то занимали и всю эту площадь. А вот церковь — творение Микеланджело и музей греко-римской чепухи — вы придете от него в восторг.

— А этот фонтан? — Тони указал на двенадцать больших струй пенящейся воды, с плеском низвергавшихся на голых бронзовых женщин.

— О, это современное произведение! Довольно забавно; говорят, он вызвал пуританский бунт, когда его впервые поставили, и скульптору пришлось внести некоторые изменения. Однако я сомневаюсь, чтобы наши милые городские власти разрешили его даже в таком виде!

— Не разрешили бы, — сказал Тони, обернувшись, чтобы взглянуть на исполненные, пожалуй, в стиле модерн бронзовые фигуры, которые, казалось, эротически извивались под струями воды. — Но это лучше всего того, что я видел в таком же роде в Париже. Во всяком случае, вода великолепна.

— Это ничто! Все акведуки заканчиваются огромными фонтанами. Смотрите, вот фонтан Моисея. Есть еще Павла Третьего вблизи Яникула*, громадный Треви, двухструйный фонтан у Святого Петра и множество более мелких. Замечательный фонтан, изображающий юные человеческие фигуры и черепах, находится в гетто, а затонувший корабль Бернини* — у подножия Испанской лестницы и круглый Римский бассейн — у виллы Медичи. Рим — город прекрасной воды, колоколов и хорошего вина. Мы очень разумно поступили, приехав сюда.

— Всегда ли здесь так солнечно, как сегодня?

— О нет, бог с вами! Было очень жарко в сентябре и чудесно в октябре и начале ноября, хотя бывали грозы. Но у нас очень часто лил дождь, прекратившийся дня за два до вашего приезда. Погода прояснилась специально для вас! Однако не обольщайтесь солнцем — на рассвете и по вечерам бывает холодно.

— Я это почувствовал уже в Флоренции. Смотрите, опять фонтан!

— Это Тритон, а там дальше — дворец Барберини. Стиль его считают барокко, но мне он нравится.

— Что это за обелиск там наверху?

— Египетский — привезен одним из императоров, я забыл каким. Он стоит в конце Испанской лестницы. Ваша комната совсем близко, сейчас же за углом, на виа Грегориана.

Антони оказался в большой, просторной комнате, с потолком, расписанным гирляндами роз, амурами и с почти голой женщиной в центре, из пупка которой самым неподходящим образом свисала электрическая лампа без абажура. Из двух высоких окон видны были деревья, за ними множество черепичных крыш, купола и небо. В комнате были громадная кровать, массивный круглый стол на изогнутых ножках, довольно потрепанные золоченые стулья, несколько видов Рима, написанных масляной краской, и простой деревянный умывальник с дешевым зеркалом над ним. Странная смесь.

— Какая большая комната! — сказал Тони. — Она не дорогая?

— Пятьдесят лир в месяц, — ответил Робин виноватым тоном. — Комнаты ужасно дороги в Риме, и довольно трудно их найти. Была одна за сорок лир, но она была очень мала и без всякого вида. Я полагал, что вы предпочтете платить лишних десять лир и жить с удобствами.

— Ничего, ничего! Вы оказали мне большую услугу, что позаботились об этом, — я ненавижу искать комнаты.

Пока Антони умывался и переодевался, Робин занимал его разговором.

— Рим — занятное место, и нам повезло, что мы видим его сейчас, — ведь старый дух его не долго продержится! Если вы собираетесь осмотреть все церкви, галереи и дворцы, вам предстоит немалая работа. Я перестал ходить — меня, в сущности, не интересует мертвое искусство.

— *Cosa bella mortal pasisa, ma non d'arte!*¹ — нравоучительно произнес Тони, цитируя фразу, заученную им наизусть в поезде.

— Что? — спросил Робин. — Ради бога, бросьте ваш эстетизм, Тони! Самое интересное здесь — жизнь! Рим — это большая деревня, начиненная старыми дворцами и церквами, как пирог миндалем. Город все еще обнесен стеной и почти не выходит за пределы этой стены. Строятся новые кварталы, однако у Рима до сих пор меньше предместий, чем у любого другого большого города. Это, конечно, из-за малярийного комара. Достаточно отойти на милю за ворота Святого Панкратия, и вы уже словно в пустыне. Кажется, будто брошенный вами камешек долетит до самого купола Святого Петра, а между тем вокруг вас — ни звука, кроме жужжания пчел да стрекотания кузнечиков. Рим — центр католицизма, однако священники вынуждены ходить переодетыми, и здесь больше антиклерикализма, чем в Париже. В Риме два монарха и, следовательно, два комплекта дипломатов. Мне никогда и во сне не снилось, что в мире существует столько дипломатов! Ватикан не разговаривает с Квириналом, хотя все члены королевской семьи — католики. Старая знать все еще разъезжает в каретах и владеет великолепными лошадьми — на Пинчио* ежедневно происходит парад экипажей, где вы увидите рысаков, запряженных в роскошнейшие кареты, и наряду с ними — жалкие пролетки с веревочной сбруей. Швейцарская гвардия все еще носит мундиры по рисунку Микеланджело, а у преемников тех, кто так «гуманно» осудил Галилея, есть первоклассная обсерватория. Престиж британского посла зиждется на закупках больших партий вин. Построили огромное новое здание суда, и, говорят, при этом строительстве было больше взяточничества, чем во время знаменитого скандала в Филадельфии. Знать владе-

¹ «Все прекрасное земное бренно, но не искусство».

ет обширными поместьями и сказочно богата, а трущобы у Тибра — чудовищны, в особенности в Затибрской части. Однако народ как будто очень доволен своей судьбой, и он несомненно благожелателен, хоть и грубоват, когда мы говорим о римлянах, мы имеем в виду народ, описываемый Титом Ливием*; когда же о н и говорят о римлянах, они имеют в виду самих себя — они все еще ставят S.P.Q.R.¹ на газовых фонарях, и у них три сената: кардиналы, муниципалитет и сенаторы Италии. Я слышал, что они в большинстве случаев придерживаются традиций Катилины*, а не Катона. Как-то вечером я был в винной лавке, недалеко от королевского дворца, и в лавку вошел человек с барсуком, которого он только что пристрелил в Кампанье*. Можете ли вы себе представить, чтобы у нас кто-нибудь убил барсука в Хайд-парке*, а затем приволок его в пивную, рядом с Бекингемским дворцом*? Поверьте, Рим — необычайный город. Вы готовы? Идемте.

Они миновали великолепную Испанскую лестницу, в стиле барокко, с цветочными ларьками у ее подножия, и натолкнулись на трех музыкантов, наигрывавших какую-то примитивную, однообразную, но довольно трогательную мелодию на скрипке и двух гитарах. Робин дал монетку их антрепренеру.

— Я всегда им что-нибудь даю, — сказал он. — Товарищеское чувство, что ли! Я ведь тоже живу милостыней. Говорят, этот антрепренер с ними очень плохо обращается, но им от него не уйти. А вот и Римский бассейн — как величественны эти остролистники, не правда ли?

Они прошли через несколько ворот и вышли на нечто вроде бульвара; слева от них тянулись сады апельсинов и мимоз в цвету. В конце пологого спуска они достигли пус-

¹ Senatus populusque romanus. По-латыни: «Римский сенат и народ». Эти четыре буквы ставились на фронтоне государственных зданий в Древнем Риме.

той, усыпанной гравием площади со скамьями, деревьями и бесчисленными бюстами из каррарского мрамора.

— Тут главным образом изображены герои итальянской независимости, — пояснил Робин в ответ на вопрос Антони. — А ну их! Я стал здесь скорее сторонником папы, чем Гарибальди.

— Разве папская власть была социалистической? — спросил Тони с добродушным лукавством.

— Не намного хуже — они оставляли народ в покое.

— Мне казалось, что это даже лучше...

Антони не закончил своей мысли. Они подошли к перилам высокой террасы и стали глядеть на Рим. Первое, что бросилось Тони в глаза, — это купол Святого Петра, в величавости его нельзя было ошибиться; затем обширная, почти круглая площадь у их ног, с трамваями, экипажами и людьми, которые казались жучками, передвигавшимися на задних лапках. На одном конце площади возвышались два почти совершенно одинаковых купола, на противоположном — тройная арка. Остальное было морем крыш, колоколен и куполов, переливавшихся чистыми, нежными красками в лучах бездымного солнечного света. Это было прекрасно, но взволновало Тони меньше, чем его первое, мимолетное впечатление от Флоренции: Рим был лишь силой и великолепием, Флоренция же — человеческой жизнью, ставшей прекрасной... Он вздрогнул от прогремевшего над городом пушечного выстрела и затем стал слушать внезапно начавшийся звон колоколов, доносившийся с сотен колоколен, — то глубокий и раскатистый, то высокий и пронзительный, то чистый и звонкий, но всегда чрезвычайно гармоничный.

— Полдень, — сказал Робин. — Теперь вы понимаете, откуда Рабле заимствовал свой «Звенящий остров»*? Пойдем завтракать.

Они сели в извозчий экипаж и поехали вниз по извилистой аллее на какую-то площадь, затем по длинной прямой улице — Корсо — выехали на другую большую площадь с огромным дворцом эпохи Возрождения направо и замысловатым нагромождением белого мрамора и позолоты впереди.

— Отвратительно, не правда ли? — спросил Робин. — Взгляните-ка на Виктора Эммануила*. Итальянцы все еще обожают скульптуру и архитектуру, но уже утратили свое мастерство. За этим чудовищным сооружением — Капитолий, а дальше — Форум. Вот эта огромная штука когда-то была венецианским посольством — я говорил вам, что тут был рай для дипломатов!

За площадью тянулась длинная узкая улица.

— *Via delle Botteghe Oscure*¹, — сказал Робин. — Подходящее название — посмотрите, в каком мраке здесь работают люди. Вернее, работали бы, не уйди они все завтракать. Раньше трех теперь не возобновят работы.

Они завернули в ворота и оказались во дворе, под густым навесом из винограда. С переплетенных лоз еще свисало несколько золотистых листьев; иногда один из них тихо падал, порхая в неподвижном воздухе.

— Нам оставили столик на солнце, — сказал Робин. — Добрый день, Аттилио, — поздоровался он по-итальянски.

— Добрый день, синьоре, — ответил очень толстый моложавый официант с двухдневной черной щетиной на улыбающемся лице.

— Как его зовут? — спросил Тони.

— Аттилио — Аттила, — похож он на свирепого гунна, а? Этот ресторанчик принадлежит ему, его брату и старухе-матери, которая вечно жалуется на свой ревматизм и замечательно готовит. Заказать завтрак?

— Пожалуйста.

¹ Улица темных лавок.

* * *

— Я многое передумал с тех пор, как приехал сюда, — начал Робин, преподав официанту довольно сложные инструкции, — и в результате настроен более оптимистически, чем когда-либо.

— Это меня не удивляет, — ответил Тони, глядя сквозь виноградные лозы на ясное, лучистое небо и щурясь от солнца.

— Куда бы я ни приехал, я встречаю людей, горящих желанием искоренить зло во всем мире и готовых идти на любые жертвы, чтобы стало лучше жить. Это очень ободряет! Кажется, мы накануне грозных событий. Между прочим, как вам нравится это блюдо?

— Очень вкусно. Что это за интересные травы в нем?

— О, не знаю! — небрежно ответил Робин. — Что-то такое, что полагается. Старуха очень хорошо готовит, и ревматизм не играет тут никакой роли. А что вы скажете о вине?

Тони глотнул прозрачного, золотистого, легкого вина, благоухавшего виноградом.

— Чудесное вино! Своего рода поэма из винограда и солнечного света — весь Вах в бутылке. Что это за вино?

— Оно называется «Треббиано» и в этом году особенно удалось. У них есть еще мускат — вино сладковатое и крепкое, но в своем роде тоже замечательное. Вы должны его попробовать.

— Это, наверное, дорогой ресторан? — спросил Тони.

— Да, пожалуй, такой завтрак нам обойдется около трех лир на человека. Но ведь это по случаю вашего приезда! Я вас сведу в такое место, где завтрак обходится не больше лиры, включая вино. Надо быть богачом, чтобы приходить сюда каждый день.

Им подали жареных креветок, которые были почему-то сладкие, очень нежных цыплят с салатом, сушеных винных

ягод, орехов и апельсинов — таких ароматных, что Тони показалось, будто он только теперь, впервые в жизни, ест действительно сладкие апельсины. Когда они кончили, Робин широким жестом заказал полбутылки мускатного и предложил Тони сигару.

— Послушайте! — воскликнул Тони. — Что за безумная расточительность! Я опьянею!

— Не от этого, — сказал Робин. — Ведь это чистое вино. А сигары стоят пенни штука, если вас пугает расход. Я вот что хотел сейчас сказать: мне кажется, что таким людям, как мы с вами, следовало бы показать миру, как надо жить, не ожидая всех тех перемен, которые должны произойти.

— Ну что ж, — сказал Тони, — а разве мы не живем так? Если б все испытывали такую же радость бытия, как я сейчас, мир был бы раем.

— Я не то имел в виду, — возразил Робин. — В конце концов, мы наслаждаемся всем этим за счет других. Нет, я считаю, что нам следовало бы найти какой-нибудь уголок, подальше от Европы, и основать там маленькую колонию, управляемую на надлежащих началах, — мои друзья, ваши друзья и любые милые люди, которые пожелали бы к нам присоединиться. Мы бы делали все совместно, взращивали бы все, что нам надо, и все такое и показали бы миру, каким может быть действительно счастливое общество, если вы уйдете от машин, стремления к наживе и всех прочих ужасов.

И Робин нарисовал ему весьма привлекательную картину всего того, что они будут делать и как они будут наслаждаться жизнью. Он говорил так красноречиво и восторженно, что Тони и на самом деле поверил, что это будет приятно, и почти что счел такую вещь возможной. От еды и выпитого вина после продолжительного путешествия ему стало казаться, что все приятное — возможно, но вместе с

тем его безудержно клонило ко сну. Он не мог подавить зевоту, отвечая без особой убедительности:

— Да, это звучит замечательно!

Следующие десять недель прошли с такой приятной быстротой, что Антони только тогда вспомнил, как давно он уехал из дому, когда получил от отца письмо с вопросом, не собирается ли он вернуться домой, и вместе с тем с предупреждением, чтобы он не рассчитывал на дальнейшее получение денег. Тони подсчитал свои финансы и выяснил, что у него еще около шестидесяти пяти фунтов стерлингов. Казалось нелепым возвращаться сейчас, когда наступала весна, поэтому он написал уклончивый ответ и отослал по почте два альбома набросков, в виде доказательства, что он «изучает архитектуру». Тони отлично понимал, что доказательство это весьма слабое, ибо наброски эти не имели ни малейшего отношения к каким-либо систематическим занятиям и лишь свидетельствовали о том, что ему доставляло большое удовольствие любоваться зданиями и скульптурой. Он сознавал, что приятно провел время, чрезвычайно развился в некоторых отношениях, но так же далек от умения составить проект городской бойни, как и до своего отъезда из Англии. Правда, он видел все главнейшие церкви Рима, ежедневно посещал музеи и приобрел за эти два месяца больше знаний по искусству, чем за всю свою прежнюю жизнь. Но, как не слишком-то любезно указал ему Робин, из всего этого нельзя было извлечь никакой практической пользы ни для кого, а потому это было бы и непозволительно и невозможно в той идеальной колонии, для которой Робин просил Тони раздобыть пятьсот фунтов стерлингов на предварительные расходы.

В порыве внезапного отвращения ко всем строителям разных Утопий, прошлых, настоящих и будущих, Тони уложил свой чемодан и поехал в Неаполь. Там он провел три или четыре недели, заканчивая изучение классического

искусства, посещая Помпею и Амальфи и довольно болезненно перенося вечно дующий, холодный *tramontana*¹. Когда наступила теплая погода, он решил последовать совету официантов одного римского ресторана и провести недели две на острове Эя, расположенном далеко в Средиземном море, часах в двенадцати от Неаполя.

XI

Было около восьми часов утра, когда Антони вышел на палубу после ночи, проведенной в каюте почтового парохода, раз в неделю ходившего к острову Эя. Взбегая на верхнюю палубу по довольно крутому трапу с обитыми медью краями ступенек, он вдруг вспомнил с болезненным чувством удивления и раскаяния, что давно уже не писал Маргарет. Удивительно, какой смутной и далекой она стала теперь! Сперва он писал ей часто, описывая свои поездки и пытаясь держать ее в курсе всего того, что видел и чувствовал, а также тех перемен, которые он в себе замечал. Но ее ответные письма, полные ничтожной болтовни и рассказов о мелких светских событиях, показали Тони, что его жизнь ее мало интересует. Однако, хотя прошел почти год со времени их прогулки в лесах Сен-Клу, он чувствовал, что образ Маргарет еще не совсем изгладился из его памяти. Но все эти мысли исчезли, как только он вышел на палубу, залитую солнцем, и в восторге стал любоваться утром.

Пароход шел на юго-запад, так что лучи яркого раннего солнца освещали левый борт. По направлению к солнцу море казалось нестерпимо блестящим, покрытым насечкой

¹ Ветер с севера для южной Италии.

серебристо-золотым щитом; впереди оно было прозрачно-светлым и синим, подернутым рябью, словно множеством смеющихся уст — *anerithmon gelasma*, неисчислимым смехом. Плавно скользивший корабль разрезал волну в гладкой воде, и та разбегалась с легким шипением, превращаясь в мраморный узор пены. Более светлая, но и более глубокая синева неба казалась посыпанной золотистой пылью, и несколько очень высоких белых перистых облачков лишь еще больше оттеняли синеву и неподвижность небес. Милых в пяти перед ними чернел, словно ласточкино крыло, остров Эя на фоне залитого светом моря и горизонта. Полосы легкой туманной дымки, уже таявшей от жары, тянулись поперек острова, и он походил на нежную призму синих тонов, почти цвета индиго у вершины. На острове было два горных пика, один выше другого, соединенных очень широкой седловиной, где Тони уже мог с трудом разглядеть смутные очертания белого городка. В отдалении виднелось еще несколько островов: один — куполообразный, другой — длинный и какой-то взъерошенный, а третий, на очень большом расстоянии, — лишь неясная тень; на востоке высокий горный мыс чуть отделялся от берегов далекой Сицилии. Бессмертное, счастливое море, весенней поры мира, все такое же ясное и непорочное, каким оно было за целые эоны* до того, как первый человек научился говорить, такое же незапятнанное, как в те времена, когда первая багряноскулая ладья плыла вдоль его берегов и люди увидели эти острова и поняли, что здесь обитают боги.

Все ближе и ближе подходил пароход, и утесы, издали казавшиеся совсем низкими, вздымались все выше и выше, пока Антони не пришлось закинуть голову, чтобы разглядеть их гребни. Огромные желтые, розовые и серые известняковые скалы, изваянные солнцем, дождями и мощными морскими ветрами, выступали, словно контрфорсы, с

тонкой бахромой пены у основания, или раскалывались кверху в фантастические, неприступно-острые вершины. Город, теперь уже совсем ясно видимый, лежал грудой белых кубиков во впадине между двумя горами; там и сям белела какая-нибудь крыша среди сосен, оливковых рощ и виноградников, поднимавшихся террасами, наподобие гигантских ступеней. Кроме самых крутых, оголенных вершин, все утопало в зелени деревьев, кустарников и садов, и далекий синий остров теперь превратился в сложный узор из зеленых тонов, увенчанный голыми скалами.

На пристани целая орда комиссионеров и слабо замаскированных грабителей окружила Тони; одни пытались отобрать у него чемодан, другие выкрикивали какие-то слова на ломаном английском и немецком языках, третьи совали ему в руки рекламы отелей или же отвратительные коралловые безделушки, четвертые дерзко требовали, чтобы он нанял лодку или коляску либо дал им папиросу или франк. Контраст между красотой природы и человеческим ничтожеством был резок. На мгновение Антони подумал было вернуться на пароход и немедленно покинуть остров, но затем решил не обращать внимания на этих паразитов. Он храбро проложил себе путь сквозь толпу к стоявшим в ряд пролеткам, невозмутимо сторговался с извозчиком за половину просимой тем цены и велел ему ехать во вторую деревню, расположенную высоко на горе.

Через две минуты у Тони не осталось и следа от испытанного им раздражения, ибо опять красота местности пленила его. Белая, пыльная дорога вилась вверх длинными петлями, сперва через виноградники, только-только покрывавшиеся листвой, а затем — между стеной полевых цветов и кустарников с одной стороны и безбрежным простором моря и неба — с другой. Чем выше они поднимались, тем, казалось, все больше темнело море: возле берега оно

было зеленовато-синим, как павлиньи перья, а дальше к горизонту дымчато-лазурным. Но вскоре внимание Тони привлек сам остров. Средиземноморские сосны, искривленные дубы и каштаны стояли среди великолепия земляничных деревьев, гигантского белого вереска, желтого полевого горошка, белых, красных и желтых раkitников, распускающегося дрока, розмарина, красного валериана и массы мелких цветов, названий которых Тони не знал, — серебристо-белых колокольчиков, крохотного малюсенького красного пирамидального орхиса и еще множества других. В защищенном уголке он заметил грядку увядавших желтых ромашек, затем на косогоре полянку душистых диких нарциссов, а на самом краю дороги, между пушистым папоротником, розовые лепестки карликовых цикламенов.

Антони тотчас же поселился в единственной гостинице в верхней деревне. Огромный отрог скалы отделял ее от большего и более модного нижнего поселка, так что, казалось, она повернулась к нему спиной и глядела через более дикую часть острова на открытое море. Гостиница была очень простая и чистая; во втором этаже были расположены покрытые черепицей и выбеленные известкой спальные комнаты, с видом на двор, сад и оливковые рощи на уступах горы, а в нижнем — две просторные комнаты общего пользования, затем кухня и комнаты хозяев. Пожилая чета со взрослой дочерью и двумя служанками вела все хозяйство, и их бесхитростная доброта и безукоризненная честность приятно поражали, составляя резкий контраст с бесстыдным вымогательством береговой черни. У Тони была угловая спальная комната с маленькой белой террасой, уставленной цветочными горшками сладко пахнувшей резеды, и с видом на виноградники и оливковые рощи — до головок-ружительно крутого откоса.

Перед завтраком он вышел погулять и заглянул в маленькую церковь барокко, походившую на веселый опер-

ный театр, полную солнечного света и живописи на панно с зубчатыми бордюрами. Многочисленные гипсовые мадонны и святые, одетые в платья семнадцатого века и заключенные в стеклянные витрины, казались статуями главных персонажей различных музыкальных комедий, которые будто бы ставились в этом священном театре. Даже орган, со своей вздутой балюстрадой барокко, был расписан голубой и белой краской, имел золоченые трубы и был украшен золотыми изображениями веселых резвых амуров и барельефными изображениями музыкальных инструментов, подвешенными на деревянных бантах, выкрашенных в синий цвет. Пока Тони не услышал мрачного завывания и хрипа органа, он был твердо убежден, что единственная музыка, которая может раздаваться здесь в церкви, это священные джиги*, менуэты и веселые звуки Доницетти*. Церковь нельзя было назвать произведением искусства; то была полусерьезная-полушутливая дань уважения богам, которых чтили за оказываемые ими благодеяния, и богам довольно ребяческим, вполне разделяющим удовольствие жителей от веселой и шумной игры в религию. Тони вышел из церкви, смутно вспоминая бедные, крытые свинцом часовенки в Уэллсе, пуританскую пышность Вестминстерского собора, энциклопедический интеллектуализм французской готики, роскошное великолепие римского мрамора, и с удивлением подумал о том, какое существует множество различных и совершенно непримиримых между собой видов христианства.

Деревня состояла из нескольких белых домиков с садами, расположенных вдоль S-образной улицы, которая оканчивалась миниатюрной площадью. Тут дорога внезапно обрывалась, и дальше тянулись лишь грубые тропы. Тони наудачу выбрал одну из них, не то тропинку, не то высохшее русло ручья, круто и резко спускавшееся вниз с горы. Он заметил, что ему придется купить пару башмаков на вере-

вочных подошвах, которые он видел вывешенными на дверях одной деревенской лавки. Через две минуты он уже был в полном одиночестве среди садов, раскинувшихся на уступах горы и огороженных низкими стенами, сложенными просто из отдельных камней. Полоски пшеницы, ячменя и бобов и луга с густым ковром цветов лежали в тени высоких виноградников, оливковых, фиговых или миндальных деревьев или карликовых дубов, посаженных для защиты от палящего солнца. Еще дальше вниз стены и сады кончались, и Тони подошел к крутому склону, усеянному зелеными ракетками индийских смоковниц и покрытому благоуханными кустарниками и цветами. Зеленые и золотистые ящерицы в страхе разбежались по камням при его приближении, и бабочки порхали над цветами. Впереди синее небо сливалось с синим морем в дрожащей дымке. Тони долго сидел под тенью сосны, слушая едва заметный шелест ее игл от ветра и чувствуя, как отголоски городского шума и суеты растворяются от неуловимого прикосновения блаженного одиночества.

Завтрак был подан во дворе за отдельными столиками, в тени апельсиновых и лимонных деревьев, которые одновременно были и в цвету, и с плодами. Антони поклонился остальным гостям и за едой украдкой наблюдал за ними. Завтрак был простой — пирог, свежая рыба, зеленый горошек, фрукты и орехи, — но порции такие большие, что Антони был буквально ошеломлен; его удивило также, что в стоимость завтрака входит и бутылка красного вина. Публика казалась заурядной: высокий седобородый американец с женой, по-видимому, только что перенесшей очень тяжелую болезнь, рослая скандинавская чета, особенно наслаждавшаяся едой, и какая-то одинокая девушка, поразившая Тони своим сходством с Эвелин. Это сходство было таким удивительным, что он было привстал со стула,

чтобы заговорить с ней, но потом спохватился, заметив свою ошибку. Ей было около двадцати лет, тогда как Эвелин должно было быть теперь уже около тридцати. Кроме того, она была выше, а посмотрев на нее пристальнее, чем это позволяла вежливость, он увидел множество отличительных черт. На столе у нее лежала французская книга в желтой обложке, но за едой она читала английский журнал, а со служанкой так свободно изъяснялась по-итальянски, что Антони показалось, будто это ее родной язык. Однажды она подняла голову и уловила его взгляд, устремленный на нее; Тони тотчас же поспешил смущенно отвернуться, но уже их взоры встретились на мгновение, и странная дрожь пробежала в его крови. Он больше не позволял себе смотреть на девушку пристально, но украдкой взглянул ей вслед, любуясь ее легкой, изящной походкой, когда она вышла из-за стола и направилась в гостиницу.

Тони нашел, что его терраса залита ослепительным солнечным светом, а земля и море нестерпимо ярки. Он прикрыл ставни, отыскал чистую записную книжку и стал писать:

«Эя. Апрель, 1914 г. Я правильно сделал, приехав сюда. После трех месяцев зрительных впечатлений мне нужен был небольшой перерыв, чтобы разобраться во всем виденном, прежде чем вернуться в Англию. Оказывается, я лучше все воспринимаю и больше наслаждаюсь в одиночестве, чем с Робинотом, который почти всегда раздражает своими умягающими замечаниями, — он ужасно боится чем-нибудь восхищаться и считает, что скомпрометирует себя, признаваясь в этом. Он говорит, что никогда не позволит себе покориться женщине; он всегда должен быть хозяином и себя и ее. Мы постоянно об этом спорили. «Никогда не отдавай себя», — твердил он. Я возразил, что дар самого

себя должен быть полным и быть принятым полностью же и что надо стремиться к этому как к идеалу и никогда не удовлетворяться несовершенными взаимоотношениями! Он рассердился и сказал, что женщины подобны плющу: если их поощрять, они задушат вас в своих объятиях — все они паразиты, только и ищущие мужчину, чтобы на нем произрастать. Бери от них то, что хочешь, а затем бросай! Я ответил, что это для меня невозможно, и он пророчил мне жизнь в каком-нибудь саду-пригороде с пеленками и детскими колясками. Он еще больше рассердился, когда я указал ему, что он описывает неизбежный конец своих же собственных теорий социальных реформ!

Робин боится, что если он предастся своей врожденной склонности к пластическим искусствам, то превратится в «эстета». Это мне тоже кажется неправильным: как можно почувствовать произведение искусства, если ты не проникся им, не воплотил его в себе? Эстет же подобен антиквару — оба ценят лишь внешние ассоциации и упускают из виду жизненный дух. И мораль, подразумеваемая в искусстве, не носит ни репрессивного, ни увещательного характера; она процесс облагораживания, смена все более и более совершенных ценностей физической жизни, — что и есть только жизнь. Всякое искусство символично, независимо от своего проявления, оно претворяет в осязаемую форму бесконечные восприятия и чувства, которых нельзя непосредственно выразить, как нельзя объяснить слепому, что такое свет. Художник может думать, что его искусство — самоцель, но зритель видит, что это не так: обезьяна — не человек. Если ты не проник в сокровенный смысл искусства, если оно не обольстило твоих восприятий и не привело тебя к познанию живого космоса и человеческой природы, бесконечно разнообразные проявления которой оно символизирует, — значит, ты остановился еще слишком рано.

Чему я научился здесь, в Италии, от ее поколений художников — это тому, что жизнь является самоцелью. Если не жить настоящим, то можно с таким же успехом умереть. Если бы существовала загробная жизнь, я бы сказал, что лучший способ заслужить ее — это прожить данную тебе сейчас жизнь «с увлечением», как говорит Скроп. Могу себе представить, как должен гневаться Бог, когда смертные из ханжеских побуждений отвергают все его прекрасные дары! И меня не удивило бы, если бы Бог наказал этих людей, наделив их бесконечным рядом последовательных жизней, причем они неизменно проводили бы каждую данную жизнь в умерщвлении своей плоти, дабы достойно встретить следующую. Моя молитва гласила бы: «Всевышний, я прожил жизнь, которую ты мне дал, так ярко и полно, как только позволила мне моя природа, а если упустил воспользоваться или дурно воспользовался каким-нибудь из твоих даров, то сделал это от неведения. Если впереди меня ждет небытие — прими мою благодарность за это единственное, мимолетное видение твоего дивного творения! Если же меня ждет другая жизнь, будь уверен, что я постараюсь насладиться ею еще больше, чем нынешней. А если ты сам не существуешь — это не меняет дела: моя признательность все равно остается неизменной!»

К удивлению и огорчению Антони, на следующее утро, когда он проснулся, бушевал сирокко¹. Верхняя часть острова была окутана огромными смерчеобразными тучами, вскоре сгустившимися в сплошную дождевую завесу. Мокрый двор был усеян опавшими апельсинами и лимонами, ранние розы были сорваны жестокими порывами ветра, а оливковые деревья буйно раскачивались, так что зеленый глянец их мокрой листвы превращался в тусклое серебро.

¹ Сухой жаркий ветер, дующий из центральных областей Африки и сильно влияющий на климат средиземноморских стран.

Шероховатые листья высокой пальмы разметались во все стороны, как волосы обезумевшей женщины. Сквозь просветы в тумане Тони на мгновение увидел пенистые гребни взбаламученного моря. Когда вошла служанка прибрать комнату, он уныло спустился в большую гостиную, довольно душную и напоминавшую склад разрозненных стульев у какого-нибудь старьевщика. На длинном столе лежало множество разноязычных старых журналов, по-видимому, оставленных постояльцами гостиницы, и Тони пытался было извлечь хоть некоторое развлечение из этой засохшей шелухи, когда в комнату вошла девушка, которую он видел накануне. Антони встал, чтобы пожелать ей доброго утра, и, использовав сирокко в качестве темы для начала разговора, почти тотчас же оказался беседующим с ней, словно они были старыми друзьями. Быть может, ее сходство с Эвелин способствовало этому чувству близости, но ему понравилось, что она как будто немедленно поняла и разделила его взгляды лучше, чем кто-либо из его знакомых в Англии. Она, по-видимому, считала вполне естественным, что юноша путешествует без всякой определенной, практической цели, просто чтобы поглядеть на природу и людей. Было таким огромным облегчением, что не надо быть все время начеку, не надо придумывать никаких вымученных оправданий для своих поступков или лицемерно соглашаться — ради мира и спокойствия — с тем, что, ах, мол, как жаль, что в Италии мало играют в гольф и теннис.

Он узнал, что она австриячка и что ее зовут Катарина, сокращенно — Ката. Он сказал:

— А меня зовут Антони, или Тони. Я англичанин.

Она ответила, улыбнувшись:

— Я уже об этом догадалась.

— Каким образом? По моему итальянскому произношению?

— Нет. Вчера, когда наши взгляды встретились, вы покраснели и отвернулись. Если бы вы были уроженцем мате-

рика, вы продолжали бы смотреть на меня, пока я не осадила бы вас.

— Должно быть, мы довольно наивны и неловки, — начал Тони.

— Вообще нет! — с живостью прервала она. — Если бы вы только знали, как надоедает обезьянье кривляние этих итальянцев! Одна из приятных черт англичан — что они уважают женщин.

— Хотелось бы, чтобы это было действительно так, — ответил он задумчиво, — но я боюсь, что это только внешний лоск. В глубине души большинство англичан презирает и не любит женщин — даже в их вежливости чувствуется презрение.

— А вы тоже такой?

— Нет. Я... — Тони остановился, боясь сказать слишком много и показаться хвастуном. — Где вы научились в таком совершенстве английскому языку?

— У меня тетя англичанка, и я дважды у нее гостила. Как я люблю Англию! Не только Лондон, но ваши загородные дома и старые деревья — всю эту основательность и комфорт!

— Да, такова Англия, которую мы любим показывать иностранцам. Но это только парадный фасад. Один настоящий удар — и все рухнет.

— Ах, зачем вы так говорите? Это верно по отношению к такому... как бы сказать... такому анахронизму, как Австрийская империя. Но не в отношении Англии. Ведь Англия — столп мира.

Тони отрицательно покачал головой.

— Это слишком долгий разговор, когда-нибудь я объясню вам.

Поток ярких солнечных лучей внезапно ворвался в комнату через стеклянную дверь.

— Посмотрите! — воскликнула Катарина. — Туман рассеивается. Не пойти ли нам погулять? Я знаю чудную дорожку до конца острова.

Влажный воздух улицы был чист и ароматен после запертой душной комнаты. Ветер стихал, но горный туман еще стлался на вершинах, то скрывая жаркое солнце, то рассеиваемый им. Со стороны моря небо уже очистилось.

— Скоро совсем прояснится, — сказала Катарина, — а потом к вечеру туман, вероятно, вернется. Но завтра будет дивный день.

Тропинка, огороженная заборами, вела сперва через рощу апельсиновых деревьев, влажных от недавнего дождя и издававших сильное благоухание, затем мимо виноградников и оливковых рощ к леску высоких дубов. Дальше заборы кончались, и гуляющие вышли на широкое открытое место, поросшее кустами и цветами с редкими, согнутыми ветром соснами и бесчисленными серыми валунами, напоминавшими огромное стадо овец. Тони и Ката продолжали свой путь, разговаривая и смеясь, восхищаясь цветами, меняющимися красками моря, неожиданно открывшимся видом на куполообразный остров — сурово-синий на пенящейся воде. Ветер был упорный, но не слишком сильный. Антони чувствовал себя несказанно счастливым. В глубине души он отказывался от слов, записанных им накануне, — что он предпочитает любоваться красотой в одиночестве. Нет! В тысячу раз приятнее наслаждаться ею в обществе человека, тотчас же откликающегося на все и обогащающего твой восторг новыми восприятиями и более острыми переживаниями. Его глубоко тронула нежность, с которой Катарина касалась полевых цветов, не срывая их, словно беседовала с ними прикосновением своих пальцев. Он никогда раньше не видел, чтобы кто-нибудь так любил цветы. Тони инстинктивно положил свою руку на руку Каты, и они продолжали идти, слегка переплетаясь пальцами.

Тропинка кончалась у огромной, усеянной острыми зубцами пропасти. Под ними, на глубине тысячи футов, синие волны вскипали и перекатывались через камни, раз-

биваясь об утесы. Всюду, где только был хоть мельчайший выступ, росли дикие цветы или кусты карликовых пушистых сосен. Тони и Ката стояли рядом на краю, рука об руку, глядя вниз, в головокружительную бездну, где морские орлы скользили над водой и стрижи с криком носились мимо, словно играя в какую-то причудливую воздушную игру. Катарина указала на выступ скалы, футах в двадцати под ними, уже осушенный солнцем и совершенно защищенный от ветра. Узкая дорожка вела к нему вдоль отвесного края обрыва.

— Вот где я обычно сижу, — сказала она. — У вас голова не закружится, если мы спустимся туда?

Ее сомнение задело Антони.

— Я лазил по худшим тропам в Уэллсе и Девоншире, хотя и не на такой высоте.

— Ну тогда идемте.

Катарина шла впереди, держась за расщелины скалы и крепкие стволы ракитника и указывая Тони, куда ему ставить ногу. Когда они достигли выступа, он не пожалел, что спустился. Ката обернулась к нему с улыбкой.

— Я не думала, что вы пройдете. Нервы у вас в порядке.

Тони засмеялся и с восторгом взглянул в ее веселые, чистые глаза. Как было бы чудесно, подумал он, если бы вся жизнь была подобна этому дню с Катариной; и ему захотелось поцеловать ее. Но она уже отвернулась.

— Посмотрите, — сказала она, — вот мое место. Даже если перегнуться сверху через край обрыва, его не видно.

И правда. В стене выступа была широкая выемка, над которой нависала сверху скала, так что увидеть эту выемку можно было только стоя на самом выступе. Когда-то давно кто-то вырубил грубое сиденье в скале, поросшей мхом, мелкими растениями и редкой травой. Они долго сидели там, почти не разговаривая, и глядели на освещенное солнцем море и небо, почти уже чистое, если не считать отде-

льных полос тумана, быстро таявших в жарком воздухе. Казалось, они сидели на носу огромного корабля, и изредка проносившиеся облака создавали полную иллюзию движения. Катарина повернула к Тони голову, желая что-то ему сказать, но вместо того, чтобы выслушать ее, он быстро наклонился вперед и нежно поцеловал ее в губы. Она положила руку на его плечо, и он почувствовал ответный поцелуй.

После долгого молчания она прошептала:

— Надо теперь идти, а то мы опоздаем к завтраку.

Тони нежно поцеловал ее волосы, глаза и губы и затем отпустил ее, промолвив:

— Хорошо. Идем.

Она сказала:

— Мне следовало бы заставить вас ждать подольше, но я сразу же влюбилась в вас, как только увидела вчера.

— Я тоже, но я этого не знал, пока не увидел, как вы нежно касаетесь цветов.

— Вы не считаете меня распутной?

— Мне пришлось бы признать таким самого себя, если бы у меня были подобные мысли. У меня нет одного мерила для себя и другого — для вас. И я люблю вас еще больше за вашу искренность, за то, что вы не считаете нужным разыгрывать какую-то роль.

— Многие мужчины были бы разочарованы такой легкой победой.

— Многие мужчины — глупцы. Нет ничего совершеннее того, что мы переживаем сейчас.

— Итак, мы возлюбленные?

— Да, — он поцеловал ей руку, — мы возлюбленные.

— А ведь мы лишь вчера увидели друг друга! Но ты, милый возлюбленный, Антони, и ты, — тут она простерла руки к солнцу, — сделаешь нас счастливыми, не правда ли, о бог-солнце?

По дороге домой Катарина сказала:

— Всегда скрывай свое счастье, Антони. Не показывай людям, что мы любим друг друга. Не надо. Это не значит, что мне не противно что-то утаивать или что я не горжусь твоей любовью, но стоит людям узнать, и они непременно постараются разрушить чужое счастье.

— А как мы станем объяснять свои совместные прогулки?

— Я уже думала об этом. Предлог не очень хороший, но он сойдет, в особенности для итальянцев. Я сейчас же объявлю, что ты мой английский родственник и что мы сперва не узнали друг друга, потому что не видались с детства. Помни, моя тетя Гудрун — твоя мать!

В один безоблачный день Катарина и Антони поднялись на самую высокую гору острова. На этой высоте шум прибоя не был слышен; двухпарусные рыбацьи лодки, с такой высоты напоминавшие больших белых бабочек, только что опустившихся на воду, превратились в светлые точки, и даже громадный морской пароход в отдалении казался не больше шляпки. Весь остров лежал под ними, словно огромная зеленая рельефная карта, с выделяющимися белыми выпуклостями обеих деревень и выющимся узором обнесенных заборами дорожек. Необъятность моря подчеркивала разбросанные по нему острова и далекий мыс, края которого терялись в туманной дымке. Даже на солнце воздух был свеж и прохладен, и единственные звуки, нарушавшие тишину, доносились от шумной стаи стрижей. На самой вершине хребта стояла разрушенная часовня, келья отшельника и ровная площадка, которая когда-то была его садом. Там они присели, закурили и долго беседовали.

— Странную жизнь вели здесь отшельники, — сказал Антони. — Я прочел вчера, что они жили здесь в течение многих поколений, пока не закрыли монастырей. Хоте-

лось бы знать их настоящую жизнь — я имею в виду не «жития святых», ведь это просто благочестивая беллетристика, но их тайную, скрытую повесть. Почему они стали отшельниками, какие у них были сокровенные мысли. Были ли они просто ленивы или же бежали от мира, устрашившись его пороков, и действительно ли они были счастливы в уединении?

— Весьма эгоистичное существование, — сказала Ката, — и глупое вдобавок. Что могли они узнать о жизни, избегая ее?

— Не знаю. Вероятно, она была скучной и слишком автоматической для большинства из них. Ну, а лучшие умы... Столько монастырей и обителей отшельников построено вот в таких чудных местах. Не думаю, чтобы это было случайно. Быть может, некоторые из отшельников действительно поклонялись красоте мира, скрываясь под рясой монаха. Инстинктивное поклонение — это плохое слово — богам никогда не умирало и никогда не умрет, пока мир не превратится в механизированную пустыню. Но даже и тогда всегда будут море и звезды, солнце и месяц, облака, заря и солнечный закат. Я не презираю созерцательной жизни.

— Но, дорогой мой, — ласково возразила Ката, — люди не могут жить только в себе и для себя; а если они так живут — значит, они просто недоразвиты и озлоблены. Можно жить среди людей — и все же чувствовать всю красоту мира; а разве и в людях не скрывается великая красота? У нас есть своя личная жизнь и своего рода священный долг сделать ее как можно более прекрасной и благородной. — Она наклонилась и поцеловала его волосы. — Но нам даны также и коллективная жизнь и священный долг по отношению к другим людям. Ко всем людям. Можно многое сделать, работая на благо людей. И еще у нас есть долг перед государством.

Тони порывисто вскочил.

— Государство, — воскликнул он, — меня тошнит от этого слова! Это смехотворное божество. Половина моих друзей проводит свою жизнь в разрешении неразрешимых задач при помощи государства. Но, милая моя, государство порочно! Государство не означает общего блага, оно означает лишь правительства и полчища чиновников. А правительства тратят свое время и народные деньги на бессмысленные усилия, направленные к тому, чтобы возвеличиться за счет других правительств. Правда, они снабжают нас дорогами, полицейскими и судами, а сейчас еще по новым теориям считается, что они должны будут снабжать нас вареньем, сардинками, трамваями, законсервированными идеями с гарантией благонадежности, общественными садами, развлечениями и что на их обязанности будет контролировать почти все детали нашей жизни, включая и наши сердечные дела. Государства поощряют размножение, потому что им нужны рабы и солдаты. Социалистическое же государство будет регулировать размножение, чтобы производить бесчисленное количество здоровых, покорных индивидов, которые будут жить в государственных домах на государственной пище, привозимой государственным транспортом, для того чтобы служить государству и, таким образом, всячески способствовать состоянию государственного застоя. К черту государства!

— Может быть, — возразила Ката, смеясь над его горячностью, — ты бы не так яростно нападал, если бы лучше знал о современном социализме. Он стремится не к порабощению, как ты себе представляешь, а к удовлетворению жизненных потребностей всего человечества, вместо того чтобы это было достоянием меньшинства. А освободив людей от борьбы за существование, он тем самым и даст им возможность вести ту жизнь, о которой ты мечтаешь, — жизнь чувств, разума, сердца, словом — всего.

— Я этому не верю, — продолжал упорствовать Тони. — И, бога ради, Ката, дорогая, не пытайся сделать из меня социального реформатора! Вся прелесть жизни заключается в неожиданном. Кто знает, что с нами будет через два-три года, — правда, мы знаем, что будем вместе! А социализм из жизни исключит всякую неожиданность. Это идеал для людей, лишенных фантазии. Я знаю, что в человеческом обществе дела обстоят плохо; я знаю, что всеми нами в большей или меньшей степени правят богатые подлецы. Но ты не создашь индивидуального счастья коллективной организацией или какой бы то ни было социальной структурой, основанной на отвлеченностях. Когда я говорю: «Англия счастлива» — я говорю то, чего нет. Ведь нет такого существа, которое называлось бы «Англия». Есть остров, некоторые части его очень красивы. И есть англичане. Скажи я: «Все англичане счастливы», — я изреку явную ложь, но по крайней мере я выскажу нечто определенное. Давай отрешимся от отвлеченностей — их не существует. Я согласен, что у нас есть обязанности, но я не верю, что человек обязан пытаться устроить жизнь других людей в соответствии с какими-то отвлеченными принципами, как бы доброжелательны и возвышенны они ни казались. Я не верю в попытки преобразования мира. Для меня важно прожить свою собственную жизнь как можно полнее. Если я могу «усовершенствовать» самого себя, то уже этим самым я несколько способствую преобразованию человечества. Мое отношение к красоте и величию вселенной — мое личное дело, моя религия, если хочешь. А что касается моего долга по отношению к другим, то это долг по отношению к определенным людям, а не к человечеству вообще. И люди не могут быть коллективно счастливы, если индивидуально они станут ничтожествами, скучными и посредственными, какими они будут при социализме.

Он думал, что убедил ее, но Ката слегка покачала головой и переменяла тему беседы. Она навела Тони на разговор об английской поэзии, а затем, будучи, как немка, немного сентиментальной, стала учить его немецкому четверостишию, которое он должен будет повторять, когда вспомнит о ней:

Wenn ich in deine Augen seh,
So schwindet all mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küsse deinen Mund —
So werd ich ganz und gar gesund¹.

В течение нескольких дней Антони пребывал в состоянии безмятежного счастья. Ему казалось, будто он достиг кульминационной точки своих мечтаний, вершины горы на островке своего душевного мира, и там обнаружил, что может чудесным образом идти вперед прямо по воздуху и жить в солнечной лазури. Его ощущения никогда еще не были такими острыми, такими непосредственно яркими, и создаваемые ими многогранные образы, казалось, содержали в себе целый ряд восприятий, словно они не только были реальны сами по себе, но и являлись символами более отдаленных реальностей. В хлебе и вине он вкушал солнечный свет и дождь, крепкое зерно пшеницы и тугую мякоть винограда, благоухание чистой земли. Ароматы садов и вольных солнечных просторов за ними воскрешали, период за периодом, его собственную жизнь и связывали впечатления настоящего дня с переживаниями на террасе в Вайнхаузе; и все это было настолько отчетливо, что аромат лимонных деревьев в цвету и молодого раkitника всю жизнь ассоциировался для него с островом Эя. Он просыпался рано, и чистая, розовато-алая заря, такая ясная, что она казалась

¹ Когда в глаза твои взгляну, вся скорбь исчезнет, словно сон; когда к устам твоим прильну — мгновенно буду исцелен. (Гейне.)

прозрачной водой, слегка подкрашенной яркими красками, пение птиц, резкие очертания гор и деревьев, цельные и четкие, как линии японской гравюры, — все это походило на картину сотворения начала мира. Народы, живущие на берегах Средиземного моря, выразили это ощущение, создав миф о том, что заря одарила своего возлюбленного бессмертием. Розоперстая... это звучало для него раньше простым поэтическим тропом, пока он сам не увидел ее.

Живя так, за пределами своего «я», он совершенно не анализировал своих собственных чувств. Лишь впоследствии ему показалось странным, что в те дни он даже не испытывал желания большей физической близости с Катариной. Однако им руководил правильный инстинкт: надо пережить зарю, прежде чем приветствовать солнце.

Спустя приблизительно неделю после прибытия Антони на остров они спускались по той самой тропинке, которую Тони частично исследовал в день своего приезда. Дневное солнце казалось северянам очень жарким, хотя была лишь середина апреля. На виноградниках никто не работал, когда они проходили, и весь остров был погружен в послеобеденную дремоту. Время года было слишком раннее для кузнечиков и цикад, поэтому тишину нарушали лишь их собственные шаги и голоса, едва внятный шорох бега ящерицы, быстрая песнь малиновки, дразнившей их с колючей индийской смоковницы, и протяжное противное шипение ускользавшего ужа. Тони сказал:

— Ты очень терпелива со мной, Ката. Я знаю, что мои слова должны казаться несколько бессвязными. Но ведь невозможно выражать чувства и ощущения прямо. Приходится ощупью искать для них словесные эквиваленты, а я не силен в метафорах.

— Мне еще труднее, потому что английский язык не мой родной. Но не кажется ли тебе, что можно научиться

выражать свои чувства совершенно так же, как изучаешь язык?

— Не знаю. Может быть. Да, возможно. Но я теперь знаю одно: только испытавшие то же, что и я, могут понять меня.

— Но я не испытала. Да и как я могла испытать? Я никогда не видела этого дома в Англии, который тебе так много дал.

— Да, но в твоей жизни был тот час в Шварцвальде, когда ты так много пережила в одиночестве. Это, должно быть, было нечто, совершенно непохожее на все мои настроения, которые я когда-либо переживал, нечто гораздо более яркое, но я воспринимаю его через свои равнозначные чувства. Однако если бы у одного из нас никогда не было подобных переживаний, другой говорил бы в пустое пространство. До тебя я никого не знал, кому мог бы раскрывать свою душу без страха, что буду встречен недоумением или насмешкой.

— Никто не может действительно познать другого, — сказала Ката. — Можно лишь догадываться, когда ты любишь.

— Каждый из нас находится в своего рода тюрьме, — согласился Тони, — но мы можем иногда выходить из нее; когда мы говорим, что забываем сами себя в экстазе, это лишь значит, что на мгновение мы разрушили тюрьму. Со мной это случалось, когда я сидел в саду или любовался чем-нибудь прекрасным и когда ты меня целовала. Подобное же чувство, должно быть, испытывает летучая рыба, когда она на несколько секунд взлетает над водой к солнцу.

— Да, но одно твое прикосновение к моей руке более прекрасно, чем моя мечта наяву в Шварцвальде. Как я раскаиваюсь в этом глупом романе!

— Нет, нет! Не раскаивайся в пережитом! И не говори, что это было глупо. Тогда ведь это не было глупо. Может

быть — правда, через много лет, — ты станешь ко мне равнодушной, но не говори тогда, что наша любовь была глупа.

Они теперь почти дошли до самого конца острова, оставив позади возделанную землю, и тропинка стала едва заметной. Справа от них местность круто спускалась к морю, и в неприступных утесах как будто бы виднелась узкая расщелина. Тони указал на нее.

— Не попытаться ли нам спуститься к морю?

— Идем! Это будет новым открытием — наверное, сюда никто никогда не ходит. Мне говорили, что на этом конце острова нет спуска к морю.

Пока они с трудом спускались, Тони говорил:

— Ты знаешь, иногда какое-нибудь слово, сказанное невзначай, или случайная ассоциация внезапно переносят тебя в другую эпоху! Когда я был в Риме, я пошел на торжественную обедню в боковом притворе собора Святого Петра. Во время возношения даров мы все опустили на колени, а так как я был в самом дальнем конце ряда, то стал на колени возле кресла каноника. И вот в тот момент, когда зазвонил колокольчик, чтобы отметить божественное присутствие, каноник провел пальцем по резьбе своего кресла и сказал по-итальянски соседу-канонику: «Как это уродливо!» И у меня неожиданно мелькнула в голове сцена из эпохи Возрождения: Борджиа, целующий вставленную в его распятие гемму с резным изображением нагой Афродиты.

— Занятно! — засмеялась Ката. — Если бы он был истым современным итальянцем, его заинтересовала бы стоимость предмета. Смотри не поскользнься на этих камнях.

Разгоряченные и немного запыхавшиеся, они достигли подножия утеса и оказались на берегу маленькой бухточки между двумя стенами крутых утесов, совершенно скрытой сверху кудрявой завесой сосен. Белая вода мягко рябилась над камешками у дальнего конца бухты, затем, внезапно

углубляясь, она казалась стеклянно-зеленой над песчаным дном, а еще дальше в море — ярко-синей над травянистым покровом подводных камней. Бухточка была около четырех метров в ширину и двадцати в длину.

— Вот бассейн, созданный для морских нимф! — воскликнул Тони. — Как хорошо было бы сейчас выкупаться!

— А почему бы нам не выкупаться?

— Мы не захватили с собой купальных костюмов.

— Ты считаешь это таким важным? — спросила с улыбкой Ката.

У Тони было такое чувство, будто он уже когда-то стоял здесь, глядя на это море, собираясь купаться с девушкой. И к этому примешивалось странное ощущение, какое он испытывал с Эвелин, — будто какая-то внешняя сила руководит им. Он ответил:

— Конечно нет. Глупо было с моей стороны колебаться. Нас ведь никто здесь не увидит?

— Никто. А если покажется лодка, мы погрузимся по шею, пока она не пройдет.

Через минуту они уже разделись и стояли, глядя друг на друга с улыбкой. К своему удивлению, Тони обнаружил, что он не испытывает никакого смущения, а лишь спокойную уверенность в том, что у него стройное тело, не слишком мускулистое и без изъяна. Ката откровенно посмотрела на него и сказала:

— Ты мне больше нравишься без одежды. Ты красивый мужчина.

— А ты — прекрасная женщина!

Она была действительно прекрасна и не принадлежала к тем женщинам, которые нуждаются в полусвете. Яркий солнечный свет только выделял ее красоту. Странно, сейчас она выглядела более крепкой, чем в одежде, скроенной так, чтобы тело казалось стройнее. У нее были длинные, прекрасной формы ноги, не слишком узкая и не короткая

талия и полные груди. Тони кинулся в воду и почувствовал прохладу, охватившую его до середины бедер. Он протянул Кате руки и крикнул ей: «Иди!» Когда она легко соскользнула в море, груди ее коснулись его плеч и груди, словно бессознательная, чудесная ласка.

Тони поплыл к концу бухты. Не видно было ни единой лодки, а та небольшая часть острова, которая открылась его взору, была безлюдна и погружена в молчание. Царила полная тишина, прерываемая лишь их голосами и легкими всплесками. Катарина стояла в воде почти по грудь, и ее белые ноги и тело причудливо преломлялись в плавно колебавшихся волнах. Тони подплыл к ней и, опустив ноги, чтобы встать, схватил ее руки в свои и поцеловал ей груди. Крепко притянув к себе ее прохладное тело, он поцеловал Катю в губы. Он почувствовал, как она слегка погрузилась в поддерживавшую ее воду, отдаваясь на волю волн, чтобы всплыть. Ее тело, почти совсем поднятое на поверхность едва вздымавшимся морем, весило не больше детского тела, и Тони легко поддерживал ее одной рукой. Божественное чувство прикосновения, разбуженное Эвелин, достигло своего апогея.

Катарина отстранилась от его поцелуя и, опустив ноги, снова встала.

Она прошептала, но с оттенком какого-то страха в голосе:

- Я хочу стать совсем твоей, но...
- Но что?
- О мой милый, мой милый!
- Что такое? Скажи мне! Тебе страшно?
- Страшно! Ты — сама нежность.

Она высвободила свою руку и отплыла на полшага от него.

— Тони, мой дорогой, я уж больше не девственница, и я хочу...

Прежде чем она успела закончить свою фразу, Тони ответил на ее страх самым щедрым, самым страстным поцелуем, каким он никогда еще никого не целовал.

Когда на церковных часах в этот вечер пробило одиннадцать хриплых ударов, Антони бесшумно подошел к комнате Катарины и, как она ему велела, тихо вошел, не постучавшись. Электрическая лампочка была обернута голубым шелковым платочком, так что комната тонула в таинственном, синеватом сумраке. Катарина, в легком шелковом халатике, сидела на краю постели. С произвольным жестом благоговения Тони опустился на колени и поцеловал ее руку и обнаженное колено. Но вместо того, чтобы заключить его в свои объятия, как Тони ожидал, она заставила его встать и, отстранив его от себя, испытующе посмотрела на него загадочным взглядом, в котором смешивалась глубокая страсть, мольба и легкое недоверие.

— Ты мне не ответил, когда я тебе что-то сказала сегодня днем.

Тони слабым жестом выразил свое изумление и огорчение.

— Я тебе ответил. Мой поцелуй, мое прикосновение означали, что это ничего не значит, что я люблю тебя.

Говоря так, он глубоко заглянул в ее глаза и увидел, как выражение недоверия постепенно исчезло с ее лица. Но Ката сказала:

— А это не означало, что ты меня презираешь? Ты не думал, что я... что ты можешь просто позабавиться со мной?

— Если ты не чувствуешь, как бесконечно чужда мне была подобная мысль, — сказал он, оскорбленный, — тогда все мои слова бессильны убедить тебя.

Он почувствовал, как ее рука сжала его руку.

— Не обижайся, мой милый, мой любимый! Я не доверяла самой себе, а не тебе. Я хотела быть уверена, совершенно уверена. — Она на мгновение замолкла. — Не могу тебе выразить, что я испытываю сегодня... нечто более глубокое, более прекрасное, чем все мои прежние мечты. Словно не только моя жизнь, но весь мир преобразился. Сказать, что «это моя свадьба», — значит, ничего не сказать, — я твоя, и ты можешь делать со мной все, что хочешь. — А затем, низким, вибрирующим голосом: — Herz, Herz, mein Herz!¹

Глубоко тронутый, Тони хотел обнять ее, но она снова отстранила его от себя и почти покорно спросила:

— Хочешь дать мне сегодня ребенка?

Такой трогательной показалась ему эта бескорыстность, это полное самопожертвование, что слезы навернулись на глаза Тони. Самый вопрос поразил его — он не думал о нем, даже не представлял себе, что это возможно.

— Моя дорогая... да, когда-нибудь... но не сегодня... я слишком молод... я не думал об этом... когда мы соединимся навсегда...

Он говорил неуверенно, отчасти потому, что был захвачен врасплох, отчасти от волнения. И чувствовал себя не униженным, а робким. Мужчинам, подумал он, приходится поэтизировать свою любовь, потому что она более низменна, чем любовь женщин. Ему показалось, что Ката прочла по его лицу эту мысль, ибо она отвратила взор, устремленный на него, и сказала просто и почти весело:

— Ложись в постель и закрой глаза.

Тони скользнул под прохладную простыню и закрыл глаза. Он слышал, как Ката тихо двигалась по комнате, а потом наступила полная тишина, прерываемая лишь биением его сердца. Легкая дрожь пробежала по его телу, и он старался ослабить напряжение мускулов и освободить со-

¹ Сердце, сердце, сердце мое!

знание от всякой мысли, как вдруг почувствовал прохладные губы Каты на своих губах, вздрогнув от ее прикосновения. Ее губы теперь касались его сердца. Он простер руки в пространство, чтобы обнять ее, но в то же мгновение она снова прильнула в поцелуе к его губам, держа его голову в своих руках и касаясь его уст, как некогда Геа-Теллус*, склоненная над своим возлюбленным на бороздах нивы. Синеватый сумрак, казалось, вспыхнул золотым пламенем. Тони пытался заговорить, но мог произнести только: «Ката!» — как вздох любви; а затем все его другие чувства потонули во все возрастающем величии прикосновения.

XII

Одна только мысль тревожила Антони — что ему придется покинуть Эю прежде, чем Катарина уедет в Вену. Он старался ограничить свои расходы одной лишь платой за питание, ничего не покупал, перестал курить и не писал писем, за исключением открыток отцу и Робину. Два довольно ворчливых письма от отца, в которых тот спрашивал, чем же Тони занимается все это время в Италии, оставили его совершенно равнодушным. В одном содержалась такая фраза: «Твои крылья устали летать, тебя, наверное, тянет домой». Это выражение своей приторностью покорило Тони, и он с улыбкой подумал, как мало его тянет «домой», с какой бы радостью он согласился на вечное изгнание из Англии, с Катой, в благословенном климате Эи. Лишь необходимость и надежда соединиться с Катой заставляли его вернуться на родину.

Они выработали план, совершенно безукоризненный и застрахованный от всяких случайностей и непредвиденных

обстоятельств. Они останутся на Эе, пока Антони не потратит всех своих денег, за исключением платы за проезд в Лондон и небольшой дополнительной суммы. Затем они поедут в Милан, и после прощальной ночи, которую они проведут там вместе, Ката отправится в Вену, а Тони в Лондон. Десятого августа Тони минет двадцать один год, и он сможет поступать как ему заблагорассудится. Он снимет для них небольшую временную квартиру в Лондоне. С отцом он будет откровенен и скажет ему, что собирается жить с одной австрийской девушкой и, может быть, жениться на ней. Они благоразумно решили не жениться, пока не проживут вместе по крайней мере два года. Если отец Тони станет протестовать и откажет ему в деньгах — не беда. Они смогут жить на деньги Каты, и Тони найдет себе какую-нибудь работу по душе, или же они вернутся в Италию. Из буржуазной щепетильности Тони настаивал на такой довольно неопределенной работе, заявляя, что он готов ради Каты стать чистильщиком сапог или мусорщиком, но Ката разумно ответила, что она предпочла бы более чистую профессию. Конечно, если отец Тони окажется молодцом и если он отнесется к ним благожелательно, тогда, разумеется, они вернутся на год в Италию, и Ката будет заниматься там живописью, а Тони составит проект великолепного храма Венеры, который будет воздвигнут в Хайд-парке на средства государства.

А Ката сообщит своей семье, что она собирается жить с англичанином, но известит об этом родителей по почте из Лондона — иначе они, пожалуй, станут чинить препятствия. Она прибудет в Лондон десятого, в день рождения Тони, и в то же время распорядится о переводе своих денег из Австрии в один из лондонских банков.

Безукоризненный план! Они обсудили его во всех подробностях, тщательно проверили, нет ли в нем хоть малейшего изъяна, и торжествующе решили, что ничто на свете не сможет им помешать.

* * *

В начале июня Антони обнаружил, что у него истрачены все деньги, за исключением отложенной суммы и еще ста лир. Их отъезд ничуть не ускорили три телеграммы и два письма, полученные Катой в быстрой последовательности от отца, требовавшего, чтобы она немедленно вернулась в Вену. Она прочла их Тони, и они сперва посмеялись, а затем несколько встревожились. Тони был убежден, что отцу Каты кто-нибудь написал о плохом поведении его дочери, и он терзался при мысли, что ей по возвращении домой предстоит отвратительные семейные сцены. Однако Ката была уверена, что это не так. В Эе ее никто не знал, и она была чрезвычайно осторожна в своих письмах. Должно быть, дома что-нибудь случилось. Они как раз обсуждали странность этого настойчивого требования вернуться, по словам Каты, весьма необычайного, ибо ей фактически разрешалось делать все что угодно, когда подали четвертую срочную телеграмму с оплаченным ответом.

— Ах, сообщи ему, что ты выедешь завтра, — сказал беспечно Тони. — Это всего несколько дней разницы, а после августа мы всю жизнь будем неразлучны, Ката, Ката, милая Ката!

И все же, несмотря на их план, намеченное расставание на миланском вокзале показалось им чрезвычайно трагичным, и им приходилось неустанно подбадривать друг друга разговорами о том, как быстро пролетит время до августа — лишь немного более двух месяцев, шестьдесят два дня, а потом уж ни единой разлуки. Лишь до августа.

Тони усадил Кату в купе длинного вагона с надписью «Вена» и с любопытством взглянул на объявления на немецком языке, ставшем для него как бы новым родным языком — настолько он чувствовал себя отождествленным

с Катой и со всем, что имело к ней какое-нибудь отношение. Он поцеловал ее, затем вышел из вагона на платформу, стараясь принять очень бодрый вид и вместе с тем испытывая такое чувство, словно у него сердце вырывают из груди.

— Лишь немного времени, — промолвил он с тем ужасным ощущением последней минуты, когда знаешь, что надо что-то сказать, как бы это ни было нелепо.

— Да, и ты будешь писать?

— Буду, а ты?

— Конечно.

Какой-то угрюмый толстошей пруссак, куривший длинную светлую сигару, безучастно глядел на них из купе, находившегося на три окна ближе к концу поезда. Тони едва его заметил, если не считать того подсознательного впечатления, которое много лет спустя воскрешает детали глубоко прочувствованной минуты. Раздался свисток паровоза. Ката далеко высунулась из окна, еще раз поцеловала Тони и прошептала:

— Herz, mein Herz!

Поезд тронулся легким рывком.

— До свидания, Ката, милая, до свидания.

— До свидания.

— До августа.

— До августа.

Тони шел рядом с поездом, но скорость его неумолимо увлекала Катю. Она высунулась из окна, чтобы выглянуть из-за заслонившего ее пруссака. Тони помахал рукой и закричал:

— До свидания — до августа — до нашего дня!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1919

I

*Его Величества короля
М а н и ф е с т*

1914

*...прискорбно будет лишиться вас...
...ваш долг — идти...
...ваш король и ваше Отечество...
...приветствовать вас лобзанием,
когда вы вернетесь...*

1915

*Долог путь...
...Далеко...
Расставаться нелегко...
Прощай...
Долог путь...
Далеко...*

1916

*...хочу домой,
домой...
...Увезите меня за море...
...не хочу умирать...
Домой!*

1917

*Выньте цилиндры из почек,
а поршни из мозгов
и позвонков,
Потом опять надо все собрать.*

1918

*Я знаю, где они. Там, в поле,
На частоколе
Ключей проволоки сеть:
Они остались там висеть.
Я видел их
и видел сеть.*

1919

*Меня, когда умру,
Не надо зарывать —
Лишь бросьте кости мои в спирт,
Чтоб за-ма-ри-но-вать!*

БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЯ!

II

...дым рассеялся, и он увидел снаряжение и шлем солдата, находившегося впереди, и еще другие шлемы и штыки. Траншея была глубока, но он не удивился тому, что видит все происходившее наверху. Впереди была линия заградительного огня, разрывались снаряды и стлалась огромная пелена дыма. Он так устал, что не обратил внимания, как бесшумна битва. Никто не сделал ни единого за-

мечания, когда они проходили мимо беззвучной батареи в полном действии, — вспышка, откат, полуголые люди, работавшие как безумные, — и ни звука. Ужасно тяжело было двигаться по траншее. Он покрылся потом от усилий. Странно, он не шел, а медленно, медленно скользил. По-видимому, они опаздывали, а ему нужно было прибыть туда раньше. Сознание, что он опаздывает, нестерпимо терзало его, но, несмотря на все свои усилия, он не мог скользить быстрее.

Вот он очутился за окопом, и притом совершенно один. Впереди, но уже гораздо ближе, был беззвучный заградительный огонь и ряды шедших в атаку людей. Метрах в двухстах от себя он увидел офицера, стоявшего с ординарцем. В одну секунду скользнув к нему, он резко спросил: «Где мой батальон?» Офицер повернул голову, и он сразу увидел, что человек этот уже давно мертв. То был просто скелет в изодранном мундире. И тут он заметил, что никто из шедших в атаку людей не двигался — двигались лишь бесшумно вспыхивавшие снаряды и дым. С нарастающей тревогой он быстро скользнул к пулеметной команде, лежавшей вокруг пулемета Льюиса, и дотронулся до плеча одного из солдат. Оно рассыпалось от его прикосновения, и они все взглянули на него, обратив к нему черепа вместо лиц. Это было старое поле битвы; должно быть, он заблудился. Надо было во что бы то ни стало найти землянку штаба.

С невероятной быстротой он скользнул через проволоку и воронки от снарядов в траншею и сразу же нашел землянку. Снова его ноги налились страшной свинцовой тяжестью, и от усилий при медленном спуске он вспотел. В помещении было совершенно пусто и пахло затхлой штукатуркой. Света не было, но он все отчетливо видел. Он заметил арку в стене и понял, что она ведет в длинную галерею. Он застонал, замотав головой из стороны в сторону,

так тяжело было влачиться, скользя по этой огромной штольне. Лишь вокруг него было светло, и он видел шероховатые сырые стены, но впереди и позади все было объято тьмой. Тревога сменилась ужасом от сознания, что он заблудился глубоко под землей в полном одиночестве. Он поборол это чувство и продолжал с трудом скользить.

Галерея примыкала к колоссальной пещере. Своды терялись в темноте, а по обеим сторонам шли ряды черных колонн, как в миланском соборе, с огромными тенями позади них. Пол был белый и блестящий и тянулся далеко в пространство. Силы его растаяли от отчаяния при мысли об огромном предстоявшем ему пути, но даже при крайнем напряжении сил он не мог скользить быстрее. Он заметил, что белый пол был сделан из бесконечных рядов мраморных плиток с надписями на них, и понял, что это — собор в память войны, где они все были похоронены. Его охватил ужас: он был один в этом колоссальном подземном соборе с миллионами мертвецов. Он почувствовал, как пот струится у него по лбу и по спине.

Недели сменялись неделями, а он все продолжал двигаться, надрываясь от усилий, и ряды призрачных колонн медленно проходили с обеих сторон, а блестящий пол все тянулся вперед, в бесконечность. Вдруг, с быстрым нарастанием ужаса, он увидел две неясные фигуры, прятавшиеся справа за колонной. Он слишком быстро миновал их и не успел даже разглядеть, но знал, что они преследуют его. Бежать, бежать, лишь бы спастись! Он снова застонал от страшного усилия и с почти безумной тратой сил стал скользить все быстрее и быстрее, колонны бежали мимо, а плиты мелькали так стремительно, что он уже не мог разобрать ни имен, ни дат. Но по охватившей его дрожи он понял, что те нагоняют его.

Внезапно пол закончился широкой дубовой лестницей в два пролета и с площадкой. Он почему-то знал, что она

ведет в притворы Вестминстерского аббатства и что там он будет в безопасности. Но целую вечность длилось его восхождение на каждую ступеньку, и как быстро они его нагоняли! Он громко зарыдал от мучительной усталости и страха. Если они поймают его, произойдет что-то невообразимо ужасное. Он не мог шевельнуть ногой и только скользил, ощущая свинцовую тяжесть и двигаясь все медленнее и медленнее, несмотря на отчаянные усилия.

Он достиг площадки и смог заглянуть в спасительные притворы. Но в это мгновение надежды он почувствовал их руки у себя на плечах. Он повернулся к ним в диком отчаянии и увидел черепа вместо лиц и немецкие шлемы. Они душили его в своих объятиях, и он судорожно ловил ртом воздух. Ударив одного кулаком, он почувствовал ушиб о твердую кость и стал задыхаться от жгучего ощущения почти непреодолимого удушья. В то же время он схватил второго за горло нераненой рукой и нащупал страшную квадратную деревянную кость на шее, уже лишенной мяса. Но они одолели его. Он пытался крикнуть, но язык беспомощно ворочался в пересохшем рту, и он издал лишь глухой стон...

Антони тихо лежал, тяжело дыша и прислушиваясь к громкому и учащенному биению своего сердца. Он как-то скорчился и повернулся поперек кровати, подушка покрывала часть его лица, левой рукой он продолжал сжимать деревянный столбик спинки кровати. Суставы правой руки ныли. Он разжал пальцы, слабым, усталым жестом сбросил подушку с лица и стал дышать все глубже и ровнее. Его пижама была пропитана потом, одеяло свалилось, и хотя он остался почти непокрытым и чувствовал озноб, он все же продолжал лежать неподвижно. Еще витая в темном мире кошмара, он лишь с трудом мог собраться с мыслями, и к чувству облегчения еще примешивались страшные картины сна. Это был третий кошмар за одну неделю.

Ощутив на теле холодную, сырую ткань, он вздрогнул, и в прояснившемся сознании мелькнула мысль: «Надо переодеться». Но он все еще не двигался и не отрывал глаз от слабого серого пятна большого окна в потолке мастерской. Наконец он сделал усилие и перевалился на край кровати, дрожа от холода и чувствуя себя усталым и разбитым, словно он провел на ногах всю ночь напролет. Подойдя к ночному столику, он стал шарить дрожащими руками, чуть не сбросив часы на пол; затем комната озарилась мягким светом. Избавившись от неизвестности тьмы, он овладел собой. Он зажег огонь в газовом камине, повернул выключатель, сбросил с себя пижаму и вошел в маленькую, довольно убогую ванную комнату. Отвернув до отказа оба крана — разумеется, совершенно холодной воды, горячая давно уже остыла — и едва переводя дух от ледяных струй, он стал быстро обтираться губкой и несколько раз облил холодной водой коротко остриженную голову. Затем обсушился у огня, равнодушно разглядывая левое бедро, изуродованное осколком шрапнели, и красные пятна на коже — от крови, отравленной плохой водой.

В комодe не оказалось другой пижамы, поэтому он кое-как оделся, надел домашние туфли и вместо халата накинул военную шинель. Поднес часы к уху, затем взглянул на них: десять минут четвертого и никакой надежды снова уснуть. Стоя под стеклянным потолком, он невольно вздохнул — от шемящей тоски бесцельных часов. Снова мелькнула мысль, всегда таившаяся в его сознании: «Ты страшно сглупил, что вернулся, и вдвойне сглупил, что этому обрадовался». Взглянув на потолочное окно, он увидел, что на него мягко падают темные хлопья снега — не стоит и пытаться предпринимать прогулку. Он снова вздохнул и стал ходить по комнате. Это была большая мастерская художника, без окон, освещаемая лишь через замерзшее потолочное стекло; в голых стенах, окрашенных унылой светло-

желтой краской, торчали гвозди, на которых когда-то висели картины. Стены были слегка влажные и отпотевшие. Он не находил себе места, точно животное, попавшее в западню. И все же как он был счастлив, что эта комната избавила его от убожества лондонского пансиона. Он никогда не сможет в достаточной мере отблагодарить за доброту, кажется, чуть ли не единственное настоящее проявление человеческой доброты, оказанное ему за много, много лет; а ведь человек, оказавший ему это благодеяние, едва его знает! Все так разбогатели от войны, квартиры стали такими редкими и дорогими, что сдать за скромную плату такое помещение было королевским подарком, чудом. Тони ходил взад и вперед по комнате, почти с отчаянием цепляясь за мысль о доброте Дика Уотертонна. Ему казалось, что это его единственная надежда в мире, — он встретил человека, который поступил так бескорыстно и благородно. Как отблагодарить его, как доказать свою смиренную, глубокую признательность? Не просто личную признательность за ценную услугу — конечно, и за нее тоже, — но более широкую объективную благодарность за символ, за искру веры в человеческую доброту! Однако даже в эту минуту острого переживания он знал, что ничего не скажет и ничего не сделает, он знал, что его измученное «я» будет и впредь ставить между собой и другими человеческими существами непроницаемый щит недоверия, который он с такой горечью выковывал в течение минувших пяти лет.

Тони подошел к ночному столику, чтобы снова взглянуть на часы: двадцать минут четвертого. Прошло всего лишь десять минут из нескончаемого ряда часов, а ему казалось, что прошла вечность. В течение нескольких минут Тони боролся с собой. Вдруг он закинул назад голову и издал странный звук — не то горький смех, не то рыдание, затем подошел к низкому буфету и достал из него стакан, сифон и бутылку бренди. Наполнив стакан до половины

бренди, он долил его содовой водой и выпил несколько отвратительных глотков, — он ненавидел вкус бренди. Затем поставил стакан на деревянную ручку большого кресла, стоявшего у камина, и снова стал бродить взад и вперед по комнате, считая трещины в некрашеном полу за квадратом истоптанного ковра. Вдруг он остановился у маленького письменного стола. Над ним висели алинариевские фотографии прекрасной Афродиты и величественного Аполлона, наклеенные на паспарту. Тони снял фотографии со стены, положил их на стол и стал внимательно разглядывать. Таинственная улыбка бога оставалась неизменной, изысканная поза богини — неподвижной. Он глядел на обе картины, пока они не затуманились перед его взором, и старался вспомнить, где он их уже видел, — в Италии, конечно, но где? Он снова засмеялся, а затем кинул фотографии на пол — стекло треснуло и разлетелось вдребезги. «Это не боги, — сказал он громко. — Истинные боги умерщвлены. Остальные — самозванцы!»

Алкоголь понемногу начал оказывать свое действие и успокоил его. Мелькнула еще одна мысль, тоже редко его покидавшая, — какой же он нестерпимый дурак. Полчаса четвертого. Двадцать минут убито. Он решил читать, пока не придет время завтрака или, что маловероятно, сон; взял какую-то книгу, уселся в кресло и, глотнув бренди, стал читать. Книга оказалась романом из аристократической жизни и начиналась с «блестящего приема» в «роскошном особняке на Пиккадилли у одной влиятельной в политических кругах дамы». Он читал без внимания, пока не дошел до строк: «Всемирно известные генералы, в мундирах, увешанных медалями всех кампаний, где сражались доблестные сыны Британии; министры, скрывавшие под улыбкой государственные заботы и беседовавшие с очаровательными девушками — дебютантками в свете — тоном рыцарского почтения; пэры королевства с блестящими орденами;

пэрессы, на чьих величественных головках покоились сверкавшие диадемы и туалеты которых своей роскошью соперничали один с другим; дипломаты, миллионеры, владельцы влиятельных газет, лучшие любители-спортсмены сегодняшнего дня, прекрасные женщины — все богатство, все могущество, все великолепие величайшей столицы величайшей в мире империи встретились там».

— Свиньи, — пробормотал Тони и продолжал читать. Очень скоро он обнаружил, что из прочитанной страницы ни одна мысль, ни один образ не запечатлелись в его сознании. Он заставил себя вновь внимательно прочесть все, но уже через несколько минут его взгляд уставился поверх книги, и он задумался. Его собственные мысли были куда интереснее и увлекательнее этих убогих измышлений.

Вернее, это были не мысли, а картины и переживания, которые, может быть, не выражались словами, да которые и нельзя было выразить. Сумбурные сцены войны смешивались с гораздо более ясными и более мучительными воспоминаниями о местах и людях прежних лет, — то были картины крушения и отчаяния. Все, что делало жизнь прекрасной и интересной, по-видимому, было так или иначе разрушено, запачкано или осквернено. Остаться в живых казалось чем-то позорным, — да зачем и жить, если тело и душа отравлены? Даже одиночество отравлено. Как и где жить — не с радостью — это ушло навсегда, — но хотя бы с некоторым чувством собственного достоинства, с какими-нибудь положительными ценностями?

Куда бы он ни взглянул — на себя ли, на других ли людей или на мир, — повсюду господствовал тот же неисчислимый хаос, словно люди пытались ввести в берега разбушевавшееся море. О чем мучительнее думать — об ужасе и мраке настоящего или же о красоте и счастье прошлого? Но одно воспоминание — чрезмерно его терзавшее — он

сознательно отгонял от себя... и неизбежно к нему возвращался. Ката. Нет, нет, нет! Не надо думать о ней! И, словно она присутствовала здесь, он увидел ее глаза, полные чудесной, горячей преданности, и услышал ее голос: «Хочешь дать мне ребенка?» Тони вскочил с кресла и заметался по тихой комнате. Память о ее голосе нестерпимо бередила его раны. Он, терзаясь, заломил руки и стал бить себя кулаком по лбу; затем остановился, глубоко дыша, стараясь овладеть собой, не потерять рассудка. Почти все в нем страстно жаждало смерти, какого-нибудь исхода. Он заметил, что бессознательно повторяет: «Все равно куда, все равно куда, лишь бы уйти из этого мира». Весь огонь жизни в нем погас, осталась лишь слабая искорка упрямой гордости, отрицательное решение не дать всему злу и порожденной этим злом муке восторжествовать над собой.

Искра разгорелась в слабый огонек. Он перебрался через крайнюю бездну. Ему не казалось необычным то, что он только что пережил, — это была лишь еще одна схватка со смертью. Но решимость бороться осталась. Он отер пот с лица и шеи и вернулся к камину. Дрожащей рукой поднял полупустой стакан бренди и допил его. В углу комнаты лежал его чемодан. Он порывался в нем, нашел свой офицерский револьвер и резким движением открыл его, так что шесть тяжелых патронов вылетели ему на ладонь. Он зашелкнул револьвер, положил его на столик и унес патроны в ванную комнату. Когда он открыл окно, резкий порыв свежего ветра осыпал его лицо снежными хлопьями. Молчаливый, спящий Лондон казался еще молчаливее при падающем снеге. Он выбросил патроны в темный садик, покрытый теперь мягкой белой пеленой, и там, где полоса света падала из окна, увидел, как один из патронов выбил в снегу маленькую лунку. Вернувшись в комнату, он подошел к висевшему кителю, чтобы взять трубку и табак. Вечерняя газета все еще лежала у корзинки с бумагой, куда

он ее кинул вечером. Все тот же бросавшийся в глаза заголовок: «Долой кайзера!»

— Чепуха, — буркнул Тони и ногой оттолкнул газету. Он зажег трубку, взял со стола вечное перо и большой лист бумаги и стал писать:

«Ката, Ката, дорогая Ката, вот еще одна попытка снестись с тобой, хотя лишь один Бог ведает, каким это кажется безнадежным после всех моих тщетных усилий. Но я должен писать со всем спокойствием, на которое я только способен: ведь если я начну говорить тебе о своих чувствах, я никогда не кончу этого письма и его нельзя будет читать.

Последнее письмо, которое я получил от тебя, было написано карандашом на австро-швейцарской границе и отправлено твоим швейцарским знакомым из Швейцарии. В нем ты писала, что твоего отца арестовали по подозрению в симпатиях к русским и что тебя задержали австрийские пограничники при попытке поехать в Лондон. Это письмо застряло в пути, и я его получил 10 августа 1914 года. Мы строили совсем другие планы на этот день, не правда ли? Но мне нельзя об этом думать.

В то время война уже неделю как началась, и повсюду царило смятение. Я пытался тебе телеграфировать и много раз писал, но ответа не получал. Позднее, когда я был на фронте, я пытался снестись с тобой через посредство швейцарского попечительства о военнопленных, но из этого ничего не вышло. На следующий день после перемирия я тебе написал, но полевая почта вернула это письмо. Затем в Кельне я написал три письма и отправил их через гражданский почтамт, но, разумеется, все проходило, да и сейчас проходит через цензуру. Я хотел взять отпуск, чтобы поехать в Австрию, но мне сказали, что надо иметь специальное разрешение военного министерства. Я не смог его получить. Я был беден и не имел связей.

Мои письма, должно быть, затерялись, как и твои. С начала войны отцом овладела какая-то непоседливость, он три раза переезжал с квартиры на квартиру в Лондоне и дважды жил в провинции. Не думаю, чтобы он уничтожал твои письма, хоть он и очень возражал против нашего великого, нашего застрахованного от всех случайностей плана. Боюсь, что даже если какое-нибудь твое письмо и попало в Англию, его могли не доставить из-за всех этих диких событий, — кроме того, у тебя, разумеется, есть только мой довоенный адрес, так же, как и у меня твой. Я справлялся на центральном почтамте, но служащих там не хватает, все они завалены работой и весьма нелюбезны, — во всяком случае, они ничего не нашли. Я ездил также и на старую квартиру. Новые жильцы там всего год, они не помнили, чтобы на мое имя получались какие-либо письма, неохотно отвечали на мои расспросы и обещали пересылать мне все, что придет, но по их тону я понял, что им абсолютно наплевать и они хотят лишь поскорее от меня избавиться.

Как видишь, я сделал все, что было в моих силах. До сих пор не могу добиться разрешения на поездку в Австрию, но, как только закончатся эти переговоры о мире, на которые вечно все ссылаются, я еще раз попытаюсь. На днях поеду в деревню, навещу старого Скропа (я тебе рассказывал о нем), — может быть, он мне поможет достать заграничный паспорт для въезда в Австрию. А пока я бессилен что-либо предпринять и только бешусь. Я стал немного нервным и бываю иногда в подавленном состоянии; кроме того, у меня появилась манера откровенно разговаривать с людьми, а это, по-видимому, всех раздражает. Отец, который трогательно верит во всякую научную ерунду, настоял, чтобы я пошел к врачу. Этот ремесленник с Харлей-стрит оказался добродушным малым, он пощупал мой пульс et cetera, задал мне кучу нескромных вопросов, сделал анализ мочи и в конце концов сообщил, что я стра-

даю «запоздавшим нервным шоком», и посоветовал мне взять продолжительный отпуск, развлекаться и во всем видеть лишь хорошую сторону. Я ответил, что с восторгом взял бы отпуск, будь у меня деньги, но терпеть не могу развлекаться, а если он покажет мне что-нибудь хорошее, я с удовольствием на это погляжу. Затем он прочел мне длинную нотацию, и я ушел таким же мудрым и здоровым, как и пришел.

Какой повсюду хаос, и кто сможет навести в нем порядок? Да, кто? Веришь ли ты еще в безупречную честность и благожелательность государства? Мне кажется, что не будь различных претензий со стороны различных «государств», и мы с тобой были бы счастливы. По моему мнению, современное государство — это лишь усовершенствованный старый разбой на большой дороге: оно требует от тебя и кошелек и жизнь. Видишь, по крайней мере в этом я не изменился! Я отказываюсь участвовать в «коллективной жизни» убийц, грабителей и прирожденных идиотов. Я ненавижу британское государство так же, как ненавижу и ежедневную газету. Повсюду зло, зло и зло. Покажи мне подлинную коллективную жизнь, и я с радостью примкну к ней. Все, что я хочу от государства, — это тебя и чтобы меня оставили в покое. Боюсь, что и это слишком большое требование! Я хотел бы удалиться с тобой в какой-нибудь другой мир, столь же прекрасный, как и этот, но заселенный человеческими существами, а не злобными и жадными обезьянами.

Здесь я подхожу к тому, о чем писать очень трудно и даже просто невозможно, если бы это письмо предназначалось не тебе, а какой-нибудь другой женщине, и если бы я не чувствовал того же безграничного доверия к тебе и к твоей любви, как на Эе. Я уже говорил, что это письмо должно быть спокойным, поэтому прости меня, если я покажусь слишком хладнокровным. Во время войны я сошел-

ся с Маргарет. Я не пытаюсь извинять себя, говоря, что это было после битвы при Пасхендале, что я был страшно угнетен мыслью о предстоявшем возвращении на фронт и что Маргарет находилась в том странном возбужденном состоянии, когда солдат с фронта почему-то казался бесконечно желанным. Я поступил нехорошо. И я не пытаюсь изворачиваться и говорить, что мои чувства к тебе не изменятся, если и ты поступила так же. Это просто не имеет никакого значения. Какое могут иметь значение подобные вещи, если только мы опять найдем друг друга? Если только найдем! Если только найдем!

Но получилось то, что принято называть «затруднительным положением». Во время войны никто не ломал себе головы над такими вопросами уже на следующее утро, но сейчас, когда война кончилась, все старые дурацкие предрассудки снова в полной силе. Маргарет хочет выйти за меня замуж, и мой отец на ее стороне. Ну а я не собираюсь жениться — во всяком случае, пока у меня будет хоть малейшая надежда найти тебя. Удивительно, какими старосветскими кажутся теперь такие люди, как мой отец, — когда я с ним разговариваю, у меня такое чувство, словно я стараюсь заставить какого-то упрямого и довольно ограниченного ребенка, чтобы он меня понял. Он говорит о том, что надо быть «благородным». Как будто благородно связывать себя с женщиной только в угоду каким-то юридическим нормам и ради своей репутации в обществе. В этом снова чувствуется глупое извращение, внушенное государством. Сточки зрения истинно человеческой нехорошо, если соединены люди, желающие жить врозь, и если разлучены люди, желающие быть вместе. Насколько я могу судить, Маргарет по-своему любит меня, но настоящий ее мотив — другой: ей кажется, что никто теперь не захочет на ней жениться и поэтому я должен загладить свой грех. Принимая во внимание, что в то время мы оба думали, что

меня ждет деревянный крест, я не вижу, в чем тут был «грех»? Разве она стала бы играть роль вдовы героя, если бы там, на фронте, я обрел венец, свинец и достойный конец?

Ты, может быть, заметила, дорогая, что действительно добродетельные люди всегда чрезвычайно нешепетильны, в особенности в денежных вопросах, когда имеют дело с грешниками? Так вот я грешен, а Маргарет и отец добродетельны! Мой отец потерял во время войны какие-то деньги (я точно не знаю, сколько именно). Он хочет, чтобы я жил с ним или же женился на Маргарет. В настоящий момент я не выношу присутствия других людей — мне надо быть одному или же с тобой. Я ничего не имею против того, чтобы ты видела мои раны, — но только одна ты. (Должен сознаться, я стал довольно несносным — и только ты можешь исцелить меня.) Итак, раз я не хочу делать ни того ни другого, что хочется отцу, то он, оказывается, слишком беден, чтобы снабдить меня деньгами, хотя однажды, в минуту неосторожности, пообещал дать мне 6000 фунтов стерлингов, если я женюсь на Маргарет. Я умолял его дать мне треть этой суммы, чтобы попытаться найти тебя. Он воскликнул: «австриячку» — таким тоном, словно хотел сказать: «анаконду»*! Я старался объяснить ему, что вся эта националистская вражда — чепуха, что патриотизм — чепуха и что нас всех эксплуатируют при помощи лозунгов, которые служат для обогащения своры прохвостов и для удовлетворения властолюбия старых садистов обоего пола. Но он и слушать не хочет! Он согласен дать мне денег, чтобы я женился на женщине, которую я не люблю, и не желает давать ни гроша, чтобы я мог найти женщину, которую я люблю! Восхитительно! Имея 1000 фунтов стерлингов, я бы подкупом проложил себе дорогу в Вену.

У меня нет ничего, кроме того, что солдаты называют «платой за кровь». Из них я отложил 75 фунтов стерлингов на поездку в Вену, как только это окажется возможным.

В понедельник я поступаю на работу, жалкую чиновничью работу, но она даст мне 4 фунта в неделю, и я смогу не трогать тех 75 фунтов. В субботу поеду к Скропу (чтобы попытаться силой вырвать паспорт), и если его получу, я, конечно, немедленно же покину их проклятую контору. Если бы только мне удалось найти тебя! Мы уедем из этой несчастной Европы. Куда же мы поедем? Думаю, в Южную Америку. Люди там не светлые северяне (слава богу!), и они не участвовали в войне. И страна прекрасная, даже если насекомые и кусаются. Я предпочитаю быть укушенным насекомым, чем людьми-паразитами. Однако главное — чтобы мы встретились, об остальном мы позаботимся впоследствии.

Это письмо — результат некоторой борьбы с самим собой. Я был в таком настроении, когда кажется, что в жизни нет ничего ценного. Затем я собрался с духом и решил еще раз попытаться. Я буду работать на этой службе, пока не получу паспорта, и постараюсь разыскать двух-трех своих прежних друзей, а также встречаться с новыми людьми. Это будет нелегко, но я попробую. И постараюсь не раздражаться при мысли, что все было бы очень легко, будь я богат и имел влиятельных друзей.

Если сможешь, ответь на это письмо. Если нет, не давай умереть надежде. Я даже не прошу прощения за то, что это письмо не любовное, ибо знаю: ты знаешь, что я не за-был.

Навсегда, навсегда дорогая Ката,

Тони».

Это длинное письмо заняло несколько часов. Каждый абзац являлся несоответствующим результатом продолжительного раздумья, во время которого Антони курил, ходил по комнате и пил бренди с содовой. Он сознательно исключил из письма всякие излишества чувств, сознательно

заглушил в себе вопли страсти, возмущения и отчаяния, поднимавшиеся из его измученной души. Нарочитая сдержанность, самый процесс писания, усталость после долгой бессонницы постепенно успокоили его; и, дойдя до конца письма, он пришел в состояние сумрачного равновесия, при котором уже не в силах был добавить какие-нибудь слова любви. В один из моментов, когда он писал, он вдруг сильно вздрогнул: большая глыба мокрого снега упала с крыши дома и тяжело ударилась об окно в потолке. Закончив письмо, Тони внимательно перечел его, с чувством легкого презрения к несоответствию его жесткого тона, затем надписал на конверте адрес — для этого не надо было заглядывать в записную книжку. Когда он положил объемистый конверт на каминную доску и снова уселся у огня, сквозь потолочное стекло уже серел поздний рассвет пасмурного утра.

Он был обессилен ночными переживаниями, но его нисколько не клонило ко сну, хотя он и жаждал забыться. Но что хорошего мог ему дать сон, призраки которого были страшнее, хоть и менее убоги, чем картины действительности? Он невольно спрашивал себя, что такое действительность: сон или бодрствование, и ему хотелось верить, что его настоящая жизнь — отвратительный кошмар и он когда-нибудь проснется в лучшем мире. Он все более и более падал духом, очутившись лицом к лицу с реальностью своей жизни, где каждый ход, казалось, тормозился каким-то дьявольским шахматистом, и с отчаянием понял, что им совершенно потерян всякий вкус к жизни. Даже Ката и розыски ее казались ему капканом, бессмысленной игрой в воспоминания, тщетной попыткой воссоздать утраченное счастье. Даже если он найдет ее — они ведь оба изменились и, вероятно, отошли друг от друга. А если Ката и осталась такой же, то что он может ей предложить? Исчезла лучезарность, исчезла страсть, исчез тот

живой дух, который когда-то превращал каждое мгновение в волшебство. Он даже не может предложить ей своего прежнего тела, тела, к которому она прикасалась с таким благоговением и восторгом. Зачем же обманывать себя и притворяться, что обломок, боящийся снов и каждого неожиданного звука, — тот самый человек, которого она когда-то любила?

Он вздрогнул от резкого стука в дверь. Прежде чем он успел ответить, в комнату вошла хозяйка — одна из тех добродетельных квартирных хозяек, которых заботы об одиноких жильцах преисполняют горечи. Она притворилась удивленной, хотя, несомненно, видела свет сквозь дверь и зашла посмотреть, что он делает.

— Ах, простите, я не знала, что вы уже встали, сэр.

Голос ее выражал строжайшее осуждение по адресу человека, который в зимнее утро встал и уже полуодет еще до восьми часов, в комнате, полной табачного дыма и душной от продолжительного горения газа. Тони горько пожалел, что комната Уотертонна отягощена услугами этой ведьмы. Он мысленно послал ее к черту, но постарался говорить вежливо.

— Да, я рано встал сегодня.

— Не прислать ли вам завтрак, сэр? Может быть, желаете кусочек грудинки и яичко? Я достала сегодня чудную грудинку.

— Нет, спасибо. Но мне хотелось бы чаю и поджаренного хлеба.

Она медлила, вертя дверную ручку, и явно старалась придумать, что бы такое еще сказать, чтобы выразить свое безграничное возмущение человеком, который не ложился всю ночь и отказывается от грудинки и яйца. Ее присутствие безумно раздражало Тони, и ему хотелось крикнуть ей: «Убирайся к дьяволу, мерзкая тварь!» Он крепко при-

кусил трубку, чтобы сдержаться, сам несколько пораженный своим бессмысленным бешенством. Если она не перестанет вертеть дверную ручку...

— Прекрасно, как прикажете, сэр, как прикажете.

И она неохотно вышла из комнаты, всем своим видом выражая презрительную враждебность. Тони упрекнул себя — надо привыкать к такому неизбежному общению, ведь поведение окружающих определяется нашим собственным, — кроме того, она хорошо относится к Уотертону. Но не мог же он, ради снискания ее уважения, есть за завтраком грудинку и яйца — они напоминали ему о фронте, да и тогда вызывали в нем отвращение, если только он не стоял всю ночь на посту.

Служанка вошла с подносом, и, сделав над собой невероятное усилие, Тони улыбнулся ей и преувеличенно любезным тоном пожелал доброго утра. Не отвечая, она со стуком поставила поднос на стол и вышла, громко хлопнув дверью. Чай был слабый, поджаренный хлеб холодный и черствый и, очевидно, намазан маргарином. Тони попытался соскоблить эту дрянь, но она слишком глубоко впиталась. Откусив кусочек, от чего его чуть было не стошнило, он оставил хлеб и выпил жидкий чай, без молока, разбавив его водкой. Отвратительная, но успокаивающая смесь. Окончив, он выставил поднос за дверь, чтобы его больше не беспокоили, и снова уселся в раздумье у огня. Значит, вот каков *мир*, которого люди так страстно жаждали! Вопреки всем своим убеждениям он почти испытывал желание, чтобы вошел вестовой с его снаряжением и сказал: «Через полчаса выходим на позицию, сэр». Он понимал, что бездействие и скука более смертельные враги, чем страдание...

Снова послышался стук, и служанка просунула голову в дверь.

— Можно мне убрать комнату, сэр?

— Нет, нет, спасибо, — крикнул он испуганно. — Мне... мне надо... писать письма. Я сам уберу комнату.

Голова фыркнула, и дверь опять захлопнулась. Оставшись один, Тони снова погрузился в мрачную апатию. Как он ни старался, он не мог придумать себе какое-нибудь занятие. Ему не хотелось ни выходить на улицу, ни оставаться дома, у него не хватало даже энергии, чтобы умыться, одеться и побриться, несмотря на отвратительное ощущение грязи и на головную боль от спертых воздуха. Он продолжал курить, хотя язык у него уже болел от бесчисленного количества трубок, выкуренных за ночь. Он стал играть в крестики и нули на листке блокнота, сосчитал число букв на странице какой-то книги, сделал по памяти набросок Пантеона, но вскоре вернулся к прежним развлечениям — сажился, когда уставал бродить по комнате, и бродил по комнате, когда уставал сидеть. Он взглянул на часы — одиннадцать. Прошло восемь часов с тех пор, как он проснулся от кошмара, — восемь часов, более тягостных, чем самые тягостные часы, проведенные в худшем окопе или в воронке от снаряда. Время — мираж, оно сокращается, когда человек счастлив, и растягивается, когда он страдает. Двадцать пять лет от роду. Он с горечью подумал, что ему предстоит прожить еще тридцать-сорок лет, наполненных такими же часами. Ему захотелось незаметно пробраться в садик.

В дверь снова постучались, на этот раз более мягко.

— Войдите, — сердито крикнул Тони, добавив про себя: «убирайтесь».

Он вскочил на ноги, с удивлением увидев входившую Маргарет. На ней была новая шуба, с большим меховым воротником и меховой оторочкой, высокие ботинки на шнурках, перчатки на меху и новая, со вкусом выбранная шляпа. Собственно говоря, выбор ее был во всем удачен,

за исключением момента прихода. Прелестны были ее ясный, безмятежный взор и нежный цвет лица, раздумывавшегося от прогулки по морозу. Тони не мог отрицать ее свежести и обаяния, но, глядя на нее, еще острее почувствовал, что он неумыт, небрит и от него нехорошо пахнет. Своим первым, непосредственным замечанием Маргарет невольно подчеркнула это:

— О Тони, как здесь невыносимо жарко и душно.

— Простите, — ответил он натянуто, — я не знал, что вы придете.

Он выключил газ, затем открыл дверь в ванную комнату и окно.

— Сейчас станет свежее, — сказал он, вернувшись из ванной, и прибавил не особенно любезно: — Может, вы снимете пальто и шляпку и присядете?

Маргарет, очевидно, решила быть особенно кроткой. Не обращая внимания на его холодный тон, она сняла перчатки и позволила, чтобы Тони снял с нее пальто и повесил его вместе со шляпой. Она села, и Тони заметил, что и платье на ней новое. Он еще больше нахмурился. Одним из многих отклонений, так странно обезобразивших за войну его характер, было почти что пуританское отвращение к женской роскоши. Прежде он не только считал вполне естественным, что женщина одевается как можно изящнее, но и любил смотреть на это. Теперь это вызывало в нем раздражение. Он запахнулся в свою грязную, старую шинель и сидел, невольно злясь на Маргарет и испытывая к ней почти бессознательную враждебность, как раненый зверь, когда кто-нибудь хочет оказать ему помощь.

Маргарет весело болтала и смеялась, пока ему не пришла в голову злая мысль, что она, вероятно, считает свое посещение благим делом — пришла, мол, развлечь утомленного воина, пережившего внутренний крах.

* * *

В этот момент послышался шорох на полу, и под дверь кто-то просунул три письма. Тони поднял их и положил, не вскрывая, на каминную доску, рядом со своим письмом к Кате, которое быстро повернул лицевой стороной книзу, — однако Маргарет уже успела прочесть адрес. Она воздержалась от всяких замечаний, но обиженно улыбнулась и сказала снисходительно-ласковым тоном, от которого Тони покоробило:

— Если хотите, пожалуйста, читайте, Тони. Отбросьте глупые условности!

Ему очень хотелось прочитать письма, тем более что он по почерку узнал, от кого они. Одно — очень коротенькое — было от Скропа и подтверждало приглашение приехать к нему в субботу утром и остаться до следующего дня. Второе было длинное послание от Робина — первое известие, полученное от него Тони за много лет. Он опустил это письмо в карман шинели, чтобы прочесть на досуге, и вскрыл третье, от отца. Это было доброжелательное, немного сентиментальное письмо, вызвавшее раздражение Тони упоминанием о матери (смерть ее все еще острой болью отзывалась в его сердце), ссылками на страдания, перенесенные Тони на войне, — малейший намек на них приводил его в бешенство, — и призывом «обосноваться» и «побольше бывать в обществе и развлекаться», что было совершенно несовместимо. К письму был приложен чек на пятьдесят фунтов. Увидев сумму, Тони почувствовал, что сердце у него радостно запрыгало: он ведь мог использовать эти деньги на поиски Каты. Его лицо озарилось слабой улыбкой, но она тотчас же исчезла, когда он, вскинув глаза, увидел устремленный на него взор Маргарет, в котором ему почудилось как бы нежное соучастие. У него сразу же было готово заключение: она переговорила с его отцом и они решили воздействовать на него добротой.

Он закинул голову и рассмеялся резким, злобным смехом.

— Что случилось? — весело и невинно спросила Маргарет, такая ласковая, снисходительная и ясноглазая.

— Письмо от отца, — ответил он, наблюдая за ней, — полное добрых, прекрасных наставлений, и чек. Я должен быть осторожен.

— Почему?

— Разве вы не знаете, что надо остерегаться данайцев, хотя бы и приносящих дары?

— О Тони! Какой вы стали озлобленный и циничный. Ваш отец такой славный. Он вас обожает, беспокоится о вас и хотел бы вам помочь.

— Не сомневаюсь. Но хочет ли он помочь мне как я этого хочу или как ему хочется? Тут, знаете ли, огромная разница! Умиравший с голоду человек предпочтет банку мясных консервов ордену Виктории.

— И я — орден Виктории? А она, по-видимому, банка мясных консервов!

— О ком вы говорите? — вяло спросил Тони. Ужасно переносить сцену ревности после такой ночи!

— О той немке, разумеется. Вы ей опять писали. Тони, Тони, зачем вы это делаете, доводите себя до отчаяния ради какой-то женщины, которая вас не любит, да еще вдобавок — враг? Ведь когда вы были в отпуску, вы как будто любили меня! Отчего же вы теперь изменились?

— Вам не следовало бы читать чужие письма! — сказал он холодно.

— Я прочла нечаянно! — возмущенно вспылила Маргарет. — Вы оставили письмо у всех на виду. Вы бросаете мне пустячный упрек, что я прочла адрес на конверте, и не думаете о своих собственных поступках. Во время войны вы забыли о ней настолько, что я была для вас желанной...

Она замолкла и очень красивым жестом отерла слезы. У Тони вертелось на кончике языка: «я думал и вы думали,

что я буду тогда убит», но он удержался, Слишком жестоко было сказать такую вещь женщине. Он сидел молчаливый, холодный и, пожалуй, даже враждебный, уставившись на белый колпачок в газовой печке, и машинально считал в нем отверстия. Им овладели чувства нестерпимой грусти, сожаления и горечи; истасканное, опошленное выражение «разбитое сердце» пришло ему на ум. «Чтобы понять истинный смысл этих старых избитых фраз, — подумал он, — надо их пережить...»

Прежде чем он успел шевельнуться или сообразить, что она делает, Маргарет опустила перед ним на колени, судорожно обняла его и стала покрывать его лицо страстными поцелуями. Раздраженный, стыдясь того, что он небрит и неопрятен, он смутно слышал ее голос:

— Тони, Тони, отчего ты так жесток со мной, так холоден? Ты никогда не был таким, когда приезжал в отпуск, а в последний раз, когда мы... ты был так весел и мил, и я гордилась твоей храбростью, и думала, что ты меня любишь. Тогда я не обращала внимания на то, что ты пьешь, потому что ты был счастлив. А теперь ты сидишь тут один, пьешь водку и все более и более опускаешься. И пинешь этой женщине! — Она тихо застонала и, пытаясь поцеловать его в губы, прижалась к нему жаркой грудью. — Не будь таким молчаливым и жестоким! Отвечай мне!

На миг Тони охватила жажда убийства. Он чувствовал, что, не выбрось он патронов в сад, он задушил бы ее, а затем застрелился бы. Но уже в следующее мгновение наступила резкая реакция. Это не Маргарет рыдала, обливая его лицо слезами, а несчастное человеческое существо, в страданиях которого он сам был отчасти повинен, существо, нуждавшееся в утешении не меньше, чем он сам. Он не мог не пожалеть ее, и охватившее его сострадание, казалось, немного согрело его собственную ледяную боль. Тронутый мукой человеческой плоти, он обнял Маргарет с такой же

нежностью, с какой обнял бы человека, умирающего от ран. Он не утаивал от самого себя, что эта женщина волнуется его плоть почти так же сильно, как ее душевное смятение трогает его сердце, — а было ли в его жизни так много любви, чтобы отвергать эту страсть во имя верности мечте? Он ласково поцеловал Маргарет в губы, а затем нежно, но решительно отстранил ее от себя. Когда он заговорил, она жалобно взглянула на него глазами, полными слез, но что-то было в ее позе, что даже тогда поразило его своей фальшью и театральностью, хотя слезы мучили его. Он говорил медленно, запинаясь, держа ее безжизненную руку в своей:

— Я не хотел причинить вам боль, Маргарет. Если я огорчил вас — мне очень, очень жаль! Но будьте справедливы ко мне и согласитесь, что в прошлом году мы сошлись легкомысленно или, вернее, с отчаяния, как тысячи и тысячи других людей, пытавшихся урвать себе хоть немного счастья, когда вся жизнь, казалось, ускользала от нас. Ведь это правда, не так ли? — Она кивнула головой, не спуская с него печальных глаз, словно прощаясь с человеком, идущим на виселицу. Это раздражало его, но он сдержался и продолжал: — Вы говорите, я был тогда весел, а теперь мрачен. Позвольте привести вам такой пример. Когда человек участвует в беге на скорость, он продолжает бежать, хотя уже готов упасть от усталости, но когда бег окончен, он действительно падает, хватая ртом воздух. Я тоже хватаю ртом воздух — дайте мне возможность отдышаться.

Он замолк, но она ничего не сказала. Он отвел от нее взгляд и продолжал:

— Во мне почти не осталось ничего человеческого, и я знаю, что я не в состоянии жить с кем бы то ни было — оттого-то я и поселился здесь один. Я начал свою собственную продолжительную борьбу с самим собой. Все во мне взбунтовалось и спуталось. Я почти неспособен связно мыслить

ни о себе самом, ни о чем бы то ни было и вынужден подавлять кровожадные, дикие инстинкты, однажды разбуженные во мне. Мне надо восстановить связи с людьми, повидать друзей и завязать новые узы дружбы. В понедельник я пойду на работу — все лучше, чем предаваться здесь мрачным мыслям. Вы взываете не к человеку, а к хаосу в образе человека. Потом я на некоторое время уеду один...

— Куда? — резко прервала она его.

— На континент, — ответил он уклончиво. Он думал было откровенно сказать ей, что поедет искать Катю; но его удержало разумное недоверие, которое стало теперь ему свойственно. — А теперь поговорим о наших отношениях. Вы должны предоставить мне свободу. Но выслушайте меня. Вы знаете, я... какие чувства я к вам питал в Париже до войны. Ну, хорошо, мы как будто разошлись в разные стороны и... — Он все еще не мог упомянуть имя Каты. — А затем наступил прошлый год. Я уже не тот человек, каким был в Париже, даже не тот, каким был в прошлом году. У меня такое ощущение, словно я разбился вдребезги, упав с крутой скалы, и теперь пытаюсь собрать все кусочки вместе. Сейчас март. Дайте мне отдышаться до ноября или декабря. Не знаю, что будет дальше, но мне хотелось бы, чтобы мы остались друзьями, очень близкими, нежными друзьями.

Он увидел страдание на ее лице при этом обычном, банальном уверении в дружбе. Желая ее утешить, он робко добавил:

— Будем же до тех пор друзьями. Если... если обстоятельства так сложатся, может быть, я тогда почувствую, что могу просить вас выйти за меня замуж. Ну вот! Теперь разрешите мне помыться и одеться, и мы пойдем позавтракать. Куда бы нам пойти?

— Не пойти ли нам в клуб «Пиф-паф»?

— Чтобы есть в компании с этой бандой толстож... ископаемых? К черту их!

— Тони, я не желаю, чтобы вы употребляли при мне такие выражения!

— Простите, — сказал он виноватым тоном. — Но вы видите, что мне действительно нужно соскоблить с себя грязь, которой я оброс! Не правда ли? Но все же это поганая публика!

— Однако Ллойд Фиц-Балфур — член этого клуба!

— Чер... я хочу сказать — ну и пиф-паф с ним! Мы каждый день хоронили людей получше его... Впрочем, это не важно! Простите меня. Но все-таки вы не будете возражать, если мы пойдем в какое-нибудь другое место?

— Куда хотите, дорогой мой! — сказала она покорно, но довольно кислым тоном, от которого его покорило. Он вспомнил великолепное самопожертвование Каты: «Хочешь дать мне ребенка?» — и вздохнул. Затем молча повернулся, забрал свою одежду и пошел в ванную комнату.

Когда Тони вернулся, одетый, в комнату, он застал там Маргарет курящей папироску. Волосы его были сильно приглажены — пытаюсь избавиться от нервной головной боли, он подставлял голову под кран. Но голова продолжала болеть, хотя он чувствовал себя бодрее и решил держать себя мягче с Маргарет.

— Пойдем? — спросил он.

Маргарет надела шляпу, он помог ей надеть пальто, а затем вернулся, чтобы взять письмо к Кате. Оно исчезло. Он быстро повернулся к Маргарет:

— Верните мне, пожалуйста, это письмо, Маргарет.

— Какое письмо?

— То, которое вы взяли с камина.

— Я не брала.

Лицо Тони вспыхнуло от гнева — какая противная мелочность, какая низость! Сам того не замечая, он заговорил повелительным тоном, словно делал выговор солдату:

— Немедленно отдайте мне письмо! Или я сам отберу его у вас!

Маргарет испугал его тон, а еще больше его холодный гневный взгляд... Она протянула ему письмо и сказала с язвительной усмешкой:

— Можете не изображать свирепого обер-офицера!

У Тони чуть было не сорвался с языка резкий ответ, но он молча взял письмо. Затем сказал с легкой печалью:

— Мне хотелось, чтобы мы были друзьями, Маргарет, а не врагами.

— Вы бы сделали то же самое на моем месте.

— Мне кажется, я могу поклясться, что я не...

— Нет, сделали бы, — прервала она, — если бы любили меня так, как я люблю вас. Но вы меня не любите. Вы никого не любите, кроме себя самого. У вас нет настоящего влечения к женщине. Вы не способны действительно любить.

Он изумленно взглянул на нее и по обыкновению подумал, как необычайно трудно одному человеку узнать другого.

— Может быть, вы правы, — сказал он иронически. И затем еще раз повторил: — Пойдем?

Завтрак прошел не особенно весело, потому что Маргарет все еще чувствовала себя обиженной и, кроме того, ни в какой мере не сдавалась на предложение Тони быть «друзьями» и оставаться при каких-то неопределенных видах на замужество в конце года. Ревность заставляла ее подозревать, что он уже находится в переписке с Катой, которую она ненавидела с каким-то холодным бешенством. Тони ощущал, что ненависть излучается Маргарет, как волны радиостанцией, и думал, что причиной этому он сам.

Это его огорчало, но вместе с тем он испытывал чувство облегчения — ему казалось, что эта враждебность освобождает его. Он был недостаточно сообразителен и не догадывался, что ненависть была ревностью к незнакомой Кате и что эта ревность — чувство соперничества — еще более воспламеняла страсть Маргарет. Но ошибочное предположение, что он освобождается благодаря этой ненависти к нему, заставило Тони быть еще более нежным к Маргарет, чтобы не причинить ей страданий; а она в свою очередь приняла эту нежность за возрождение его страсти. И в самом деле, Тони не мог быть совершенно безразличным к Маргарет. Она олицетворяла символическую мечту его юношеской любви — он любил не действительно существующую Маргарет, а образ, созданный его воображением, — но даже если бы он не встретил Каты, разве удовлетворился бы он Маргарет? Правда, они стали любовниками, сойдясь безрассудно, с отчаяния, как вообще сходились в годы войны. Тони прекрасно знал, что она желанна. В течение многих недель он жил в окопах воспоминаниями о ее восхитительном теле — горячем символе жизни среди многих и многих гектаров мерзости, смерти и гнили.

Затаив эти чувства и мысли, они беседовали о разных пустяках. В середине завтрака какой-то незнакомый Тони молодой человек, проходивший мимо них к своему столику, узнал Маргарет и был представлен Тони как Уолтер Картрайт. У него были жесткие золотистые волосы и удивительно чистый цвет лица, благодаря чему он сейчас же привлекал к себе внимание. Минуты две-три он болтал с Маргарет так непринужденно, весело и самоуверенно, что Тони искренно позавидовал ему, хотя и без всякой ревности. Его всегда привлекало и вместе с тем несколько поразало, когда он бывал в присутствии тех, по-видимому, умных и чутких людей, которые, казалось, чувствовали себя

весьма легко и привольно в суতোлке лондонской жизни. Когда Картрайт удалился, Тони стал расспрашивать о нем.

— Он ужасно милый и способный, — сказала Маргарет, надеясь вызвать ревность Тони. — Он занимает какой-то официальный пост и, говорят, подает большие надежды. И пишет книги. Но он нисколько не важничает. Он много бывает в свете и замечательно танцует. Мне он очень нравится.

— Я хотел бы с ним покороче познакомиться, — сказал с некоторой задумчивостью Тони, не замечая попытки возбудить в нем ревность. — Вы знаете, Маргарет, я чувствую, что стал дикарем, не способным общаться с цивилизованными людьми. Почти четыре года я жил со дня на день порою чрезвычайно примитивной жизнью, не имея никого, с кем бы мог поговорить... я хочу сказать, поговорить по душам. Конечно, у нас были своего рода привязанности, порожденные общностью страданий, братством в опасности, но никакой настоящей близости не было. Мне хочется снова связаться с людьми.

Маргарет это одобрила — такое желание показалось ей хорошим признаком, — и она посоветовала Тони почаще танцевать. Он согласился, что танцует так, будто у него на ногах сапоги, подбитые гвоздями. Завтрак закончился, к удовлетворению Тони, в гораздо более дружеской атмосфере, чем начался. Они вместе прошли до Трафальгарской площади, и Тони, пообещав Маргарет вскоре снова встретиться, усадил ее в автобус, шедший в западную часть города. Но отказался пообещать ей, что он не примет предложенного ему места клерка — деньги, предназначавшиеся для Каты, надо было сохранить в целости.

Антони стоял один на тротуаре перед Национальной картинной галереей, ощущая нечеловеческое одиночество большого города. Это, в сущности, не одиночество, ибо

город населен, но оно нечеловечно, потому что все прохожие безличны, поглощены собой и равнодушны. В любой деревушке люди, встречаясь, обмениваются словами приветствия, каким-нибудь слабым признанием людской близости. А в настоящем уединении душа и тело человека раскрываются навстречу душе и телу космоса. В большом городе есть одиночество, но нет уединения. Даже если ты заполз в свою конуру, в одном из кирпичных ящиков, стоящих рядами, люди будут и над тобой и кругом тебя. Если ты можешь идти с ними в ногу, преисполниться сознания собственного достоинства, бегать взад и вперед вдоль клеток и заразиться возбуждением пустой суеты и случайных встреч, тогда все в порядке. Тони овладело отчаяние при мысли о всех этих улицах, и домах, и людях, находившихся между ним и простором полей, и о том, как мало ныне осталось простора. Все затоптано людьми, бесплодными полчищами равнодушных, лишних людей. О, если бы мир был свеж, чист и одинок и обитали в нем лишь немногие, проникшиеся его красотой! Но это бесчеловечное человечество чудовищно!

Он направился было ко входу в галерею, но она оказалась закрытой — в ней все еще помещалось какое-то военное учреждение. Картины были в плену, задавлены, как он сам, людской убийственной алчностью и жадной разрушения, одним из проявлений которых была война. Веронезе* и Тициан, Пьеро ди Козимо*, Рафаэль, Учелло*, Веласкес*, Гойя* — заключенные в подвалы или же безжизненно висящие на стенах, среди трескотни пишущих машинок. И это сделали те самые люди, которые так горячо любили живопись, что собирались «заставить силой Германию и Австрию изрыгнуть украденные ими сокровища искусства». Картины принадлежат тем, кто их любит, а не кладовщикам, которые их хранят.

* * *

Постояв несколько минут в нерешительности, Тони быстро зашагал по уличной слякоти к Британскому музею. По городу бродило еще много солдат, и он чуть было не отдал честь какому-то проходившему мимо бригадному генералу. Женщины смело выставляли напоказ ноги в шелковых чулках, плотно запахиваясь в шубки, хотя руки у них были заняты зонтиком, сумочкой и всевозможными свертками. Автобусы проезжали, хлюпая по лужицам. Странно было подумать, что война действительно кончилась. Улицы остались все теми же знакомыми улицами, но Тони они казались бесконечно унылыми. Да, дух войны уже исчез, но он сменился каким-то новым, довольно скверным веянием, которое Тони нашел чрезвычайно гнетущим. Он тщетно пытался найти слова, чтобы выразить свое ощущение, но, кроме «гнетущего», ничего не мог придумать.

Почерневшие от копоти колонны музея строго выделялись на фоне снега и серого неба, но как только Тони вошел в широкие двери, его поразило запустение. Это был не музей, а могила искусств. Скучающие служители стояли в сыром вестибюле с многочисленными следами мокрых ног; в двери читального зала входили и выходили люди; какой-то чрезвычайно сердитый служащий, худой, вислозадый, с дерзким видом прошел мимо него, волоча ноги; он нес несколько китайских книг. Тони прошел через галерею римских бюстов, которые были мертвы и отвратительны, даже не полюбовался когда-то им любимой Менадой и величественной Деметрой и оказался у мраморных скульптур Парфенона. В холодном, резком свете, на фоне голых стен, окрашенных красной клеевой краской для общественных уборных, они выглядели жалкими тенями самих себя. Он долго глядел на вереницу юношей, думая о других юношах, он видел, как их хоронили, и сам помогал хоронить, а затем вынужден был с недоумением при-

знать, что мрамор потерял для него всякое значение. То, что когда-то было проблеском божественного человечества, стало теперь куском уныло вырезанного камня на уродливой стене. К чему притворяться? Свершилось невероятное, и фриз Парфенона стал значить для него не более, чем какая-нибудь стенная панель в мебелированных комнатах.

Он поднялся наверх, в этнографический зал, где искусство Мексики и Океании когда-то так сильно пленяло его воображение, — и обнаружил, что оно вызывает теперь в нем зевоту. И тут он понял, что, решившись снова воссоздать свою жизнь, он взял на себя более трудную задачу, чем представлял себе даже в худшие минуты.

III

В субботу утром, сидя в вагоне поезда, по дороге к Скропу, Антони чувствовал себя бодрее и увереннее. Уже самая поездка была во всяком случае каким-то действием.

За истекшие дни Тони навестил отца, и хотя ему пришлось признать, что война разверзла между ними целую пропасть, однако их встреча была мирной и дружеской. Тони провел несколько более спокойных ночей, не смущаемых кошмарами. Он частично купил, частично взял на время у отца связку действительно ценных книг — Шекспира, Стерна*, Китса*, Диккенса, Гиббона* — и читал каждый вечер, пока не засыпал. Он обнаружил, что ему ближе всего по духу Тимон Афинский* и Тристрам Шенди: первый — потому что он так красноречиво и правдиво описывает его собственную слепую ярость, а второй — своим нежным юмором. В поэзии Шелли, которую он когда-то

так любил, он увидел одни лишь красивые слова, а почти вся более поздняя литература казалась ему зараженной разложением и фальшью, которые в конце концов привели к войне. Он снова повидался с Маргарет, и они расстались, понимая друг друга, почти доброжелательно — во всяком случае, он надеялся, что это так. Тони не хотел отдавать ей своего тела, пока он не узнает наверняка, что Ката для него утеряна, и — быть может, обманывая себя, — верил, что Ката поняла бы и даже одобрила бы это. Он знал, что не испытывает настоящего желания жить с Маргарет, но чувствовать ее поцелуи, прикасаться к ее телу и ощущать ее чувственный экстаз было для него бесконечно целебным, словно он пил из источника жизни. Прикосновение к этой нежной живой плоти помогало ему изгонять невыразимые воспоминания о бесчисленных изуродованных, раненых и убитых человеческих телах. Тони чувствовал, что через прикосновение он возвращается к жизни, и считал себя вправе принимать это живительное прикосновение даже от Маргарет.

От маленькой группы, которая почему-то всегда собирается у дверей деревенского станционного домика к моменту прибытия поездов, отделился грум и, дотронувшись до шляпы, спросил Антони:

— Вы к мистеру Скропу, сэр?

— Да.

— Коляска ждет вас, сэр!

Итак, Скроп остался верен своим лошадям — в этом отношении он не изменился. Тони, пожалуй, обрадовался: ему достаточно приелся механизированный транспорт. Грум говорил тихим, покорным голосом.

Он был очень худошав и загорел, и в его глазах застыло то неопишное выражение — выражение глаз побывавшего на войне солдата, — которое так хорошо знал Тони. Его

не столько взволновали замаскированное страдание и ужас, сколько безжизненная, безнадежная покорность, трагическое безразличие. Он был убежден, что можно определить этого человека пятью словами: «нерегулярная кавалерия, Египет, Галлиполи, Палестина», и чуть было не произнес их вслух, пока они пересекали грязную дорогу, направляясь к коляске. Но это было бы бестактно, поэтому Тони просто спросил:

— Как поживает мистер Скроп? Надеюсь, хорошо?

— Неважно, сэр. Он сильно постарел и очень зябнет.

Но он прекрасно держится.

Местности, через которую они проезжали, Антони сперва не узнал, так как станция была на новой железнодорожной ветке. Пока они ехали по влажной гудронированной дороге, его внимание было всецело поглощено лошадью, которая, казалось, вот-вот упадет. Не раз она скользила на гладкой поверхности, и Тони видел, как напрягались сухожилия и мышцы ее задних ног, когда она силилась удержать равновесие. Но вот экипаж свернул на узкую, негудронированную аллею, и тотчас же началась знакомая Тони местность. Он с волнением смотрел на сырые поля, безлистные деревья и овечьи загоны, смутно поднимавшиеся к низким, мгlistым облакам. Весна была такой поздней и холодной, что на живых изгородях еще не распускались почки, там и сям мелькали подснежники и зеленые остроконечные головки дикого арума. В защищенной ложбине Тони увидел маленькие золотистые сережки ивы и побеги едва зацветавшего терновника. Но как ни взволновали его эти родные ему поля и первые предвестники английских весенних цветов, все же он невольно почувствовал однообразие, унылость и отсутствие одухотворенности в этом пейзаже, что его разочаровывало. Он так часто тосковал по ним в грязи и грохоте окопов и Лондона, а сейчас испытывал одно лишь разочарование и страстно мечтал о высоких, усеянных цве-

тами утесах над зеленовато-синим морем, с величественными горами, царственно покоящимися в отдалении. Англия стала для него пресной и безвкусной.

К своему удивлению, он нашел Скропа не в его любимой комнате восемнадцатого века, а в увешанном гобеленами елизаветинском зале; старик сидел с пледом на коленях и ширмой за спиной перед камином, в котором тлели вязовые поленья. Лишь потом Тони узнал причину этой перемены привычек: уголь было почти невозможно достать, а на небольших решетках камина не помещались длинные неровные поленья, которые хорошо укладывались на чугунные колосники огромного зального камина. Едва Тони вошел в двери, как его очаровала прелесть этой организованной, видимо, безмятежной жизни — тут, по крайней мере, было нечто, не раздавленное танками войны. Но это радостное чувство длилось, только пока Тони шел от дверей к камину. Оно исчезло, едва лишь Тони увидел своего старого друга, и он скорее постарался согнать со своего лица всякое выражение испуга и печали. Тело Скропа словно съежилось в широкой одежде, лицо осунулось и покрылось морщинами, в голосе появилась легкая старческая дрожь, а когда он поднял взор с трогательным выражением, какое бывает у очень старых людей и в котором чудится мольба: «пожалуйста, не обижайте меня», — Тони на мгновение уловил в его глазах странный тусклый блеск, столь хорошо ему знакомый, — взгляд умирающего. Антони был так потрясен, что сперва лишь с трудом мог заговорить связно, и поэтому был рад, когда слуга доложил, что завтрак подан.

После завтрака сестра милосердия зашла напомнить Скропу, что ему надо пойти отдохнуть. У Тони сжалось сердце, когда он смотрел, как старик медленно вышел из комнаты, опираясь на плечо сестры, — к этому мы все не-

избежно придем, и женщина будет направлять наши последние шаги, как она направляла и первые. Коровья смерть, так называли это норманны. Может быть, лучше быстрая пуля, грубо сшитый саван, лишенное всякой сентиментальности, но жутко реальное предание земле руками людей с бесстрастными лицами, чьи краткие слова сожаления — единственная правдивая эпитафия. И затем забыть! Какой отвратительный, извращенный нажим на живых — желание не быть забытым после смерти!

Под вечер Тони совершил большую прогулку. Вид умирающего Скропа мучительно взволновал его. Для него смерть Скропа означала смерть чего-то в себе самом и в Англии. Как только исчезнет этот идеал благоденствия — а он находится уже на ложе смерти, — ничего не останется, кроме сумятицы и анархии, низменной борьбы плутократов или тиранической организации муравейника, преследующего презренные цели. Не останется больше ярких личностей, не будет больше полноты жизни.

Он поднялся на гребень длинного холма и стоял, глядя в сторону Вайнхауза. Он не разглядел бы его в туманной мгле, если бы не знал точно, куда надо смотреть. В темном сумраке безлистных деревьев смутно вырисовывались трепетные призрачные очертания дома. Тони знал, что внизу, в мглистой долине, теперь проложена железная дорога и что в его деревне есть станция. Ему пришло в голову, что новая ветка проходит мимо дома Анни, и он решил на следующий день, прежде чем вернуться в Лондон, съездить навестить ее. Ему захотелось пойти на могилу матери, но он почти насильно поборол в себе это желание: слишком много смертей было в его жизни. Пусть мертвецы хоронят мертвецов. Он избрал путь жизни и поэтому должен вернуться к живым. Он пошел обратно, размышляя по дороге, смеет ли он беспокоить своей просьбой человека, находя-

щегося уже на краю могилы. Начался холодный, морозящий дождь, и Тони с отвращением вспомнил о своей работе клерка. Он старался не думать ни о Кати, ни о Маргарет.

Когда Тони вернулся, Скроп пил чай и, по-видимому, несколько окреп после сна. Они долго сидели, беседа при свете двух небольших настольных ламп, создававшим лишь маленький оазис желтого отсвета в обширной сумрачной пустыне зала. Порою, когда в камине вспыхивало полено, тени качались и рассеивались, очертания человеческих фигур смутно вырисовывались на гобеленах и отблеск искрился на сводчатом резном потолке.

— Понадобится много времени, прежде чем мы оправимся от этой катастрофы, что бы ни думали люди, — заговорил вдруг Скроп. — Ты, может быть, еще доживешь до этого. Я — нет. И я не жалею. Мой мир уже умирал, а теперь он погиб безвозвратно. Люди моего рода и моей крови жили здесь в течение многих столетий. Я — последний. Мой наследник — почти чужой.

— Это очень печально, — сказал Тони, — хотя я надеюсь, вы будете хозяином Нью-Корта еще много, много лет.

Старик покачал головой.

— Ну что ж, — продолжал Тони, — я, во всяком случае, надеюсь на это. Но все должно меняться. Мы с вами исчезнем, но Англия будет существовать.

— Будет ли! — воскликнул Скроп со вспышкой своей прежней горячности. — Я давно говорил, что европейская империя Дизраэли* — ошибка. Еще большая ошибка превратила нас самих в индустриальных разносчиков мира. Мы разорили свой народ — а ведь это был прекрасный народ, — для того, чтобы увеличить воображаемые банковские доходы. Сейчас уже слишком поздно отступить, мы не можем ни вернуть себе свое утраченное положение, ни сохранить настоящее. Ты найдешь будущую Англию весьма отличной от прошлой.

— Надо надеяться.

— Да, надеяться, но не зря надеяться! Не создавай себе пошлого рая, как те, которые пытаются нами править. Может быть, потому, что я старый человек, может быть, потому, что я вижу обреченность своего класса, как они это называют, и всего того, за что мы боролись, может быть, потому, что у меня нет сына.

Он замолчал, и хотя лицо его было в тени, Тони видел, что старик сосредоточенно смотрит на раскаленные головы своими тусклыми, умирающими глазами. Для Антони это был момент полного крушения. Если «Англия» что-нибудь означала, она означала идеал взаимоотношений между естественными вождями и последователями, причем обязанности возрастали с правами. Теперь вожди сомневаются сами в себе, отрекаются от власти, они еще достаточно честны для этого, — ибо знают, что им не справиться с созданным положением. Более молодые, более дерзновенные будут, может быть, еще продолжать попытки, но их ждет поражение. Они больше не смогут править огромными массами, этими страшными, почти механизированными массами, которые — один разгорающийся костер негодования. Идеал джентльмена погиб, как и реальность. Вера в Скропа как в символ была тонкой нитью, связывающей Тони с прошлым, — он безжалостно разрубил ее. Тони казалось, что ему для того, чтобы жить, надо снова в муках родиться на свет, самому испытать муки родов; что он действительно и по-настоящему умер и что новая жизнь требует полного разрыва с прошлым. Неужели надо также разрубить и бесконечно чувствительную нить, соединяющую его с Катой?

Скроп пошевелился в кресле, и Тони услышал его голос:

— Я навожу на тебя уныние. И кроме того, пустая трата времени — слишком много думать о таких вопросах. Расскажи мне о себе, мой мальчик. Ты неплохо выглядишь, но

я и без твоих слов вижу, что у тебя не все благополучно. Не могу ли я помочь?

— Да, — медленно ответил Тони, — думаю, что можете. Я сейчас буду просить вас оказать мне услугу. Не денежную, — добавил он поспешно и продолжал: — Мне только что казалось, что я умер и должен воскреснуть, должен снова создать себе жизнь. Только новое здание надо строить из развалин старого. Или, вернее, я чувствую себя подобно дереву, срубленному на уровне земли, — в нем продолжают жить одни лишь корни. Даже некоторые из этих корней уже мертвы, другие я вынужден был сам убить, а остальным придется как-нибудь прорасти.

— Тут все какие-то метафоры. Не будь напыщенным, дорогой мой мальчик. Но я понимаю, что ты хочешь сказать. А что ты собираешься предпринять?

— Вы когда-то говорили мне, что надо жить с увлечением, — снова заговорил Тони, не обращая внимания на заданный ему вопрос, — и я так жил. Я несколько раз оступался, падал, но все это были пустяки. Я был более чем доволен, я блаженствовал, я жил с увлечением. Но я не мог с увлечением пережить войну. Я только терпел ее. Для меня она была бессмысленной, ужасной, насильственной. Мне было безразлично, кто победит, — кто бы ни победил, это будет победой зла. Уже один тот факт, что война существовала, свидетельствовал о победе зла. И это меня погубило. Мне случалось говорить кое с кем из тех людей, которые утверждают, будто война им нравится. Часть из них были лжецы, остальные — кретины, неандертальцы, павианы в шпорах. Я обижаю настоящих павианов. Я ненавижу не павианов, я ненавижу этот холодный, извращенный инстинкт разрушения...

Он остановился, задыхаясь от ярости. Тони знал, что он не христианин, что он не принадлежит к числу тех, кто отказывается от военной службы в силу моральных сооб-

ражений. Он был готов убивать без особых колебаний. Но не вымышленных врагов в военной форме, а настоящих врагов — дома. Он уже чувствовал, как он хватает их за горло своими руками и безжалостно топчет каблуками их лица... Он поймал на себе взгляд Скропа, старик глядел на него удивленно и, казалось, слегка насмешливо. Ладно, старик, ты принадлежишь не мне, а могиле, но все же ты выслушаешь меня!

— Поймите, — заговорил Антони, откашлявшись, чтобы скрыть дрожь в голосе, — сейчас не время хныкать, и я не хнычу. Я не прошу и сочувствия. Я плюю на него. Вы, среди других, учили меня, что мир — это место радости и почти беспредельного наслаждения.

Мои собственные чувства и инстинкты говорили мне то же самое. Люди научили меня иному. Я уж больше не пытаюсь себе представить, каким мог бы быть мир людской; достаточно знать, каков он есть. И он порочен. Да, — прервал он заговорившего было Скропа, — я знаю, что на свете гораздо больше добрых овец, чем злых волков, но какая от этого польза, раз они позволяют волкам убивать лучших из своего числа, и это всегда, во все времена? Вы только что мне говорили, чтобы я не создавал себе пошлого рая, — как вы думаете, я еще нуждаюсь в таком предупреждении?

— Нет, — мягко ответил Скроп, — но не осуждай себя на пошлый ад. Мне кажется, пожалуй, что ты слишком рано отчаялся в человечестве: с годами приходит терпимость. Мне не надо указывать тебе, что твой случай не единичный: ты, должно быть, об этом сам думал. Правда, ты был счастливее многих других. А разве жизнь уж так важна? Я немало страдал за всех вас, юнцов, но разве не beau geste¹ рисковать своей жизнью, даже потерять ее за rapache², за нечто несущественное?

¹ Красивый жест.

² Султан на каске!

— Нет, — горячо возразил Тони. — Это пустая болтовня. Если я отдам свою жизнь, так за что-нибудь, что мне покажется более важным. Ваш «rapache» — грязная, глупая ложь! Я злюсь, злюсь на себя за то, что был простой пешкой при столкновении двух зол. Мое единственное удовлетворение в том, что я был весьма бесполезной пешкой. Искренно надеюсь, что я даже не стоил своего жалованья и содержания! Уверен, что не стоил! Но тот факт, что я согласился жить, означает, что я не в пошлом аду; я верю в себя, верю в человечество.

— Значит, ты думал о самоубийстве? — быстро спросил Скроп.

— Разумеется! И отбросил эту мысль. Я не дам им погубить себя вконец! Чувства, испытанные мною при виде первых, довольно жалких цветов по дороге сюда, недавнее прикосновение к женскому телу доказывают мне, что я еще не вполне уничтожен, что я опять оживаю, начинаю жить. Но я буду теперь более осторожен и хитер.

Он резко оборвал свою речь, а затем, переменив тему, откровенно и довольно долго говорил о Кате и Маргарет. Скроп слушал внимательно, а потом сказал:

— Я, конечно, попытаюсь достать тебе паспорт и визу. Излишне тебе говорить, что я не *persona grata*¹ у должностных лиц. Ко мне сюда не раз присылали во время войны, чтобы удостовериться, не укрываю ли я у себя каких-нибудь немецких эмиссаров, — но никого не нашли и удовольствовались реквизицией моих лошадей. Но я знаю одного человека, я напишу ему и сделаю все, что смогу.

— Очень благородно с вашей стороны, — сказал Тони, — и это все, чего я прошу. Мне кажется, если я найду Катю, я найду какой-то центр в жизни. Если же нет...

Он взмахнул рукой с таким выражением, словно хотел сказать: «Я все же не сдамся».

¹ Важная особа.

— Стариков, — задумчиво произнес Скроп, — всегда обвиняют в осмотрительности и бесстрастности, в том, что они забывают свою собственную молодость и пытаются расхолодить горячую кровь. Но я хотел бы спросить тебя, не следовало ли тебе вести себя осторожнее с этой английской девушкой, вполне ли ты честен по отношению к ней? Не будет ли честнее, не будет ли более по-джентльменски совсем порвать с нею?

— С идеалистической точки зрения — да, с житейской — нет, — ответил Тони. — Вы забываете, что я борюсь за свою жизнь, что я своего рода Измаил — один против всех. Католическая церковь отпускает грехи голодающему, укравшему кусок хлеба, чтобы не умереть. Я — этот умирающий с голоду человек! Меня тошнит от смерти и трупов, тошнит от холодного одиночества и чести. Прикосновение к живому женскому телу возвращает меня к жизни. Кроме того, я не знаю будущего. Я могу и не найти Каты, или может оказаться, что между нами целая бездна. Может быть, я буду нуждаться в Маргарет. И я должен сохранять хорошие отношения с отцом.

— Я был воспитан с иными взглядами на вопросы чести, — сказал Скроп немного высокомерно.

— Не сомневаюсь, — Тони не удалось скрыть легкой горечи в голосе. — Но ведь вас же воспитывали не для бойни! Я воспользовался представившимся мне случаем. Почему бы женщинам не поступать так же? И я не верю в ваше рыцарство, Скроп! Это был лишь внешний лоск, скрывавший презрение. Многое изменилось! У нас совершенно иное мирозерцание. Мы утратили ваше понятие об исключительном праве собственности, вашу жажду незыблемости. В то же время мы придаем больше значения соприкосновению тел, цветению жизни. Ваш подход к женщинам зависел от их общественного положения, — они были либо париями, презираемыми и потому доступными,

либо индийскими принцессами и потому абсолютно недоступными и выше всяких подозрений. Мы же подходим к ним как к человеческим личностям, пользуясь совершенно такой же свободой распоряжаться своим телом, как и мы сами. Правда, идеал — это одна женщина, но как найти ее, если не путем испытаний и заблуждений.

Скроп покачал головой.

— Не думаю, чтобы ты нашел женщин переменившимися. Они всегда будут мельничным жерновом на шее мужчины. Ты на опасном пути, мой мальчик. Будь осторожен! Если женщина сойдется с тобой не любя, она заставит тебя расплатиться за это; но если она полюбит тебя — расплата будет еще тяжелее!

— Что же тогда делать? — раздраженно воскликнул Тони. — Я ведь не евнух и не гомосексуалист.

— Ты должен подчиниться своей судьбе, — мрачно сказал старик.

— Да, я должен подчиниться своей судьбе, — повторил Тони еще более мрачно.

Прощание было тяжелым. Антони знал, что он уже больше никогда не увидит Скропа в живых, и это было мучительно, так мучительно, что он был сам поражен. После стольких смертей, и смертей людей молодых, его можно было бы извинить, если бы он остался черствым к смерти старика, чья жизнь была, по крайней мере, полной, если и не всегда счастливой. Однако он ужасно страдал, словно эта единственная смерть заставляла его с мучительной горечью вспоминать и о стольких других, а самое расставание причинило ему почти такую же боль, как если бы оно происходило на краю могилы.

К этой все подавляющей тяжести прощания примешивались и другие болезненные нотки. Антони понимал, что его старый друг разочаровался в нем, что он не одобряет

его и не пытается больше его понять. Ему показалось — в сущности, он и сам не знал почему, — что лозунг Скропа «живи с увлечением» требует теперь существенной поправки: «но в пределах принятых условностей». Как тяжело, подумал Тони, сознавать, что военная катастрофа сделала Скропа робким и он поспешил укрыться под защитой старых, но так явно разрушавшихся стен. Кроме того, смесь прошлого великолепия с бедностью в самом доме, пожалуй, корбила Тони: не следует испытывать жалости к привилегированным вождям великолепной жизни. Но главное, это было крушение старого идеала. Да, совершенно бесспорно, Скропы отстали от жизни, уже не могут больше предводительствовать, они импотенты перед огромными массами и колоссальными силами современности. И все же Тони больше, чем когда-либо, верил, что люди — это живая ткань, высокоразвитые, сложные животные, они никогда не были и никогда не могут стать механизмами, имитацией машин, и поэтому вдохновением их жизни всегда должно быть нечто личное, а не что-либо отвлеченное. Люди, не знающие над собой хозяина.

Идя от маленькой станции к деревне Анни, Тони снова обсуждал сам с собой все эти вопросы и снова вынужден был признать свое бессилие разрешить их. Он не находил такой, уже существующей, коллективной жизни, которой мог бы отдать себя. И поэтому вынужден был отступить и использовать как можно лучше свою индивидуальную жизнь. Однако ему не доставляло никакого удовольствия представлять себе общество в виде римской арены, с разгуливающими по ней дикими зверями и собой самим в качестве одной из убегающих жертв. Он так обрадовался, когда оказался у входа в деревню, что поспешил забыть как эти, так и тысячи других бесполезных мыслей, которые его терзали.

Деревня разочаровала Тони. Многие годы он носил в своей памяти видение ее летнего, знойного изобилия: широкой, пустынной белой дороги, окаймленной широкой полосой дерна, все еще называемого «торцом», и безмятежного спокойствия старых домиков. Но на фруктовых деревьях не было ни листьев, ни цветов, дорога оказалась покрытой гудроном, дерн был изрезан колесами телег, а домики выглядели заурядными — часть из них была перестроена, на месте же двух самых стареньких высилась большая лавка с зеркальным окном. Даже лавка Анни показалась меньше и более убогой, чем ожидал Тони; и он с огорчением заметил, что фамилия на вывеске изменена в «А. Хогбин». Значит, Анни овдовела! Ставни были закрыты, и весь дом казался безлюдным. Тони пришла в голову мысль, что он нарушает воскресный послеобеденный отдых торгового люда и ему следовало бы предупредить Анни о своем приезде. Удивительно, как забываются привычки других людей! Никто не ответил на его первый стук в боковую дверь, поэтому он постучал вторично, громче. Тут отворилось окно, и старая женщина, которой он не узнал, высунула голову.

— Чего вы там стучите? — крикнула она пронзительным голосом.

— Я хотел бы повидать миссис Хогбин, — сказал Тони, взглянув наверх.

— Я миссис Хогбин. Что вам надо?

— Я имею в виду миссис Анни Хогбин. Скажите ей, пожалуйста, что ее хочет видеть Антони.

Голова исчезла. Послышались заглушенные звуки какого-то сердитого разговора, затем шарканье ног, шум отдвигаемых засовов, и та же старуха открыла дверь.

— Войдите, пожалуйста, сэръ! Ну как же, я помню вас на свадьбе Анни, когда вы были еще маленьким мальчиком! Боже, боже, как время-то летит! Это я всегда говорю. Вы

присядьте тут, сэр, Анни скоро спустится. Ах, боже мой, боже, ведь я же забыла поставить чайник на огонь!

И она засемила по коридору. Тони догадался, что это, должно быть, свекровь Анни. Комната, где ему полагалось «присесть», была гостиной. Он только успел заметить пианино со множеством фотографий в рамках на отороченной кружевом дорожке, солдатские медали и знаки отличия под стеклом, две прекрасные старинные фарфоровые статуэтки на каминной доске, между двумя ужасными вазами матового стекла, очевидно — имитацией, — как вдруг дверь отворилась и вошла Анни, показавшаяся ему низенькой, коренастой.

— Здравствуйте, Анни! — воскликнул Тони, целуя ее в щеку. — Как вы поживаете, дорогая, я не видал вас столько лет!

Она подняла на него взор и изрекла одну из своих излюбленных фраз:

— Господи, мастер Тони, как вы выросли! И как изменились!

— Надеюсь, не так уж сильно, чтобы вы не могли меня узнать? — сказал он весело.

— О нет, сэр! Надеюсь, я всегда узнала бы малютку, которого помогала выращивать. Но вы выглядите таким взрослым и суровым, у меня даже сердце забилось.

Они сели и заговорили о детстве Тони, пытаясь восстановить старые связи, но Тони почти тотчас же понял, что он потерял и Анни, и на этот раз безвозвратно. Подобно тому, как ее когда-то стройная фигура стала бесформенной и дебелой, так и суровая простота ее натуры рабочей девушки переродилась в какую-то расплывчатость торговли. Когда прошло первое волнение от встречи, Анни стала называть Тони «мистер Кларендон», пока он не настоял на том, что для нее он всегда останется просто Тони. Он обратил внимание на то, что она носила длинную золотую

цепочку, золотой браслет и несколько колец. И ему пришло в голову — как один из житейских курьезов, — что теперь, вероятно, Анни материально лучше обеспечена, чем он. Когда в беседе была упомянута мать Тони, Анни сказала:

— До нас дошла эта печальная весть, мастер Тони, и мы очень горевали о вас и о бедном мистере Кларендоне. Какой ужасный несчастный случай!

— Да, это был страшный удар. Мой отец до сих пор еще не оправился как следует. Он очень постарел и ослабел. Но как поживает ваш муж?

— Ах, мастер Тони! — и Анни залилась слезами. — Вон там его медали, сэр. Он захотел пойти на войну, хотя мог получить освобождение как хозяин торгового предприятия. Он убит на Ипре.

— А ваш брат Билл? — спросил Тони, чувствуя, что нет слов сказать ей что-нибудь в утешение.

— О, он очень отличился на войне! — ответила Анни, сразу оживляясь. — Он так хорошо обращался с лошадьми, что его произвели в сержанты. А теперь он в Ньюбери заведует хозяйской конюшней. Он женился, и у него двое малышей.

— А как вам теперь живется после смерти мужа?

— Тяжелая наступила пора со всеми этими продовольственными карточками. Но у меня два хороших помощника, одного освободили, чтобы он работал в деле, а другой, как это говорится, демобилизованный. Они были друзьями бедного Чарли и обещали работать у меня, пока мой маленький Чарли не подрастет...

— У вас есть сынишка? Я и не знал!

— Да! Ему на Троице исполнится одиннадцать лет, у меня есть еще и дочка, ей восемь лет. Если бы вы только знали, сколько эти двое доставили мне хлопот и огорчений, вы бы никогда не поверили, мастер Тони! Вы были ничто по сравнению с ними! Круп, коклюш, корь, ветряная оспа,

боже, боже, одни лишь волнения да волнения! И мальчик без отца — это такая забота! Я лежу по ночам и все думаю: что-то с ними будет? И куда это только мир идет, я спрашиваю?

— Да, куда! — повторил Тони. — Но, по крайней мере, вы находите утешение в своих детях, Анни, и у вас есть кое-какая возможность их обеспечить.

— Вот это и я всегда говорю! — восторженно воскликнула Анни, словно это банальное замечание было поразительным образчиком высшей мудрости. — После того, как моего Чарли забрали, — а он был таким хорошим мужем, мастер Тони, никогда и слова худого не сказал, все старался, чтобы у меня было самое лучшее, что он только мог достать, — и когда его убили, я, бывало, каждый вечер, пока не усну, все плакала и плакала, и так целый год. Такая жестокость, ведь он был такой добрый, никому зла не желал, а потом и отец умер, и это уже переполнило чашу! А потом, когда дети заболели корью, я стала молить Бога, чтобы он всех нас забрал к себе, но корь оказалась скрытым благодеянием.

— Каким образом? — спросил Тони.

— Она была ниспослана Господом! — весьма серьезно ответила Анни. — День и ночь я сидела у изголовья детей, надеясь, что мы все умрем, а затем они стали поправляться, и меня вдруг осенило, что смерть нас пощадила и что грешно мне горевать о Чарли, когда я должна заботиться о своих детях.

— Вы были правы, — сказал Тони, хотя он прекрасно понимал, что утрату Анни ничто не может возместить. Он чувствовал, что готов ей все простить за ее преданность памяти Чарли, и внутренне негодовал на проклятую алчность, разрушающую жизнь таких простых милых людей.

— Вы были в армии, мастер Тони?

— Да.

— Вам приходилось бывать на Ипре?

— Да.

— Вы случайно не видели ли могилы моего Чарли?

Зрелище этой разоренной местности, какой он ее видел в последний раз, на мгновение предстало перед мысленным взором Тони. Запомнить могилу! Да был ли там хоть один квадратный метр, который не был бы могилой?

— Боюсь, что нет, Анни, — ответил он ласково. — Там ведь многие похоронены.

— Он был простым рядовым, — с грустью сказала Анни, — мне ничего не могли сообщить о том, где его похоронили.

— Вы получили бы такой же ответ, будь даже Чарли полковником, — быстро возразил Тони, — там различия не делали. Но не думайте об этом, Анни! Вы должны...

Он хотел было обратиться к ней со словами обычного утешения, но, к его огорчению, Анни снова заплакала, приговаривая:

— Он был таким хорошим мужем, и когда остальные один за другим возвращались домой, было так горько и жестоко, что он никогда не вернется!

К счастью, в эту минуту в комнату вошла старая миссис Хогбин и объявила, что чай подан.

— Вы не откажетесь пить чай в кухне, мастер Тони? — спросила Анни, бросая на него взгляд сквозь слезы.

— Что вы! Конечно нет. Но зачем вы себя утруждали? — Когда они шли по узкому коридору, Тони взял Анни под руку, говоря: — Все это очень печально, Анни. Мы все более или менее разбитые люди. Но прошлого не изменить. Мы должны теперь попытаться сделать будущее более счастливым.

Но произнося эти слова, он понимал, как они тщетны. Ему казалось, что самое лучшее для Анни — выйти замуж за одного из своих помощников, но он не посмел намекнуть

ей на это. И к тому же это было бы весьма слабым решением вопроса.

Анни оживилась за «чаем», который показался Тони роскошным угощением в эти голодные времена. Миссис Хогбин сварила сосиски и яйца; на столе был домашний хлеб, первое настоящее масло, которое он отведал за много месяцев, большой сладкий пирог из заготовленных впрок засахаренных фруктов и три сорта варенья. Анни сетовала на плохое качество варенья из-за недостатка сахара. Тони заметил, что она говорила о недостатке сахара, а не об его дороговизне, как в минувшие дни, и был рад, что к другим ее печалям, по крайней мере, не прибавилось бедности. Дети глядели на Тони круглыми глазами и, конфузясь, отвечали односложно на его дружеские расспросы; затем, когда они побороли свою застенчивость и захотели поболтать, Анни одернула их. Тони пытался сделать чаепитие веселым, но это ему удалось лишь частично. Он чувствовал, что только растревожил Анни, напомнив ей об ее огорчениях. И хотя они простились с горячими обещаниями вскоре снова встретиться, Тони не мог отделаться от чувства, что это тоже последнее свидание. Еще один корень погиб.

IV

В течение последовавших затем недель Антони имел возможность убедиться на своем собственном примере, среди общеизвестных, избитых истин, еще и в том очевидном факте, что наиболее мучительными периодами жизни являются периоды простого ожидания, без надежды на какие-либо события, когда рост происходит тихо и скрыто и день следует за днем с отчаянным однообразием. Внешне

он походил на любого другого юношу своего времени, за исключением того, что казался встревоженным и не имел никаких определенных занятий (тоже не слишком необычные признаки), а в обществе был обычно рассеян, лишь изредка выказывая проблески некоторого оживления. Но в душе его все кипело, и будь он в менее угнетенном состоянии духа, он понял бы, что самая эта боль и является признаком жизни и роста.

Его терзало ощущение, что во всем существенном он как бы умер и должен воскреснуть, если ему хочется избежать состояния живого трупа. Ему пришла в голову мысль, что жизнь каждого есть ряд таких смертей и обновлений и что старость — это просто покорное согласие человека умереть при жизни, отсутствие энергии или отваги, чтобы пройти через родовые муки воскрешения. Однажды вечером, недель через шесть после своего посещения Анни и Скропа, он попытался обсудить этот вопрос со своим отцом.

— Ты пережил, должно быть, нечто подобное, когда умерла мама, и ты... — он хотел было добавить: «никогда уж не оправился», но, почувствовав жестокость этих слов, быстро заменил их: — и тебе понадобилось много времени, чтобы прийти в себя.

— Я не вижу аналогии, — возразил Кларендон, всегда избегавший говорить о событии, влияние которого, увы, сказалось на нем именно так, как это побоялся выразить Тони. — Ты не переживал такой непоправимой утраты. Я хочу сказать, что сколько бы ты ни горевал...

— Да, да, — прервал Тони. — Я не хотел сказать, что я страдал тогда как ты. Но сейчас испытываемое мною чувство утраты столь же реально. Мне кажется, у меня нет никакой связи с моим прежним «я», за исключением некоторого сожаления. Даже люди, которых я знал и любил, стали совершенно иными, — по крайней мере, для меня. Я помню, каким я тогда был, но для меня это едва ли ре-

альнее, скажем, подробного описания тобою первых трех лет моей жизни. Я поверил бы тебе, знал бы, что когда-то я был таким, но чувствовал бы, что это происходило с кем-то другим.

Хенри Кларендон достиг того душевного состояния, когда люди утверждают, что все идет прекрасно, как оно и полагается, — не от восторженности юности, не от избытка жизненных сил, а от безразличия, желания побыть в одиночестве, неохоты бороться с трудностями, в особенности — с трудностями других. Ему хотелось думать, что у Тони все обстоит благополучно, хотя бы ему двадцать раз в день доказывали противное. Подобно многим людям, он проявлял всяческое сочувствие к физической боли и оставался совершенно равнодушным к острейшим душевным страданиям. Он сказал:

— Я думал, что твоя рана совсем зажила. Если она все еще тебя беспокоит, пойдешь к врачу.

Тони взглянул на него с недоумением. Какую рану имеет он в виду? Какую боль? Боль от того, что мир оказался таким подлым? Боль от утраты Каты? И ведь он уже был у врача... Значит, отец имеет в виду боль от маленькой раны в мякоти ноги, которая даже в худшем своем состоянии причиняла Тони лишь небольшое страдание и некоторое неудобство. Тони поразило, что два человека, столь близких по крови, могут так не понимать друг друга! И немного рассердило.

— Тут дело не в осколке шрапнели, — воскликнул он, — во всяком случае эта рана забыта уже давно! Но скажи, какой мне смысл идти к врачу и просить его, не может ли он излечить больную душу, не может ли он вырвать глубокую тоску из моего сердца? Я к тебе должен обратиться за советом, как уже обращался, и без всякой пользы, к двум другим своим старым друзьям.

— Я тебя не понимаю.

— Как же мне объяснить это яснее? Я попытаюсь. Боль, которая меня мучит, таится не в моем теле, а во мне самом! И она не просто эгоистична — по-своему я страдаю за других. Когда я был молод, я научился от тебя, от мамы, от других верить в справедливость, правду, доброту и счастье. Ты подавлял во мне себялюбивые и дурные инстинкты и старался сделать из меня человека благовоспитанного, неэгоистичного, щедрого, доброго, внимательного к другим и тому подобное. Я не говорю, что тебе это удалось, но ты мне внушил, что надо пытаться вести себя в соответствии с этими принципами и что мир состоит именно из таких людей. Мой опыт показывает мне, что это не так. Я не говорю, что ты меня обманывал, но ты учил меня тому, чего нет.

— Благородный человек всегда в меньшинстве, — сказал отец, — это его привилегия.

— Но у меня нет никаких привилегий. Я нищий отставной офицер. Какой смысл проповедовать учение о «noblesse oblige»¹, когда у тебя нет ни привилегий, ни ответственности за эту самую «noblesse»? Кроме того, я воспринимаю эти принципы, это учение как общечеловеческую истину, а не как достижения касты, к которой я не принадлежу.

— По своему происхождению и воспитанию ты имеешь такое же право считать себя благородным человеком, как любой джентльмен, — обиженным тоном возразил старик.

— Милый, милый папа, не надо ссориться! Может быть, ты и совершенно прав, но это не имеет никакого значения. Дело вот в чем: я видел, даже если ты этого и не видал, что мир, — все равно, управляется ли он благородными людьми или же нет, — является полной противоположностью всему тому, чему ты меня учил: он алчен, корыстолюбив,

¹ Первоначально: «благородное происхождение налагает обязанности». Позднее: «всякое положение обязывает».

подл и кровожаден. Какому же учению должен я следовать? Их учению?

— Упаси боже!

Тони хотел было заметить отцу, что ведь тот не верит в Бога, но воздержался. Он продолжал, неловко пытаясь облечь в слова чувства, которые невозможно выразить словами.

— Хорошо. Но ведь ты же не станешь отрицать, что я, естественно, могу испытывать некоторую боль, известную душевную сумятицу при таком положении вещей? Я чувствую, что мне и людям вроде меня придется очень трудно в этом мире людей, о котором ты внушил мне такое обманчивое представление. Ты учил меня смотреть на вещи, пользоваться своими чувствами. Я и делал это — не как ученый, но как человек, чувствующий красоту физического мира. Может быть, сам того не зная, ты научил меня быть восприимчивым к краске и форме, любить горы, небо, деревья, цветы и животных. И в отличие от многих, я очень чувствителен к женской привлекательности.

— Ты не можешь упрекать меня за это, — воскликнул возмущенно Хенри Кларендон. — Тебя воспитывали очень строго в этом отношении.

— Может быть, это и породило элемент запретного плода, — сказал Тони. — Но нет! Я несправедлив к самому себе. У меня никогда не было подобных мыслей и чувств. Но сумел ли я разъяснить тебе? Понимаешь ли ты, почему жизнь потеряла теперь для меня всякий вкус и я не знаю, что мне делать?

Хенри Кларендон, лицо которого во время речи сына выражало глубокую обиду, несколько оживился при его последних словах.

— Из всего тобой сказанного я чувствую, что пришло время тебе обосноваться, дорогой мой мальчик, — сказал он нежно. — Мне хотелось бы увидеть тебя устроенным и

счастливым, прежде чем я умру. И я хотел бы увидеть, что ты обошелся как следует с Маргарет. Ты обязан так сделать — и как порядочный человек, и как джентльмен. Я потерял некоторую сумму денег во время войны, но с радостью дам тебе шесть тысяч фунтов, если ты женишься. Это даст тебе триста фунтов в год, да и у Маргарет есть кое-какие средства, полагаю, значительно большие. Брось эту одинокую жизнь! Брось эту унижительную работу, за которую ты взялся. Живи здесь до женитьбы, да и после нее, если захочешь. И постарайся найти себе какое-нибудь более... более подходящее занятие.

Тони слышал все это уже так часто, что ему почти не надо было слушать. Его охватило страстное желание уйти от этих людей к Кате — к Кате, которая никогда не говорила о доходах и о том, что надо «устроиться», к Кате, которая не стала бы выяснять, «порядочный ли» он человек или же нет, есть ли у них деньги или нет, — лишь бы они могли укрыться в одном из прекрасных уголков мира и лежать в объятиях друг у друга. Он физически ощущал это желание, словно грудь ему сдавила чья-то рука. Он наклонился вперед, чтобы скрыть свое лицо, и подумал о том, что до сих пор не получил от Скропа никаких известий о своем паспорте, кроме коротенького письма с сообщением, что ходатайство послано. Он взглянул на часы — начало седьмого, достаточно времени, чтобы связаться по телефону с Нью-Кортом. Тони спросил:

— Можно мне заказать разговор через междугородную станцию, папа?

— Что?

— Заказать телефонный разговор. Я хочу поговорить со Скропом.

— Я не... — Хенри Кларендон, очевидно, был поражен этой неожиданной переменой разговора, но вместе с тем был рад, что освобождается от спора. — Конечно, если хочешь.

Тони вышел из комнаты и заказал разговор. Затем прошел в тесную кухню и в течение нескольких минут разговаривал со служанкой, готовившей обед. Вернувшись, он сказал:

— Разговор состоится, по-видимому, еще не скоро. Я сказал твоей прислуге, что останусь у вас до ужина. Ты не возражаешь?

— Нисколько, дорогой мой мальчик! Я счастлив видеть тебя у себя и хотел бы, чтобы ты надумал совсем здесь поселиться.

Тони оставил этот намек без ответа. Он понимал, что поступает довольно нехорошо, отказываясь скрасить одиночество отца, и ненавидел мрачное уныние своей комнаты. Но ему казалось, что это было бы своего рода изменой Кате, если бы он променял свою независимость, которой он ей обязан, на эту обеспеченную жизнь. «Устроиться» — просто означало бы признать уже заранее готовые ценности... Словно думая вслух, он сказал:

— Я не хочу быть добродетельным гражданином. Я не хочу обзаводиться семьей, расходовать свою энергию на «сведение концов с концами» и услаждать свои досуги картами, гольфом, джазом и хождением в театр, — это, по-моему, недостойная трата жизни. Прежде всего я решил не превращаться в часть индустриально-коммерческой машины.

— Как же ты будешь иначе жить?

— Не знаю. Я еще должен это уяснить себе.

— Но ведь ты работаешь сейчас для какого-то промышленного предприятия?

— Я не намерен там оставаться, — опрометчиво возразил Тони. — Коммерция — это обман. Меня приводит в ужас полнейшая бесполезность признанных бюрократических организаций, высокопарная болтовня и бумаго-марание, между тем как настоящая работа производится

несколькими техниками-энтузиастами, которые действительно любят свое дело. Я не люблю своего дела. Поэтому и не останусь. — Он расхохотался. — Забавно то, что меня считают довольно хорошим работником, — ведь это детская игра по сравнению с командованием ротой на фронте, — и меня повысили на службе. Вместо того, чтобы заполнять ненужные рапорты и схемы, которых никто никогда не читает, да и не будет читать, я должен буду предавать их забвению на хорошо обметенных от пыли полках. Это называется «приобщением к новым формам». Ерунда! Самый жалкий из рабочих, который буквально руками ворочает их мерзкий цемент и сталь, больше знает о настоящей работе, чем я или даже сами они!

— Значит, — сказал Хенри Кларендон, которого несколько не интересовали эти высказывания, казавшиеся ему довольно опасной и ненужной критикой существующего положения вещей, — из этого я заключаю, что ты предполагаешь отказаться от своего нынешнего неудовлетворительного образа жизни и создать себе семейный очаг с Маргарет. Вдвоем у вас будет достаточно средств, чтобы скромно прожить, а после моей смерти еще немного прибавится. Но мне кажется, что тебе следовало бы иметь какое-нибудь занятие. Капитал — скользкая штука в наши дни. А бесцельная жизнь оставляет человека неудовлетворенным.

«Какую тоску нагоняет подобный разговор, — подумал Тони, — и какая убийственная вещь — неоспоримый здравый смысл».

— Ты читал Одиссею? — спросил он.

— Конечно! Но я никогда не был очень силен в греческом языке, мой мальчик. Я предпочитал точные науки. Все-таки я кое-что еще помню.

— Да, — вяло сказал Тони, — совершенно верно! Но ты помнишь, наверное, что королевская дочь ездила к морю

стирать белье, а королевские сыновья отпрягали ее мулов и вносили корзины. А Одиссей хвастается тем, что он может скосить столько же пшеницы, сколько любой крестьянин. Вот о чем я думал!

— Я тебя не понимаю, — сказал Хенри Кларендон, с недоумением глядя на сына и словно окончательно решив, что с ним творится что-то неладное.

— Я только хотел сказать, что, по Гомеру, можно находить удовольствие и в очевидных, насущных явлениях бытия, — слабо пытался объяснить Тони.

— Ты слишком много живешь в прошлом, — последовал ответ. — Нельзя вернуться к устарелым формам жизни. Современная эпоха под руководством науки стремится к разделению и по возможности к уменьшению труда. Зачем косить пшеницу косой, когда какая-нибудь машина делает это гораздо легче и дешевле?

— Только потому, что это может дать тебе больше удовольствия, — вот разница между живой жизнью и коммерческим предприятием.

Хенри Кларендон презрительно засмеялся.

— Хотел бы я посмотреть, как ты будешь косить хлеб на поле в пять акров площадью собственными руками! Мне редко приходилось видеть человека, менее приспособленного к ручному труду!

— Не спорю, — ответил Тони, — но я должен решить эти вопросы для себя. И почему же мне не восхищаться человеческой ловкостью?

— А пока что ты должен жить. Кроме того, нельзя отмахиваться от реальных фактов.

— Но являются ли они реальными фактами? И почему мне не попытаться отмахнуться от того, что для меня смерть?

Тони рассердился на самого себя за то, что он проговорился о своем намерении бросить службу и так неумело и

бессвязно выражал свои мысли. Чувство подавленности и пустоты охватило его. Какого черта еще нужно?..

— В конце концов, — услышал он голос отца, — что такое человеческая жизнь? Встаешь в восемь утра, завтракаешь, идешь на работу, возвращаешься вечером домой, усталый и удовлетворенный, и проводишь несколько часов в тихом отдыхе, тем более приятном, если у тебя есть жена, с которой можно его разделить.

— Милостивый боже, — яростно воскликнул Тони. — Если бы я думал, что жизнь заключается только в этом, я бы сию же минуту, вот тут же у тебя на ковре перерезал себе горло!

К счастью, был подан обед, и они остановились на этом. Однако Хенри Кларендону почему-то пришла в голову мысль, что он сделает благое дело, ознакомив Тони с некоторыми чудесами науки. За обедом он чуть было не довел Тони до тошноты своими рассказами о том, что куриное сердце может жить и даже расти из года в год в соответствующем растворе и что у лягушек с вырезанными мозгами все же не прекращаются некоторые функции. Эти факты, пояснял Кларендон, чрезвычайно важны, ибо они доказывают, что такой вещи, как душа, не существует. Тони не пытался возражать, чувствуя, что эти соображения и эту логику следует ныне причислить к чудесам науки.

Резкий телефонный звонок в соседней комнате прервал эти интересные разоблачения. Спеша подойти к телефону, Тони не потрудился зажечь электричество и сидел в темноте у отцовского письменного стола, держа трубку у уха. Луч света из противоположного окна падал на стол, и Тони бросил беглый взгляд на лист, исписанный отцовским тонким, четким почерком... «Новая эпоха научного прогресса значительно увеличит общую сумму человеческого счастья». Слышимость по телефону была очень плохая.

Тони пришлось раз десять повторить свою фамилию, а затем в ответ на его просьбу пригласить к телефону Скропа какой-то незнакомый голос в Нью-Корте без конца твердил: «Что? Я вас не слышу?» Какие-то неразборчивые слова заставили Тони в свою очередь несколько раз крикнуть «Что? Я вас не слышу?» — пока он вдруг не услышал: «Мистер Скроп скончался... два дня тому назад». На мгновение Тони был слишком ошеломлен, чтобы ответить, и слабый голос все повторял: «Мистер Скроп скончался. Вы меня слышите?»

— Простите, — с трудом вымолвил Тони, — я не знал.

— Что? — спросил голос. — Хотите... говорить... лордом...

— Нет, спасибо! Я очень сожалею, что потревожил вас.

И так как голос продолжал еще что-то говорить о похоронах, Тони тихо повесил трубку и прервал разговор. Минуту или две он сидел неподвижно, глядя на луч света. Он получил ответ от судеб, и это был сокрушительный удар прямо промеж глаз. Близкий друг ушел навеки, а с ним и возможность получить паспорт для въезда в Австрию. Опять ждать. Мирный договор не был еще подписан, и демобилизованных солдат по-прежнему могли призвать. Вот если бы у него были какие-нибудь финансовые интересы в Австрии... Ката была еще дальше, чем когда-либо. Охватившее его отчаяние сменилось гневом, и он в сотый раз проклял тупую алчность мира, где уважают только собственность и собственников.

Тони вернулся в столовую, прикрывая рукою глаза, чтобы защитить их от ослепительно-яркого после темноты света, и резко остановился в дверях. В кресле у огня сидела Маргарет. Что-то в ее непринужденной позе напомнило ему заблудившуюся кошку, которая чувствует себя как дома там, где ей дали блюдечко молока; и это покорило Тони.

— Доедай свой обед, Тони, — сказал Хенри Кларендон. — Я велел принести кофе для Маргарет. А как здоровье Скропа?

— Умер! — резко произнес Тони, садясь и отодвигая от себя тарелку. Взяв сильно дрожащей рукой графин бренди, он налил целый стакан и залпом выпил его. Отец и Маргарет наблюдали за этим с явным неудовольствием.

— Умер! — воскликнул Хенри Кларендон. — Но ведь он, должно быть, был уже очень стар! Странно, я не заметил объявления в «Таймсе». Надо будет взглянуть!

«Чтобы вычислить разницу между своим возрастом и годами Скропа, — подумал Тони. — О жалкое человеческое бытие». Он закурил папиросу. Как только Хенри Кларендон покинул комнату, Маргарет заговорила:

— Тони!

— Да?

— Я скоро уйду и хочу, чтобы вы пошли со мной, вы согласны?

— Разумеется, если вам так хочется. Что-нибудь случилось?

Прежде чем она успела ответить, Хенри Кларендон вернулся с газетой.

— Вот оно! — сказал он. — Скропу был восемьдесят один год. Интересно, продаст ли наследник Нью-Корт?

Тони не ответил. Ему не хотелось говорить о своем покойном друге. Он был совершенно убежден, что смерть Скропа не имеет для него ни малейшего значения, что она оставляет его совершенно равнодушным, и в то же время чувствовал, что глаза его заполняются слезами. Он затянулся папиросой и сделал вид, что дым попал ему в глаза. Маргарет недолго беседовала с его отцом, а затем сказала, что ей пора уходить; Тони, разумеется, встал и выразил желание проводить ее домой. Ему был чрезвычайно неприятен взгляд благосклонного соучастия, которым отец

поглядел им вслед. Спускаясь по лестнице, Тони спросил Маргарет:

— Откуда вы знали, что я здесь?

— Я не знала. Но вас не было в вашей комнате, и я пришла сюда в надежде увидеть вас.

— Я вам для чего-нибудь нужен?

— Тони! Мы не виделись почти неделю, и вы это говорите! Вы такой бесчувственный, что я иногда спрашиваю себя: да мужчина ли вы?

— Собственно говоря, вы могли бы опровергнуть подобные слухи! — раздраженно ответил Тони.

— Как вы грубы и циничны!

Тони остановился посреди уродливой улицы и сказал:

— Ну, очевидно, мы не очень ладим сегодня. Посадить вас в такси?

Он посмотрел на ряд уличных фонарей, все еще прикрытых и затемненных против воздушных налетов, жалкие кусты в каком-то садике при доме напротив, лужи грязной воды в выбоинах изъезженной пригородной дороги, все нереально, нереально. О Ката, Ката, где ты?

Маргарет топнула ножкой, обувой в изящную черную туфельку.

— Я не позволю вам бессовестно уваливать от всего, Тони. Я хочу поговорить с вами серьезно. Поедем куда-нибудь, все равно куда, лишь бы мы были одни и нам никто не мешал.

— В Хайд-парк? — мрачно спросил Тони. — Там нас несомненно заберут, и вам придется выйти за меня замуж ради спасения моей репутации... Я не выношу кинематографов. Пивные — единственные занятные места в Лондоне — разумеется, переполнены. Лучше поедем ко мне.

Маргарет заколебалась.

— Не бойтесь, — сказал, улыбаясь, Тони. — Уотертон замечательно укротил хозяйку! У меня есть ключ от парад-

ной двери, и мне даже разрешается самому готовить себе завтрак с настоящим чаем.

Даже когда он говорил, а Маргарет соглашалась, Тони уже проклинал себя за глупость и слабость. Это было как раз то, что он обещал себе не делать... Скроп был прав, было ошибкой позволять тянуться этим фальшивым отношениям с Маргарет. Даже если Ката потеряна навсегда, все же лучше быть одному, совершенно одному, чем вовлекаться в дисгармоничную любовную интригу. Однако прежде, чем он успел придумать какую-нибудь отговорку, Маргарет подала знак такси, возвращавшемуся из какого-то другого пригорода, и они поехали. Когда они выехали на более ярко освещенные улицы, он мельком увидел свежее лицо Маргарет, ее густые, загнутые ресницы и прелестный рот, который так быстро мог менять свое выражение — от нежности до твердой решимости. Тони показалось, что она опечалена и обижена его оборонительной позицией и молчанием, и вся его мальчишеская влюбленность в нее словно возродилась в инстинктивном желании защитить и утешить ее. Зачем им быть врагами? На мгновение он почувствовал большую нежность к этой английской девушке, которая когда-то была предметом его многих романтических грез. А сейчас, когда она была подле него, уже взрослой, влюбленной в него женщиной, он боролся с собою, чтобы сохранить верность мечте. Прошло пять лет с тех пор, как он простился с Катой, в течение четырех из них он оставался совершенно ей верным. И даже сейчас... Он мысленно спрашивал себя: какая часть увлечения Маргарет вызвана ревностью, какая общественными предрассудками и сколько же остается на долю чистой страсти? Прежде чем он успел сформулировать ответ на этот вопрос, безмолвная поездка была закончена и он уже поворачивал выключатель и подносил горящую спичку к газовой печи.

— Выключите, пожалуйста, верхний свет, — попросила Маргарет. — Он режет мне глаза.

Маленькая, покрытая абажуром лампа у кровати оставляла большую часть комнаты в полумраке, и накалившийся асбест бросал мягкий отблеск на шелковое платье Маргарет. Тони налил воды в жестянку над печкой, чтобы воздух оставался свежим и неспертым. Затем он сел против Маргарет, рассеянно глядя на нее и думая о том, верно ли, что можно быть одновременно влюбленным в двух женщин. Он вздрогнул, услышав голос Маргарет:

— Почему вы так смотрите на меня, Тони?

Это показалось ему таким глупым вопросом, и сердце у него упало при мысли о том, как часто они с Маргарет проводят время в бесполезном словопрениии, в отвратительной, так сказать, предсемейной пикировке. С Катой он мог часами болтать о всякой чепухе, казавшейся им обоим ужасно важной, и никогда не испытывал при этом подобного ощущения неполноты и неудовлетворенности. При разговоре же с Маргарет почти всегда бывал этот раздражающий враждебный тон. И все же, даже сейчас, когда она сидит тут, по-видимому ненавидя его за молчаливое безразличие к ее вопросам, как она хороша, как она мучительно привлекательна! Почему она не хочет оставить несчастного в покое, чтобы он мог в одиночестве бороться во мраке своей души со всякими принципами и силами?

— Отчего вы не отвечаете? — прервал его внутренний монолог разгневанный голос Маргарет. — Разве вам нечего сказать?

— Что я могу сказать? — вяло спросил Тони. — Простите, если вам неприятен был мой взгляд. Я в этом неповинен. Если хотите знать, я думал о том, как вы прекрасны в этом мягком освещении!

— Не пытайтесь мне льстить! — резко возразила она. — И не воображайте, что можете меня обмануть. Я знаю, о чем вы думали.

— Неужели?

— Да, знаю! Вы думали, как было бы приятно, если бы тут вместо меня сидела эта австриячка.

Это довольно правильно передавало действительные мысли Тони, поэтому он смутился. Он ведь и на самом деле проводил сравнение — не в пользу Маргарет — между ней и Катой.

— Вы читаете чужие мысли, — сказал он насмешливо. — Но я думал о том, что вы прекрасны, и сожалел, что мы так часто раздражаем друг друга. Мне хотелось бы, чтобы мы были друзьями.

— Люди, которые были любовниками, не могут быть друзьями. Они либо продолжают быть любовниками, либо становятся врагами. Вы...

— Я с этим не согласен, — прервал Тони. — Не сомневаюсь, что обычно это бывает так, но мне кажется, что этого не должно быть. Неужели люди, наделенные лучшими инстинктами, не могут побороть эти условные понятия любви и ненависти? Ведь это же только условность! Ради дорогих воспоминаний, ради старой привязанности им следовало бы научиться оставаться нежными друзьями, раз они перестают быть возлюбленными.

— Нежными друзьями, — презрительно повторила Маргарет. — Итак, вам хочется, чтобы я была у вас под рукой в качестве нежного друга, когда вам хочется немного заняться любовью, и подальше от вас, когда у вас есть на примете нечто получше или, в особенности, кто-нибудь получше?

— Вы дали определение идеальной любовницы, — сказал, смеясь, Тони. — Но я не понимаю, почему бы мужчине и женщине, прошедшим через половую близость, не питать нежности друг к другу вместо горечи.

— Вместо раздражения, как я «раздражаю» ваши чувствительные нервы. Какой вы фальшивый и сентиментальный, Тони!

— Не пускайте в ход жаргон и не понимайте его превратно, — прервал он ее. — Всякое чувство ныне можно унижить, назвав его «сентиментальным». Я отрицаю, что мои чувства фальшивы. Они истинны для меня, и я пытаюсь их честно выразить. Но определение чувств труднее всего в мире для...

— Тони! — перебила его в свою очередь Маргарет. — Какой смысл говорить о чувствах, в особенности когда они отсутствуют у человека, как у вас, например?

— Сердце знает свою горечь.

— Горечь! Ее у вас сколько угодно, но не любви. Вы получили от меня то, что хотели, и теперь я стала вам ненужной.

— К чему нам ссориться? — мягко сказал Тони. — Слова могут перекинуть мост между двумя людьми, но могут также и разрушить его. Я говорил вам, что мне нужно несколько месяцев, чтобы прийти в себя...

— Вы говорите так, словно вы были единственным человеком на войне, — прервала Маргарет.

— Я никогда не говорил, что другим этого не нужно, — ответил он терпеливо. — Но если я не позабочусь о себе сам, никто другой этого не сделает. Не думайте, что я ропщу на свою судьбу или страдаю запоздавшим шоком, как сказал доктор. Мои нервы крепче его. Мои мускулы — тоже. Я и сейчас еще мог бы пройти двадцать миль в день, в течение недели обходиться одним часом сна в сутки и спать на земле так же хорошо, как в кровати. А он не мог бы!

— Какое это имеет отношение ко мне?

— Абсолютно никакого, — холодно произнес Тони, — но выбейте из своей головы мысль, что я разбитый герой-войска, нуждающийся в женской ласке, и что я совратил вас с пути добродетели. Вы сошлись со мной потому, что вам этого хотелось, на свою собственную ответственность, когда и я и вы, мы оба знали, что все шансы за то, что я буду

убит или же отвратительно изувечен. Если бы я вернулся домой без ног, я бы прогнал вас от себя ради вас же самой.

— А теперь вы пытаетесь это сделать ради себя?

— Нет! Постарайтесь понять — мой нравственный мир, моя внутренняя жизнь рухнули. Моя нынешняя жизнь — чистейший рефлекс, она почти что растительная. Если бы не испытываемое мною страдание и душевное смятение, я бы сказал, что я мертв. В настоящий момент я мучим смертельным равнодушием, так что любая мысль, любой поступок кажутся мне одинаково безразличными. Я не идеологии хочу, я хочу вернуть себе свою чувствительность, но хочу ее здоровой и без изъяна. Можете ли вы возратить мне мою жизненную энергию, мою радость бытия, миллион чувственных ощущений, которые делали мои дни прекрасными. Конечно нет! Мысль моего отца, что брак и триста фунтов в год плюс дальнейшие перспективы разрешат вопрос, является благодушной трусостью — он не хочет взглянуть внутренней правде в глаза...

— Что означает все это пустословие? — раздраженно спросила Маргарет. — Вы говорите только ради того, чтобы говорить, Тони! Пытаетесь уклониться. Чего же вы хотите?

— Знай я это, я был бы уже далеко на пути к тому, где хотел бы быть. Как вы думаете, может ли человек в моем душевном состоянии верить себя другому человеку? В особенности путем брака. Как я уже говорил отцу, я не хочу обзаводиться семьей. Я считаю чудовишной жестокостью производить на свет ребенка в таком мире, как наш.

— Будь у вас ребенок, вы бы иначе рассуждали, — сказала Маргарет, глядя на него каким-то странным взором. — Он отвлек бы вас от вашего эгоистического самопоглощения и дал бы вам цель в жизни.

Тони уловил какой-то затаенный намек в ее взгляде и тоне, но в ту минуту не мог его истолковать. Он покачал головой.

— Если вы хотите оказать мне последнюю услугу, — сказал он, опустив глаза, — будьте моим другом, но предоставьте мне на этот год свободу, не требуйте от меня никаких обязательств. Дайте мне съездить за границу, дайте мне понять, где я нахожусь и что я чувствую. Я должен обрести свою душу.

Маргарет вспрыгнула на ноги, лицо ее побледнело и исказилось от ненависти и ревности.

— Вы лжете, Тони! Вы выдумываете все это, чтобы отделаться от меня! Вы хотите вернуться к этой австриячке, а я ненавижу ее, ненавижу, ненавижу!

— Не надо так ненавидеть! — воскликнул Тони. — Обращайте свою ненависть на людские свойства, на подлость, жестокость и лицемерие, но не на людей!

— Я ее ненавижу! И люблю вас! Но либо вы мой любовник, либо вы видите меня в последний раз!

Она судорожно вцепилась руками в груди, словно хотела вырвать их, — как неистовые плакальщицы по Адонису, подумал Тони. Он был потрясен силой ее разрушительных эмоций. Он знал, что ему следовало бы резко призвать ее к порядку, но не в силах был потерять единственного в Англии человека, с которым был связан узами глубокой привязанности.

— Маргарет! — воскликнул он. — Вы же знаете, что я люблю вас, и вам прекрасно известно, что я увлечен вами. Даже сейчас, когда вы смотрите на меня этим страшным, ненавидящим взглядом, я не испытываю к вам ничего, кроме нежности. Но когда я говорю «дайте мне время», «будьте моим другом», я пытаюсь быть столь же честным по отношению к вам, как и к себе. Человеческая жизнь, людские чувства не состоят только из черного и белого. Вопрос заключается в том, что мы должны сперва выяснить свои истинные чувства, а потом уже действовать...

— Вопрос не в этом! Все дело в том, желанна я вам или же нет? Хотите вы меня или нет?

Прежде чем Тони успел ответить, она гибким движением выскользнула из облегавшего ее платья и предстала перед Тони прекрасной белой фигурой, сгорающей от овладевшего ею желания.

— Хочешь меня? — крикнула она, почти грубо предлагая себя его взору.

Ошеломленный Тони молчал. Он никогда не верил в обычный миф о внешне холодной, внутренне страстной, чувственной англичанке, и эта демонстрация поразила его. Он едва узнавал сдержанную, воспитанную, довольно кроткую Маргарет обыденной жизни в этом примитивном создании, в этом жаждущем женском теле, которое словно бросало вызов его бесстрастности и холодности. Тони пытался заговорить, пытался что-то пролепетать, но, прежде чем он мог шевельнуть рукой, Маргарет уже очутилась у него на коленях, обвила руками его голову и грудь коснулась его лица. Ее страстная злобная речь превратилась в страстную мольбу. Она целовала его волосы, лоб, щеки, и он почувствовал ее слезы на своем лице. Она воскликнула:

— О Тони, Тони, милый мой, прекрасный мой! Прости меня, прости, но я так тебя люблю. Я хочу тебя, хочу тебя! Забудь ее. Никто не может так желать тебя, как я.

Она прильнула к его губам в иступленном поцелуе. Ее слова внезапно приобрели особый смысл в сознании Тони. Он мгновенно связал их с тем, что она сказала о ребенке, и с тем странным выражением, которое он уловил в ее глазах, когда она это говорила. Он почувствовал, что она подставила ему ловушку, что эта сцена была заранее приготовлена и что, хотя ей не надо было разыгрывать ни ревность, ни страсть, она сознательно задалась целью сделать его

отцом ее ребенка, — тогда, конечно, он был бы связан! Яростным движением Тони высвободился из ее объятий. Он избегнул ловушки.

Они лежали без слов и без движения. Тони испытывал реакцию раскаяния, почти неприязни. Он хотел не этого, во всяком случае — не так. И все же он пытался думать о ней с нежностью — ведь все-таки они были любовниками, даже если она и хотела поймать его в ловушку. Но в то же время Маргарет как будто отдалялась от него, становилась холодной и чужой, вместо того чтобы приблизиться к нему. Тони лежал объятый каким-то ужасом, чувствуя, как она отдаляется от него все больше и больше, уходит все дальше, дальше, пока весь пыл ее недавнего желания не застыл сухой угрюмой ненавистью.

Первой заговорила Маргарет, ясным, холодным голосом, словно между ними ничего не произошло:

— Который час?

Ее самообладание поразило Тони, оно представляло такой резкий контраст с проявленной ею полчаса тому назад всепожирающей страстью; его удивило также, что она как будто с безразличием отнеслась к тому оскорблению, которое он вынужден был ей нанести из-за пробужденных ею в нем подозрений. Однако когда он зажигал огонь и искал на столике часы, его ум был всецело занят вопросом: действительно ли она хотела связать его ребенком или же он глубоко обидел ее? О, какая это мука, когда желание отравлено ядом недоверия!

— Половина одиннадцатого, — сказал он возможно спокойнее, хотя голос его дрожал, как и руки.

Маргарет села на кровати, ее прекрасное белое тело горело пламенем от красного абажура лампы. Даже в эту минуту озлобленный, униженный и мучимый подозрением Тони был взволнован ее чистой красотой, она была столь же

нежна и чудесна, как юная Афродита, поднимающаяся из белых простыней.

— Я должна сейчас же уйти, — сказала она. — Дома будут беспокоиться, если я вернусь поздно. Дайте мне мою одежду, Тони.

Она не захотела, чтобы Тони проводил ее домой в такси, и он остался стоять на краю тротуара, с обнаженной головой, измученный и недоверчивый, главным образом — не доверяющий самому себе, терзаемый мыслью, что он, быть может, составил себе о ней совершенно ложное мнение, принял за коварный план то, что в действительности было страстным самозабвением, проявлением безграничной к нему любви. Он стоял так некоторое время, стараясь подавить охватившую его мучительную внутреннюю тревогу. Возвращаясь домой, он увидел слабое мерцание звезд сквозь туман, нависший над темной улицей, и в их далеком блеске обрел успокоение.

V

Шел ли Антони на службу или же возвращался домой, в нем неизменно вызвали гнетущее чувство несметные толпы людей. Хотя около одной пятнадцатой части мужского населения было убито или изувечено, все же Лондон казался и, может быть, в действительности был переполнен жителями — до духоты, чего никогда еще не было. Бесчисленные военные организации, все еще насчитывавшие много тысяч служащих, развивали суетливую, шумную деятельность, в сущности, не преследовавшую никакой определенной цели, между тем как коммерческие круги,

побуждаемые высокой конъюнктурой, естественно стремились возобновить и расширить свою нормальную работу. Переход от войны к так называемому миру ощущался в Англии значительно резче, чем переход от мира к войне. Продовольствие было нормировано; фабричных товаров не хватало, они вздорожали, часто их вовсе нельзя было достать, транспорт изнашивался и не соответствовал потребностям, люди были озлоблены, и в то же время наблюдалась вакханалия стяжательства, бесшабашное, беспринципное стремление урвать себе кусочек от иллюзорной военной добычи.

В часы наибольшего наплыва публики люди стояли в очередях, чтобы захватить стоячее место в вагоне подземной железной дороги, стояли в очередях в надежде попасть в автобус. Даже когда Антони удавалось проложить себе дорогу и раздобыть место, он не испытывал ни малейшего удовольствия, как бы это ни показалось странным и извращенным. Повсюду люди, люди, люди, всегда различные и вместе с тем всегда до ужаса одинаковые — мужчины в форменной одежде, женщины в форменной одежде, страшная, тупая армия читателей газет. Человеческие тела, безличные, безразличные, повсюду вклинившиеся, создававшие невыносимую тюрьму из живых стен. Более яростно, чем скворец Стерна, вся натура Антони взывала: «Не могу вырваться, не могу вырваться!» И та частица воли, которая в нем еще оставалась, отвечала: «Я должен вырваться, я вырвусь!» Часто он наблюдал за толпой, вызывавшей в нем тошнотворное ощущение каких-то наэлектризованных трупов, мысленно спрашивал себя, какие же чувства испытывают эти люди, и надеялся уловить в них хоть какой-нибудь признак родственных ему возмущения и ужаса. Они, очевидно, не могли находить удовольствия в таком существовании, но покорялись ему толстокожим терпением отчаявшихся людей. Это было трагично, но Тони безумно

раздражало сознание, что многие из них готовы утверждать и даже верить, что жизнь их представляет вершину человеческих достижений, и если только прибавить им жалованья с пяти шиллингов в неделю до ста фунтов, они почувствуют себя в земном раю.

Таково было впечатление, создавшееся у него на основании случайных обрывков разговоров в дешевых, грязных ресторанчиках, которые он волей-неволей посещал, чтобы там позавтракать, впечатление, что лучшего нельзя было бы и желать, если бы у говорившего было больше денег. По-видимому, никто не сомневался в красоте и праведности существующей системы и никто не тосковал по «жизни, полной приключений», — что было столь обычным в довоенные годы: тот, кто жаждал «приключений», вкусил их в избытке, а нередко удостоился вдобавок и вечного покоя. Антони испытывал известное затруднение при поддержании подобных разговоров; они ему были скорее неприятны после дружелюбной простоты фронтовых отношений. К чему эта чванливая поза показного благородства?

Однажды Тони пытался поговорить об этом с Диком Уотертоном, возвращаясь вместе с ним в субботу вечером из Сити на империале автобуса. Вечер был ясный — это было за несколько дней до подписания мирного договора, — и они ехали в Ричмонд, предполагая пройти оттуда пешком вдоль берега реки в Кингстон, где жил Робин Флетчер.

— Надеюсь, вам понравится Робин, — сказал Антони, когда они кое-как влезли в переполненный автобус. — Когда-то он мне очень нравился, но я не видел его в течение многих лет. Но люди так сильно меняются, что я все больше и больше боюсь возобновлять отношения со старыми друзьями, — проклятая война всех перепортила! Робин частенько проповедовал всевозможные благожелательные теории о человечестве с большой буквы, собирался осно-

вывать идеальные колонии и всякую такую чепуху. Но он хороший парень — я никогда не забуду, какой чудесный первый день я провел благодаря ему в Риме. Надеюсь, он не изменился.

— Ну что ж, увидим, — сказал Уотертон с видом человека широких взглядов, для которого подобные вежливые приготовления совершенно излишни.

— Да, кстати, — сказал, колеблясь, Антони, — он сидел в тюрьме за принципиальный отказ от военной службы — вы ничего не имеете против?

— А что я могу иметь против?

— Многие восстают против этого, — с легкой грустью ответил Тони, — например, мой отец. Я хотел пригласить Робина пообедать с нами завтра, но отец наотрез отказал мне. Должен сказать, что у гражданского населения необычайные представления о войне.

Вблизи Меншен-хауза* образовалось скопление автомобилей и экипажей, и автобус остановился. Хотя фондовая биржа была закрыта, все же тротуары были переполнены толпами людей, преимущественно служащими, спешившими вернуться в свои пригороды, чтобы провести дома несколько часов досуга. В воздухе стоял оглушительный шум от гудения моторов на холостом ходу, треска перемен скоростей и автомобильных гудков. Оживленное движение придавало улице более бодрый вид, чем в утренние часы понедельника, однако Тони нашел его почти что пугающим.

— Посмотрите! — сказал он. — Вот один из характернейших уголков современной цивилизации, центр подлинных интересов и подлинного поклонения людей, — бесконечно более реальный, чем их условная религия. Они верят в это — в этот отвратительный улей, дающий вместо меда процентные бумаги и называющий это жизнью.

— Патриотический обыватель назвал бы это «пупом земли», — сказал Уотертон, когда автобус двинулся. — Да-

вайте скажем, что это центр огромнейшего промышленно-финансового города.

— Но разве он не ужасен?

— Пожалуй нет, — ответил Уотертон с хладнокровной рассудительностью, к которой он иногда прибегал, чтобы вызвать возражения Антони, — не ужасен. Это колоссальная человеческая динамо-машина, огромный генератор энергии, порождающий человеческую активность во всем мире, вплоть до Австралии. Вы же должны признавать энергию?

— Я признаю энергию, — мрачно ответил Антони. — Но от души желаю, чтобы она была сломлена.

— Это означало бы лишь голод, нищету и анархию — вроде как во время войны, только без дисциплины и нормированных пайков.

— Меня не волнует эта безличная энергия, — сказал Антони, игнорируя очевидную правоту последнего замечания Уотертона. — По-видимому, я лишен чувства «цивилизма» или чего-то в этом роде, я могу лишь восхищаться личной энергией — собственным, внутренним богом человека. Ни у одного из этих людей, насколько я их знаю, нет ни на грош доподлинной личной жизни. Они выполняют свою работу более или менее добросовестно, более или менее из страха, и это, собственно, все. Если бы муравьи были ростом в два метра, хороший большой муравейник разгромил бы Нью-Йорк. Что же касается этих человекообразных муравьев, то их жизнь представляется мне исключительно внешней, они лишь людская шелуха. Я разговариваю с ними и пытаюсь заставить их говорить со мной, но их жизнь и стремления кажутся мне такими убогими, такими дешевыми!

— Чего же бы вы от них хотели? — спросил Уотертон, искоса глядя на взволнованное лицо Антони.

— Не знаю. И я не сказал бы этого, даже если бы знал. Меня тошнит от людей, проповедующих другим людям,

как те должны поступать. Возмутительная наглость! Кто я, кто они, чтобы указывать другим людям, что они должны делать? К черту их! Мое дело выяснить, что я должен делать. Может быть, это и их дело, но не мне их этому учить.

— А что вы должны делать? — спросил, улыбаясь, Уотертон.

— Не давать себя втянуть в вашу отвратительную человеческую динамо-машину! — ответил Антони.

— Но ведь вы же часть ее — вы работаете в городе Лондоне.

— Не надолго. — Тони хотел было рассказать Уотертону о Кате и о своих планах, но овладевшее им недоверие ко всем удержало его от откровений. — Я уже все обдумал. Еще до конца года я брошу службу, и навсегда.

— А что вы будете делать и как будете жить?

— Денежный вопрос меня не смущает. И во всяком случае, если придется голодать, я буду голодать. Но я не растворюсь в этой проклятой человеческой машине. Я скорее предпочту раствориться в небытии!

Он говорил с такой горячностью, что Уотертон слегка приподнял брови, испытывая неприязнь к излишним чувствам, столь характерную для англичанина среднего класса, даже такого сердечного и терпимого, каким, несомненно, был Уотертон. Он хладнокровно сказал:

— Как можете вы по-настоящему уйти от того, что вы называете машиной? Ведь это же просто организация человеческой жизни, только средства, благодаря которым мы все живем. Вы хотите пользоваться продукцией человеческой машины, ничего ей не давая взамен. То, что вы говорите, в конце концов сводится просто к декларации, что вы не желаете работать.

— Пусть так! Я не желаю работать. Во всяком случае не желаю работать в существующей системе, потому что считаю ее насквозь порочной. И думаю, что она идет к гибели.

И я рад этому, даже если буду раздавлен при катастрофе. На смену придет что-нибудь лучшее.

— Вы очень романтичны, — шутливо ответил Уотертон. — Но разве не глупо возражать против торговли, подобно некоторым богатым юнцам, сочиняющим стихи?

Антони вспыхнул.

— Я не возражаю против торговли, я возражаю против колоссального паразитического нароста на торговле. Я протестую против обоготворения бумажных сделок. Я верю в самое производство. Присутствовали ли вы когда-нибудь при выгрузке кораблей на реке?

— Да.

— Так вот не приходило ли вам в голову, что люди, взрастившие или изготовившие предметы выгрузки, люди, управляющие кораблем, люди, грузившие его, просто лишь «живут» — и больше ничего? Зато различные «владельцы» и «агенты» живут весьма неплохо, будьте покойны! Я не возражаю против настоящей торговли. Я люблю рынки — они вызывают во мне ощущение изобилия, и я ненавижу универсальные магазины — они вызывают во мне чувство убожества.

Уотертон рассмеялся.

— Если вы продолжите свою мысль о владельцах и производителях, то, надо полагать, вы убедитесь, что она вас уведет очень далеко от индивидуализма. Но это не важно; имея личные доходы, можно позволить себе оригинальничать. Но отчего же вы любите рынки и не любите магазинов?

— Потому что рынки человечны, а магазины бесчеловечны, — быстро ответил Тони. — На тех рынках, о которых я говорю, нет проклятых паразитов, — я имею в виду людей-паразитов — блох там в избытке, — нет человеческой динамо-машины. Никто не спешит, никто не рассчитывает жить на ренту с дневной выручки. Рыбаки приносят свои

корзины с ночным уловом, крестьяне — избыточные молочные продукты, фрукты, зелень и тому подобное. Вместо того чтобы звонить по телефону в магазин, вы выбираете то, что вам действительно нужно.

— И вас при этом немилосердно надувают.

— Я предпочитаю, чтобы меня надули на несколько полупенсов с фунта при личных сделках, чем на десять шиллингов с фунта при твердых ценах, установленных для того, чтобы выплачивать доходы и дивиденды целой веренице акционерных обществ.

— Вы не могли бы управлять большим обществом на этих основаниях.

— А кому это надо? Не мне!

Эта довольно неопределенная дискуссия могла бы продолжаться до бесконечности, если бы автобус не достиг своей конечной остановки, что повлекло за собой перемену темы. Когда они вышли на набережную, Уотертон попытался возобновить прерванный разговор, но Тони уклонился от этого. Он знал, что излагал свои взгляды неубедительно и нелогично, но можно ли логически объяснить то, что воспринималось им как инстинктивное ощущение? Он не побуждал себя ненавидеть «человеческую динамо-машину» — все его инстинкты и чувства восставали против нее. Неужели они неполноценны только потому, что их нельзя расположить по прямым линиям умственной логики? Ведь это лишь Аристотелева условность. И будучи чрезвычайно недоволен человеческим обществом, каким оно представлялось ему, Тони был всегда готов критиковать и отвергать основные и наименее оспариваемые его положения. Ему было очень отраднo думать, что человеческий разум может вполне законно идти по нелогическому пути, достигая при этом более полноценных и плодотворных результатов. Тони пришла в голову мысль, что он и на самом

деле всегда думал и чувствовал более или менее нелогично. Он не поделился этим с Уотертоном, ибо его снова обуюло отвращение к этим вечным отвлеченным спорам, на которые люди, по-видимому, попусту тратят так много своей энергии. Гораздо приятнее ощущать ритмическое движение своего тела, любоваться суровым облачным небом, молодыми листьями и прозрачной молчаливой рекой — и предоставить Уотертону вести разговор.

Тони казалось, что теперь он должен был бы чувствовать себя более или менее спокойным и довольным, если не вполне счастливым, и его угнетало сознание, что он не испытывает ни того ни другого. Конечно, неплохо было чувствовать под ногами твердую дорогу и дышать воздухом, не отравленным газами и не наполненным летящими снарядами, но помимо этого он не находил ничего, чему бы можно было обрадоваться. Сырые, сладковатые испарения реки раздражали его, а все убого-нарядное окружение — великолепие восемнадцатого века, изъеденное демократической эпохой, — казалось фальшивым. А тут еще Уотертон мило болтает об этом ядовитом маленьком толстяке — поэте Попе* и о Гарри Уолполе* с его холодным фатовским сердцем и красным носом... «Нехорошо с моей стороны, — подумал Тони, — так презирать дары природы и искусства, но все же лучше отдавать себе точный отчет в своих чувствах, чем притворяться, что ты обладаешь теми чувствами, которые, по мнению других, следовало бы иметь».

Его настроение не улучшилось, как он надеялся, а скорее ухудшилось от встречи с Робинотом. Они довольно долго блуждали по темным, грязным переулкам, пока, наконец, не нашли его весьма жалкого обиталища — приемную шестикомнатного дома с узкой кроватью в углу и разбросанными в беспорядке книгами и бумагами. В комнате стоял слабый кисловатый запах грязи, исходивший из-под

растрескавшегося линолеума и из неподметенных углов, и пахучее воспоминание о невымытых окнах и варившейся где-то капусте. Все это неприятно поразило чувства Тони, как только перед ними распахнулась дверь, которую открыла женщина с красными руками, не удосужившаяся даже сбросить с себя холщовый фартук. Но уже в следующее мгновение все его внимание разом сосредоточилось на Робине, который бросил перо и протянул замаранную чернилами руку, воскликнув почти не изменившимся голосом:

— Здравствуйте, Тони, рад вас видеть, дружище!

Тони горячо пожал ему руку и познакомил его с Уотертоном. Тони был рад, что привел с собой Уотертона, как бы в виде щита, ибо, за исключением голоса, он едва узнавал своего друга. Робин был одет в поношенную рабочую блузу; он отпустил себе всклокоченную черную бороду, волосы у него были длинные и спутанные; на исхудалом лице появилось выражение озлобленности, а в глазах, которые Тони помнил такими добродушными, поблескивала фанатическая искорка. «Он выглядит совершенно как оратор из Хайд-парка», — с сожалением подумал Тони. В то же время он почувствовал на себе критический взгляд Робина, и ему стало неловко за свою аккуратную внешность, короткие, остриженные по-солдатски волосы и усики, которые он носил еще с времен фронта. Ощущение враждебности Робина опечалило его и исполнило горестного опасения, что вот еще один друг превратился почти что во врага. Умышленно нищенская внешность Робина и его комнаты подействовали на Тони угнетающе — в такой комнате дружеский контакт с Робинем совершенно немислим. Если бы только в Кингстоне был какой-нибудь обнесенный вьющимся виноградом винный погребок, где они могли бы пить золотистый мускат и согревать друг друга!

После первых приветственных фраз Тони предложил взять лодку и покататься по реке часа два, но Робин не захотел об этом и слышать.

— Река переполнена вонючей буржуазией и шумными грубиянами-солдатами с девицами, — сказал он презрительно.

Тони болезненно сморщился; он видел этих солдат, почти все они были в больничной одежде, и у него сжималось сердце при виде то заколотого кверху пустого рукава, то пустой штанины, то белых, мертвенных лиц в темных очках. Он готов был выслушивать любое обвинение, направленное против войны и военных дельцов и против себя самого за то, что он принимал в ней участие, но не мог вынести издевательства над разбитыми людьми, которые пострадали на войне. Он подавил свое возмущение и промолчал; но тут заговорил Уотертон:

— Не пойти ли нам выпить стакан чаю в один из ресторанчиков на реке? — спросил он бодрым тоном. — По дороге сюда я заметил прелестное местечко, и я не отказался бы от чая после нашей прогулки.

Но Робин и это предложение встретил гримасой.

— Я не переступлю порога этих мерзких ресторанов, — сказал он раздраженно. — Я могу вас угостить здесь чаем, а то тут поблизости есть рабочая чайная. Что вы предпочитаете?

— Ну так пойдем в вашу чайную, — сказал Тони, желая вырваться из этой пропахнувшей комнаты и безнадежно надеясь, что в другом окружении ему, быть может, удастся обрести старого, веселого Робина и его обаяние. Но рабочая чайная оказалась еще того хуже, с обсиженными мухами стеклами окон, сальными столами и тухловатым запахом жареной рыбы. Потрескавшиеся чашки и блюда выглядели грязными, а чай был жидкий и ужасно напоминал грязную воду от мытья посуды. Тони заметил, что после

первого, довольно робкого глотка Уотертон спокойно отставил свою чашку, что вызвало откровенную усмешку со стороны Робина. Тони отхлебнул своего чая — не многим лучше фронтowego, с привкусом похлебки, — и закурил трубку. Почти сейчас же Робин стал с необычайной горечью рассказывать о своих переживаниях в тюрьме. С ними обращались по-варварски, сказал он, их оскорбляли, били, держали в одиночках, лишали всякого чтения, кроме Библии, морили голодом, так что некоторые заболели, а один чуть было даже не умер.

— Это все чрезвычайно печально, — мягко сказал Уотертон. — И мне кажется, что все имевшие к этому делу хоть какое-нибудь отношение должны стыдиться. Но ведь солдаты в окопах тоже страдали, мистер Флетчер.

Фанатический блеск вспыхнул в глазах Робина, и он резко возразил:

— Им не надо было туда идти! Если они согласились убивать других людей, они заслужили все, что получили.

— Мне кажется, они поступали так, как считали правильным, — ответил Уотертон, улыбаясь. — И я не думаю, чтобы они были особенно кровожадны. Во всяком случае они мирились с тем, что выпадало на их долю.

— А как вы поступили? — резко спросил Робин. — Вы противились?

— Нет, — ответил Уотертон, все еще улыбаясь. — Я свалился с самолетом, и после выхода из госпиталя меня перевели на тыловую службу до окончания войны.

Ядовитая усмешка, которой Робин встретил эти слова, была оскорбительна, но Уотертон зажег папиросу, предложив Робину закурить, и не дал себя вывести из добродушного настроения. Робин почти с яростью обратился к Тони:

— А вы, Тони? Почему вы пошли? Вы нас предали!

— Не думаю, чтобы я предал вас или кого бы то ни было, — сказал, вспыхнув, Тони. — Я никогда не брал на себя

обязательств не воевать и не могу честно поклясться, что не может быть таких моментов, когда мне не захотелось бы убить кого-нибудь.

— Например, при виде немца, пытающегося изнасиловать вашу сестру? — насмешливо спросил Робин.

— Нет. Но если бы меня невыносимо угнетали или если бы кто-нибудь пытался убить меня.

— Но этого не было. Идти на войну — значило поступить вопреки всем вашим принципам, а вы все-таки пошли. Вы предали себя и нас!

— Мои принципы! — сказал шутливо Тони. — Разве они у меня были? Не думаю, чтобы я когда-либо говорил о принципах, и убежден, что я никогда не поступал в соответствии с ними.

— Но ведь вы не одобряли войны?

— Нет, должен сказать по совести, не одобрял. Но, дорогой мой Робин, я встречал очень мало солдат, которые одобряли бы войну... Большинство из них жаждало — чисто по-человечески жаждало — одного — вырваться из нее, но, раз попав на войну, они ее переносили.

— С вами дело обстояло иначе, Тони. Разве вы не были социалистом, разве вы не верили в братство людей?

Тони вздохнул, несколько смущенный этим жестоким перекрестным допросом.

— Робин, вы прекрасно знаете, что у меня не было определенных политических взглядов. Я голосовал единственный раз в жизни, но это было после перемирия, когда выборы были буффонадой. И даю вам честное слово, что у меня не было ни малейшего представления о том, за какую партию я голосую: я совершенно не знал, из какого теста были кандидаты.

— Это не был вопрос политики, — презрительно возразил Робин. — Это был вопрос человеческой порядочности, солидарности с рабочими.

— Ну а я считал более порядочным пойти на войну, — сказал Тони слегка нетерпеливо, — и держу пари, что в моем батальоне было больше рабочих, чем в вашей тюрьме. Если хотите, можете сказать, что я пошел, потому что у меня не хватило смелости не идти. Кроме того, для меня это не было вопросом, подлежащим обсуждению, я следовал какому-то импульсу — моей совести, если хотите.

— Вашей совести! — злобно крикнул Робин. — Что вы хотите сказать? Как могла ваша совесть позволить вам поддерживать богачей — всю эту мерзкую свору?

Тони колебался и взглянул на папиросу Уотертона, чуть-чуть подпрыгивавшую в его пальцах, которые едва заметно дрожали. Робин не заметил этой дрожи, но Тони знал, что Уотертон не избавится от нее до самой могилы, он знал также, что после аварии самолета жизнь Уотертона превратилась в своего рода ежедневный поединок со смертью.

— Вот что я могу вам только сказать, — начал он спокойно. — В первые месяцы войны я однажды около полуночи возвращался на квартиру отца. На одной из боковых улиц мне повстречалась рота территориальных войск, шедшая на станцию, чтобы сесть в поезд. Может быть, они отправлялись в лагерь, а может быть — на фронт. Большинство из них были еще совсем мальчишки. Никто не остановился, чтобы взглянуть на них, кроме меня. Они свистели, а позади отряда медленно двигался старомодный фургон Красного Креста. Не знаю почему, но эта маленькая процессия была одной из самых печальных и трогательных, которые мне случалось когда-либо видеть. Казалось, она совершенно перевернула меня. Мне захотелось потихоньку замешаться в ряды и пойти с ними, куда бы ни лежал их путь. Я этого сделать не мог; но глубоко в душе я почувствовал, что, каков бы ни был мой отвлеченный долг как просвещенного члена общества, мой непреодолимый человеческий импульс — идти с ними и разделять их судьбу.

— Ба! — воскликнул Робин. — Какая сентиментальная чепуха!

Тони глядел на жирные трещины стола, пока говорил. Когда он поднял голову, его глаза случайно встретились с глазами Уотертона, и выражение, которое он в них уловил, вполне вознаградило его за все уколы, причиненные ему язвительным презрением Робина.

— У меня не было таких благородных чувств, — сказал с добродушной иронией Уотертон, стараясь привлечь внимание Робина к себе. — Я пошел на войну, потому что был без работы и хотел летать.

Робин задумался и, казалось, не слышал замечания Уотертона. Тони тоже молчал, размышляя о том, как бы ему перевести разговор на какую-нибудь менее полемическую тему, но Робин прервал его.

— Что вы намерены теперь делать, Тони? Собираетесь ли тратить свою жизнь по-любительски, как и прежде?

— Я не считаю наши совместные дни в Риме зря потраченными, Робин, — ответил Тони, чувствуя себя задетым и в то же время взывая к старой дружбе. — Это был один из самых счастливых периодов моей жизни, и вы тоже, по-видимому, были счастливы. Никогда не забуду того чудесного завтрака вместе с вами под вьющимся виноградом. Вышла ли в свет книга, которую вы тогда писали? Я почти ничего не читал все эти годы.

Робин нахмурился.

— То был период нашей незрелости, — сказал он. — Хотя мне кажется, я глубже воспринимал действительность, чем вы. Теперь мы должны приняться за дело, преследуя лишь одну определенную цель.

— Какую цель?

— Свержение всего этого буржуазного строя, — сказал Робин с выражением жестокой ненависти в глазах. — Мы должны работать в контакте с русскими и установить диктатуру пролетариата.

— А как это осуществить?

— Проповедуя и подготавливая классовую войну. Я бросил писать романы — их читает одна лишь буржуазия — и посвящаю все свое время чтению докладов и писанию статей для одного-двух левых журналов.

— Мне кажется весьма нелогичным возражать против национальной войны и проповедовать войну классовую, — с сомнением сказал Тони.

— Это совершенно различные вещи, — огрызнулся Робин. — Одна велась, чтобы поработить народ, другая должна будет освободить его.

— Я противник кровопролития и насилия. Ведь нам придется спровадить на тот свет половину Англии. Но скажите нам, что вы собираетесь делать?

— Вы должны приходиться на наши митинги. Завтра вечером состоится один. Вы тоже придете? — добавил он, довольно нелюбезно обращаясь к Уотертону.

— Пожалуй что нет, — ответил Уотертон благодушно, но решительно. — Спасибо, но думаю, что не приду. Я видел очень много политических митингов, и они меня больше не интересуют.

Робин отвернулся от него с нескрываемым отвращением и стал нарочито обращаться к одному Тони. Тони некоторое время слушал и затем решил, что ему неудобно больше просить Уотертона продолжать сносить эти злобные плевки, он взглянул на часы, встал и сказал, что пора уходить. Тони уплатил за чай, и они дошли вместе с Робинем до его квартиры. У двери Робин спросил:

— Вы придете на митинг? Я обещал привести вас как возможного единомышленника.

— Мне кажется, вы бы лучше не давали обещаний относительно меня, — ответил Тони как можно спокойнее. — К сожалению, я не смогу прийти завтра. Я обещал провести вечер с отцом.

— О, вы безнадежны! — грубо сказал Робин. — Бесхребетный, и я сказал бы даже — и безмозглый тоже! Прощайте.

Уотертон и Тони шли некоторое время молча, пока не дошли до моста. До захода солнца оставалось еще часа два, и Тони сказал:

— Мне хотелось бы пройтись, чтобы очистить легкие и горло от запаха этой омерзительной чайной. Вы согласны дойти пешком до Теддингтона? Оттуда мы можем вернуться поездом.

— Разумеется. Идем!

— Мне грустно, что все это произошло, — нерешительно продолжал Тони. — Собственно, я должен был бы извиниться перед вами. Но я не видел его со времени войны, и для меня это такая же неожиданность, как и для вас.

— По-моему, вы прекрасно выдержали его нападки, — ответил добродушно Уотертон. — На вашем месте я бы, вероятно, вышел из себя. Мне жаль парня. Он неизлечим.

— Для меня это явилось своего рода ударом. Я считал его одним из своих немногих настоящих друзей. Он совершенно изменился. Да будет еще раз проклята эта война! Вы не верите в то, что он говорил, не правда ли?

Уотертон пожал плечами.

— Одна из многих политических теорий. Думаю, что она привлекает потому, что кажется такой многообещающей. Мне она не по душе, и, по-видимому, она влечет за собой уйму страданий и насилия ради целей, которые могут быть достигнуты и другими способами.

— Я не мог избавиться от мысли, что насилие и страдание — это именно то, что ему нравится. Он жаждет мести даже больше, чем счастья для народа.

— Это результат слишком близкого отождествления собственных страстей с любой формой политики. Мы все

подвержены этой опасности. А что касается народа — разве вы и я не такая же часть народа, как и всякий другой?

— Разумеется, — ответил рассеянно Тони.

Вечер был очень тих, и до них долетали голоса и смех людей, катавшихся в маленьких лодках вверх и вниз по реке. Тони обратил внимание, как последние косые лучи солнца оттеняют чудесную золотистую зелень молодой листвы.

— Вы знаете, Уотертон, люди буквально помешаны на политике и социологии. Это своего рода болезнь, как та омерзительная инфлюэнца, которая унесла в могилу столько тысяч прошлой зимой. Мне кажется, они не в состоянии рассматривать какую бы то ни было сторону человеческой жизни, за исключением спорта, иначе, как с политической или социологической точки зрения. Они создают из этого какую-то религию, — я считаю, что если действительно верить во всемогущество государства, то это и в самом деле может стать религией. Господи, как я ненавижу все эти политические секты! Вчера вечером я обедал с Уолтером Картрайтом в его клубе. Он, очевидно, весьма преуспевающий чиновник, и я к нему хорошо отношусь, но половину вечера он говорил о той пользе, которую консерваторы принесут стране, когда они освободятся от коалиции.

— Это скучно, — согласился, смеясь, Уотертон. — Пожалуй, в этом отношении военная служба имеет свою хорошую сторону.

— Ах, боже мой, военные никогда ни о чем не думают. Но, по крайней мере, они не ведут профессиональных разговоров. Я задыхаюсь от этих вечных политических дискуссий! Я готов поверить, что намерения у всех этих людей хорошие, но не могут же все они быть правы! И я не вижу, как можно достигнуть большей справедливости, мира и счастья на земле, если не увеличится число справедливых, мирных и счастливых людей.

— Совершенно верно, но как их сделать такими?

— Не знаю. Во всяком случае не путем классовой войны или благодаря деятельности консервативной партии. Это может прийти только от отдельных людей. А теперь, бога ради, давайте говорить о чем-нибудь другом!

В этот вечер Антони съел свой скудный обед один у себя в комнате, а затем сам вымыл посуду. Он подумал было пойти в театр «Альгамбра» и постоять там час или два, чтобы посмотреть на балет, но отказался от этой мысли. Его заработок повысили до пяти фунтов в неделю («принимая во внимание неудовлетворительность работы всех служащих вообще», — объяснил он отцу), но жизнь была ужасна дорога, и он твердо придерживался своего решения не трогать денег, отложенных на поездку в Австрию. Вместо того чтобы уйти из дома, он закурил трубку и уселся с «Тристрамом Шенди». Но, как это часто с ним случалось, вскоре обнаружил, что его внимание отвлеклось от книги к человеческой жизни.

Воспоминание о встрече с Робинотой острой болью отозвалось в его сердце. Еще один старый друг утрачен, еще один корень срезан, а он рассчитывал на Робина. Утрачен, утрачен. Он с некоторой горечью подумал, что, если бы когда-нибудь ему пришла в голову глупая мысль обзавестись гербом, он выбрал бы слово «утрачено» в качестве девиза. Оно, по-видимому, удивительно резюмирует всю его жизнь. Обвинения Робина, что он предал их дело, затронули его очень мало. К черту всякие дела! Важна лишь основная, человеческая лояльность. Если уж говорить об этом, то настоящим изменником был Робин, ибо он позволил чувству мести ожесточить себя и бросил подлинное искание, подлинную жажду приключений — стремление к полноте жизни, поэзию бытия. И что за глупость возводить каждого в сан боговдохновенного законодателя или стро-

ителя совершенной жизни для всех! Что за возмутительная наглость! Не философы становятся властелинами, а первый встречный, и Робин в том числе, намерены распоряжаться всем миром в соответствии со своими понятиями о справедливости и совершенстве. Заметь себе: «Никогда не пробуй заставлять других делать то, что не удалось тебе самому». И, кстати, написано «не противься злему».

Тони задумался над этим утверждением, ибо он сам испытывал сильное влечение противиться злу и нетерпимо относился к неизменному существованию этого зла, когда упразднение его казалось таким легким. Не противься злему. Другими словами, пусть все поступают как порядочные люди, и зло само собою исчезнет. Но исчезнет ли оно? Во всяком случае ведь не я создал мир. Мысли Тони перешли на беседу с Уотертоном относительно нежелания стать частью индустриальной машины. Ему пришло в голову, что раз он оправдывал свое участие в машине войны из соображений сочувствия к человеку и чувства товарищества, то, логически рассуждая, он должен был бы записаться и на службу к индустриальной машине. Ведь там вербовка идет уже с давних времен, и борьба никогда не прекращается. Если верно, что гражданское население извлекло выгоду из труда и лишений солдат, то еще более верно, что избежавшие индустриальной машины извлекают пользу из труда и страданий других. Ему стало не по себе от дилеммы, которую он сам же для себя создал. Аналогия казалась полной, даже если не соглашаться с тем, что принципиальный отказ от индустриализма так же опасен, как и принципиальный отказ от войны. На него самого это положение не распространялось — ведь он должен унаследовать от отца то, что явится денежным эквивалентом, дающим освобождение от службы.

Антони медленно ходил взад и вперед по комнате, набивая снова и снова трубку и предаваясь размышлениям.

Или, вернее, он позволил возникшей проблеме все глубже и глубже проникать в его сознание, зная, что она снова выплывет. Он отбросил вопрос о военной службе — это дело прошлого, и он давно уже решил, что не пойдет опять на войну, — теперь он может отказаться с чистой совестью. Но второй вопрос его терзал. Тони чувствовал всеми фибрами своей души, что если Робин установит диктатуру пролетариата и попытается силой заставить его работать, он сбежит за границу, если это будет возможно, если же нет, он скорее предпочтет, чтобы его расстреляли, чем поработили. Он долго бродил по комнате, затем вернулся к своему креслу, одолеваемый роем полусформулированных мыслей и неясных чувств. Наконец он взял большой блокнот и стал писать:

«Дорогая Ката, я не получил ответа на свое последнее письмо и сейчас пишу просто наудачу. Больше не стану писать, если не получу ответа. Зачем развлекать почтовых цензоров?

Я все еще в Лондоне, все еще стараюсь получить паспорт и все еще далек от цели. Говорят, мирный договор будет на днях подписан, и я от души надеюсь, что это будет означать возврат к здоровой и приличной жизни. Последние несколько лет были дьявольски мучительны, и, конечно, они были для тебя еще хуже, чем для нас. Когда я тебя увижу — только бы эта минута настала! — я буду чувствовать себя виноватым перед тобой за эту отвратительную блокаду. А ведь те самые люди, которые устраивали блокаду, больше всех возмущались тем, что война ведется с женщинами и детьми!

Я недавно познакомился с человеком, принадлежащим к высшим чинам британской гражданской администрации. Он еще совсем молод и играл слишком большую роль, чтобы идти на фронт. Его зовут Уолтер Картрайт, и он считает Британскую империю божественным проявлением высшей мудрости, а гражданскую службу — мозгом империи. Я не

спору с ним, я просто слушаю. Я стал терпеливым, дорогая Ката, а может быть, если тебе угодно, и чуточку склонным к лицемерию. Во всяком случае я постараюсь извлечь из него пользу для получения паспорта и нужных разрешений и виз, не знаю чего там еще! Мне неприятно это делать в особенности потому, что меня познакомила с ним Маргарет, но для меня война еще продолжается. Война между мной и моим дражайшим Отечеством за мою свободу и счастье, и, надеюсь, и за твое тоже.

На днях между мной и Маргарет произошла мучительнейшая сцена, которая меня потрясла и оставила во мне подозрение (может быть, несправедливое), что Маргарет хочет заставить меня дать ей ребенка. Понимаешь, какая бы тут вышла неразрешимая путаница! Однако если у нее и был такой план, то он ей не удался. После этого я видел ее всего лишь один раз, и то в обществе чужих людей; она отнеслась ко мне с вежливым безразличием. Все это весьма странно и неприятно.

Помнишь ли ты Робина? Я говорил о нем на Эе — это юноша, с которым я был в Риме. Я встретился с ним сегодня, впервые после войны. Он напал на меня за то, что я воевал, — быть может, и справедливо, — а также за то, что я не примыкаю к его революционным замыслам. Это все довольно тягостно, тем более что я к нему очень хорошо относился. Но мне так бесконечно, бесконечно опротивели все эти замыслы и заговоры, имеющие в виду военизированный ввод людей в царство предполагаемого счастья. С меня хватит всяких военизирований на всю мою жизнь, и я только прошу, чтобы меня оставили в покое.

Как бы мне хотелось знать хоть частичку твоей жизни, чтобы я мог поговорить о тебе! Изложение своих надежд в пустое пространство кажется таким смешным занятием, а я ничего, совершенно ничего не знаю о тебе. Если каким-нибудь чудом ты получишь это письмо, сообщи мне хоть

что-нибудь о себе, но прежде всего извести меня, где я могу тебя найти. Я приеду к тебе, как только это будет в пределах человеческой возможности.

Ката, милая! Это письмо почти несомненно будет читаться цензорами, а потому на этом и закончу, прибавлю лишь, что я ничего не забыл и все еще живу воспоминаниями о наших днях на Эе. Всегда, всегда,

Тони».

Заклеив и надписав конверт, Тони написал кратко и ясно Уолтеру Картрайту, сообщив о своих стараниях получить паспорт и разрешение для проезда в Австрию, и просил у Уолтера содействия. Он наклеил марки на оба письма и опустил их в почтовый ящик, прежде чем лег спать. На обратном пути он задержался ненадолго недалеко от своей улицы в большом сквере, засаженном деревьями. Огороженный сад выглядел темным и таинственным, и молодые листья мягко шелестели на вечернем ветру. Отдаленный грохот уличного движения напоминал шум большого водопада, и Тони почувствовал себя исцеленным этой тьмой и молчанием. Он не уходил отсюда, пока не появилась с шумом из-за угла компания мужчин и женщин, сплошь пьяная, и не убила таинственности тишины разноголосыми криками и звонким истерическим хохотом.

VI

После обеда, в день официального объявления мира, Антони вышел один на улицу, без всякой определенной цели, кроме лишь смутного ощущения, что каждому следует присутствовать на праздновании исторических собы-

тий. По причинам, от него не зависящим, ему не удалось принять участие в торжествах, устроенных в ночь объявления перемирия и сопровождавшихся неподдельным весельем, о чем ему много рассказывали Маргарет и другие. Тони чувствовал, что он будет безгранично рад принять участие хоть в маленьком неподдельном веселье.

Он направился к Трафальгарской площади, которая является как бы неизменным центром всяких сцен в дни национальных потрясений, но не заметил ничего особенного на боковых улицах, за исключением отсутствия экипажного движения. Выйдя на одну из главных улиц, он остановился. С востока на запад непрерывным потоком шли темные, молчаливые фигуры, безмолвные, без смеха, просто двигавшиеся, как темная, бесшумная вода, вдоль плохо освещенной улицы. Минуты проходили за минутами, а Тони все стоял, глядя на этот поток потоков темных людей, молча проходивших мимо, в образцовом порядке, в полном молчании, и таких же бесконечно мрачных, как сама смерть. Они выделяли из себя унылую безнадежность, свойственную бесцельной толпе. Они тоже пришли принять участие в «неподдельном веселье», а его-то, по-видимому, и не было! И все же поток набегал за потоком, без слов и без всякого оживления, просто проносясь мимо, — страшное, леденящее зрелище! Не слышно было никаких звуков, кроме шороха и шарканья ног да гудков автомобильных рожков.

Он невольно присоединился к этому мрачному триумфальному маршу, тотчас же охваченный ощущением тесноты и пленения, которое возникает, когда человека плотно окружает безличная масса. Запах толпы заставил его предположить, что недостаток мыла все еще остро чувствуется. С некоторым трудом ему удалось, наконец, добраться до площади Пиккадилли. Здесь толпа была гуще и несколько оживленнее, тут было больше света, и несколько такси,

переполненных молодыми мужчинами и женщинами, старались создать неподдельное веселье. По-видимому, они надеялись достигнуть этого при помощи северного Вакха, который не украшает своих волос виноградными листьями. Тони немного постоял здесь, с надеждой глядя на все это, но тут огромный сапог опустился весьма чувствительно на пальцы его ноги, а маленький, вероятно женский и, несомненно, острый локоток угодил ему прямо в то место, где бьется сердце. Он с трудом выбрался из толпы и побрел домой по тусклым боковым улицам. С одного перекрестка он видел темные потоки людей, все еще двигавшиеся на запад. Подходя к своему дому, на углу, он внезапно столкнулся с юношей, лет восемнадцати, поддерживавшим очень хорошенькую девушку, которой не могло быть больше шестнадцати лет. Одной рукой она уцепилась за железную решетку, а за другую ее держал юноша, который говорил:

— Перестань безобразничать, Лиль, перестань безобразничать!

Девушку страшно рвало, и она стонала.

— Перестань безобразничать, Лиль!

Тони наблюдал за ними украдкой, на расстоянии нескольких шагов, не зная, следует ли ему вмешаться или же попробовать позвать на помощь. Девушке стало как будто лучше, и она жалобно захныкала:

— Зачем ты заставил меня выпить столько джина, Берт?

— Ах, перестань же безобразничать! — был ответ.

Тони пошел дальше. Ну, ясно — напились вдрызг!

Все это действовало довольно угнетающе.

В конце августа Тони предоставили двухнедельный отпуск, и он ломал себе голову, не зная, как с ним быть. Он надеялся использовать это время на поездку в Австрию, но паспорт еще не был получен. Уолтер Картрайт не очень его обнадежил и дал Тони понять, что ему эта затея не очень

нравится; однако обещал сделать все, что сможет, хотя и не преминул указать, что совершенно не в порядке вещей, чтобы чиновник одного департамента обращался с личной просьбой к чиновнику другого департамента. Тони нисколько не сомневался в том, что любой официальный поступок, совершаемый по мотивам гуманности, всегда будет «не в порядке вещей». Однако надо было решать вопрос, что же ему делать с этим двухнедельным «отдыхом», когда Тони вообще не хотелось делать ничего особенного в Англии.

Только было Тони решил остаться в Лондоне, как вдруг он получил приглашение погостить у Маргарет и ее семьи на меблированной даче, которую они сняли на лето вблизи Стэдлэнд-бей. Тони тщательно обдумывал это приглашение, сидя с трубкой в кресле у себя в комнате. Он немного знал Стэдлэнд, ибо во время войны, обучаясь в школе бомбометчиков по другую сторону Борнемаута, объехал значительную часть побережья на велосипеде. Маргарет было известно, что ему эта местность нравится. Но провести две недели в семье... Он представил себе принужденное веселье и слишком реальное уныние английских завтраков с обязательной печенкой, ритуал тенниса, чаепитие в белых костюмах в саду и домашние концерты. Согласиться на такую как бы семейную близость с Маргарет значило бы почти что согласиться на неофициальное положение жениха и невесты. Все инстинкты Тони были против этого приглашения, но в то же время его соблазняла мысль о Дорсетшайре.

Он все еще курил трубку, сидя с письмом в руке, как вдруг в дверь постучались и в комнату вошел его отец. Тони радостно приветствовал его и усадил в лучшее кресло, предложив виски с содовой.

— Не нравится мне, что ты живешь в этой нездоровой обстановке, — сказал Хенри Кларендон, неодобрительно оглядывая мастерскую.

— Мне тоже. Но больше нигде.

— И ты все еще намерен провести свой отпуск в этой мрачной комнате без окон? Дорогой мой мальчик, ты совершаешь большую ошибку. Тебе следовало бы преодолеть свою апатию, ты нуждаешься в моционе и свежем воздухе.

— Я такого же мнения, — ответил Тони, решив скрыть факт получения им приглашения и подозревая, что отец явился к нему по соглашению с Маргарет. — Но, видишь ли, свежий воздух и моцион дорого стоят в наши дни, как и все прочее.

— Но ведь ты получил приглашение поехать в Стэдлэнд, не так ли? — спросил Хенри Кларендон, совершенно неспособный что-либо утаивать.

— Получил, — ответил Тони с видом полнейшего безразличия.

— И ты согласился? Нет? Ты бы хоть ради меня принял это приглашение! Меня серьезно беспокоит, что ты хандришь здесь в полном одиночестве.

— Это очень мило с твоей стороны, но у меня нет подходящих костюмов для такого визита. Я буду себя неловко чувствовать.

— Но ведь на морском берегу можно ходить в чем угодно!

— Да? Прости меня, папа, но боюсь, что ты слишком поглощен наукой, чтобы замечать подобные вещи. Ходить в чем угодно в английском коттедже на берегу моря — это значит носить чистые белые брюки каждый день, темный костюм в дождливую погоду и смокинг по вечерам.

— Смокинг у тебя есть, а белые брюки мы тебе хоть завтра достанем.

— Спасибо. Я принимаю белые брюки с искренней благодарностью, но в таком случае препятствием является семейство.

— Семейство? Не понимаю...

— Я ничего не имею против отца Маргарет, — прервал Тони, — хотя он совершенно пуст и фальшив под хорошо пригнанной маской добродушия. Типичный делец-англичанин! Но мать Маргарет — ты ее хорошо знаешь? Это одна из тех рослых, музыкальных, голосистых женщин, которые нагоняют на окружающих безумный страх. Она играет Шопена, точно командует на учении ротой. Что за выправка, что за внушительный бюст! Даже когда она не у рояля, она напоминает мне полкового капельмейстера! Ее обычный разговор подобен военному оркестру, играющему в парке, — столь же четок и шумен. Честное слово, папа, она меня пугает!

— Ничего, — возразил, смеясь, Хенри Кларендон. — Мне кажется, ты с ней как-нибудь поладишь. Ведь это всего на две недели. Ты же знаешь женщин.

— Ты думаешь? Ну, допустим, знаю! Мои познания в том виде, в каком я ими обладаю, меня не обнадеживают.

— Тебе не придется с ней часто встречаться. Большую часть времени ты будешь на воздухе в обществе Маргарет и ее друзей.

— А вдруг пойдет дождик? Это ведь иногда случается в Англии. А теннис? А неизбежные партии в гольф с суровыми спортсменами в галстуках соответствующего клуба. И я знаю, что мне придется ходить на рыбную ловлю. Я это чувствую... до мозга костей!

— По-моему, это прекрасный отдых.

— Не для меня. Да и не для тебя тоже. Я не могу жить в этом доме, папа. Но, — тут ему вдруг пришла в голову новая мысль, — вот что я сделаю! Я поселюсь в одном из домиков в Корфе, и когда мне захочется, буду ездить к ним на велосипеде.

— Это, пожалуй, покажется странным и невежливым.

— Ничего не могу сделать! Это менее невежливо, чем если я буду жить там и не сумею скрыть чувство принужденности или даже открыто взбунтуюсь!

Хенри Кларендон стал спорить против этого проекта, но Тони остался непоколебимым.

Комната с пансионом была найдена без труда — у рабочего-плотника и его жены: наплыв горожан в деревню был тогда еще не так велик, он принял особенно большие размеры лишь год спустя. Тони они пришлись очень по душе, в особенности хозяин, высокий, смуглый человек, всю свою жизнь трудившийся не покладая рук и питавший глубокое презрение ко всем социалистам и социальным реформам. Иногда Тони проводил с хозяевами вечера на кухне, беседуя о войне и об их сыне, еще не демобилизованном с восточного фронта, и о новостях дня. Рабочий консерватизм плотника был и невежествен и ограничен, но Тони нравились его независимые взгляды и полное отсутствие унылого нытья и ворчания, которых он вдоволь наслушался в армии. Его поразила мысль, что этот плотник представляет собой естественное дополнение к старому Скропу, как тип, равным образом обреченный на вымирание, — массовое производство стандартных домов вскоре должно будет уничтожить его вместе с его кустарным ремеслом. А жаль! Уже и сейчас плотник с трудом сводил концы с концами и был озадачен и раздражен. Он работал не покладая рук, жил бедно, готов был и впредь так же трудиться и не мог понять, почему его заработок из года в год уменьшается. Он ругал политику и «агитаторов», не видя, что его судьба является результатом мощных экономических сил, совершенно не зависящих от политики, а ненавистные ему «агитаторы» нередко бывают людьми, стремящимися направить эти силы к более гуманным целям.

Говорить ему это, по-видимому, было бесполезно, поэтому все, что Тони мог сделать, это сочувственно слушать — и испытывать сожаление.

Тони жил очень тихо, но не чувствовал себя несчастным, проводил время в прогулках и чтении и изредка выезжал на велосипеде на полдня в Стэдлэнд. Порою им овладевала беспричинная тоска, и он часами сидел, задумавшись, среди беловато-серых развалин большого замка; в другие дни состояние подавленности сменялось острой нервной тревогой, и он часами ходил самым быстрым шагом, точно спасаясь от самого себя, пока не останавливался в изнеможении. Но обычно он спал хорошо, и за все эти две недели его ни разу не мучили страшные ночные кошмары, из-за которых он стал страшиться даже самого сна. В свои более спокойные минуты он часто думал о Кате и Маргарет и о странной цепи обстоятельств, приведшей его к такому неприятному шатанию между двумя женщинами, из которых одна была теперь почти что мечтой, а другая слишком уж осязаемо близкой. Тони чувствовал себя в положении буриданова осла, умиравшего с голоду между двух охапок сена.

Это была своего рода дилемма, представляющаяся со стороны чрезвычайно простой, но для человека, которого она непосредственно касается, — сложной как вселенная. Здравый смысл подсказывал: «Выбери ту, которую ты любишь, и добейся ее». Совершенно верно, но какую же он любит? А раз это почти несомненно Ката, то как он может, черт побери, добиваться ее без паспорта? Не говоря уж о мелких трудностях, о том, что он оскорбил бы отца и мог бы лишиться наследства, — конечно, это его не останавливало, но все же усложняло положение. Ему пришло на ум, что по кодексу поведения, провозглашенному романистами викторианской эпохи, вопрос был бы разрешен самым ре-

шительным образом: Ката была бы безнравственной авантюристкой с материка, прискорбно опутавшей молодого англичанина; об ее незавидной судьбе можно было бы и не беспокоиться, тогда как он загладил бы свою вину перед чистой английской девушкой скоропалительной свадьбой. Единственное затруднение заключалось в том, что Тони совершенно не желал признавать ни викторианские предпосылки, ни викторианские выводы. Поэтому польза от этой идеи, если она и была, являлась чисто негативной.

Одно было несомненно — и он не мог не признать этого, — его отношения с Маргарет никогда не были совершенными, никогда не являлись тем полным освобождением и крайним самозабвением, которые он испытал с Катой. Маргарет никогда, никогда не могла быть для него тем товарищем, которым была Ката. В бесчисленных мелких склонностях и вкусах, из которых создается ткань будничной жизни, они с Маргарет так часто были несозвучны друг другу. Он вовсе не требовал, чтобы она всегда соглашалась с ним или являлась бы простым его отражением. Наоборот! Но когда у них с Катой возникало какое-нибудь разногласие, Тони всегда чувствовал, что она понимает и учитывает его точку зрения, что ее суждение идет параллельно его собственному, между тем как Маргарет либо совершенно не считалась с его мнением, либо судила, руководствуясь слепым пристрастием. Другими словами, можно сказать, что Маргарет живет для обычных буржуазных ценностей, а Ката — нет. Конечно, он был не прав, считая Маргарет бесстрастной, но вместе с тем инстинкт подсказывал ему, что она пользуется своим телом, чтобы подавить и покорить его волю, а не для того, чтобы способствовать расцвету их чувств. Совсем иначе было с Катой! Никогда никакого желания «*amari aliquid*»¹, никаких подозрений и разочарова-

¹ Быть любимой как-нибудь.

ний. И все же ему приходилось мысленно спрашивать себя: вполне ли справедливо это сравнение? Он провел с Катой всего несколько недель самого счастливого и яркого периода своей жизни в прекрасном окружении, под вечным солнцем, — и вот сквозь трещины в развалинах замка ему почудилось синее, безоблачное небо, рощи земляничных и оливковых деревьев, величественные, заостренные вершины гор и глубокие, безмятежные воды, омывающие берега Эи. Маргарет была неразрывно связана с унылым одиночеством Лондона, с гнетом и мукой войны. Тони спрашивал себя, не любит ли он воображаемую Катю, видя ее теперь издалека, в идеализированном царстве юности и счастья, сквозь голые своды военных лет?

Терзаемый этими мыслями и тысячами им подобных, столь же неразрешимых и мучительных, он проводил нескончаемые часы ожидания. Ему казалось, что вся его жизнь превратилась лишь в одно — в ожидание. Все остальное было нереальным и пустым, как надписи на вокзалах, которые читаешь, чтобы скоротать время до прихода поезда. Все его существо было объято смятением и болью, а он должен был ждать, ждать милости правителей мира, пока они не соизволят разрешить смиренному англичанину поехать разыскивать свою возлюбленную, в которой, изволите ли видеть, он будто бы нуждается! А пока что великие мира сего разъясняют, как много они делают для всеобщего блага. «Ничтожества! — прошептал Тони. — Что нам в этих громких словах?» Он был ослеплен приливом крови, в неистовой ярости при мысли об идиотской коллективной алчности, глупости и подлости, сжигающих весь мир наподобие гигантских огнеметов. «К черту правительства, славу, нации, парламенты, королей промышленности, владычество торговли, красные флаги, полосатые флаги и пятнистые флаги — к черту их всех! Наша национальная честь под угрозой? Ну и что ж,

пожалуйста, пусть она будет под угрозой — кого это интересует?! Мертвящая схоластика...»

Он рассмеялся и закурил трубку, глядя на овец, пощипывающих мягкую траву и, по-видимому, не ведающих, что мир полон мясников.

Когда Тони удавалось избавляться от этих мучительных дум, он с наслаждением гулял и впервые за много лет начал снова проникаться невыразимым блаженством уединения, красотой природы. Он любил обширную, поросшую вереском равнину, которая тянулась к северу и востоку от Найн Барроу Доун, пучки жестких трав среди коричневой болотистой воды, белый ковыль и заросли нежных голубых горчачков, которых до этого он никогда не видел дикорастущими. Он останавливался в деревнях, особенно в Уорт Малтраверс, с ее своеобразным обликом старины и примитивности, заглядывал в старую часовенку у Сент-Алделмс-Хэда и с неизменным удовольствием вступал на длинную, обрамленную ежевикой дорожку, пересекавшую Уорбарроу Доун, с его бесконечной перспективой суши и моря. Его ледяная апатия слегка оттаивала от соприкосновения с этой кроткой землей, которая, как он знал, будет рано или поздно обречена на эксплуатацию, но в это время еще сохраняла свое благородное достоинство, — то была земля, обитаемая в течение многих поколений, созвучная человеку, а не насильственно покоренная и ограбленная им. «Баракы большого пехотного лагеря в Уорхэме и танкового корпуса к югу от Уула олицетворяют собой авангард неизбежного, — подумал Тони, — как легко мы миримся с уничтожением основных и незаменимых частиц, как мало мы действительно любим! Но не надо искусственного сохранения, не надо самодовольного разглагольствования о красоте. Пусть все идет своим чередом. Дайте дорогу танкам, расчищайте место для лагерей! Если вы миритесь со

слепым перепроизводством и доходами от машин, то причитать над уничтожением «красивых уголков природы» — просто плаксивое лицемерие».

Каждые два-три дня Тони ездил на велосипеде в Стэдлэнд. Ему казалось, что старшее поколение нисколько не сожалеет о том, что он не живет с ними в доме, и был убежден, что инстинкт его не обманул. Специфическая бесцельность семейной жизни угнетала его и напоминала о страшном «ничегонеделании» английского воскресенья. Это было физическое существование а rebours¹, ослабление, а не усиление жизненности. Насколько это было возможно, они перенесли в деревню все свои городские привычки, вплоть до граммофона и бриджа, — даже большая часть провизии доставлялась из Лондона. Даже купание было простым «полосканием», а не физическим поклонением морю. Тони поражала убогость жизни в этом богатом доме, где царила такая тоска, что даже его посещения являлись развлечением. Эти люди походили на глупеньких детей, которым нужно очень много сложных и дорогих игрушек. Тони предпочитал свою собственную неудовлетворенность, — по крайней мере, в его страдании была страстность.

Маргарет держала себя безучастно, выглядела очень свежей и целомудренной во всем белом. Тони радовался, что присутствие других делало всякую близость между ними почти невозможной, и отнюдь не стремился оставаться с Маргарет наедине. Отношение родителей было нейтральным — Тони считался «другом детей». Тони задавался вопросом, знают ли они или нет о трагическом поединке между ним и Маргарет. Разумеется, не делалось ни малейших попыток к их сближению — да, в сущности, и сам Тони охотно признавал, что он далеко не выгодная «партия» для Маргарет. Он начал помышлять, что она, должно быть,

¹ Навыворот.

примирилась со столь ненавистным для нее положением «нежного друга». Но, увы, раза два он уловил на себе ее взор, горевший затаенной жадой обладания. У него мелькнула мысль, что он поступает весьма наивно: чередование нежности и равнодушия, поглощенность Катой, чего он не в силах был скрыть, — все это должно было только способствовать тому, что мимолетная, чисто «военная» связь с бывшим юношей-возлюбленным превратилась в пламенную страсть. Впрочем, теперь это было уже непоправимо, да и к тому же Тони сознавал, что он никогда не мог бы вполне последовательно играть какую-либо роль.

Восемнадцатилетний брат Маргарет, после каникул поступавший в университет, тоже жил на даче, занимаясь спортом и мечтая о военной службе. Все же Тони он больше нравился, чем его друг Харольд Марслэнд, который был моложе и, по-видимому, питал мальчишескую страсть к Маргарет. Она с ним открыто кокетничала, вечно гуляла рука об руку и награждала ласкательными именами, что в то время считалось модным. Тони смутно подозревал, что это делается, чтобы вызвать его ревность. Его забавляло, что где бы Маргарет ни была с Элен Марслэнд, сестрой Харольда, они тотчас же объединялись против него в женский союз, сознательно обращаясь с ним так же снисходительно, как с мальчиками-школьниками. Тони не в состоянии был сердиться на эту ребячливо-женскую дерзость, чего от него, по-видимому, ожидали. Все это было так не важно! Но, если Маргарет случайно отсутствовала, Тони замечал резкую перемену в отношении к нему Элен — какое-то неотступное преклонение белокурой женщины перед мужчиной, обгаренным кровью.

Тони огорчало ощущение бездны между ним и этой молодежью, между собственным внутренним страданием и их свежей, безмятежной молодостью, их нетронутой ве-

рой в жизнь. Даже Маргарет, почти одного с ним возраста, немало страдавшая в жизни, казалась стоящей гораздо ближе к ним, чем к нему. Это также было основанием радоваться тому, что он отказался жить с ними в одном доме. Ему нестерпима была мысль, что его ощущение полнейшей утраты, его разбитая жизнь, разочарованность и боль могут хоть частично передаться им и возбудить в них подозрение о той чудовищной эпохе, в которой они живут. Почему бы горсточке людей не чувствовать себя счастливыми, хотя бы и на короткий срок? Но он знал, что не сможет долго сохранить тон бездумного веселья, которого он пытался с ними придерживаться. Даже и теперь ему это не всегда удавалось. Однажды он заговорил несколько неосторожно и поймал на себе подозрительный и недовольный взгляд Харольда, который спросил его:

— В чем дело? Что же вам не нравится в английском обществе? Англия — прекраснейшая страна, а мы — лучший народ в мире.

Антони взглянул на круглое, очень красивое лицо мальчика, на его волосы цвета конопли и не слишком умные голубые глаза, хмуро глядевшие на него, и промолчал. Зачем, в самом деле, Харольду Марслэнду думать, что в мире не все обстоит благополучно? Он ничего не потерял из-за войны — наоборот, состояние его семьи колоссально увеличилось благодаря ей. Харольд знает, что из школы он поступит в университет, а затем, после года или двух, проведенных за границей, вступит в дело, управляемое его отцом, с уверенностью стать его преемником. Почти все, с кем он встречается, оказывают ему уважение, приличествующее наследнику, — общество метафорически обнажает голову перед субстанцией денег. Всякие дорогие игрушки будут к его услугам, а с такими глазами и лбом едва ли он будет когда-либо снедаем любовью к недостижимому. Жен-

щины не преминут открыть в нем таланты, и он живо промотает свое состояние. Ну, право, как может что-либо обстоять неблагополучно в таком мире?

Через несколько дней Тони с удивлением и прискорбием обнаружил, что все эти юнцы отнюдь не такие толстокожие, чтобы не ведать страданий, и не столь беззаботны, как ему показалось. Тони и Джульен, брат Маргарет, совершили поездку по железной дороге, намереваясь вернуться в Корфе пешком вдоль берега. Они забыли о танкистах в Ууле, а потому, по предложению сторожевого охранения, были вынуждены повернуть обратно. Еще одно напоминание о той свободе, за которую они сражались. Тони в течение нескольких минут обменивался с сержантом воспоминаниями о войне, надеясь, что тот пропустит его как бывшего офицера, но вскоре убедился, что стал для него уже заурядным «шпаком».

Когда они шли обратно к большой дороге (что составило огромный крюк), юноша сказал:

— Я бы хотел побывать на войне.

— Не говорите этого! — воскликнул Тони. — Для вас большая удача, что вы там не были. Если вы молитесь, каждый вечер благодарите Бога за то, что вы не попали туда.

— Нет, — упрямо повторил Джульен, — я бы хотел побывать там. Мне бы хотелось побеседовать с этим человеком, как вы с ним беседовали.

— Что за странная претензия? Я ведь только пытался подъехать к нему, чтобы он пропустил нас.

— И все же вас нечто объединяло с ним. Под конец он держался гораздо почтительнее. Ах, как я вам завидую!

Тони был поражен. Завидовать им, завидовать человеку, доведенному до того, что он решил выбросить патроны от своего револьвера, чтобы избежать соблазна в тяжелую минуту?

— Ваши слова для меня лестны, — сказал он иронически, — но я не совсем понимаю, чему тут можно завидовать.

— Ах, очень многому! Вы были очевидцами и участниками великих событий и приобрели чувство товарищества, которое связало вас друг с другом на всю остальную жизнь. А что приобрели мы? Ничего. Вы не знаете, Антони, что творилось у нас в школе эти последние два года. В конце каждого семестра уход старших учеников в кадетские батальоны. Все новые и новые списки погибших. Вся наша жизнь сводилась к ожиданию того дня, когда и нас призвут. Я уже стал подумывать, как бы мне сбежать из школы и поступить рядовым, лишь бы избавиться от этой мучительной неопределенности. А затем вдруг, после того как мы в течение целых месяцев и лет ни днем ни ночью не могли думать ни о чем другом, наступило перемирие, и мы не понадобились. Мысленно мы приготовились к смерти, но даже и смерти мы не понадобились.

Он отвернулся, чтобы скрыть дрожание губ. Антони был тронут и вместе с тем смущен. Некоторое время они шли молча. Увидев, что к Джульену вернулось самообладание, Тони осторожно сказал:

— Теперь я понимаю. Раньше мне это не приходило в голову. Вы, конечно, должны испытывать чувство опустошенности и упадка. Но, видите ли, независимо от того, служили ли мы в армии или нет, мы все более или менее увязли в одном болоте. И мы должны помочь друг другу, глядя вперед и не размышляя слишком много о прежних горестях. Если мы станем слишком много думать о погибших, мы лишимся рассудка. Не печальтесь о том, что у вас на груди не красуются эти ленточки: еще предстоит совершить деяния, гораздо более великие, чем война. Каждый из нас может чего-нибудь достигнуть, спокойно работая в своей области, разумеется, если он не будет питать чрезмерных надежд и предъявлять чрезмерные требования.

— В самом деле? — сказал Джульен.

Тони взглянул на него с любопытством и беспокойством, не зная, убедил ли он его или же не произвел на него никакого впечатления. После своего порыва юноша стал очень сдержанным и необщительным, замкнувшись в стенах собственных страданий. Тони вздохнул, досадуя на самого себя за свое бессилие, но не желая домогаться откровенности и не стремясь к поучениям. Вскоре они заговорили о посторонних предметах, и Тони ощутил горечь поражения. Когда они расставались на станции Уорхэм, Джульен нерешительно сказал:

— Я вам благодарен за ваши слова, Антони. Я о них подумаю. С вашей стороны было благородно, что вы не посмеялись надо мной.

— Смеяться над вами! Боже мой, Джульен, ведь тут не над чем смеяться! Я желал бы действительно помочь вам чем-нибудь.

Казалось, Джульен хотел еще что-то сказать, но паровоз засвистел и поезд тронулся, поэтому мальчик лишь улыбнулся и помахал рукой. Четыре или пять миль обратного пути до Корфе Антони прошел пешком в сумерках, погруженный в глубокую задумчивость, и порою громко ругался. Почему — он и сам не знал.

VII

Вернувшись в Лондон, Антони нашел открытку от Уолтера Картрайта:

«Позвоните мне, когда вернетесь. У меня для вас есть новости».

Тони сразу же позвонил, и, после обычных расспросов о проведенном отпуске и о семье Маргарет, Уолтер сказал:

— Да, насчет вашего паспорта. Я полагаю, что сейчас не будет затруднений, так как мир уже подписан, — трудно будет лишь получить австрийскую визу. И кроме того, заполнена не вся анкета. По этому поводу пытались снестись с вами.

— Заполнена не вся анкета?

— Да, там была всего одна подпись. Но вот что: я говорил об этом у себя в отделении с одним человечком, который сказал, что знает вас. Он хочет вас повидать и обещает помочь.

— У вас в отделении есть человек, которого я знаю. Кто это?

— Не могу сказать. Не можете ли вы прийти завтра к чаю ко мне в клуб? Я приведу его туда.

— Отлично. Только я попаду туда лишь около пяти часов.

— Ничего, мы вас подождем.

Побеседовав еще немного, Уолтер дал отбой, оставив Тони в величайшем смущении. Кто же это в отделении Уолтера может знать Тони и устраивать из этого такой секрет? Мысленно перебрав своих знакомых, Тони, наконец, решил, что это кто-нибудь, кого он знал в армии. Он от всей души пожелал, чтобы это не был кто-нибудь, затаивший вражду против него. Но перед сном настроение у него было приподнятое. Наконец-то! Ведь Уолтер говорил вполне уверенным тоном. Что там неладно с анкетой? Может быть, Скроп или лорд Фредерик Клейтон забыли подписать ее?

На следующий день, под вечер, Антони ждал в мраморном вестибюле клуба Уолтера, пока о нем доложат. Люди входили и выходили, обмениваясь приветствиями при встрече или прощании. Бесконечная скука, словно от дважды прочитанных газет, излучалась от пышно отделанных стен и от портретов каких-то забытых личностей. Странное

установление — этот Английский клуб. «Сэр Джон — совершенно неприемлемый для клуба человек» — по-видимому, такой отзыв считается уничтожающим. Тони почувствовал симпатию к сэру Джону, но, прежде чем успел сколько-нибудь продолжить свои размышления о клубах, он услышал голос Уолтера, последовал за ним в одно из обширных курительных помещений и обнаружил, что обменивается рукопожатием со Стивеном Крэнгом.

— Ну, как поживаете, Кларендон? Очень рад снова встретиться с вами. Садитесь и позвольте предложить вам чаю.

Крэнг говорил самоуверенным, значительно более «культурным» голосом, весьма отличным от былых резких интонаций. Он был изящно, почти франтовато одет в серый полосатый костюм прекрасного покроя, и его, некогда растрепанные, волосы были тщательно приглажены и разделены аккуратным пробором. Лицо утратило свою суровую худобу и теперь выражало учтивую осмотрительность, словно Крэнг постоянно опасался ошибиться в чем-то. Антони был настолько удивлен неожиданным появлением Крэнга и его преображением, что, сидя за столом и прихлебывая чай, почти не разговаривал, а лишь прислушивался к беседе, которую нашел узкопрофессиональной и полной каких-то намеков. Каким чудом Крэнг оказался на государственной службе и, по-видимому, на весьма ответственном посту? Кое-что из сказанного позволило Тони догадаться, что Крэнг — начальник Уолтера.

Но вот Уолтер встал и заявил, что ему пора идти: очевидно, он хотел дать им возможность поговорить наедине.

— Замечательно способный малый, — сказал Крэнг таким мягким голосом, что Тони просто не верил своим ушам. — Вы давно с ним знакомы?

— Нет, лишь с тех пор, как вернулся.

— Ах, так вы — участник войны? — Это было сказано участливо-покровительственным, почти снисходительным

тоном, задевшим Тони. — В общем, история чрезвычайно поганая. Жаль, что нас в нее втянули, но иного исхода не было! Мы все должны стремиться к тому, чтобы она не повторилась.

Тон был такой разумный и симпатичный, что Тони уже готов был порицать себя за испытанное им неприязненное чувство. Но как изменился прежний бунтарь Крэнг! Тони надеялся, что его лицо не обнаруживает слишком большого удивления.

— Теперь поговорим о вашем паспорте, — сказал Крэнг, извлекая документ. — Здесь требуется еще одна подпись и ваш адрес. Сотрудники паспортного отдела пытались снести с вами, но лорд Фредерик не знал вашего адреса. Кстати, с ним вы давно познакомились?

— До войны — у Скропа, — сказал Тони рассеянно, глядя на документ. — А почему вы спрашиваете?

— Да ведь он — мой личный друг, — ответил Крэнг с покровительственной ноткой в голосе, — а я вас не встречал у него в доме. Здесь почему-то отсутствует подпись Скропа, — добавил он.

— Это было за несколько дней до его смерти.

— Ну так вот что, мой милый, достаньте подпись второго поручителя для вашего ходатайства. Годится и ваш банкир. Нетрудно будет получить разрешение для Франции, Италии и Швейцарии. Но Австрия, конечно, представляет затруднение. И затем потребуются визы. Разумеется, правительству нежелательно, чтобы наши подданные шатались по бывшим неприятельским странам, да и те едва ли особенно жаждут теперь нашего посещения! Не можете ли указать какие-либо веские основания для вашей поездки?

— Только спешные личные дела, — сказал Тони, вспоминая штабную канцелярию и ходатайства об отпуске. Он отнюдь не собирался осведомлять Крэнга о своих действительных мотивах.

— Это довольно неопределенно, но все же посмотрим, что нам удастся сделать. Может быть, пройдет несколько времени. Для вас это существенно?

— Чем скорее разрешат, тем лучше. Но я так этого ждал, что, пожалуй, могу еще немного подождать.

В голосе Тони невольно прозвучала горечь — склоняться к ногам Крэнга в качестве просителя — это было уж слишком!

— Старайтесь не быть чересчур нетерпеливым, — сказал Крэнг довольно добродушным тоном, но все еще с тем покровительственным оттенком, который коробил Тони. — Вы, конечно, понимаете, что правительству приходится выполнять свои функции, а оно может это делать лишь путем всяких постановлений, которым надлежит повиноваться. Я готов с вами согласиться, что они далеки от совершенства, но мы переживаем сейчас период больших трудностей и непорядков и как частные лица вынуждены мириться с неудобствами и проволочками ради общего блага.

— В самом деле? — сказал Тони. — Но ведь все это уже длится порядочно, не правда ли? И мне непонятно, чем затрагивает интересы Великобритании или прочих высоких договаривающихся сторон моя поездка в Вену.

Он подумал, есть ли у Каты паспорт, и если нет, то как его получить для нее.

Крэнг рассмеялся.

— Разумеется, в такой форме это звучит нелепо. Но правительственные распоряжения приходится базировать на общих принципах, а исполнительная власть может пользоваться своими полномочиями лишь в известных пределах. Кроме того, Австрия находится в состоянии политического брожения, а также и экономического упадка...

Разговор перешел в длительную дискуссию об Австрийской империи, причем Крэнг защищал раздел ее, тогда как Тони доказывал, что австрийская культура была прекрасной

и обусловливалась своеобразной федерацией государств, входящих в состав империи, а также утверждал, что самоопределение — только одно из средств для того, чтобы делать каждого в отдельности несчастным во имя общего счастья.

Но вот Крэнг переменял тему разговора и сказал:

— Вероятно, мое нынешнее положение вас удивляет?

— Как естественный результат ваших способностей — нет, — вежливо сказал Тони, — но, признаюсь, мне любопытно знать, путем какой эволюции вы превратились из революционера в высокоуважаемого сановника. Вы на меня не в претензии за эти слова?

— Нисколько, нисколько, мой дорогой, — сказал Крэнг с нарочитым добродушием, хотя Тони заметил в его глазах нечто, напоминавшее прежние вспышки. — У меня бы возник совершенно такой же вопрос, будь я на вашем месте. Но не думайте, что изменились мои убеждения. Отнюдь нет. Изменился лишь метод.

— Понимаю, — ответил Тони, хотя в действительности он по-прежнему недоумевал.

— Вот как все произошло. Вскоре после того, как вы покинули Вайнхауз, — кстати, какой это был прелестный старый дом! — я оставил свою... свою тогдашнюю профессию и занялся политической деятельностью в Лондоне. Опыт нескольких лет убедил меня, что внезапный переворот и невозможен, и нежелателен. Нужны постепенные реформы, прививка новых методов к прежним установлениям. И я нашел, что это фактически и осуществляется, совершенно независимо от партии. Когда создавали новый департамент, то случайно вышло так, что занимавшийся его организацией министр был одним из моих друзей. А так как он знал, что я специально изучал связанные с этим вопросом проблемы, то пригласил меня на временное место, которое потом стало постоянным.

— Но вы все еще социалист и марксист? — спросил Тони напрямик.

При этом бестактном вопросе прежняя злобная вспышка мелькнула в глазах Крэнга, но он ответил с изумительно учтивым видом:

— Что ж, ведь в сущности я никогда им и не был. Бедный старина Маркс был чудесным человеком, но совершенно несведущим в практических проблемах управления. Одна из предпосылок заключается в учитывании масштаба проблемы, а он этим мало занимался. Улучшение общих условий существования будет достигнуто путем научного анализа каждой проблемы, по мере того как она возникает, и путем осуществления соответственного решения.

— В самом деле? — сказал Тони язвительно. — Вы мне напоминаете тех джентльменов, которые производят эксперименты над лягушками и кроликами. А это мне напоминает грубоватое армейское выражение: «Я тебе не желаю ничего худого, но пусть бы сдохли твои кролики».

Крэнг опять засмеялся с напускным добродушием, словно подчеркивая свою снисходительность ко всей этой вульгарной и невежественной болтовне. «Заправский джентльмен», — иронически подумал Тони. Однако больше не затрагивал этой темы, не мог себе этого позволить, так как слишком нуждался в паспорте. Поговорив еще немного на общие темы, они расстались, причем Тони удостоился неопределенного приглашения: «Пообедайте когда-нибудь со мной в моем загородном коттедже».

«Ну, — мысленно произнес Тони, когда Крэнг, уезжая в такси, помахал рукой в окошко, да еще как добродушно, — разрази меня гром! Хорошо бы напустить на них фельдфебеля, чтобы тот навел им порядок, но... разрази меня гром!»

С такими мыслями он направился домой, чтобы пообедать кусочком холодной ветчины и парой яиц.

VIII

После стольких проволочек, стольких обид, стольких разочарований Антони едва мог убедить себя в том, что он действительно сидит в вагоне поезда и едет в Вену. Да, поезд и вправду движется, все быстрее и быстрее удаляясь от Лондона, — вот это, должно быть, Перлей, как полагается, закутанный в серую фланель позднего октябрьского дождя. Прошел уже почти год со времени перемирия. И какой год! Этот первый «мирный год» предвкушали как предтечу золотого века, преддверие новой эры, когда прежние распри и заблуждения будут искуплены и забыты. На самом же деле он оказался лишь продолжением войны, гнусной войны, преисполненной духом стяжания. Ребячески нелепое и жадное перекраивание карты, по сравнению с которым решения Венского конгресса в 1815 году были мудрыми и благожелательными, — так сильно выродился политический разум Европы за одно столетие.

Для самого Тони он был поистине годом заточения в тюрьме и тоскливого ожидания свободы. Заточение в Рейнской области, где он ожидал демобилизации, заточение в Англии, на конторской службе, в сырой, лишенной окон мастерской, бесконечное ожидание, пока «маньяки войны» и их приспешники не соблаговолят разрешить ему проехать по небольшому участку земной поверхности. Они поступали так, словно были собственниками земли и ее народов. О Паллада, где твоя эгида! Тони вынул свой паспорт и поглядел на него почти с таким же смешанным чувством облегчения и негодования, с каким невинно осужденный смотрит на приказ о своем досрочном освобождении. Вот он, с высокопарным идиотским титулом и «штилем» министра иностранных дел: «Мы, высоконеблагородный, неумный и негодный барон Билл Бэйли, вельможа Его Вели-

чества и прочее». Вот этот паспорт, надлежаще оформленный для Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Австрии, но не для Германии, ибо Германия — еще более зловредная страна чужаков и бывших противников. Тони чувствовал, что его даже под угрозой расстрела не загнали бы в Бельгию: этой окровавленной, грязной маленькой страны хватит не на одну, а на несколько жизней! Но паспорт был налицо, надлежаще визированный для трех стран, заштемпелеванный и подписанный, милостиво разрешающий Тони передвигаться по кусочку общей родины всех людей — Земли. Планетарная вошь! За все это он заплатил наличными деньгами, своим временем и нравственным унижением, лицемерной вежливостью к Крэнгам и Картрайтам, обиванием порогов затхлых чиновничьих логовищ, ожиданием милости от дрянных, наглых канцелярских крыс.

Тони рассмеялся и сунул документ обратно в карман. Затем принялся, напевая, расхаживать взад и вперед по пустому купе раскачивающегося вагона. Он был слишком уж рад своей обретенной свободе, слишком уж преисполнен пылкими надеждами на встречу с Катой, а потому не стал больше размышлять о досадных особенностях «века прогресса». Мелькали и быстро убегали назад мокрые, туманные поля, с мрачными призраками домов и нагими безлистными деревьями — *mein Vaterland, mein Vaterland*¹. Антони чувствовал, что ему в высокой степени наплевать, увидит ли он ее снова или нет. Ката, Ката, я мчусь к тебе. И он снова и снова пел в такт стучащим колесам:

Когда в глаза твои взгляну...

Стоя в длинной очереди нетерпеливо толкавшихся людей, Антони, с чемоданом в руке, медленно, шаг за шагом,

¹ Родина, моя родина.

продвигался к деревянной будке сторожевых псов прекрасной свободной французской земли. Наконец, он достиг окошечка и подал в него свой паспорт, получив взамен струю горячего, спертого воздуха. У окошка сидели на стульях два человека, из которых один, очевидно, надзирал за другим; изрядная доза полицейско-солдатского духа ощущалась в их траншейных стальных шлемах и примкнутых штыках. Стальные шлемы в Гавре — военное помешательство.

— Вы англичанин? — спросил тот человек, который был посажен работать.

Казалось, это и так было ясно видно из паспорта, но Тони вежливо сказал:

— Да, я англичанин.

— Что вы намерены делать во Франции?

— Я хочу проехать через нее в Базель.

— Ах, так вы направляетесь в Швейцарию?

— Да.

Ему показалось излишним добавлять, что он поедет еще дальше, — ведь их могло интересовать лишь то, что в Базеле они от него отделаются. Дежурный весьма педантично проверил даты на паспорте, сравнил с оригиналом фотографию (весьма неудачное произведение искусства) и звучно проскандировал текст французской визы. Затем слегка пожал плечами, как человек, с неодобрением видящий, что, к несчастью, все в порядке!

— Значит, вы будете во Франции лишь проездом? — сказал дежурный, протягивая руку за передвижным штемпелем и продолжая лениво перелистывать страницы паспорта пальцами другой руки.

— Да.

В этот миг он перевернул страницу с австрийской визой. Он вздрогнул, как ищейка, почуявшая добычу, и воскликнул:

— Австрия!

— Австрия! — сказал другой дежурный, с сугубой подозрительностью. Их головы сблизилась, когда они рассматривали это позорное клеймо на исправном документе и тщетно пытались прочесть по слогам некие слова.

— Вы едете в Австрию? — завопил он возмущенно.

— Да.

— Но почему же вы сказали, что едете в Швейцарию?

Тони вздохнул.

— Ведь я еду в Швейцарию. А оттуда дальше. Не могу же я попасть в Австрию, не проехав через Швейцарию, не правда ли?

— Зачем вы едете в Австрию?

— Ну, это уж, конечно, мое дело, — сказал Тони твердо. — Вы видите, что мой паспорт в порядке, поскольку это касается Франции.

— Но почему же вы сказали, что едете в Швейцарию?

Тони не отвечал. Работавший сказал надзирающему:

— Здесь — виза на въезд в Австрию.

— Да, — сказал другой, — несомненно, это виза на въезд в Австрию.

И оба зловеще покачали головами.

— Послушайте, — сказал Тони, чувствуя, что начинает возмущаться, — конечно, сэр, вы не станете чинить препятствия путешествию союзника, человека, сражавшегося на французской земле, побывавшего на Сомме, в Артуа, Пикардии и Фландрии.

— Ах, так вы были на фронте, — воскликнул дежурный, словно изумляясь тому, что какой-либо англичанин мог быть там.

— Да, — сказал Тони, — три года.

Бац! Штемпель стукнул, и паспорт был вручен — весьма неохотно, быть может, с затаенной надеждой, что в последний миг какой-нибудь непорядочек высунет голову из паспорта и пискнет: «Вот я где!»

К этому времени нервное нетерпение ожидавших очереди перешло в напор, так что, несмотря на все усилия, Тони еле удалось уцепиться за самый дальний край окошка. Когда он схватил документ, решительный натиск отшвырнул его на закутанного в плащ полицейского, который не удостоил ответом его вежливое извинение. Добравшись до таможни, Тони поставил свой чемодан, раскрыл его и приготовился снова ждать. Он отер пот с лица и стал тихо мурлыкать Марсельезу: «Liberte, Liberie chérie»¹.

Эта сцена повторилась с небольшими видоизменениями при оставлении французской территории и при въезде на швейцарскую, где тупоумие чиновника напомнило Тони ренановское определение бесконечности. От нетерпения и злости он обливался потом, но с отъявленным лицемерием продолжал держаться вежливо. Ничто не заставило бы его выйти из себя перед этими глашатаями новой эры мира и благоволения, хотя он охотно швырнул бы их на землю и растоптал. Они лишь «исполняли свой служебный долг». Но каким скотом и паразитом надо быть, чтобы поступить на такую службу! Он презирал их и презирал самого себя за то, что вынужден терпеть их.

Из-за служебного рвения бдительных сторожевых псов поезд очень поздно отошел из Гавра. Следовательно, Тони опоздал к пересадке в Париже и добрался до Базеля только в полдень на вторые сутки. Поезд двигался с раздражающей медленностью и бесчисленными остановками; он был переполнен, и все люди в нем оказались весьма неразговорчивыми и угрюмыми, словно их нервы были невыносимо издерганы. О счастливые победители, счастливые обладатели славы и Эльзаса! Несчастный «освобожденный» Эльзас, где Иоганн Майер теперь вынужден быть бравым Жа-

¹ «Свобода, дорогая свобода».

ном, а светловолосая, голубоглазая Гретхен произведена в «Маргарет». «Liberte, liberie chérie». Когда поезд пересекал прежнюю линию фронта, Тони на мгновение увидел траншеи и колючую проволоку и больше не захотел смотреть, — сидел, упорно глядя в томик Гейне и возбуждая тревогу и подозрение у своих просвещенных попутчиков.

Но сердце у него радостно билось, когда он, наслаждаясь свободой и покоем, брел по улицам Базеля в поразительно теплом и ясном свете осеннего солнца. Так радостно было избавиться хотя бы лишь на несколько часов от ужасной затаенной подозрительности и вражды и трагических воспоминаний, присущих воевавшим странам. Тони недолюбливал швейцарцев за их вульгарность, за их резные часы с кукушками, за их завывающие пастушеские песни, за их зимний спорт и прочие пороки — и все же готов был целовать их землю, ибо у них еще уцелели некоторое уважение к свободе, некоторая гуманность. Никто не провожал его пристальным взглядом, когда он шел, никто не приказывал предъявлять документы, никто, по-видимому, не проявлял к нему неприязни как к иностранцу. Город продолжал жить. Встречалось множество мужчин в возрасте Тони, спокойно занимающихся своими житейскими делами, и весьма немного людей, одетых в мундиры.

Тони испытывал любовь к этим чистым, извилистым улицам с колоритными островерхими домами и готическими надписями. Здесь Иоганн мог быть Иоганном, Жан — Жаном и Жиованни — Жиованни. Интересно, что бы сказал любой из них — например, вот этот высокий, солидный человек, похожий на немца, — если бы подойти к нему, протянуть руку и заявить: «Сэр, прибыв в вашу страну, я испытываю счастье, какого не ощущал уже много лет. Вы усвоили основное правило — умение мирно жить совместно, не мешая без нужды друг другу. Дайте мне руку, сэр.

Позвольте мне пожать ее». Вероятно, этот человек рассердился бы и подумал бы, что над ним издеваются, в особенности если он незнаком с Диккенсом. В общем, Тони решил воздержаться от всяких публичных демонстраций своего одобрения; итак, он удовольствовался тем, что ласково похлопал резную деревянную колонку, раскрашенную в яркие цвета и изображавшую жизнерадостную горожанку эпохи Возрождения. Пока он брел дальше, ему пришло в голову, что тот человек мог действительно оказаться немцем. «Пожатие руки, запятнанной убийством». Он подумал о раненом немецком солдате, которому он нашел носилки и который в порыве благодарности настоял на том, чтобы пожать ему руку. Как порицали бы это длиннозубые английские старые девы! Позорный поступок, и тем более для офицера. Он замурлыкал: «Когда в глаза твои взгляну». О Ката, Ката, иду к тебе, иду к тебе! Ката, моя Ката! Herz, mein Herz!

Башенные часы на каком-то общественном здании показывали без десяти два по среднеевропейскому времени. Тони почувствовал, что он голоден и не может жить исключительно благоволением к Базелю и мечтами о Кате. Он шел вдоль улицы со свежеекрасненными домами, неуверенно отыскивая ресторан и отчетливо вспоминая, сколь негостеприимны в кулинарном отношении мелкие английские городки. Ему бросилась в глаза надпись большими черными готическими буквами: «Мюнхенская пивная». Да, в самом деле, и, несмотря на то, что еще не минуло и года со времени перемирия, она гласила: «Мюнхенская пивная». Тони распахнул дверь и вошел.

Его ноздри ощутили не лишенный приятности запах кислой капусты, древесных опилок и пива. Какие-то люди, упитанные люди, по-видимому, не ведавшие о голодных пайках, пили пиво, читали газеты, играли в шахматы или

ели с поразительным аппетитом и вкусом. Тони захотелось сказать: «Стойте! Разве вы не знаете, что была война? Разве вы не знаете, что миллионы людей в Германии, Австрии и России умирают с голоду? Ешьте не выше нормы». Но, вместо того чтобы сделать это заявление, едва ли способное встретить сочувственный отклик, он сел и заказал венский шницель с картофелем и пиво. Венский шницель, разумеется, в честь Каты. Внезапно он подумал, что Ката, может быть, голодает там, в обнищавшей, угнетенной Австрии. Эта мысль была так ужасна, что, несмотря на весь свой голод, он еле смог сделать первые глотки. Ката голодает! О бог сражений, закали сердца моих солдат. О, сколь доблестна эта война против женщин и детей!

Кельнерша, по-видимому, удивилась, что Тони съел лишь одно кушанье, да и то не все — порция была так велика. Она усердно убеждала его скушать яблочный пирог или немного сыра. Тони попытался объяснить, что он привык жить на скудном пайке и потому не может съесть больше, что он прибыл из страны, где питание все еще строго нормируется.

— Вы — англичанин? — сказала она в величайшем волнении. — Значит, вы были на войне?

— Да.

Ее широкое, добродушное крестьянское лицо улыбнулось ему с материнской нежностью и сочувствием. Как отрадно слышать глубокий немецкий голос, ощущать тепло, излучаемое участливым человеческим сердцем, видеть кроткое, безмятежное лицо женщины, не скорбящей о мертвом возлюбленном, но и чуждой кокетства и чопорности. То была просто честная женщина, инстинктивно угадавшая скрытое страдание.

— И вы собираетесь отдохнуть в Швейцарии? Как жаль, что наступает зима. Весной цветы здесь прекрасны, ах, так прекрасны!

Тони почувствовал, что у него слезы навернулись на глазах. Он этому не мог помешать, сколько ни старался. Всегда легко противопоставлять железо железу, твердость — твердости, гнев — гневу. Людская вражда и равнодушие могли сломить его, но не потрясти. Но против доброты, против этой теплой немецкой чувствительности он чувствовал себя по-детски беззащитным. У него явилось неудержимое желание поведать ей то, что он так угрюмо и недоверчиво таил в своем сердце в течение столь многих мучительных месяцев.

— Я не остаюсь в Швейцарии, — сказал он, — я направляюсь в Вену.

— В Вену? Ах, вот как!

— Да. Перед войной я любил одну венскую девушку. Я о ней ничего не слышал с августа 1914 года. Теперь я еду в Вену, чтобы найти ее, если смогу.

Девушка глядела на него широко раскрытыми голубыми глазами.

— Вы ее помнили все эти годы?

— Да.

— И хотя вы сражались на фронте, вы все еще ее любите?

— Да.

— Ах! — воскликнула она, сложив руки, — это прекрасно. Прекрасно.

— Если бы мне только удалось ее найти...

— О, вы найдете, непременно! Я не знала, что англичанин способен на такое чувство. Ведь они так легкомысленны! Так презирают естественность! Так надменны! Я рада, что не все они таковы. Когда вы найдете вашу подругу, непременно приезжайте с ней сюда. Я бы хотела поцеловать руку женщины, которую так сильно любят.

Антони встал. Эта женщина невольно причинила ему невыносимую боль. Он положил на стол пять швейцарских франков.

— Этого достаточно?

— Более чем достаточно. Я вам принесу сдачу.

— Нет, не надо! Мне пора идти. Но — спасибо вам за вашу доброту. Для меня это так необычно и ценно. До свидания.

— До свидания.

Он протянул руку, и девушка крепко пожала ее. Он вышел из душевой комнатки, еле видя, куда идет, почти задыхаясь от волнения. В этой заурядной кельнерше было больше деликатности и глубины чувства, чем во всех претенциозных и якобы «утонченных» натурах, которые он встречал в течение многих лет.

Несколько времени он бродил наудачу по улицам, браня себя за этот внезапный взрыв чувств и сознавая, что, после того как он столь долго подавлял их, они способны прорваться с неожиданной силой, едва лишь подавленность исчезнет хоть ненадолго. Ему придется быть осмотрительным с Катой. Тут он впервые сообразил, что у него совершенно не выработано никакого конкретного плана для ее поисков и что не так-то просто найти кого-либо в городе с двухмиллионным населением. Однако он не был обескуражен и чувствовал, что курьезная чувствительная сценка с кельнершей является как бы добрым предзнаменованием.

Он очутился на тихой треугольной площади, с длинными внушительными островерхими домами и большой церковью из красного песчаника. На углу была дощечка с надписью, гласившей, что это — Соборная площадь. Он медленно прошел через низкие притворы, с рядом надгробных плит, разукрашенных пышными замысловатыми резными геральдическими фигурами, и неожиданно вышел на небольшую террасу, откуда открывался вид на Рейн. Стремительная пеннистая вода мчалась необычайно быстро и одной лишь силой своего течения переправляла паромы,

прицепленные к подвесному тросу посредством подвижного блока. Тони глядел вниз на мосты и часть города, ошестинившуюся заводскими трубами. Вдали кольцо низких холмов окаймляло горизонт. Тони впервые видел верховье Рейна и просидел на террасе до захода солнца, глядя на темнеющее небо и на бешено мчавшуюся воду.

К счастью для энтузиазма, который Швейцария внушила Тони, он уехал уже на следующий день, рано утром. Находиться вне воевавших стран было таким огромным облегчением, что Тони легко простил причуды тупоголовому кондуктору. Окно, слегка приоткрытое, чтобы избавиться от ужасной духоты в слишком натопленном купе, чрезвычайно взбудоражило этого джентльмена. Захлопнув окно с укоризненным грохотом, он уведомил Тони, что официально теперь — зима и все окна должны быть закрыты. Таковы правила. Строжайше воспрещается оставлять окно открытым — кто-нибудь может простудиться. Ну да, конечно, господин пассажир — один в купе, но ведь в любой момент может войти кто-нибудь, и затем — правила суть правила. Не правда ли? Далее, через каждые пятьдесят километров он заходил в купе, чтобы проверить билет Антони, хотя и был предупрежден, что Антони едет без пересадки до самой границы. «Если бы он был любителем схоластической софистики, — подумал Тони, — он мог бы рассуждать следующим образом: как простому смертному, ему прекрасно известно, что данный билет и пассажир следуют прямо до границы, но в своем священном звании железнодорожного кондуктора он не ведает этого». Тони хотелось бы знать, а разрешат ли швейцарскому президенту хоть чуточку приоткрывать окно, когда по календарю значится зима? Вероятно, нет. С анархическим пренебрежением к основному гражданскому долгу Антони решил проблему окна тем, что открывал его, как только удалялось

воплощение регламентации, и закрывал, как только слышал, что оно открывает дверь смежного купе. Кондуктор с подозрением нюхал прохладный воздух, но окно было закрыто и правила соблюдены; возможно, что у господина пассажира в кармане кусок льда, но, пока тот не растаял и не замочил подушки, в этом нет нарушения правил. Постепенно между ними установились вполне дружелюбные отношения. Впервые в жизни Тони вдруг ощутил то изысканное наслаждение, которое испытывают французы, ловко обходя свою собственную, невероятно мелочную, регламентацию.

Он собрался с духом для длительной баталии на швейцарско-австрийской границе, вполне уверенный, что ему предстоит свирепый перекрестный допрос под присмотром военного караула, и решил бороться до конца против отказа в разрешении на въезд. Покинуть Швейцарию оказалось весьма легким делом, как только Тони убедил сторожевых псов, что он не везет на себе запряженных центнеров швейцарского золота.

Проникнуть в Австрию оказалось еще легче, к немалому его изумлению и радости. Усталый на вид чиновник спросил, долго ли он намерен пробыть в стране, предупредил его, что надо будет зарегистрироваться в полиции, и вежливо пожелал ему счастливого пути. Еще одно доброе предзнаменование. Поразительно! Он был так восхищен и удивлен, что несколько раз прошелся взад и вперед по страшно холодной платформе. Затем он заметил небольшую группу бедно одетых людей, с безнадежной завистью глядевших на освещенный вагон-ресторан, где в это время официанты подавали обед. Тони поспешно вернулся к себе в купе и попытался забыть выражение их лиц, читая австрийские и итальянские газеты. Когда поезд тронулся, он заметил, что те же люди теснились у входа в «зал ожидания» третьего

класса, и удивился тому, что они не сели в поезд. Но ведь это был международный состав — и в нем, конечно, не было вагонов третьего класса.

Когда поезд прибыл в Вену, Тони был так утомлен, что с вокзала проехал прямо в небольшой отель возле Стефансплатца и лег спать. Он проснулся после полудня. Бреясь и одеваясь, он размышлял, позавтракать ли ему или нет, перед тем как идти по указанному Катой адресу. Было бы восхитительно позавтракать с ней — это хороший способ восстановить прерванное общение; но ведь поздно, она, может быть, уже позавтракала, или ушла из дому, или даже уехала из города. Учитывая все обстоятельства, целесообразнее позавтракать предварительно. Он пошел в ближайший ресторан и получил скудную еду за фантастически огромное количество крон, хотя это и было довольно дешево при исчислении в фунтах стерлингов. Волнуемый надеждой увидеть Катю и боязнию не найти ее, он ел быстро, почти не ощущая вкуса пищи; затем почувствовал, что больше не может съесть ни куска. Его руки дрожали. Чтобы успокоиться, он очень медленно выпил стакан вина и как можно старательнее выкурил папиросу. Он сказал себе, что нужно в течение десяти минут читать газету и вполне взять себя в руки, иначе он лишится чувств при встрече с Катой и причинит ей огорчение, а себя выставит на посмешище. Но ничто не помогало. Тони не мог проследить за смыслом двух строк подряд и ловил себя на том, что он либо с трепетом старается представить, что они скажут друг другу, либо смотрит на часы.

Он решил, что лишь вредит себе этой слабой попыткой самодисциплинирования, а потому расплатился и вышел на улицу. Предполагая, что Кате может быть нежелательно, чтобы он подъехал прямо к дверям ее дома, он велел извозчику остановиться в конце той улицы, где она жила. Тут он

впервые спросил себя, что они будут делать, если Ката замужем или же у нее есть возлюбленный. На секунду вся кровь в нем остановилась, а затем он сердито сказал себе, что незачем измышлять всякие ужасы и готовиться к преодолению трудностей, прежде чем они претворились в действительность. Пытаясь отвлечься, он заставил себя глядеть в окно экипажа. Поразительно было оживленное уличное движение и показное богатство, хотя время от времени можно было заметить нищих и беспросветно угрюмые лица. Какой раздирающий сердце контраст между крайней нуждой и роскошью! Тони старался думать лишь об изяществе внешнего вида города — о веселом фонтане, об оригинальном, напоминающем Италию, фронтоне церкви в стиле барокко, о великолепном дворце. Прежде он часто припоминал предметы, не зная, что видел их; но теперь он пристально вглядывался, стараясь запечатлеть в памяти, и через миг совершенно забывал. Впоследствии он ничего не помнил о Вене, кроме своих собственных переживаний на фоне шумного уличного движения и толпы; среди них время от времени выплывал какой-нибудь яркий образ — трогательное или наглое лицо, уголок ресторана, номер автомобиля, мебель спальни в отеле.

Экипаж остановился в спокойной, очень широкой улице с большими домами, и Тони расплатился — ведь потом они легко найдут другого извозчика. Он взглянул на дощечку с названием улицы: да, это была та самая улица. Он зажег другую папиросу и прошел около ста шагов по боковой улице, стараясь утишить частое биение своего сердца и унять дрожь рук. Что, если Каты нет? Волнение сделалось таким же мучительным, как перед сигналом о выходе из окопов для атаки. Но к чему так по-идиотски медлить, ведь он, наконец, утратит последние остатки самообладания! Он нетерпеливо швырнул папиросу и быстро зашагал обратно к углу улицы.

* * *

Номер дома Каты был тридцать второй, и Тони увидел, что четные номера, начиная со второго, находятся на противоположной стороне. Он осторожно выждал, пока не проехала вереница быстро мчавшихся автомобилей, — сейчас неподходящий момент для того, чтобы дать себя раздавить, — и затем перешел. Путь казался ужасно долгим, ибо дома были большие и отделенные один от другого садами. Возле номера двадцать восьмого он остановился и глубоко вздохнул несколько раз; право, это ощущение слабости просто какое-то идиотское! Третий дом отсюда — его угол уже виден сквозь деревья. Последние несколько шагов Тони почти пробежал, а затем остановился: номер тридцать второй был пуст, и на воротах висел замок.

Несколько мгновений Тони стоял и уныло глядел на унылые окна, смутно удивляясь тому, что он не ощущает ничего особенного. Что же он мог бы ощущать? То было одно из мелких, но столь неожиданных потрясений, которые больше ошеломляют, чем иные крупные, но заранее предвиденные несчастья, — совсем как тот удар шрапнели в ногу, который заставил его закружиться на месте, но не причинил сколько-нибудь значительной боли. Она появилась позже. Разумеется, он понимал, что Ката могла выехать отсюда, и подготовил всевозможные вежливые фразы на немецком языке для расспросов жильцов дома. Он даже держал наготове в руке, корректно облеченной в перчатку, свою визитную карточку, чтобы вручить прислуге. Но никак не ожидал найти дом пустым, особенно в таком перенаселенном городе, как Вена. Правда, иной раз он готовился к долгим поискам, но был совершенно неподготовлен к тому, что следы сразу же закончатся в каком-то тупике, из которого, по-видимому, нет ни малейшего выхода.

Он машинально вынул бумажник и аккуратно всунул визитную карточку в надлежащее отделение. Его рука со-

вершенно не дрожала, и сердце билось почти нормально: забавно! Ему пришла в голову мысль, что этот длительный осмотр пустого дома может возбудить подозрение у нервных соседей или у какого-нибудь ретивого полицейского; поэтому он дошел до конца улицы, перешел на противоположную сторону и опять вернулся. С противоположного тротуара он увидел объявление о продаже, которого не заметил раньше. И с того момента, как оказалось возможным действовать, как обнаружилась новая путеводная нить, снова вернулось состояние тревоги и напряженности. Пока он тщательно записывал фамилию и адрес агента по продаже домов, в нем снова начала разгораться слабая надежда, и он впервые стал по-настоящему ощущать боль разочарования. Нить была такая непрочная! К тому времени, когда он нашел экипаж и дал извозчику адрес агента, он снова был охвачен лихорадкой неизвестности и бесчисленных догадок.

Контора находилась в другом конце города, и Тони торопил извозчика. Он взглянул на свои часы-браслет: тридцать минут четвертого. Сколько времени он бессмысленно потратил на ту улицу и пустой дом! И так, если ему только сразу удастся узнать фамилию и адрес владельца, узнать, кто им теперь является, то на следующий день он сможет свидеться с Катой. Экипаж застрял среди скопления медленно движущихся повозок, и казалось, что он чуть ли не нарочно медлит. Тони ударял себя кулаком по коленям — поторопись, поторопись, ради бога поторопись! Он смертельно возненавидел извозчиков, загородивших дорогу. Его собственный извозчик попытался пробраться, но был задержан полицейским, одетым в щегольской мундир. Произошел оживленный спор на венском диалекте, и, наконец, им было позволено ехать дальше, но затем они снова застряли и еле ползли. С ума сойти! Тони был слишком не-

терпелив и растерян, а потому не мог понять, что такая неистовая спешка нелепа и может только помешать достижению намеченной им цели. Он видел лишь конечный пункт своего пути и хотел добраться до него немедленно.

Было уже после четырех, когда он прибыл в узкую улицу. Взяв по грязным лестницам в контору, он изнемогал от страха при мысли, что она, может быть, уже заперта. Ах, слава богу, слава богу, — она еще открыта. Он на секунду задержался перед дверью, чтобы отдышаться и отереть пот с лица, затем вошел и спросил мальчика, нельзя ли повидать агента сейчас же. Но агент ушел и в этот день уже не вернется.

— Нельзя ли повидать кого-нибудь другого? Заместителя или конторщика?

— Нет, больше никого нет.

— Ну, так, может быть, вы мне скажете. Я желаю узнать фамилию и адрес владельца или последнего нанимателя одного дома.

Мальчик не знал. Пусть уж лучше господин придет завтра.

— Но ведь у вас, наверное, есть реестр? — воскликнул Тони. — Вы можете справиться по нему и сказать мне. Перелистайте его.

И он несколько раз повторил адрес, как будто это могло уладить дело. Мальчик очень медленно и неохотно («противный маленький тупица!» — подумал Тони) перелистал страницы толстой книги, разбирая каждую из них с безграмотной старательностью и беспомощностью.

— Нет, — сказал он с мрачным удовлетворением, — я не могу найти его.

— Дайте мне посмотреть, — властно потребовал Тони. — Дайте книгу.

Мальчик неохотно взвалил тяжелый том на конторку. Тони перелистал его, нашел оглавление, быстро провел по

нему пальцем сверху вниз, и, найдя надлежащую запись, раскрыл страницу: «Продается». Описание пропустим. «Фамилия владельца»: барон Э. фон Эренфельз. Но нет адреса.

— Какой адрес барона фон Эренфельза? — спросил Тони.

— Не знаю.

— Ну так поищите.

— Я не могу.

— Почему?

— Мне не разрешается.

— Если вы мне сейчас же сообщите этот адрес, я дам вам двадцать крон. И даю вам слово, что это не повредит интересам вашего хозяина.

— Нет, я не могу, — сказал мальчик упрямо.

— Ну так я дам тридцать крон.

— Мне не разрешается. Это против правил, — почти заплакал мальчик в страдальческом благоговении перед правилами.

— К черту правила! Повторяю вам, это никому не повредит, а мне этот адрес чрезвычайно нужен.

Но мальчик продолжал цепляться за свои излюбленные правила и, затратив еще десять минут на тщетные уговоры, Тони обозвал его дураком и ушел. Он был так раздражен, что забыл условиться о встрече с агентом на следующий день.

Несколько времени он бесцельно бродил по улицам, ничего не видя, и проклинал неуместную неподкупность мальчика. «Черт бы побрал бестолковую честность, — сказал он сам себе, — англичанин дал бы мне адрес даром, итальянца я подкупил бы в две минуты, а француза — в три: эти проклятые боши лишены всякой гибкости!» Он почувствовал себя совершенно изнуренным и зашел в большое

кафе отдохнуть. Что делать? Как убить время до десяти часов следующего утра? Пока он размешивал ложкой свой кофе, его осенила новая мысль, и он попросил официанта дать венскую адресную книгу. Быстро пробежав страницы, он нашел то, что искал: «Эренфельз, барон Э. фон», но тут же захлопнул книгу: указан бы лишь адрес пустого дома. Явилась новая мысль: он стал разыскивать фамилию Каты. Нашлось пятнадцать ее однофамильцев, но среди них не было Катарини. Он долго ломал себе голову, стараясь вспомнить имя отца Каты, и решил, что тот был либо Рупрехт, либо Рудольф. Таких нашлось два «Р. фон» — из них один граф, который, разумеется, не мог быть отцом Каты. Однако Тони тщательно списал оба адреса и сразу же поехал туда. В обоих местах его постигла неудача. Нет, здесь не знают однофамильцев, которых бы звали Катарини, или Рудольфом, или Рупрехтом. Рассыпавшись в извинениях, Тони ретировался; чувствуя какое-то унижение от этих визитов, похожее, должно быть, на то, которое испытывает коммивояжер, пока он не закалится до полной нечувствительности. Но все же было уже хорошо, что Тони был оказан хотя и холодный, но вежливый прием. Если бы какой-нибудь австриец затеял в такое время нечто подобное в Англии, его спустили бы с лестницы или потащили бы в полицию ханжи-патриоты, брезгающие «пожать руку, запятнанную убийством».

От усталости и огорчения Тони был не в состоянии есть. Он вернулся в свой отель и, не раздеваясь, прилег в темноте на кровать. Что предпринять дальше? Оставалась лишь непрочная нить в лице агента и барона Эренфельза. Он проследит ее завтра утром. Не посетить ли ему остальных тридцать венков, носящих фамилию Каты? Щеки у него горели. Ему просто стыдно было увидеть еще одно из этих благородных жилищ, пораженных нищетой, где каждый

предмет обстановки, каждый нерв чопорно-вежливых обитателей, казалось, укоризненно шептал: «Ты — виновник блокады! Ты морил голодом женщин и детей!» Нет, он не в силах смотреть на это!

При своих поисках Тони наталкивался на всевозможные препятствия, причем наиболее серьезные встречались именно там, где он их меньше всего ожидал. Достаточно скверно было уже то, что он являлся иностранцем, бывшим противником, и весьма неважно владел немецким языком. И положение еще ухудшалось потому, что у него не было никаких рекомендательных писем, никаких знакомств с властью имущими.

Но наихудшим препятствием было его собственное душевное настроение. Он находился в состоянии такого нервного напряжения, такого беспредельного отчаяния, смешанного с такой безумной надеждой, таким беспокойством, нетерпением и невыносимым страданием, что казался, а пожалуй, и был, немного помешанным. Ничтожная задержка превращалась в его воображении в безнадежно запутанный клубок трудностей. Каждый из его разговоров с враждебно настроенными незнакомцами по делу, которое должно было им казаться пустяковым и лишь предлогом для какой-то темной махинации, изнурял его физически и духовно. Держаться с ними вежливо и внешне спокойно ему удавалось лишь ценой колоссального усилия воли, а их вполне естественное равнодушие или нетерпение приводили его в огорчение, создавали впечатление, будто все люди ему враждебны. О базельской кельнерше он вспоминал с чувством горечи и преувеличенной растроганности. Оба они — сентиментальные глупцы, особенно сам Тони, ведь он выставил себя напоказ.

Он встал, выпил немного слабого бренди с водой и снова лег. К кому еще можно обратиться? Очевидно, к британским дипломатам и к австрийской полиции. Но и те и дру-

гие внушали ему величайшую антипатию... Тони по опыту знал, что британские дипломаты за границей заботятся исключительно о людях из категории «тузов», тогда как у всех прочих нет ни малейшего шанса добиться от них чего-нибудь, кроме вежливого презрения. У него нет никаких рекомендательных писем, и он с горечью представлял себе, как он будет объяснять какому-нибудь высокомерному третьему секретарю посольства, что пытается разыскать австрийскую девушку, свою возлюбленную. Будь Тони магнатом прессы или достаточно крупным финансистом, дело, конечно, выглядело бы совершенно иначе. Но имея лишь аккредитив на сотню фунтов стерлингов, а в качестве рекомендательного письма — только паспорт... Тут Тони принялся нервно ощупывать свои карманы, чтобы убедиться, что он не потерял ни того ни другого.

Еще один, и весьма веский, довод против обращения к тем и другим официальным властям заключался в том, что в 1914 году отца Каты арестовали за действительные или мнимые сношения с Россией и что сама Ката была направлена обратно с швейцарской границы, и, может быть, даже под конвоем. Было зловещим признаком, что с того времени Тони не имел о ней никаких известий. Судя по всему тому, что он знал, она и ее отец до сих пор еще могли числиться подозрительными или находиться в заточении. Поскольку уместна аналогия с мстительным умонастроением английских контрразведчиков, это несомненно так. И официальные справки могут только запутать его в какую-нибудь неприятную историю и привлечь к ним обоим весьма нежелательное внимание. Даже если они находятся на свободе, весьма вероятно, что они живут под вымышленными или измененными именами. Ведь и в свободной, счастливой Англии фамилии множества людей, звучавшие на немецкий лад, были поспешно преобразованы в добротные английские «Монморэнси» и в прочие «монты» и «форды».

Как безнадежны, как страшно безнадежны его нелепые, безумные поиски среди всей этой своекорыстной и жадной тирании, среди этих «иэху» — племени воинствующих торговцев. Тони кусал себе руки в муках отчаяния и бессильной ярости. Да пребудет на них проклятие всемогущего Бога Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

Однако на следующий день, рано утром, Тони уже находился в конторе агента по продаже домов и ждал, пока тот не явился. Агент сначала был притворно вежлив, а затем дерзок, и Тони с большим трудом объяснил ему, что желает лишь получить адрес барона Эренфельза. Агент был одним из весьма многочисленных коммерсантов, подразделяющих все человечество на людей, с которыми они делают дела (и очень считаются, пока длится дело), и на людей, с которыми они не делают дел (такие люди для них не существуют). Он просто не мог поверить, чтобы вопрос Тони не был окольным подходом к покупке или найму какого-либо дома, а потому, даже после того как очень неохотно дал адрес, упорно продолжал показывать фотографии домов и описания квартир, все время объясняя, что Вена весьма плотно заселена и что господин Кларендон нигде не найдет такого обширного выбора. Когда Тони, наконец, спасся бегством, то чувствовал, что досада и обманутая алчность этого человека преследуют его, словно облако ядовитого газа.

Барон фон Эренфельз принял его стоя, держась очень прямо, чисто выбритый, с моноклем. Штаб-офицер, — сразу же сообразил Тони, — щелкнув каблуками, чопорно поклонился и встал в положение «смирно». Барон заметил военную выправку и несколько смягчился. Тони объяснил свою цель. Когда он упомянул фамилию:

— Ага, — воскликнул барон, — вы разыскиваете графа?

— Нет, — отвечал Тони, — вчера я имел честь беседовать с графом, и оказалось, что речь идет о другом семействе.

Барон снова застыл и сказал:

— Но если это ваши старые друзья, то неужели вы не знаете других членов семьи или их венских друзей?

— Нет, — сказал Тони, чувствуя, что он краснеет под стеклянным взглядом барона. — Видите ли, я с ними встречался только в Италии и в Англии, — он почувствовал, что должен прибегнуть к этой лжи ради респектабельности. — У них были родственники в Англии. Я никогда не был у них в Вене. И ведь с тех пор прошло пять лет!

— Едва ли я могу помочь, — сухо сказал барон.

— Не откажите сообщить мне фамилию и адрес лица, у которого вы купили их дом. Может быть, оно их знает.

— Это был еврей, — с бесконечным презрением ответил барон. — С ним имел дело мой поверенный.. Сам я, разумеется, с ним не встречался.

— Тогда извините мою настойчивость, но нельзя ли мне обратиться к вашему поверенному?

Тони чувствовал, что от напряженного состояния при этом разговоре у него лицо покрылось испариной и пот заструился по спине, но продолжал отстаивать свою позицию так же упорно, как настоящую фронтовую. «Ради Каты, ради Каты», — шептал он про себя.

После некоторого колебания барон написал что-то на клочке бумаги и подал его чопорным жестом.

— Разрешите выразить вам признательность за вашу исключительную любезность и доброту, — сказал Тони шаблонно, но с искренней благодарностью и протянул было руку, — я глубоко вам обязан...

— Пожалуйста, — прервал его барон и отрывистым кивком дал понять, что разговор окончен. Тони оставалось лишь молча поклониться и уйти.

* * *

Выйдя на улицу, Тони нервно рассмеялся. К чему думать об этих унижениях, если воспоминание о них будет навсегда изглажено первым же прикосновением руки Каты? И все же он не мог не думать.

Поверенный барона был веселым и дородным, но, ах, таким деловитым человеком! Историю, которую Тони, благодаря частым повторениям, теперь излагал без запинки, он выслушал внимательно, делая пометки. Затем погрузился в раздумье, глубокомысленно втянув свои выпяченные губы.

— Разыскивать этого еврея-посредника вам бесполезно, — заявил он. — Во время войны и сразу же после нее происходила колоссальная спекуляция недвижимостями, очень многие семьи были вынуждены сбывать их за любую цену. Тысяча шансов против одного, что этот субъект не помнит вашего друга или ничего о нем не знает, даже если допустить, что тот сам участвовал в сделке в качестве продавца и что еврей не перекупал дома у какого-нибудь другого же еврея. Вам, пожалуй, пришлось бы опросить половину гетто, и к тому же совершенно безрезультатно, ха-ха-ха!

— Не можете ли вы что-нибудь посоветовать? — спросил Тони с отчаянием.

— Разумеется. Обратитесь в ваше посольство и в полицию.

— Разве нет иного пути? Вы, конечно, понимаете, что мне несколько неудобно обращаться в полицию по такому чисто личному делу.

— Вы могли бы прибегнуть к услугам частного сыскного агентства, но это сопряжено с большими расходами и не всегда надежно. Если у вас есть хоть какое-нибудь основание скрывать это дело от полиции, вас могут немедленно выдать.

— О, скрывать нет никакого основания, — сказал Тони как можно спокойнее, но сознавая, что тот ему не верит. — Пожалуй, мне лучше будет обратиться прямо в полицию.

— Это для вас самое лучшее. Адрес полицейского управления — Шоттен-Ринг, номер одиннадцать.

Тони поблагодарил его и затем весьма неуклюже спросил, сколько причитается за совет. Многоречивый отказ принять какой-либо гонорар за столь незначительное одолжение, оказываемое другу такого выдающегося клиента, как барон фон Эренфельз, убедил Тони в том, что нужно сколько-нибудь заплатить. Он вынул сложенный банкнот в пятьдесят крон, положил его на стол и откланялся.

Следы снова закончились в тупике. Теперь оставалось лишь обратиться в полицию или признать себя побежденным. Тони впал в такое уныние, что был близок к самоубийству. И настроение его отнюдь не улучшилось при виде множества жалких нищих, просивших подаяния. Его терзала мысль, что Ката, чувствительная, нежная Ката, может быть, тоже нищенствует где-нибудь в этом ужасном городе, в котором великолепие барокко словно издевается над бедностью обитателей. Он всегда набивал карманы мелочью и никогда не отказывал ни одному нищему из суеверного чувства, что эта ничтожная благотворительность так или иначе будет зачтена в качестве заслуги, способной снискать ему сверхъестественную помощь в поисках Каты. Но даже и раздавая милостыню, он сознавал нелепость и бесцельность своего жеста. В чем заслуга, если даешь, надеясь на великую награду? И ведь к тому же он не верил в Бога, а еще того меньше — ни в одного из многочисленных христианских богов, и даже в деньги.

Прошло три дня, прежде чем он собрался с духом, чтобы пойти в полицию; то были три дня мучительной душевной борьбы и самоистязания, три дня непрерывных ски-

таний по улицам, ресторанам, магазинам, кафе, церквам, общественным садам, Народному саду, городскому парку, Аугартену, по всему Пратеру, с заглядыванием в лица женщин и с трепетным высматриванием такой же внешности и походки, как у Каты. Временами ему представлялось, что он видит ее проходящей вдаль, или же он улавливал чей-нибудь мимолетный образ, который несомненно должен был оказаться Катой. Затем происходила мучительная погоня, с замиранием сердца, с отчаянными усилиями не потерять из виду движущуюся среди толпы фигуру, с подыскиванием благовидных предлогов, чтобы хоть мельком увидеть лицо. Он устремлялся за этими блуждающими огоньками по улицам, по аллеям Пратера, в магазины, в трамваи и автобусы и даже в кинематографы. Разумеется, женщины принимали его преследование за любовное. Было облегчением, если оно у них вызывало досаду и презрение. Если же они медлили или бросали на него зовущие взгляды, он испытывал отвратительное чувство; и ночью, во сне, видел себя гонящимся за женщинами и преследуемым дьявольскими толпами их.

Эта бесконечная беготня, часто под дождем, почти всегда на холоде, настолько изнурила его, что утро четвертого дня он провел в постели. Он уже пробыл в Вене целую неделю, и его скудный запас денег иссякал; измученный, несчастный, он не достиг ничего, абсолютно ничего. Он лежал в постели, давая отдых ноющим ногам, и печально размышлял. В полдень он оделся и побрился особенно тщательно и, заказав завтрак получше, съел, сколько смог, а затем поехал в полицейское управление. Оказалось довольно затруднительным проникнуть внутрь, а еще труднее было добиться приема у какого-либо ответственного лица; но настойчивость, ожидание и банкноты позволили достигнуть этой цели. Идя за полицейским по коридору, ведущему в бюро, Тони испытывал весьма нервное состояние.

Отчасти это объяснялось той неизбежной нервозностью, которую испытывает всякий невинный человек при личном соприкосновении с полицией, а отчасти — возникшим в последнюю минуту сомнением в целесообразности принятого шага. Тони твердо решил не называть имени Каты, пока не получит уверенности в том, что ей это не причинит вреда.

Было облегчением, что полицейский чиновник оказался бывшим военным. Тони всегда чувствовал себя лучше с военными, более уверенный в прямодушном, хотя бы даже и грубом обращении. Он по-строевому шелкнул каблуками и поклонился, получил в ответ небрежное военное приветствие и еще раз изложил свою повесть, причем закончил ее так:

— И вот, поскольку все другие способы оказались безуспешными, я обращаюсь к вам по совету, данному мне поверенным барона фон Эренфельза.

— Вы — друг барона фон Эренфельза?

— Не могу сказать этого. Просто знаком с ним. Но он был настолько добр, что пытался помочь мне.

Чиновник посмотрел на Тони столь хорошо известным ему сверлящим взглядом штабного начальства и спросил:

— Так что же вам от меня угодно?

— У вас должны быть архивы, списки населения. Не можете ли вы распорядиться, чтобы по ним навели справку, и сообщить мне нынешнее местопребывание разыскиваемой мною семьи?

— Довольно странно, что вам неизвестен адрес лиц, которых вы считаете своими старыми друзьями.

«О боже, — подумал Тони, — он воображает, что я мошенник, прибегающий к какому-то новому трюку, чтобы выманить деньги путем лживых уверений!»

— В этом нет ничего странного, — возразил он. — Как вам известно, сообщение с Англией было прервано в течение

нескольких лет. Я приезжаю сюда и вижу, что мои друзья продали свой дом. Он столько раз переходил из рук в руки, что не представляется возможным найти их таким путем.

Несколько мгновений чиновник размышлял, не сводя глаз с Тони. Хотя Тони признавал себя совершенно неповинным в каких бы то ни было преступлениях или проступках, однако он невольно почувствовал ползущие по спине мурашки и покраснел, словно виноватый.

— У вас есть какие-нибудь документы? — Это было сказано довольно резким тоном.

Антони предъявил свой паспорт, который подвергся тщательному просмотру и был возвращен.

— А еще что есть? Какие-нибудь деловые бумаги или рекомендательные письма к властям?

— Нет. У меня есть аккредитив в английском банке.

Аккредитив тоже подвергся просмотру и был возвращен.

— Я не склонен давать просимую информацию, пока вами не будут представлены более веские документы. Во всяком случае, я полагаю, что вам придется предъявить разрешение от министра внутренних дел.

— Но как же мне достать такое разрешение? — неосторожно воскликнул Тони.

— Это ваше дело! Вы можете ходатайствовать о нем через вашего посла.

— Так, значит, вы ничего не можете сделать?

— Ничего.

Это сопровождалось довольно грозным взглядом, который, казалось, говорил: «Скажи спасибо, что тебя не арестуют как подозрительную личность». Больше ничего нельзя было сделать.

— Тогда прощайте, — сказал Тони и повернулся, чтобы идти.

— Погодите немного, — позвал его чиновник. — Где вы остановились?

Тони указал название и адрес своего отеля.

— Вы зарегистрировались в полиции?

— Да.

— Покажите мне удостоверение.

Оно подверглось такому же тщательному просмотру, как и прочие документы, а затем было возвращено.

— Все в порядке. Вы можете идти.

И Тони вышел, держась очень прямо, не поклонившись и не попрощавшись. Это было неосторожно, но он не намерен был позволить этому скоту запугать себя!

Тони шел обратно в свой отель, дрожа от ярости и негодования. Что за тупица, что за грубое животное! Но ведь всюду было то же самое. Его гнев погас от внезапного убийственного сознания, что его последняя карта — бита, окончательно и непоправимо. Хорошо, когда можно бодриться, говоря: «Faites donner la garde!»¹. Но теперь не оставалось никакой «гвардии», которую можно было бы «вести». Он вспомнил, как английские солдаты в конце войны кричали германским пленным «капут, Фриц», и теперь сам почувствовал всю горечь «капута». Больше ничего нельзя было сделать, в самом буквальном смысле слова. Он снова разъярился на глупого полицейского и решил немедленно уложить свои вещи и покинуть Вену. Да, уложить вещи и выбраться отсюда! Признать себя побежденным и удалиться!

Однако еще задолго до того, как он дошел до отеля, он поймал себя на том, что боязливо вглядывается в лица проходящих женщин и настойчиво продолжает все те же безнадежные и мучительные поиски, которые занимали его недавние дни. Он решил предпринять еще один обход Пратера. Правда, шел дождь, но она все же могла быть там. И когда темнота медленно окутала его неудачу, он принял-

¹ «Введите в дело гвардию!»

ся беспокойно рыскать по кафе и магазинам нового квартала. Дважды он покупал ненужные ему папиросы, чтобы иметь достаточно мелочи для нищих.

Он медлил еще два дня в безнадежном, лютом отчаянии и все еще был не в силах прекратить явно смешные поиски, был не в силах удалиться, пока оставался еще хоть самый слабый отблеск надежды. Бледный и несказанно усталый, он проходил улицу за улицей, натываясь на людей и вызывая изумленные взгляды, и без конца шептал про себя: «Ката, моя Ката, где ты? Почему я не могу найти тебя? Ах, ты для меня потеряна, потеряна!»

На второй день после разговора с начальником полиции, поздно вечером, у него явилась мысль. Да, поиски безнадежны; да, он вынужден примириться с тем, что уедет из Вены без Каты, без надежды когда-либо снова увидеть ее, но он, по крайней мере, может сказать последнее прости воспоминаниям об их любви, в последний, самый последний раз взглянуть на небо и море и утесы того острова, где они так страстно любили друг друга и мечтали о таком прочном счастье. Да, проститься, посетить былой приют влюбленных и с мучительной скорбью, но со всей нежностью послать прощальный привет юности и любви.

Эя!

IX

Пароходу оставалось лишь около четверти часа пути до Эи, когда Антони медленно и апатично вышел на палубу. Все его тело еще ныло, утомленное бесконечным странствием из Вены в Неаполь, хотя он проспал почти все десять часов морского переезда. Что за странствие! И как часто он

проклинал себя и свое упорство, побудившее его продолжать это сентиментальное путешествие, которое, в лучшем случае, было своего рода душевным самоубийством, последним ударом кинжала, чтобы убедиться, что мертвый — мертв.

Темно-синее море колыхала сильная, но спадающая зыбь, и Тони увидел гигантские языки белой пены, взлетавшие у подножия разрушенного утеса, и услышал отдаленный гул прибоя. Утро было безветренное и безоблачное, уже залитое мягким сиянием южного ноябрьского солнца, и туманы отступали к более высоким вершинам. Равнины и контуры Эи, в своей неувядающей красе, уже обнажились, но мерцающие белые кубики домов, казалось, были вставлены в металлическую оправу из искусственной ливной, золотой и бронзовой. Только сосны и маслины сохраняли свои четкие зеленые тона.

Антони лишь наполовину видел это, поглощенный собственными мыслями. Эти адские дни, проведенные в Вене, мерещились ему, словно кошмар, от которого он еще не совсем очнулся. И самое бегство было почти хуже всего. Возня с получением итальянской визы, ранняя поездка по мокрым, туманным улицам на Южный вокзал, порыв горя при отходе поезда, неумолимо подчеркнувшим неудачу поисков, длительная унылая вагонная тряска, езда сквозь сырой туман, пейзаж с проблесками снежных гор, бесчисленные остановки. Затем бесконечные формальности и допрос на итальянской границе, кишашей чиновниками и наглыми солдатами. «Италия фанфарониссима!» Капоретто* было забыто; забыт и тот факт, что через Пьяве* переправились англо-французские дивизии. Войну выиграла Италия. Не было ни французов, ни русских, ни англичан, ни американцев. Все совершила одна Италия, и она уже занималась тем, что золотыми надписями на мраморе прославляла себя на всех площадях от

Триеста до Сиракуз. Но кому это было интересно? Уж во всяком случае не Тони!

И затем, какой мрачной может быть Италия под дождем и тучами! Венеция — туманная и сырая, Милан — с ледяным дождем, Болонья — грязевая ванна, Апеннины — сплошная гигантская туманная завеса, Флоренция — зябущая и с таким небом, как в Ньюкасле. И, словно контраст со всем этим хвастовством о победе, медлительные, грязные, неумело регулируемые поезда, набитые до самых окон. Итальянцы, казалось, утратили свою былую сердечность и трудовую простоту и сохранили только свою способность к беспорядочному существованию, свою нечуткость и наглое любопытство. Тони скоро надоели их назойливые расспросы и их жалобы на злонравие Англии по части угля и денежного курса, шаблонные фразы, адресуемые ему с такой укоризной, словно он лично нес ответственность за это. И все та же песня насчет того, что «мы» совершили во время войны. «Мы, мы, мы; я, я, я». Тони решил, что некоторые народы, подобно некоторым людям, симпатичны и обаятельны, когда они под конем, но становятся отвратительными, когда возомнят, что они на коне. За Миланом Тони притворился, будто он не знает итальянского языка, и, выслушивая далеко не лестные замечания о самом себе, Англии и Америке, предавался отвлеченным размышлениям о приговорах истории, о политике Габсбургов и об эхилловской теории справедливости, утверждающей, что «право» попеременно оказывается то на одной, то на другой стороне, что оно несовместимо с крайностями и может быть обретено лишь путем должной умеренности.

В Риме была сильная гроза, со сплошными завесами ливня, но перед самым Кассино, на закате, тучи разверзлись в величественном апофеозе зловеще-багровых и пурпурных тонов, и Антони увидел, что виноградники еще желтеют поздней листвой. Когда он, усталый, медленно поднимал-

ся на борт парохода в Неаполе, он почувствовал теплое веяние южного морского воздуха и увидел звезды над зубчатым контуром Соррентинских холмов.

Два человека в траншейных шлемах и с примкнутыми штыками «охраняли» маленькую пристань на Эе, — как они любят играть в солдатики, когда нет никакой опасности! Такса за высадку была вымогательской, и Тони пришлось выдержать очень ожесточенную стычку с извозчиком, чтобы заставить его понизить свои претензии до суммы, только в три раза превышавшей нормальную. Возница запросил лишь десятикратную довоенную плату, а кляча его и повозка выглядели так, словно они были посвящены богам тления. Однако когда Тони назвал ему адрес, тот, охваченный непостижимым порывом честности, сказал:

— Гостиница закрыта, синьор.

— Но хозяева еще живут там?

— Да.

— Отлично. Это мои старые друзья. Я повидаюсь с ними и, если они не смогут меня приютить, отправлюсь искать другое помещение. Поезжайте.

Застопорив начатое возницей неизбежное и наглое «пояснение» местных достопримечательностей, понятных даже для пятилетнего ребенка, Тони в ответ на предложение, чтобы синьор нанял экипаж на весь день для экскурсии в красивые уголки (на острове имелась лишь одна-единственная проезжая дорога), заявил, что синьор не желал бы даже мертвым парадировать на столь ветхом катафалке, — и погрузился в думы и воспоминания. Прошло пять с половиной лет с тех пор, как он впервые ехал по этой дороге, но насколько иными были тогда его настроение и цель. Он сравнил наслаждение и экстаз того первого утра со своей нынешней усталой апатией и равнодушием — апатией, повергавшей его в тоску и отчаяние. Но все же в свете осен-

него солнца была неизведанная прелесть, новая зелень садов и кустарников выростала после ранних дождей, а нежное и яркое сияние над сушей и морем было не менее прекрасно, чем весна. Тони спросил себя: неужели человек только в юности бывает жизнерадостным и счастливым и чутким к красоте и должен ли он сам в течение всей остальной жизни довольствоваться лишь бледными переживаниями, свойственными пожилому возрасту?

Тони велел извозчику немного подождать его возле маленькой гостиницы. Как невероятно, что она совершенно не изменилась, а Каты нет! Парадная дверь была закрыта и заперта на засов, но он вошел через боковые ворота во двор и застал там лениво копошившуюся старуху. Она сразу же узнала его, разразилась громкими восклицаниями и отчаянными воплями, оповещая Баббо и Филомену, что приехал синьор англичанин Антонио. В этом чувствовалась прежняя радушная Италия, и, слушая их крикливые, но искренние приветствия, Тони мысленно извинялся за свои предшествующие горькие упреки по адресу итальянцев. Как мило, что синьор помнил их все эти годы, и как он любезен, что совершил это долгое путешествие из Англии, чтобы повидаться с ними. Филомена! Бутылку вина, хорошего вина, да крепкого, самого старого, трехлетнего вина!

Тони спросил, что у них нового, и получил весьма обстоятельный ответ, за которым последовало множество вежливых расспросов о нем самом. Он догадался осведомиться о родственниках, служивших в римском ресторане. Да, мальчики вернулись с войны невредимыми, слава Мадонне и святому Калоджеро, а у старухи-матери все благополучно, но она по-прежнему жалуется на свою болезнь. Хотя вино было хорошее, Тони прихлебывал его маленькими глотками, зная, как сильно действуют южные вина на пустой желудок. Затем он перешел к существенному вопросу: хотя их гостиница официально все еще закрыта,

не могут ли они приютить его на несколько дней? Лишь на несколько дней — он очень скоро должен вернуться в Англию, и он обещает не причинять хлопот.

Последовала длительная дискуссия, из которой выяснилось, что они были бы обложены чудовищным налогом, если бы пустили постояльца в гостиницу, и еще более чудовищным штрафом, если бы не заявили о нем властям. Старики не знали, на что решиться, и были явно испуганы, но Филомена поддержала Тони. Разве синьор не был их старым другом? Ну так вот, в качестве старого друга он может у них остановиться. А если случится так, что при отъезде им будет вручено немного денег, то что в этом предосудительного? Ведь друзья обмениваются подарками, не правда ли? Да и кто об этом узнает? Так как родители все еще колебались, то Антони вышел, чтобы в качестве решающего аргумента принести свой чемодан и дать Филомене возможность сказать им в его отсутствие, что с их стороны было бы страшно глупо не воспользоваться такой удачей. Вернувшись, он понял, что вопрос улажен, и последовал со своим чемоданом за Филоменой в верхний этаж, по белым пустым коридорам, затемненным закрытыми ставнями. Перед бывшей комнатой Каты он задержался.

— Можно мне занять эту комнату?

— Разумеется! Но разве вы не хотите занять свою прежнюю, в конце коридора, с террасой? Она больше, и вид оттуда...

— Нет. У меня пристрастие к этой комнате. Позвольте мне ее занять.

Филомена отперла дверь, а затем с двукратным громким стуком распахнула ставни, так что солнечный свет хлынул внутрь. Все было по-прежнему. «Их» кровать все еще стояла в том же самом углу, под той же сине-красной Мадонной и с той же кустарной отделкой из темного резного ореха в стиле упадочного барокко. Тони быстро повернулся спиной к свету.

— Вы непременно хотите эту комнату, синьор? Она у нас не из лучших, а вы должны получить лучшую.

— Я предпочитаю эту, — сказал Тони таким сдавленным голосом, что Филомена с изумлением поглядела на обращенную к ней спину. — Нельзя ли мне получить немного воды для умывания?

— Сейчас.

Оставшись один, Тони подошел к кровати и нежно дотронулся до ее железной поперечины, словно она была живым существом; затем стал глядеть в окно, подавляя спазмы в горле. Он притворился, что зажигает папиросу, когда Филомена вернулась с белым жестяным кувшином и охапкой постельного белья.

— Я сейчас приготовлю постель, — сказала Филомена, с любопытством взглянув на него. — Но сначала хочу стряпать вам чего-нибудь поесть. Вы, конечно, очень голодны после такого долгого пути из Англии.

По-видимому, она полагала, что от Англии до Эи простирается пустыня, где совершенно нет пищи, и что поэтому Тони, должно быть, умирает с голоду. Он знал, что порции, подаваемые Филоменой, отличаются непомерной щедростью и что она будет глубоко оскорблена, если он оставит на тарелке хоть кусочек.

— Да, я хотел бы позавтракать. Но, видите ли, Филомена... Я... я был очень болен, и мне не разрешено много есть. Только пирог, овощи и фрукты. И всего этого лишь понемногу.

Филомена трагически всплеснула руками.

— Болен? Нельзя много есть? Ах, бедняжка! Боже милосердный! Но вы скушаете, что я приготовлю. Да, непременно!

И она суетливо выбежала из комнаты, оглашая весь коридор многократными воплями: «Бедняжка!» и «Святейшая Мадонна!».

Когда она удалилась и волна глубокого молчания снова хлынула в комнату, Тони запер дверь и бросился на матрац, закрыв лицо руками.

— Ката! Ката, о Ката! — прошептал он вслух.

Вся его усталость, его разочарование, его безумная скорбь и страсть, безмерное изнурение от многих лет показной твердости и насильственно поддерживаемого мужества, сознание поражения и окончательной, невозвратной потери обрушились на него, словно огромная, непреодолимая морская волна. Он почувствовал себя совершенно обессиленным и громко зарыдал, не пытаясь хотя бы из самолюбия скрыть свой полный душевный крах.

— Ката, Ката, не думали мы, что дойдет до этого!

И «это» было его второй смертью.

Когда он пришел в себя, то несколько времени сидел совершенно неподвижно, не ощущая и не чувствуя почти ничего. Вся способность к переживаниям временно притупилась, и в его душе наступило то мрачное затишье, которое следует за сильной бурей. Когда Филомена позвала его завтракать, он спустился вниз, испытывая состояние равнодушия и спокойствия, и беседовал и шутил с Филоменой, пока та, подав кушанье, возилась у стола. Теперь он смог совершенно развязно спросить, помнит ли она ту немецкую синьорину, которая жила здесь в гостинице одновременно с ним.

— О да, — сказала Филомена. — Я хорошо ее помню, она была такая изящная, такая милая, такая непохожая на прочих; у тех были большие ноги и безобразные платья. Да, да. Мы часто говорили о ней и о вас, после того как вы уехали вместе. И мы думали... мы надеялись...

Деликатность не позволила Филомене сказать, о чем они думали и на что надеялись. Тони не обратил внимания на этот намек.

— Вы имели о ней с тех пор какие-нибудь известия?

— Да, она прислала открытку. Я принесу ее.

Она вернулась с выцветшей открыткой, изображавшей одну из аллей Пратера.

— Прочтите, синьор, прочтите.

— Вы разрешаете? Благодарю вас!

Открытка была из Вены от 22 декабря 1914 года и написана по-итальянски. Никаких упоминаний о войне, лишь рождественские приветы и пожелание, чтобы наступающий год был более счастливым для всех. Тут Тони почувствовал, что он еще достаточно жив, чтобы ощущать муки, ибо следующая фраза гласила: «Помните ли вы синьора Антонио, моего кузена? Не писал ли он вам? Если вам известен его адрес, то о ч е н ь п р о ш у сообщить его мне».

«Что за глупец я был! — подумал Тони. — Ведь Австрия вступила в войну с Италией только в 1915 году. Если бы я догадался написать Кате сюда, мы давно уже успели бы снестись и как-либо условиться о встрече после войны. Очевидно, не получая от меня писем, она предположила, что я сообщил сюда свой адрес; или же запрос был просто предлогом, чтобы узнать, нет ли здесь письма к ней от меня».

Он взглянул на адрес Каты — это был тот самый дом, который он в Вене нашел пустым.

Подняв глаза, он увидел, что Филомена смотрит на него с любопытством.

— И это все? — спросил он.

— Да. Вскоре началась война, и мы больше не получали никаких известий. — Затем, после паузы: — Не хотите ли взять себе эту открытку, синьор Антонио?

— Если вам она не нужна, мне было бы очень приятно ее иметь.

— Так оставьте ее у себя.

Тони поблагодарил ее, мысленно пообещав себе купить Филомене самый лучший подарок, какой только можно будет достать здесь, на острове, и положил открытку в бумажник.

Каждое утро он шел к оконечности острова, спускался на уступ Каты и сидел там по часу и больше, почти без мыслей, почти без всяких чувств, лишь ощущая воспоминания

об ее присутствии, вспоминая ее прикосновения и поцелуи; в этих тихих, не лишенных отрады воспоминаниях он прощался с ней, расставаясь с прошлым. После полудня он взбирался на вершину горы, где они некогда сидели, беседовали и ели фрукты; оттуда он глядел на неизменное море и не изменившиеся очертания островов, произнося и переживая свое «прости». Он спускался к маленькой бухте среди утесов, в которой они некогда купались вместе, и думал об ее прекрасном белом теле в прозрачной воде и о прикосновении ее груди к его устам и телу. Прежде чем удалиться, он собирал небольшой букет осенних цветов и рассыпал их по морской ряби, рассеивая эти скудные эмблемы печали и нежности в знак своего прощального приветствия. И каждую ночь засыпал в постели, где некогда они покоились вместе в любовных объятиях.

Каждый вечер он говорил себе, что надо уехать на следующий день, что незачем дольше терзать себя, живя там, где каждый шаг и каждый миг напоминают ему о Кате. Ведь он должен как-то дожить свою жизнь: в этом он себе поклялся в ту ночь в Лондоне, когда выбросил в снег револьверные патроны. И день за днем он медлил. Филомена была встревожена его бледностью, апатией и тем, что ей казалось отсутствием аппетита, хотя Тони ел здесь значительно лучше, чем в Вене. Ему пришлось проявить много твердости, чтобы не позволить Филомене позвать доктора, когда он схватил ужасный итальянский насморк, промокнув насквозь на обратном пути с уступа Каты. Этим вопрос был решен — смешно бродить, чихая на воспоминания об утраченной, столь романтической любви! Тони провел два-три дня в постели, а затем поднялся очень рано, чтобы поспеть на утренний пароход.

Тони понимал, что в качестве гостя он, вероятно, произвел гнетущее впечатление на своих хозяев. Поэтому он

попытался инсценировать веселый отъезд, со множеством подарков и добрых пожеланий. Когда хозяева заставили его пообещать, что он скоро вернется, у него не хватило духу сказать им, что никогда, никогда больше он не будет в состоянии явиться на Эю, что с ними он тоже прощается навеки. «До свидания». — «Счастливого пути». — «Прощайте». На каждом повороте дороги он говорил «прости» какому-нибудь воспоминанию и в последний раз смотрел на какую-нибудь картину солнечного моря и расцвеченной осенними красками земли. Прибыв на пароход, он направился прямо к себе в каюту и оставался там, пока не услышал грохота поднимаемого якоря и протяжных гудков сирены, столь приятных для слуха южан, и пока не почувствовал, что судно выходит из гавани.

Наконец, когда они уже отплыли на некоторое расстояние, он вышел на палубу и побрел на корму. Эя, в нежной золотой дымке осеннего солнечного света, начинала удаляться. Человеческие фигурки на берегу и на пристани стали невидимыми, а дома уже превратились в яркие белые кубики. Он не мог видеть верхней деревни и ни одного из мест, где побывал с Катой, кроме маленькой площадки на вершине горы. Он долго следил, как она уменьшалась и стусевывалась, словно был духом умершего, увозимым по мертвым водам и глядящим назад на последнее исчезающее видение жаркой земли живых. Прежде чем отвернуться и спуститься к себе в каюту, он сделал слабый прощальный жест и прошептал:

— Herz, mein Herz!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1926

I

Остальные не захотели покинуть свои места у камина и ископаемое солнечное тепло, и поэтому Антони накинул первое попавшееся ему под руку пальто и вышел в темный зимний, уже лишенный аромата, сад. Он перешел дорожку, вымощенную камешками разного цвета и формы (как раз в стиле «шикарного» загородного дома Маргарет), и сквозь тонкую обувь с удовольствием ощутил влажный дерн. Он нагнулся и слегка коснулся пальцами земли. Она была шершавая от полузасохших нор дождевых червей, а зимние травинки были жестки и недружелюбны, как шкура мертвого животного.

Антони ощупью пробрался к маленькому пруду, инстинктивно защищая лицо правой рукой, хотя на пути ничего не было. Почти безветренный воздух охлаждал его шею и пальцы — нельзя быть в саду слишком долго. В отдалении внезапно послышался шум поезда, вышедшего из глубокой выемки со звуком, похожим на пронзительный вой удаляющегося трехдюймового снаряда. Антони стоял, наклонив голову, думая о мертвых, разрушенных деревьях, и ожидал, когда снаряд взорвется позади междуфронтной полосы. Но он так и не взорвался. Как всегда, пронзительный вой перешел в шепот и затем резко оборвался за холмом. Но было что-то зловещее и угрожающее в этом точном подражании летящему снаряду — гроза войны губила мир мира.

Ряд старых сосен казался черным на туманном небе, что-то вроде зазубренного архитрава на тонких темных колоннах, похожее на боковую стену разрушенного храма. Над ними, где туман был реже, слабо сияло несколько звезд. Вся вселенная — обмен света через тьму. Или непрерывный ураганный огонь лучей. Или взаимный обмен теплыми приветствиями. Что происходит в межзвездном пространстве, когда лучи встречаются? Ничего. Они проходят друг через друга даже без простого «виноват».

Антони вздрогнул. Что-то мягкое, но крепкое прижалось к лодыжке его левой ноги. Он нагнулся, и его пальцы дотронулись до маленькой усатой мордочки и холодного гладкого меха.

— Ну, киска, чего тебе?

— Мр-р-р, — сказала она и снова прижалась к нему.

— Что ты хочешь сказать? С Новым годом?

Он чувствовал, как она кокетливо переступала в темноте и прижималась головой к его руке, чтобы Антони почесал ей за ухом.

«Она живая, как и я, но живет в мире других измерений, где время бесконечно, не беспокоясь о своей совести. Мудрая киска! Одобряет меня исключительно за то, что я доставляю ей вкусные вещи и ласкаю ее без всяких мыслей. *Femme forte et dure*¹. Стараешься быть приятной, не правда ли, киска? Но если бы ты была в десять раз больше или в десять раз меньше, как бы ты меня слопала? С хрустом».

— Мр-р-р-р.

«Ну что она старается сказать? Я бы хотел ей посоветовать что-нибудь. Опять беременна. Право, в ее годы ей бы следовало принимать какие-нибудь меры против деторождения».

Он услышал отдаленный звон колоколов, одинокий и патетический, но, пожалуй, дружественный в необъятной

¹ Женщина сильная и суровая.

тьме. Он внимательно вслушивался. Только четыре ноты — да это, должно быть, стэплтонские. Почти тотчас же начался перезвон восьми колоколов Кроухерста несколько ближе, одновременно с более низкими, более звучными, но более отдаленными колоколами Мидчестерского собора. Нежные звуки походили на легкие, слабые призраки колоколов. Они не могли затопить и насытить воздух, как солнечный свет, или мягко разлиться в нем, как лунный, но дрожали звездочками звуков, смутные и отдаленные, подобно маленьким туманным огонькам над верхушками сосен.

Они оборвались, и темное, торжественное молчание нахлынуло снова, как будто оно никогда не отступало. Антони слегка дрожал не то от холода, не то от мысли, что все человеческое существование, все великолепие и слава сменяющихся цивилизаций всего лишь короткое звяканье колоколов среди вечного мрака и молчания. Он наклонился потрогать кошку, чтобы прикосновением к живой плоти снова защититься от ужаса небытия, но она уже убежала тихонько и не возвращалась на его зов. Только обернувшись и увидев свет, по-прежнему струящийся сквозь теплые желтые занавеси закрытых окон, он почувствовал себя защищенным от громадного равнодушия холодного молчания и холодного пространства, — в них, как в скобки, было заключено забвение.

Антони не сразу вернулся в гостиную; когда он снимал пальто, ему пришла в голову капризная мысль погадать по Гомеру о своей будущей судьбе. Может быть, для девяностидесятилетнего существа это было только шуткой, но для последней глубинной его частицы это было совещанием с богами. Он прошел в маленькую комнату, служившую ему библиотекой и убежищем от домашних треволнений, включил свет и снял с полки старую школьную «Одиссею», до сих пор еще обернутую в коричневую бумагу с его име-

нем, нацарапанным на ней неустановившимся детским почерком. Открыл книгу наудачу и ткнул пальцем в строчку. Язык был так прост, что Антони не понадобилось смотреть в словарь, чтобы прочесть:

«А тебе пусть боги даруют милость свидеться с женой и достигнуть дома, потому что ты так долго претерпеваешь несчастья вдали от друзей».

Странная дрожь пронизала его, когда он медленно прочитал два торжественных гекзаметра и уловил их смысл. Впервые за долгие годы у него явилось сомнение и с ним первое болезненное шевеление того, что могло быть новой жизнью. Он снова перечитал строчки. Но ведь он же у себя дома, и до него доносятся сюда отдаленный гул дружеских голосов и смех Маргарет, которая его жена вот уже почти шесть лет. Все же сомнение нашептывало: «А что, если это в действительности не твой дом, и по-настоящему она не твоя жена, а те — не твои друзья?» С минуту или даже больше он стоял, глядя на четкие буквы, смотря сквозь них на далекий хаос старых воспоминаний, старых желаний и старых надежд, давным-давно уже погибших и преданных забвению, похороненных и сознательно забытых.

— Какая чепуха! — произнес он громко, захлопнул книгу и снова поставил ее на полку.

Вернувшись в гостиную, Антони поцеловал жену и пожелал ей счастья в 1926 году.

— О, мы давно покончили с этим, — ответила она равнодушно.

Он отшатнулся оскорбленный, не зная, хочет ли она намекнуть своим двусмысленным замечанием вообще на разочарование в нем, или же только поясняет, что они уже обменялись поздравлениями, пока он уходил.

— Ты слышал звон колоколов? — прибавила она, по-видимому, только для того, чтобы сказать что-нибудь.

— Да, стэплтонские, Кроухерст и соборные. Довольно трогательное, призрачное возвешение о мире мира и благоволения в людях. Есть что-то такое в этих старых обычаях.

— «Звони в старое, вызвонишь новое»¹, — сказал Уолтер с подавленным смешком.

«Он еще больше походит на сову, чем прежде, — подумал Тони, — и выкидывает свои мнимые остроуты, как автомат — пилюли. К тому же немного пьян — я приготовил слишком крепкий пунш».

— Мир и благоволение? — сказал Харольд с оттенком насмешки в голосе, которая слышалась часто, когда он разговаривал с Антони или говорил о нем. — Это звучит вроде «компания с ограниченной ответственностью». Во что вы оцениваете актив, Тони?

Влажными, пухлыми губами он отпил небольшой глоток пунша.

«А ты с каждым днем все больше походишь на рыбу, — подумал Тони, — та же гладкая голова и рот, как у карпа. Высокая, стройная Элен на диване в ярком платье — змея в клетку. А Маргарет? Что-то кошачье и что-то птичье — птица-кошка, гибкая, хищная и беспечная».

Не отвечая Харольду, Тони отошел к табуретке у рояля, подальше от камина. Комната казалась маленькой, жаркой, душной от табачного дыма, паров пунша и женских духов. Плоскости чувствований сталкиваются — невозможно общаться. Один шаг из приветливой комнаты, встреча с вечными страшными истинами, приобщение к их враждебности; возвращение — и комната уже враждебна. И мы все еще живем в искусственных пещерах, сидя на корточках у огня, открытого каким-нибудь волосатым Прометеем. Тони услышал слова Маргарет:

¹ Теннисон, «In Memoriam».

— Я считаю ужасным, что вы, мужчины, — и в этих словах: «вы, мужчины». — зоны бессознательного женского презрения, — спокойно соглашаетесь на войну и драку и смеетесь над миром и благоволением. Свет был бы совсем другим, если бы им правили женщины.

— Это закон джунглей, — сказал Уолтер с таким видом, будто он высказал нечто очень глубокое.

— Ну, если вы веруете в закон джунглей, — возразила Маргарет с убежденностью, удивившей Тони, — почему же вы не идете жить в джунгли?

Гротескное зрелище: Уолтер, кричащий по-совиному в джунглях — ту-уит-ту-уу! Что бы он делал, если бы министерство не добывало ему ежедневно мышей?

— От этого никак ни уйти, — вмешался Харольд. — Это выживание наиболее приспособленных.

— Сторонник теории борьбы за существование! — пробормотал Тони про себя.

— Да ведь наши собственные тела являются постоянным полем битвы микроорганизмов, — продолжал Харольд торжествующе, не слыша его. — Таково же и человеческое общество. Вопрос не в том, открытая ли это война или тайная, дерутся ли дубинами, бомбами или банкнотами, — это всегда война, всегда закон джунглей. И совершенно правильно: пусть побеждает наиболее сильный!

— Тогда зачем же существуют правительства? — воскликнула Маргарет.

— Чтобы сдерживать толпу.

Тони почувствовал, что ему надо прийти на помощь своему товарищу по джунглям.

— Не могу согласиться, что общество состоит из малярийных преступников и напичканных хиной полицейских, — сказал он. — Очевидно, человеческое общество существует именно потому, что оно ушло от закона джунглей, — а впрочем, какой же это закон, ведь это просто

анархия. Все мы — великий эксперимент. Ни причины этого эксперимента, ни создавшие его условия мне не известны. И вам тоже. В пессимистические моменты я склоняюсь к мысли, что он уже не удался. Мы прижаты к стенке. Поэтому не остается ничего другого, как только продолжать держаться.

— Домашняя жизнь располагает нашего Тони к сентиментальности, — насмешливо заявил Уолтер, который явно успел дочитать своего Уистлера. — Вы стали христианином по Диккенсу под влиянием его «Рождественских колоколов»?

— Нет бога, кроме бога, и Магомет его пророк, — сказал Тони. — Для меня все это одно и то же. Что сформулировано, то мертво. Мнемотехника для ленивых. Задача в том, чтобы достичь полной гармонии — примирить самого себя с самим собой, с другими человеческими существами и с общей судьбой, с тем, что известно, и с тем, что неизвестно, что есть тайна или бог.

— Довольно честолюбивая программа, — сказал Харольд. — Почему бы не ограничиться разумным устройством общества, раз вы полагаете, что элементарные факты можно не принимать во внимание, в чем вы, конечно, не правы.

— Но я не уверен, что я именно этого и хочу, — ответил Тони.

— Чего же еще вы можете хотеть? — воскликнул Уолтер, скандализированный этим оскорблением министерства проложенных дорог. — Вы не согласны на *laissez faire*¹, что является законом джунглей. Единственная альтернатива — какая-либо из форм социализации. В общем и целом все это экономическая проблема — вопрос собирания точных статистических данных и толкования их надлежащим об-

¹ Оставить так, как есть. Не мешать делать по воле каждого.

разом. А для этого необходим многочисленный штат знающих и умных сотрудников.

Маргарет вмешалась в разговор, прежде чем Тони успел ответить.

— Неужели надо еще раз повторять все это? Это ужасно скучно! Мне так надоело слушать, как вы, мужчины, торжественно обсуждаете, что по-вашему надо будет сделать, если вы станете диктаторами мира, которыми вы никогда не станете. Вы не создавали жизни и не можете ее изменить. Поэтому развлекайтесь, как только можете. Только школьники думают, что они могут переделать мир.

— Слушайте, слушайте, — сказал Тони, — но почему бы не допустить, что это вопрос переделки нас самих?

— Тогда занимайтесь этим делом и оставьте в покое весь остальной мир.

Тони засмеялся.

— Верно, — сказал он отрывисто. — Налей мне пунша. Давайте напьемся и постараемся забыться.

Маргарет обрадовалась, решив, что она заставила его замолчать. Она наполнила его стакан старинной разливательной ложкой для пунша из черного дерева и серебра — свадебный подарок — и сказала:

— Мы все должны сами поработать над собственным спасением, не правда ли, дорогой?

— О, именно так, — сказал Тони иронически, — действительно так. Пью за наше спасение!

Он отхлебнул пунша и затем сказал:

— Тебе не кажется, что я налил слишком много рому?

— Нет, дорогой, по-моему, он замечателен.

— Очень хорош, — сказал Харольд.

— Первый сорт! — добавил Уолтер. — Я налью себе еще.

Тони вернулся к табуретке у рояля и задумчиво вертелся на ней то в ту, то в другую сторону. «Они сбивали меня с ног, они в каждой раунде сбивают меня с ног. Им нужно

ровно десять минут, чтобы от вечных ценностей свалить тебя на землю к этакому: «не налил ли я в пунш слишком много рому?» Я поладил с кошкой гораздо лучше, может быть, потому, что она неспособна прерывать меня. Они сводят все к одной формуле — пища, одежда, жилище, заводные игрушки, что скажет свет. И они-то и есть настоящие и полезные люди. Кто я такой, чтобы критиковать их? Разве я не приносил жертв их богам целых шесть лет, выслуживая дочь Саула? Но что это за зверинец! Там Уолтер, вылупивший свои совиные глаза на почти совсем обнаженные груди Маргарет, и Харольд, ласкающий ее своими словесными плавниками, Маргарет — священная птица-кошка, привыкшая к почитанию. А вот там Элен, свернувшаяся молчаливо и зловеще над какой-то чересчур удобоваримой книгой, подобно зелено-золотистой змее. Чтение для них — субститут жизни или сна. Им непосильна ответственная сознательность, они хотят удрать от нее, вернуться к первоначальной инерции. Только им не удается спать все время. Поэтому они ускользают прочь на крыльях безответственной мечты...»

В этот момент нить его мыслей внезапно прервалась, потому что взор его встретился со взором Элен, пристально глядевшей на него поверх книги с каким-то странным выражением. Уже несколько раз в течение рождественских праздников Тони ловил такой же ее взгляд и не отвечал на него, отчасти потому, что был поглощен своими обязанностями хозяина, но главным образом потому, что его корбила неизбежная ложь и осложнения, к которым привел бы его ответ. Правда, Маргарет исповедовала обычные доктрины «о свободе» и делала вид, что она не вникает в его дела, поскольку и он более или менее предоставлял ей свободу. Но эта мнимая свобода была в действительности иллюзией, пустыми словами модной болтовни, и Тони отлично знал, что если бы Маргарет заподозрила его в том,

что он позволяет себе какие-нибудь мимолетные причуды, его сейчас же призвали бы к порядку, резко дернув за супружеский поводок. Тогда произошел бы либо полнейший крах, либо возврат к прежнему смиренному поведению. А Элен не настолько интересовала его, чтобы ему хотелось убежать с ней или же переменить один поводок на другой. Раз уж он с отчаяния давным-давно продался буржуазному благополучию, ему ничего не остается, как только оставаться верным буржуазной сделке. Что он и делал, но делал мрачно.

И все же в этом взгляде Элен было что-то такое, на что он машинально ответил, совершенно вопреки своему сознательному решению. В ее глазах был такой отчаянный призыв, она так безоговорочно предлагала себя, что Тони почувствовал, как его плоть стремится к ней, — бедная девочка, неужели же тут нет мужчины, который утешил бы тебя в своих объятиях? Не рассуждая о том, что он подвергает себя риску, Тони встал со своей табуретки, подошел к дивану и сел в ногах Элен. Маленькая ширма совершенно скрывала ее от остальных собеседников, собравшихся у камина, где они ретиво обсуждали бездарные пьесы и глупых актеров с тем упрямым пристрастием, которое сходит за ум в заплесневелом мире среднего класса. Тони был виден им, когда он отклонялся назад, но скрыт, когда наклонялся вперед. Поглощенные пикантными театральными новостями, беседовавшие, казалось, не заметили, как Тони переменял место. Глаза Элен опять встретились с его глазами, но уже с другим выражением — благодарности, смешанной с триумфом, и это должно было бы заставить Тони остерегаться. Он был смущен напряженным молчанием, к которому его принуждал этот взгляд, и только для того, чтобы сказать хоть что-нибудь, произнес:

— Как ваша головная боль? Вам не лучше?

— Гораздо лучше. Надеюсь, скоро совсем пройдет.

Его немного смутил этот очевидный намек, и он неловко продолжал:

— Вы не находите, что в комнате слишком жарко или накурено?

— Нет. — Казалось, Элен немного забавляло его смущение. — Мне здесь лучше, чем где бы то ни было.

Он мысленно добавил «около вас», как этого от него хотели, и почувствовал смутное презрение к такому уходу за собой, причем все делалось так, будто инициатива принадлежит ему. И все же он был отчасти польщен в своем тщеславии.

— Как подвигается дело с книгой? Хороший рассказ?

— Мне интересно. Две женщины выходят замуж, каждая за человека, ей неподходящего, но он, вероятно, был бы подходящим мужем для другой.

Слабая улыбка тронула ее губы, и Тони увидел ясно: все это она сочиняет, чтобы сделать ему признание. По-видимому, ее забавляло, что все это происходит на глазах у Маргарет и ее собственного мужа.

— И что же дальше? — спросил он.

— До этого я еще не дошла. Мне очень любопытно посмотреть, как это все будет развиваться.

Она передвинулась немного выше на диване и, нарочно или нечаянно, показала Тони себя гораздо больше, чем это было необходимо. Она увидела, что он посмотрел туда, куда ей хотелось, чтобы он взглянул, и опять улыбнулась с томным, похотливым желанием во взоре, пригладив платье и подвернув его под колени.

— Вы не дадите мне папироску? — спросила она деловым тоном, но взгляд ее заставил Тони удивиться.

— Конечно.

Он подошел к маленькому столику за инкрустированным деревянным ящиком с папиросами и спичками и услышал голос Маргарет:

— По-моему, она страшно мила в этой роли, хотя, заметьте себе, я не говорю, что она великая актриса, но...

Остановившись у дивана, скрытый высокой ширмой, Тони подал Элен папироску, которую та взяла, держа ее между пальцами. Он поставил ящичек на маленький столик, рядом с ее сумочкой, и стал искать спички. Элен взглянула на него все с той же странной, довольно похотливой улыбкой и молча протянула губы для поцелуя. Робко и нехотя Тони наклонился и поцеловал ее, со столь очевидной принужденностью, что ее взгляд сразу стал ироническим, — она издевалась над отсутствием у него предприимчивости. Миссис Потифар, потешающаяся над Иосифом. Тони зажег спичку, дал Элен закурить и, сделав несколько банальных замечаний, присоединился к остальным у камина.

На следующее утро Маргарет намекнула Антони наедине, что ему следует пригласить Уолтера на партию в гольф.

— Поля для гольфа, вероятно, закрыты, — сказал Тони, — но я все равно не пошел бы. Я бросаю играть в гольф — это мое новогоднее решение. Только попусту тратишь жизнь.

— Но не можешь ли ты продолжать играть из деловых соображений? — быстро спросила Маргарет, смутной интуицией почуяв бунт.

Следя за ней, Тони скорчил гримасу.

— Есть на свете много вещей помимо дела, — сказал он медленно, — особенно в неделовые часы. Я думаю, ты согласишься, что теперь только люди глупые привержены к игре в гольф. По-моему, Уолтер хочет играть только потому, что ему кажется, будто я этого хочу. Во всяком случае, прошлый раз, когда мы вышли играть, мы вместо игры сидели и болтали, спрятавшись от ветра за изгородью у второй лунки.

— Тогда что же ты будешь делать сегодня утром?

— Я намерен читать. Остальные могут делать, что им нравится.

— Ты не очень общителен и не слишком гостеприимен.

Тони ничего не ответил, и Маргарет не стала настаивать: она научилась узнавать в нем признаки решимости, когда всякое противодействие только укрепляло его волю.

После обеда приехал автомобиль, чтобы отвезти Харольда к одному из его богатых друзей. К своему неудовольствию Антони увидел, что он осужден на прогулку с Элен, пока Маргарет и Уолтер поедут прокатиться на машине Уолтера. Только этого ему и не хватало: продолжительного тет-а-тет'а с Элен! Однако не было никакой возможности уклониться, не нарушая приличий, и, когда остальные уезжали, они вышли из дома. Маргарет помахала им, когда автомобиль повернул на большую дорогу.

Тони выбрал тропинку, ведущую от деревни и поляны для гольфа в большой лес, покрывавший невысокие холмы с северной стороны. Под тяжелым зимним небом дул пронзительный ветер, и Тони со своей спутницей рады были укрыться в роще. Лес был безмолвен и выглядел мертвым, земля устлана увядшими мокрыми листьями, даже лишаи общипаны и безжизненны. Тони почувствовал ненависть к этому долговому мертвому зимнему северному сну, к этому онемевшему прекращению жизни на столько месяцев. Он попробовал представить себе, как выглядит лес в июне: деревья в зеленом пламени листвы, сочная трава в звездах цветов, воздух оживлен лесными запахами и звуками. Действительность победила его, и он погрузился в настроение тупой покорности судьбе и скуки, которое теперь так часто смыкало над ним свои мутные волны. Они дошли до маленькой просеки, где ствол срубленного дерева лежал между мелкой порослью ясеня и вяза. Элен присела отдохнуть, и поневоле Тони пришлось сесть рядом с ней.

— Вы как будто не очень оживлены сегодня? — сказала Элен, взглянув на него быстро, но все же взяла папиросу, которую Тони предложил ей в виде защиты от нее.

— Простите! Боюсь, что я навожу скуку.

— Вы сердиты на меня?

— Почему бы мне сердиться?

Она посмотрела на него с любопытством.

— Я думала... — она оборвала начало фразы и затем резко прибавила: — Вы заметили, как Уолтер и Маргарет все устроили, чтобы уехать вдвоем в автомобиле? В третий раз с тех пор, как мы здесь.

— Правда? — Тони говорил с неподдельным безразличием. — Что же из того?

Элен молча сидела, сжав губы, затем нервно затянулась папиросой.

— Вы хорошо знаете Уолтера? — спросила она.

— Нет. Не могу похвалиться, что хоть кого-нибудь знаю хорошо. Другие люди для меня всегда несколько загадочны. Иногда мне кажется, что я вижу их действительные мотивы под тем, что они выдают за мотивы, или же что они сами считают своими мотивами. А почему вы спрашиваете?

— Вам не случалось задаваться вопросом, почему эта парочка всегда старается остаться вдвоем?

Теперь пришла очередь Тони посмотреть на Элен с любопытством. Ее лицо побелело от сдержанного гнева и ревности. Ах, так! Значит, близость Маргарет к ее мужу вызывает в ней ревность, но в то же самое время она пытается завести роман с мужем Маргарет? Странно, как один лишь факт брака заставляет людей ревновать своего партнера, к которому они давным-давно относятся безразлично, хотя сами они добиваются для себя всяческой свободы! Тони подумал, нужен ли он Элен только в виде развлечения от пошлости брака, или же она хочет сделать из него орудие своей мести Маргарет?

— Нет, — сказал он, отвечая на вопрос Элен. — Ведь они же друзья детства.

— Маргарет была бы гораздо счастливее, выйди она замуж за него, а не за вас, — сказала она с горячностью.

— Возможно, — ответил он спокойно, — но ведь она все-таки не вышла за него, и потому ваш вопрос чисто академический.

— Не старайтесь притворяться, что вы ничего не видите, — атаковала его Элен. — Вы, мужчины, так трусливы. Если вы не знаете Уолтера, так я знаю! Он из тех мужчин, которые не могут устоять перед искушением испробовать свое обаяние на женщинах, а он их несомненно привлекает.

— Вы думаете, это так необычайно? Я бы сказал, что это общее правило. Во всяком случае, если даже в ваших намеках и есть правда, неужели же вы хотите, чтобы я затеял ссору с Уолтером? Тогда они немедленно начнут встречаться тайно.

Элен попыхивала папиросой. Разговор явно развивался не так, как ей хотелось, и Тони, конечно, было все это противно. Неужели она ждет от него, что он станет ухаживать за нею в отместку за воображаемую и недоказанную измену Уолтера и Маргарет? Позиция, занятая Элен, уничтожала всякую чувственную власть и очарование, какие она как женщина могла бы испробовать на нем. По-видимому, Элен догадалась об этом и изменила свою линию нападения.

— Вы помните лето, как раз после войны, когда мы впервые увидели друг друга?

— Конечно, помню очень хорошо.

— Мне кажется, тогда вы были приятнее, чем сейчас, хотя вы были в каком-то странном, растерянном, несчастном настроении. Я часто думала, что происходит с вами, и жалела вас! Это было не из-за Маргарет. По-моему, она даже не замечала, что вы что-то переживаете, да она и не из таких женщин, которые могли бы помочь вам. Почему вы женились на ней?

— Почему все мы женимся? С надеждами пускаемся мы в погоню за миражом, а в конце концов привыкаем к пустыне.

— Значит, вы соглашаетесь с тем, что не любите ее?

— Я ни с чем не соглашаюсь. Я только описываю общую судьбу немного пессимистически.

— Во всем этом есть что-то такое, чего я не понимаю, — сказала она задумчиво, — и, вероятно, никогда не пойму, поскольку вы закрываетесь от меня, как устрица. Готова поклясться, что вы не были влюблены в Маргарет в то лето, и знаю наверное, что я могла бы вам помочь там, где это ей не удалось.

— Но вы уже были помолвлены с Уолтером, — ответил Тони как можно беспечнее.

— Я бы сумела найти выход, если бы вы сделали мне предложение.

Он не отвечал, и она продолжала:

— Я все наблюдаю за вами обоими, ни один из вас не понимает другого. Между вами нет никакой настоящей связи.

Тони сделал протестующий жест, но Элен прервала его довольно грубо:

— О, смею думать, что в постели вы более или менее ладите! Как и мы с Уолтером и сотни других супружеских пар. Но в вас обоих есть какая-то неудовлетворенность, и хотя вы всегда мягки и милы между собой, но на самом деле вы не подходите друг другу. И ни один из вас не отдаст должного другому.

— Что вы этим хотите сказать? — спросил Тони, немного испуганный ее пронизательностью, хотя ее слова и заинтересовали его.

— Втайне вы оба презираете друг друга. А ведь Маргарет могла бы быть отличной женой для мужа иного типа, для кого-нибудь вроде Уолтера. Он честолобив, преуспевает в

делах — скоро будет помощником министра, — заботится о своих общественных успехах и добивается их. Он вполне соответствует порядку вещей, а это именно то, чем восхищаются и что любят в мужчине женщины вроде Маргарет. Вы не соответствуете. И я тоже. Вы постоянно разочаровываете Маргарет, как я разочаровываю Уолтера. Я не создана для того, чтобы быть женой преуспевающего человека, как и вы не созданы для роли преуспевающего мужа. Вы неделовой человек, Тони. Вы знаете это не хуже меня. И вы несчастливы в своей жизни. Вы сейчас не так встревожены и несчастны, как в дни нашей первой встречи, но если вы думаете, что удовлетворены своей жизнью, то вы обманываете самого себя.

Антони подумал: вот случай отвлечь разговор от опасной темы личных отношений.

— Пожалуй, вы и правы, говоря, что я не совсем удовлетворен своей жизнью, — сказал он осторожно, — но, конечно, вы очень ошибаетесь, считая Маргарет причиной этого. Женщины всегда думают, что они являются единственными виновницами мужского счастья, *primus mobile*¹ нашей жизни и ее лучшим благом. Вы гораздо ближе подходите к действительности, говоря, что я неделовой человек. Я никогда им не был и никогда не буду. С точки зрения житейского здравого смысла я то, что называют счастливым человеком. Если оценивать человеческий труд разумно, то мне невероятно переплачивают за то, что я не делаю ничего особенного. Я обязан этим тому, что являюсь «мистером Маргарет». Я человек, живущий синекурой. Правда, я достаточно сообразителен, чтобы понимать происходящее и даже чтобы вносить предложения, которые иногда принимаются. Но моя роль заключается в присмотре за Маргарет, которую надо было пристроить, а в остальном мое дело

¹ Первой движущей причиной.

сидеть в заднем ряду и аплодировать процветающему предприятю. Те несколько тысяч фунтов из унаследованных мною денег, которые я вложил в дело, просто очковтирательство. Если бы не Маргарет, от меня потребовали бы пятьдесят тысяч!

Совершенно нечаянно он высказал то, что все время занимало его тайные мысли, и даже гораздо больше того, что собирался сказать.

— Да, — сказала Элен, — но вы видите, все-таки Маргарет замешана в этом.

— Лишь косвенно. — Тони уже жалел, что сказал так много. — Но это не имеет ничего общего с нашими личными взаимоотношениями.

— Разве? А я скорее думаю, что имеет! Но что же именно вам не нравится в деловой жизни?

— Все! — сказал Тони с горечью. Он помедлил и затем заговорил быстро, почти бессвязно, словно думая вслух, забывая в Элен все, кроме того, что она человек, который интересуется им настолько, что может хоть отчасти угадать его тщательно скрываемое разочарование в себе самом и в жизни. — В 1919 году я был почти совершенно разбит и морально и физически. Я был сыт по горло, больше того, я был в отчаянии. Жизнь, казалось, крошилась у меня под пальцами. Вещи, в которые я безусловно верил, изменили, или, по-видимому, изменили мне. Та жизнь, за которую я боролся, окончательно ускользала от меня. Даже мои старые друзья ничем не могли помочь, поскольку дело касалось меня. Мне казалось, что из всех людей я самый нищий, не материально, но в жизни. Мне хотелось создавать, строить здания, которые хоть что-нибудь бы значили, а меня посадили писать отчеты о бетонных дачах. У меня не было никого, кроме отца и Маргарет, и, как большинство благожелательных людей, они требовали, чтобы я стал таким, каким им хотелось, и делал то, что им нужно, а не то, что

нужно мне. Вот таким-то образом я и вошел в так называемую деловую жизнь.

Он резко остановился, мрачно уставясь в мокрую путаницу мертвых растений у своих ног, и нервно ломал сухой стебель укропа на все меньшие и меньшие кусочки. Элен ничего не говорила, с кошачьей настойчивостью ожидая, чтобы Тони высказал еще больше.

— Деловая жизнь! — воскликнул он вдруг с горячностью, заставив Элен слегка вздрогнуть. — Деловая тщета, трудовая праздность. Купить дешево, продать дорого — пожалуй, самая низшая деятельность, на которую только способен ум человеческий, но самая уважаемая и высокооплачиваемая в современной жизни. Чепуха! Жульничество! Деграция! Мне надоело это.

— Бедный ягненок! — сказала Элен с видом снисходительной симпатии. — Я и не знала, что вы так ненавидите работу.

— Я ненавижу не работу, — отпарировал Тони сердито. — Вот именно потому, что мое дело не работа, я и ненавижу его. Работа — это созидание чего-нибудь, делание чего-нибудь, а не перебирание бумажных символов работы других людей!

Он резко оборвал, инстинктивно почувствовав, что говорит на ветер, что из всех человеческих существ богатые женщины из верхних слоев среднего класса дальше всех стоят от действительности. «Их праздность, их роскошь, их тщеславие, — думал Тони с горечью, — содействуют существованию всего этого проклятого жульничества. Они отвливают от войны, они отвливают от работы, они отвливают от воспитания детей, если только не отвливают и от деторождения, и каждой из них хочется быть маленькой королевой, сидящей на навозной куче, навороченной мужем, который роется в грязном мире денег. А затем жалуются на свои обиды. Что она говорит?»

— ... конечно, работа Уолтера иная, — услышал он. — Это реальное строительство страны. И мне понятно, почему вы испытываете презрение к трате времени в пустой деловой рутине. Вы находитесь в несоответствующем интеллектуальном окружении. Почему вы не хотите, чтобы мы познакомили вас с кем-нибудь из действительно интересных людей Лондона?

— Нет, благодарю вас, — сказал Тони угрюмо. — Если и существует жульничество еще более слабосильное и пустое, чем жульничество деловой жизни, так это жульничество ваших высших интеллектов. Уж лучше быть котенком и мяукать!

— Тогда чего же вы хотите? — спросила Элен колко, в своем тщеславии оскорбленная его презрительным тоном.

— Луну! — ответил он вставая. — Не лучше ли нам отправиться домой? Здесь холодно сидеть.

II

В течение двух следующих месяцев Антони вел долгую и упорную внутреннюю борьбу и по необходимости вел ее в одиночестве, ибо не было никого, кому он мог бы вполне довериться, за исключением разве Джульена и Уотертона. Несмотря на свою привязанность к Джульену или, скорее, из-за нее, Антони не хотелось принуждать молодого человека хранить что-либо в секрете от его же собственной сестры. В самом деле, сознание того, что его понятия о жизни совершенно отличны от понятий Маргарет и что он собирается совершить поступок, которого она не поймет и не одобрит, — все это было одним из его самых больших затруднений. Разве у него есть моральное право навязывать

ей свое решение (например, решение порвать с такой жизнью), доказывая это Маргарет или игнорируя ее возражения? Советоваться с Джульеном значило бы просить о поддержке, ведь просьба о совете очень часто имеет такой смысл. Он не сомневался, что Джульен поддержит его: вопрос был только в том, что он не хотел ставить Джульена перед дилеммой разделенной верности. И не потому, что Джульен выражал или испытывал нежные чувства к кому-либо из своей семьи, конечно, он состоял в гораздо более дружеских отношениях с Тони, чем с кем-нибудь из своих. Для удовольствия своей семьи Джульен все еще готовился в юристы и присутствовал на семейных обедах. Но, подобно многим адвокатам, слишком чувствительным к драчливому духу этой профессии, Джульен уже перешел к журналистике. И Тони один из всех родных подбивал его к такой рискованной карьере.

Нет, решил Антони, у Джульена и так довольно своих собственных затруднений, чтобы еще просить его взять на себя затруднения шурина. Поэтому Джульен был решительно отстранен. Оставался еще Уотертон, добродушный, погубленный войной Уотертон, который довольно весело жил на свою инвалидную пенсию и был богат снисходительной мудростью. Но зато Тони редко виделся с Уотертоном за последние пять лет. Маргарет он не очень нравился. И, как это иногда случается у жен, Уотертон был искусно оттерт на задний план вместе с другими друзьями холостой жизни Тони. Даже не одобрялся и Крэнг, хотя и заслуживавший уважения, как начальник Уолтера по министерству: его не одобряли по тому, не совсем неосновательному, поводу, что миссис Крэнг не «леди». «Как будто это имеет какое-либо значение, — сердито ворчал Тони про себя, — во всяком случае, она приличная, мягкосердечная женщина, и тем лучше, что она не претендует на звание «леди», как это обычно бывает». Тони решил поговорить на днях

с Уотертоном, хотя Уотертон беден, свободно высказывает свои мнения и, по выражению Маргарет, похож на «череп на пиру» со своей высохшей левой рукой и выражением скрытого страдания на лице.

В начале марта Антони один уехал за город на несколько дней, чтобы попытаться прийти к какому-нибудь решению относительно самого себя. Он не старался объяснить себе, почему ему показалось необходимым уехать за город, — просто нельзя толком подумать здесь, в Лондоне, в постоянном окружении волевого воздействия всех этих миллионов людей.

В субботу утром он с чувством удовлетворения (словно делая какой-то вызывающий жест) оделся во все самое старое и отправился в далекую прогулку. Предлогом для этой прогулки по тропинкам и заброшенным дорогам, ползаросшим травой, была деревня милях в восьми к юго-востоку. Несколько домов и усадеб прятались между большими вязами и березами и делали деревню похожей на зеленый корабль, севший на мель в маленьком заливе, у подножия голой меловой возвышенности, — а церковь старалась сташить его с мели. В церкви было несколько гробниц четырнадцатого столетия, грубой, топорной работы, без изящества и интеллектуальной тонкости итальянской и французской скульптуры того же времени, но зато подлинных.

Утро было туманное, но постепенно переходило в спокойный солнечный день, как это иногда случается в марте при слабом юго-восточном ветре. Тони шел твердой и легкой поступью и совершенно не походил на того человека, который в тоске спешил через Дорсетские холмы лет семь тому назад.

Он свернул с дороги на тропинку, шедшую через луга, где скошенная влажная трава блестела от осевших на ней

частиц тумана, и остановился на пешеходном мостике через ручеек, бежавший по мелким камешкам. Две или три форели метнулись прочь быстрыми тенями в коричневатой воде, легко скользнув, как подводные птицы. Болотная курочка торопливо засемила, размахивая крыльями и ногами, а Тони стоял, глядя на воронки в воде, слушая шелест увядших камышей, и думал. Выше по течению на низкорослой иве он заметил искры золотых цветов.

Сквозь холодные полутона английского ландшафта Тони почувствовал Трувиль*, где он был прошлым летом. Трувиль, не больше похожий на Францию, чем пышное английское поместье немецкого миллионера-еврея походит на Англию. Но Маргарет хотела туда поехать — так уж полагалось. Дорогие отели, поля для гольфа, теннисные площадки, Адонисы в шикарных белых фланелевых или облегающих тело купальных костюмах, пляжные Афродиты в простеньких платьях по пять тысяч франков штука или в еще более облегающих тело купальных костюмах, лежание на песке, коктейли, азартная игра в казино, вечный шепот злостных сплетен. Вульгарные Байи*. И вот с этого-то все и началось, с ощущением стыда и неловкости начало рушиться его представление о собственной жизни как о жизни счастливого паразита в «деловом» мире, начала надламываться корка навязанных ему привычек. Прежний Тони, погрузившийся уже глубоко, начал, наконец, выплывать из глубоких вод отчаяния и безразличия, но стал более сильным, более уверенным, несмотря на свои колебания. Вместо того, чтобы принять Трувиль, как и все остальное, он инстинктивно осудил его. Если это-то и есть лучшие цветы, наследники всех веков, то к черту их! К черту их так или иначе!

Все еще глядя в холодную струящуюся воду, Тони стал медленно набивать трубку и вдруг остановился при мысли, что его отвращение к трувильским пляжникам, может быть,

просто-напросто пуританство. Но нет, по сути дела, это все та же старая, лишь по-новому повернутая проблема, которую он так свирепо и бесплодно обсуждал со Скропом, Робинсом и Крэнгом столько лет тому назад. Но, в сущности, она стала теперь и личной проблемой. Незачем больше проводить жизнь в теоретическом разбивании мира вдребезги и в чрезвычайно проблематическом создании его наново в соответствии со своими собственными капризами! Примем вещи такими, каковы они есть в пределах существующего, и не будем ждать прихода тысячелетнего царства, прежде чем начать жить.

Он двинулся дальше, стараясь припомнить и напеть мелодию одного моцартовского концерта, который ему нравился. Приблизительно через полмили он снова остановился на последней лужайке; дальше тропинка начинала подниматься и переходила в длинную просеку, прорезавшую рошу. Пронзительно прокричал фазан, и Тони услышал, как птица вспорхнула в испуге. Стадо крупного рогатого скота жевало неторопливо, тяжело и ровно дыша: чавк, чавк, чавк, у-ух. Вечная мать. Муниципальное молоко. Одна или две коровы поглядели на Тони матерински многозначительно; другие продолжали жевать с великолепным равнодушием: чавк, чавк. Они производят телят и молоко. Тони протянул руку к ближайшей и позвал ласково:

— Ну, иди сюда! Хочешь быть муниципальной матерью, Сузи? Сорт А, милая, и корм, отмериваемый с точностью до одной сотой грамма. Тем лучше для тебя, Сузи, от неразумного питания не будет вздуться животик. И такой милый муниципальный бык, такой милый муниципальный служащий, который унесет твоего теленка, — ведь это же будет приятно, не правда ли, Сузи? И еще более милый муниципальный служащий заколет тебя и превратит в бифштекс, счастливая Сузи!

Корова попятилась от него, опустив голову с кроткими глазами, налившимися страхом, наполняя ноздри Тони своим тошнотворно-сладким дыханием. Нет спасения от судьбы! Ей придется отдать все: и теленка, и молоко, и тело. Дух служения обществу. Утешило ли бы корову, если бы ей повесили на шею муниципальную медаль за оказанные услуги? Прощай, Сузи, твой мэр и муниципальное управление нуждаются в тебе!

Под прикрытием леса воздух казался мягче, разгорающееся солнце рисовало на земле сквозь ветки теневой узор. Из сердцевины зеленых сморщенных листьев выскакивали примулы, и земля топорщилась острыми зелеными копьями вырастающих диких гиацинтов. Среди листьев арума и первой, еще неразличимой зелени молодых растений там и сям блуждали золотые звезды селандины. Тони сорвал одну, чтобы вдеть ее петлицу, — примулы немного опорочены ухажерами прошлого столетия. Дальше он набрел на целое гнездо барвинков — *pervenche* у Руссо. Не Руссо ли является автором наших недовольств? Через лес Тони прошел до оголенного гребня небольшого холма и далеко впереди увидел длинную волнующуюся линию дюн. Первый жаворонок, которого Тони услышал в этом году, невидимкой завел в вышине свою трель.

Тони припомнилась Ля-Рошель*, куда он бежал в одиночестве, когда Трувиль стал для него тошнотворным и невыносимым. Невольные воспоминания о великой осаде скоро растворились в любопытстве, с каким Тони наблюдал порт. Матросы в заплатанных блузах и штанах, то голубых, то коричневых, а то цвета увядшего апельсина или даже розовых, как персик. Темно-синие сети, развешенные для просушки; коричневато-желтые паруса; женщины, постукивающие деревянными башмаками навстречу мужьям при возвращении лодок; мальчики, так серьезно и сосре-

доточенно уходящие в море, чтобы, смотря на отцов, изучать их тяжелое и опасное ремесло, — все это было хорошим противоядием от Трувиля. Тяжелая, стесненная, грубая жизнь, но зато настоящая. Не пустая игра с морем, но подлинная жизнь с ним. Если считать это символом, то где будет Трувиль и где Ля Рошель?

На этом Тони оборвал свои мысли и шел безостановочно, пока не достиг гребня последнего холма перед началом широкого мелового слоя, выходящего здесь на поверхность. Вся местность близ него была изрыта и заросла лесом — окультуренные остатки старого дремучего бора и болот, над которыми вздымались суровые, безлесные меловые холмы. Легко понять, почему древнейшая цивилизация держалась этих высот, распространяясь вдоль обнаженных краев с центрами в Эйвбери и Стоунхендже. Долины были слишком уязвимы и опасны. В ясном воздухе Тони увидел очертания одного из больших древних земляных валов, защищавших гребень возвышенности от северных нашествий, а там, в глубине долины, взгляд его улавливал незнакомые очертания вздымающейся фабричной трубы — сторожевой пост промышленного нашествия с юга. Та же слепая борьба, чтобы выжить за счет других. Закон джунглей по Уолтеру. Примеры: римский легион и средневековая церковь. Интересно, что единственными европейскими колонизаторами, которые не были бессовестными негодьями и головорезами, были испанские иезуиты в Парагвае.

Тони дошел до деревни вскоре после полудня, потратил полчаса на осмотр исключительно холодной церкви, а затем пошел позавтракать в деревенский трактир. Обычное оскудение английской деревни: при всем плодородии близлежащих долин Тони могли дать только привозного хлеба

и сыра и весьма второсортного пива. После завтрака он зажег трубку, вынул записную книжку и начал писать, часто отрываясь, чтобы поразмыслить.

«То, чего я ищу, — это своего собственного эквивалента жизни ля-рошельских рыбаков. Равноценной подлинности. Разумеется, было бы нелепо, если бы я вздумал подражать им: я просто был бы слабоумным. Но, позволяя впихивать себя в класс «трувильцев», я оказываюсь в некотором смысле гораздо хуже всякого слабоумного. Во мне это не пуританство. Они недостаточно чувственны. Они живут на грубых возбудителях — коктейлях, азартной игре, безлюбивой сексуальности. Это не по мне. Бог создал их для того, чтобы они коверкали себя. Но такое существование не для меня.

Жизнь — ничто, если она не приключение. В настоящий момент я являюсь чем-то вроде «делового» наемного танцора; то, что должно бы являться содержанием моей жизни, снисходительно зачисляется в разряд пустяков, которыми занимаются для препровождения времени. Не годится! Что же тогда? Бросить дело и жить на отцовское наследство? Стать мелким «рантье» — жить скудно, думать прежде всего о безопасности, сопротивляться всякому благородному усилию, направленному к освобождению человечества, чтобы спасти свой чертов капитал? Нет, будет рисковать! Прыгать, так прыгать. Хуже всего смерть, а люди живут и в Сибири.

Никто не может по-настоящему уйти от финансово-коммерческой машины. Прямо или косвенно она захватывает весь мир и быстро или медленно уничтожает все, кроме самой себя, и в конце концов должна будет уничтожить и себя самое. Не теперь, даже еще не скоро, но это случится обязательно, потому что она уничтожает все естественные жизненные импульсы. Стать богаче других и затем лечить скуку возбудителями — это не может привести ни к

чему другому, кроме смерти. Момент не равноценный. Лучшее тяжелая жизнь, чем глупая.

Никто не может уйти, но я, по крайней мере, не нуждаюсь в уступках. Если я откажусь от своей службы, это будет не просто отказом: это будет осуждением. Я могу продолжать свое существование в качестве высокооплачиваемого ненужного зубца в этой машине, молчаливо соглашаться с нею, поддерживать ее, и потому для меня будут обязательны ее ценности. Или же могу взбунтоваться, могу попробовать жить, могу перейти к чему-нибудь, что я считаю лучшим. Правда, я все-таки буду жить рядом с этой машиной, но этого нельзя избежать: ее тирания над всем миром хуже тирании Римской империи. В этом ее приговор. Кесарево — кесарю. Да, но сейчас я отдаю кесарю то, что принадлежит Богу.

Это личная проблема, и решение ее только личное. Я не собираюсь наставлять других или же строить какой-то теоретически совершенный мир. Ничто никогда не может быть совершенным! Правда, теперь я дошел до мысли, что неизбежна какая-то форма социализма, но наилучший социалист часто в конце концов оказывается философствующим анархистом. Я стараюсь перешагнуть к этому. Не очень логично, но зато я верен своим чувствам. Может ли кто сделать больше?»

Тони возвращался домой в свете позднего солнца, ускоряя свой шаг, ибо солнце садилось и поднялся резкий вечерний ветер; впервые за многие годы он был в полнейшем мире с самим собой. Настоящее решение принято — все остальное вопрос тактики. Единственным определением охватившего его чувства с трудом добытой свободы была мысль о том, что, вместо того чтобы покорно брести обратно, ему следует идти вперед. Некоторые пути все еще оставались. Маргарет, например.

* * *

Такое счастливое настроение продолжалось около двух недель, в течение которых Антони, подобно человеку, услышавшему о получении духовного наследства, строил бесконечные планы будущей жизни. Его возбуждало ощущение второго рождения, и он чувствовал, что глядит на мир новыми глазами и что мир хорош. Оказалось, что в глубине души он даже любит некоторые части Лондона. Вместо того, чтобы завтракать с тем или другим из своих коллег под нескончаемую болтовню о деньгах, газетных скандалах и чемпионах спорта, Тони совсем не завтракал или же съедал что-нибудь в одном из дешевых ресторанов среди клерков победнее и машинисток. Иногда он гулял вдоль реки, глядя на караваны барж и на белых чаек, носившихся над мутной водой. Чаще всего он разыскивал те немногие остатки истинного искусства, которые сохранились в городе Шекспира — холодные приделы собора в Саутуорке, статуи на большой площади Святой Елены, просторный, полный воздуха неф голландской церкви, когда-то принадлежавший монахам-августинцам, торриджианиевский* ольдермен в часовне государственного архива, похожий на флорентийского сенатора. Когда у Тони бывало время, он проводил час среди венецианцев в Национальной галерее или же с греческими вазами и этрусской терракотой в Британском музее, и его восхищение усиливалось с каждым днем. Как они живы, как жизненны, как ясен энергический язык, которым они говорят! Не какие-нибудь мертвые кости или мертвая культура, а живая запись чувств и жизненных ощущений человеческого племени! Странно, что все они казались ему такими мертвыми семь лет тому назад, странно, что он жил так долго с этими вещами, бывшими совсем рядом, под руками, и ни разу не взглянул на них, и странно, что теперь они стали значить для него так много! Какая великолепная ирония в том, что буржуазно-коммерческо-

финансовый жульнический мир в виде трофеев контрабандой сохраняет противоядие от самого себя, свидетельство того, что люди когда-то жили, остро переживая все, и могли бы так жить и снова!

Отчасти потому, что Тони знал, что в будущем у него будет гораздо меньше денег, отчасти в виде бунта против всякого бесполезного налета так называемой цивилизации, он испытывал наслаждение, стряхивая с себя обременительный комфорт. Что за мерзость все эти гадкие приспособления! Расставаясь со своим бесполезным имуществом, Тони получал бесконечно больше удовольствия, чем когда приобретал все это. Какая ошибка искать постоянства и устойчивости, окружая себя предметами, которые налагают рабство владения! Дворец, да, но не милый основательный домик. Лучше рюкзак за плечами и свобода! Узнать снова текучесть, непостоянство, преходящесть мира. Приспособиться к этой действительности. Однажды после обеда Тони медленно ходил взад и вперед по Бонд-стрит*, внимательно глядя на витрины, и был преисполнен глубокого удовлетворения при мысли, что не видит здесь ничего, что ему действительно хотелось бы купить, хотя у него лежало в бумажнике пятьдесят фунтов и он разрешал себе максимум искушений. Тони вернулся к себе в контору, читал и надписывал документы, подписывал письма и отдавал приказания в таком блаженном состоянии, как солдат, который знает, что он добился отпускного билета.

Да, поскольку в колесе человеческих дел всегда оказывается какая-нибудь поганая спица, так и Антони обнаружил, что его настоящему и предвкушаемому счастью мешают мысли о Маргарет. Он инстинктивно догадывался, что Элен передала Маргарет все, сказанное им тогда в лесу, и проклинал недостаток осторожности, свою неспособность

понять после стольких уроков, что нельзя никому доверять. Он чувствовал, что Маргарет наблюдает за ним, но так как продолжал держаться заведенного порядка, то она ничего не говорила. Казалось, она не замечала, что он все чаще и чаще отказывается пойти куда-нибудь вечером с ее друзьями и сидит в одиночестве, перечитывая английских поэтов или размышляя. В то же время он ощущал какую-то натянутость в их отношениях и замечал чуть заметное расхождение. У него не хватало духу причинить Маргарет боль, а еще больше было неприятно предвидение сцены или ряда сцен из-за его решения.

Неловкость начала отравлять спокойствие и счастье Тони. От вопроса: что сделает Маргарет по такому-то поводу? — он переходил к более волнующей проблеме — имеет ли он право навязывать жене свое решение в виде *fait accompli*¹. Чем больше он думал об этом, тем больше росло его смущение и тем меньше он был уверен в своей правоте. Он ждал, что окажется в одиночестве, и приготовился к тому, что все решительно будут против него. Как быстро Маргарет подхлестнула своих союзников! Ему казалось, что он видит, как они подходят со всех сторон, подобно привидениям, собирающимся к палатке Ричарда Горбатого*, чтобы заклинаниями принудить Тони вернуться к «мясным котлам» и полянам для гольфа. Отец Маргарет, благодушный и ловкий; ее дядя, деловой деспот, с ужасающей волей, но почти идиот за пределами своего царства, где обрабатывают людей ради денег; его коллеги-директора, презрительные и снисходительные; Уолтер, дипломат, циник и хулиган; Элен, ласково-ядовитая и оскорбительно-сочувствующая. Харольд, искренно удивляющийся, как это можно обижать стариков; а за ними еще многочисленные отряды и группы знакомых и полужнакомых, каждый

¹ Уже свершившегося факта.

со своим *bon-mot*¹, со своим ржанием и враньем, — все, все они будут здесь! Ну, если они все враги, пусть приходят! «Дайте мне другого коня, перевяжите мои раны!»²

В ближайшую субботу днем Тони сел в автобус, идущий в Хайбери, чтобы посоветоваться с Диком Уотертоном. День был холодный и мрачный, с резким, порывистым ветром, однако Тони занял переднее место на империале и поднял воротник пальто. Автобус скоро вынырнул из Вест-энда и, медленно пробравшись через мутную сумятицу Теобальдрода, быстро повернул по направлению к Ислингтону. Товарные склады, конторы, лавчонки, ряды заплесневелых домишек, одни со ступеньками, железными перилами и подъездами, другие без них, респектабельность более чем обтрепанная, опустившаяся до оскудения, ставшая безобразием, грязные окна, желтые кирпичи, закоптившиеся до бурого цвета, черная поверхность улицы, отполированная до блеска бесчисленными колесами. Чувство такой тоски и безнадежности даже в грохоте уличного движения и суетке запруженных толпою тротуаров, — как же должно выглядеть все это за час до рассвета, когда только молчаливая нищета домов наполняет улицы вонючим туманом? Если вам нужен памятник для этого столетия неверно направленных лихорадочных усилий, посмотрите вокруг себя! Даже самая мысль о такой жизни невыносима!

За «Ангелом»* уличные ларьки уже приготовились к субботней вечерней торговле: ярусы красноватого мяса, кучи не совсем свежих овощей и неважных фруктов, одежда массового изготовления — все это приветливо воспринимало уличную пыль и запах бензина. Автобус с гудением медленно продвигался сквозь расступавшиеся перед ним

¹ Остроумным словом.

² Шекспир, «Ричард III».

черные людские волны, как тяжелая лодка пробирается через смоляное озеро. В холодной, гнетущей тоске Тони все глубже и глубже погружался в сомнения в себе, в своих чувствах и надеждах. Мрачный страх перед толпой затопил его, смешавшись с глубоким сочувствием, с почти отчаянным желанием сделать что-нибудь для них. Лишенные наследства! Но что же делать? Промышленности нужны были руки, и она получила их: теперь промышленности не нужно столько рук, но они все еще здесь. Ужасная, ужасная ответственность! На одном конце безнадежная, бесконечная машина, на другом конце — Трувиль. С точки зрения работающих у машины Тони был таким же врагом, как и Трувиль: с такого расстояния разница незаметна. Они все получали или, по-видимому, получают кое-что за свое безделье. Может быть, Робин и Крэнг каждый по-своему ближе к подлинной человеческой правде, чем он. Во всяком случае, они пытаются сделать хоть что-нибудь с этим беспорядком. Какое у тебя право подбирать свои одежды по-выше и идти по другой стороне дороги, в самодовольной страсти к красоте и прекрасным местам мира? Но что делает Робин с ними, если ему удастся подстрекнуть их на удачное восстание? Где достанет он хлеба и рыбы для такого множества?

Улица Уотертона имела гораздо менее унылый вид, чем этого боялся Тони. Это была довольно широкая аллея с высокими безлистными платанами, заполнявшими небо темным сложным узором своих ветвей; в маленьких палисадниках на кустах сирени наливались почки и скудно цвели португальские лавры. Уотертон занимал две комнаты в верхнем этаже с видом на деревья и маленькие полосы садов, одни запущенные, другие в чистоте и порядке. Одна комната была заставлена книжными полками; в камине горел уголь, а в углу на маленьком столике стояла закрытая

пишущая машинка. Парализованная рука Уотертона висела на черной повязке; у него был вид человека, почти беспрерывно испытывающего боль; но он весело и тепло приветствовал Тони и, казалось, был рад его видеть. Они вместе просмотрели несколько книг, а затем уселись по обе стороны камина. Тони не совсем ясно представлял себе, как ему начать разговор о своих затруднениях, и чувствовал себя ужасно неловко.

— Что, вы до сих пор снимаете эту мастерскую? — спросил вдруг Тони.

— Нет, я давно ее бросил. — Он помедлил и затем прибавил: — Когда-то я думал, что, может быть, вернусь к скульптуре, но...

Тони кивнул головой, зная, что неоконченная фраза обозначает, что такое занятие оказалось невозможным для инвалида.

— Я всегда буду вам благодарен за предоставление мне этого убежища после моей демобилизации.

— Ба! — это пустяки, — сказал Уотертон, смеясь. — Ведь вы же платили за наем, не правда ли?

— Это не было пустяками. Это было исключительно важно для меня. Вероятно, вы не поймете, если я скажу, что ваш поступок помог мне решиться жить.

Уотертон уставился на него и засмеялся снова:

— Нет, вероятно, не пойму!

— Ну не буду пытаться объяснять! Но вы можете понять, что у меня по отношению к вам долг благодарности, до сих пор неоплаченный. Все эти годы я хотел сказать вам об этом. — Тони остановился и затем неуклюже прибавил: — Если бы я мог быть вам полезен хоть чем-нибудь теперь или в будущем, вам стоит только обратиться ко мне.

— Вы очень добры. Запомню это. Но мне кажется, что в настоящее время в этом нет никакой нужды.

— Но вы удовлетворены своей жизнью? — настаивал Тони. — Вы счастливы? Не были бы вы счастливее, если бы....

Он собирался прибавить: если бы у вас было немного больше денег, — но удержался. Уотертон засмеялся с оттенком легкой горечи.

— Размах моей жизни не может не быть ограниченным. Вы знаете, что до войны я был актером?

— Да.

— Разумеется, я не могу вернуться в таком виде на сцену. Я не могу рассчитывать на роль. Мысль о скульптуре всегда была несостоятельной. Я несколько раз пробовал заниматься конторским трудом, но бросал его. Теперь я пишу рецензии о пьесах для одной из вечерних газет. Пробовал было научиться пользоваться пишущей машинкой, но с одной рукой ничего не получается. Во всяком случае, это лучшее занятие из всех возможных для меня. Я все-таки могу сохранять связи со сценой.

— Но вы не чувствуете неудовлетворенности от своей жизни?

Уотертон пожал плечами.

— Что хорошего было бы от этого?

— Ну а я не удовлетворен своей жизнью и замышляю большую перемену, — сказал Тони, приступая прямо к цели.

— Не удовлетворены? — воскликнул Уотертон. — Что вы, а я всегда считал вас особо удачливым и счастливым человеком! Потрясающе хорошая служба, очаровательная жена, отличный загородный дом и городская квартира. Я хотел бы иметь возможность чаще выезжать за город. — Тони мысленно отметил себе последнюю фразу. — С чего бы вам быть неудовлетворенным? Может быть, вам нужен отдых?

Тони вздохнул. С ужасающей уверенностью он мог предсказать, что каждый будет советовать ему отдохнуть.

— Во-первых, — сказал он медленно, — я вообще пришел к заключению, что деловая жизнь — вздор! Даже хуже, это постепенная смерть всех жизненных инстинктов и чувств. По крайней мере для меня. Не говорю, что так должно быть для всякого, хотя не понимаю, может ли быть иначе. Настоящее владение собой и жизнью деловая жизнь заменяет владением вещами; она заменяет возбудителями чувства, вечеринками беседу, эгоизмом дружбу, спортивными играми искусство и так далее во всем решительно. Труд и промышленность необходимы, но «деловая жизнь» — это паразит, это искусство эксплуатировать промышленность и труд. Для меня она является предательством по отношению к самым основным вещам. Она обогащает немногих, обедняет многих и разрушает подлинную жизнь каждого.

— Хм! Что же вы намерены делать в связи с этим? — сказал задумчиво Уотертон.

— Бросить все. Я не намереваюсь разыгрывать Дон Кихота и разбиваться вдребезги, сражаясь с... бумагопрядильными фабриками. «Деловая жизнь» — это предприятие на полном ходу, это общепризнанный метод современности, а я думаю, что это неправильный метод и что он пожирает мою жизнь. Поймите меня. Я верю в труд; я верю в коммерческую деятельность, но в честную. И не верю в ту колоссальную паразитическую организацию, которая называет себя «деловой жизнью». Я не могу изменить ее, но, во всяком случае, мне не нужно активно поддерживать ее. И не нужно выкачивать из нее деньги.

— Но нельзя стоять в стороне. Если вы отдадите все свои деньги, то должны будете или умереть с голоду, или работать на кого-нибудь другого, и вам будет тогда гораздо хуже, чем теперь. Если вы будете жить на проценты с капитала, то прямо или косвенно будете жить при помощи того, что вы называете «предприятием на полном ходу».

— Вы полагаете, я не думал об этом, — воскликнул Тони нетерпеливо. — Все это я обсуждал в своей совести. Но бросить все — это чисто негативная сторона! Положительная в том, что я перестану принимать жизнь как времяпрепровождение и отдавать ей все свое время. Мне не нужны деньги, мне нужна жизнь! Есть миллионы вещей, которые я хочу видеть и делать, которыми я хочу наслаждаться. В некотором смысле я намерен практически заняться искусством жизни, взять лучшее из того ничтожного времени, какое мне еще остается провести на этой распрекрасной земле. Я хочу вступить в права моего наследства.

— Это звучит громко, — сказал задумчиво Уотертон, — если у вас для этого есть деньги. Но не надоест ли это вам через некоторое время?

— Надоест! — воскликнул Тони, вспыхивая. — Единственное, что мне надоедает, это переливание из пустого в порожнее в какой-нибудь конторе для того, чтобы делать деньги, которые мне не нужны, или необходимость вмешиваться в мелкую зачумленную жизнь людей, которые верят в деньги. Мне не надоест!

— Кажется, придется сказать, что вы правы, если вас так сильно задевает это, — согласился Уотертон. — Но как же ваша жена? Она одобряет это?

— Ах, вот в том-то и дело! — сказал Тони уныло. — Я ей еще ничего не говорил.

— Мне кажется, пожалуй, вам следовало бы обсудить это с ней, — посоветовал Уотертон мягко.

— Пожалуй, следовало бы. Тот факт, что я этого до сих пор не сделал, по-видимому, доказывает, что я не могу это сделать. Морально, в идее, мое решение принято. Меня беспокоит только вопрос — имею ли я право пойти к Маргарет и объявить ей как о совершившемся факте о том, что может очень отразиться на ее жизни.

— Это трудный вопрос, — сказал Уотертон задумчиво. — Я не думаю, чтобы кто-нибудь посторонний мог помочь вам своим советом. Если держаться правила «руби с плеча», то, по-моему, мне следует побуждать вас, чтобы вы сказали ей сразу же. Но, очевидно, у вас есть какие-то свои причины не делать этого. Вы думаете, она будет возражать?

— Совершенно уверен, что будет. И с ее точки зрения — с полным основанием. Она хочет вести определенный образ жизни, который я стал ненавидеть, а это в известной степени зависит от того, что я должен продолжать делать все больше и больше денег, как хороший деловой пай-мальчик. Слепо согласившись на такую сделку на целый ряд лет, могу ли я внезапно отказаться от нее?

— Никто не может решить, кроме вас, — отвечал Уотертон. — Как холостяк, я должен заметить, что большинство браков вырождается в своего рода собачью драку за верховодство, кому быть сверху. Женщины скажут вам, что вся беда в муже, мужчины — что в женщине. Я не знаю. Я только зритель. За исключением очень редких случаев полного понимания я всегда посоветовал бы терпимость и взаимные уступки. С другой стороны, нельзя быть слабохарактерным.

Они помолчали немного. Тони размышлял о только что сказанном, а Уотертон смотрел на него. Хотя Тони и признавал, что слова Уотертона, по-видимому, достаточно справедливы в качестве общего правила, но они не могли ему помочь в данном частном случае.

— Вам должно показаться, что я поднимаю отчаянный шум из-за пустяков, — сказал он наконец. — Может, это так и есть. Малый тридцати двух лет хочет бросить легкую работу и отправиться на поиски приятных приключений. Ну и что же? Кому какое дело? Да и почему кому-либо может быть до этого дело? Я не прошу помогать мне. Но для меня это решение исключительно важно и, кажется, пов-

лечет за собой пересмотр отношения ко всему на свете. Иногда я совсем запутываюсь и просто бросаю все это. Единственное, за что я могу уцепиться, это за ощущение, что моя настоящая жизнь неправильна и я мог бы построить лучшую. Если бы вы знали мою жизнь, — я не хочу расстраивать вас этой историей, хотя, может быть, она и заинтересовала бы вас, — быть может, вы могли бы счесть меня скромным примером борьбы человека со всеми его надеждами, и неудачами, и слабостями. Но я не претендую на что-нибудь большее, я обыкновенный человек, борющийся за то, что он считает правдой. У меня было очень счастливое детство, и моя дорога в жизни казалась мне совершенно ясной. Затем мне впрыснули несколько недоверенных социалистических идей — кстати, некоторые из них были довольно справедливы, — и, подобно многим из своих современников, я истратил массу времени, беспокоясь о вещах, которых не мог изменить. Может быть, я ожидал слишком многого и позволил себе ощутить разочарование слишком остро, сунул руку слишком рано. У меня было ощущение почти что мировых противоречий и вражды, как будто каждый был моим врагом. В конце концов, кажется, это обычное представление, особенно среди тех, кто хнычет на тему о мире и благоволении. Я...

— Кстати, — перебил Уотертон, который, как и большинство людей, очевидно, следил во время разговора больше за течением своих собственных мыслей и слушал только случайно, — вы коммунист?

— Нет. Я считаю, что коммунизм в практической жизни — вздор. Я не верю в классовую войну. Я ненавижу ее, как ненавижу всякую войну и убийство. Всякий настоящий мятеж должен идти глубже, гораздо глубже, и... Но что из этого толку? Я думаю о своей собственной частной жизни, и мне кажется, что при капитализме я все-таки смогу жить так, как хочу.

Но Уотертону, очевидно, было уже довольно личных бед Тони, и он отказался продолжать разговор на эту тему. Он обратил разговор на угрозу забастовки углекопов в наступающем мае и стал рисовать мрачную картину гражданской войны и несчастий, «если только правительство не будет твердым». Тони уверил его, что правительство будет так твердо, как только сможет, защищая вложенные в дело капиталы, но это, пожалуй, принесло мало утешения. И так беседа окончилась, как и большинство всяких бесед, почти на том же, на чем и началась, разве только что Тони почувствовал себя немного более уверенным в том, что он будет настойчив, вопреки всем, включая и Маргарет.

III

К концу марта Тони принял свое решение и стал действовать как можно быстрее. Ему было трудно объяснить, что именно заставило его решиться. Возможно, что настоящее решение было принято еще задолго до того, как он оставил Трувиль, и приведение решения в исполнение было только вопросом времени и подыскания оснований для подкрепления инстинктивного убеждения.

На апрельском заседании правления, после того как было разыграно обычное торжественное действо — жрецы культа денег машинально исполняли предписанный законом, но не имеющий значения ритуал, — Тони представил в письменной форме свой отказ от должности и просьбу о возвращении своего небольшого капитала. Будь для него дело менее серьезно, он пришел бы в восхищение от скрытого юмора положения и тех различных степеней комичес-

кого изумления и морального неодобрения, которое вызвал его простой поступок.

— Что это? Что это? — воскликнул председатель, с вытаращенными глазами пробегая короткую бумагу. — Отставка? Ну, ну, Кларендон! Первое апреля было вчера!

— Я вполне серьезен, — сказал Тони спокойно, стараясь пользоваться их же фразеологией. — Это заявление представляет мое обдуманное решение, и я прошу правление дать делу законный ход.

— Но это чрезвычайный и неслыханный поступок! — сказал председатель, отклоняясь на спинку своего трона и хлопая рукой по столу — жест этот должен был означать непреклонную волю и острую до едкости пронизательность. — Человек вашего возраста, перед которым вся жизнь и которому мы предлагаем такое будущее, отказывается от должности! Я... право, Кларендон, я должен серьезно просить у вас объяснения. Объяснения! — повторил он, оглядывая стол и словно ожидая аплодисментов своей превосходительной мудрости. Тут раздались сдержанные голоса: «Да, да, в самом деле», «Совершенно верно!», «Мы должны добраться до сути дела». Комическая сторона положения едва не заставила Тони расхохотаться самым роковым образом, а каменный, изумленный взор дяди Маргарет не облегчал для него труда подавлять этот смех, так и распиравший ему бока.

— Мне жаль, если вы видите здесь что-нибудь... э... э... неправильное, — сказал Тони, борясь со смехом, — но... это то, что я намереваюсь сделать. Что же такого необыкновенного в отказе от должности?

— В ваши годы? — спросил председатель. — К тому же как мы можем знать, что вы не собираетесь перейти к нашим конкурентам и унести с собой ценные секреты, которые вы здесь узнали?

— Я не знаю никаких ценных секретов, — отвечал Тони, — но во всяком случае даю вам слово, что я не буду

сообщать ничего из того малого, что я узнал здесь, и не перехожу на службу ни к какому другому обществу.

— А как насчет изъятия вами своего капитала? — председатель игнорировал последнее замечание Тони. — Сумма большая. Это будет крайне неудобно! Вы намерены выбросить свои акции на рынок?

— Конечно нет! Если другие держатели захотят их купить, я готов ждать любой приемлемый срок. В противном случае буду спускать их маленькими партиями.

— Почему же не оставить их у себя? У вас отлично помещен капитал, и вы получаете высокий дивиденд.

— У меня есть веские личные причины для изъятия из дела этих денег.

Председатель глубоко вздохнул и обвел взором стол, словно желая сказать: «Ну, что же нам делать с этим неблагодарным мерзавцем?» Дядя Маргарет, который все краснел и краснел, вмешался в этот момент и обратился к Тони.

— Следует ли нам считать, что вы вполне серьезно делаете свое абсурдное предложение?

— Совершенно серьезно.

— А если мы откажемся поддержать его? (Прославленная твердость характера в полном блеске.)

— Боюсь, что вам придется согласиться! — сказал Тони просто. — Мое решение принято.

— Следует ли нам предположить, что ваш... э... э... необъяснимый поступок означает сомнение в финансовом положении общества?

— Нисколько, — безразлично сказал Тони. — Ничуть не сомневаюсь, что оно в таком состоянии, которое с вашей точки зрения можно было бы назвать вполне благополучным.

— Значит, вы переходите в дело какого-нибудь иного типа? Хорошенько подумайте. Это ошибка в ваши годы,

особенно когда вы уже крепко поставили свою ногу на первую ступеньку.

— Я не собираюсь заниматься ничем, что вы назвали бы «делом».

— Вы хотите сказать, что в вашем возрасте вы предполагаете удалиться от дел и ничем не заниматься? Прозябать в лени? Как вам это удастся с вашим пустячным капиталом?

— С меня хватит. И уверяю вас, я буду гораздо больше занят, чем был когда-либо занят здесь.

— Я не понимаю вас.

— Какое это имеет значение! — бросил Тони устало. — Я не могу вам объяснить. Ведь вполне достаточно того, что я сам знаю, что хочу делать.

Дядя покраснел еще больше, и Тони мужественно приготовился уже к вспышке гнева; но, по-видимому, какая-то мысль осенила старика, и он обратился к председателю в самом пышном директорском стиле, который, как было известно Тони, он надеялся перенести в один прекрасный день в палату общин.

— В течение моего долгого делового опыта, — сказал он, — многие молодые люди попадали в мой кругозор. Поэтому, я могу позволить себе сказать, что мне известны все трудности и опасности, которые сопутствуют успешной деловой карьере, и, с вашего разрешения, я бы хотел наметить некоторую поправку к этому... неудачному... и близоукому... проекту нашего молодого друга.

— Пожалуйста, — сказал председатель.

— В такое напряженное и неопределенное для промышленности время, как сейчас, каждый человек должен быть на своем посту для блага всей нации. Мне не надо напоминать вам, что налоговое обложение велико, а трудности получения прибылей все увеличиваются. Нельзя швырять людьми!

«Как он борется за то, чтобы удержать деньги в семье! — подумал Тони. — Сейчас мы услышим, что Бог гневается».

— По моему мнению, наш молодой друг, у которого нет ни нашего опыта, ни нашей ответственности, поступает с непостижимым легкомыслием. Но молодые люди остаются молодыми людьми, и мы, понимающие в жизни больше их, должны быть готовы обращаться с ними снисходительно, пока они окончательно не привыкнут к упряжи.

— Старый лицемер, — пробормотал про себя Тони, — не воображай, что тебе удастся посадить меня в лужу!

— По моему мнению, наш молодой друг действовал поспешно, под влиянием минуты, не вполне обдумав последствия, и я думаю... нет, я уверен, что надо дать ему возможность хорошенько ознакомиться со всеми перспективами. Намечаемое мною предложение состоит в том, чтобы дать ему время обдумать этот вопрос в течение двухмесячного отпуска.

— Разумеется! — сказал председатель. — Конечно! Ему нужен отпуск!

— Да, отпуск, — сказали все, как бы испытывая огромное облегчение, что найдены сразу и объяснение такого еретического и оскорбительного поступка, и способ сплавить Тони с глаз.

— Ваша отставка будет лежать на столе до июньского заседания правления, — сказал дядя Тони, — и к тому времени, когда заседание состоится, я уверен, — я уверен, что мы все уверены, что вы сами возьмете обратно свое заявление. Поезжайте в отпуск, мой мальчик, веселитесь, но время от времени думайте серьезно о представляющихся вам перспективах и о своем долге, долге полезного и уважаемого гражданина!

Тони потерял всякое расположение к смеху. Он чувствовал, что не может дольше терпеть это глупое ханжество, и отлично видел, куда ведет его хитрая уловка старого джент-

льмена. За время мнимого отпуска — смешно, что Уотертон внес такое же идиотское предложение! — все семейные батареи, начиная с Маргарет, будут направлены на него, и его забьют до смерти. Не потому, что родственники хоть чуточку заинтересованы в нем лично, но потому, что его жизненное назначение состоит в добывании денег, как можно больше денег для Маргарет, чтобы она могла тратить их на взлезание все выше по общественной лестнице.

Тони встал и взглянул на собравшихся.

— Я вижу, что для меня совершенно бесполезно пытаться объяснить свои мотивы, — сказал он. — Вы их не поймете. Я почтительно отклоняю это предложение. Мое решение безусловно и окончательно. Вы можете соглашаться или не соглашаться с ним. Я уйду в отставку и больше не буду брать ни жалованья, ни директорского вознаграждения. И кроме того, пока мои деньги остаются в обществе, я не стану брать за них больше пяти процентов, — все, что свыше, будет возвращаться. Единственная просьба, с которой я к вам обращаюсь, это оставить на службе моих секретаря и машинистку. Я уйду и не вернусь. Прощайте!

И он вышел, не обращая внимания на протесты и восклицания.

Так все это произошло. Тони попрощался со своими подчиненными еще до начала заседания правления и оставил в полном порядке свой стол и бумаги для передачи заместителю, — если такой ненужный спекулянт на почве промышленного непотизма* должен иметь какого-нибудь заместителя. Следовательно, он мог сейчас же уйти из конторы. Но когда он спускался по полированной гранитной лестнице с сияющими медью и лаком перилами, у него было такое ощущение в затылке, словно в него вот-вот выстрелит какой-нибудь снайпер, — дядя Маргарет мог вынырнуть внезапно из какой-нибудь боковой двери и

начать новый добродетельный спор. Швейцар дотронулся до шапки, и Тони дал ему бумажку в десять шиллингов в виде очистительной жертвы.

Как только он вышел на улицу, настроение его перешло в сдержанное ликование. Он понимал, что битва только начиналась, что на него еще будут выпущены все домашние ударные отряды, но и понимал с глубокой уверенностью и удовлетворением, что теперь он навсегда свободен. Одиннадцать тридцать, и на красном автобусе объявление о пьесе, которую «вы обязательно должны видеть». Вставьте «не!» Тони решил, что нужно будет немедленно продать, заложить или подарить кому-нибудь свой костюм для хождения в контору. Фирма со всем, что было с ней связано, уже отдалась от Тони на расстояние пяти тысяч световых лет!

Он остановился на краю тротуара у Английского банка, поджидая возможности перейти улицу, и вспомнил, как много лет тому назад он велеречиво говорил Уотертому на империале автобуса о том, что не следует присоединяться к человеческой динамо-машине. Понадобилось много времени, и он шел извилистыми и неудовлетворительными путями, но на этот раз выход окончательный. Он стал напевать:

Еще разок осмотрят ранец,
Еще раз в церковь поведут...

Из телефонной будки он позвонил в бюро Джульена и условился зайти за ним позавтракать. Немного позже, в поисках тихого места, он завернул в собор Святого Павла, но его почти моментально выгнал оттуда ужасающий лязг — ремонтировали свод, и кроме того, невыносимо резала глаза ошибка Холмана Хэнта в изображении Мессии. Подобно всяким иным отщепенцам, он нашел себе убежище на набережной, прислушиваясь к симфонии трамваев и со-

зерца красоты рекламного искусства на другом берегу реки. В виде дани их блестящим пожеланиям он дал клятву никогда больше не пить шотландский виски именно этой марки или одурять свои умственные способности специально этой копеечной газетой. Так окупается реклама. Проведя очень приятный час и полный восторга от ощущения свободы, в половине первого он пошел к Джульену.

Круглощекий и светловолосый Джульен выглядел до смешного молодо в черном пиджаке, полосатых брюках и крахмальном белом воротничке. Чистенький котелок и лайковые перчатки лежали на письменном столе, где не красовалось никаких бумаг. Для такого профессионального наряда, право, не было никаких причин, ибо было весьма маловероятно, чтобы Джульену когда-либо поручили какое-либо дело, но так как он выжимал из своих родителей целую тысячу фунтов в год на основании того, что вдруг он станет верховным судьей, то его платье имело некоторое оправдание как маскировка. Тони сочувствовал, но удивлялся, зачем это журналист по призванию из-за чужого тщеславия тратит свою молодую жизнь в камерах суда, вместо того чтобы следовать своим настоящим склонностям.

— Я помешал? — спросил Тони, видя, что Джульен пишет.

— Нисколько! Я только сочиняю парочку обзоров, чтобы помочь одному парню, которому нужно уехать в Твикенхэм. Ему не дают писать отчеты о футбольных состязаниях — стиль у него недостаточно хорош.

— Понимаю. Где мы будем завтракать?

— В клубе?

— Нет. Я не войду больше ни в один клуб, разве лишь по какой-нибудь несчастной случайности или же по божьему попущению.

Джульен уставился на него.

— Что вы хотите сказать?

— Сейчас расскажу. Мне нужно исповедаться.

— О! (равнодушно.) Ну, тогда у Симеона?

— Нет. Пусть это будет трактир, и к тому же дешевый.

— Т р а к т и р! — воскликнул Джульен, инстинктивно оглядывая свой безупречный костюм. — Чего ради?

— Я скажу, когда мы будем там. А пока надевайте свое элегантное пальто и идем.

Подобно большинству молодых англичан своего класса, Джульен был чрезвычайно чувствителен к смешному и различал тонкие оттенки благопристойности, невидимые для менее одаренных особ. Он покраснелся, утверждая, что им нельзя, совершенно нельзя идти в трактир в таких костюмах, и умолял Тони пойти с ним в клуб.

— Мой дорогой Джульен, — сказал Тони, — что такое ваш клуб, что такое всякий клуб, как не снобистский трактир, где собираются скучные люди? Никогда больше не стану я слушать дурацкие голоса, бубнящие о лордах, о том, что птицы летают на свободе, и о том, что следует делать члену парламента. Кроме того, мне нужно поговорить с вами.

В «Адельфи» Тони нашел местечко с посыпанным опилками полом, где можно было сидеть на высоких табуретах у стойки и есть жесткое мясо, овощи и пить пиво. Джульен выглядел таким огорченным и несчастным на этом табурете, что Тони стало его жаль: ведь он-то будет обладать многим!

— Зачем вы меня сюда привели? — спросил Джульен сердито.

— Прежде всего — не выпьете ли вы за мою новую жизнь? — Видя озадаченность Джульена, Тони прибавил: — Я забыл сказать вам, что я отказался сегодня от должности и сегодня утром в последний раз перешагнул порог конторы.

— Правда? — спросил Джульен спокойно. — Почему?

— Объяснения! Почему всем нужны объяснения? Считайте, что я сыт.

— Может быть, вам нужен отпуск? — невинно намекнул Джульен.

— Черт! — сказал Тони, сердясь в свою очередь. — Если кто-нибудь еще скажет мне об отпуске, я расшибу его в лепешку! К черту отпуск! Мне нужна вся жизнь. Вы-то, по крайней мере, понимаете, Джульен, что вся эта деловая беготня по кругу есть трата жизни?

Джульен пожал плечами.

— Без этого нельзя обойтись. И я бы сказал, что это и есть жизнь. Что же еще делать? Если вы хотите уходить, это ваше дело, но мне думается, что вы довольно скоро соскучитесь и вас потянет обратно в упряжку. Вам хочется всю жизнь быть лодырем?

Тони вздохнул. Джульен отчасти ослабил остроту его удовольствия. Он был почти как всякий другой, кто благоденствует благодаря «предприятию на полном ходу»; когда по-настоящему дошло до дела, его не отличить от дяди.

— Хорошо, — сказал Тони, — я сам пью за это и не прошу вас присоединяться. За мое счастье в это время через год!

— Кстати, — спросил Джульен, когда Тони ставил на стол свою пивную кружку, — что об этом говорит Маргарет? Она одобряет?

— Она еще ничего не говорит, потому что я ей не сообщал. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что она не одобрит и найдет многое, что сказать.

— Не говоря уж об остальных членах нашей семьи.

Тони набивал трубку и ничего не ответил. Джульен искоса поглядел на него.

— Я часто хотел спросить вас, — сказал он запинаясь, — почему вы женились на Маргарет?

Тони с легкой внутренней дрожью отметил этот вопрос, потому что он снова поднимал старые проблемы и воспоминания, которых Тони всегда старался избегать. Он чиркнул спичкой и зажег трубку, отлично разыгрывая спокойную задумчивость.

— Это была бы длинная история, — сказал он, — впрочем, ее можно было бы и укоротить. Но почему люди вообще женятся?

— И все же я часто думал, что Маргарет не подходящая для вас жена. Всегда во всем этом было что-то непонятное.

— Большинство братьев не могут себе представить, что именно видят другие мужчины в их сестрах, — сказал Тони со всей легкостью, на какую был способен, — если только, конечно, они случайно не принадлежат к тем, кто кричит о «чести моей сестры». Но вот что, Джульен, не поедете ли вы завтра со мною во Францию?

— Зачем это?

— Бродить, болтать и смотреть на всякие вещи. Мы можем купить рюкзаки после обеда и уехать утром с первым поездом. Я хочу поехать в Шартр*.

Джульен сделал гримасу.

— Терпеть не могу прогулки пешком, — сказал он небрежно. — Устаешь, да и жарко! Кроме того, это по-студенчески. Почему бы вам не взять автомобиль, Тони?

— Потому что он мне не нужен. Так вы не поедете, Джульен? Мы можем делать легкие переходы и изучать местные вина.

— Очень жаль, но я не могу ехать. Мне бы это не доставило удовольствия — слишком медленно. И затем... — Он поколебался. — Вы знаете, это пока еще секрет, но со следующей недели я начинаю регулярно писать передовые...

— Нет, правда? — прервал Тони. — Но это великолепно! Я ужасно рад, Джульен. Я всегда думал, что в этом ваше призвание. Представляю себе вас столпом консервативной

прессы! Ну, за ваше счастье! Забавно, что мы оба одновременно бросаем службу.

— Вы не будете рассказывать об этом, не правда ли? Даже Маргарет?

— Конечно нет! Сначала хорошенько окопайтесь, а потом уж поднимайте шум. Я поддержу вас — в том малом, что я могу сделать. Думаю, что семейство будет не очень ласково со мной.

— Это не даст в настоящий момент больших денег, — сказал Джульен, оправдываясь, — но все же есть надежда получать тысячи две в год.

— Почему всегда думать о деньгах? — ответил Тони с досадой. — Поскольку есть на что прожить, все дело в самой работе. Я бы страстно хотел, чтобы была на свете какая-либо работа, которую мне хотелось бы выполнять. У меня совсем другое. Человек, которому в наши дни можно завидовать, это художник, артист, могущий зарабатывать себе на жизнь, не принуждая себя к дешевой или плохой работе. Он находится вне общественного механизма, и его работа является его жизнью. Но думается, что даже и он не сможет продержаться намного дольше. В лучшем случае это хождение по туго натянутому канату, который всякий трясет. Но мне жаль, что вы не едете со мной, Джульен. Я мечтал о том, чтобы побродить с вами недельки две. По-еду один.

— Вы не возьмете Маргарет?

— Боже мой, вы можете представить себе, как Маргарет тащит мешок и ночует на постоянных дворах, да еще с клопами? Я бы хотел, чтобы она поехала, если бы ей это доставило удовольствие, но она на следующей неделе собирается гостить у каких-то шикарных друзей вашей матери, а потом начнется модный сезон.

— Сомневаюсь, чтобы в этом году был какой-нибудь модный сезон, — сказал Джульен.

— Почему же нет?

— Вам, как бывшему дельцу, следовало бы знать! Предполагаются неприятности с горняками, и в кабинете заместителя редактора говорили, что если не будет достигнуто соглашение, то забастовка неминуема.

— Ну, это не повредит сезону. Горняки не ездят ко двору или в Королевскую академию и не завтракают в ресторане «Савой».

— Не глумитесь, Тони! Это, во всяком случае, нанесет огромные убытки промышленности и будет связано с денежными потерями, но если еще и другие союзы поддержат бастующих, к чему, по-видимому, они склонны, то это может повести к революции.

— К революции! — воскликнул Тони. — Из-за вопроса о заработной плате? Для начала революции нужно нечто побольше. Особенно если вожди революционной партии двигаются так деликатно, как Агаг*, и верят в неизбежность постепенности. Право, меня тошнит от всех этих бурных речей. Люди пророчили революцию еще тогда, когда мне исполнилось пятнадцать, и это продолжается вот уже двадцать лет. Она еще не произойдет. Не заражайтесь паникерством, Джульен.

— Но война же произошла!

— Да, — сказал Тони печально, — война произошла по всем правилам. Но именно потому, что ее масштаб был так огромен, она заставляет все остальное выглядеть незначительным. Люди уже дали исход своим животным инстинктам.

— Но предположим, произойдет революция, что вы станете делать?

— Буду держаться в стороне от нее. Чума на оба ваши дома. А теперь мне надо идти домой и пройти еще через разные объяснения.

— Вам будет трудноато объяснить Маргарет, да и вообще кому бы то ни было, почему вы выбросили вон две тысячи фунтов в год и карьеру дельца. Но держу пари, что ровно через год в это время вы будете снова здесь!

— Я не принимаю вашего пари. Это было бы нечестно. Итак, обратимся к объяснениям, ну, ну!

Оставшись один, Тони медленно пошел к Трафальгарскому скверу, почти не обращая внимания на направление уличного движения и на людей, спешивших или бесцельно слонявшихся по панелям. Разговор с Джульеном не принес удовлетворения, и Тони в своем волнении — а может быть, и тщеславии — был немало обижен безразличием Джульена. Довольно неприятно с трудом шадить чужие чувства и в результате убедиться, что их и не существует. Путем постоянных размышлений Тони дошел до убеждения, что он не только просто Антони Кларендон, по личным причинам бросающий выгодную службу, но и символ поколения и нации, произносящей приговор обманным ценностям опустившейся цивилизации. И отношение Джульена было важно для него, потому что в понимании Тони Джульен тоже был символом; Тони не забыл того внезапного взрыва, годы тому назад, около Корфе, когда мальчик обнаружил внутреннее отчаяние, бывшее, казалось, признаком скрытой борьбы за какой-то идеал. Он рассчитывал на немедленный отклик, на энтузиазм и встретил только холодное равнодушие, которое превратило весь разговор в мелкий факт из газетной хроники. Если даже Джульен был равнодушен, не потрудился понять... Тони испытывал гнет полного одиночества, ощущение постоянного *malentendu*¹ между самим собой и всеми, кого он знал. Если бы только он встретил хоть одного, всего лишь одного человека, кто согласился бы с ним без сердитых или презрительных тре-

¹ Непонимание.

бований объяснить его поведение. Но это и м следовало бы объяснить, почему они продолжают участвовать в этом проклятом обмане. Или они, в конце концов, правы, а он просто несговорчивый дурак и простофиля?

Он завернул в Национальную галерею и, пройдя несколько зал, сел перед Тициановым Бахусом и Ариадной. Что сказал бы Тициан, если бы его попросили «объяснить» эту картину? О, об этом его без сомнения попросили бы, живи он сейчас среди этих бесчувственных варваров! Вероятно, он сказал бы им: убирайтесь к черту! Взгляд Тони бродил по сочным венецианским тонам, выцветшим, как старые вышивки, но все же напоминавшим о первоначальном живом блеске — плащ цвета вина, как облачение императора, белый и синий цвета в одеждах девушки, пятнистые леопарды, темно-рыжий цвет и кармин бородатого сатира, полуобнаженные нимфы. Образы цвета и формы, удовлетворяющие сами по себе. Он припомнил Бахуса-ребенка во Флоренции у Гвидо Рени*, увенчанного виноградной лозой и улыбающегося, и смягченные временем панели Веронезе в большом дворце в Венеции. Бог Дионис, таинственное пламя темной земли, податель плоти и экстаза, белое пламя желания, вздымающееся из колесницы... Объясните это! «Простите меня, господин Тициан, мне ужжжасно х-а-а-телось бы знать, какой ма-а-ральный урок вы вкладываете в свой мирровой шедевр? Станьте ближе к микрофону, ну-ка, и будем говорить! Это передача для всей страны! Ну, говорите, господин Тициан, — весь свет слушает. Выкладывайте свое обращение к человечеству и не забудьте, что вам будет тысяча фунтов премии, если вы вставите в свою речь, что курите сигары «ля Пианола». Будьте деловым: человеком. Ну, ну, объясняйте же! Скажите этим иэху, что они олимпийцы!»

Тицианы теперь в скучных музеях и не встречаются в нашей жизни. Если бы пришел новый Тициан, его бы ос-

корбляли бесплодные универсанты и вонючие журналисты, заморенные теорией, по которой артисту (но не жокеям, боксерам и сводникам) гораздо лучше оставаться бедным, а в конце концов его посадили бы в тюрьму за оскорбление нравственности. Больше не будет никаких богов; больше не будет на земле никаких священных и тихих мест, и море наполнится нашими грязными делами, ваши женщины будут рожать, как свиньи, а вы будете трудиться, как «роботы»¹. Вас не будут оценивать по вашей внутренней стоимости, а только по вашей рыночной цене. Что же касается средств существования, то машины сделают их за вас. Утром вы скажете — дай бог, чтобы уже был вечер; а вечером — дай бог, чтобы уже было утро. Заодно с птеродактилем* и гигантским тихоходом*.

«Я должен выбраться из Англии, — сказал себе Тони, — не потому что Англия чем-нибудь отличается или хуже всего остального, но потому что здесь я связан и чувствую себя ответственным. Для меня лучше быть бедняком, голодать и умереть, чем жить этой живой смертью».

Он снова внимательно взглянул на картину, восхищаясь ее чувством меры и изящества, и подумал о том, что вот Рубенс вложил бы в эту тему динамическую, но грубую, немного вульгарную энергию, а потом, что прерафаэлиты выражают собой обесцвечение английской души, отрезанной от реальности дивидендами. С горьким ощущением потерянности и противоречий он завидовал художнику, чья жизнь полна в себе, кто живет, чтобы обогатить свою работу, и чья работа обогащает его жизнь. «Я мог бы рисовать картины, как этот юноша, которого вы так превозносите. Но нет! Превыше всего избегайте смешиваться с огромной безумной толпой тех, кто хочет быть художниками, не будучи рожден художником. Избегайте жизни и умозрений

¹ Механические люди.

неудачника и продажного льстеца, который подлаживается под вкус деловых людей. Художника переоценивают. Если он не оживляет, не делает членораздельной жизнь моей души, души обыкновенного человека, — он ничего не создает. И высшее, самое трудное искусство — это искусство жить! Если я усвоил его, мне не надо завидовать Тициану!»

Какой-то голос начал кричать: «Закрывается, закрывается», с энергией, соединенной с радостью, что удалось прервать чужие размышления, и с чувством облегчения при окончании еще одного скучного дня. Герои Мэйфкинга*, скучающие служители этого нонконформистского храма искусства, жуткие защитники Леды Буонаротти, почему бы не сделать вас маклерами при бегах и не разрешить быть счастливыми?

Несколько минут Антони стоял на террасе перед галереей, глядя на Уайтхолл*, мягкий и расплывчатый из-за тумана после моросившего дождя. Бледный, белесоватый свет исходил от позднего, прикрытого облаками солнца, и дул холодный ветер. Автобусы катились, расплескивая жидкую грязь, и зонтики раскачивались, как большие сухопутные нетопыри. Во всем этом была какая-то болезненная красота, преходящее видение мягкого света и тумана, час бесчисленных чаев и поджаренного хлеба, когда окна одно за другим вдруг оживляются желтым электрическим светом. В конторах уже вносят последние кипы писем для подписи. Тони спустился по безобразным каменным ступеням и повернул на запад, с любопытством разглядывая равнодушных прохожих и пытаясь реально представить себе, что он уже никогда больше не будет «с совершенным почтением А. Кларендон, директор». Только внутреннее пламя полной уверенности, тихое горение радости удерживало его от чувства меланхолии и одино-

чества. Еще сегодня утром он был заодно со всеми этими людьми, спешил своим путем, равнодушный к ним, но был в тайном единении с ними, потому что жил их общей жизнью. Теперь он стал зрителем, посторонним — изменником или пионером, дезертиром или солдатом из авангарда? Он помедлил немного на углу Хеймаркет и Пэлл-Мэлл, следя за нескончаемым движением и спрашивая себя: может быть, он только отвернулся от реальности или же он действительно пускается в полные приключений поиски более глубокой реальности самого себя? Но он был уверен в том, что он никогда, никогда не захочет, не сможет вернуться обратно, — последние мосты были разрушены. Если его когда-нибудь заставят вернуться к машине, он будет одним из эксплуатируемых, а не эксплуататором. В этом было какое-то удовлетворение.

Он с трудом отогнал от себя эти жалобные настроения самоанализа и быстро пошел по дороге к дому, разыскивая магазин, где бы ему купить рюкзак. У входа в большой универмаг он вспомнил, что где-то в шкафу у него до сих пор лежит его солдатская сумка. Почему бы не воспользоваться ею, это ведь настоящая вещь, тогда не придется тратить деньги на непрочную подделку!

Было темно, когда он добрался до своей квартиры и узнал от служанки, что Маргарет нет дома. Проискавши довольно долго, он нашел старую смятую сумку, лежавшую в углу вместе с разным хламом, и вытряс из нее пыль. Задумчиво глядел он на потускневшую медь и грязные ремни мешка. Внутри на откидном клапане до сих пор еще стояли его имя и название полка, написанные неразборчиво химическим карандашом пониже стертого имени и названия полка еще кого-то, — должно быть, этот солдат был убит. Сумка простого солдата — Томми! Единственная вещь, оставшаяся у него в виде личного сувенира о войне и немного заплесневевшая к тому же. Как далеко ушли, как

безвозвратно потеряны эти годы, навсегда умчавшиеся прочь в великом, бесшумном водопаде времени. Они так далеки, что пережитое в течение их кажется относящимся к совершенно другому человеку. Тот псевдвоенный Антони был так же мертв, как мальчик, который любил Вайнхауз и верил в рассказы Анни о «нашей деревне», так же мертв и забыт, как энтузиаст, который без пути и дороги пробирался по довоенной Италии в поисках... чего же именно он искал? Найти лучшее из того, чем жили и что сделали люди? Но зачем искать живых среди мертвых?

Тони отнес сумку в свою спальню и начал быстро и аккуратно складывать в нее необходимые смены белья; затем остановился и оглянул комнату, которую он так долго делил с Маргарет, и в первый раз с опустошающей ясностью понял, что он непременно, хотя и не сразу, должен уйти от жены. Подобные ощущения уже не раз посещали его и раньше, вот и за завтраком сегодня, когда Джульен мимоходом сказал об этом; но до сих пор он увертывался от решения, со смутной надеждой, что «все само устроится». Ничто никогда само не устраивается, во всяком случае, в личных отношениях: все, что он делал и чувствовал за последний год, все, чем он надеялся стать и быть, неизбежно отделяло его от Маргарет.

Держа руки за спиной, он в унынии ходил взад и вперед по маленькой комнате, как годы тому назад расхаживал по мастерской Уотертонна. Как будто мало было того, что он с таким душевным трудом пробивался вперед, вел нескончаемую борьбу, — и вот еще он открыл, что на каждом шагу нужно было учитывать, насколько каждое действие, почти каждая мысль затрагивает еще кого-нибудь. Как долго могут два человека жить вместе и спать вместе и все-таки сохранять свою индивидуальность? И если их жизни расходятся, стоит ли притворяться, что они могут жить вместе, хотя бы и убого, не по-настоящему? Ужасно

причинять боль другому, кто не может понять причины этого, кому это должно казаться каким-то нелепым капризом! Странно, как между ними всегда чего-то не хватало! Как часто он просыпался с ощущением несчастья и непрочности своей жизни, словно... как бы выразить это точнее... словно внутреннее бессознательное «я», которое продолжает жить и во время сна, пророчески знало, что их отношения не могут продолжаться. И все-таки они продолжались шесть лет. О черт, как сделать так, чтобы не причинить ей боли? Как избежать какого-то с виду жестокого эгоизма?

Тони очнулся от своих мыслей, услышав, как повернулся ключ в замке и закрылась дверь. Маргарет вошла, чтобы снять шляпу и пальто, увидела открытый шкаф и наполовину набитую сумку и негодующе взглянула на мужа. Она внесла с собой атмосферу мрачного неодобрения, и Тони понял, что она уже настроена для такой роли: согласиться на эту сумасшедшую увертку с «отпуском» и считать все глупым капризом. Ее, очевидно, уже научили — с помощью мягкой женской уступчивости (которая была достаточно чужда ее природе) вернуть его, еще более мягко, на «ринг»*. Что за слабосильный заговор для его «укрощения»! — в нем какая-то оскорбительная недооценка всякой сообразительности, которая ведь могла же у него быть, — и это свело на нет очень многие из его недавних угрызений.

— Хелло! — сказала она, стараясь изобразить беспечное удивление. — Ты уже дома?

— Да. Я бросил службу и надумал поехать пока ненадолго за границу, чтобы пораздумать обо всем. Я все хотел переговорить с тобой об этом, но как-то не мог собраться.

Очень слабо все это. Но ничего.

— Куда же ты направляешься? — сказала Маргарет.

— Сначала в Шартр. Затем дальше — частью поездом, частью пешком. Хочешь поехать вместе со мной?

— Тони! Не будь лицемером! Ты сам знаешь, что хочешь быть один, тебе известно, что я ненавижу бродить по заплесневелым соборам и шляться как бродяга, и ты знаешь отлично, что я собираюсь погостить у брэнкшайрских Чолмонделей.

— Знаю. Я звал с собой Джульена. Я надеялся, что, может быть, и ты поедешь и что по дороге я смогу объяснить вам обоим... ну, что я переживаю, к чему стремлюсь, чем стараюсь быть. В конце концов, я ведь принял важное решение, которое касается тебя не меньше, чем меня. Тебе следует знать об этом.

У Маргарет был ужасно сердитый вид, и Тони подумал, что сейчас она закатит ему яростную сцену. Но вместо того она сдержалась и с видом оскорбленной материнской доброты, которая раздражала больше прямого нападения, сказала:

— Нет, дорогой, мы не будем обсуждать это сейчас. Я знаю, что ты переутомился и заслуживаешь продолжительного отпуска. Уезжай себе с богом и поступай как хочешь, бродяжничай и не беспокойся ни обо мне, ни о деле, ни о чем другом. Просто проводи получше время. И, когда ты вернешься, все будет казаться другим.

— Послушай... — начал было Тони, но Маргарет остановила его поцелуем и погладила по голове, словно он был капризным ребенком или слабоумным больным, которого надо успокоить и не противоречить ему открыто. Тони пожал плечами.

— Хорошо, — сказал он, — если ты не хочешь взглянуть фактам в лицо, я не стану стараться принуждать тебя. Но позволь мне сказать тебе следующее, Маргарет: твой дядя не имеет ни малейшего представления о положении и говорит глупости. Я бросил службу, и бросил ее совсем.

— Не обращай внимания на то, что он говорит, Тони, хотя он и принимает твои интересы близко к сердцу, поверь мне. А теперь, дорогой, позволь, я переоденусь к обеду.

Тони повернулся, чтобы идти, но остановился в дверях. — Ты прости, что я не буду переодеваться. Я хочу продать свой вечерний костюм и все эти унижительные костюмы для конторы.

Она вошла в ванную комнату, ничего не ответив.

IV

Хотя Антони ухитрился уехать в намеченный срок, но он уехал с меньшим весельем и восторгом, чем ему хотелось бы. Прежде всего, был отвратительный, сырой день, с пронизывающим юго-западным ветром, так что перспектива переезда через Ла-Манш была довольно печальной. Оказалось также, что сквозные поезда в Шартр шли так медленно и с такими осложнениями, что пришлось ехать через Париж, чего именно Тони как раз и не хотел делать. Маргарет вела себя как настоящая дрянь: она не произнесла ни слова неодобрения, не выказывала жалости к самой себе, которую так явно переживала, отвечала на замечания Тони натянутыми светскими улыбками и источала такую мрачную, упрямую ненависть, что Тони был готов поднять голову и завывать, как собака на скрипку. Она обязательно хотела ехать провожать его на вокзал Виктории, хотя он просил, чтобы ему было позволено тихо уехать одному. Но нет, Маргарет знает свой долг жены: что скажут люди, если она не проводит своего бедного, сбившегося с пути мужа? Они обсуждали это так долго, что им пришлось мчаться в такси, вместо того чтобы спокойно ехать в автобусе; и Маргарет все время молила Тони не простудиться, хотя Тони участвовал не более и не менее как в трех зимних кампаниях, и «беспокоилась» о

его одежде и о том, сможет ли он хорошо питаться — это во Франции-то?

Он пытался быть терпеливым и, стараясь выказать нежность, поцеловал Маргарет перед самым отходом поезда. Ее глаза наполнились слезами, и на лице ее появилось странное выражение, так что Тони, которому действительно следовало бы подумать об этом раньше, внезапно с ужасом понял: ведь она убеждена, что он уезжает для встречи с другой женщиной! Ясно, никакие доказательства или объяснения не убедят ее в противном, а он не чувствовал себя склонным к героическим подвигам какого-нибудь аттического атлета. Он почти застонал от ярости и раздражения и повернулся за своей сумкой и палкой, решив выяснить все сразу со всеми. Но, прежде чем он успел пошевелиться, поезд двинулся и он остался у окна, беспомощно глядя на Маргарет, махавшую носовым платочком, который в ее руках казался еще печальнее, чем флаг, возвещающий о сдаче или о карантине. В несколько секунд поезд оставил вокзал позади, и Тони уже глядел на задние стены закопченных домов с тусклыми окнами.

Было что-то символическое в его отъезде, словно это было одним из тех рядовых происшествий, которые изменяют всю жизнь. Антони испытывал глубочайшее стремление уйти хотя бы на время от соприкосновений с людьми, особенно таких соприкосновений, которые при всей их интимности не вызывают ни переживаний, ни удовольствий. Он почти готов был плакать от облегчения при мысли об ожидавших его днях и неделях сравнительного одиночества, с редкими встречами и обыкновенной преходящей дружбой. Если уж человек должен быть одинок, так пусть он действительно будет одинок и не насилует инстинктов и чувств фальшивой близостью. Но было бы хорошо, ах, как было бы хорошо поменяться жизнью с кем-нибудь другим! Он жил бы как в изгнании, жил бы как чужой, даже для Маргарет и Джульена.

* * *

Тони нашел комнату в маленьком отеле около Монпарнасского вокзала и справился о часе отхода первого утреннего поезда в Шартр. После обеда он прошелся по бульвару в сторону тех кафе, о которых смутно помнил, что они были перед войной местами встреч студентов и художников. Как давно это было? Двенадцать, тринадцать лет тому назад. Забавно снова ходить по Парижу, и немного неловко, что здесь, в столице, он одет в английский спортивный костюм. Ничего, на левом берегу все одеты, как им вздумается. Какие пространства разделяли его и Маргарет даже в те дни! Пожалуй, надо было бы прислушаться к внутреннему предостережению... может быть, может быть... и не допускать, чтобы она вцепилась в него, спасаясь от одиночества и отчаяния... Он был отвлечен от своих мыслей, оказавшись в ярком свете трех огромных кафе, на террасах которых горели жаровни. Хотя было уже больше десяти часов, но беспрестанно подъезжали такси и повсюду хлопотали официанты. Тони остановился в изумлении. Неужели же эти пышные, показательные рестораны — те самые маленькие кафе, куда несколько лет тому назад бедняки, умиравшие от голода по идеалу, приходили в поисках тепла и места, где можно было бы поговорить друг с другом за несколько пенсов?

Антони медленно прошел мимо террас до края бульвара Распай, увидел, что на противоположном углу открылся ночной клуб, и затем медленно же пошел обратно. Длинные ряды столов были заняты разнородным и неприятным множеством всяких проходимцев и кривляк, там были муже-женщины и жено-мужчины, шарлатаны, сводники, проститутки-любительницы, негры, многочисленные жулики и евреи из Средней Европы с американскими паспортами. Не останавливаясь, Тони пошел обратно по бульвару, пока не дошел до маленького кафе «Aux Rendez-vous des Cochers

et des Chauffeurs»¹, там он сел и заказал себе кофе с коньяком. Издали он мог видеть блеск артистических огней, мог даже слабо слышать трубный гвалт артистических разговоров. Еще пример деловой предприимчивости. Это были братья по крови тех джентльменов, которые в 1919 году выцарапывали свои имена на черепах солдат под Верденом.

Еще ранним утром Тони приехал в Шартр и большую часть дня провел в соборе или около него. Дождь прекратился, но высокое небо было закрыто белыми облаками, и солнце выглядывало только случайно, так что свет был ясный и неослепляющий; однако дул холодный ветер, и Тони был рад, что надел шарф и перчатки. Всякое ощущение физического неудобства сразу прошло, как только он погрузился в великую средневековую энциклопедию из камня и цветных стекол, — ученость, жизнь и чаяния эпохи были закреплены поколениями художников в одном вечном мгновении. Будь Тони в ином настроении, он мог бы найти многое для критики этого гигантского альбома суеверия, но он был внутренне так истощен своей долгой борьбой и так восставал против шумной, хвастливой, разрушительной энергии американизированного мира, что вид Шартрского собора бесконечно утешал и вдохновлял его. Правда, побуждения и вера, создавшие этот собор, уже потеряли всякое жизненное значение, но даже если смотреть на него только как на прекрасную гробницу, то его величие и его концепция жизни и человеческой судьбы имели глубокий смысл. В трудных поисках слов, чтобы выразить свои собственные чувства, Тони говорил себе, что творцы Шартрского собора, несмотря на свое стремление к сверхчувственному миру, полно и интенсивно жили своими чувствами. Их дар был не в тщеславной и интеллекту-

¹ «Свидание кучеров и шоферов».

альной структуре Шартрского собора, а в живой любви к видимому и осязаемому миру и в чувстве уважения к тайне, лежащей за ним.

Он скоро увидел, что читать эту великую книгу, как Гюисманс* пробовал читать ее, было бы делом скорее недель, чем часов, и потому отказался от всяких попыток, удовольствовавшись впитыванием того, что ему было нужно от нее, — это было спокойствие и новая вера в достоинство обыденной жизни. Здесь не прославляли никаких дельцов с их тщеславием и чудовищной крикливой уверенностью, что «делание денег» имеет какой-то оправдывающий смысл; а если о них и вспоминали, то, вероятно, для того, чтобы поместить в какой-нибудь темный уголок ада, ведь их следует крепко засадить в ад, а то они сами превратят в ад небеса и землю! Ростовщик, импресарио и паразит не имеют почетного места в Шартрском соборе. Тайна создания и зачатия, рождения и смерти; слава великих вождей, царей и пророков; почитание искусств и наук; уважение к ремесленникам и земледельцам, пастухам, плотникам, каменщикам, жнецам, сборщикам винограда; у всех у них было свое место, и между ними одна вечно знаменательная сцена: мужчина и женщина сидят вместе, чтобы разделить пищу, которую они заработали вместе, — самый корень человеческого существования. Местами проглядывала какая-нибудь черточка юмора или насмешки, что моментально отгоняло всякую мысль о напыщенности или ханжестве. В то время как сцены сотворения мира были выражены с необыкновенной нежностью и благочестием, — оно, например, так чувствовалось в лицах Бога и человека, смотрящих вверх и наблюдающих за грандиозным полетом невидимых птиц, — противная преувеличенная набожность сентиментальных отшельников и святых была осмеяна в изображениях их длинных, мрачных лиц и длинных бород, простоватость пастухов в их глупых взглядах и веретенооб-

разных голенях, а в фигуре музыканта с ослиной головой, славящего Господа, насмешка становилась сатирическим фарсом. За еврейскими абстракциями и фанатизмом, таясь под «духовной» авантюрой, которая была осуждена на провал, потому что она была фальшива, все еще продолжали жить воспоминания о более древней, более здоровой религии, утверждавшей человека в гармонии с его окружением и с таинственным космосом.

Из Шартра Тони направился в Блуа* и все время после полудня ходил по дворцу, краем уха слушая перечень точных, совершенно незначительных фактов, которыми его настойчиво угощал хриплоголосый сторож. Какой поистине ужасной (из-за ее намеков на неведомые миры) может быть прозаическая точность француза! А за окном все время быстро бежала Луара. Дворец с его воспоминаниями о диких преступлениях и реликвиями пышных великолепий был немного неприятен Тони. «Он символизирует, — думал Тони, — тот момент, когда начался настоящий упадок, когда люди начали верить, что грубое тиранство над природой есть идеал, когда они начали терять связь с небом, землей и водой как некими таинственными божественными вещами и стали думать о них только как о силах, которые надо эксплуатировать ради немедленного получения прибыли, и когда всякое величие и красота стали употребляться только для целей самопрославления». Когда Тони вышел из дворца в Блуа, начался дождь. Вместо того чтобы погулять по городу и вдоль реки, что он намеревался сделать, ему пришлось до обеда просидеть в своей комнате в убогом отеле. Он написал несколько открыток, а затем после тщетных попыток читать Лэндора*, которого захватил с собой, погрузился в долгое раздумье. Он чувствовал себя в том особом состоянии ума, когда собственные слабости и промахи становятся неприятно заметными. Если растение бы-

ло долго лишено света и затем его внезапно выносят на солнце, то его бледность и болезненность более заметны, чем в темноте. Сам того не замечая, он на время до дна истощил свои внутренние силы интенсивным эмоциональным напряжением последних месяцев, тем более интенсивным, что он не мог ни с кем побеседовать и его борьба была борьбою раздвоенного сознания. Правда, теперь он чувствовал себя здоровым и в мире с самим собой, но все же, поскольку дело касалось его рассудка, он был и слаб и несчастен.

Тони закурил папиросу и смотрел на дождь, который в сумерках пятнал свинцовое течение реки и превращал дрожащие тополя в привидения. Был тот смутный меланхолический час, когда гаснут все внутренние огни и мы свою собственную угнетенность принимаем за действительный мир. Тони разглядывал выгоревший пепел своих собственных дней и познавал горечь неудачи и одиночества. Его молодая, жадная страсть к жизни, прожитой с упоением, потрясающий, сокрушительный удар, нанесенный войной, год почти безумной борьбы за возвращение потерянного, затем вторая смерть и жест отчаяния, его брак и покорность всему, что он больше всего презирал, попытка жить жизнью, удовлетворявшей тех, кто окружал его, и затем его безмолвный слабый бунт — все это казалось столь же напрасным и бесплодным, как дождь над Луарой, вода, теряющаяся в воде. В свои тридцать два года он сидит совершенно один в холодной спальне маленького французского трактира, не добившись ничего, неудачник в жизни, как и неудачник в любви. Он мечтал и утверждал, что жизнь есть наивысшее и наитруднейшее искусство, неуловимое, но требующее больше живых творческих усилий, чем даже архитектура или поэзия. Хорошенькое же создание искусства сделал он из своей жизни! Двадцать лет он был счастливым ребенком, четыре года — жалким солдатом, полтора года — полусу-

масшедшей развалиной и все остальное время — деловым паразитом. Прекрасный перечень событий для анналов времени! И когда я буду забыт, как это и должно быть...

Поражение. Бесполезно говорить: мой правый фланг погиб, левый фланг разбит, центр прорван, но я нападаю! Бесполезно также обвинять общество, членом которого ты волей-неволей являешься. Если вы просите у жизни больше, чем обстоятельства могут вам дать, вы неминуемо будете разбиты; и если вы один из тех, кто осужден быть уничтоженным в процессе общественного развития, то вы, наверное, будете уничтожены. Англия нуждается в тебе? Англия нуждается в куче песку побольше, чтобы спрятать свою крохотную голову страуса. Обращаться к истории — бессмысленно; как можем мы знать, что на самом деле сказали или сделали Нил и Илиссус*? А если это не бессмысленно, то это обескураживает. Это похоже на закон, по которому более мягкая «цивилизация» всегда должна пасть перед более грубой. Пуля вышибает мозги у твоего брата в любой момент. Очевидно, «природа» не хочет «цивилизации»... По плодам узнаете вы их!

После обеда Тони вышел в общую комнату и стал перелистывать разные газеты, лежавшие на большом пыльном столе. Среди них был рекламный журнал с Ривьеры, один из тех подлинно деловых журналов, поддерживаемых владельцами отелей, которые разводят фальшивую романтику туризма, чтобы сбывать в розницу ограниченное количество довольно скверных удобств за колоссальнейшее количество бумажных денег. Его внимание привлек один столбец на английском языке, озаглавленный: «Обед в годовщину перемирия». Он быстро пробежал его: «...если можно так выразиться, прелестно организованный»... «веселая толпа, превосходный обед, отличнейший оркестр...» «Обед? Хо-

роший и устроенный, или приготовленный, специально для британцев». «Это был, как я уже сказал, действительно веселый вечер» и затем:

«Дух «чувства товарищества», казалось, наполнял комнату, и небольшая, но прекрасно продуманная речь генерала сэра Ууфли Уима, который взял полковника Уифля к себе начальником штаба, попала прямо в точку и взволновала так же, как и фраза — пароль Империи, — «Держитесь».

«Мы держались и делали это с радостью, и поэтому мы перечислим...»

«Настоящая веселая толпа, и чтобы добавить аромат к нашему портвейну, или к специальному коньяку, мистер Джолоп раздобыл нам танцовщицу, которая танцевала под песню Элли Удворд Финденс: «Бледные руки, любимые нами».

«Итак, в постель» — как говорит мистер Пепис. Теперь поблагодарим доброго хозяина Мэрплза и его очаровательную супругу за этот очень веселый и поистине счастливый вечер».

Тони бросил журнал обратно на стол и в изумлении прошелся по комнате. По их плодам узнаете вы их! Чудовищно, — как говаривал папаша Флобер. И что случилось с английскими мозгами и чувствами, что они размякли, стали так фальшивы? Старческое ребячество, которое боится самого себя и кокетливо извиняется в собственном ничтожестве. Будь проклято это «Держитесь». Скажем лучше: «Уберите эти трупы и начинайте с начала!»

«Настоящая веселая толпа». Да, фосфоресценция дохлой рыбы. Таковы леди и джентльмены, владеющие культурой и досугом, дровосеки Империи, высасыватели дивидендов, центр внимания и зависти для соседних глаз, соль земли, наследники всех веков. О, если бы глоток воды из реки Забвения!

* * *

На следующее утро дождь все еще лил, но Тони собрался сейчас же уехать из Блуа. Он решил, что пока хватит с него соборов и замков, которые лишь возбуждают его мозг, тогда как ему нужно только выгадать время, чтобы снова начать расти и не заниматься ежедневно выкапыванием корней. Он также решил, что было ошибкой позволять себе размышлять о великих тиранах и кретинах. Живи и давай жить другим! Правда, люди окончательно губят мир, который ему необходим и который он любит, но невозможно предпринять по отношению к ним какие-либо радикальные меры, а он чувствовал небывалое отвращение к политической агитации и увертливому теоретизированию. Захватившие власть агитаторы будут не лучше других, — у них у всех одни и те же заплесневевшие понятия, в той или другой форме. Так или иначе — к черту их! Живите и давайте жить другим! Если нельзя изменить их, старайтесь уйти от них. Печально, что нельзя уйти от их дел в образе войн, индустриализма, подоходного налога и банкротств.

Итак, Тони сел в первый поезд до Тура* и под дождем пешком пустился на юг. Почти две недели он упрямо шагал к югу, делая зигзаги от деревни к деревне, иногда насквозь промокал, скверно питался в одних местах и неожиданно хорошо в других и шел все на юг, навстречу весне. Он ничего не читал и не «любовался видами», кроме тех редких случаев, когда заходил в какую-нибудь деревенскую церковь и с полчаса сидел там в полном молчании. Еще больше ему нравилось сидеть в лесу, или у дороги, или на мосту и ни о чем не думать — так попросту отдаваться нарастающему ощущению того, что он жив. Первые несколько дней, казалось, вообще ничего не нарастало. По временам он чувствовал раздражение и нетерпение и бывал очень близок к тому, что ему уже начинало надоедать одиночество, и не раз проходил через состояние действительно безнадежно-

го угнетения. Но Тони не сдавался, говоря себе, что во всяком случае воздух и движение поднимают жизненный тонус тела, становящегося дряблым от жизни в городах. Сначала он натер себе ноги, и у него ломило все тело, но постепенно стал привыкать; спал он как убитый.

На пятый день Тони наворожил себе прекрасную погоду и почувствовал, что он и весна уже встретились. Деревья, которые на севере стояли без листьев, здесь начинали потихоньку набухать почками; цветы стали появляться везде, а не только в защищенных уголках; и птицы пели во весь голос. В этот день он позавтракал экономно, но все же изысканно, в маленьком придорожном трактире, где молодая женщина в белом чепце с оборками подавала ему и нескольким рабочим свежую форель из горного ручья, вкусно пахнущий хлеб, отличное масло и бордоское белое вино. Хлеб и вино составляли основу питания, как это было в течение десятков столетий во всей Южной Европе, где до сих пор инстинктивно признается их поистине священная природа. Не только простая жадность сурово возражает против пустой траты, хлеба или вина. Они — боги! И никакая попытка одухотворения не уничтожит их материальной божественности. Так, по крайней мере, думал Тони, рассматривая людей за едой, которую подавала быстрая молчаливая женщина. Ему нравились их инстинктивная благопристойность и отсутствие самоуверенности; они ели без итальянской неряшливости, без некрасивого английского чавканья. Не выказывали они и глупой вражды к чужеземцу или попыток насиловать его уединение нескромными вопросами, — они просто и скромно относились к нему, как к проходящему мимо путешественнику.

Очень обрадованный этим проблеском живых традиций цивилизации, Тони в хорошем настроении отправился дальше в надежде, что деревня навсегда сможет быть сохранена от деляческих улучшений. Часа через два тропа,

по которой он шел по лесу, привела его к большой прогалине, где ручей бежал между покатыми берегами, покрытыми лесными фиалками. Под углом к ручью, через лес до самого горизонта шла длинная просека; взглянув вдоль нее, Тони увидел, как дикий кабан поднялся с логовища, протрусил несколько сот метров по открытому месту и затем снова скрылся в зеленых зарослях по другую сторону дороги.

Если бы не случайный крик сороки и щебетание зябликов — лес и поляна были бы странно молчаливы. Даже ручей струился с таким монотонным бормотанием, что оно казалось вторым молчанием. В весеннем солнечном свете, властно сверкавшем на редкой листве ветвей и оживлявшем темные фиалки, была какая-то мощь. Тони сел у доски, перекинутой в виде мостика, и давал всем этим вещам медленно втекать в себя. На один миг вспышка былого экстаза посетила его, чувство полного и счастливого единства со всеми вещами, словно таинственное присутствие богов, быстро пронеслось мимо, на мгновение коснувшись его в знак прощения и примирения. После стольких лет, истраченных без счастья! Он сидел совершенно неподвижно, боясь шевельнуться, боясь дышать, ощущая старое, почти забытое счастье того, что он живет, счастье, в котором было столько мира! С удивлением, но без стыда, он заметил, что слезы бегут по его лицу; потом растянулся во весь рост, закрыв лицо руками и чувствуя, как земля ласково принимает его тело. Потом разделся и выкупался там, где ручей образовывал глубокий, холодный пруд. И, прежде чем оставить это место, положил несколько фиалок у подножия ясеня, а две или три бросил в воду.

К концу третьей недели он прошел две или три сотни миль; весна была уже в полном разгаре. Затем сильный дождь продержал его целый день в одной деревне, построенной на островке, совсем не похожем на островок, так как

он был слишком велик для узких рукавов речонки, чтобы получалось впечатление, что они окружают его. Хотя карта показывала, что Тони сейчас южнее Турина, но местность все еще была плодородна от атлантических дождей и походила на северную. Деревенька из камня — со старыми домами, которые оживлялись резными наличниками и большими карнизами, с древним аббатством и галереями с балюстрадой четырнадцатого века — могла похвастаться великолепными аллеями старых вязов и каштанов, а загораживающий деревню скалистый склон был покрыт ясениями и дубами. Входя в нее поздним солнечным днем, Тони подумал, как он и раньше думал о других благодатных местах, что он никогда не видел поселка, так гармонично расположенного или столь исполненного подлинной человечности. Но на следующее утро все деревья качались от порывов бури и лил проливной дождь.

Тони решил не рисковать неизбежной простудой и надумал остаться здесь, пока ему не выстирают белья; он провел утро в чтении своих заметок и занялся довольно безотрадным пересматриванием сделанных им грубых набросков. Соглашаясь с тем фактом, что он не писатель, не рисовальщик, Тони чувствовал все же, что он может обогатить свою жизнь, записывая все, что он видел и перечувствовал. Он разрешал себе безобидную зависть к настоящим художникам. Но был рад, что ему не надо присоединяться к огромной армии претендующих на торговлю своими фальшивыми талантами. Во второй половине дня он написал несколько писем, включая и следующее к Джульену:

«Дорогой Джульен. Простите меня, что я не писал вам, но, кроме ежедневных открыток Маргарет, я не писал никому. Мне надо было отдохнуть в одиночестве, хотя, по правде говоря, бродить пешком довольно утомительно. Получением этого письма вы обязаны тому, что меня за-

держал здесь сильный дождь, но также отчасти и праздному желанию, чтобы вы во всяком случае увидели хоть проблеск смысла в моем безумии. Почему именно вы? Потому что я не забыл того разговора, который был у нас много лет тому назад около Корфе, когда вы были еще мальчиком. Вы помните? Это дало мне ключ к тому, что иначе только озадачило бы и раздражило меня, — я имею в виду неживое и мертвое, как мне кажется, равнодушие у вас и у других ваших сверстников. Для меня вы символ людей, которых труднее всего понять и принять, — тех, кто пришел после нас и нас отвергает. Вместе с тем я чувствую ответственность перед вами (как перед символом, так и перед личностью) и желание, чтобы вы (все вы) не были раздавлены или искалечены, как многие из нас. Но довольно об этом.

В Лондоне я огорчился, когда вы не захотели отправиться со мной в это путешествие, но теперь вижу, что было бы ошибкой, если бы я поехал не один. Мне надо было побыть в единении с самим собой, прежде чем двигаться дальше. В то же время я до сих пор испытываю разочарование от того, что наш последний разговор ни к чему особенному не привел (с разговорами так это всегда бывает), — отсюда это письмо. Тот факт, что вам пришлось бороться со всей вашей семьей, исключая одного только меня, и что вам надо продолжать бороться, чтобы жить той жизнью, которой требует ваша натура, должен заставить вас понять мою борьбу, которая, вероятно, более трудна и более основательна. У вас есть какое-то признанное убежище, а у меня — нет. Вам не больше, чем мне, интересна игра в куплю-продажу и получение барышей, но вам интересен человеческий калейдоскоп, поверхностные движения событий. Другими словами, вы любите новизну. И, поскольку вы верите в стиль, не имея его, вы, очевидно, прирожденный журналист. Держитесь за это, и пусть юриспруденция идет к черту! Зачем быть тебе палачом грешников? Но мне-то безразличны эти вещи!

Вы спросили у меня, почему я женился на Маргарет? Если бы я мог ответить на этот вопрос одной фразой, я мог бы в одной фразе дать вам ключ к своему «я». Но я не могу. Когда я был молод, у меня было представление о жизни, которое, казалось, соответствовало моей натуре; я ценил в жизни не практическое отношение к людям или вещам, но собственное бескорыстное развитие. Я рассматривал жизнь не как действие, но как опыт, не как применение власти, но как чувственное соединение с живыми вещами, с таинственными силами, стоящими позади них, с идеальным их выражением в искусствах. В двадцать лет я был в полнейшей гармонии с самим собой и мог существовать совершенно один. Не буду хвастаться, что я был совершенством (я был далек от этого), но я стоял на верном пути.

Когда я был еще моложе, я прошел через романтическую, довольно нереальную страсть к Маргарет, которая в то время, по всей вероятности, была мне очень мало нужна. Перед войной я был уже убежден, что я вырос из этой страсти, но вместе с тем чувствовал потребность в каком-нибудь человеке в моей жизни, кто был бы мне близок целиком и полностью не только ради сексуальных переживаний (хотя это тоже чрезвычайно важно), но потому, что я верил и до сих пор верю, что подобные отношения в огромной степени увеличивают жизненную силу обоих людей. (Я не буду надоедать вам сейчас своей теорией брака.)

Через все это прошла война, как степной пожар, неизбежная. Она осудила меня на четыре года быть тем, чем я не был и чем больше всего не хотел быть. Она исковеркала меня, внесла в мою жизнь мучительную дисгармонию. (Вместе с тем я познал — и никогда не стану отрицать это — величие человеческого характера в других людях, которое война научила меня видеть.) Когда наступил мир, которым вы теперь так наслаждаетесь, я поехал за границу, чтобы попытаться привести все в порядок, но потерпел неудачу. Я больше не мог жить в одиночестве и жаждал человеческой

близости, хотя она и отталкивала меня (вы этого не поймете). В моей жизни положительно никого не осталось, кроме отца и Маргарет, а вскоре после моего возвращения отец умер. По некоторым причинам, по-видимому, я был очень нужен Маргарет. Я больше никому не был нужен; я сам себе не был нужен... Ну, так вот!

Неизбежные последствия этого ускользали от меня в то время, да и долго еще потом. Допускаю, что мне следовало бы видеть их, но я был не в таком состоянии, чтобы думать или чувствовать отчетливо, — а после двадцати лет мы все совершаем ошибки. Мне следовало бы увидеть, что было ошибкой пытаться делить жизнь с кем-то, чье все существо было так антагонистично. Но в то время я был шариком ртути, разлетевшимся на мелкие брызги, и не мог сказать, какую форму они примут, когда опять соединятся. Моим великим заблуждением была мысль, что они могут с тем же успехом принять ту форму, которую Маргарет хотела, чтобы они приняли. В самом деле: в течение нескольких лет я пытался жить ее жизнью и действительно думал, что мне удастся это. Я действительно был убежден, что я гожусь для этого мира, и был доволен этим. Неудовлетворенность, злобность, чувство бесполезности, инстинктивную вражду к людям ее круга я относил к воздействию войны на мой характер и настроение духа.

Ну, ртутные брызги в конце концов соединились, соединились почти в прежнем виде, но так, что это была зрелая, а не юная форма. Короче говоря, уже почти год тому назад я понял, что безоговорочно ненавижу профессию «делания» денег и траты их показным и глупым образом. Это совершенно не похоже на «жизнь», как называет ее Маргарет со своими друзьями, я считаю это смертью. Иногда я удивляюсь, почему люди, так мало интересующиеся миром, который они населяют, беспокоят себя, продолжая жить в нем, — думаю, это потому, что они предвидят, что в лоне Авраама не будет ни бриджа, ни коктейлей!

Концепция жизни, которая является выводом из их пустой болтовни, не оправдывает труда вставать утром с постели! Но я иду дальше и полностью презираю и осуждаю всю «деловую» систему, которая является чистейшим вздором (хотя опасным и разрушительно могущественным), обменом реальностей жизни на бумажные деньги. Подобно Лоту, я вышел из Содома; если моя жена оглянется и обратится в соляной столб, я тут ни при чем! Очень возможно, что «деловая жизнь» будет продолжать свое триумфальное шествие, — я совершенно готов к тому, что она уничтожит меня. Но в конце концов она должна будет уничтожить самое себя, потому что она не будет знать, что ей делать с неисчислимыми массами, которые она бессмысленно породила ради барышей; она не будет в состоянии помешать им обезуметь от скуки и разбить вдребезги всю эту музыку. Дети и скука — вот Немезида делячества!

Я только что перечел это письмо и очень огорчился, что мне не удалось объяснить ни себя, ни вселенной — судьба всех философов-любителей, да и профессионалов тоже. Я не знаю, поймете ли вы, что я хочу сказать, что сейчас для меня (а я думаю, и для других тоже) является абсолютной необходимостью проложить дорогу к простым, инстинктивным человеческим ценностям и сбросить весь этот мусор ложной цивилизации, которая на деле вовсе и не цивилизация. Цивилизация — читал я где-то — живет в мыслях и сердцах людей, или ее нет нигде. Во всяком случае, она проявляется не в количестве технических усовершенствований. И не в том, чтобы быть «изящным». И не в псевдонауке самозваных организаторов человечества. Каждый из нас сам должен подумать над этим. Я слышу, вы шепчете: «Попробуйте-ка сказать это Маргарет»; да, право, это чрезвычайно трудное дело.

Довольно, довольно, довольно об этом! И все же я только едва коснулся поверхности, а то даже не сделал и этого. Нужно внедряться в самую суть вещей.

Мне скоро придется вернуться в Лондон. Маргарет, заключительная перепалка с Великим Пенджен Друмом* из министерства околичностей, продажа загородного дома, содержать который я больше не могу и который не нужен Маргарет, да еще с десятков других вещей вступили в заговор, чтобы вытащить меня обратно. Но не навсегда и даже не надолго. Я снова, наконец, нашел свой путь и должен ему следовать.

Всегда ваш Тони».

Перечтя это бессвязное письмо, Тони аккуратно сложил его, положил в конверт и засунул в свой вещевой мешок. Зачем быть эксгибиционистом*? И зачем тревожиться, «понимает» ли или «не понимает» еще кто-нибудь, даже Джульен? К чертям все эти понимания! Некоторое время он следил за дождем без всякого чувства разочарования. Дождь прекратится, когда он прекратится! А потом спустился в ту часть маленького трактира, где было устроено кафе, и подсел к почтальону и полевому сторожу, которые за чашкой кофе вели длинную дискуссию о местных винах; почтальон доказывал, что продукты его собственных лоз гораздо выше первых урожаев Бордо. Он пригласил обоих слушателей зайти к нему — когда-нибудь — и проверить вопрос на практике, а пока заказал себе другую чашку кофе, за которую заплатил Тони.

V

Когда несколько недель спустя Тони высаживался в Англии, он очень мало походил на щеголя. Он прошел до самой испанской границы и повернул от Пиренеев назад, чтобы с величайшим сожалением сесть в поезд. Ничего!

Жизнь еще не кончилась, и новые миры существуют для тех, кто умеет видеть их за каждым горизонтом. Солнце и дождь нанесли живые краски на лицо Тони, но зато отняли и краски и всякую форму у его одежды, а подбитые гвоздями ботинки износились и стоптались. Разумеется, он вызвал подозрение у английского таможенного чиновника, который настоял на осмотре вещевого мешка, несмотря на все заверения Тони. Приятно сознавать, что у тебя нет ничего для предъявления в таможне, кроме грязного белья. Когда мешок был совсем пуст, чиновник с понимающим видом перевернул его вверх дном и потряс, чтобы поглядеть, не выпадет ли из него кокаин. Так как ничего такого не случилось, он высокомерно прошел мимо, предоставив Тони укладывать все заново. Тони с удивлением заметил, что его мало беспокоила грубость этого чиновника. Идя вдоль поезда к вагону третьего класса в самом конце, он с веселым изумлением увидел, что «почти все теперь с чувством глубокого удовлетворения и облегчения пьют крепкий индийский чай». А почему бы и не пить? Чашка хорошего чая очень подбодряет, — я всегда это говорю.

В Лондоне его встретила кроткая Маргарет, и они прямо поехали за город, как хотел Тони. Улицы были полны грозных плакатов о конгрессе тред-юнионов, и о мистере Болдуине, и об «опасности для страны». Тони не обратил на них внимания, рассказывал о том, что видел, и спрашивал Маргарет, как она провела время. Он был доволен тем, что она была ласкова и как будто обрадовалась его приезду. Идя по платформе, они прошли еще одну ослепительную выставку плакатов, и Маргарет купила три или четыре вечерние газеты, которые торопливо просмотрела в автомобиле.

— О Тони! — воскликнула она. — Ты думаешь, они действительно это сделают?

— Что сделают?

— Ну, объявят всеобщую забастовку?

— Разве дошло уже до этого? — спросил Тони, заинтересовавшись. — Я не заглядывал ни в одну газету с тех пор, как уехал. Джульен об этом что-то говорил, но я забыл, что именно. Вряд ли она будет всеобщей — как будто все идет вполне нормально.

— Говорят, она начнется не раньше, чем через несколько дней, — у них все время идут какие-то конференции. Какой ты смешной, Тони, ни капли не интересуешься вещами, которые касаются каждого. Ведь, может быть, нам придется голодать!

— Зряшный шум ничему не поможет, а насчет голода ты не беспокойся: бывало, я умел довольно ловко таскать куски! Кроме того, все это просто блеф с обеих сторон. Я несколько не беспокоюсь.

— Тебе, пожалуй, придется обеспокоиться, — сказала Маргарет возмущенно, как будто его равнодушие было личным оскорблением. — Как ты можешь говорить, что тебя не беспокоят конференции этих ужасных главарей из тред-юнионов, которые замышляют гражданскую войну и измену?

— Ну! Они совсем уж не так плохи. Они только пытаются добиться лучших условий для себя и своих сочленов и выступают против банды негодяев, если вопрос идет о борьбе с дельцами.

— Тони! Как ты можешь идти против своего собственного класса?

— Да разве для меня нашелся какой-то класс? Скорее, он уже потерял меня. Во всяком случае, на меня не повлиают газеты. Вся эта история походит на то, что осел и лев ссорятся из-за добычи, которой у них нет, а тем временем другие звери вмешиваются и захватывают ее. И совершенно правильно. Чума на оба ваши дома!

Маргарет спряталась за газету и смахнула жалобную слезку. Очевидно, она была почти склонна искать утешения

в теории сумасшедшего бреда, иначе ей пришлось бы счесть его скотиной. По правде говоря, Тони было жаль, что он так оскорбил ее глупую чувствительность, но жена раздражала его, а ему хотелось жить с ней в мире. Поэтому он стал говорить как можно веселее о разных безразличных вещах, пока Маргарет снова не заулыбалась. В то же время он не так уж спокойно относился к общему положению, как это ему показалось сначала. Он вспомнил стихи Честертона* об английском народе, который еще не сказал своего слова. Может быть, народ теперь собирается заговорить? И с какой же целью? Тони знал о том озлобленном негодовании, которое нарастало в народе, не из-за низкой зарплаты (в конце концов, в Англии платят лучше, чем в большинстве других стран), но из-за жутких условий жизни и непостижимо глупой и высокомерной наглости класса, живущего на прибавочную стоимость. Если народ действительно сорвется с цепи, то многим здорово попадет. Но если у них и много негодования, зато нет оружия, кроме того, что можно сделать против танков и пулеметов? Во всяком случае, это будет грязная, грубая драка, тем более глупая, что никто в Англии не верит, будто революция может что-нибудь изменить. Конечно нет! Единственная настоящая революция — это изменение человеческих умов и сердец. И тогда насилие станет ненужным.

Два следующих дня прошли быстро и не так уж грустно. Тони потратил много времени, уничтожая старые бумаги и распределяя большую часть своих личных вещей на три кучи: для уничтожения, для продажи и, наконец, для того, чтобы просто отдать кому-нибудь. Какое необыкновенное количество бесполезного мусора собирает вокруг себя человек! А потом надо заводить дом, чтобы было куда сложить все это, и человек приковывается к нему, как каторжник за ногу. Какое сумасшествие приобретать собственное имение

«на вечные времена», когда тебе остается прожить всего каких-нибудь сорок или пятьдесят лет! Единственный смысл всякого владения имуществом в создании семьи. А кто думает серьезно о создании семьи в старом смысле этого слова, когда капитал ускользает, как вода, и стоимость всякого имения через три поколения сводится к нулю из-за наследственных пошлин? И само родительское чувство очень часто появляется просто из-за несчастной случайности, или еще хуже — из тщеславия, чтобы было о чем поговорить в клубе. Два человека должны были бы прежде до боли желать ребенка, а потом уже заводить его...

Тони больше всего понравилось то, что после обеда, в первый же вечер после их приезда, у него произошел длинный, спокойный разговор с Маргарет. Избегая всяких разногласий по денежному вопросу и всяких спорных моментов, как, например, его уход из предприятия, Тони вел с ней разговор в духе своего неотправленного письма к Джульену. Они переговорили о многом, начиная с давних дней в Париже, хотя и не дошли по-настоящему до подлинных трудностей в их взаимоотношениях. Однако Маргарет оказалась удивительно разумной и без всяких враждебных комментариев слушала его довольно запутанный отчет о самом себе и о его душевном развитии. Она даже согласилась с его осторожными замечаниями насчет упрощения образа жизни и сказала, что ей самой надоели званые вечера, в чем не было ничего особенного, потому что она побывала по крайней мере на десятке их за последние два месяца. Но хоть это все и не носило окончательного характера, все же Тони начал довольно оптимистически подумывать, что ему удастся жить, как он того хочет, и при этом сохранить главное — что бы это ни было — в своих отношениях с Маргарет.

Поэтому ему было очень неприятно, когда на следующий день неожиданно приехала Элен, полная мрачных

рассказов о том, что творится «за кулисами» (ее выражение), и о всяких бедах, которые еще были в запасе. По ее словам, Уолтер очень обеспокоен положением и заработался до смерти. Смешно, подумал Тони, ведь она говорит о всех происшествиях совершенно словами Уолтера, словно перед ним какая-то отреченная шахматная задача, которую ему надо решить, а не вопрос жизни и жизни миллионов человеческих существ. Эти существа были лишь призрачными легионами, где Уолтер был Цезарем, а конгресс тред-юнионов чем-то вроде коллективного Верцингеторикса*. Судя по ее словам, Уолтер был одной из сил, если даже не главной «закулисной» силой. И все время помогал совету министров своей находчивостью и мудростью. Если Уолтер победит (то есть если он посодействует соглашению между горняками и владельцами), это позволит ему нацепить еще одно яркое перо на шляпу; если же — что невысказано — он проиграет, он потеряет несколько перьев из хвоста. Таким образом, ясно, что на карту поставлены огромные ставки. Элен не могла говорить ни о чем другом; за столом она все время занимала их длинными монологами на жаргоне: «Нам сообщают из достоверных источников», — жаргоне политических шарлатанов, который чрезвычайно раздражал Тони. Маргарет считала все это о ч е н ь интересным и удивлялась великодушию, с которым Элен говорила о людях «с той стороны», особенно когда та сказала, что Джимми Томас* — душка и положительно мыслит весьма здраво.

Все это ничего бы не значило, все это можно было бы вытерпеть с веселым видом, если бы не влияние Элен на Маргарет. Тони не сразу замечал чужую неприязнь, но не мог отделаться от подозрения, что под видом беспечной фамильярности Элен скрывает большую дозу обиды и злости по отношению к нему. После несчастного эпизода под Новый год Тони избегал встреч с нею, и когда им все же

приходилось встречаться, не мешал ей держаться того тона, в каком ей хотелось разговаривать. Элен не пробыла в доме и двух часов, как Тони почувствовал какую-то неуловимую перемену в отношении Маргарет к себе, — кротость исчезла, и появились жесткость и многозначительные намеки на всемогущий «здравый смысл», особенно у женщин. Более того, они опять заключили глупый женский союз против мужского пола, над чем Тони смеялся много лет назад в Стэдлэнде, заметив их уловку. Но теперь это было более важно. Если Элен будет преуспевать по этой линии, это не только уничтожит все, что, как ему казалось, он воссоздал в своих отношениях с Маргарет, но и может повести к окончательному расхождению, а этого он хотел избежать.

После завтрака Тони отправился в одиночестве прогуляться подальше, чтобы подумать над этим новым осложнением. Маргарет уехала с Элен в ее машине в гости к каким-то друзьям. К вечеру, возвращаясь домой маленькой заросшей дорожкой, Тони неожиданно вышел к перекрестку большой дороги, которая была видна почти на две мили вперед, и остановился как вкопанный. Дорога, обычно вся запруженная автомобилями, была совсем пустынна, если не считать длинной вереницы грузовиков, громыхавших из Лондона на расстоянии нескольких сотен метров один от другого. Какой-то грузовик прогремел мимо, и Тони увидел, что в машине сидело два человека и у нее был особый знак, весьма похожий на дивизионные знаки на военных грузовиках. Пока Тони стоял и смотрел, мимо него прогрохотал другой такой же, потом еще и еще.

А вдали на горизонте появлялись все новые точки, превращавшиеся в грузовики. Не могло быть никакого сомнения: началась всеобщая забастовка и это были правительственные грузовики, отправленные за молочными продуктами.

Тони пошел дальше. Ему надо было пройти еще полмили, прежде чем дойти до другой проселочной дороги, ведущей в деревню. Методическая процессия грузовиков начала раздражать его еще до того, как он свернул. Это проклятое зрелище слишком напоминало дивизионный грузовой обоз на западном фронте, чтобы оно было ему приятным. Слишком похоже на новую войну, и на этот раз у себя дома. Безмолвная местность, почти пустая дорога, громкое гудение тяжелых машин, переходящее в рев и треск, когда очередной грузовик обгонял его, — в этом было нечто грозное и зловещее. Для него было облегчением свернуть на боковую дорогу. Он быстро шел вперед и все же продолжал слышать заглушенное, но по-прежнему зловещее гудение грузовых машин. Он не мог от него избавиться, пока не добрался до своей комнаты и не закрыл окон.

Из окна он видел уголок сада и отметил, что у гвоздики появляются бутоны, а ирис уже набирает цвет. Жаль, что надо покинуть все это, но разве можно получить в полное владение гвоздику? Она будет расти и не будучи мне подвластна. И в то же время думал: что за стадо ссорящихся обезьян! Невозможно жить в этом сумасшедшем зверинце, который называется миром. И как злы и мстительны они делаются, если вы не становитесь ни на сторону синезадых обезьян, ни на сторону желтозадых. Я только что успел разобраться в каше, которая осталась мне от последней драки, как вот уже другая! Что произойдет, если всеобщая стачка продолжится? Через три недели, если транспорт будет приведен в негодность, большие города начнут голодать, и тогда страна окажется во власти всяких подонков...

Его раздумье прервал шум автомобиля Элен, подъезжавшего к подъезду, и почти сразу же он услышал голос Маргарет, которая возбужденно звала его:

— Тони, Тони! Где ты?

И она ворвалась в комнату с хорошо знакомым волнением самозванной Вершительницы Судеб, Валькирии из Кенсингтона* — тра-ля-ля!

— Началось, — сказала она, выбрасывая слова одной длинной путаной фразой, — дорога занята огромными грузовиками, разве это не великолепно? Элен говорит, она должна сейчас же вернуться к Уолтеру, я могу ехать с ней, я должна быть в центре событий, а тебе надо найти кого-нибудь, кто доведет бы тебя, я уверена, мы победим, а ты?

— Я не хочу, чтобы меня подвозили, — сказал Тони спокойно. — Я останусь здесь.

— Останешься здесь! Чего ради? Ведь мы слушали радио, и правительство просит каждого записаться в добровольцы. Ты не собираешься записаться?

— Нет.

— Ты не собираешься помочь правительству в критический момент?

— Нет. Я уже напомогался правительству в разных кризисах. Пусть оно справляется с этим само.

— Ты собираешься помогать забастовщикам?

— Да, в том смысле, что я не буду ничего делать. Я буду следовать лозунгу Империи, о котором недавно читал, и буду «держаться».

— О Тони, ты уж а с е н! А предположим, будет революция, что ты будешь тогда делать?

— Шалить с кошкой, и эмигрирую, если кошка начнет царапаться.

— И ты когда-то называл себя солдатом!

— Мне кажется, ты найдешь у пассивной стороны больше нашивок, говорящих о ранениях, чем у другой, моя дорогая!

— Ну хорошо, оставайся здесь и плесневей, если хочешь, я должна идти укладываться.

И она выскочила из комнаты.

Так погибает надежда на взаимопонимание и дружеские отношения. Проклятая Элен!

Тут он вспомнил, что все же ему нужно хотя бы попроситься с этой «проклятой Элен».

Он нашел ее суеотящейся около автомобиля.

— Хелло! Мне жаль, что для вас не хватит места, — сказала она, — но я надеюсь, что вы найдете кого-нибудь, кто вас привезет. Вы думаете, о н и будут пытаться нас остановить?

— Ну не думаю! Но будь я на вашем месте, я бы намалявал два бумажных флага, один национальный, другой тред-юнионский, и показывал бы тот или другой, смотря по обстоятельствам.

Элен фыркнула, и разговор мог бы принять острый характер, если бы не появилась Маргарет со своим чемоданом. Тони привязал ремнями чемоданы к багажнику, попрощался с Элен и поцеловал Маргарет. Он смотрел со спокойным ощущением поражения, как они уезжали, и даже не испытывал к Маргарет благодарности, когда та, обернувшись, закричала ему, что обещает телефонировать новости. Единственной новостью, которой он желал бы услышать, была бы та, что люди стали немного умнее, порядочнее и миролюбивее; ему не нравилось настроение «состязания на переходный кубок», когда люди принимают участие в той или иной стороне только ради одного возбуждения и заботятся о победе своей партии без всякого чувства ответственности. Этакая страсть к ведению войн! Ясно, что никто из них не верит, что с ним действительно может случиться что-нибудь неприятное, и страшное пугало, что забастовщики могут закидать кого-нибудь камнями, вызывается только ради небольшого нездорового возбуждения. Пусть едут! А что касается Маргарет, то если она не сделает настоящих по-

пыток к поддержанию дружбы, если Элен может в одну минуту подчинить ее своему влиянию, — ну что же, пусть тогда она уходит!

Вечер прошел очень спокойно. Тони написал письмо Уотертону, сообщая, что он продает дом, но намерен сохранить коттедж в четыре комнаты, который был при доме. Он предложил его Уотертону бесплатно в качестве места, куда бы тот мог выезжать, как только ему надоест Лондон, и писал, что иногда они могли бы ездить туда вместе на несколько дней для разговоров и прогулок. После обеда он по картам и путеводителям составил себе план поездки в Сицилию. Он давно уж хотел увидеть сицилийскую весну, хотя его предупреждали, что остров перенаселен и чрезмерно культурен, так что Феокрита* можно с таким же успехом искать в Бэльхеме, как и в Сиракузах. Ничего, посмотрим! К несчастью, кажется, это не слишком подходящее место для путешествия без автомобиля. Может быть, Джульен мог бы найти там что-нибудь для репортажа? Он мог бы сочинить какую-нибудь сенсационную чушь о Маффии*...

На следующее утро, только что Тони собрался уйти, позвонил телефон. Тони снял трубку, ожидая услышать «новости» от Маргарет, но был поражен, узнав голос главного директора фирмы. Голос говорил, что, конечно, Тони известно, что происходит всеобщая забастовка и что сделана попытка парализовать всякую деловую активность страны? (В последней части фразы Голос выразил великий ужас.) Тони сказал, что о забастовке он слышал, но сам мало ее чувствует. Голос игнорировал это замечание и сказал, что весь штат служащих конторы остался лояльным, хотя, к несчастью, — и тут Голос выразил большое сожаление, — служащие и рабочие на производстве покинули свои

посты. Созвано общее собрание акционеров, чтобы решить, на каких условиях эти люди будут приняты обратно, когда они признают себя побежденными, и требуется присутствие Тони. Более того, — сказал Голос, — организуется лояльный штат для возможно более широкого распространения имеющихся запасов — к счастью, они велики, — в этом принимают участие сами директора лично; и, разумеется, всем начальникам отделов и директорам подобает записаться волонтерами в качестве специальных констеблей. Не похоже на то, — добавил Голос, — что их призовут, но моральный эффект будет очень значительным, и если оправдаются самые худшие опасения, то все они, конечно, выполнят свой долг. Конечно, конечно! Его инструкции состоят в том, что Кларендон должен считать свой отпуск законченным и сейчас же явиться. Не послать ли за ним машину?

Тони слушал все это с нарастающим чувством возмущения их наглостью. Когда Голос кончил, Тони ответил громко:

— Разумеется, нет!

И повесил трубку. После чего вышел из дому и гулял до завтрака. На пороге маленькой столовой его встретила горничная в состоянии некоторого волнения.

— Простите, сэр, звонила хозяйка и спрашивала, как вы поживаете, и просила вам кланяться, и что все идет великолепно, и она надеется, что вы приедете сейчас же и ничего не пропустите.

— Благодарю вас, — сказал Тони.

— И какой-то джентльмен звонил из конторы, и ему очень нужно было говорить с вами. Я сказала ему, что вы вышли, он спросил, не отправились ли вы в Лондон, и я сказала, что не знаю.

— Совершенно верно. Если он позвонит опять, когда меня не будет, скажите ему, что я приехал сюда надолго. А теперь подавайте завтрак.

* * *

Как Тони ни сопротивлялся, ощущение какого-то беспокойства все-таки проникло в его одиночество. Он не знал, что именно происходило (газеты, как раз когда они были нужны, не получались), и видел, что он действительно не может оставаться нейтральным в конфликте, когда одна половина Англии поднялась против другой. Можно ли продолжать разыгрывать роль Аттика*, если все это становилось настоящей борьбой, а не мелодрамой, поставленной с целью запугать людей и принудить их поддержать ту или другую сторону? Ему мерещились люди в хаки, стреляющие в людей, носивших ту же форму десять лет тому назад на Сомме. Болтовня «о старых товарищах», конечно, бессмысленна, но мысль о стрельбе друг в друга была определенно отвратительна. Как вообще всякая стрельба в кого бы то ни было. Тони с трудом закончил завтрак.

Он почти сразу же встал из-за стола и позвонил Маргарет, но узнал только, что ее нет дома. Он ушел в свою комнату и взял французское описание Сицилии, изданное приблизительно в 1840 году и иллюстрированное прекрасными современными английскими гравюрами на стали. Сравнивая одну или две из них с фотографиями того же самого здания, он увидел, как художник-гравер стремился к «поэтизации» путем преувеличений и умолчаний. Таким же образом в наши дни большинство художников занимается «депоэтизацией», в виде реакции против буржуазной красоты и неискренности. Но неужели правдиво только безобразие? Он наудачу взял том репродукций Руо и пытался найти какое-либо оправдание этим гротескно-претенциозным обнаженным фигурам... И все время его беспокойство усиливалось. Положив книги на место, он поднялся и устался в окно, задавая себе вопрос, не хочется ли ему, в конце концов, в Лондон, где волей-неволей он будет вынужден присоединиться к какой-нибудь сторо-

не? О, будь они прокляты! Что мне за дело, что они — мое племя? Что я, сторож моим родственникам в пятисотой степени отдаленности?

Раздался звонок, и Тони пошел к телефону, приготовившись к новой перепалке с каким-нибудь елейным членом фирмы. Но на этот раз это был голос Джульена.

— Хелло, это вы, Тони? Ну, здесь происходят такие штучки, — вы не хотите приехать, чтобы принять участие в драке?

— В какой драке? — спросил Тони сердито.

— Разве Маргарет вам не рассказывала? Ведь мы решили выпустить номер, как и некоторые другие газеты, хотя слышали, что правительство собирается сцапать наши рулоны для какой-то своей собственной глупой газеты. Как бы там ни было, мы пустили этой ночью одну из машин, напечатали листовку и разослали ее на частных машинах.

— Ну и что из этого? Я не получил ни единого экземпляра.

— Получите. Я собираю для вас целый комплект. Но, Тони, мне бы хотелось, чтобы вы поспешили. Я получил для вас разрешение быть здесь.

— Не понимаю, зачем мне это?

— Ну, ну, не злитесь! Вчера вечером была стычка, и, вероятно, сегодня вечером будет другая.

— Что?

— Да, стычка! Несколько ловких молодцов — не наши собственные рабочие, конечно, — напали на один из автомобилей, и произошла битва в современной Альсатии*.

— Вы в ней участвовали?

— Конечно! Теперь мы организуемся на военную ногу — повзводно. Оказывается, большинство наших — бывшие офицеры. Очень хорошие ребята!

— Вас не ранили вчера?

— О нет, чуть подбили глаз, вот и все!

Наступила пауза, во время которой Тони прислушивался к слабому гудению проводов... На военную ногу, «взводы». В своем неведении происходящего он представил себе уличные бои... А он себе всегда клялся, что в случае новой войны он уберезет от нее Джульена или, во всяком случае, присмотрит за ним. Он ведь такой — вроде непоседливого ребенка, которого обязательно стукнут по голове. Мой долг по отношению к младшему поколению в том, чтобы служить мишенью для их насмешек во время мира и заменять их во время войны.

— Джульен!

— Да?

— С чего вы ввязались в это глупое дело? Почему вы не держитесь от него подальше?

— У меня не было выбора. Я был со всеми, как обычно, и они втянули меня.

— Ну, вы набитый дурак! Почему вы не занимаетесь своим собственным делом?

— Благодарю. Что-нибудь еще?

— Да. Я сейчас же отправляюсь в Лондон. Вы бы предупредили своего «взводного» и швейцара о моем приезде, чтобы они не застрелили меня сразу.

— Вы в самом деле хотите сказать, что приедете?

— Ну да, я же говорю вам. И Джульен?

— Да?

— Могу я приехать и окопаться у вас? Я не могу поднимать Маргарет так рано. Кроме того, она ужасно патриотично настроена. Вы меня не выставите?

— Конечно нет.

— Тогда отлично! Если я приеду в Лондон после девяти, то явлюсь прямо в контору вашей газеты.

— Каким же образом вы приедете?

— Буду проситься в автомобили и грузовики. Прощайте!

Тони нетерпеливо звякнул трубкой, вешая ее. Новая чертова война, и совсем неправильная! *Chi se ne frega*¹. Будь проклят мальчишка, втянувший меня в эту кашу, как раз когда я больше всего хотел от нее уберечься. Я только что прибрался после последней демонстрации культуры, а теперь они начинают все наново. «Благослови их Бог. И всю ко-р-р-олевскую се-емью». Он быстро и аккуратно свернул вещи и уложил их в свой мешок. Это все так походило на чувство при возвращении на фронт, что Тони машинально сунул в мешок плитку шоколада, электрический фонарь и вязаный шарф, чтобы мешок был помягче и мог заменять подушку. Потом переоделся в костюм из темной грубой шерсти: такой выдержит суровое обращение и в нем будет тепло спать, если придется. Тут он вспомнил, что едет всего-навсего в Лондон и будет спать на удобной складной кровати в квартире Джульена. Такие мелодраматические приготовления немножко смешны.

Внизу он позвал горничную и сказал:

— Я еду в Лондон на несколько дней. Вот немного денег на текущие расходы, а счета отложите до нашего возвращения. Если вам не хочется быть по ночам одной, миссис Кромбл может ночевать в доме. Делайте все так, как обычно делаете, когда мы оба в отъезде. Кто-нибудь из нас будет вам звонить каждое утро. Прощайте.

Выбравшись на большую дорогу, Тони почти сразу же увидел небольшую машину, ехавшую в нужном ему направлении. Тони сделал знак, и машина замедлила ход: это была двухместная машина, а сидел в ней только один человек.

— Не можете ли подвезти меня в Лондон? — спросил Тони, прибавив: — Это не увеселительная прогулка. Я один из так называемых добровольных рабочих.

¹ Лучше в нее и не ввязываться.

— Я еду только до Мидчестера, — ответил человек, — но это вам по пути.

— Ладно.

Шофер довез его до главной улицы Мидчестера, и Тони подумал, что в спокойствии больших соборных башен и шпица было что-то ироническое. Подобно кардиналу в пьесе Броунинга, они видели двадцать три мятежа и все остальное. Церковный служитель до сих пор еще показывает следы мушкетных пуль эссекских солдат, когда-то разгромивших драгун Руперта. Чью же сторону вы поддержали бы во время восстания? «...Он вторил бы: Мир! Мир!»¹ Забавно, мое второе имя — Люций. Я всегда его ненавидел.

В Мидчестере не ходили ни трамваи, ни автобусы, но было довольно много частных машин, некоторые из них с маленькими флажками, указывавшими, что машины едут по какому-нибудь казенному поручению. Тони заметил, что у одной из машин разбито переднее стекло. Значит, бросают камни. Не очень приятно. Тони почувствовал, что, вероятно, он смахивает на осла, стоя здесь с вещевым мешком на спине и поглядывая вверх на собор и вниз на уличное движение. Не его дело предаваться историческим реминисценциям и наблюдать отдельные сценки во время забастовки. Надо как можно скорее доехать до Лондона и начать работать. Не лучше ли выйти за город на большую лондонскую дорогу и окликать машины или попробовать сесть в поезд? Тони шел до тех пор, пока не увидел полисмена, с которым и посоветовался, упомянув о своей цели. Полисмен говорил с преувеличенным спокойствием человека, охваченного паникой. Он едва слушал, что говорил ему Тони, и, по-видимому, ухватил только одно слово «поезд».

— О, поезда ходят отлично, — сказал он сердечным тоном в стиле «работаем, как всегда», но Тони почувствовал,

¹ Шекспир, «Юлий Цезарь».

что этот тон фальшив. — У нас завтра все будет полностью по расписанию. Один идет в Лондон через десять минут. Вы его как раз поймаете, если поторопитесь.

Действуя, пожалуй, против своего собственного убеждения, Тони быстро пошел на вокзал и купил билет в Лондон. Конечно, не было никакого поезда ни через десять минут, ни через пятьдесят. Не раз Тони подумывал уже уйти с вокзала и попробовать счастья по дороге, но каждый раз контролер уверял его, что поезд уже вышел с последней станции и скоро придет. Не было ни носильщиков, ни каких-либо других железнодорожных служащих, кроме начальника станции, одного или двух контролеров и нескольких конторщиков. В отдалении на запасных путях Тони видел ряды паровозов с потушенными топками и товарные поезда — некоторые были груженые, другие пустые. Несколько конторщиков или, может быть, добровольцев из граждан пытались выгрузить какие-то скоропортящиеся продукты и неумело укладывали их на грузовик. Тони с одного взгляда понял, что они не умеют делать эту работу. Не очень блестящие перспективы для снабжения продовольствием!

Наконец, поезд с пыхтеньем медленно подошел к станции, опоздав на три часа, и был встречен слабыми приветствиями. Тони с трудом нашел место в переполненном вагоне третьего класса и, пока поезд без конца стоял на Мидчестерском вокзале, прислушивался к разговорам людей, сидевших вокруг него. Возбуждение сломило обычную тяжеловесную сдержанность, и все спорили — конечно, о забастовке — с исключительным одушевлением. Большинство пассажиров было средними представителями трактирного патриотизма, их разговоры отличались главным образом разнообразием и абсурдностью слухов, которые ими распространялись. Скромный молодой человек, на лице, руках и одежде которого все еще сохранялись яв-

ные следы его героизма, описывал, как он работал за кочегара в поезде, пришедшем сегодня утром из Лондона, как он теперь путешествует обратно, чтобы поспать, и завтра утром опять поедет кочегаром в другом поезде. Он сказал, что это тяжелая работа, но довольно занятная, надо только как сумасшедший работать лопатой. Он был уверен, что через день-два движение поездов сильно улучшится, — добровольцы прибывают толпами.

— На сколько времени хватит угля? — спросил Тони.

Молодой человек пожал плечами: об угле подумает правительство.

— Как?

— О, военный флот привезет нам уголь из Антверпена или из Франции!

— Но ведь это же довольно непатриотично и нечестно, — сказал Тони. — В конце концов, кричат, что кто-то получает деньги из России, а сами пользуются иностранным углем. Ведь флот — это национальное достояние. Флот принадлежит и тред-юнионам, поскольку он работает для них.

Кругом завывали и завопили о «национальной опасности», и какая-то надувшаяся пивом личность медлительно объяснила, что забастовка — это заговор агитаторов, что рабочие ее не хотят и что вся нация против нее.

— Хорошо, — сказал Тони, — но я не очень в этом убежден. Если вся нация против нее, почему же тогда вся нация не за работой?

Этот вопрос был так плохо принят, и на Тони направились такие угрюмые взгляды, определенно говорившие: «большевик», что Тони решил, что, пожалуй, лучше будет заткнуться, и молчал остальную часть этого мрачного путешествия. Сумерки уже сгустились, когда они приехали; плохо освещенный вокзал был пуст и тих. Уходя, Тони заметил, как пришедшие в азарт пассажиры пожимали руку

машинисту и кочегару — двум волосатым старым штрейк-брехерам — и давали им шиллинги и шестипенсовики. Он ожидал на конечной станции взрыва энтузиазма и был неприятно удивлен, когда оказалось, что всякое воодушевление в людях было как бы парализовано, — что бы там ни говорили, но не оставалось сомнений, что забастовка охватила всех и развивалась удачно.

Вне вокзала ощущение паралича было еще острее. Улицы были плохо освещены или же не освещены вовсе; не было ни автобусов, ни такси; не видно было ни пешеходов, ни частных машин. Тони дошел до ближайшей станции подземки; она была закрыта и погружена в мрак... Двое полисменов заявили ему, что «завтра» все будет действовать, но объявили, что ему придется идти пешком до Флит-стрит*, если он не сможет упросить кого-нибудь подвезти его. Это было почти три мили ходьбы, и Тони не пришел в особо сильный восторг. Минут через десять к нему подъехал человек на мотоцикле с коляской и спросил, не подвезти ли его. Тони сказал, что будет очень благодарен, объяснил, что он взялся добровольно работать, и попросил свезти его по адресу газеты Джульена на Флит-стрит. Ближе к центру города тротуары были запружены возбужденными, толкающимися людьми, но в почти пустых улицах в девять часов вечера было что-то зловещее. Обычно они выглядели так около трех или четырех часов утра. Когда мотоцикл добрался до Флит-стрит, человек потребовал пять шиллингов. Тони оптимистически думал, что это бескорыстный патриот, и был немало шокирован такой циничной эксплуатацией. Все же он заплатил человеку и удержался от желания дать ему по роже вместо чаевых.

Вход в контору газеты был через большую кирпичную арку с витринами по обе стороны; обычно по вечерам они бывали ярко освещены, чтобы были видны газетные фото-

графии, но сейчас там было совершенно темно. Метров через сорок вглубь проход заканчивался двором, вокруг которого были расположены все помещения конторы. Направо, если встать лицом ко входу, узкий переулок вел на Флит-стрит, и там же на расстоянии приблизительно двадцати метров был другой вход во двор. В обычное время фургоны для срочной доставки газет ждали в начале переулка, подъезжали одни за другими по мере вызова и затем уезжали через флитстритские ворота. Организация была вполне в английском стиле — смешение старомодных методов с известной рациональностью. В былые времена Тони, дожидаясь, когда Джульен сойдет вниз, не раз наблюдал за процессом погрузки и удивлялся как его быстроте, так и действительным размерам и протяжению зданий, скрытых за очень неказистым фасадом.

Расставшись с мотоциклистом-патриотом, Тони увидел трех полисменов, стоявших у входа в переулок, и еще трех в арке прохода, — все они зорко следили за ним. Мельком он заметил и во дворе полицейские шлемы. Тони моментально понял, что он преувеличил серьезность положения и возможность опасности для Джульена. Если полиции хватает для охраны какой-то газеты, то не может быть серьезного бунта или хотя бы угрозы его.

Тони подошел к полицейскому сержанту, назвал свою фамилию и фамилию Джульена, объяснил свое дело и попросил впустить его. После тщательного опроса сержант довел его до боковой двери в длинном проходе, которая вела в швейцарскую, где швейцар в ливрее пил чай с двумя констеблями. Да, швейцару говорили о мистере Кларендоне, и его впустят. Через двор, где слонялось около десятка полицейских и стояли три или четыре автомобиля, он провел Тони к внутреннему входу, и там его передали с рук на руки другому швейцару и полицейскому сержанту. Изобилие медных пуговиц вызывало у Тони такое ощущение, будто он был на пути в Уормвуд Скрэбз*, а вовсе не в ре-

дакции газеты, вблизи дома премьер-министра, и был благодарен Джульену, когда тот появился и освободил его от испытующих взоров.

— Знаете, — сказал Тони, — похоже, что в вашем помещении собралась половина всех сил столичной полиции. Вам нужно всех их поить пивом?

— Не знаю, — ответил Джульен довольно резко. — Я до стану для вас пропуск, и тогда вы сможете входить и выходить, когда захотите.

— Но разве необходима вся эта выставка «законного порядка»?

— Все-таки вчера пробовали разбить один фургон и вторгнуться в помещение.

Тони свистнул.

— Вот что! Ну а как подбитый глаз? На вид — плохо!

— Да, болит немного. Итак, пойдем повидаем Роулинсона и устроим все с вашим пропуском и работой.

Тони был несколько удивлен, когда Роулинсон оказался очень молодым и довольно самоуверенным человеком типа легкого кавалериста; он ожидал, что это будет по крайней мере рослый гвардеец. Молодой человек был вежлив, хотя и держался немножко покровительственно. После формального представления он сказал:

— Очень хорошо с вашей стороны, что вы присоединяетесь к нам тоже и хотите помочь в такой критический момент, мистер Кларендон. В общих чертах положение таково: нормально мы выпускаем утреннюю и вечернюю газету, но сейчас пробуем печатать дневной выпуск на машинах вечерней газеты, которыми проще управлять. Как раз в это время пробуют пустить машину в ход. Вы слышали о вчерашнем нападении?

— Да.

— Так вот нам нужны люди, чтобы помочь увязывать пачки с газетами и грузить их в фургоны, а затем провожать

каждый автомобиль, пока он не выйдет на дорогу. Полиция тут под рукой на случай какого-нибудь нападения вроде вчерашнего. Но нам нужна еще больше помощь при машинах. Вы механик?

Тони понял, что здесь представляется случай, которого он ждал.

— Нет, — сказал он. — Боюсь, что вам придется поставить меня на черную работу. Но вот мой шурин очень хорошо знает машины. Если бы вы поставили его к машинам, а мне разрешили бы выполнять его теперешние обязанности?

— Отлично! — сразу согласился Роулинсон. — Тогда вы будете во взводе номер два. Ваш начальник Грегори; он скажет вам, что делать. Ваш шурин познакомит вас с ним. Ну, пока! Вы извините меня, не правда ли, но я каждую минуту жду хозяина.

Джульен повел Тони вдоль пустых коридоров, открывая двери многочисленных довольно грязных и плохо обставленных комнат; по большей части в них находились кучки людей, куривших и разговаривавших. Все говорили, что Грегори там-то или там-то, но именно там его не оказывалось. Наконец, в самом верхнем этаже здания было окончательно установлено, что Грегори во дворе; они пошли обратно на двор.

— Вот Грегори! — сказал Джульен, указывая на высокого, бородатого человека в нескольких шагах от них. Прежде чем они успели заговорить, почтительная дрожь пробежала по всем присутствовавшим, и какой-то высокий, с виду мрачный человек, одетый во все черное, в цилиндре и с зонтиком вышел из своего «роллс-ройса» и пошел по направлению к внутреннему входу. Констебли приложили руки к шлемам, а Джульен, Грегори и все остальные забормотали: «Добрый вечер, сэр».

— Кто это? — спросил Тони.

— Это? Да это хозяин! — сказал Джульен с благоговением.

— Он выглядит страшным ослом, — сказал Тони откровенно.

— Ш-ш! Ш-ш! — Джульен был просто скандализован.

— А кто эти трое на лестнице, которые поздоровались с ним?

— Ах, те! Это один из пикетов забастовщиков. Есть еще и другой где-то на улице. Понимаете, для того, чтобы не пропускать никого, кто захочет вернуться назад на работу. Вы не должны с ними разговаривать.

— А почему?

— Ну, по соображениям дисциплины, я полагаю.

— Вот что, Джульен, вся эта псевдovoенная ерунда с разными взводами и конвоями и запрещением разговаривать с врагом кажется мне чистейшим вздором! Да хотят ли они войны? Хотел бы я знать, какой безработный болван выдумал всю эту болтовню! Это меня раздражает.

— Ш-ш! — произнес Джульен снова и представил его Грегори, проходившему мимо. Грегори сразу понравился Тони; он показался ему человеком веселым и искренним, очень неторопливым, хотя Тони вскоре открыл, что это Грегори организовал почти всю настоящую работу. Шум и очковтирательство исходили из других источников. Грегори посмотрел на Тони критически и сказал:

— Вы, кажется, довольно дюжий парень? Вы подойдите. Будьте здесь, как только услышите два свистка. Но ничего не будет, пока не пустят в ход машину. На вашем месте я бы посидел немного в баре. Это в комнате правления. Покажите ему, где бар, — прибавил он, обращаясь к Джульену, и ушел.

Когда Тони опять шел за Джульеном по грязным коридорам, здание внезапно вздрогнуло от густого рева, который приветствовали радостные возгласы.

— Что это? — сказал Тони, останавливаясь.

— Пустили в ход одну из машин. Газета печатается. Я должен сейчас идти наверх. Вот, Тони, это комната. Устраивайтесь поудобнее, пока Грегори не позовет вас.

Длинный стол заседаний правления был уставлен тарелками, а его середину занимали огромные подносы с бутербродами и бутылки пива. Бутерброды и пиво стояли еще и на буфете в дальнем конце. В комнате не было никого, кроме одного человека в профессиональном служебном костюме с крахмальным воротником, размышлявшего над стаканом пива. Вид пищи напомнил Тони, что он с завтрака ничего не ел. Он взял себе несколько бутербродов, откупорил бутылку пива и представился незнакомцу, который оказался юристом и другом Джульена. Тони спросил:

— Кому и где платить за все?

— Управление предоставляет это бесплатно.

— Очень мило, — сказал Тони одобрительно. — Пока что это самая роскошная всеобщая забастовка, в которой я когда-либо принимал участие.

— Здесь очень приличные хозяева, — сказал тот человек. — Вчера вечером я видел, что посылали кофе и бутерброды пикету забастовщиков.

— И те приняли?

— Конечно!

— Я пробыл несколько времени за границей, — сказал Тони, — и, вернувшись, вместо веселой встречи в родном доме застал это положение. Не можете ли вы мне объяснить, как это все получилось и что должно произойти? Я совершенно ничего не понимаю.

— Это подготавливалось уже давно, — ответил юрист. — Формально стачка является протестом против снижения зарплаты горнякам и, вероятно, преследует своей целью национализацию шахт. Союзы говорят, что это локаут.

Я считаю, что, во всяком случае отчасти, она вызвана непримиримостью одной фракции кабинета. Это-то и дало повод наиболее нетерпеливым элементам из конгресса тред-юнионов, которые верят в существование социализма в наши дни.

— Понимаю! И что же будет дальше?

— Все это само собой выдохнется раньше или позже, если только все эти демонстрации вооруженных сил специальных полицейских не приведут к мятежу. Пока было только несколько случаев хулиганства — возможно, это коммунисты. Полиция в восторге — хватает каждого, кого хочет. У мнимых же революционеров нет никакого плана, кроме смутной веры в Маркса и рабского восхищения перед русскими. Мозг социалистической партии — против насилия. В конце концов, за последние тридцать лет они и без того занимаются медленной социализацией Англии.

Тони собирался задать еще вопрос, как вдруг услышал два свистка и вскочил на ноги.

— Это мой сигнал. Я должен идти!

— На вашем месте я не спешил бы зря, — сказал этот человек, не поднимая на него глаз, — ведь пройдет еще некоторое время, прежде чем все соберутся.

Но Тони уже вылетел из комнаты, чувствуя, что не следует запаздывать на парад.

Работа была очень проста и неустомительна. Перевязанные тюки газет, адресованные различным газетным агентствам в разные города, сползали вниз по крутому скату; их надо было выносить и укладывать в ожидающие автомобили. Мозги были нужны только Грегори, который и следил за тем, чтобы нужные тюки попадали в нужные автомобили. Остальное было до одури легко. Когда Тони вышел со своим первым тюком, один из пикетчиков подошел поглядеть. Думая, что он хочет посмотреть адрес, — это был

Грантэм, — Тони показал ему тюк и услышал, как рабочий сказал другим:

— Подумать только! Они завязали правильным узлом.

Это, по-видимому, произвело впечатление на пикет, и один из рабочих вышел на улицу, очевидно, чтобы сообщить новость. Тони подумал, уж не кроется ли тут нечто весьма таинственное, но Грегори объяснил ему, что упаковщики перевязывают тюки определенным узлом, наивно считая это секретом своего ремесла, который можно постигнуть только после многих лет ученичества. Позже, когда пикетчики сменились, он услышал, как один из них мрачно сказал:

— Мои машины будут совершенно испорчены, когда я вернусь к ним. У меня все внутренности переворачиваются, когда я слышу, как они работают.

Тони решил, что это замечание звучит не так уж кроваважно и революционно.

Когда каждый автомобиль медленно выезжал со двора, его сопровождала небольшая кучка «конвойных», — одни ехали на подножке машины, другие рысцой бежали сзади. На словах «конвоировать» надо было поочередно, но на деле «конвоировал» каждый, кому случалось там быть, обычно одни и те же люди, которых сейчас же можно было узнать, так как они все были без шапок. Полисмены наблюдали за ними с благодушным презрением. Тони проводил несколько автомобилей, но ничего не случилось, Флит-стрит была пустынна и тиха.

С несколькими перерывами эта монотонная работа продолжалась до половины пятого. К этому времени большинство автомобилей было отправлено, все хотели спать, и полицейские ушли, кроме одного сержанта и двух констеблей у внутреннего входа. Чей-то голос выкрикнул:

— Конвой для автомобиля в Мэйдстон и Дувр...

Тони вскочил на подножку, и автомобиль медленно направился через уже не охраняемый проход. В тот момент,

когда автомобиль выезжал на улицу, с другой его стороны внезапно началась какая-то возня, автомобиль прибавил ходу, рванул, и Тони от толчка ударился об стену и упал. Через двор подбежали полицейские. Тони вскочил и побежал помочь остальным «конвоирам», которые отчаянно дрались с небольшой кучкой каких-то людей. И тут он почувствовал, как чем-то тяжелым ему нанесли ужасающий удар в плечо и сильно оцарапали левую щеку. Тони яростно повернулся к ударившему его человеку, схватил того за левую руку, когда он хотел ударить вторично, и замахнулся правым кулаком, чтобы треснуть незнакомца по шее. Но тут с нападающего свалилась шляпа, и Тони увидел лицо Робина Флетчера. У него было такое же выражение бешеной ненависти, какое Тони видел когда-то на лице раненого немца, которому хотел помочь.

Все еще держа Робина за руку, Тони оттолкнул его к стене, а тем временем остальные бросились в погоню.

— Боже мой! — воскликнул Тони сердито. — Ну зачем вы занимаетесь такими вещами, Робин?

— Я бы мог спросить у вас то же самое, — возразил Робин.

Прежде чем Тони успел ответить, он услышал хриплый голос сержанта, весело говорившего позади него:

— Держите его, сэр? Есть еще трое других для кутузки.

Тони раздраженно прошептал Робину, отпуская его руку:

— Не пытайтесь бежать, делайте то же, что и я.

Сознание Тони, казалось, разделилось на несколько различных частей; с одной стороны, он был глубоко уязвлен тем, что его ударил старый друг, с другой — ему было мучительно стыдно всего этого; кроме того, он испытывал боль от удара и все-таки где-то в глубине его сознание бешено работало, изыскивая способ спасти Робина от тюрьмы. Он повернулся к сержанту со словами:

— Нет, парень удрал.

— Но я видел, как этот человек ударил вас, сэр. У вас лицо в крови.

— Ничего, ничего. Это мистер Флетчер, один из работающих в типографии, он тоже ввязался в драку. Мы бежали оба за одним человеком и столкнулись здесь. На один момент меня ошеломило. Тот человек удрал.

— Ну, я мог бы поклясться, что видел, как этот парень ударил вас мешком с песком или кастетом, или чем-то вроде этого. Но, конечно, раз вы говорите...

— Да, да, — прервал Тони. — Идем, Флетчер, войдем внутрь и выпьем. Кто-нибудь ранен, сержант?

— Ничего особенного, сэр.

Тони свирепо прошептал Робину:

— Спрячьте правую руку в карман, глупец, и не поднимайте шляпы.

Они медленно вошли во двор, переполненный людьми, возбужденно обсуждавшими налет и не обращавшими внимания ни на что больше. Полиция была занята своими пленниками. Не торопясь, шаг за шагом Тони довел Робина до бокового входа, где пока еще не было охраны.

— Идите по этому переулку налево, — прошептал он. — И затем первый поворот направо. Он выведет вас к площади Лэдгэйт. Не ходите до конца переулочка, может быть, он до сих пор охраняется, а у вас нет пропуска. И, ради бога, Робин, бросьте заниматься насилием! Теперь ступайте!

— А вы идите к черту, — сказал Робин с ненавистью и исчез.

Несколько секунд Тони стоял, глядя в пустой переулочек, словно ожидая, что Робин вернется и все опять будет хорошо и былая дружба восстановится. Затем он осознал, что плечо у него еще болит, царапина на щеке еще кровоточит и что он чувствует себя довольно погано. Быстро пройдя

через небольшие группы оживленно болтавших людей, он отправился в умывалку и смыл с лица кровь. Царапина была пустячная — около полудюйма на скуле, но с синяком. Поглядев на плечо, он увидел сильный кровоподтек, который день-другой будет основательно болеть. Хорошо, что удар пришелся не по ключице! В зеркало Тони увидел, что он довольно бледен и все его мускулы слегка дрожат от утомления и волнений драки. Он до тех пор продолжал поливать свое лицо холодной водой, пока не почувствовал себя лучше и у него не прошло ощущение тошноты, а затем направился в буфет в комнате правления, сел там и выпил кофе.

Шум печатных машин прекратился, но Тони услышал, как тронулся и выехал со двора автомобиль, — ему, конечно, следовало бы быть там. Но он продолжал сидеть, испытывая чувство злости и стыда. Какая глупость впутываться в это дело! Старая дружба между ним и Робинотом гораздо важнее, гораздо реальнее этой грязной ссоры между двумя жалкими группировками. И Робин такой же дурак: думает прибавить себе веса, разыгрывая на рассвете хулиганские штучки и донося об этом товарищам в Клэпхэме. И так, еще раз — чума на оба ваши дома!..

Его размышления прервало появление Джульена, довольно разгоряченного и сильно перепачканного черным смазочным маслом.

— Хелло! — сказал Джульен. — У вас мрачный вид, Тони. Уже подкормились?

— Да, до некоторой степени. Когда мы сможем уйти?

— Сейчас, если хотите. Последний автомобиль отправлен. Некоторые еще заняты рассылкой газет по почте. Я вам принес одну — мы отпечатали сотню тысяч. Ничего, если я выпью стакан пива перед тем, как мы пойдем?

— Живее! — сказал Тони, беря очень липкий лист, который Джульен протянул ему. Когда он пробежал газету,

она показалась ему не стоящей стольких забот и трудов. Новости были скудны: декларация премьер-министра, призыв добровольцев и специальных констеблей с перечислением уже записавшихся, сообщения о том, какие поезда ходят и какие могут пойти, передовая... кто-то титулованный развелся. Поистине — сколько душевных сил и времени затрачено попусту!

Когда они возвращались на квартиру Джульена, было странно видеть, что над городом уже светлеет заря. Несмотря на мусор на грязных улицах, мир казался чистым и свежим, формы и тени домов окрашены в цвет бледной амбры на фоне еще более бледного неба. Им никто не встретился, и мертвые, неосвещенные улицы напомнили Тони о ночах войны, — он почти ждал, что они вот-вот набредут на отряд людей, тихонько посвистывающих по дороге к своему эшелону. Но ничто не нарушало молчания, и Лондон был тих, как гробница.

Тони не был огорчен, когда добрался до постели.

VI

Почти немедленно началась обыденщина. Приходящая прислуга Джульена делала им около часа дня на завтрак яичницу с ветчиной, затем Джульен уходил по своим юридическим делам, а Тони шел на собственную квартиру и потом обедал с Маргарет, если вечером она не была занята. Маргарет говорила, что забастовка дала сильный импульс выпивкам, после которых разъезжаются по домам вдесятером в одном автомобиле, и ей чрезвычайно нравилась остроумная затея одного молодого человека, который нашел

себе важную работу — сидел в трактирах и опровергал слухи. На что Тони сказал, что теперь он начинает понимать Калигулу* — ему хочется, чтобы у всех забастовщиков и добровольцев была бы всего одна задница, тогда можно было бы дать им хорошего пинка. Плечо у него все еще немного болело.

Маргарет проводила много времени в разъездах с Элен в двухместном автомобиле и объявляла, подобно мистеру Уинклу*, что она собирается начать работать завтра. Тони сделал вывод, что пока эти две светские дамы приносят неоценимую пользу, овевая разгоряченные головы тех, кто трудится «за кулисами». Маргарет, по-видимому, не сердилась на то, что Тони живет у Джульена, и стала даже приветлива. Немного слишком приветлива, думал Тони. Как ему казалось, ее невысказанное мнение сводилось к следующему: она-де «всегда знала», что, когда дойдет до дела, он станет хорошим мальчиком и будет делать то, что надо. Из-за его резкого отказа «помочь фирме во время кризиса» никакой семейной грозы не последовало. Ему лишь вскользь заметили: жаль, что он не остался «со своими», вместо того чтобы помогать посторонним. Расчет явно был на то, что его скоро опять запрягут, хотя он и отбрыкивался.

Обычный ход дел в редакции газеты был еще банальнее. Каждая ночь протекала, как первая, за исключением того, что налетов больше не случалось. Одну или две ночи дежурил сильный отряд полиции, но его скоро отозвали на другую, более важную работу. Раз ночью было веселье, когда пустили вторую печатную машину, и другой раз, когда нормальный тираж был достигнут и превышен. Это было бы вполне удовлетворительно, ибо при скудости известий люди жадно покупали все газеты, какие можно было достать, если бы не тот факт, что газета выходила себе в убыток — один сложенный лист (четыре нумерованные страницы) и

все те же бутафорские объявления. Тони провел одну ночь в помещении упаковщиков, под началом главного упаковщика, шотландца, который часто говаривал, что его добровольцы — это вшивая компания еще невиданных и ничего не смыслящих идиотов, что, пожалуй, и было верно. Большинство работавших было из бывших младших офицеров; они очень быстро возродили непринужденные методы и нравы окопов плюс товарищеские отношения. В результате какой-нибудь молодой джентльмен, который двумя неделями раньше сказал бы мягко и кисло: «Разрешите мне пройти, если вас не затруднит», теперь говорил с веселой гримасой: «Убирайся-ка с дороги!»

Забастовка продолжалась. Это была единственная крупная «новость», которая сообщалась в газете, не считая еще того, что почти не было столкновений. Влиятельные джентльмены произносили «зажигательные речи», а на другой стороне столь же влиятельные джентльмены произносили расхолаживающие речи. В передовой говорилось, что все это чрезвычайно важно. Тем временем адвокат, друг Джульена, сообщил Тони, что забастовка в общем обходится в день почти в четыре раза больше того, что стоила война в самые худшие свои моменты. А влиятельные джентльмены все произносили речи!

Иногда Тони слонялся днем по улицам. Начали появляться автобусы, обслуживаемые любителями, причем рядом с шофером сидел полицейский. В согласии со знаменитой английской традицией — не принимать ничего всерьез, на этих машинах обычно делались шуточные надписи мелом, вроде: «Уж если вам надо бросать бутылки, так бросайте полные». Студенты вполне удачно работали в качестве кондукторов метро и оживляли обычную скуку, искусно подражая мягким голосам громкоговорителей. Все это было очень приятно, и мило, и смешно, но, пожалуй,

едва ли стоило расходов в двадцать миллионов фунтов в день. Все, как всегда, были великолепны.

Возвращаясь однажды к вечеру с прогулки по Сити, Тони мельком увидел, что на перекрестках стояло по два дежурных полисмена. Он заметил, что на одном посту они властно остановили все движение, и, оглянувшись назад, узрел такое зрелище, которое никогда не ожидал увидеть на улицах Лондона. Мимо него медленно проехал броневик с двумя офицерами, причем в пулемет была заложена лента, а за броневиком следовали груженные автомобили, где за шофера сидел гвардеец, а рядом с ним вооруженный сержант, и вооруженный же солдат сидел на заднем конце грузовика. После каждых пяти-шести грузовиков шел опять броневик. Они везли пищевые продукты из доков, доступ к которым был до сих пор прегражден огромной толпой докеров, постоянно стоявших около ворот и пассивно отказывавшихся расходиться. Гвардия заняла доки ночью с реки и оттеснила эту охрану, а теперь устраивалась демонстрация вооруженных сил. Тони смотрел на все это с отвращением и заметил, что приветствия раздавались главным образом со стороны женщин.

Несколько дней спустя Тони был разбужен телефонным звонком и услышал, как Джульен ответил сначала сонно, а затем что-то вскрикнул. Через секунду он открыл дверь к Тони и крикнул:

— Забастовка кончена, служивый! Маргарет у телефона и хочет говорить с вами.

Тони выкарабкался из постели и подошел к телефону. Он услышал голос Маргарет, говорившей с воинственным триумфом, что заставило Тони содрогнуться: так сильно, это пробудило в нем воспоминания о другой, недавней «победе»!

— Мы победили! Не правда ли, великолепно?

— Великолепно! — иронически согласился Тони. — Это обошлось мне только в двадцать фунтов плюс потеря шляпы и порча моего характера.

— Но, Тони, нельзя же думать только о себе! Ведь тред-юнионы разбиты!

— Разбиты? Я искренно надеюсь, что нет.

— Они разбиты, и все говорят, что это начало новой эпохи.

— Ну, мне жаль, что я такой плохой энтузиаст, — отвечал Тони, — но я не доверяю официальному провозглашению новых эпох. Их было по крайней мере две на моей памяти, и оба раза они были весьма неприятны! И все же я действительно рад, что это кончилось. Я верю в мир и надеюсь на здравый смысл.

За завтраком он сказал Джульену:

— Надеюсь, ваша публика больше не нуждается во мне? Говоря искренно, я не буду огорчен, несмотря на замечательное гостеприимство в отношении бутербродов и пива.

— Не знаю, — отвечал Джульен. — Пожалуй, лучше будет пойти и посмотреть.

— Хорошо, но назад пойдем по набережной, после ночных кошмаров приятно подышать воздухом и поглядеть на небо.

Они застали контору газеты в состоянии великого возбуждения, и их предупредили, что они будут нужны еще два или три дня. Тони спросил почему, и ему ответили, что требуется время, чтобы выторговать условия, на которых рабочие будут приняты обратно. Прежние соглашения были аннулированы, и случай для пересмотра их слишком удобен, чтобы прозевать его. Тони не сделал никаких комментариев, но подумал об очень многом.

Выйдя из конторы, они дошли по боковой улице до набережной. Несколько такси с визгом промчались туда и сюда, и одинокий трамвай медленно тащился по Блэк-

фрайерскому мосту. Не будь их, улица была бы совсем пуста; усеивавшие ее грязные бумажонки и всякий мусор разлетались в облаках пыли, вздымаемой ветром. Морские чайки кричали над грязной речной водой, которая пенилась вокруг контуров барж, ошвартовавшихся у противоположного берега. Небо было покрыто тучами.

— Давайте посидим, — сказал Тони, усаживаясь на скамейку.

— Устали?

— Нет. Хотя я и не молод, но и не так уж стар; я чувствую себя подавленным и раздраженным.

— Почему? Вам следовало бы радоваться, что все это кончилось.

— Так и есть, но меня раздражает такое использование нас, пока людей обжуливают, как хотят. Наглость — вот как я это называю! Во всяком случае мы... я пришел к ним, чтобы помочь обслуживать важнейшие потребности страны во время кризиса, а не драться за предпринимателей в их борьбе. Я склоняюсь к дезертирству.

— Не делайте этого, — воскликнул встревоженный Джульен. — Подумайте, в каком неловком положении окажусь я. Кроме того, не думаю, что вам надо огорчаться за рабочих. Благодаря конкуренции заработная плата поднялась фантастически высоко, и Грегори уверяет меня, что рабочие не откладывают лишних денег и даже не тратят их дома, а все пропивают и проигрывают.

— Как может Грегори знать? Да и во всяком случае, почему бы им не тратить заработанных ими денег, как им хочется, ведь люди, совсем не зарабатывающие своих денег, пришли бы в ярость, если бы вы им только намекнули, что хотите вмешаться в их траты. Замечательно, Джульен, что люди, которых я должен называть своим классом, желают делать только то, что им нравится, и добродетельнейшим образом возмущаются, когда те, кого они называют ниже

себя стоящими, подражают им! Заметили ли вы какое-нибудь сокращение в потреблении коктейлей или в количестве проигрываемых денег в замкнутых светских кругах?

Джюльен пожал плечами.

— Ну, это не наше дело.

— Не наше? Однако, когда у них беспорядки и им нужна наша помощь, это наше дело. Когда они получают то, что им требовалось, — тью! Adios¹, это больше не наше дело! Прекрасно! Я теперь всегда буду заботиться о своих собственных делах. Было вполне достаточно одного урока. Я сваял дурака. Точнее говоря, я знал это наперед, и я бы не делал того, что делал, если бы не... впрочем, ничего. Ничего и никогда больше, как говорит всеильный Уильям.

Джюльен ничего не сказал и зажег папиросу. Тони понял, что ему надоел этот спор и что он не хочет, чтобы из-за измены Тони пострадал его престиж. В конце концов, какое это имеет значение? У мальчика свои собственные затруднения — странно, что человек, всего на семь лет моложе его самого, кажется ему таким ребенком. Да и затем, он вмешался в это дело единственно ради Джюльена, из личных побуждений и потому не имеет никакого права принимать позу лица незаинтересованного.

— Не тревожьтесь, — сказал он, — я разберусь. — Затем добавил нерешительно: — У меня есть тоже и свои собственные причины беспокоиться. Когда я уехал... один... я достиг такого состояния духа, которое меня удовлетворило после очень многих лет тревоги и дисгармонии. Я почувствовал самого себя, я был как бы заключен в самом себе, стал способен держаться в одиночку. Эта забастовка неприятно напомнила мне о совершенной беспомощности отдельного человека, показала, насколько он находится во власти социального механизма. Предположите, что эта забастовка приняла бы дурной оборот, — мы все вместе

¹ До свидания.

могли бы пойти ко дну. Вы знаете, я думаю, что если бы нашелся хоть один сильный человек, движимый идеей и имеющий определенный план, — это могло бы кончиться революцией. Мы спасены — если только это спасение — своей посредственностью.

— О, этого я не знаю! — ответил Джульен с раздражением. — Мы в Англии не делаем таких вещей. Мы действительно самый непостижимый и удивительный народ в мире.

— Не прикладывайте этого лестного пластыря к своей патриотической душе! Мы посредственны и напуганы. Но ничего! Кажется, я с удовольствием уехал бы на время, может быть, на долгое время, — добавил он, поглядывая с задумчивым видом на серовато-коричневое небо.

— Почему же вы не едете? Что же вас тут держит?

— Пожалуй, ничто не держит. Но надо устроить кое-какие материальные дела — они всегда найдутся. А забастовка дает вашему почтенному дяде и его присным великолепный повод держаться за мои маленькие деньжонки. И затем — я не могу покинуть Маргарет.

— Не понимаю, почему не можете, — сказал Джульен грубо. — Насколько я вижу, фактически вы живете теперь порознь. Вы встречаетесь друг с другом как можно реже, а когда сходитесь, действуете друг другу на нервы!

— Я часто клялся себе, что никогда никому не скажу: «Если бы вам было столько лет, сколько мне, мой мальчик...» Я не хочу говорить этого и теперь. И потому скажу лишь, что, будь вы в моем положении, вы бы поняли все мои затруднения и колебания. Нельзя разрывать связей без боли, даже если кажется, что они рвутся сами по себе. Как ни странно, брак есть обязательство.

— Вы должны делать то, что вам нравится, — сказал Джульен.

— Нет! Попытайтесь-ка определить, что именно будет правильным. Но, Джульен, могу я вас попросить кое о чем?

— О чем же?

— Мы должны остаться друзьями, что бы ни случилось.

— Разумеется, — сказал Джульен беспечно. — В наши дни разводится всякий и каждый. Что от этого изменится?

Тони ничего не сказал, чувствуя, что тут просто нечего больше сказать. Отношение Джульена к нему было настолько безразличным, что оно переходило во враждебность и придавало скромному жесту Тони во время забастовки вид глупый и мелодраматичный. Странное ощущение — чувствовать, что у тебя совершенно нет друзей; но это соответствует Лондонской набережной.

Джульен встал со словами:

— Ну, мне надо идти. Итак, я увижу вас в конторе в девять.

— Да.

— Прощайте.

— Прощайте, Джульен, прощайте!

Тони зажег папиросу и стал спокойно курить. Грязные бумажки и обрывки по временам плясали в порывах ветра, и резкий крик чаек казался особенно меланхоличным. Вскоре Тони встал и долго ходил по улицам, заметив, что движение шоферов-добровольцев приняло форму узаконенного флирта — вместо полицейских с ними рядом сидели теперь девицы.

Вечером Тони пришел в контору газеты поздно и в мрачном настроении. За обедом Маргарет вернулась к старой тактике: во всем молчаливое неодобрение. По-видимому, его отношение к утреннему известию породило в ней подозрение, что, в конце концов, Тони вовсе не собирался стать хорошим мальчиком и делать то, что надо. Она даже намекнула ему на это, обвинив его в легкомыслии и безответственности. К вещам такого рода он приготовился, но был не так уж готов спорить или соглашаться с соображениями, которые, разумеется, приходили ему в голову и

раньше, но теперь вернулись с новой силой. Вне зависимости от своей личной изолированности, которую он соглашался считать общей судьбой или своей личной ошибкой, он чувствовал, что для каждого среднеразвитого и разумного человека становится все более и более невозможным принимать участие в коллективной жизни по убеждению. Требования правительства, корпораций и вождей общества можно грубо, но точно свести к такой грубой фразе: «Нам нужны твои деньги». В то же время становится все труднее и труднее препятствовать другим вмешиваться в вашу жизнь под более или менее глупым предлогом и таким образом делать ее невозможной; это, быть может, и объясняет, почему так много людей всяких национальностей желают жить за пределами своей родины. Хороший гражданин превратился во вьючного мула, чтобы таскать ношу честолюбивых замыслов и неудач других людей.

К несчастью, тут ничего нельзя поделать. Массы людей, пораженных тупым оптимизмом и узкободым научным догматизмом прошлого столетия, слишком многочисленны, чтобы их можно было цивилизовать, и потому они, вероятно, будут отступать и дальше в состояние выцветшего и посредственного варварства. Куда бы ты ни пошел, везде слишком много людей, которые наступают друг другу на ноги и дышат друг другу в затылки. Они вывели экономическую систему, которая явно проваливается, а между тем — и это просто сводит с ума — ты вполне зависишь от нее. Единственными прочными экономическими единицами являются сами себя обслуживающие монастырские общины, но в случае какой-либо свалки их немедленно разгромит чернь, которую больше не будет сдерживать суеверный страх. И что за хаос в пространстве между чернью и миллионерами! К тому же у современности нет эквивалента церковного отлучения, чтобы хотя бы при помощи запугивания сделать миллионеров порядочными...

* * *

Как только стачка была прекращена, начался массовый наплыв добровольцев в редакцию газеты, и они внесли кое-какое развлечение. Многие из них немедленно же прикрепились к таинственным «штабам», которые образовались внутри здания, по-видимому, главным образом в целях захвата ограниченного количества автомобилей, пригодных для возвращения домой с удобствами. Другие только бегали всюду и болтались под ногами у тех, кто работал. Появилось огромное количество автомобилей для развозки газет. Газета печаталась невероятным тиражом, чтобы разнести счастливое известие повсюду, хотя оно давно уже было известно в Англии каждому, кто достиг трехлетнего возраста. Люди, входившие и выходявшие с пакетами на плечах, шептали, что среди добровольцев есть знатные особы.

Один из тех автомобилей, которые трещали, пыхтели и загромождали внутренний двор, якобы принадлежал некой маркизе, взявшей за доставку газет. Тони случайно был среди работавших по погрузке автомобиля, а затем отошел назад посмотреть, как он тронется. Небольшая группа людей стояла перед автомобилем, сияя от удовольствия, которое им доставлял разговор с леди, а желтоволосый бывший офицерик, решивший, что дело надо делать как следует, проверял устойчивость наваленных грудой пакетов. Не посмотрев кругом, леди улыбнулась, кивнула своей маленькой свите и пустила автомобиль. Мучительный вопль экс-джентльмена страшным эхом прозвучал по двору:

— Черт! Проклятая сука переехала мне ногу!

Убедившись в том, что молодой человек не был ранен серьезно, Тони вошел в здание, отыскал свою шляпу и ушел. С его точки зрения, этот бывший офицерик изрек самую подходящую эпитафию для Великой Всеобщей Забастовки!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1927

По дороге в ванную комнату Тони задержался немного, чтобы взглянуть из окна на ту небольшую часть февральского Лондона, которую мог назвать своей. Облачное небо висело метрах в трех над мокрыми крышами, а ткань воздуха походила на ту, которую дантовский ангел в аду устало снимает со своего лица, как грязное покрывало. Какой-то шофер с привычной ловкостью выровнял ход своего страшно заскользившего автобуса и затем уже безопасно покатил дальше, как на санках, свой тяжелый груз. Тони рассеянно пробормотал:

— Дадь нам мир в наши дни, о Боже, ибо никто не сражается за тебя, только мы, о Боже, а мы — армия Фреда Карно!

«Приветствую тебя, великолепное поражение. Разве бывают какие-нибудь битвы, кроме проигранных битв, какие-нибудь дела, кроме проигранных дел, какая-нибудь жизнь, кроме горшечных черепков в Селинунте*? Холоден был ветер, но я, дрожа от лихорадки в холодном солнечном свете, видел, как они проходили, люди с остроконечными бородами, люди, избороздившие моря и сушу. И вот я, трясясь от лихорадки, узрел и отверг состояние, приносящее три процента. Лучше я буду питаться дикими травами, а вы сажайте себе капусту в Бекингеме...»

* * *

В другой комнате добрый корабль, Маргарет, готовится к дневному рейсу, туго подтягивая шелковые чулки, беря на гитовы панталоны, поднимая на стропах бюстгальтер, накрашивая губной помадой бугшприт.

Тони отошел от окна и последовал в ванную комнату. Он ненавидел бритье, зато наслаждался ванной: ванна — последнее убежище в переполненной Европе. Теперь все поэты сочиняют в ваннах — это единственное время, когда они могут подумать.

Предположим, что один миллиметр бороды сбывается ежедневно в течение пятидесяти лет, это составляет чуть ли не пятьдесят метров на протяжении жизни. Карл Великий, пышнобородый, ничто в сравнении с этим. Бритье, ванна, зубы, волосы, ногти — что это за жизненная симфония? Говорят, королева Елизавета, когда ей минуло шестьдесят, устала жить и больше никогда не мылась. Вот Микеланджело предостерегал же своего племянника, что ванны, мол, очень опасны; он был старый, грязный христианин.

«Завтра никогда не бывает новым днем, мы его всегда закладываем. Или оно уже заложено еще до нас — «войска пройдут в боевом порядке в три часа утра». Сегодня... — и Тони, подогнув колени, скользнул в теплую воду. — Почему не все ванны делаются длиной в шесть футов?.. Сегодня я заложил свой завтрак Харольду и Уолтеру. Не хочу встречаться с Харольдом и Уолтером. Я знаю точно, что они будут говорить, они столько раз уже говорили это. Они будут увещевать меня жить жизнью мужчины и не валять больше дурака и будут намекать на тот очевидный факт, что Маргарет и я связаны теперь только по чистой видимости. Я буду стараться морочить им голову и во всяком случае ничего не выболтаю о Маргарет. Зачем это делать? Мы проводим вместе почти шесть месяцев в году. Почему я не

увертываюсь от этого свидания? Потому что знаю, что через две недели еду в Тунис с Уотертоном, и мне все равно, как я трачу дни своего изгнания здесь».

Он услышал приглушенный стук выходной двери. «И куда это Маргарет уходит так рано, или, может быть, не так уж рано? Могла бы, по крайней мере, сказать *au revoir*¹ через замочную скважину».

Тони вылез из ванны и пошел одеваться в комнату, служившую ему спальней и кабинетом. На этот день его ваннные размышления были кончены. На столе лежало несколько только что вскрытых писем, из которых он выбрал одно, гласящее:

«Дорогой Тони, мне интересно, помните ли вы Эвелин? Я знавала вас когда-то, давно-давно, когда вы были совсем мальчиком в Вайнхаузе, поэтому нет ничего удивительного, если вы и забыли меня.

Смерть вашей матери была для меня большим горем. Она была славная женщина и выказывала мне много доброты.

Через два-три дня я возвращаюсь в Индию. Мой муж служит на индийской гражданской службе, а я приезжала в Англию посмотреть, как мальчики — два таких чудесных мальчика, Тони! — будут устроены в школе, и купить кое-что.

Я часто думала о том, что с вами случилось, а теперь узнаю, что вы женаты! Вероятно, вы уже взрослый, но я всегда думаю о вас как о забавном пылком мальчике, которого я знавала. И решила, что попытаюсь увидеть вас до отъезда. Только что узнала ваш адрес — мне, конечно, и в голову не пришло заглянуть в телефонную книжку.

Не придете ли вы и ваша жена пообедать со мною завтра в половине восьмого? Мне было бы ужасно приятно, ес-

¹ До свидания.

ли бы вы пришли! Напишите, пожалуйста! Как странно будет снова увидеть вас!

Искренно ваша

Эвелин.

P. S. Я и забыла сказать, что остановилась в отеле «Резиденси».

Письмо было написано на листке, вырванном из обыкновенного блокнота, и не помечено числом месяца. Довольно путаная, бессвязная записка, и совершенно бесцветная. До последнего момента не давала своего адреса и так и не написала фамилии! И как ему найти Эвелин? И что она подразумевает под этим «завтра»? Завтра, то есть после того дня, когда она писала, или на другой день после того, как он получит ее письмо? Очевидно, она женщина не методическая и не заботливая.

Тони стоял с письмом в руке и думал, как бы ему связаться с Эвелин. Забытая Эвелин! Его рассудок мог бы забыть ее, но не его кровь. Стоя так, в сыром февральском воздухе, он видел золотой свет, проходящий через желтые ставни, в коридоре замолкнувшего дома, и его тело припомнило исступленный восторг от ее прикосновений. Прошло восемнадцать лет, а его кровь все еще пылает от воспоминаний об Эвелин. А теперь она мать подрастающих сыновей, и, Господи, ей лет сорок. Благоразумно ли будет увидеть ее опять и, может быть, из-за этого потерять нечто восхитительное, нечто такое, что всегда продолжало жить в его крови и помогало ему сохранять какую-то сладость в жизни? Что общего между мужчиной и женщиной, которыми они теперь стали, и теми прежними девочкой и мальчиком?

Что за глупое любопытство желать снова встречи с ним? Если то откровение касаний значило для Эвелин что-нибудь, как для него оно было золотым экстазом, то, разуме-

ется, бесконечно умнее продолжать хранить воспоминание как томный аромат, а не рисковать потерей его навсегда. Тони почувствовал, как вся кровь бросилась ему в лицо при мысли, что, может быть, тело Эвелин все еще неуловимо тянется к воспоминанию о нем, Тони, что ей даже, может быть, кажется — отчетливо или же смутно, — что они могли бы поглотить в зрелом возрасте красоту, открытую ими в юности. Тони старался яростно отбросить эту мысль от себя, — как абсурдно, как пошло, как в точности похоже на тщеславие прихорашивающегося самца, которое Тони всегда презирал. Это бы все испортило! Гораздо лучше совсем не отвечать; Эвелин дает ему чудесный предлог для этого, не подписав своей фамилии.

Тони увидел, что он глядит на стенные часы и высчитывает, хватит ли у него времени зайти в отель «Резиденси» до завтрака с Уолтером и Харольдом. В конце концов, почему бы и не пойти? Эвелин — единственная оставшаяся в живых родственница, к которой он испытывал какие-то теплые чувства, и мысль, что они могли бы... Смешно и абсурдно! Конечно, ей и в голову не приходили подобные вещи! Впрочем, лучше не брать с собой Маргарет. С таким талантом к подозрительности она сейчас же «заподозрит что-нибудь» и может обойтись грубо с Эвелин. Нет, если уж повидаться с нею, то наедине, спокойно пообедать вместе и затем распрощаться. Быть может, они больше никогда не встретятся.

Тони торопливо дошел по грязным улицам до ближайшей станции метро, взял билет и вошел в великолепный лифт — чеканные, литые железные решетки работы Донателло из Мидлсборо, картины мастеров Школы иллюстрированных приложений к газетам, паркетный пол от компании «Избави, Господи». В ту минуту, когда он входил в лифт, кто-то сунул ему в руку рекламный листок, который он

почти бессознательно взял и держал, глядя на объявления на улетающих ввысь стенах. Странно, что после стольких лет увещаний он все-таки никогда не давал жене мясного экстракта «Боврил», не покупал «молочной муки для детей», не вступал в строительное общество «Аббэй Вуд» и всегда обставлял свою квартиру не по системе Дрейджа.

Платформа станции напомнила ему пустую стойку выложенной изразцами «Специальной молочной», если заглянуть туда через окно после закрытия магазина или в воскресенье. Пока Тони шарил в своей памяти в поисках чего-нибудь сходного, что таило бы в себе такую же тоску, подобную же пустоту без вдохновения, поезд с грохотом выскочил из туннеля и, рванувшись, остановился. «Пуфф-ишшт!» — произнес он.

И несколько голосов пропели: «Лен-кестер Гет! Ленкестер Гет!» Тони прошел в вагон для курящих, и пение перешло в молебный гимн: «Пра-аходити внутрь вагона, пожалста». Так деликатно. Тони опустил на сиденье и начал просматривать брошюрку, столь щедро навязанную ему наверху. Это был раскрашенный листок-складень под названием: «Путешествия по Средиземному морю», с изображением пирамид, какими они никогда не были, Афин, какими им не следовало бы позволять быть, и Венеции, какой она не может быть, — словом, вся романтика разных пышных «а это что такое?».

Трепетные попытки удрать куда-нибудь — но почему и куда? Индустриальный человек, паразит или производитель, томится, как какой-нибудь изгнанный швейцарец. Шум лондонского уличного движения — это *ranz des vaches*¹ из страны, которой не существует. Непоседливость в городах и вне их, даже крестьяне целыми толпами стремятся в Америку. О, если бы быть чем-то другим, о, если бы быть

¹ Пастушечьи мелодии.

где-нибудь в другом месте, *fuir! Lá-bas fuir!*¹ Не франкенштейничай мне о Франкенштейнах*; они любят свои машины. Машина не думает, машина не чувствует, у машины нет никаких осложнений, нет никакой тревоги за будущее. Она делает вещи. Она делает коробки для сардин, которых хватит до Луны, стальные фермы — до Юпитера, чулки из искусственного шелка — до Альдебарана*! Мы становимся богаче, вы становитесь богаче, они становятся богаче. Вселенная распространяется во все стороны быстрее, чем свет. Чудеса, чудеса! Все в жестянках, рыба — в жестянках, мясо — в жестянках, спаржа — в жестянках, музыка — в жестянках, волшебные картины — из жестяных фонарей, быстрота — из жестяных баков.

И все же индустриальный человек томится, ах, как он томится! Трепетные попытки удрать от чудес жестяночной жизни. Поезжайте в Австралию... поезжайте в Южную Африку... поезжайте в Китай... поезжайте в Канн... нет, поезжайте сюда... нет, поезжайте сюда... нет, поезжайте сюда! (Ваши деньги, вот что нам нужно!)

Плакат на вокзале Борнемаут: «Посетите романтическое Ассизи. Церковь Святого Франциска. Северо-Восточная Итальянская железная дорога». Плакат на вокзале в Ассизи: «*Visitate l'Inghilterra. Spiaggia di Bournemouth*»² Южная железная дорога».

О Ассизи!

О Борнемаут!

Вся культура за одно путешествие!

Ваши деньги — вот что нам нужно...

Отель «Резиденси» стоял на тихой боковой улице около Сент-Джеймса*. Главный вход в стиле семнадцатого века, очень чистые окна — сияющая медь их стерлась от частой

¹ Бежать! Бежать туда!

² «Посетите Англию. Пляж в Борнемауте».

полировки. В камине холла горит жаркий огонь. Очевидно, это такое старомодное место, куда приезжают умные люди, чтобы им было уютно. Тони подошел к кому-то вроде старшего лакея, походившему на дворецкого в семейном доме, и сказал:

— У вас здесь остановилась одна дама, моя кухня из Индии, миссис Эвелин...

— Миссис Морсхэд? — сказал лакей.

Тони сейчас же припомнил фамилию, как только услышал ее.

— Да. Она дома?

— Кажется, да, сэр. Прикажете доложить о вас?

— Нет. Пожалуйста, скажите, что здесь посыльный от ее кузена, мистера Кларендона, который шлет ей свой привет и будет рад отобедать у нее сегодня вечером. Миссис Кларендон сожалеет, что не сможет приехать.

— Отлично, сэр.

Лакей ушел, и у Тони было достаточно времени для изучения огромной обрамленной гравюры прошлого столетия. Она изображала «Совершеннолетие молодого помещика»: все в костюмах семнадцатого века, жареный бык, старые английские игры и речь молодого помещика во всем его блеске. Одним словом, такая вещь, в пристрастии к которым люди сами себя уверяли, когда голосовали за Диззи. Неискоренимая любовь ко всякому вздору.

— Миссис Морсхэд просит кланяться, — сказал голос лакея, — и будет ожидать мистера Кларендона в семь тридцать.

— Прекрасно, — сказал Тони, — благодарю вас. — И вышел, оказав достаточное сопротивление диккенсовскому окружению, чтобы не попросить на шесть пенсов бренди и тепловатой воды.

В полном соответствии с ожиданиями Тони завтрак с Харольдом и Уолтером прошел не особенно удачно и ничего не прибавил к общей сумме человеческого счастья.

Сразу же как Тони пришел и увидел, что они сидят за столом в ожидании с видом оскорбленного превосходства строго пунктуальных людей, он инстинктивно почувствовал, что в воздухе носится что-то зловещее. Так оно и было. Тони подозревал, что завтрак задуман не зря, что эти двое произвели о нем следствие вкупе с Маргарет и Элен и что, вероятно, ему будут преподаны ценные советы и «оказана помощь». Тони решил, что надо будет избежать стычки и потому не очень дразнить приятелей. Придется внимать мудрости совы и тюленя.

Уолтер открыл нападение, заговорив с видом наигранной небрежности, которая сразу же выдала, где зарыта собака.

— Кстати, это верно, Тони, что вы ушли из своей фирмы в Сити?

— Не подходил к ней и близко с прошлого апреля, — сказал Тони весело, — и подписал обязательство никогда не входить больше в контору.

— Нельзя ли узнать почему?

— Служба была для него недостаточно хороша, — вмешался Харольд насмешливо.

Уолтер хмуро посмотрел на него, чтобы он замолчал, а Тони сказал:

— А вы, пожалуй, правы, Харольд! Во всяком случае, у меня были свои причины.

Тони с удовольствием наблюдал за их различными методами нападения. Харольд, который уже вкусил «дела», говорил о «деле», жил «делом» и был «делом», едва мог скрывать свое раздражение и, казалось, воспринимал отступничество Тони как личную обиду. Он стоял за крутое обращение и за прижим: нельзя допускать, чтобы люди так вот просто делались большевиками. С другой стороны, Уолтер был умнее и со своего собственного личного наместа поглядывал вниз с некоторой симпатией на всякого,

кому не нравились деловые методы, и если бы только Тони признался в своем страстном желании поступить на гражданскую службу, Уолтер оказался бы на его стороне. Во всяком случае, он так наслаждался введением в игру своей знаменитой «закулисной» дипломатии, что не мог разделять злости Харольда.

— Милый Тони, — начал он в легком тоне, грациозно помахивая рукой, что уже оказало влияние на манеры клерков Второго отделения, — вы знаете, что мы ваши старые друзья и еще более старые друзья вашей жены. Можете нам и не верить, но мы искренно любим вас и, поскольку это возможно для друзей, хотим сделать для вас все, что в нашей власти, и хотим видеть вас преуспевающим и счастливым.

«Черт! Вот поет», — подумал Тони.

— А поэтому — *quae cum ita sint*¹, Цицероновская конструкция, — мы были, естественно, — как это сказать? — немного обеспокоены, даже немного огорчены, когда узнали от посторонних, что вы пошли, не посоветовавшись ни с кем из нас, по пути, который кажется нам весьма опрометчивым и безрассудным. Больше того, когда происходит что-нибудь в этом роде, а друзья бессильны защитить своего друга, потому что он не доверился им, то люди говорят разные гадости, которые циркулируют без всякого опровержения.

— Милый Уолтер, — прервал его Тони, слегка покраснев, — неужели же вы думаете, что я прожил в Лондоне ряд лет и не знаю, и не презираю того, что люди говорят? Я отлично знаю, что нет такой чепухи, которой бы они не сказали или в которую бы они не поверили. Вроде того, например, что я через полгода попаду в сумасшедший дом, или что меня выбросили из фирмы за мелкую кражу, или

¹ Ввиду того, что дела обстоят так.

что я заставляю свою жену участвовать в страшных оргиях, из-за которых вот-вот произойдет скандал. Я знаю все, вплоть до намеков на содомский грех: «Да, ему приходится жить за границей, а вы знаете почему?» Тьфу! Вы думаете, меня хоть на грош волнуют эти идиоты?

У Уолтера был несколько обескураженный вид, но Харольд пошел напролом:

— Вам не выпутаться, если вы будете так извращать действительность, Тони. Отдаю вам должное, это остроумно, но у вас ничего не выйдет. И вы не можете уйти от того факта, что общественное мнение осуждает вас.

— Общественное мнение! — воскликнул Тони со смехом. — Какое это общество! Не думаю, чтобы меня знали две сотни людей, если их всех пересчитать.

— Это люди, с которыми вы должны считаться, — сказал Уолтер примиряющим тоном. — Ведь, в сущности, дорогой мой, ваша репутация в их руках!

— Прощай, моя репутация, — сказал Тони, отпивая глоток пива. — Предупреждаю вас, что я переживу этот позор.

— Так не годится, — сказал Харольд сердито. — Вы уклоняетесь от ответа и валяете дурака, как всегда. Мы вправе требовать от вас разумного объяснения и точного установления фактов, если не ради вас, то ради вашей жены.

— Ха-ха! — расхохотался весело Тони. — Значит, вы сплетничали обо мне с Маргарет?

Уолтер мановением руки утихомирил Харольда и снова начал:

— Милый Тони...

«Он обращается ко мне как к публике на митинге, — подумал Тони, — так Гладстон* говорил со старой королевой».

— Милый Тони, вы понимаете все это совершенно неправильно и очень огорчаете нас обоих. Никто больше

меня не ценит юмора, но сейчас для этого неподходящее место. Постарайтесь быть серьезным.

— Серьезным? — воскликнул Тони. — Я чертовски серьезен! Это вы шутите!

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что мне отлично известно, что я делаю и почему. А вы вмешиваетесь в то, чего не понимаете.

— Не знаю, почему вам хочется называть здравый смысл вмешательством, — пробормотал сердито Харольд.

— Ну, в данном случае я называю это так, — брякнул напрямик Тони.

Харольд хотел было возразить презрительно, но Уолтер вмешался с дипломатической *détente*¹, которая чрезвычайно позабавила Тони.

— Нет, нет, — сказал он поспешно, — не будем позволять себе уклоняться от сути дела. Харольд, вы не съедите вместе со мной кусочек сыру? А вы, Тони? И спросим по стакану портвейна к нему! Разумеется! Человек! Три стилтона и три стакана портвейна! Марки «Дау» 1908 года — не забудьте. Будем вести этот разговор дружески. У нас у всех самые лучшие намерения, и я уверен, что мы будем в состоянии прийти к удовлетворительному решению. Тони, разрешите мне задать вам несколько вопросов, как старый друг старому другу.

— Конечно, — сказал Тони, решив про себя откровенничать со «старым другом» как можно меньше.

— Должны ли мы понимать, что вы бросили свою карьеру окончательно и безусловно?

— Да, если вы называете карьерой такого рода деятельность.

— А! — Уолтер немного посветлел, между тем как Харольд вспыхнул от оскорбления, нанесенного божеству. — Есть у вас какие-нибудь планы на будущее?

¹ Увертка, отвод, перемена темпа.

— О да! Приблизительно через две недели я еду в Тунис.

— Я хотел спросить не это! Я хотел спросить, есть ли какая-нибудь серьезная работа, за которую вы бы хотели взяться? Может быть, я был бы в состоянии помочь? Ведь есть разные виды официальной и полуофициальной деятельности, где всякий интеллигентный человек...

— Благодарю вас, — прервал Тони, — я буду вполне доволен, если буду жить и дальше, как живу, без всякого официального дозволения.

— Тогда, значит, нам и в самом деле приходится считать, что вы намерены проводить остаток своей жизни в праздных разъездах из одного курорта в другой и будете наезжать в Лондон, только когда почувствуете, что нельзя дольше пренебрегать своей женой?

— Можете считать все, что вам угодно, или, вернее, что может прийти вам в голову, — сказал раздраженно Тони. — Но, пожалуйста, не затрагивайте Маргарет. Это мое дело.

— Прошу прощения, — сказал торопливо Уолтер. — Я не хотел вас задеть. Извините меня. Но, право, мой друг, — простите, что я так говорю, — ваше поведение совершенно непостижимо и очень глупо!

— Я могу легко простить то, что вы говорите, мой милый Уолтер, потому что не обращаю на это никакого внимания.

Уолтер был, по-видимому, задет таким грубым выпадом; тут в разговор вмешался Харольд, который, видимо, с трудом сдерживался.

— Вот что, Тони, я знаю, конечно, что считается невоспитанностью обсуждать дела, касающиеся жены приятеля и все такое, но мы не можем не затрагивать Маргарет. Вы действительно намерены утверждать, что, по вашему мнению, вы не причиняете ей вреда?

— Конечно, я не причиняю ей вреда!

— Но ведь это же означает значительное сокращение дохода! — Харольд сделал ударение на слове «доход», словно это было что-то таинственное и священное.

— Если Маргарет вышла за меня замуж из денежных соображений, она сделала ошибку, — сказал Тони.

— Но разве вы не считаете, что она вправе настаивать, чтобы вы поддерживали тот образ жизни, к которому она привыкла?

— Конечно нет! Что это за псевдофеминистская болтовня, Харольд? Если уж доходит до этого, то я вправе настаивать, чтобы Маргарет приняла мой образ жизни, боюсь, слишком простой, чтобы он мог ей понравиться! Но тут не возникает никакого вопроса — у нее очень хороший свой собственный доход.

— Уф! — вздохнул Харольд, теряя терпение. — Могу лишь сказать, что вы ведете себя как... прихлебатель.

— Только этого я и мог ожидать от вас. Я редко видел человека, столь медленного на соображение и столь зависящего от избитых фраз. Есть у вас еще какие-нибудь вопросы, Уолтер?

— Не стоит продолжать, — сказал Уолтер натянуто, — раз вы отказываетесь быть серьезным. Но должен предупредить вас и надеюсь, что вы тщательно подумаете над этим. У каждого есть свой долг по отношению к государству, и после года-двух безделья вы увидите, что соскучились, будете недовольны и захотите вернуться к прежней деятельной жизни, но тогда уже будет невозможно вернуться к ней, потому что вы отстраняете всех своих друзей.

— Но, простите меня, — сказал Тони весело, — я уже насвершал всяких чудес на службе у государства во время маленькой войны и великой забастовки. Если бы нас не было так много, нам бы поставили по статуе на площади и дали бы на брата столько хорошей пахотной земли, сколько могут вспахать два сильных быка за целый день. Что же

касается того, будто я соскучусь и буду недоволен, то разрешите мне указать, что я действительно скучал и был недоволен, когда участвовал в так называемой деятельной жизни, которую я назвал бы гораздо менее деликатно. Если бы не характер Маргарет, делающий для нее невозможным участие в моей настоящей жизни, я был бы теперь совершенно счастлив! Если я буду жить такой жизнью, какой хочу, я знаю, что я не соскучусь и не буду недоволен. Если же я увижу, что она мне не по душе, обещаю, что я приду и скажу вам об этом откровенно. Больше того — даю вам разрешение назвать меня болваном и плюнуть мне в лицо. Есть еще вопросы?

— Нет! — сказал Уолтер, стараясь принять уничтожающий вид. — Человек, наши счета, пожалуйста!

«Счета? — подумал Тони. — Я бы сказал, счет! Да, эти господа живут по средствам!»

— Нет, — сказал Уолтер задумчиво, тоном скорее печали, чем гнева. — Я не буду больше задавать никаких вопросов. Я целиком не одобряю того, что вы делаете, Тони, и не одобряю потому, что это указывает на полное отсутствие у вас дисциплины. Вижу, что вы во власти какого-то сентиментального каприза в поисках свободной жизни. Но это лишь обрывок беспорядочных эмоций, а при длительном опыте вы откроете, что эмоции, приведенные в порядок, всегда много лучше своей беспорядочной разновидности. Что бы вы ни думали, но жизненные и общественные формы должны соблюдаться. Почему бы вам не поверить в общественный порядок, не подчиниться ему и не поддерживать его?

— Ах, — произнес Тони, собирая сдачу и беспечно оставляя чаевые, размер которых заставил нахмуриться Харольда. — Это звучит как символ веры, Уолтер. «Во что я верю», сочинение Холла Фейна. Однако это не моя вера. Подобно мистеру Пеготти* я отправляюсь по белу свету,

чтобы отыскать свою Эмили. И моя Эмили — это ежедневное и ежечасное ощущение того, что я живу как человеческое существо, а не как бессмысленная пешка. Итак, прощайте!

II

Годом или даже несколькими месяцами раньше Тони был бы расстроен такой встречей с Харольдом и Уолтером и тем, что они ему говорили. Он терзался бы этим после, сомневаясь в себе, спрашивая себя, не были ли они в конце концов правы? Теперь же он уже через десять минут выбросил навсегда из головы и их самих, и их взгляды. Конечно, они были мудры, в меру мудрости своего мира, но не его мира. То, что они говорили и чувствовали, затрагивало Тони только поверхностно, оставляя самую сердцевину совершенно незадетой и нетронутой. Это наполнило его чувством ликования, словно он открыл, что он теперь неуязвим, а то, что его считают глупцом, ровно ничего не значит. Если самонадеянно претендовать на роль дурака ради Господа Бога, то во всяком случае можно решиться стать дураком ради жизни.

Весь остаток дня Тони много думал об Эвелин, переживая настроение какой-то обособленной нежности. Оглядываясь назад — быть может, с оттенком обычной тенденции идеализировать людей и переживания времен юности, — он считал, что Эвелин обладала таинственными свойствами прелести, которые принуждена была скрывать от мира. Своим прикосновением она была способна сообщать — как

трудно находить нужные слова! — напряженную физическую жизнь, которая была настолько утонченнее обычной жизни, что ее следовало бы назвать «божественной». От прикосновения Эвелин слабое пламя его жизни вспыхнуло ярким светом, как это бывает с пламенем, когда его из обычной атмосферы переносят в кислород. И это было тем переживанием, которое вместе с другими помогло Тони установить для себя образец того, чего он желал от жизни. Тони было интересно узнать, развилось ли это свойство в Эвелин до полной зрелости, или же оно затоптано, поскольку общество старается затоптать его у всех молодых. Довольно мрачно подумал Тони о своей упрямой, все время проигрываемой борьбе, которую он принужден был вести годами, так что лучшая часть его жизни была истрачена на то, чтобы вернуться туда же, где он был в двадцать лет, и притом с какими ранами!

Чем больше он думал об Эвелин, тем глубже убеждался в том, что было бы чрезвычайно ошибочным, было бы какой-то профанацией пытаться восстановить их близость времен Вайнхауза. Неполная в одном смысле, она была полной как переживание. Не оставалось ничего не выполненного. Не было ощущения, что он сбит с толку и ограблен, как это было бы... Теперь он очень сожалел, что согласился повидаться с Эвелин. И был уже почти готов позвонить в отель и сказать, что он не может прийти. Но это было бы слишком грубо. Тони утешил себя мыслью, что они спокойно поговорят за обедом, понимая друг друга без необходимости прямых высказываний, и что Эвелин увидит, как что-то от ее свойства всегда продолжало жить в нем. Если она сохранила что-нибудь от этого свойства, она поймет, что почтительная нежность гораздо более драгоценна, чем любые грубые попытки ухаживания, которые непременно приведут к позорной неудаче. А если нет...

* * *

Придя в отель, Тони с удивлением услышал, как псевдодворецкий сказал, передавая его лакею: «Апартамент номер три». «Апартамент» звучало зловеще и походило на англо-индийскую претенциозность. Тони провели в комнату, где за большой безобразной решеткой горел огонь в камине. Там были тяжелые репсовые занавески и обои в стиле короля Эдуарда, а почти в центре комнаты стоял стол, аккуратно накрытый для обеда на двоих. Лакей сказал:

— Миссис Морсхэд сейчас придет, сэр, — и ушел. Тони подошел к камину, у которого стояли большое кресло и другой столик — весьма убогая имитация великолепных флорентийских столов, выложенных узором из цветного камня. На столике валялось рукоделие и два-три романа, но внимание Тони было сейчас же привлечено к трем фотографиям в рамках: одна изображала пожилого человека в белом тропическом костюме и с пробковым шлемом в руке, а другие — двух мальчиков в итонских воротниках и школьных шапочках. В старшем мальчике не было ничего особенного, но Тони показалось, что он видит что-то от грации Эвелин в несколько задумчивом выражении лица младшего мальчика. Тони взял фотографию в руки, чтобы рассмотреть поближе. Да, было нечто, напоминавшее ему ту стройную девушку, которую он знал. Тони так задумался, что не слышал, как открылась дверь. Он вздрогнул, когда чей-то звонкий, высокий голос, в котором звучали довольно повелительные нотки, произнес:

— Так вы разглядываете мои сокровища, не так ли?

Тони торопливо поставил рамку и пошел навстречу Эвелин со словами:

— Прошу прощения, Эвелин. Ну, как вы поживаете?

Они обменялись рукопожатием, и Эвелин посмотрела на него так пристально и испытующе, что Тони почувствовал себя неловко.

— Так, значит, вы — Тони, — сказала она. — Вы выросли и пополнели, но я всегда бы вас узнала. Ну, ну!

Был какой-то металлический оттенок в этом «ну, ну», который давал понять, что Тони уже взвешен на весах и найден очень легким. Он почувствовал растерянность и почти онемел, быть может, потому, что реальная Эвелин, стоявшая перед ним, была так непохожа на ту Эвелин, которую он знал или которую он воображал себе. В свои самые пессимистические моменты он никогда не представлял ее себе таким воплощением Мем-Сагиб* в отпуску, притом одетую в не очень модное вечернее платье и увешанную довольно безвкусными драгоценностями. Он почувствовал, что совершил промах, явившись не в смокинге, и был не слишком утешен мыслью, что его парадный костюм был реликвией, сохранившейся от тех дней, когда он еще одевался на Сэвиль Роу. Тони решил не приносить извинений, которых от него явно ждали, и сказал:

— Я не мог удержаться, чтобы не посмотреть на фотографии ваших сыновей. Мне показалось, что у младшего в лице есть что-то от вас, какой я знал вас когда-то.

— Они такие очаровательные, — сказала Эвелин, игнорируя его замечание о сходстве и говоря в том тоне материнского покровительственного чувства собственности, который Тони всегда раздражал. — Я хотела бы, чтобы вы их повидали до того, как они уехали в школу. Джим — настоящий спортсмен, работает, когда надо работать, и играет, когда надо играть. В этом семестре он выиграет школьное первенство. Боб, младший, несколько беспокоит нас. Всегда ходит как сонный и совершенно не интересуется теми вещами, которые должны бы нравиться мальчику. Мы с мужем считали, что он нуждается в дисциплине и в здоровой компании, чтобы проснуться. Конечно, он еще слишком мал, чтобы жить без семьи, он еще только в подготовительной школе. Мне пришлось держаться сурово,

когда я расставалась с ним, уверяю вас... Мне не хотелось, чтобы он расплакался и опозорил и себя и меня в первый же день. Джим, конечно, совсем другой, как будто ему все равно, хотя он всегда аккуратно пишет нам раз в неделю. Но я надеюсь, что из Боба выбьют дурь. Кстати, у вас есть дети, Тони?

— Нет, — сказал Тони, кладя на стол фотографию Боба, с немим восклицанием: «Увы, бедный Боб!»

— А, ну тогда это вам не будет интересно!

— Наоборот, мне очень интересно. Я много бы дал, чтобы узнать, какие у детей этого возраста мысли о нас и о мире, который мы им оставляем.

— Я уверена, что они не ломают себе головы над такими абсурдными идеями, — сказала Эвелин, смеясь и нажимая кнопку звонка. — Какого вам коктейля? Мартини? Сайд-кар?

— Спасибо, лучше не надо никакого!

— О, но вы должны выпить! Я собираюсь пить сайд-кар, а если вы не любите коктейля, так пейте шерри.

— Хорошо, выпью, благодарю вас.

Когда Эвелин отдала приказание лакею, Тони сказал:

— Маргарет, моя жена, просила передать вам, что она очень жалеет, что не могла приехать. Ваше приглашение было так неожиданно, знаете ли, а она уже дала кому-то обещание, которое никак нельзя было не сдерживать.

— Мне тоже жаль. Я хотела посмотреть, какой такой женщине удалось подцепить вас, Тони. Я пригласила одного знакомого к обеду, чтобы нас было четверо, но он придет потом. Капитан Мартлет. Вы, разумеется, знаете капитана Мартлета из индийской армии?

— Нет, боюсь, что не знаю, — ответил Тони, который до этой минуты никогда не слышал ни звука о славе капитана Мартлета.

— Он вам очень понравится. Он великолепно вел себя на северо-западной границе. Конечно, теперь у горной артиллерии гораздо меньше дела, чтобы образумить язычников, все больше и больше применяют самолеты.

Несколько озадаченный Тони печально сидел за обедом среди развалин своей мечты. Английская Индия сделала свое дело в совершенстве, и не осталось никакого намека на ту Эвелин, которую Тони знал когда-то. Тони думал об ее девичьем теле, свежем и трепетном, как заря, открывающаяся навстречу юному и радостному миру, и скорбел при мысли о том, что мужчина делает из женщины. Почти все, что говорила эта Эвелин, коробило Тони, как фальшивые слова из роли, которую так долго и старательно разыгрывали, что она, наконец, совершенно вытеснила живого человека. И теперь существовало только то, что подменило этого живого человека. Мысли Эвелин, ее чувства, даже ее внешность были мыслями, чувствами и внешностью провинциалки, которая настолько не сознает своей отсталости, что даже считает себя весьма передовой. Во всем этом не было непосредственности настоящего, глубоко укоренившегося провинциализма, который может быть неподдельным и искренним, это был просто привкус загнившей метрополии.

Тони с отчаянием думал, как он будет поддерживать разговор за обедом, но оказалось, что ему незачем было беспокоиться об этом. Эвелин превратилась в одну из тех женщин, которые гордятся тем, что они хорошие хозяйки, и поэтому берут на себя девять десятых всего разговора, удовлетворяясь лишь получением в ответ одних вежливых, хотя и неискренних замечаний и изъявлений согласия. Эвелин говорила об Индии и Англии, развязно осуждая политику правительства, о спорте и развлечениях на Британских островах; о колебаниях цен на фондовой бирже; об импер-

ской торговой политике; о преимуществах и недостатках различных систем автомобилей и об абсолютной необходимости хорошо проводить время, пока ты не состарилась. Пока она держалась этих тем, Тони было сравнительно легко, ибо благодаря знакомству с ее прототипами он знал, чего ему ожидать. Трудности начались, когда Эвелин переключилась на искусство. Тони принужден был сознаться, что он не видал ни одной из перечисленных Эвелин пьес, что он редко ходит в ночные клубы, что он никогда не играет в бридж, что он не член ни одного клуба, не слушает радио и никогда не слышал о тех романистах, которыми, по-видимому, она восхищается.

— Ну так значит, вы старый сухарь! — сказала Эвелин. — Но, может быть, вы один из тех, кто много работает и потому не имеет времени для надлежащего отдыха. Джим, мой муж, тоже такой. Мне всегда приходится вытаскивать его и заставлять силком немного поразвлечься, вместо того чтобы корпеть над работой. Однако я не осуждаю вас, Тони. Каждый должен сам добиваться положения, пока он еще молод.

— Несомненно, — сказал Тони.

Тут Эвелин задала вопрос, которого Тони так страшился:

— Кстати, чем вы занимаетесь?

Тони определенно решил, что он не будет ссориться с Эвелин даже после такой странной и отталкивающей метаморфозы, которая произошла. Он не мог допустить, чтобы эта до огорчения банальная женщина убила его прекрасное воспоминание об ее умершем «я». Даже если бы это значило, что ему придется играть унижительную роль и попасть в разряд старых сухарей! Поэтому он спокойно сказал Эвелин, что был одним из директоров одной компании, но бросил эту службу.

— Бросил службу! — воскликнула Эвелин. — Чего ради? Наверное, вы приглядели себе что-нибудь получше?

— Именно, — ответил Тони, чувствуя, как двусмысленность спасает его от мучительной дискуссии.

— Но не рискованно ли это? Вы уверены, что нашли что-нибудь получше?

— Совершенно уверен. У меня нет никаких сомнений!

Тони наслаждался этим невинным обманом, но на этом все его наслаждения и кончились, и при дальнейшем развитии разговора Тони убедился в том, что он, подобно Веллингтону*, молит о Мартлете или о ночи. Он пытался заставить Эвелин говорить о детях, думая, что она хоть здесь будет искренней, но Эвелин обошла эту тему и потребовала от Тони рассказать ей историю его жизни. Это было новое затруднение. Тони постарался рассказать как можно меньше, но как можно подробнее, и поскольку Эвелин была щедра на комментарии, то ему даже удалось добиться от нее известной сердечности, которой так ей не хватало.

Часы на каминной доске пробили девять. Эвелин поднялась и сказала:

— На боковом столике портвейн и виски с содовой, если вы его больше любите. Капитан Мартлет будет здесь сию минуту. Вы его займете, пока я не вернусь?

Тони сперва даже не понял, что и эта уже отмиравшая церемония включена в распорядок простой встречи двух родственников, но все же ему удалось вовремя устремиться вперед, чтобы распахнуть перед Эвелин дверь. Эвелин проплыла мимо него с улыбкой, которую полагалось считать милостивой. Когда дверь закрылась, Тони глубоко вздохнул, вытер лоб платком и выпил стакан сельтерской. Тут появился явно подученный лакей и предложил Тони провести его в уборную, а когда Тони отказался, другой лакей доложил о приходе капитана Мартлета. В несколько минут он и Тони познакомились, и скоро между ними завязалась оживленная беседа. Мартлет интересовался открытием новых земель, а так как в этом мире открывать

осталось не так уж много, то он довольствовался путешествиями по отдаленным и малоизвестным местам. Капитан оказался чрезвычайно осведомленным и умным, и Тони с удивлением увидел, что их мысли часто как-то вполне естественно совпадают. Он с глубоким вниманием слушал рассказ об одной экспедиции, когда вернулась Эвелин, и, разумеется, Мартлету пришлось прервать то, о чем он говорил.

Через несколько минут Тони попытался вернуть разговор к безопасному, на его взгляд, предмету, который к тому же интересовал его, но вскоре выяснилось, что Мартлет вовсе не хочет продолжать его. В присутствии Эвелин он, казалось, стал каким-то другим и гораздо более банальным человеком. Тони с некоторой завистью прислушивался к той уклончивой вежливости, с какою Мартлет изливал потоки пустой болтовни, столь незначительной, что Тони даже не мог запомнить из нее ни одной фразы. А Эвелин, по-видимому, не только рассчитывала на такой разговор, но и наслаждалась им. Почти единственным, что Мартлет сказал искренно, было какое-то одобрительное замечание о Джиме, муже Эвелин, и это навело Тони на мысль, что Мартлет и Джим хорошие друзья, хотя Джим намного старше. Под прикрытием беглого огня Мартлета Тони гадал над проблемой, каким это образом мужья, по-видимому, такие порядочные и умные, делают из своих жен то, чем стала Эвелин? Кто виноват в этом: они или женщины?

Около десяти Тони встал, ссылаясь на то, что он обещал встретиться с Маргарет и проводить ее домой. Как будто Маргарет нуждается в провожатом! Однако это, очевидно, было подходящим извинением, и, действительно, оно было принято. Присутствие Мартлета было во всех отношениях божьим даром, и атмосфера в течение последнего часа стала положительно сердечной. Тони надеялся, что

холодность первой половины вечера может сойти за неловкость, вполне естественную при встрече после стольких лет разлуки. Он намекнул на это и с радостью убедился, что намек пришелся кстати. Эвелин проводила их вниз и на прощание сказала Тони:

— Могу я надеяться увидеть вас и Маргарет до своего отъезда? Я бы так хотела познакомиться с ней.

— Я ужасно хотел бы этого, — ответил Тони с вежливым лицемерием, — но, кажется, это невозможно — я скоро уезжаю в Тунис.

— В Тунис? Чего ради? По делу?

— Да, на этот раз по настоящему делу.

— Боюсь, что там у вас не будет гольфа.

В ответ Тони не смог удержаться от малюсенькой парфянской* стрелы:

— О, не знаю, но мне говорили, что в Сахаре удивительные поля для гольфа! Прощайте!

На Пиккадилли Тони распрошался с Мартлетом, пожалев, что выдумка, которой он был вынужден извинить свой уход, помешала ему идти вместе и дальше, чтобы дослушать рассказ об экспедиции. Теперь навсегда это останется для него незаконченным фрагментом только потому, что приходится прибегать к глупой лжи, вместо того чтобы сказать откровенно: «Теперь я ухожу» или «Нет, я не смогу больше увидеться с вами до вашего отъезда». Все знают отлично — и это досаднее всего, — что такая ложь скрывает то, чего вы не решаетесь открыто высказать. В этом-то и заключается громадное преимущество кафе перед частным домом. Вы здесь гость, вы платите за свое место и за то, что вы пили, и уходите, когда хотите. Это и является настоящей причиной и оправданием для постоянных вечеринок молодежи — чего ради должны они быть рабами семейного круга и хозяйки гостиной?

Улицы были все еще грязны от утреннего дождя, но Тони решил пойти домой пешком. Ему надо было сначала переварить метаморфозу с Эвелин, прежде чем заснуть. Тут ничего нельзя поделывать. Он должен просто привыкнуть к тому факту, что Эвелин, жившей в его памяти, теперь уже больше не существует. До сих пор он, думая о ней, воображал, что его Эвелин живет где-то в широком мире; а теперь ему придется примириться с фактом, что она для него так же мертва, как если бы он сам присутствовал на ее похоронах.

Холодный северо-западный ветер гнал с неба тучи, на более темных улицах Тони мельком ловил случайный блеск какой-нибудь зябнувшей звезды. Меланхолично думал он о том, что все, кого он знал и любил в довоенные годы, или умерли, или стали ему чужды, или так или иначе ушли из его жизни. Его ли это вина? Весьма возможно, но все же факт остается фактом, и притом досадным. В самом деле, пора уже пережить обновление, пора создать себе новый жизненный импульс.

III

Мысль о путешествии в оазисы Туниса принадлежала Уотертону. Он провел часть войны в Египте и Палестине и с тех пор всегда мечтал вернуться туда. Он не мог позволить себе путешествие ни в Египет, ни в Палестину. Ему была отвратительна самая мысль об организованном путешествии — все эти по всем правилам устроенные туристские курятники; зато он разыскал все, что было известно о Тунисе, и сделал ценное и интересное открытие, что во многих местах есть (рекламируемые) очень дорогие отели для

американцев и англичан и дешевые (не рекламируемые) для французов. С помощью этих сведений и точных французских расписаний Уотертон выработал бюджет на три недели, благоразумно прикинув еще двадцать пять процентов на всякие «случайности и непредвиденности». Так как курс франка был тогда очень благоприятен для фунта, то это вышло замечательно дешево. Единственная трудность заключалась в том, что для двух-трех интересных мест приходилось нанимать автомобили, но Тони согласился оплачивать их сам, считая, что зато во всем остальном они будут соблюдать строгую экономию.

День их отъезда был установлен легко. В течение этой зимы в Лондоне давался ряд концертов для струнных и деревянных инструментов, и Тони хотел их все прослушать. Поэтому было решено ехать на другой день после последнего концерта этого цикла. Тони вернулся с концерта в очень счастливом настроении. Ему особенно понравилось трио Гайдна, изысканный септет Моцарта для струнных и деревянных и необычайная вещица Генделя для струнного оркестра, такая утонченная и поэтическая и совершенно непохожая на декламаторские оратории этого композитора. Весь вечер был как бы особенно приятными проходами перед путешествием, которое Тони предвкушал столько недель. Он сожалел только, что Маргарет отказалась сопровождать его, и боялся, как бы оазисы не оказались уже европеизированными и не были пущены в эксплуатацию. Но его сожаление умерялось сознанием, что Маргарет очень не понравилось бы все путешествие, а страх — надеждой, что хоть что-нибудь от туземной жизни еще сохранилось.

Тони тихо вошел, открыв дверь своим ключом, и на цыпочках, чтобы не разбудить Маргарет, прошел к себе в комнату; он намеревался повидать жену утром и сговориться с нею, где и когда они встретятся по его возвращении.

Небольшой чемодан и рюкзак, очень портативные, что, таким образом, давало возможность не зависеть от носильщиков, лежали упакованные в ногах кровати. Тони добавил одну-две забытые вещи и, так как в чемодане оставалось место, положил туда легкий летний костюм — далеко на юге, может быть, будет жарко. Напевая тихонько несколько музыкальных фраз из вещи Генделя, оставшихся в его памяти, он прошел через комнату к книжным полкам и, стоя спиной к двери, раздумывал, какие бы книги ему взять с собой и вообще стоит ли брать какие-нибудь. Это всегда бывает трудно решить... Он вздрогнул и быстро обернулся, услышав резкий голос Маргарет:

— Тони!

— Ты испугала меня, — сказал он. — Я не слышал, как ты вошла. Надеюсь, я не шумел и не разбудил тебя?

Маргарет не ответила на его вопрос. Она, очевидно, встала с постели, накинув только халат и позабыв надеть туфли. Она была бледна, а в глазах у нее было какое-то странное напряженное выражение.

— Тони, — воскликнула она снова, и в голосе ее прозвучала подавленная ненависть, заставившая Тони содрогнуться, — кто эта женщина? Я требую, чтобы ты сказал.

— Какая женщина? — спросил Тони в естественном замешательстве и перешел через комнату, чтобы зажечь газ в камине, он не хотел, чтобы Маргарет простудилась. — Разве есть хоть одна женщина, которую знаю я и которой бы ты не знала?

— Не старайся отвертеться! Я говорю о женщине, для свидания с которой ты всегда едешь за границу. Кто она?

Тони вздохнул и провел несколько раз рукой по волосам, что всегда было у него признаком досады.

— Если я торжественно заявлю, что такой женщины нет, и что если я уезжаю, то либо один, либо с кем-нибудь вроде Уотертона, ты мне тогда поверишь?

— Нет! Потому что ты не сказал бы правды. Почему ты всегда уезжаешь вот так, если не для того, чтобы встретить кого-нибудь тайком? Ничего, я все равно рано или поздно узнаю! Но если ты не скажешь мне ее имени, то, может быть, назовешь мне имя той женщины, с которой ты жил недели две тому назад в отеле «Резиденси». Мне это может понадобиться, если я решу разводиться с тобой.

Тони так растерялся, что несколько секунд мог только безмолвно смотреть на жену, понимая в то же время, что она объясняет его удивление только как признание им своей вины.

— Господи боже! — сказал он. — Кто это сказал тебе об этом?

— Не важно, кто сказал, — возразила она резко. — У меня свои собственные источники информации. Кто она?

— Хорошо, — сказал Тони медленно, вынимая трубку и начиная ее набивать, — во-первых, я не жил там, а обедал в семь тридцать и ушел в десять вместе с неким капитаном Мартлетом. Женщина, о которой идет речь, моя родственница — Эвелин Морсхэд, которой я не видал с... да, с 1909 года. В настоящее время она где-то за Суэцем, плывет в Бомбей, где ее встретит муж.

— И ты думаешь, что я этому поверю? — сказала Маргарет презрительно. — Ты можешь это доказать?

— А ты думаешь, я позволю тебе сомневаться в моих словах? — сказал Тони вспыхивая. — Но все-таки...

Он подошел к своему столу, порылся в бумагах и вернулся с письмом Эвелин, которое и протянул Маргарет. «Странно, — размышлял он, — как ревность, обычно такая слепая страсть, иногда бывает бессознательно ясновидящей. Ведь Эвелин — одна из двух женщин, к которым Маргарет могла бы по всей справедливости испытывать хоть какую-нибудь ревность задним числом. Она никогда этого не узнает и никогда не узнает также, что, будь Эвелин прежней Эвелин...»

— Почему же ты не сказал мне об этом? — прервала его мысли Маргарет, бегло прочитав письмо. — Почему ты не повел меня к ней, как она просила?

— Потому что на основании того, что я знал о ней в прошлом, я думал, вы, вероятно, не понравитесь друг другу, хотя теперь, когда я видел, что она представляет собою в 1927 году, я думаю, что, может быть, был не прав. Но ты должна признать, Маргарет, что частью нашего соглашения, когда мы женились, было не навязывать друг другу своих родственников. Я, кажется, могу похвастаться, что соблюдал эту часть договора более точно, чем ты. Должен тебе сказать, что один твой дядя — не шутка!

— Незачем его вмешивать, — сказала Маргарет зло. — Если бы только ты сделал то, что он тебе говорил, вместо того, чтобы вести себя по-идиотски, мы были бы богаты, а не бедны.

— Бедны! — воскликнул Тони возмущенно. — Ты называешь нас бедными? Ну, знаешь, в сравнении с девятьюдесятыми мира мы богаты, мы очень богаты. Что за глупости! Но раз уж ты коснулась этого вопроса о наших денежных делах, то, может быть, ты присядешь и позволишь мне рассказать, что я устроил.

Тони подвинул жене маленькое кресло к огню и сел напротив нее на стул.

— Я обдумывал это в течение долгого времени, — начал говорить Тони, игнорируя многочисленные попытки Маргарет прервать его. — Как мы и уговорились сначала, мы всегда держали свои деньги более или менее отдельно, но раз уж дело похоже на то, что мы как будто начинаем жить все более и более порознь, то лучше разделить наши средства совершенно. У тебя около восьмисот фунтов в год твоих собственных денег, а так как ты получишь в наследство по крайней мере еще тысячу, то я не думаю, чтобы ты была уж такой бедной. Я получил в наследство около шести-

сот фунтов в год, так что, если мы начнем делиться, я окажусь беднее. Но когда я работал в предприятии, я накопил немного денег..

— Ты копил деньги, не говоря мне! Тони, как ты хитер и скрытен!

— Из процентов на которые, — продолжал Тони, — я буду платить тебе двести фунтов в год, что составит ровно тысячу. Я буду также платить пятьдесят пять фунтов в год, то есть вносить половину платы, за эту квартиру без обстановки. И если что-нибудь останется, это пойдет тебе. Мне не следовало бы и думать содержать такую квартиру, как эта, но все же... Я буду также платить половину жалованья прислуге, что составит еще пятьдесят фунтов, и пять фунтов в неделю, как всегда, на хозяйство, когда буду жить здесь.

— На деле это значит, что мне придется самой содержать квартиру, — сказала Маргарет возмущенно.

— Она содержится только потому, что тебе хочется проводить большую часть года в Лондоне, — сказал Тони твердо. — Если бы ты пожелала жить по-моему, мы могли бы оставить эту квартиру и жить гораздо дешевле. Но это не важно. Я не считаю, что это несправедливо. Затем есть еще восемьсот фунтов, которые я получил за дом в провинции. Строго говоря, они должны бы принадлежать мне, ведь я купил дом на свои деньги. Но я положил из них четыреста на твой счет, и ты можешь или вложить их в какое-нибудь дело, или же купить себе автомобиль, который тебе всегда хотелось завести. Я буду держать свои четыре сотни под рукой на крайний случай. Это ясно?

— Ну, я должна сказать, что ты мило устроил все это — для своего собственного удовольствия, — сказала Маргарет, не будучи в состоянии найти хоть какое-либо настоящее возражение. — Но, предположим, я отказываюсь согласиться?

— Конечно, ты можешь делать долги от моего имени, — сказал Тони холодно, — но я быстро с этим разделаюсь, спешу заверить тебя. И заметь, я выплачиваю тебе больше трети своего дохода, на которую ты могла бы законно претендовать в случае, если бы захотела развестись со мной. Кроме того, закон издан в защиту зависимых женщин, а не женщин с независимым доходом.

Это, казалось, заставило Маргарет замолчать, потому что несколько минут она ничего не говорила. Затем она взглянула на мужа и сказала неожиданно:

— Значит, я ужасная дрянь, Тони? Ты меня ненавидишь?

— Нет, нет, — ответил он, пораженный. — Разумеется, я не ненавижу тебя, но не могу скрывать от себя и от тебя, что мы постепенно все больше и больше отдаляемся друг от друга, особенно за последний год, или вроде того. Думаю, что тебе естественно было предположить, что я нашел какую-то другую женщину, которую и предпочитаю тебе. Но я тебя уверяю, что у меня никого нет. Если найду кого-нибудь, — прибавил он полушутя, — я тебе сразу же дам знать.

— Тогда что же ты имеешь против меня? Почему же ты не хочешь жить со мной?

— Я ничего против тебя не имею, кроме того, что ты — это ты, а я — это я, и что нам нужны от жизни такие разные вещи, что мы, вероятно, не сможем добиться их, живя вместе. Если я все время живу твоей жизнью, я чувствую себя несчастным и униженным. А ты была бы в той же степени несчастна, если бы пыталась жить так, как я хочу.

— Если ты так обо мне думаешь, зачем же ты на мне женился?

— Маргарет, это вопрос, который люди в нашем теперешнем несчастливом положении всегда могут задать, да обычно и задают. Разве я не мог бы с таким же успехом спросить это у тебя? И не лучше ли для каждого из нас

пойти спокойно и чинно своим путем, вместо того, чтобы окончательно принести в жертву кого-нибудь из нас, как это так часто случается в браках. В конце концов, все-таки это не то, что было бы, если бы нам пришлось считаться с детьми.

— Да, — сказала Маргарет горько, — здесь ты постарался обезопасить себя.

— И ты тоже, — ответил он мягко. — Ведь мы неизбежно пришли бы к такому моменту, и тогда в самом деле было бы тяжело, если бы нам пришлось продолжать жить в ложном браке ради детей, особенно потому, что такие дети неизменно бывают несчастны. Кроме того, ты согласилась со мной, что мы не можем взять на себя ответственность рождать детей для такого общества, как это, явно идущего к гибели. Следующая война будет адом.

— Может быть, никакой войны не будет.

— Она неизбежна в той или другой форме, даже если это будет война людей против их собственных машин.

Они помолчали немного, и затем Тони сказал:

— Может быть, мы были не правы, может быть, я был не прав. Может быть, брак без детей всегда ошибка. Не знаю. Я знаю, что у меня после войны появилось глубокое отвращение к тому, чтобы иметь детей. Я думаю о многих «может быть». Может быть, наш брак никогда и не был по-настоящему браком. Может быть, люди вроде меня, «обломки после кораблекрушения» годов войны, не способны вести спокойную жизнь с женщиной. Может быть, в нашем собственном случае мы — жертвы сексуальных предрассудков, и нам надо было стать любовниками, когда мы были вместе в Париже, а затем расстаться. Может быть, в наших тогдашних отношениях осталось что-то незаполненное, и это привело нас снова друг к другу и повело к тому, что мы сделали договор на всю жизнь из того, что должно было бы быть лишь трехмесячной идиллией.

— Ты говоришь сейчас довольно ясно, что, по-твоему, тебе вовсе и не следовало бы жениться на мне?

— Нет, нет! Нет никакой другой женщины, по крайней мере, среди живых, на которой бы я больше хотел жениться. Но мне так грустно, грустно, грустно.

И в самом деле ему было грустно, потому что он чувствовал глубокую уверенность в том, что это в действительности его расставание с Маргарет. Хотя он может вернуться к ней, хотя они будут продолжать встречаться и жить вместе часть года в Лондоне, все же Тони знал, что длительный провал их брака был признанным фактом, по крайней мере для него.

Он был так поглощен своими мыслями, что едва слышал, когда Маргарет сказала довольно враждебно:

— Может быть, тебе грустно, ибо совесть в тебе говорит, что ты поступаешь неправильно.

— Нет, — сказал Тони, улавливая только слова «поступаешь неправильно». — Я знаю, что я не поступаю неправильно. Насколько я могу заглянуть в себя, я знаю, что поступаю правильно, и вместе с тем — это звучит смешно и суеверно — я чувствую какую-то неотразимую силу вне меня, которая подталкивает меня дальше.

— Хорошо, — сказала Маргарет, не обращая внимания на его последние слова, — я принимаю твои уверения, что ты не гонишься за другой женщиной. Но я думаю, что имею право просить тебя объяснить, почему ты так внезапно ощутил такое отвращение ко мне и моим друзьям и к моему «образу жизни», как ты его называешь?

Это было похоже на вполне разумное требование, настолько разумное, что Тони почувствовал почти отчаяние, отвечая ей:

— В течение прошедших месяцев все просили меня объяснить. Но ведь это не вопрос таблицы умножения, и ведь эти вещи нельзя выразить в мерах веса и длины, как

какие-нибудь там социальные или финансовые явления. Все это касается вещей невесомых, душевного чего-то, что борется во мне за свое утверждение.

— Боюсь, что я не понимаю тебя, — сказала Маргарет иронически, — если только это не пышный способ сказать, что ты хочешь быть полным эгоистом.

— Эгоистом! Кажется, только эгоист может допустить такое толкование. Я не стану просить тебя совершить самоубийство ради меня и не скажу, что ты эгоистка, если ты откажешься.

— Значит, ты хочешь сказать, что жить со мной — это самоубийство? Благодарю!

— Нет. Я не хочу этого сказать. Но продолжать жить такой жизнью, которая для меня есть ложная неправильная жизнь и которую я вел до этого года, было бы чем-то вроде самоубийства. Ты была бы более несчастна с таким человеком, Маргарет, чем без него.

— Хорошо, что же это за жизнь, которая тебе нужна?

Тони подумал немного и затем сказал медленно:

— Здесь опять-таки бесполезен язык арифметики или порядочного общества. Поймешь ли ты меня, если я скажу, что жизнь, которая мне нужна, это какие-то поиски жизненных реальностей, Бога, быть может, и что для меня Бог есть нечто предельно физическое, не духовное, не общественное, не национальное?

— Ты говоришь о Боге! — воскликнула она насмешливо.

— Это слово осквернено, я согласен, — ответил он, сдерживая гнев, — но я сказал сначала — «жизненные реальности». Во всяком случае, почему бы мне не употреблять слово «бог» для обозначения всего, что не я в этом мире, для вещи, которая настолько больше меня и которую я хочу познать, с которой хочу общаться всеми своими чувствами — в городах и среди людей, в тихих и прекрасных местах и в искусстве!

Маргарет разразилась смехом.

— Ты напоминаешь мне Хэмти-Дэмти¹, когда хочешь, чтобы одно слово обозначало все это, — сказала она. — Ты действительно веришь во всю эту старомодную болтовню?

— Я верю, что мои слова что-то значат для меня, хотя, очевидно, они ничего не значат для тебя, — сказал он просто.

— Хорошо, если ты хочешь знать, что я думаю, я скажу тебе, что ты стараешься найти напыщенные оправдания для своего ухода от меня. Я никогда не слышала такого вздора — общение с «не я», скажите, пожалуйста! — Она помедлила и затем прибавила как бы в отместку Тони: — И не воображай, что мое сердце будет разбито из-за тебя, — не будет! В море есть рыбка получше... Я тебя честно предупреждаю, что, если найду кого-нибудь, кто мне понравится, я буду столь же возвышенна, как и ты, и буду общаться со своим «не я».

— Делай то, что тебе покажется наилучшим, — сказал он холодно, вставая. — Если ты хочешь разводиться со мной, я не буду возражать. А теперь, так как мне надо встать рано утром, может быть, ты извинишь меня, если тебе больше нечего сказать?

— Значит, меня выставляют, не так ли? — воскликнула она в яростном гневе. — Сидеть дома и вертеть пальцами, пока ты будешь ездить бог тебя знает где? И быть под рукой, когда тебе заблагорассудится вернуться? Я этого не потерплю, Тони.

— Но ведь ты же уезжаешь сама, когда хочешь!

— Мне все равно, мне все равно! Я не собираюсь позволять тебе удирать вот так, когда тебе захочется, волочиться за всякими женщинами.

¹ Персонаж из детской книжки Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

— И что ты думаешь делать? — спросил он спокойно.

Она молча смотрела на него, по крайней мере с минуту, страшным взглядом слепой, нерассуждающей ревнивой ненависти, очевидно, стараясь придумать какую-нибудь угрозу побольше, чтобы швырнуть ему в лицо, и не могла выбрать достаточно страшной. У Тони снова явилось ощущение, что та внутренняя реальность, которая была им, стала неуязвимой, словно какой-то неосязаемый, но непроницаемый щит был поставлен между ним и человеческой злобой. Наконец Маргарет заговорила, но все, что она могла придумать, оказалось бесконечно слабой угрозой:

— Ты увидишь!

И она выбежала из комнаты, хлопнув дверью.

Когда она ушла, Тони разделся медленно и задумчиво, принял вечернюю ванну, надел пижаму и халат и сел у огня. Счастливое настроение прошедшего вечера, разумеется, пропало, но он не чувствовал себя таким расстроенным, как ожидал. Сцена с Маргарет, которой он так боялся, потому что предвидел ее неизбежность, была действительно тяжела, но не потрясла его, потому что в известном смысле он не был существенно затронут ею. Он давно уже привык к мысли, что не может общаться с Маргарет сокровенными путями чувства, которое не может быть высказано. Слова производили только поверхностное смятение. Они были бесполезны, если мысль человека, к которому они были обращены, не могла перескочить через них к действительности, колеблющимися символами которой они были. И все же правда, что между ним и Маргарет существовало что-то, разбившееся в эту ночь, а разбившись, оно причинило боль. Какая-то таинственная физическая связь, может быть, принадлежащая к тем многим вещам, которые мы чувствуем не понимая.

Он сидел так очень долго, думая над своей прошедшей жизнью, пытаясь взглянуть на себя и людей, которых он

знал, на события, которые, по-видимому, определили его судьбу, не как на вещи, подлежащие осуждению или одобрению, но как на то, что надо понять и принять. Познай самого себя! Тони спрашивал себя, было ли это предписанием высшей мудрости или же невысказанной суетности? Что есть человек, если его можно узнать? Рассудок, всегда сознающий себя, может быть, сам себя разрушает. Может быть, в современной жизни по-настоящему опасно то, что люди не задумывающиеся пытаются пользоваться орудиями и методами людей, обладающих мозгами. Ведь если обыкновенный гражданин гордится своей «цивилизацией», то он только хвастается изобретениями и созданиями других людей, к которым сам он ничего не добавил. И что есть успех в жизни? Тони решил, что для него успех может быть определен отрицательно, он заключается в том, что ему больше не нужно ходить в контору и никогда больше не придется скучать.

IV

В течение трех недель, проведенных ими в Северной Африке, Тони предоставлял Уотертому определять все их планы и переезды. Это было путешествие Уотертона, и кроме того, его время было ограничено. Тони же мог свободно задерживаться где хотел. Они провели несколько дней в Тунисе, достаточно, чтобы посетить Карфаген и поверхностно ознакомиться с туземным городом и довольно затейливыми лавчонками. На Кайруан хватило одного дня, а затем по железной дороге они поехали в Тозер, посетили ближайший оазис Нефта и потом на автомобиле проехали свыше двухсот миль по пустынной местности к

оазису Габес, лежащему на морском берегу. Там они наняли другой автомобиль, чтобы съездить в Мединин и в островной оазис Джерба, а затем вернулись в Тунис поездом, сделав остановки в Сусе и Сфаксе.

Это была довольно поверхностная поездка, и они едва доехали до границы Сахары, которую Тони больше всего и хотелось видеть, но кое-какие ощущения и сцены произвели на него впечатление.

Очень было неприятно открытие, что на многих туземцах в Тунисе были цветистые носки и модные подвязки «Бостон», целиком видные из-под коротких штанов; тяжелым ударом было также открытие, что призыв к молитве производился при помощи гудка фабричной сирены с верхушки минарета. Больше того: никто в Тунисе, казалось, не обращал на это никакого внимания. Таким образом, даже консервативный ислам шел в ногу с прогрессом. На Тони не произвело также большого впечатления и искусство ислама, хотя он и говорил разочарованному Уотертону, что его впечатления, естественно, были самыми поверхностно-туристскими. Он не мог не указать Уотертону, что ислам обратил когда-то плодородную провинцию в пустыню, и в такую пустыню, что понадобилось почти пятьдесят лет терпеливых усилий французов, чтобы только отчасти воссоздать былое. Когда-то процветавшие города были разрушены, и большой римский амфитеатр в Эль-Джеме глядел вниз на запустение, похожее на то, которое окружало Озимандиаса у Шелли. Их архитектура имела свои достоинства, но была значительно ниже лучшего искусства Европы, и даже впечатление от большой мечети в Кайруане в значительной степени зависело от колонн и столбов, украденных из римских и византийских зданий. А вой, исходивший из мечетей, — был Рамазан*, — еле отличался от субботнего перезвона, который слышится из какой-нибудь жестяночной часовни. Что же касается ковров, которые им

навязывали по фантастическим ценам в лавках, то в большинстве своем они были ужасны и едва стоили того, чтобы в свою очередь навязать их кому-нибудь вместе с фунтом чая в виде премии. Исключение составляли немногие ковры с негритянским рисунком, которые Тони видел в Тозере, но и те стояли ниже настоящего африканского искусства. Как утверждал Тони, монотеизм является ужасным испытанием для искусства, которое, в основном, важнее для человечества, чем спиритуальные религии; а союз монотеизма и индустриализма абсолютно роковое явление, поскольку пустыня с дешевыми механизированными людьми гораздо страшнее подлинной необитаемой пустыни.

— Я вполне готов согласиться с тем, что вы говорите о достижениях ислама в прошлом, — сказал он Уотертому, когда они возвращались в Тунис, — и с тем, что в Каире, Дамаске и Стамбуле имеются чудесные вещи. А также и с тем, что Тунис просто отдаленное пиратское государство, хотя вы должны вспомнить, как нам говорили, что Кайруан был одним из самых священных тунисских городов и в нем был университет. Ислам был созидательным, только пока он завоевывал византийцев и римлян, чтобы паразитировать на них; когда же по своей глупости он, наконец, уничтожил их, он перестал быть созидательным и спустился до того тупого формализма, который, по-видимому, является гибелью для семитской мысли. Мне кажется, что эти люди, как и евреи, лишены творческих способностей, но лишены также и еврейского ума. И действительно, мое воображение содрогнулось, когда вы предлагали мне почувствовать себя в царстве «Тысячи и одной ночи», а мы в это время проходили мимо жирных узлов, называемых женщинами, в безобразных черных покрывалах, и смотрели на этих жутких девушек из Улед-Найль, танцующих под мотив «та-ра-ра-бум-би-я»!..

— О, вы преубеждены, — сказал Уотертон.

— Не думаю, — возразил Тони. — Я только стараюсь разглядеть, что здесь реально, вместо любования консервированными романтическими историями о шейхах. Одно из доказательств моей искренности заключается в том, что до своего приезда сюда я был всячески против пребывания здесь французов, а теперь я за них: как ужасно бы мы питались, если бы нам пришлось полагаться только на кускус*. Признаюсь вам, что одна из моих маленьких слабостей получила удовлетворение от открытия того, какой вред принесла еще одна спиритуальная религия, но и здесь я привожу в свидетели вас — это вы указывали, что, чем фанатичнее были наши разные драгоманы в своем педантичном выполнении правил Рамазана, тем бесчестнее они оказывались, тем меньше заслуживали доверия.

— О милый Тони, нельзя судить о каком-нибудь народе по случайным лакеям иностранных путешественников, хотя их и приходится считать сливками страны.

— Нет. Я не судил бы об Италии по неаполитанским извозчикам, которые всегда снимают шляпу перед Пресвятой Девой и никогда не забудут вас ограбить, чтобы чем-нибудь возместить эту духовную гимнастику. Но, черт подери, кто это предупреждал меня следить за вещами в оба, когда мы посетили бедуинских номадов?

— Знаете, мне жаль, что вы такого низкого мнения об арабах, хотя здесь чистых арабов немного, они все более или менее смешаны с берберами и неграми.

— Я не могу критиковать женщин, потому что мы ни с одной не говорили. Но я сказал уже все, что мог сказать дурного. Я чрезвычайно наслаждался путешествием, и оно выбило у меня из головы некоторые предрассудки и слегка поободрало кору с моего невежества. С одной стороны, эта страна показала мне, насколько искусственно богатство Европы и как безумны все эти газетные проекты сделать весь мир богатым.

— Вам следовало бы быть последним из тех, кто упрекает их в бедности, — сказал Уотертон.

— Я их не упрекаю, я их хвалю! Я считаю философами жителей Тозера, которые три недели занимаются спариванием финиковых пальм, а затем размышляют весь остаток года и даже нанимают номадов для тяжелой работы собирания фиников. Они могли бы сказать с большим правом, чем старый Джонсон: «Сэр, мы в Тозере — философы и заставляем работать за нас этих бирмингемских болванов», потому что, клянусь, больше половины товаров в лавках — французский браммаджем*.

— Ну, ну, — запротестовал Уотертон, — мы видели кое-какие очаровательные старинные шелка.

— Старинные, — сказал Тони кратко. — Новые товары все плохи и по качеству и по цвету. Джербба была единственным местом, где делают что-то интересное. И вы заметьте, что драгоценности, которые вам так понравились, — деградировавшие византийские, а глиняные горшки — я в таком волнении глядел, как горшечник их делал, — были чисто римские.

— Я рад, что вы нашли хоть что-нибудь, что вам понравилось.

— Не обижайтесь, — сказал Тони. — Мне понравилось многое. Могу сказать, что на меня редко производили такое впечатление человеческие существа, как эти люди, которых мы видели, когда они приезжали из своей пустыни, завернувшись в бурнусы. Что бы они ни потеряли или чего бы они и вовсе не имели, но они сохранили свою мужественность. Их не унизил дешевый индустриализм. Их достоинство и самообладание, даже когда они в лохмотьях, поучительны. И они действительно владеют своей душой. Я всегда буду думать о них и о многих других, кто живет вдали от городов, о людях, которые просиживают так спокойно и сосредоточенно час за часом, без нетерпения или

скуки. Я рад, что в мире еще есть такие люди. Я хотел бы скорее обладать их полной уравновешенностью и внутренней гармонией, чем всем богатством всех Рокфеллеров.

Тони не решался говорить Уотертону о других переживаниях, которые затронули его еще глубже. Во время переезда в глубь страны в маленьком ночном поезде из Кайруана он проснулся за два часа до рассвета из-за того, что было неловко спать на скамейке. Несмотря на трубы водяного отопления, в вагоне было холодно. Тони выглянул из окна и немедленно забыл, что ему холодно. Свод неба был ясен и просторен и был наполнен белым лунным светом, разлитым над огромным морем песка цвета львиной шкуры. В белом цвете лунного сияния был желтый оттенок, в желтом цвете песка — белый. Там и сям встречались маленькие заплатки темного кустарника, который в неверном свете очень походил на плавающую морскую траву. Поезд шел медленно и, казалось, осторожно, как корабль, так что получалось впечатление, будто ты плывешь по океану красно-бурого песка под звон желтоватого кристалла. В пять утра надо было пересаживаться в другой поезд, и они долго ждали на разъезде. В противоположность всему тому, что Тони слышал раньше, рассветало очень медленно, и прошел целый час между первым просветом на востоке и появлением красной верхушки солнца над песками. Свет разлился над безлюдной пустыней, но ее молчание было величественно. В течение двух часов поезд шел по глубоким бессолнечным ущельям голых, изборожденных красных скал и затем неожиданно вышел снова на плоский блэд*. Раньше путешественники сидели в пальто, подняв воротники и закрыв окна. Теперь вагон наполнился ослепительным золотым солнечным светом, и через пятнадцать минут пассажиры сбросили пальто, шарфы и жилеты, выключили отопление и открыли оба окна. Длинные караваны верблюдов и коричневых кудрявых овец и

козлов, которых разводят здесь кочевники, направлялись к колодцам на водопой.

В воображении Тони оазис состоял приблизительно из пятнадцати пальм, источника с небольшим участком травы вокруг него, нескольких палаток и десятка верблюдов. Он был поэтому сильно поражен, увидев настоящие большие оазисы, которые простирались на мили в длину и в которых росло иногда до двух сотен тысяч громадных пальм с пахнущими жасмином садами под ними. Здесь, у края Сахары, где песок начинал подниматься волнообразными дюнами, ощущение морского плавания было даже еще сильнее, чем на «блэде». Оазисы были островами, которые непрерывно надо было защищать от беспрестанных нападений песчаных волн. И действительно, в некоторых местах стена грозно наступавшего песка, кудрявившегося, как большой нависший гребень волны, достигала высоты около сорока или пятидесяти футов. И когда путешественники переезжали через сырые соленые пески одного из шотт*, иллюзия была полной. На время вы теряли из поля зрения «землю» — это было похоже на поездку в автомобиле через Ла-Манш.

Вокруг этих двух главнейших впечатлений от пустыни и от оазиса толпились еще десятки более интимных чувств и ощущений. Почти экстатическое спокойствие постепенно охватывало все ваше существо, когда вы ехали в солнечном свете по пескам в свежем, лишенном ароматов воздухе. Слышно было только мягкое шлепанье ног верблюдов да случайное бормотание погонщиков. Тишина, пространство, и снова и снова безграничность пустыни — все это опьяняло. Тони страстно желал нанять верблюдов и проводников и ехать вперед день за днем по Сахаре к Нигеру. Когда им уже надо было поворачивать обратно, Тони несколько времени сидел на своем верблюде, мечтательно глядя в сторону таинственного юга, и отвернулся от него с бесконечным сожалением.

* * *

Когда они вернулись в Тунис, Тони решил не ехать с Уотертоном ни в Англию, ни даже в Марсель. Была третья неделя марта, и он не мог вынести мысли, что ему придется покинуть солнце для северных туманов и мрака. Сначала он думал вернуться по уже пройденному пути и углубиться один в пустыню, но решил, что это будет некрасиво по отношению к Уотертону (который был очень огорчен из-за необходимости уезжать) и даже ошибкой, пока он не изучит хотя бы немного арабский язык. Кроме того, после чуждого ему и довольно отталкивающего ислама Тони чувствовал, что его тянет опять в традиционную Европу — не в Европу фабрик и радио, а к средиземноморской цивилизации, которая, увы, существовала только в реликвиях.

Накануне отъезда Уотертона они отправились на трамвае в маленький приморский городок недалеко от Карфагена и сидели за стаканами на террасе отеля, заставленной цветами. Уотертон скоро погрузился в одну из каких-то необычных книг, которыми он восхищался, а Тони расхаживал взад и вперед по террасе, глядя на сверкающие небо и море. Они были поразительно темного ультрамаринового цвета. С северных берегов Средиземного моря мы всегда глядим против солнца, так что синева теряется в блеске солнечного света. Но здесь солнце светило со стороны суши, и свет усиливал, а не ослаблял двойную синеву. Что-то в ней напомнило Тони весеннее небо над римской Кампаньей, и сразу, как только в его уме возник этот образ, Тони с полной уверенностью понял, куда он должен ехать.

Прошло восемь лет с тех пор, как он был в Италии. Тони избегал этой страны, как избегал и Австрии, потому что и та и другая хранили для него воспоминания, слишком болезненные по пережитым им и счастью и печали. Но время шло, и он уж мог опять выносить созерцание Рима. Приятно будет посетить места, которые он видел с Робинсом

в старые дни их дружбы, если только что-нибудь еще сохранилось после перестройки города. Ядовито-насмешливые почитатели Рима говаривали Тони, что двадцатое столетие застало Рим мраморным и, очевидно, намерено оставить его оштукатуренным. Хорошо бы взглянуть на то, что осталось, пока все это еще не снесено. И во всяком случае его идолопоклонническая душа, уставшая от ислама и Уайтхолла, склонится перед резными образами Бернини и Борромини*. Да, Рим! На пароходе до Палермо, на пароходе до Неаполя и затем дальше. С предельной ясностью Тони видел в своем воображении коричнево-красный подвижный узор итальянской толпы, поднимающейся и спускающейся по большой мраморной лестнице к Ага Соелі на Рождество, когда разносчики с корзинами раскрашенных детских игрушек сидят на ступенях, как они сидели на ступенях средиземноморских храмов, продавая почти все те же скромные эмблемы, по крайней мере три тысячи лет тому назад...

Когда Тони подошел к своему креслу, Уотертон поднял голову и сказал:

— Я вот нашел место в книге, которое вам будет интересно, оно отмечено карандашом. Оно довольно точно излагает вашу точку зрения, не правда ли?

— Кто этот молодец? — спросил Тони, взяв книгу и взглянув на незнакомое имя и название.

— Один совсем незначительный человек, философ времен Флавиев*.

Тони подумал с удивлением, почему это Уотертон восхищается неизвестными людьми, когда, вероятно, он не читал всех великих, но посмотрел на отмеченное место и прочел:

— «Ибо если добродетель и порок присущи только человеческой природе, если большинство людей — существа злые и только немногие из них, и то лишь в сказках, изоб-

ражаются добрыми, точно какие-нибудь невероятные и неестественные животные, более редкостные, чем эфиопский феникс, — как может тогда человек не стать самым жалким из всех животных, раз зло и безумие заложены в его природе и предназначены ему судьбой?»

Тони закрыл книгу и посмотрел на Уотертона.

— Какой черт заставляет вас думать, что я должен с этим согласиться? — спросил он, пораженный. — Это только показывает, как сильно могут ошибаться даже близкие люди. Из контекста я заключаю, что этот болван был стоиком. А я думаю, что «добродетель и порок» у стоиков были совершенно искусственны. Их бессмысленное представление о том, что добродетельный человек будет счастлив и на раскаленной докрасна решетке, не только противоречит всякому здравому смыслу, но и дает начало той скотской психологии, которая сделала возможными ужасы мученичества. Поистине скотской, ибо она стремится сделать человека в духовном смысле сверхчеловеком, а кончает тем, что делает его физически и как человека субнормальным!

— Но я думал, вы ненавидите людей, — вам понравилась пустыня, потому что там никого не было.

— Я думаю, что человеку от времени до времени нужно одиночество, как и ребенку нужно иногда уходить из школы и побыть одному с матерью. Я думаю, что на свете слишком мало спокойных мест, где можно было бы примириться с существующей вселенной. Я не верю в абстрактное духовное божество, как не верю и в мир абстрактных механических сил. Я знаю, что живу, и что вселенная живет, и что я почерпаю из нее жизнь. Если вы мне скажете, что вселенная мертва или просто стала громадной машиной, что то же самое, я скажу вам, что ваши чувства атрофировались. Я ненавижу людей! Но я люблю их, если они не извращены и не превращены в разрушителей попами, ми-

литаристами и прохвостами-дельцами. Говорю вам, Уотертон, я верю в мужчин и женщин. Когда они живут справедливо и естественно, они так далеки от «самого жалкого из животных», что становятся самыми счастливыми и самыми прекрасными существами. Мне в них не нравится склонность — а она есть у очень многих — заботиться только о собственном благе и то, что они позволяют силой или обманом принуждать себя к такой ничтожной жизни и разрушают все вокруг себя. Я хочу, чтобы они познали свою собственную славу и славу мира, в котором они живут. Ведь они же могли бы создать рай, а они, идиоты, создают Глазго и Питсбург!

Уотертон засмеялся и покачал головой.

— Вы загадка, Кларендон, и если есть какой-нибудь смысл во всем том, что вы говорите, он скрыт от меня. В один из ближайших дней вы должны объяснить мне все. Но не пора ли уже ехать назад? Через десять минут идет трамвай, а мне надо еще уложиться и написать несколько писем.

V

Тони никак не ожидал, что Палермо окажется таким волшебным городом, и потому два дня, отведенные на его осмотр, растянулись в неделю, прежде чем он мог от него оторваться. Скверная еда и вино были неприятным сюрпризом после превосходного французского стола в Тунисе, но, как заметил сам себе Тони, его поиски жизни не были исключительно гастрономическими. Несмотря на шум и страшную толкотню, Тони наслаждался, гуляя по узким улицам Палермо, наблюдая людей и разглядывая конюшни

и винные лавки. Его удивляло слово «gessato» на многих винных бочках, пока он не выяснил, что к вину здесь прибавляют известку. Мгновенно он понял горький упрек, вложенный в слова Фальстафа: «Вы негодяи, в вашем пиве известка!»

Внимание Тони привлекало внутреннее убранство церквей и церковные оратории. Правда, от большого норманнского собора остались лишь одни развалины, и даже мозаика королевской капеллы, хотя и великолепная по замыслу, выдавала апатичную руку реставратора, как это бывает со всеми мозаиками. Что же касается нескольких реликвий арабского искусства, то Тони не чувствовал к ним интереса. Церкви, в которых он проводил много часов ежедневно, были изысканно разукрашенными шедеврами барокко семнадцатого и восемнадцатого столетий, и в путеводителях им отводилось только несколько холодных строчек или же о них просто умалчивалось. На человека, прошедшего зиму в Лондоне и затем несколько недель среди вечно белой штукатурки Туниса, эти удивительные фантазии из цветного камня производили такое впечатление, будто зритель входил в какой-то волшебный сад с человеческими фигурами, прелестными детьми, птицами, животными и всякими химерами, выглядывавшими из листвы. Уотертон мог говорить что угодно о грезах из «Тысячи и одной ночи» — они были здесь, в церквях Палермо, а не в лавчонках Туниса.

После завтрака Тони гулял в запущенном ботаническом саду или же вдоль берега моря, откуда в ясные дни различал на востоке Липарские острова, а однажды далеко-далеко на северо-западе ему почудился туманный намек на остров Эя. Несмотря на мягкий воздух, спокойное небо и воспоминания о величавом прошлом, было что-то насильственное и трагическое в той Сицилии, которую люди застали раем, а сделали самым безотрадным островом Средизем-

ного моря, голым и малярийным. Каждая цивилизация начинала все наново, и ни одной не удалось продержаться долгое время — от карфагенян и греков до арабов и испанцев. И созидание и разрушение были равны и схожи. Не осталось ничего живого от всех этих столетий интенсивного творчества, кроме марионеточного театра, религиозных процессий, яркой раскраски на крестьянских телегах и вычурных украшений и перьев на упряжи, которые по своей грубости напоминают творчество островитян южных морей. От Акрага и Сиракуз до этих неуклюжих крестьянских произведений — какое падение! Даже в пышном испанском барокко был какой-то мучительный оттенок, предшествующий смерти, отчаянные усилия выжить; все это было похоже на фантастический рост трилобитов* в период до их внезапного исчезновения. Средиземноморская цивилизация мертва. Может быть, само человечество вымирает. Чрезмерное разрастание без улучшения всегда обозначает дегенерацию и смерть, одинаково как у деревьев и трилобитов, так и у людей.

Все же не без сожаления сел Тони на ночной пароход, идущий в Неаполь, и следил, как уменьшались в отдалении огни Палермо, превращаясь сперва в созвездия, затем в цепь ярких точек и, наконец, в туманное зарево. Если бы не было так сильно желание снова ехать в Рим, Тони не покинул бы Палермо — в Сицилии для него нашлось бы еще столько переживаний!

Тони спустился в свою каюту во втором классе и спал хорошо, хотя в каюте был еще какой-то сильно сопевший миланский коммерсант. Тони проснулся вскоре после рассвета, тихонько вымылся и побрился, оделся, упаковал свой рюкзак и чемодан и вышел на палубу. Пароход был в двух часах пути от Неаполя; он как раз пересекал Салернскую бухту и направлялся к проливу между Капри и полуостро-

вом Сорренто. В долинах еще лежал туман, громадными облаками задерживаясь на горных пиках, и хотя на колеблющейся воде блестело солнце, в воздухе было холодно. Тони был рад согреться, быстро разгуливая по палубе. Минут через десять он перешел с правого борта парохода на левый, чтобы посмотреть на залив с другой стороны, и почти столкнулся с каким-то английским священником. Тони начал извиняться, но профессионально мягкий голос клирика прервал его:

— Милый Кларендон, вот удивительно встретить вас здесь, и как это мы не видали вас вчера вечером?

Голос этот был голосом каноника Стиклей-Уоумоу, одного из столпов Мидчестерского собора; считалось, что у него крупные шансы не сегодня завтра получить епархию.

— Я приехал на пароход поздно. Как вы поживаете?

— Плоховато, плоховато, — сказал каноник, стараясь идти в ногу с Тони. — Мы с женой провели целый месяц, путешествуя в автомобиле по Сицилии, и скверная пища и отсутствие удобств сказались на моем здоровье. Очень дикое население, Кларендон. Вы долго были в Палермо?

— Только неделю.

— Неделю! Что вам там понадобилось делать? Палермо можно считать здоровым местом, если только вы останавливаетесь в «Гранд-Отеле» на этой вилле... Как ее там... и избегаете жутких трущоб. Однажды я отважился пойти туда и, признаюсь, бежал, зажимая платком нос. Миссис Кларендон с вами?

— Нет, она предпочла остаться в Англии, — сказал Тони, не получив от вопроса особого удовольствия. — Я возвращаюсь из Туниса...

— Из Туниса! Я часто собирался побывать в Карфагене, но никогда не мог набраться достаточной храбрости. Кормят очень плохо?

— Наоборот, в некоторых кафе и французских ресторанах даже очень хорошо.

— Вы меня изумляете, — сказал каноник. — Я всегда думал, что придется поддерживать свое существование жирным рисом, отвратительным варевом, которое называется кус-кус, и жестким барашком, причем надо есть тремя пальцами левой руки, ха-ха-ха! Теперь, когда я знаю, что туда можно ехать, не рискуя умереть от голода или отравиться, я обязательно поеду в Тунис. Помимо классических реликвий, которые, конечно, чрезвычайно интересны, эта страна особо привлекает меня как родина Августина, не говоря уж о таких более мелких светилах ранней церкви, как Тертулиан и Сиприан. Надеюсь, вы нашли, что память о святом Августине еще свежа в сердцах народа?

— Нет, — сказал Тони, которому со стыдом пришлось сознаться в душе, что он ни разу не подумал в Тунисе об этом великом человеке. — Боюсь, что я не видел этого. Кроме того, теперь ведь это, знаете, магометанская страна.

— Конечно, я забыл! И, кажется, французы ничего не делают для изменения такого плачевного положения? Ох, это, может быть, звучит нечеловеколюбиво, но, по-моему, французы немногим лучше атеистов. Хотя, если уж говорить откровенно, миссис Стиклей-Уоумоу и я сам, мы были скандализированы невежеством и суеверием, какое видели в Сицилии.

— Мне кажется, — сказал Тони, — что церкви приходится приспособливаться к привычкам и умственному уровню народа.

— Правда, — сказал каноник, кивая головой, — к несчастью, компромиссы неизбежны. Но здесь компромисс зашел уж слишком далеко. В Сиракузах я не мог удержаться от мысли, что посещение Святого Павла, которое должно было бы навсегда оставаться для людей символом единения, по-видимому, совершенно забыто. Но в Таормине,

в английской церкви мы прослушали вполне приличную проповедь, и помещение у нас было удобное. Будем надеяться, что цивилизация, как лучи света, будет распространяться от этого маленького маяка.

— Значит, вам в Сицилии было очень неудобно? — спросил Тони, раздумывая, как бы ему повежливее отвязаться от каноника.

— Страшно, — сказал каноник, и выражение ужаса появилось на его гладком лице. — По временам нам приходилось просто мириться с грязью, к тому же и пища была ужасно неаппетитна. Я постоянно находился под страхом расстройства желудка, особенно у миссис Стиклей-Уоумоу — у нее такое деликатное здоровье. Но классические реликвии! — воскликнул он, внезапно загораясь энтузиазмом. — Классические реликвии искупают все. Это поистине вдохновляет! Моя жена расскажет вам, что Пиндар* и Фукидид* всегда были у меня с собой и не сходили с моего языка. Кстати, что за кашу сделали из Сиракуз! Я с трудом мог проследить описание осады. Если бы увидеть этот город во дни его славы!

Тони никогда и не подозревал в канонике такого энтузиазма к античности, который, оказывается, шел дальше обычных скучных разговоров, как за чайным столом в Мидчестере, и проникся к старику нежностью. Определенно в пользу священника говорил и тот факт, что он протащился с женой через всю Сицилию, чтобы поглядеть на «классические реликвии», несмотря на отсутствие там простой, но вкусной пищи и печальное преобладание суеверий. Поэтому Тони продолжал расхаживать с каноником, который самым ученым образом рассуждал об Августе* и Тиберии*, о Плинии* и Светонии* и выражал опасение, что не доживет до того момента, когда можно будет увидеть античную библиотеку, — а ее обязательно откроют в Геркулануме! Все это перемешивалось с жалобами на неудобства и невежли-

вость и сожалениями, что итальянцы больше не понимают латыни. В конце концов оказалось, что бедный старик находится в смертельном страхе перед мелкими затруднениями, которые могут возникнуть при выгрузке его автомобиля и багажа, особенно потому, что он в тот же день хотел быть в Риме.

— Ну вот что, — сказал Тони. — Я говорю немного по-итальянски. Разрешите мне позаботиться вместо вас о выгрузке?

— Я не смел беспокоить вас, — сказал каноник, очевидно, страстно желавший, чтобы Тони взялся за это дело.

— Это не составит труда, уверяю вас.

Тони заранее ловко сообщил капитану корабля и одному из таможенных чиновников, что каноник — английский епископ, и дал кое-кому на чай. Автомобиль был выгружен и готов к отправлению раньше, чем каноник успел порадоваться почтению, с которым к нему отнеслись. С мешком за плечами и чемоданом в руке Тони подошел попрощаться. Каноник прошептал что-то своей жене, та кивнула головой.

— Мы в большом долгу перед вами, — сказал каноник сердечно. — Вы сотворили просто чудо.

— О, пустяки! Это было совсем легко!

— Нам было бы так приятно, если бы вы позволили подвезти вас до Рима. Места вполне хватит, если вы ничего не имеете против того, чтобы сидеть с Робертсом, а багаж у вас легкий. И вы окажете нам еще одну услугу, если сможете Робертсу находить дорогу, — он чрезвычайно туп в этом отношении!

Тони помедлил. Его не приводила в восторг поездка в автомобиле, особенно по Италии, да еще в обществе каноника, но было бы забавно проехаться по *Via Appia**, и к тому же он легко и быстро добрался бы до Рима.

— Отлично, — сказал он, — я поеду! Спасибо!

Каноник с большим удовольствием передал Тони большую коллекцию карт и путеводителей.

— Кажется, тут всего около двухсот пятидесяти километров, — сказал он. — Может быть, вам удастся найти по дороге какое-нибудь приличное место, чтобы позавтракать?

— Мы поедем по *Via Appia*? — спросил Тони. — Тогда мы сможем позавтракать в Террачине. Говорят, там хорошее вино.

Путешествие оказалось гораздо интереснее, чем ожидал Тони. Виды местности были красивее, чем из окна вагона; они останавливались поглядеть Капую и Формию; завтрак в Террачине оказался неожиданно хорошим; каноник постоянно ссылался на классиков и применял к вину эпитеты Горация; так что, когда Тони высаживался у подножия Испанской лестницы, он распрощался со своими спутниками почти с сожалением. Милая старая птица этот каноник, и он заслуживает быть епископом!

Тут для Тони начался ряд разочарований. В том доме, где Робин когда-то нашел ему комнату, теперь нельзя было остановиться, и пришлось идти в отель — там было гораздо дороже и не так уютно. На узких улицах было шумно от движения автомобилей, а Корсо, когда-то бывшее таким неторопливым и важным, выглядело убогой имитацией улиц Милана. Из-за перестройки города церкви и дворцы уже начинали походить на памятники, переставая быть законченными, гармоническими частями города. А вечером оказалось, что два любимых ресторана тоже снесены; ресторан же, на котором он наконец остановился, был скверный и дорогой. Тони лег спать, чувствуя, что сделал ошибку, снова приехав в Рим. Это был не тот Рим, который он когда-то в таком восторге осматривал с Робинсом. Или это сам Антони уже не тот?

Однако следующее утро было ослепительно прекрасным, и когда Тони стоял, глядя на город с террасы на *Piazza*

del Popolo, он говорил себе, что в конце концов сделал правильно, приехав сюда, — Рим все еще был Римом! Не стесняясь временем, он составил себе список менее известных ему мест и каждый день посещал два-три из них. Он гулял в садах Боргезе и вдоль Тибра, а иногда заглядывал в какую-нибудь из винных лавок в затибрской части и слушал забавные разговоры, которые там велись. Он решил не заходить пока ни к кому из своих римских друзей; они подождут, пока ему не захочется отдохнуть от видов. Кроме того, ему было важно снова уловить «чувство» места, снова соприкоснуться с *genius loci*¹.

В среду после своего приезда Тони замешкался у фонтана Треви, глядя на великолепные всплески воды и размышляя, где бы ему позавтракать. Солнце нагревало размягчившийся от времени известняк фонтана, и в ясном свете определеннее выступали его замысел и пропорции, так что Тони почти убедил себя, что это произведение искусства — от преувеличенного мелодраматического Нептуна до каменных цветов, в три раза больше настоящих и ничуть на них не похожих. Тони был в особенно счастливом настроении. Он спустился к краю большого бассейна и окунул пальцы в холодную прозрачную воду, напевая тот отрывок из Генделя, который слышал в Лондоне вечером накануне своего отъезда, и, наперекор всякому ощущению стиля, старался убедить себя, что в этой музыке есть что-то общее с лирикой Гейне. Затем он вернулся к вопросу о завтраке и подумал, что можно будет попробовать зайти в ресторан под трельяжем из виноградных лоз, где они завтракали когда-то, в тот первый день, так счастливо с Робинсом. Он помедлил немного, как бы опять не налететь на новое разочарование! — ресторан, может быть, уже снесли в общей спешке усовершенствований, старуха могла умереть, все могло стать отвратительным.

¹ Дух, гений места.

Тем не менее он вдруг понял, что уже идет по улицам, параллельным Корсо, в направлении Piazza Venezia. Здесь опустошение было заметно еще больше, но Тони нашел нужную улицу, к его великому удовольствию оказалось, что и ресторан еще существует. Прежние два официанта были на своем месте, еще жирнее и ленивее и еще более небритые, чем когда-либо. И молодые листья росли на извивающихся серых лозах. Тони увидел, что официанты его не узнали (с чего им было узнавать его?), и не напомнил им о былых временах, заказывая себе завтрак и бутылку знаменитого муската, который до сих пор значился в карточке. Завтрак был доброкачественный, хотя качество *gavioli* далеко не достигало прежнего уровня, и Тони показалось, что в еде есть что-то знакомое. Где-то он уже ел такой завтрак, а все же это было приготовлено совсем не по-римски. Что-то в нем было от Неаполя. Во всяком случае, Тони вскоре перестал думать о таком пустяке и ел не торопясь, по временам поглядывая вверх на лозы и на небо над ними или перелистывая том Фукидида, о котором напомнил ему энтузиазм каноника к «классическим реликвиям». Тони решил, что Фукидид не в его вкусе — это один из тех ранних политических крючкотворов, которые сделали войны столь дьявольски возможными!

Минуты протекали приятно; Тони давно уже кончил есть, почти все ушли из ресторана, в бутылке оставалась едва половина, и даже медлительные братья начали подавать всякие официантские сигналы, что они-де рады были бы его деньгам и отбытию. И все же он еще мешкал и, наконец, устыдившись, спросил счет, расплатился, но подумал — грех оставлять такое хорошее вино недопитым. Он собирался было налить себе последний стакан, как вдруг что-то заставило его поднять глаза, и он увидел, что в дверях кухни стоит женщина, лицо которой он отлично помнил. Не может быть! Нет, это она!

— Филомена! — позвал он. — Филомена! Идите сюда! Идите сюда, поговорите со мной! Вы помните меня, не правда ли? — прибавил он, когда она, немного удивленная, подошла к нему.

— Ну конечно, — сказала она, узнавая Тони. — Это синьор Антонио. Ах, синьоре, почему вы ни разу не приезжали к нам за все эти годы? Ведь вы же обещали?

— Дела! — сказал Тони, улыбаясь про себя. — Меня задерживали дела, Филомена. Но сядьте и выпейте стакан вина. Как все там поживают на Эе? Отец и мать здоровы?

— Стары стали, синьоре, — сказала Филомена, садясь, — но еще могут работать. А мы часто вспоминали о вас в зимние вечера и думали, как-то вы поживаете! Мы каждый год поджидали вас, и каждый год вы не приезжали.

— Но как случилось, что вы здесь, — спросил Тони, чтобы переменить разговор, и забыв, что хозяева ресторана были родственниками его друзей на Эе.

— Ах, синьоре, это печальная история! Как я мечтаю вернуться! Надо вам сказать, что старуха, несмотря на ее вечные жалобы, действительно была больна и умерла зимой. Наверное, пресвятая Мадонна наказала ее за все ее нытье, как вы думаете?

— *Sicuro*¹, — сказал Тони.

— А эти два ленивых парня так много думают о себе, раз они побывали на войне, да и каждый итальянец поднимает из-за этого ужасный шум, и потому, конечно, не могут же они держать ресторан, и они решили его продать. Но за три месяца они так его испортили, что люди перестали ходить сюда, и потому нельзя было получить и половины того, что он стоит. И вот Нино — тот, что пожирнее, — пу-ф! — и она надула щеки, чтобы показать, какой он жирный, — Нино приехал к нам и просил меня готовить у них, пока клиенты

¹ Наверное.

не вернуться, а тогда они смогут похвастаться хорошими барышами и взять свою цену. Ох, как они мне надоели! Каждый вечер я прошу святого Антонио раздобыть мне билет обратно на Эю. И я беспокоюсь, Dio mio¹, как я беспокоюсь! — о стариках и о том, как они там справляются со всем!

Тони некоторое время выслушивал эти и всяческие другие жалобы и, наконец, встал, чтобы уйти, рассчитывая вернуться на днях, когда Филомена, может быть, окажется в более веселом настроении. Но она положила руку ему на плечо и сказала:

— Сядьте на минутку, синьоре Антонио, мне нужно кое-что сказать вам! С того момента, как я вас увидела, я поняла, что должна сказать это, и если глупо болтала о своих мелких заботах, то лишь потому, что не знала, как мне начать.

— Ну, рассказывайте, в чем дело, — сказал Тони, садясь и удивляясь, что бы такое могло потребовать столь длинных приготовлений, — не собирается ли Филомена выйти замуж? Мы старые друзья, Филомена, и вы можете сказать мне все, что хотите.

— Я чувствую, что синьоре друг, а потому и решаюсь вам это сказать. Иначе бы я молчала.

— Ну говорите же, — произнес Тони, немного раздраженный всеми этими приготовлениями. — В чем дело?

— Синьоре помнит, как он приезжал к нам осенью 1919 года? — спросила Филомена очень торжественно, не сводя с него своих больших темных глаз.

— Отлично помню, — сказал Тони, ощутив боль, словно от старой раны.

— И что вы обязательно хотели занять не самую хорошую комнату?

¹ Боже мой!

— Да.

— И что вы спрашивали нас об австрийской синьорине?

— Да.

— Она бывала на Эе и останавливалась в той же самой комнате.

— Что! — воскликнул Тони, вскочив со стула и затем сразу же снова садясь. — Вы уверены? Вы говорите о синьорине Катарине?

В первый раз за семь лет выговорил Тони это имя, и произнесенное слово возродило в нем почти невыносимо болезненные воспоминания.

— Да, конечно! Фрейлейн Ката.

— Что же она делала на Эе? — спросил он, стараясь справиться со своим изумлением и побороть внезапную фантастическую надежду.

— Ничего особенного. Гуляла почти весь день. Иногда, когда она возвращалась, я замечала, что она плакала.

— О боже! — сказал Тони.

— Она приезжала все эти три года, всегда в одно и то же время, и только на десять дней. И каждый раз спрашивала о вас.

— Что! Филомена, думайте о том, что говорите! Это правда?

— Пер Вассо!¹ Зачем мне обманывать друга? — ответила Филомена гордо и негодуя.

— Я виноват, Филомена, прошу прощения, — сказал Тони, в раскаянии протягивая руку и опрокидывая стакан. — Расскажите мне еще о ней.

— Мне кажется, она бедна, — сказала Филомена с грубоватой откровенностью итальянцев и их обычным презрением к бедности. — Пожалуй даже, она наверное бедна, очень бедна, ведь она говорила мне, что ей надо отклады-

¹ Клянусь!

вать целый год, чтобы провести каких-то десять жалких деньков на Эе, и что она не может позволить себе полного пансиона. Она берет только утренний завтрак и обед, и мы считаем ей только за стол, нам так жаль ее!

— О боже мой! — воскликнул Тони, закрывая лицо руками. — О боже мой, боже мой!

— Если бы вы приехали к нам или написали...

— Не говорите об этом, Филомена! Если бы только я мог! Но это слишком мучительно. О боже, какой я дурак! Мне надо было подождать на Эе.

Они сидели молча, Тони пытался оправиться после потрясения. Филомена глядела на него большими внимательными глазами, в которых был легкий упрек. Затем она сказала:

— Синьоре.

— Да?

— Фрейлейн Ката и сейчас на Эе.

— Что! — Тони снова вскочил на ноги. — Филомена! Помогите мне, скажите мне, что делать. Я почти с ума схожу! Вы думаете, я мог бы поехать на Эю? Застану ли я ее там?

— Дайте подумать, — сказала Филомена. — Мама написала мне, что синьорина приехала во вторник на прошлой неделе. Она всегда уезжает через десять дней в пятницу с утренним пароходом. Если вы сегодня вечером успеете на пароход из Неаполя, вы приедете вовремя.

— Скорее, — сказал Тони, хватая свою шляпу и непромокаемое пальто. — У вас есть путеводитель? Мне нужно достать такси. Есть какой-нибудь поезд?

— Я знаю, что есть один в три двадцать. Я всегда им езжу.

— А теперь уже три? — воскликнул Тони, взглянув на часы. — Успею ли я? Я должен еще заехать в отель, там у меня деньги и паспорт. Прощайте, Филомена. Я вам напишу.

Он схватил ее за руки, поцеловал в обе щеки и выбежал на улицу. Почти сразу же он так запыхался, что пришлось идти медленнее. Конечно, на улице не было ни одного свободного такси, кажется, есть стоянка на Piazza Venezia. Он поспешил дальше, толкая людей и не замечая этого, с одной лишь мыслью — найти такси. Он потерял много времени, проталкиваясь через толпу, и когда подбежал к первому из длинного ряда такси, шофер махнул ему рукой, чтобы он нанимал стоявший в самом конце. Тони проклял педантическую тупость дурацких правил и побежал вдоль ряда автомобилей. Он назвал свой отель и прибавил:

— Поезжайте скорее, поезжайте скорее! Мне нужно успеть на поезд в Неаполь.

Шофер вел машину умело, но по узким улицам было невозможно ехать быстро, и полицейские дважды останавливали такси. Тони злился и раздражался, глядел на часы и проклинал все и вся, что встречалось на их пути, и, в общем, прошел через все мучения и напрасные волнения своих поездок по Вене. Когда они доехали до отеля, было десять минут четвертого. «Подождите!» — крикнул Тони шоферу и вбежал в вестибюль. Он строго сказал себе, что нужно соблюдать спокойствие — излишняя суматоха только трата времени, — велел конторскому служащему немедленно приготовить счет, поднялся к себе на лифте, уложился в две минуты, захихивая вещи как попало, и, забыв пижаму и губку, положил в карман паспорт и деньги и побежал вниз. Счет был на сто семьдесят лир. Тони бросил двести и, не дожидаясь сдачи, побежал к своему такси — догадливый шофер уже повернул автомобиль по направлению к вокзалу.

— Скорее, скорее! — сказал Тони. — Мы можем еще успеть.

Увы, они почти сразу же попали в мешанину уличного движения, и шоферу пришлось выслушивать брань полицейского за то, что он хотел пробиться вперед. На это было потрачено четыре драгоценные минуты. Когда они с визгом вылетели на Piazza del Esedra, Тони увидел, что часы показывают двадцать две минуты четвертого. Он почувствовал, что все силы покинули его. Слишком поздно! Со слабой надеждой, что наружные часы могут быть нарочно поставлены вперед, Тони выскочил из такси и подошел к одному из дежурных фашистов с вопросом:

— Успею ли я попасть на поезд три двадцать в Неаполь?

Дежурный заглянул внутрь вокзала, и Тони увидел, что проверяющий билеты снимает доску с надписью «Napolì. Direttissimo»¹. Дежурный покачал головой:

— Уже ушел, синьоре! Следующий поезд в шесть.

— Благодарю вас.

Это было бы слишком поздно.

Одну минуту Тони стоял неподвижно в совершенном отчаянии и спрашивал себя, какая проклятая и упорная судьба всегда мешает ему свидеться с Катой. Тут его осенило вдохновение, и он благословил каноника, без которого он и не подумал бы об этом, — если поезд не повез его, так может повезти автомобиль. Он пошел к такси — шофер немного отъехал и ждал с багажом, — и посмотрел на шофера. Это был молодой человек, такой жилистый итальянец с резкими чертами интеллигентного лица, с виду дельный и красивый.

— Вы хорошо ехали, — сказал Тони спокойно, — но мы опоздали. Как вас зовут?

— Джованни, к вашим услугам.

¹ «Прямой в Неаполь».

— Слушайте, Джованни. Я должен быть в Неаполе на набережной Immacolatella сегодня вечером к восьми. Вы свезете меня?

— Да, — сказал Джованни так спокойно, как будто ему велели ехать на Piazza Colonna.

— Вы сможете добраться туда вовремя?

— Думаю, что да. Но я не могу обещать. Иногда лопаются покрышки, портится мотор.

— Вы постараетесь?

— Да.

— Сколько?

— Тысяча лир.

«Он запрашивает, как всегда, — подумал Тони. — Нельзя позволять ему надуть меня, а то он опоздает к пароходу нарочно, чтобы я поехал с ним обратно. Черт подери их привычку торговаться».

— Пустяки, — сказал он весело, — вы бредите. Двести пятьдесят километров, если ехать по Via Appia, там лучше, потому что меньше движение. Это обойдется в четыреста тридцать лир. Я дам вам пятьсот.

Шофер покачал головой:

— Это меня не устраивает.

— Хорошо, шестьсот.

— Нет, синьор, все равно я окажусь в убытке.

И он стал подробно рассказывать о своих расходах, потерях и прибылях и о том, сколько ему нужно, чтобы покрыть все это.

Тони оборвал его:

— Я дам вам шестьсот во всяком случае и семьсот пятьдесят, если вы будете на набережной Immacolatella без десяти восемь. Идет?

— Хорошо. — Джованни согласился внешне неохотно, с видом человека, который страдает из-за своего хорошего характера, но в действительности с удовольствием. Если

даже считать на эту поездку сто литров бензина и две жестянки масла, его расходы не превысят двухсот пятидесяти лир. Сверх того он потеряет на проездной плате лир пятьдесят-шестьдесят. Но в общем сделка была очень выгодна.

— Ладно, — сказал Тони быстро. — Положите багаж в автомобиль. Я сяду рядом с вами. И — avanti!¹

Когда они тронулись к Porta San Sebastiano, Тони посмотрел на часы в автомобиле. Они показывали без двадцати семи минут четыре, значит, почти пятнадцать минут ушло на переговоры. Может быть, лучше было заплатить больше и сберечь время. Считая десять минут на покупку билета на набережной и на то, чтобы найти пароход, у них было приблизительно двести пятьдесят минут, чтобы проделать двести пятьдесят километров. При средней скорости в шестьдесят километров — всего около тридцати семи миль в час, этого вполне достаточно. Надежды Тони росли. Он часто слышал, как в Англии люди хвастались, что они проделывали большие путешествия со средней скоростью в сорок пять миль в час и больше, и заметил сам, что автомобиль каноника много раз шел с такой скоростью, даже поднимаясь в гору, а они ведь не торопились. Если бы он был менее невежественным в автомобильном деле, он был бы не так оптимистичен. Быстрый пробег по английским или французским дорогам — это детская игра в сравнении с тем же расстоянием на итальянских дорогах с их извивами и уклонами, длинными, узкими, полными народа деревенскими улицами и вереницами повозок по всей дороге. Кроме того, Тони не сообразил, что у каноника был дорогой многосильный автомобиль, а таксомотор был рассчитан на езду по городу и не мог так легко взбираться на подъемы.

¹ Вперед!

Не зная всего этого, Тони чувствовал себя почти уверенным и даже был способен восхищаться яркими навесами на повозках с вином, которым Джованни подавал яросные гудки. Они не были в дороге и пяти минут и еще не выехали из Рима, когда Джованни подъехал к тротуару.

— В чем дело? — спросил Тони строго. — Почему вы остановились?

— Бензин, масло, вода, — сказал Джованни, указывая на станцию снабжения.

Надежды Тони погасли; он забыл, что эту чертову машину надо кормить.

— Нам еще придется останавливаться?

— Еще раз, может быть, два раза.

Хозяин гаража, весьма не торопясь, накачивал бензин, Джованни наливал масло, а Тони болтался кругом, каждые двадцать секунд поглядывая на часы.

— На сколько времени этого хватит? — спросил он нетерпеливо. — Вы думаете, мы успеем?

— Успеем. Конечно, было бы скорее через Frosinone и Cassino, но синьоре хотел ехать по Via Appia.

Было почти без десяти четыре, когда они тронулись снова, и Тони начал отчаиваться, особенно когда дорогу загородили повозки с вином, возвращающиеся в castelli. Стрелка указателя скорости колебалась между тридцатью пятью и пятьюдесятью — не было никаких надежд.

Но потом они выехали на участок превосходной дороги, и стрелка поднялась на шестьдесят, шестьдесят пять, семьдесят, семьдесят пять. Вместе с ней поднимались и надежды Тони. Не так уж плохо. Километры побивали минуты. В просвет между индикатором и часами, от которых он почти не отводил глаз, Тони мельком видел Кампанью с ее разрушенными акведуками, новыми фермами и очаровательными далекими холмами. Это один из самых мучительных снов, какие мне снились когда-нибудь, говорил

он себе. У подножия длинного склона, ведущего к Альбано, Джованни загнал стрелку на девяносто, но подъем скоро начал сказываться на маленькой машине, они выехали на второй подъем, и стрелка индикатора спустилась до тридцати. Сейчас минуты побеждали километры. Отчаяние.

Все путешествие было агонией таких чередований. Джованни, с виду совершенно спокойный, но чуть мрачный, великолепно вел свой автомобиль, хотя Тони не понимал этого. Он ничего не говорил, кроме краткого: «Мы успеем, синьоре», в ответ на пессимистические бормотания и восклицания Тони, да называл ему города. Они достигли вершины холма, со свистом облетели большой дворец, пересекли виадук и проехали деревню.

— Аричча, — сказал Джованни.

После Ариччи они выехали на извивающуюся дорогу с трамвайной линией с одной стороны, где Джованни безумно гудел и с ужасающим риском срезал углы. Показался какой-то город на холме, но они ехали по дороге, которая шла вокруг его подошвы.

— Веллетри, синьоре.

Тони нетерпеливо кивнул, смутно вспоминая, как каноник в течение десяти минут по дороге в гору разглагольствовал здесь об Августе. Почему-то это воспоминание беспокоило его. Какого черта нужен ему Август? Он не мог бы заставить автомобиль двигаться быстрее, а минуты все еще обгоняли километры. Но теперь они были на более прямой и очень гладкой дороге, и маленькая стрелка неуклонно подымалась.

— Чистерна, — сказал Джованни вдруг и указал вперед. — Понтийские болота.

Они выехали на большую дамбу Аппия Клавдия, прямолинейную, как решимость римлян. Джованни знал свои возможности и пользовался ими; стрелка индикатора мед-

ленно пододвинулась и показала девяносто, перешла эту цифру, дошла до девяносто пяти и, наконец, завертелась около цифры сто десять. Тони глядел на нее зачарованный, краем глаза ухватывая улетающий ряд нескончаемых деревьев, слабый блеск воды в канале, величавые горы, расположенные слева, но все его чувства сконцентрировались на этой дрожащей стрелке и на циферблате часов. Километры без труда обгоняли время, — они поспеют.

Увы, это было слишком хорошо, чтобы длиться долго. На странном подвесном мосту, устланном шатающимися бревнами, им пришлось убавить скорость, затем они выехали на главную улицу Нижней Террачины и оставили позади асфальтированное шоссе. Довольно сердито Джованни произнес «Террачина», заходящее солнце било ему в глаза. Они проехали замок Итра, прогремели по камням и подъехали к Формии, все еще имея в запасе двадцать минут. Тони с относительным спокойствием следил за тем, как накачивали бензин, и не заметил, какое было выражение на лице Джованни, когда тот увидел, как нагрелась машина. Он проделал эти сто сорок километров от Рима на одиннадцатисильной машине меньше чем в два часа. Тони казалось, что оставшиеся восемьдесят пять километров можно легко пройти за такое же время. Он забыл, что тут дорога пыльная, выщербленная, узкая, извилистая, вся в подъемах и спусках, и это постоянно замедляло движение. И ему казалось, что Джованни нарочно ехал медленно; это так и было, шофер боялся, чтобы вода в машине не закипела на подъеме. Настроение Тони все падало и падало, по мере того как минуты безжалостно обгоняли километры. Когда, наконец, показалась Капуя, в их распоряжении было всего пятьдесят пять минут, а нужно было проехать еще тридцать пять километров через пригороды Неаполя, через самый Неаполь — и это по ужасной ухабистой дороге до Каподимонте.

Мост в Капуе Джованни проехал с безрассудной скоростью, едва-едва не задел за край какой-то повозки и круто повернул направо, пробормотав, как обычно: «Капуя, синьоре». Все время давая гудки, он пробирался через Аверсу, тут ему пришлось включить свет; на плохой дороге автомобиль страшно прыгал и кренился, наконец, шофер пробормотал: «Каподимонте» и с предельной скоростью пошел под гору, когда выяснилось, что осталось только двадцать минут. Их задержали на перекрестке возле музея, они медленно ползли по Via Roma, но когда, наконец, Джованни остановился у ворот, ведущих к Immacolatella и вытер лицо, его часы показывали без двенадцати минут восемь.

— Вынимайте багаж, Джованни, — сказал Тони, спрыгивая.

Он подошел к одному из чиновников в воротах.

— Где пароход на Эю?

— Третий направо. Паспорт?

Тони передал его чиновнику и вернулся к Джованни. Порылся в своем рюкзаке и протянул шоферу восемьсот лир.

— Вы хорошо ехали, Джованни, — сказал он. — Всячески благодарю вас. Вот восемьсот лир. Поешьте, прежде чем вы поедете назад в Рим. Addio!

Когда Тони шел по палубе, его встретил лакей в белом костюме и спросил номер плацкарты.

— У меня ее нет, — сказал Тони, показывая билет, который он только что купил в кассе, — но вы, пожалуйста, найдите для меня каюту. Я хочу быть один.

Он сунул двадцать лир в руку лакея.

Спускаясь к каютам через люк, Тони услышал, как затрещала, поднимая якорь, паровая донка, и благословил Джованни и его работу. Через окошко кабины виден был медленно удалявшийся борт другого парохода.

— Обед с восьми часов, синьоре, — сказал лакей.

— Хорошо, — произнес Тони равнодушно. — Когда мы придем на Эю?

— На таком скором пароходе, как наш, мы могли бы быть там в шесть, — сказал лакей с неизбежным итальянским бахвальством, — но пассажиры не хотят вставать так рано, и поэтому мы идем медленно и прибываем в восемь.

Когда лакей ушел, Тони запер дверь на ключ, сел на узкую койку и опустил голову на руки. Он слышал, что быстрота бывает «головокружительной», но еще никогда не думал, что эта избитая метафора может быть действительностью. Ката, Филомена, Эя, ресторан, дрожание машины Джованни, дорога, верстовые камни, часы, стрелка индикатора — все летело кружась, как деревья у дороги через Понтийские болота. Некоторые слова Филомены все приходили ему в голову, и каждый раз ему становилось больно: «Иногда я замечала, что она плакала» и «она очень бедна, синьоре». Она уходила из дому без завтрака, — вспоминая об этом, Тони терзался. Ах, Ката, Ката, будет ли на этот раз все хорошо, наконец? Больше ты не будешь уходить без завтрака, если только я смогу вмешаться в это. Самый факт был пустячным, — в конце концов, он сам часто нарочно пропускал завтрак, но это было признаком нищенской жизни, когда надо считать каждую копейку, признаком того, какие жертвы приносились их общим воспоминаниям. Тони стоял в каюте и говорил громко, ни к кому не обращаясь:

— В самом деле, Ката, дорогая, некоторые вещи в жизни почти невыносимы.

Испытывая все эти угрызения совести из-за того, что Ката уходила без завтрака, Тони не хотел и думать об обеде. Однако, умывшись и переменяв воротничок, он решил, что нетвердо держится на ногах после поездки, — ведь он

проголодался, несмотря на завтрак у Филомены; нужно было поесть чего-нибудь, чтобы не приехать на Эю в мрачном настроении. Из окна столовой ему были видны огни Torre del Greco и Torre dell'Annunziata, и он заметил, как они качались вверх и вниз; однако лакей сказал, что в море качать не будет, это только ночной бриз. Тони от всей души надеялся на это, у него не было желания появиться перед Катой в печальном виде человека, оправляющегося от морской болезни.

После обеда он поднялся на палубу, чтобы пройтись перед сном. Пароход шел прямо из бухты, немного южнее Искии; огни городов на материке образовывали яркую сверкающую дугу. Под застланным облаками небом дул сильный холодный бриз, и Тони слышал, как шлепала вода и шипела пена, когда волны разбивались о корпус корабля. На этот раз, вопреки своему обыкновению, Тони отвернулся от Неаполя и Везувия, по краю которого бежала узкая стрелка золотого света; он стоял, глядя вперед в темноту, и думал, что жизнь человека определяется цепью больших и малых случайностей. Мировая война не располагала достаточной силой, чтобы разлучить его с Катой; стоило только скромной горожанке выказать свою благожелательность и доброту, и вот они снова вместе после стольких лет разлуки.

У Тони было суеверное чувство, что боги, стоящие на его стороне, предоставили ему случай торжествовать над враждебными богами, и он вспомнил строки, взятые им наудачу, полушутя, из Гомера в самый канун Нового года, шестнадцать месяцев тому назад. Неужели это исполнится? Неужели злых богов попросили на время придержать руки? Казалось, все происшествия и решения прошлых двух лет образовывали цепь, ведущую его, наконец, к единственному человеку на свете, с которым он был когда-то вполне счастлив и мог надеяться быть счастливым опять. Если бы

только он не уяснил себе всей низости деловой жизни, не поднял бы бунта против нее, то он так бы и не очутился вовремя в этом римском ресторане. Тони все казалось, что он борется за свою моральную правоту, за бескорыстный образ жизни, без суетливости и пустоты; на самом деле шаг за шагом он бессознательно приближался к завершению своей любви, той любви, которую так долго скрывал от самого себя. В Шартре он почувствовал, что портал собора как бы является входом в новую жизнь, поиски которой только что начались, и, пока пароход, медленно поднимаясь и опускаясь, пролагал свой путь по темному морю, Тони говорил себе, что началом этой жизни можно будет считать рассвет следующего дня. Он вспомнил свое горе, когда он в последний раз покидал Эю, и, протянув руки вперед, произнес громко:

— Ката, Ката! Еще только одна ночь в одиночестве, Herz, mein Herz!

VI

Отраженный солнечный свет разбудил Тони, и несколько минут он, не шевелясь, лежал в полусне, следя за золотыми змеистыми линиями света, которые извивались на белом потолке каюты. Конечно, у него были солидные основания, чтобы он проснулся, как ребенок в день своего рождения, с уверенностью в своем счастье, — Ката. Он выскочил из постели и выглянул в иллюминатор. Было безветренное, безоблачное утро, и солнце стояло в небе как волшебный золотой дракон — настоящая погода острова Эя. За краем пенистой волны, которую разрезал пароход, вода лежала гладкая, без морщинки, и только слегка колыхалась

изнутри. И синие павлиньи цвета, хрусталь и изумруд переплывали друг через друга и всплывали один в другой, как смешение прозрачных стекол для витражей. Какое пышное предзнаменование для этого дня! В самом деле, иногда боги бывают снисходительны. Тони высунулся в иллюминатор, чтобы заглянуть как можно дальше вперед, и мельком увидел известняковые скалы. Уже Эя? Торопливо поглядев на часы, он увидел, что они показывают почти половину восьмого. Значит, надо торопиться, но торопиться благоразумно: человек, изрезавшийся во время бритья, выглядит жалким, как кошка, свалившаяся в воду. Была ли Джиневра* благодарна Ланселоту за то, что он окровавил всю постель?

С обычными у итальянцев представлениями о том, что является обязательным для джентльмена, лакей презрительно глядел на Тони, когда тот сходил с парохода, неся сам свои вещи; с чего бы иностранцам ездить в такую скучную страну, как Италия, как не для того, чтобы отделаться от денег? Не обращая внимания на трескотню агентов, которые теперь дисциплинированно вытянулись крикливым рядом и не имели права хватать чемоданы из рук приезжих, Тони пошел дальше по набережной, чтобы взять извозчика. По дороге он заметил, что весь дрожит и что он совсем ослабел — результат длительного возбуждения и усталости вчерашнего дня, вероятно. Не шевелясь, с закрытыми глазами он посидел несколько минут на чемодане и почувствовал себя лучше. Затем вспомнил, что он не завтракал, и подумал, как будет смешно появиться перед Катой и сразу же жадно потребовать завтрак, точно какой-нибудь герой из романа эпохи Виктории. Надо пойти выпить кофе.

Сидя на узкой террасе кафе у самого края маленькой пристани и дожидаясь заказанного завтрака, Тонн вдруг впал в панику. До сих пор он действовал всецело под влиянием внезапного импульса, внушенного ему неожидан-

ным сообщением Филомены, что Ката на Эе, и не размышлял о своих словах и поступках при их встрече; не обдумывал он и того, гораздо более важного вопроса, чем же стала теперь Ката, чего она хочет и что делает? Слова Филомены перенесли его к настроениям и страстям довоенного Тони, который немедленно помчался как сумасшедший, чтобы поймать довоенную Катю. Но они были теперь послевоенными Катой и Тони. Вдруг окажется, что Ката замужем, завела кучу младенцев и мужа-боша? Правда, Филомена сказала, что она приезжала одна и спрашивала о нем, но женщины, даже замужние женщины, хранят в сердце странные мечты, которым не позволяют влиять на свое реальное поведение. Ежегодный визит на Эю мог быть предохранительным клапаном в ее браке. И если уж дошло до этого, так ведь он сам женат, — что бы сказала обо всем этом Маргарет? Будьте счастливы, дети мои? И потом, о боже, предположим, Ката изменилась, как изменилась Эвелин? Какая катастрофа!

Появился завтрак и подтвердил худшие опасения Тони. Это был обычный завтрак итальянских кафе, состоявший из кофе, сделанного из нашей собственной отечественной лакрицы, беззастенчиво разбавленного консервированного молока, масла, давно позабывшего корову, и безобразных толстых ломтей хлеба. Тони глядел на этот завтрак с отвращением и испытывал сильное желание отослать его обратно и заказать бренди и сельтерской. Его удержала только уверенность в том, что бренди будет нашего отечественного производства с сильным привкусом подслащенного керосина. Он положил достаточно сахара, чтобы отбить всякий вкус, и выпил немного этого мнимого *caffé latté*¹, который не был даже горячим, и съел кусок сухого хлеба. Боги присмотрели за завтраком плохо. *Absit omen*².

¹ Кофе с молоком.

² Дурное предзнаменование.

«Вот момент для того, чтобы выказать себя суровым реалистом и практиком, — подумал про себя Тони, — начнем с самого низменного вопроса».

— Официант!

— Синьоре!

— Когда открывается банк?

— В девять часов, синьоре.

— Спасибо.

Странно: чем меньше дела, тем дольше тянется время. Тони дождался момента, когда официант перестал следить за ним уголком глаза, и пересчитал деньги. Почти две тысячи лир и семьдесят два фунта в аккредитиве. Пошарив в своем мешке, он нашел блокнот и конверты и написал в тот банк, где у него был счет, чтобы ему прислали еще аккредитив с оплатой на Эе. Быть может, Ката подурнела, но как Ката может подурнуть? Что он за пародия на влюбленного! Или навсегда прикреплена к своим младенцам, тогда ему надо выдумать что-нибудь, чтобы избавить ее от бедности. Если же таких ужасных случайностей не произошло, ну, тогда найдется кое-что, что, может, захочется сделать. Как удачно, что он оставил на своем текущем счете эти четыре сотни фунтов и почти годовой доход, хотя в банке Тони упрашивали вложить часть денег в военный заем. У Тони было только одно финансовое правило — никогда не делать того, что советуют в банке. Он сразу решил разделить деньги на три части и распределить вложения между банками Франции, Голландии и Швейцарии.

Что дальше? Очевидно, ничего нельзя решить, пока он не увидит Катю. Лучше встретиться с ней во время прогулки, чем в отеле, — и почему ему не пришло в голову дать ей телеграмму о приезде, вместо того чтобы неожиданно выскакивать перед ней, как черт из коробочки?

Впрочем, по дороге между Римом и Неаполем у него для этого не было времени, а о беспроволочном телеграфе

на пароходе он забыл. Всегда забываешь об этих старомодных приспособлениях! Тони увидел, что было без десяти девять, поэтому он заплатил по счету, поморщившись от чрезмерных цен, подошел к экипажу, владелец которого крепко спал на козлах, являя собой бессознательное чудо равновесия, и велел ему ехать на площадь нижней деревни, с любопытством отметив, что тариф платы за проезд крепко привинчен внутри фиакра, — очевидно, хотят сделать извозчиков честными и снаружи!..

Поездка отчасти восстановила утреннее счастливое настроение Тони; нельзя испытывать сомнение или беспокойство среди такой красоты. Эя была свежа и очаровательна в своих весенних одеждах. Лозы покрылись листвой; под ними уже высоко поднялась молодая, крепкая пшеница, и цвели бобы.

Там и сям на склонах холма стояли то груша в цвету, как хрупкая белая пирамида, то яблоня — цветы ее были роем розовых бабочек, задержанных в полете. Чудо чудес — пели птицы и вдоль всей дороги были посажены молодые олеандры. Должно быть, новый старшина — человек со вкусом и железной волей, иначе птиц бы съели, а олеандры срубили бы на топливо.

На площади Тони расплатился с возницей, снес свои вещи в кафе и выпил там вторую и более вкусную чашку кофе. Оставив свои чемоданы на попечении официанта, он стал слоняться по маленькому городку, отмечая перемены и англосаксонскую цивилизацию в форме объявлений: «Виски. Джин. Чай. Коктейли». Он купил себе другую губку, но, посмотрев пижамы, решил не покупать ни одной — они были до смешного дороги и плохи. Для приличия Тони пошел в банк все-таки немного позже девяти и, предъявив свой паспорт, свидетельство о рождении, отпускной билет из армии, старый пропуск в читальный зал Британского

музея и подписав два документа в трех экземплярах, получил разрешение (с большим недоверием) взять остаток своего аккредитива, — к счастью, не пришлось приглашать двух знакомых из местных жителей, чтобы они удостоверили его личность, потому что Тони никого не знал. К этому времени часы на площади показывали без четверти десять, и Тони решил, что теперь можно уже отправляться в старый отель в верхней деревне, с полной гарантией, что, когда он придет, Каты не будет дома.

Было бы преувеличением сказать, что Тони развалился в фиакре и наслаждался видами, пока экипаж подымался по извивающейся дороге. Исчезла сдержанность, к которой он принудил себя утром, и он пребывал в лихорадке ожидания и нетерпения, браня себя за напрасную трату времени. Эти истраченные минуты он мог бы провести с Катой. И Тони, который так часто ругал современную страсть к спешке, теперь сам проклинал медлительность лошадей. О, иди же ты вперед, неуклюжее животное; цок, цок, цок, ты никогда не училось бегать рысью? Как Ката взглянет, что она скажет, какая она будет? О Ката, если тебя сломали и сделали из тебя одного из своих, это будет для меня просто самоубийством. О боги, пусть все будет, как было, — совершенным!

Наконец фиакр доехал до ровной дороги, и под воздействием кнута лошадь пошла жалкой рысью. Они проехали маленькую аллею акаций, только еще начинавших цвести; затем старую опереточную церковь, на которой появились новые часы, а фасад был заново выкрашен желтой клеевой краской, и подъехали к отелю. Сердце Тони билось с ненужной силой, и, платя кучеру, он обратил внимание на то, как дрожат его руки. Он постарался совладать с собой, подобрал свои вещи и прошел во двор, где столкнулся лицом к лицу с матерью Филомены. Конечно,

должна была разыгаться драматическая сцена приветствий с пожиманием рук и призывами Баббо и упреками, почему Тони не приезжал раньше. Когда это кончилось, Тони отдал свои вещи, чтобы их отнесли наверх, и прошел с двумя стариками в кухню. Теперь, когда он действительно приехал, его неуверенность и чрезмерное возбуждение исчезли; он был спокоен, уверен, убежден, что все будет хорошо.

— Я видел Филомену в Риме, — сказал он.

— А! — воскликнула старуха, взглянув на него пристально. — И она сказала, чтобы вы приехали сюда!

— Да, это была ее мысль, и я очень, очень рад, что приехал. Вы знаете, сегодня день моего рождения!

Это, конечно, было совершенной неправдой, но у Тони был свой план.

— День рождения! *Vuona festa, Signore, buona festa*¹. Баббо, ты должен достать бутылку стравекьо, чтобы выпить за день рождения синьоре.

— Не теперь, — сказал Тони, не давая старику встать. — Но, может быть, мне подадут одну бутылку к завтраку и тогда мы бы все выпили вместе? — Он остановился и затем прибавил: — Кстати, Филомена сказала мне, что синьорина Катарина, австриячка, здесь. Это верно?

— Да, — ответила старуха, глядя на него все тем же испытующим взглядом. — Она здесь, но она ушла гулять.

— А! — Тони перевел дыхание. — Вы знаете, когда я ехал наверх на извозчике, я подумал, как будет приятно, если вы устроите мне праздничный завтрак, а я попрошу синьорину присоединиться ко мне?

Он посмотрел на старика, когда говорил это, зная, что в семье настоящим поваром был тот и его надо улещивать, чтобы он показал свое искусство.

¹ С праздником, синьоре, с праздником.

— Sicuro, — кивнул тот. — Я постараюсь, синьоре, хотя времени мало. Но боюсь, что синьорина не придет к завтраку!

— Почему не придет? — спросил Тони, отлично зная почему.

— Она никогда не бывает дома в это время, — вставила старуха тактично.

— Хорошо, — сказал Тони, поднимаясь. — Вот что мы сделаем. Вы приготовите самый лучший завтрак на двоих и подадите его — когда бы? Сейчас половина одиннадцатого. В половине первого? Отлично. А я пойду поищу синьорину. Вы знаете, в какую сторону она ушла?

— Я покажу вам, — сказала старуха, вставая, и заковыляла рядом с ним к воротам. Она указала на дорожку, которая вела к концу острова, — дорожку, которую Тони знал так хорошо, потому что она вела к краю утеса, где был укромный уголок Каты. — Синьорина пошла по этой дорожке, вы ее знаете. — Затем она схватила его за руку и прошептала: — Signorino, signorino! Не встречайтесь с нею, если и на этот раз вы не сможете остаться. Она тоскует о вас, и она такая слабенькая!

— Не беспокойтесь, — сказал Тони, похлопывая ее старую, сморщенную руку. — Посмотрите, чтобы Баббо приготовил хороший завтрак, — я сделаю остальное.

Когда все сыны Божьи запели вместе от радости...

Тони не спешил. Не стоило уставать, он был уверен, что найдет Катю на ее любимом месте над морем, и даже если она пошла на то место, где они купались вместе, у него все-таки хватит времени. Он так хорошо знал дорожку, к тому же, по-видимому, не изменилось ничего, только вспаханное поле немного дальше врезалось в целину. По выходе из деревни дорожка стала шире, и Тони оказался среди старых лоз, подпертых высокими кольями, как хмель, и вдохнул прелестный запах цветущих бобов. Папоротники,

венерины волоски, камнеломка и другие мелкие травы росли в трещинах грубых стен, шедших уступами, где жили ящерицы; по краям поля атели первые маки рядом с последним лесным нарциссом. Минут через пятнадцать он достиг конца старых виноградников и вышел к маленькой роще высоких деревьев, где короткая трава была полна белых фиалок, подснежников и цикламенов. За рощей, среди кустов вечнозеленых растений и карликового дуба, были разбиты новые сады, которые, как зеленый водопад, расстилались вниз по склону почти до самого моря.

Деревья арбутуса, сохранившиеся от рощи около дорожки, были достаточно высоки, чтобы защищать от солнца и закрывать вид, — райское место, где можно наслаждаться прохладной тенью в одиннадцать утра в середине апреля. Тони остановился поглядеть на великолепную желтую корониллу, всю в цвету, и в просвет с опушки рощи увидел, что на нижних склонах острова уже расцвел ракитник. «Ах, — подумал Тони, — будь я верховным владетелем Эи, я сделал бы ее раем — или за год довел бы всю страну до банкротства, и меня убили бы мои возмущившиеся подданные. Интересно, о чем думает Ката сейчас?» Он тихонько пропел: «*Wenn ich in deine Augen seh'!*» — на мелодию, сочиненную им самим; в ней было не больше пяти разных нот, но он гордился ею. Где вы находите мелодии для вашей музыки, мистер Кларендон? О, они мне приходят в голову, когда я бреюсь, мадам!

Едва достигнув другой стороны рощи арбутуса, Тони остановился как вкопанный, и сердце его чуть не выпрыгнуло из груди. Там, на большом камне, сложив руки на коленях, глядя на море через золотые и белые потоки ракитника и цитуса, сидела Ката. Она сидела полуотвернувшись, но ему не нужно было видеть ее лицо, чтобы узнать ее, — его тело не забыло ее тела. Он сразу узнал изгиб ее высокой полной груди, линию ее горла, ее стройную руку,

ее тонкие пальцы. У него упало сердце, когда он увидел контур ее щеки, бледной и худой. Он позвал нежно:

— Ката!

Она была так глубоко погружена в свои мысли, что не услышала, и он снова позвал погромче:

— Ката!

Она стремительно вскочила, внезапно сцепив руки, он увидел сначала с удивлением, а потом с мучительными угрызениями совести, что ее глаза потемнели от ужаса.

— Ката! Не пугайся! Это Тони. Я не хотел... Я нашел тебя наконец.

Говоря это, он медленно шел к ней, протягивая руку, как будто Ката была испуганным зверьком, который может неожиданно броситься прочь и его надо успокоить. Он остановился в двух шагах от нее, протянул обе руки и сказал:

— Ката! Я приехал сразу же, как только узнал, где найти тебя.

Ужас погас в ее глазах, но он видел, что ее лицо было совсем белое и что она вся дрожит. Она сказала:

— Тони! О мой любимый.

И прежде, чем он увидел, что она шевельнулась, она уже прижала его к себе в тесном объятии, все ее тело, казалось, приветствовало его тело в экстазе облегчения и желания; так женщины обнимали своих мужей, приезжавших в отпуск с фронта, а Тони смотрел и завидовал. Это было так внезапно, до такой степени естественно для женщины, которая всегда заодно со своим телом, что он почувствовал, как будто эти тринадцать лет жизни в Англии шелухой упали с него и он снова обрел свое тело. Они стояли, ничего не говоря. Тони ощущал своим лицом ее прохладную щеку, слышал, как дрожало ее тело и как бешено билось ее сердце. Он сам весь дрожал, и все же чудесный мир соединившихся тел уже вошел в него, потому что его кровь инстинктивно начала согласовываться с ритмом ее крови.

К его ужасу и отчаянию, Ката внезапно разразилась слезами, почти ураганом плача, вся ее плоть содрогалась от рыданий, как будто все горе и несчастье и одиночество многих лет наконец нашли себе выход. Тони обнимал ее нежно, но крепко, стараясь успокоить и утешить молчаливой симпатией своего тела. Он чувствовал, как ее слезы, сначала горячие, а потом холодные, просачивались через его тонкую рубашку, и это, что в другой женщине раздражало бы его, казалось правильным, потому что то была Ката. Кому бы она отдала свои слезы, если не ему? Наконец она немного пришла в себя, но все еще глубоко и часто всхлипывала, как всхлипывает обиженный ребенок, и не могла еще говорить. Тони мягко освободился от ее жадного, крепкого объятия, обвил рукой ее талию, чтобы поддержать ее, и повел в сторону к деревьям арбутуса. Ката маленьким платочком старалась вытереть слезы. Через несколько метров за плотной завесой арбутуса Тони нашел маленькое местечко, свободное от камней и цитуса и защищенное от солнца. Он сел, взял Катю на руки и обнял ее осторожно, нежно, как будто она была обиженным ребенком, потерявшимся и наконец найденным. Он гладил ее руки, желая оживить их, прижимался горячими губами к ее лицу и шептал что-то, — он сам не понимал своих слов, но знал, что ей нужен звук его голоса.

Рыдания прекратились, и Ката перестала дрожать. Тихонько положив ей руку на грудь, Тони услышал, что ее сердце перестало биться с такой пугающей силой и напряжение ее тела потихоньку ослабевало, когда ее кровь начала отвечать его крови. Только время от времени Ката все еще вздыхала глубоко и прерывисто, и, помимо ее воли, эти вздохи выражали такую боль, что и для него они были болезненны, как рана. Она наклонила голову, и Тони не мог видеть ее лица, но с восторгом почувствовал, как она робко подняла руку и положила ее ему на горло, где рубаш-

ка была расстегнута. Он понял, что, значит, она не забыла. Когда, казалось, она совсем успокоилась, он сказал:

— Ката, дорогая, прости, что я так испугал тебя. Скакал за тобой, как башанский бык. Но я только вчера узнал, что ты здесь.

— От кого?

— От Филомены.

— В Риме?

— Да.

— Как ты быстро приехал сюда.

— Я нанял облако у Ариеля*! Я просил облако побыстрее, но все скорые были заняты.

— Время тянулось так медленно, медленно для меня, Тони.

— И для меня, я так отчаянно разыскивал тебя, мне так не хватало тебя, моя Ката.

— Когда?

— В тысяча девятьсот девятнадцатом.

— Здесь?

— Да, и до этого, в Вене. Разыскивая тебя, я обрыскал весь этот проклятый город.

— В каком месяце?

— В октябре.

— Я лежала больная в деревне, в Бишопсхофене.

— Боги были против нас.

— Что ты сделал, не найдя меня?

— Приехал сюда и тосковал, потом подумал, что ты умерла, и плакал на нашей постели в гостинице, потом вернулся в Англию и нанялся швейцаром к дьяволу.

— К дьяволице? Она была мила?

— Кто?

— Дьяволица.

— Нет, отвратительна! Я убежал.

— С кем?

— Один.

— Что заставило тебя пойти к Филомене в Риме?

— Я не знаю. Наверное, боги. Я был в Тунисе, раздумывал, куда бы ехать, и меня что-то толкнуло снова поехать в Рим. Потом вчера я зашел позавтракать в тот маленький ресторанчик, нашел Филомену, и она мне сказала, что ты здесь, — остальное ты знаешь. Или, впрочем, не знаешь. Узнаешь в свое время. Как нам много надо сказать друг другу!

Ката вдруг выпрямилась у него на коленях, отклонилась назад и поглядела на него. Тони показалось совершенно замечательным, что на него так глядят, и глядит та, от кого ему нужен такой взгляд. Но в его сердце возникла новая глубокая боль, когда он увидел выражение огромной печали в глазах Каты и вокруг них, и горе, смешанное со сладостью ее рта. Она была красива, даже еще красивее, чем когда была девочкой, но, о боже, зачем было нужно, чтобы она так много страдала? Глубина несправедливости уничтожила всякую мысль о возможности мести, но, черт побери, зачем так сильны зло и жестокость и алчность? А Ката все изучала его лицо, как будто оно было загадкой, которую только она могла прочесть.

— Ты изменился очень мало, Тони, только ты теперь мужчина.

— А ты женщина, Ката! Даже еще красивее, чем была.

— Ты знаешь, о чем я думала, когда ты вдруг появился?

— Обо мне?

— Нет. Как вы самонадеянны, красивые мужчины! Я думала, что мне уже за тридцать и что пора уходить в отставку, что начинается одинокая старость.

— Какой абсурд! Во всяком случае, я не так эгоцентричен, как ты. Могу поклясться, что почти ни о чем не думал, кроме как о тебе, а в течение последних двадцати четырех часов только о том, как к тебе добраться.

Ката засмеялась, и он был счастлив, что печаль не разучила ее смеяться. Он сказал:

— И, Ката...

— Что?

— Ты меня до сих пор не поцеловала.

Быстрым движением, в котором были и грация и ласка, она наклонилась вперед и прижала свои губы к его губам. Она хотела только коротко поцеловать его, но этот один короткий поцелуй превратился в многие и очень долгие; и когда она так красиво и искренно отдала ему свои уста, он понял, что Ката его снов и воспоминаний воссоединилась с реальной Катой в еще более прекрасном настоящем.

Тони мельком взглянул на свои часы-браслет и увидел, что они показывают почти двенадцать.

— Я думаю, нам лучше вернуться к завтраку, — сказал он, стараясь произнести это как можно небрежнее, но следя за Катой.

Ката вздрогнула, беспокойное и затравленное выражение появилось на ее лице, выражение человека, который в момент полного счастья вспоминает, что жизнь всегда стеснена копейками.

— Боюсь, что тебе придется идти одному, — сказала она с трудом, и выражение грусти опять появилось вокруг ее глаз. — Я взяла свой завтрак с собой. Он лежит где-нибудь там, на берегу.

— Ах, — сказал Тони, — кажется, его съели медведи. Но даже если они этого и не сделали, я хочу просить у тебя одолжения. Пожертвуй своим сегодняшним пикником и позавтракай со мной в гостинице. Мы можем потом устраивать пикники хоть каждый день. Я сказал там, в гостинице, что сегодня мой день рождения и что поэтому ты будешь завтракать со мной.

Он был глубоко тронут выражением удовольствия, появившимся на ее лице от предвкушения даже такого маленького праздника. И все же она боялась принять приглашение — таков страх бедности перед непрошеным вмешательством и расходами.

— Я, право, не могу... Я...

Он видел, что она очень хочет пойти с ним, и ответил:

— О, идем же, ты не можешь запретить мне уговорить тебя в первый день нашей встречи. И ты не должна разочаровывать Баббо, — в твою честь он совершает ужасающие подвиги кулинарного искусства, кроме того, это день моего рождения.

— Тони, как ты врешь! Ты же знаешь, что твой день рождения в августе.

— Хорошо, — сказал Тонн, радуясь всему, что она запомнила из прошлого, — а твой в декабре. Раздели разницу пополам — и будет апрель. Это будет завтрак в день нашего общего рождения. Идем.

Они пробрались через арбутусы к тому месту у тропинки, где раньше сидела Ката, и держались за руки, как будто каждый боялся, что другого могут украсть. Тони наклонился, чтобы оторвать шип, за который зацепилась юбка Каты, и заметил, что материя была простая и старая, хотя юбка и была сшита почти элегантно. А в полотняном мешочке с завтраком были только два апельсина и круглая булочка. Тони отвернулся, стараясь проглотить комок в горле, и сорвал несколько красных прошлогодних ягод арбутуса, все еще висевших на ветвях; это был предлог для того, чтобы отвернуться.

— Смотри, — сказал он, останавливаясь, — правда, они красивы? Положи их в платок и береги как воспоминание о нашей встрече.

— Он совсем мокрый и заплаканный, — сказала Ката, глядя на маленький жгутик материи в своей руке.

— Возьми мой, — ответил Тони, вынимая чистый платок из бокового кармана.

— Какой красивый и какая хорошая материя у вас в Англии. Ты стал совсем денди.

— Денди. Вот тебе на! Я покупал их у Улворта по шесть пенсов штука.

— Ну, они лучше, чем у нас в Австрии.

— Бедная Австрия, — сказал Тони. — Она *delenda*¹ месью. Но ничего, дорогая, есть одна австриячка, которая больше не *delenda*! А теперь поторопимся, а то Баббо разгневается.

Когда они проходили усыпанную цветами лужайку у высоких деревьев, Тони сказал:

— Смотри, Ката, здесь и сейчас цветут белые фиалки.

VII

Когда Тони брякнул щеколдой, открывая перед Катой калитку во двор, он увидел, как Мамма Филомены побежала через двор в кухню — очевидно, она сторожила их приход. Сразу начался громкий и быстрый разговор, и хотя Тони не понимал ни одного слова, он догадался по возбуждению старухи, в чем дело: она рассказывала, что они вернулись вместе. Как итальянцы любят участвовать в чужой драме, особенно когда испытывают при этом сентиментальные чувства!

Ката прошла прямо в свою комнату, а Тони задержался во дворе, желая знать наверное, что все устроено, как следует быть. Следя за бессознательной грацией и благородс-

¹ Разрушена.

твом тела Каты, он вспомнил школьную долбежку из Вергилия о походе богинь: чем провинились изящество и нежность, что мы изгнали их? Варвары! Он улыбнулся в ответ на быстрый взгляд Каты, который она бросила ему, проходя через открытую дверь. Если ей так к лицу эти австрийские тряпки, как она будет хороша в каком-нибудь национальном платье! В румынском? Нет, оно слишком кричащее, выдуманное; чешское тоже. В тирольском или швейцарском? Нет, оно довольно неуклюжее и слишком простое в плохом смысле. В калабрийском? Да, пожалуй; у женщин в Тириоло до сих пор величественные манеры, и они не стыдятся своего тела — тела женщины. Боже, как я ненавижу эти пробирочные фигуры!

Тони слегка обеспокоился, когда увидел, что стол для них еще не накрыт. У выхода сидели четверо шумных итальянцев, а дальше был стол с немцем и немкой. У мужчины была одна из тех четырехугольных лысых голов с тремя красными двойными подбородками на затылке, которые Тони всегда считал угрозой для европейской цивилизации. Старуха вышла из кухни и взглянула на Тони беспокойно и вопросительно. Тони успокоительно кивнул ей и спросил:

— Где вы поставили наш стол?

— В саду, за тростником. Я подумала, что синьоре понравится там.

— Очень хорошо, — сказал Тони с большим облегчением.

Они прошли в сад, и Тони увидел, что боги опять все превосходно устроили руками Маммы Филомены. Стол был украшен узором из лепестков, и у каждой тарелки лежало по пучку весенних цветов и карточка с надписью: «*Auguri della famiglia*»¹. Мамма поставила на стол особый

¹ Привет от семейства.

сервиз из своего буфета с фарфором и серебром, которое прятала под кроватью и сама никогда не употребляла. Тони был тронут.

— Отлично, — сказал он. — Вы сделали все, чего можно только желать, синьора, и больше, чем я ожидал. Не знаю, как и отблагодарить вас.

Он поглядел за тростниковую загородку, чтобы увериться, что Ката еще не идет, и сказал, понизив голос:

— Сколько синьорина платит вам?

— Сто пятьдесят лир за десять дней, синьоре, но мы не можем...

— Знаю, знаю, — перебил Тони. — Вот что, я заплачу за это. Вы понимаете? Скажите ей, что все заплачено, и откажитесь брать деньги. Теперь я буду за ней присматривать. Мы будем у вас на полном пансионе, а если вы подадите что-нибудь лишнее, я заплачу, конечно.

— Да, синьоре. — Хотя старая дама и выказала великодушие, считая Кате все по таким дешевым ценам, однако она нисколько не была огорчена, когда оказалось, что обстоятельства стали для нее несколько выгоднее. Кроме того, в итальянцах до сих пор еще много артистичности: они любят изобилие, и любят делать все как следует.

— Кажется, это все, — сказал Тони задумчиво. — Нет, постойте минутку. Что вы даете ей на завтрак?

— Черный кофе и хлеб, синьоре!

— Черт!

Он вспомнил, как Ката ненавидела пить по утрам черный кофе и как она любила фрукты и мед и чтобы было много горячего молока.

— Вероятно, нельзя достать настоящего меду? — спросил он.

— Я думаю, у почтальона найдется, но очень дорого.

— Достаньте. В сотах, если можно. Надо доставать ей венские булочки и масло, мед и фрукты, и много молока,

и притом горячего. И купите нам кило настоящего кофе — не эту лакричную гадость. Вот триста лир. Это покроет ее счет по сегодняшней день и хватит на завтраки. Смотрите достаньте все это! Вы рассчитаетесь со мной. Тише! Вот она.

— Вы похожи на двух заговорщиков, — сказала Ката, обходя тростниковую загородку. — Я слышала, как вы ужасно трагично шептались.

— Я так и думал, что ты догадаешься, — сказал Тони. — Мое имя Борджиа, а это моя дочь — Лукреция. Так что теперь ты знаешь, чего ждать.

— Подавать, синьорина? — спросила старуха.

— Сейчас же, — сказал Тони, — subito! — Затем по-английски Кате: — Я должен сбегать наверх и помыться. Но если бы я ей сказал «через две минуты», она бы сделала из них полчаса.

Когда он вернулся, Ката стояла у стола, распутывая длинные нитки на букетиках цветов.

— Как они очаровательно украсили стол, — воскликнула она, глядя на Тони счастливыми глазами. — Это ты выдумал?

— Отчасти. Но украшение стола всецело принадлежит Мамме. Она — милочка. Если ты меня бросишь, Ката, я убегу с ней.

— Тогда Баббо застрелит тебя из-за дерева. Тут близко до Сицилии; у них до сих пор существует вендетта*. О бедные цветы, как их ужасно крепко свивали. Они не могут дышать. Это вызывает у меня такое ощущение, как будто большая змея обвилась вокруг моей груди.

— Это неоклассический дух, — объяснил Тони. — Все везде аккуратно, и крепко, и приведено в порядок, и никаких глупостей насчет природы.

— Вот так! — сказала Ката, встряхивая наконец освобожденные цветы. — Теперь они стали счастливее. Тебе нравятся эти маленькие дикие цикламены, Тони?

— Очень. У одного английского поэта сказано, что они похожи на уши борзой собаки. А мне они напоминают скорее девушек со склоненными головами, быстро бегущих против ветра.

Он отошел назад, чтобы взглянуть на двор и убедиться, что никто не идет, и затем вернулся к загородке из толстого зеленого тростника. Ката деловито распутывала нитки и освобождала цветы, трогая их концами своих нежных пальцев, как будто цветы и в самом деле были живыми. Тони заметил, что она переменила платье и надела коралловое ожерелье, придав и тому и другому какое-то индивидуальное отличие. Возясь с цветами, она тихонько напевала, бессознательно, как это делают счастливые люди. Однако как горька, должно быть, была ее жизнь и какую давнюю была эта горечь, если даже в счастье ее лицо сохраняет это выражение трагической скорби! Тони подумал, что, без сомнения, и у него самого иногда бывает довольно мрачный вид. И все же как мало просили они у своих собратьев — только чтобы их оставили в покое вдвоем.

— Ката!

Она посмотрела на него вопросительно, когда он подошел к ней и взял ее за руки.

— Подумала ли ты, Ката, что мы одни вдвоем на Эе и что солнце сияет?

— Я почти ни о чем другом не думала, пока подымалась наверх и пока перебирала эти цветы.

— И что ничто не сможет разлучить нас?

Ката не ответила, и Тони увидел, как в ее глазах вспыхнул тревожный страх, который он заметил раньше. Ее так изранила жизнь, что она не смела и мечтать о счастье. Тони наклонился и поцеловал ее, потому что он этого хотел и

потому что, казалось, не было слов для обещаний, которые он жаждал дать. «Влюбленный — самый целомудренный из всех мужчин, — подумал Тони, — ему нужна только одна женщина».

Они оторвались друг от друга, услышав прихрамывающее шлепанье Маммы по мощеной дорожке, и поспешно сели за стол, улыбаясь друг другу.

Этот завтрак показался Тони самым замечательным из всех завтраков в его жизни. В этом повинны были не пища и вино, хотя Баббо умело поддержал богов, волшебством вызвав к жизни салат из омаров и перепелок, зеленый горошек и смешной калабрийский сырок в форме груши, сделанный из буйволиного молока и прокопченный. Не было повинно в этом даже и небо над тихим садом, ни запах лимонов и роз. Все дело было в жизни, воспринимаемой через Катю. Тони вспомнил шартрские изображения мужчины и женщины, усевшихся, чтобы есть вместе, и как он почувствовал в этой группе что-то величественное и священное. В то же время он удивлялся волнам различных чувств, которые перекатывались через него. В глубине души он чувствовал глубокий мир и уверенность; и вместе с тем вот сейчас веселился и смеялся, а в следующий момент принужден был глотнуть вина, чтобы отделаться от комка в горле.

И не раз он видел слезы в глазах Каты, даже когда она улыбалась. Все же это было такое хрупкое счастье; оно могло только на минуту заставить забыть страдания прошлого и так страшилось довериться будущему.

Ката воскликнула что-то о расточительности Тони, когда Мамма с видом добродетельного торжества подала завтрак и осталась у стола, желая выслушать их комплименты.

— Ты всегда так живешь, Тони? — спросила Ката.

— В обычных случаях не так. Обычно я довольно скуп. Но ведь прошло тринадцать лет с тех пор, как я ел, сидя за одним столом с тобой, и я не могу не считать этого довольно необыкновенным случаем.

Он выпил вина, желая освободиться от проклятого комка в горле.

— У старика Баббо очень хорошее вино, — сказал он, рассматривая бутылку, чтобы не видеть слез в глазах Каты. — Ты не думаешь, что нам надо провозгласить хоть один тост?

— Да.

Тони сделал вид, что не заметил, как она быстро приложила к глазам платок, который он ей дал...

— Что это будет за тост? — продолжал он весело. — За жениха и невесту? Это ужасно напыщенно; и я терпеть не могу эгоистический шотландский обычай пить за себя. Мы должны пить за кого-нибудь другого. За отсутствующих друзей? У нас их нет, по крайней мере у меня. А за этим завтраком я не хочу провозглашать тост на гибель кому-нибудь. Знаю. У нас есть друг, которого я никогда не забуду.

— Кто?

— Филомена, разумеется, глупышка! Если бы не она, мы не сидели бы здесь вместе. Выпьем за Филомену, хорошо?

— Конечно выпьем. За Филомену!

— За Филомену — и пусть ей будет дано не только то, что мир почитает хорошим, но и то, чего она сама хочет. Боже, благослови Филомену.

— Думаю, — сказала Ката, смеясь, — что хорошее общество назвало бы скверным именем услугу, которую она нам оказала.

— К черту хорошее общество. Хочешь еще омаров?

— Я не могу и не буду их есть, Тони. Я заболею. Я никогда не ем много за завтраком.

— Правда? — сказал Тони, глотнув еще вина. — Похоже, что ты ешь мало. Но ты не должна худеть, Ката. Я не люблю костлявых женщин.

— Ты думаешь, я слишком худа? — спросила Ката с беспокойством.

— Нет, но ты должна отдыхать и есть побольше. Я бы хотел, чтобы Филомена была здесь и готовила для нас. Баббо слишком декоративен и фантастичен, а Мамма частенько делает все на авось.

— Тони, ты зря ворчишь. Она готовит восхитительные блюда.

— Вот там, вверху на ветке, цветок апельсина, — сказал Тони, оставив без ответа ее замечание. — Достать тебе ветку? Нет, я думаю, не надо. Это немного в стиле Ганновер-сквера*. Интересно, почему этими цветами украшают невесту? Разве апельсинное дерево было посвящено Гере? Когда-нибудь я должен навести справку на этот счет.

Ката засмеялась.

— О Тони, mein Herz, ты все такой же! Всегда что-то расследуешь или, вернее, собираешься расследовать какие-то темные факты, о которых немедленно и забываешь.

— Ты считаешь, что это очень смешно?

— Нет, я восторгаюсь этим.

В этот момент из-за тростниковой изгороди появилась Мамма с четырьмя перепелками и огромным блюдом горошка. Ката задохнулась от ужаса.

— Тони! Ты хочешь, чтобы я все это съела?

— Нет, надо оставить и мне, но все-таки можешь взять себе трех перепелок и почти весь горошек.

— Какой свинушкой ты меня выставляешь! Я, кажется, не могу съесть ни кусочка.

— О, попробуй! И брось, когда больше не сможешь есть. Кстати, Ката, ты не замужем, не правда ли?

— Что за глупый вопрос, вперемешку с перепелками и горошком. Нет, конечно, я не замужем. Но ты женат, не так ли?

Тони поглядел на скатерть и затем открыто взглянул в глаза Кате.

— Да. Но я и сказать тебе не могу, в какой малой степени я чувствую себя женатым здесь, какой ошибкой мне это кажется, каким странным, дурным сном, от которого я постепенно просыпаюсь. И у тебя нет детей?

— Как я могла бы их иметь, — сказала Ката, снова смеясь, — раз я не замужем?

— У многих есть, уверяю тебя.

— Да, — сказала она задумчиво, — это довольно верно.

И Тони еще раз заметил промелькнувший страх в ее глазах и удивился, почему он там таится. Странно чувствовать себя такими близкими и вместе с тем так мало знать о происшествиях жизни друг друга, что приходится задавать элементарные вопросы, как это делают малознакомые люди. Вернулся страх, что, может быть, он позволил своим надеждам взлететь слишком высоко; как бы Кате ни хотелось остаться с ним, в ее жизни все же может быть что-нибудь такое, что мешает этому. Но раз нет ни мужа, ни младенцев, незаконных или законных, — что же может мешать?

Вместе с кофе, — который был настоящим кофе, — появились старики. Они пришли посидеть с ними по приглашению Тони, и Баббо докончил бутылку вина. Ката весело разговаривала с ними, и Тони восхищался ее беглой итальянской речью и настоящим знанием идиом; о себе он знал, что он просто переводит с английского, когда говорит. Од-

нако постепенно Ката затихла и сидела совсем молча, рассеянно чертя концом ложки по скатерти. Тони не мешал ей, вспомнив, как часто его ругали в детстве за это же самое, и продолжал говорить о Филомене, о том, когда она вернется и как старухе, должно быть, не хватает ее. Наконец Ката сказала ему по-английски:

— Тони, ничего, если я пойду немного отдохнуть?

— Конечно ничего. Тебя, должно быть, измучило все это. Иди и отдохай. Я буду у себя в комнате, и если ты попозже захочешь еще прогуляться, ты зайдешь ко мне?

— Которая твоя комната?

— В конце коридора — та, что с террасой.

Ката очаровательно извинилась перед стариками и ушла, как показалось Тони, слегка поникнув в своей грации. Он надеялся все же, что утренние переживания не чересчур утомили ее.

Часа в три Тони пошел в свою комнату, на цыпочках пройдя по голым доскам коридора, чтобы не разбудить Катю, если она спит. Идя мимо, он послал воздушный поцелуй ее двери. Ставни его комнаты были закрыты наглухо, и после яркого солнца на улице комната показалась Тони жильем киммерийцев*. Он ошупью пробрался к высокой стеклянной двери и вышел на ослепительно белую террасу. На черепичной балюстраде стояли маленькие горшочки с цветами, в них росли главным образом фрезии и цикламены. Вся южная сторона Эи лежала перед ним в сонной полдневной тишине, в одну сторону расстилаясь вверх к горному хребту, а в другую спускаясь вниз и вниз, пока последним своим обрывом суша не касалась спокойного моря. Тишина была такая, что Тони мог слышать звяканье сбри, когда лошадь, стоявшая за углом на улице, отряхивала мух с головы, и далекое монотонное, ноющее пение женщины, работавшей среди олив. Все это было точной

копией одного из полуденных часов в апреле 1914 года, когда Тони так же расстался с Катой и глядел через остров на море с того же места, на той же террасе. Иллюзия остановленного времени была так сильна, что он почти усомнился в реальности лет, разделявших эти два момента. Были ли они только дурным сном, все это горе и убожество, и его борьба и ошибки — война, отчаяние, Маргарет, «деловая жизнь», все это? Эти два одинаковых момента ограничивали собой самую бурную и несчастную часть жизни, и его и Каты, как будто в промежутке поссорившиеся боги швыряли их из стороны в сторону. Теперь, без сомнения, они отслужили достаточный срок, чтобы заслужить друг друга? Небо и солнце, и ты, богиня, рожденная из пены, и ты, Изида-Искательница, будьте милостивы!

Тони несколько времени простоял на террасе, погруженный в переживания, слишком глубокие, чтобы их можно было назвать мыслями; а потом, почувствовав, что солнце печет для него слишком сильно, вернулся в комнату и стал ходить взад и вперед, рассуждая сам с собой. В конце концов он достал блокнот и написал короткое письмо Филомене, благодаря ее и представив ей в сдержанных тонах и как бы со стороны отчет о том, что произошло. Следующее письмо было труднее, и прошло немало времени, пока он перевалил за обращение: «Дорогая Маргарет». Впрочем, раз уж начав, он принялся писать быстро и не останавливаясь, изложил всю историю свою и Каты, обвинял себя, оправдывал Катю, умолял Маргарет о прощении и уговаривал ее сразу же развестись с ним. Окончив наконец, он перечитал все четыре страницы, исписанные мелким почерком, вложил их в конверт, заклеил и надписал адрес и затем бросился на кровать, чтобы отдохнуть. Но как только он лег, сомнения в благоразумии этого письма начали одолевать его. Он гнал их, а они возвращались с удвоенной силой. Неужели он узнал столь мало о человеческой при-

роде, о женщинах вообще и о Маргарет в частности, чтобы отдаваться связанным в ее руки, угощать ее трагической историей, чтобы жена могла дразнить его ею и смеяться над ней со своими друзьями, и даже сообщить ей свой адрес, так что, если она захочет, она может приехать и разбить счастье, завоеванное с таким мучением и стыдом? Не слишком ли наивно доверять ее великодушию при таких обстоятельствах?

Тони выскочил из кровати, разорвал письмо, сжег клочки его в печке и написал наново:

«Дорогая Маргарет! Я много думал о разговоре, который был у нас накануне моего отъезда из Англии, и пришел к заключению, что будет гораздо лучше для нас не продолжать жить вместе. Представляться дальше было бы для нас фарсом, и неприличным при этом.

Это письмо я пишу только для того, чтобы сказать, что я не вернусь к тебе. Это окончательно. Вероятно, тебе, как и мне, не понадобится развод, но если он будет тебе нужен, то, полагаю, это можно будет устроить.

Мой банк перешлет все, что ты захочешь мне сообщить.

Твой Тони».

Будьте кротки как голуби и мудры как змии. Не позволяйте сбивать вас с ног из-за вашей излишней искренности и доверчивости. Он перечитал письмо, соображая, достаточно ли было проявить некоторое колебание в вопросе о разводе или было бы лучше предоставить самой Маргарет предложить его и тогда сделать вид, что он противится ее предложению. Решил оставить так и вложил письмо в конверт вместе с другим письмом к своему банкиру, в котором просил пересылать ему почту и хранить в строгой тайне его адрес. Затем он написал короткие записки Уотертону и

Джульену, будто бы из агентства Кука в Мадриде, и направил их вместе с бумажкой в пятьдесят лир в Мадридское почтовое управление, попросив отослать письма и впредь пересылать ему почту и повторив просьбу сохранять в секрете его адрес. Наконец, он написал в Рим, чтобы его письма пересылали в Мадрид. Это во всяком случае поставит в тупик всякого, кто попытается разыскивать его. Тони был очень доволен этим невинным и довольно неудачным подражанием Макиавелли: ему казалось, что он поступает чрезвычайно хитро и нечестно.

Было уже после пяти и с приближением захода солнца стало гораздо холоднее — настолько, что Тони начал сомневаться, смогут ли они обедать в саду. Он удивлялся, что Ката не пришла, чтобы пойти погулять, но решил, что она, должно быть, устала и спит. Не было смысла будить ее, особенно после того, как он сам заявлял, что ей нужно отдохнуть; и в конце концов, в их распоряжении вся их остальная жизнь. Но когда Ката не пришла и в шесть часов, он стал беспокоиться. Что могло случиться? Он ходил по комнате, взвинчивая себя до сильнейшего беспокойства, однако как раз в тот момент, когда он решил идти и окликнуть ее и узнать, в чем дело, она постучала в дверь и вошла.

— Все в порядке? — спросил он. — Хорошо отдохнула?

— Да, спасибо.

Он ждал, что она скажет что-нибудь, почему она так запоздала, но так как она ничего не говорила, он прибавил:

— Слишком поздно для далеких прогулок, не правда ли? Мне надо отправить несколько писем, а потом мы можем побродить немного.

— Позади деревни есть новая дорожка вверх по горе. Оттуда чудесные виды. Пойдем туда? Я бы хотела взглянуть на нее еще раз.

— Обязательно.

Тони удивился немного этому «еще раз», в котором, казалось, был намек на прощание. Откуда это желание взглянуть на дорожку «еще раз», если Ката может видеть ее каждый день в течение многих их месяцев, когда только захочет? Однако он не сказал ничего и постарался сразу забыть этот маленький укол, который ему причинило ее явное предположение, что ей придется уехать. Отправив письма, они опять прошли через деревню до новой тропинки, которая по обеим сторонам была усажена цветами — много крупных белых маргариток и голубые волчьи бобы.

— Тебе нравится? — спросила Ката.

— Да, пожалуй. Я не могу не любить цветов, я не люблю их только на кладбищах и в общественных садах; и здесь так же живописно, как и везде на острове. Но мне больше нравилась старая Эя. Эти украшения говорят о туристах.

Ката не ответила, и он заподозрил, что она приняла на свой счет его замечание о старой Эе. Все это было так не важно, и он был так счастлив снова идти рядом с ней, болтать с ней, жить в ее присутствии, что это подозрение сразу же покинуло бы его мысли, если бы он не чувствовал в Кате легкой связанности, столь разительно отличавшейся от искренности, с которой она встретила его. Как будто она старалась отдалиться — мягко, не обижая его, как будто она была отчасти настороже. Он пропустил бы все это мимо как каприз, если бы снова не заметил этого за обедом и не заметил также, что выражение скорби и испуга и боли в ее глазах почти не исчезло. Тони изо всех сил старался быть веселым, и она смеялась вместе с ним; но инстинкт предупреждал его: что-то было не совсем в порядке.

Они засиделись за обедом, или, вернее, Ката захотела, чтобы они еще посидели. Она сказала, что больше не хочет гулять и что она должна скоро лечь спать. Тони наблюдал за ней с беспокойством, и то, что он наблюдал за ней, — а

он не мог вполне скрыть этого, — казалось, нервировало ее еще больше. Два раза она поднималась, как будто для того, чтобы пожелать ему спокойной ночи; и два раза опять садилась. Наконец она сделала над собой усилие и, вставая в третий раз, протянула ему руку со словами:

— Я в самом деле должна лечь. Спокойной ночи, Тони.

Он поднялся тоже в этот момент, взял ее за руку и хотел заговорить, но она поспешно продолжала вполголоса:

— Я не буду пытаться отблагодарить тебя за этот прекрасный день. Лучше ты не мог быть. Это единственное, на что я надеялась в жизни, — узнать, что ты жив и что ты все тот же. Если я испугалась, когда ты подошел ко мне утром, прости, — я думала, что тебя убили на войне и что здешние хозяева лгали, уверяя, что видели тебя. Этот день, подаренный мне тобой, усладит всю мою жизнь. Я рада, что не умерла, как хотела. Спокойной ночи.

Ее губы дрожали, произнося эти слова, и она не смотрела ему в глаза. Он крепко держал ее руку, а Ката старалась вырвать ее и уйти.

— Ката! — сказал он нежно. — Подожди минуту. Все, что мне нужно для полного блаженства, — это знать, что ты счастлива сегодня. Моя жизнь без тебя была искалечена, и когда теперь наконец я снова нашел тебя, я боюсь отпустить тебя. Если бы я мог поступать по-своему, я прощался бы с тобой до восхода солнца. Подари мне еще несколько минут, пусть этот прекраснейший день продлится. Он не будет таким завтра, даже если это завтра будет гораздо прекраснее. Пойдем в конец сада. Это не больше полусотни шагов, а цветы пахнут так сильно этой ночью, и будут светить звезды. Идем.

Воздух в саду был теплее, чем думал Тони. Он забыл, что Эя не Сахара, что после прохладного заката воздух снова теплеет — или кажется, что теплеет. При свете звезд он смутно различал очертания виноградных лоз, аркой спле-

тавшихся над тропинкой, и четкий край горы, черневшей на северной стороне неба. Запах земли, и роз, и фрезий тонул в воспетой Тассо сладости цветущих апельсинов и лимонов. Ката легкой походкой шла рядом с ним и была молчаливее самого молчания. Она взяла Тони под руку и держала ее обеими своими руками.

Они медленно дошли до конца сада, постояли минуту, глядя на звездное небо, и затем снова пошли назад к дому. Ни один из них не произнес ни слова, и все же Тони чувствовал и знал, что Ката чувствовала, насколько все между ними было действительно совершенным. Тони вспомнил платоновский миф о муже-женщинах, которые когда-то были единым живым существом, а затем были разделены, и теперь одна половина — мужчина — и другая половина — женщина — должны всегда искать другую потерянную половину, чтобы стать цельными. Он хотел, чтобы кровь Каты бежала вместе с его кровью, как будто у них было одно сердце; войти в ее тело своей плотью и передать ей таинственное семя, которое было его кровью; пить дыхание ее жизни в ее поцелуях и своим дыханием вернуть ей жизнь; чтобы его тело было ей защитой, и чтобы его труд оберегал ее дни; и если они должны умереть, то он хотел умереть так, чтобы даже их пепел был смешан вместе. Почему так бывает, что для влюбленных только бесконечность смерти кажется соизмеримой с бесконечностью любви? Потому что рассудок умирает, а плоть живет. Мы воплощаем любовь всех наших предков, и если она была совершенна, то и мы совершенны. Итак, пусть любовь ваша будет совершенной, чтобы плоть, которую вы творите своей любовью, была совершенной.

Когда они дошли до дверей комнаты Каты, Тони поцеловал ее и сказал:

— Прийти к тебе? Ты проведешь эту ночь в моих объятиях?

Он был так уверен, что они переживают одно и то же, так всей своей плотью знал, что нужен ей, и вдруг она отстранилась и воскликнула с выражением бесконечной боли:

— О нет, нет! Не сегодня. О, пожалуйста, не надо!

При резком свете электрической лампочки в проходе Тони разглядел горе и страдание в глазах Каты, и все же был уверен, что она борется со своей собственной плотью, борется с желанием. Он отодвинулся, стараясь не обижаться, и сказал:

— Тогда спокойной ночи, дорогая Ката. Спи крепко. Завтра будет новый день.

Прежде чем он увидел, что она шевельнулась, ее руки уже обвились вокруг него, и ее губы прижались к его губам. Затем она сказала:

— Любимый, мой любимый, не обижайся, не возненавидь меня. Я не могу, я не могу! О, как ты нужен мне!

И убежала.

Тони в нерешительности стоял в коридоре. Здесь была какая-то тайна, которую он страстно хотел разьяснить. Что было причиной этого самоотречения, которое, как он видел ясно, стоило ей огромных усилий? Может быть, она была нездорова, может быть, она очень устала? Нет, должно быть, было что-нибудь более глубокое, потому что она бы могла так просто сказать это, и во всяком случае это не могло бы помешать ей спать в его объятиях. Она не закрыла двери на ключ, он был уверен в этом; может быть, ему надо войти и настаивать на объяснении теперь же? Может быть, она хотела, чтобы он настаивал? Он был вполне уверен, что если бы он вошел и настаивал, она бы не отказала ему; и он был еще более уверен, что это было бы неправильно, что это было бы насилием. Не в стиле Каты было вести кокетливые игры. И он не хотел пытаться силой выхватить то,

что она должна была предложить свободно и искренно. Завтра, если Ката захочет, они разъяснят это таинственное нечто, беспокоящее ее.

Он медленно пошел в свою комнату, в глубоком раздумье, и все же остро ощущал белые стены, такие голые и прохладные летом, скобленные волокнистые доски не закрытого ковром пола с окаймлением из голубых изразцов и плохо сделанные серые двери с медными ручками, как на сейфах. Открывая дверь, он сказал себе, что Ката вполне могла устать, потому что он сам очень устал. Это был неподходящий момент для объяснений: может быть, нужны свежесть утра и веселье солнечного света, чтобы они не стали трагическими. Он сам сказал — завтра будет новый день. А сегодняшний был действительно полон тяжестью невысказанной ноши этих тринадцати лет. Когда он засыпал, его последней сознательной мыслью было, что надо как-то удалить эту скорбь и страх из взгляда Каты.

VIII

Может быть, это солнечный свет разбудил его через яркий переплет окна, как он разбудил вчера утром Тони своим отражением в воде, но Тони показалось, что кто-то позвал его. Он проснулся и сразу же вскочил с постели совершенно бодрый и готовый ко всему, как его когда-то научили просыпаться на фронте. У него было навязчивое ощущение, что что-то надо сделать сразу же. Было без пяти минут шесть, и со своей террасы он увидел белый туман, как сливки лежавший в бухте и густо обволакивающий гору. Еще один прекрасный день. Нехорошо будить Кату так рано; и все же его непреодолимо толкало к ней.

Они должны разъяснить эту тайну. Чтобы дать себе время утвердиться в решении, он брился медленно и устроил себе до дрожи холодную ванну в маленьком тазу, который хозяева не забыли поставить ему. Как он выходил из себя, когда был мальчиком, из-за отсутствия ванн в небольших континентальных отелях и какие лекции он читал семейству Филомены на эту тему! Выкупавшись, он почувствовал себя как нельзя больше убежденным в том, что он должен идти к Кате, что он нужен ей. Не тратя времени на туалет, он надел туфли и легкий халат и пошел к двери Каты.

На его стук — он услышал, как она сразу же ответила: «*avanti*»¹, как будто ждала служанку. Тони вошел и, пораженный, остановился в дверях, лицом к лицу с напуганной Катой. Он представлял себе, как он поцелует ее в постели, спящую, и вдруг увидел ее полуодетую, над почти уложенным чемоданом, — она явно собиралась поспеть на утренний пароход в Неаполь.

— Ката! — воскликнул Тони. — Что ты делаешь, моя любимая? Ты сошла с ума! Ты уезжаешь?

Она села на кровать, сразу как бы ослабев, и, очевидно, старалась сохранить спокойствие. Даже при всей своей тревоге, при всем огорчении, может быть, еще резче из-за них, Тони с восторгом увидел, как прекрасно было ее тело, ее круглые высокие, почти обнаженные груди и грациозные, едва прикрытые ноги.

— Я должна ехать, дорогой. Видишь ли, мой отпуск кончается сегодня. В понедельник утром мне надо вернуться на работу.

— Но, — сказал Тони, в волнении шагая взад и вперед по комнате, — зачем тебе вообще возвращаться к своей работе? Я не говорил об этом вчера подробно, но я считал

¹ Войдите.

это само собою разумеющимся, ведь ты хочешь жить вместе со мной, как мы планировали давным-давно? Или уже не хочешь?

— Мне кажется, я бы хотела умереть, и я умерла бы счастливой, если бы у меня было несколько лет счастья с тобой, Тони. Но теперь не то, что было в 1914 году. У меня нет денег.

— Ну кто об этом говорит? — сказал Тони, возмущенный. — Ты хочешь, чтобы такой пустяк разлучил нас, Ката? У меня денег не много, но достаточно для двоих скромных людей. Мы поделимся. Ты думаешь, я не взял бы от тебя? Конечно взял бы. Зачем ты выволакиваешь из отдаленного прошлого эти буржуазные предрассудки? Ты со мной не поделилась бы?

— Конечно поделилась бы, — но дело не только в этом, Тони. Меня будут ждать те, у кого я работаю.

— Сколько они тебе платят?

— Сорок шиллингов в неделю.

— Что?! Это около двадцати пяти английских шиллингов, не так ли? Вот чудовищные воры. Слушай, ты сейчас же телеграфируешь им, что нашла работу получше и что они могут убираться к черту. Я предлагаю тебе восемьдесят австрийских шиллингов в неделю и должность моего секретаря. Насколько я знаю, никаких обязанностей у тебя не будет, так что это хорошее предложение.

— Но, Тони, у меня вещи в Вене и комната, за которую надо платить.

— С этим легко разделаться. Ты по телеграфу велишь упаковать твои вещи и переслать сюда, а мы сразу же перешлем плату за комнату. Что-нибудь еще?

— Я думала обо всем том, что ты говоришь, но есть нечто гораздо более важное.

— Что?

— Твоя жена.

Тони прекратил свою маршировку и несколько раз провёл рукой по волосам.

— А! — сказал он, как будто разгадка тайны была наконец найдена. — Так вот что тревожит тебя. Это в твоём стиле, такая щепетильность, и я ещё больше люблю тебя за это. Слушай, Ката. То, что мы говорим сейчас, очень важно, настолько важно, что от этого зависят многие годы твоей и моей жизни. Здесь нельзя допускать никаких ложных рассуждений, а тем более — фальшивых чувств. Будь искренна со мной, как я буду искренен с тобой, и я знаю, что мы прогоним то, что разлучило нас прошлой ночью. Обещай мне, что ни о чём не умолчишь?

Ката кивнула головой и подтянула сползшую с груди голубую рубашечку. Тони продолжал, обдумывая и подчёркивая каждое слово:

— Клянусь, я говорю тебе правду, Ката. Я женился на Маргарет, потому что думал, что ты умерла или, во всяком случае, навсегда потеряна, потому что я отчаялся, стал нервной развалиной, потому что думал, что нужен ей и что могу, по крайней мере, хоть одному человеку дать то, что ему нужно, хотя я никогда не мог отдать всего себя — я всегда был твоим, клянусь тебе. Так или иначе, последние два года мы все больше и больше отдалялись друг от друга, и я видел ясно, что та жизнь, которую я хотел вести, была бы концом нашего брака. Больше того, в феврале перед моим отъездом из Лондона между нами произошла ужасно болезненная сцена, она и была фактическим расставанием. И среди писем, которые я отправил вчера, было и письмо к жене. В нём я писал, что не вернусь больше, и предлагал ей развод. Даже если бы ты растаяла на моих глазах и я знал бы, что никогда больше не увижу тебя, я всё же не вернулся бы к ней. Это правда. Ты веришь мне?

Он пошел к ней, протягивая руки, чтобы обнять ее, в уверенности, что теперь все разъяснилось, но она мягко оттолкнула его.

— Тони, я верю тебе. И даже если бы то, что ты сказал, было неправдой, я достаточно женщина, чтобы не быть чересчур придиричивой. Но есть нечто, нечто гораздо более ужасное. Я скажу тебе это, а потом ты должен будешь позволить мне укладываться. Пароход отходит в восемь.

— Что это? — спросил Тони, и на этот раз страх был в его глазах.

— Стань подальше, подальше, у окна, и отвернись. Не смотри на меня.

Ката помолчала и затем заговорила тихим, но твердым голосом, и в нем была печаль, невыносимая для Тони.

— Мой отец был заключен в тюрьму по подозрению в сношениях с русскими во время войны и умер там. Мой брат, служивший в армии, не мог вынести позора и покончил самоубийством, меня держали в тюрьме почти год, а затем выпустили под надзор полиции. Почти все состояние моего отца погибло. Я продала дом, вещи и жила только в надежде на конец войны и на тебя. От тебя не было писем, ни одного слова. Мои письма пропадали, может быть, их не пересылали, — меня считали шпионкой. Во время войны мы в Австрии голодали, и я болела. После перемирия попыталась получить разрешение поехать в Англию, мне было отказано, — мое прошлое говорило не в мою пользу. Несколько месяцев я была очень больна, лежала в больнице, и когда стала поправляться, мне пришлось поехать в деревню. Я была там, когда ты приезжал в Вену искать меня, я тебе вчера говорила. Тем временем деньги теряли стоимость.

Тони стоял отвернувшись, как обещал, и закрыл рукой глаза. Он страстно желал, чтобы она кончила эту ужасную историю, чтобы он мог обнять ее, попытаться утешить ее

и сказать ей, что счастье может заставить забыть обо всем, — но почему все это могло разлучить их?

— Затем крона потеряла всякую цену, ты сам знаешь, — продолжала Ката совсем твердым, но таким безнадежным тоном, что это было для Тони хуже смертоубийства, — и все дельцы мира съехались, чтобы по дешевке раскупить остатки погибшей империи. У меня было мало, у меня не осталось ничего. Я старалась найти работу, все еще надеясь, что ты приедешь или что я сама доберусь до Англии. Я получила паспорт, но английский консул не дал мне разрешения на въезд в Англию, хотя я на коленях просила его. Я продавала газеты на улицах, я мыла посуду в ресторане. Австрия становилась все беднее и беднее. Улицы были полны безработных...

— О Ката, — сказал Тони срывающимся голосом, — зачем продолжать? Это ужаснее смерти! Но продолжай — я тоже должен выстрадать все это. А потом позволь повернуться и подойти к тебе.

— Не сейчас. Не оборачивайся. Я три дня голодала, и была зима, и я продала свое тело мужчине за хлеб. После я подумала, что мне лучше убить себя от стыда, но он был неплохой человек, он старался достать мне работу, и это ему не удалось. Три месяца я должна была жить так, пока меня не взяли скрести полы в магазине, где я сейчас работаю. Вот что я должна была сказать тебе, Тони, и вот почему я должна уехать. Я отдала бы тебе всю свою кровь и жизнь, но я не могу отдать тебе обесчещенное тело, тело проститутки.

Тони свирепо вытер лицо рукавом и спросил:

— Могу я теперь вернуться?

— Да.

Ката все еще сидела на кровати, очень бледная, но совершенно спокойная, без слез, и безнадежно смотрела в пол. Тони почувствовал, что лицо его горит и набухло от

пролитых и подавленных слез, и хоть знал, что нет зрелища отворотительнее плачущего мужчины, он сказал:

— Ката, погляди на меня!

Она медленно подняла голову, и ее взор встретился с его взором. И хотя Тони был уверен, что уже коснулся предела страдания, выражение бесконечной скорби и стыда на ее лице поразило его в самое сердце.

— Кажется, я никогда не испытывал желания убивать, Ката, — сказал он медленно, — но сейчас испытываю. Я бы убил, я бы в кровавую слякоть растоптал головы тех, кто причинил тебе, кто причинил нам это зло, кто обидел, кто топтал нас и миллионы нам подобных. Я бы убил их голыми руками — и сознавал бы, что делаю доброе дело. Но, Ката, мы должны вырвать убийство из своего сердца вместе со старой скорбью и старыми сожалениями. Мы должны сеять любовь и счастье — там, где люди насаждали разрушение и нищету. Ты говоришь, что твое тело обесчещено? Ты думаешь, что мое тело не бесчестилось каждым часом этой мерзкой войны? Я хуже тебя, я человек, проституированный на убийство. Смотри.

Он откинул халат и показал на шрам от раны на обнаженном бедре.

— Вот знак моего бесчестья, и я должен позволить тебе видеть его, и я буду знать, что ты его видишь каждый раз, когда я буду стоять перед тобой обнаженным. Даже когда ты будешь касаться меня в темноте, ты почувствуешь рубец на моем обесчещенном теле. Мне больно от твоей боли и страдания, не от того, что ты считаешь своим позором. Даже если это и так, даже если ты можешь подарить мне только обесчещенное тело, что я могу дать тебе, кроме тела, испытавшего еще более страшный позор? Я не говорю о прощении, — что такое прощение? Но если я принимаю и беру на себя твой малый позор, прими и возьми за себя мое еще большее бесчестье.

У Каты глаза были затоплены слезами, и она протянула к нему свои руки. В одну секунду он очутился на коленях у ее ног, целуя ее руки, ее колени, незакрытые груди и потом ее губы. Он закинул голову, глядя на Катю и пристально и беспокойно.

- Ты останешься теперь, Ката?
- Да, я останусь теперь. И Тони...
- Что?
- Благодарю тебя — за жизнь...

Ката спустила рубашку до талии, и Тони нежно водил щекой по ее рукам и бокам и по очереди целовал ее груди, когда раздался резкий стук в дверь. Их ослабевшие тела напряглись от испуга, и Тони прошептал:

- Что это?
- Мой завтрак. Я велела принести его в семь, и чтобы в семь десять приехал извозчик.
- Подойди к двери и прими завтрак, и вели сразу же отнести мой ко мне в комнату.

Ката торопливо натянула желтый джемпер, лежавший на постели, и пошла к двери. Он услышал, как она сказала девушке что-то и ответ: «Да, да, синьорина, это ваш», и затем Ката распорядилась относительно его завтрака.

— Посмотри, что они мне прислали! — сказала Ката восхищенно, когда закрылась дверь. — Настоящие булочки и мед, и фрукты, и масса молока. Как мило с их стороны! Наверное, это прощальный подарок, потому что они думали, что я уезжаю.

Ставя на стол большой поднос, Ката взглянула на Тони и встретила его улыбку.

— Ах! — воскликнула она. — Теперь я знаю. Это ты подумал об этом.

— Вероятно, надо было так сделать, чтобы ты поверила им, но я настолько тороплюсь понравиться тебе, что хочу

получить сразу все, что мне надлежит. Действительно, я это заказал. И, Ката, как только девушка уйдет, принеси все с собой, и мы вместе позавтракаем у меня на террасе. Нам нечего торопиться, а телеграммы могут пойти позже.

— Отлично. Но иди скорее. Она через минуту вернется.

Тони закрыл за собой дверь, а затем открыл ее снова и просунул голову:

— Ката!

— Что такое?

— Я хотел бы, чтобы в этой комнате было длинное зеркало до полу.

— Зачем это?

— Чтобы ты могла видеть себя в своем желтом джемпере и голубых штанишках. Это очаровательно!

Снова быстро закрывая дверь, он услышал, как Ката засмеялась, и ее смех прозвучал вступлением к счастью.

Тони босиком добежал до своей комнаты, потому что услышал, как девушка поднимается по лестнице с его завтраком. Он успел только вскочить в постель и прикрыться, как она постучала в дверь и вошла на его «*avanti*».

— Поставьте поднос на стол, — сказал Тони, — и дайте мне брюки.

Он порылся в карманах и вынул пятнадцать лир.

— Вчера синьорина заказала извозчика, чтобы свезти ее к пароходу, — сказал он, отдавая служанке деньги. — Так вот, она не уезжает и вчера просила меня устроить все за нее. Отдайте это извозчику и скажите ему, что он может приехать не раньше греческих календ*.

— Когда, синьор?

— Не раньше греческих календ. Он поймет.

Она ушла с довольно недоверчивым видом. Тони выскочил из постели, натянул рубашку и фланелевые брюки

и вынес на террасу столик, а затем два креслица. Он посмотрел издали на распланировку, чтобы выяснить, чего не хватало, догадался и, подойдя к краю террасы, сорвал несколько цикламенов и фрезий и положил их около прибора Каты. Через минуту он услышал стук в дверь.

— Ох! — сказал он, видя, что Ката совсем одета. — Какой формальный визит. Guten morgen, gnädige Frau¹. Разрешите мне помочь нести ваш пакет. Bitte, bitte schön.²

Когда Ката улыбалась или смеялась и испуганное и грустное выражение ее глаз исчезало, Тони казалось, будто потерянное солнце снова возвращается на небо.

— Твое молоко и кофе не остыли? — спросил Тони, когда они уселись за стол.

— Нет, — сказала Ката, прикладывая руку к кувшину, — о, оно горячее! Что за роскошный завтрак, Тони. Я действительно не в состоянии съесть все это.

— И не надо. Разве ты не знаешь, мы, праздная богема, собираем только сливки с жизни? Съешь ложкой вот эти соты, если хочешь.

— Меня бы стошнило, — сказала Ката практично, — а я собираюсь стать здоровой и жирной, как турчанка. Это твой идеал, правда? Я думаю, что начну с апельсина.

— Когда я был ребенком, — сказал Тони, прихлебывая кофе с молоком, — один толстый старый судья часто гостил у нас, и каждое утро, через пять минут после того как мы садились за завтрак, он обычно говорил моему отцу: «Ну, Кларендон, что мы будем делать сегодня?» Что это, вероятно, были за неугомонные люди! Ты рада, что мы не задаем друг другу таких вопросов?

— Если бы мы сидели здесь вместе целый день и больше ничего не делали бы, это было бы райское житье. О Тони, Тони, мой любимый, если бы ты знал, до чего мне хочется

¹ Доброе утро, сударыня!

² Пожалуйста, пожалуйста.

плясать и петь при мысли о том, что не надо возвращаться в этот ненавистный магазин в этой ненавистной Вене!

— Приятная мысль, не правда ли? Но, Ката, Ката, моя любимая, если бы ты знала, как мне хочется плясать и петь при мысли, что не надо возвращаться в эту ненавистную контору в этом ненавистном Лондоне!

— Как мы патриотичны, — сказала Ката, смеясь. — Как мы любим наши Vaterland'ы¹!

— Они думали о нас довольно мало, — ответил Тони угрюмо, — разве что когда хотели умертвить, погубить нас. Если мы им что-либо должны — все уже заплачено сполна. Они больше от нас ничего не получат. Боже мой, ты увидишь, как я ловко смоюсь из колонны.

— Что это значит?

— Навострить лыжи, сбросить свое бремя белого человека на мозоль правительству, сыграть в ящик, убраться.

— Хотела бы я знать английский язык получше, — сказала Ката задумчиво. — Как много странных слов. У меня плохое произношение, Тони?

— Ужасное. Тебе надо потребовать от мистера Берлица* обратно свои деньги.

— Ну, у тебя «чертовское» произношение, когда ты пытаешься говорить по-немецки. Оно так и кричит: я англичанин, я англичанин, я англичанин!

— Так оно и есть. Я горжусь своим английским акцентом. Если бы я не был англичанином, я хотел бы быть англичанином.

— О! — воскликнула Ката, смеясь. — И это человек, который только что не хотел быть патриотом, хотел — как это? — навострить колонну?

— Ты ведь гордишься тем, что ты австриячка, не правда ли? Это означает, что ты гордишься собой и страной, из

¹ Отечества.

которой ты производишь. Но ведь это не означает, что ты допустишь толкнуть себя как простофилю на совершение любого преступления или глупости, если какому-нибудь идиотскому правительству покажется, что ты должна совершать их. У нас другие, более высокие стандарты жизни, чем у этих отвратительных пещерных людей. К черту их!

— О мой любимый, мой дорогой, я не знаю — глупы твои слова или очень мудры, — но я знаю, что сердце мое делается цветком, цикламеном, полным меда для тебя, потому что мы сидим здесь вместе и говорим, как говорили когда-то. Я так счастлива, что не могу есть даже мед! Если я печальна иногда — это ничего, не обращай внимания. Нужно время, чтобы отвыкнуть быть одинокой и несчастной.

Тони нагнулся и поцеловал ее руку; и они несколько мгновений сидели без слов. Увидев, что Ката кончила завтракать, он пошел в свою комнату и принес папиросы, спички, блокнот и вечное перо.

— Почему бы тебе не набросать этих телеграмм, пока ты куришь? — сказал он. — А потом, попозже, мы спустимся на пьядца и спросим, сколько будет стоить переслать сундук из Вены. Он большой?

— Нет... Там такие убогие вещицы, они едва ли стоят пересылки. Но там также твои письма и бисерное ожерелье, которое ты подарил мне накануне нашего отъезда с Эи. Ты помнишь? Они значили для меня так много в течение столь долгого времени, и я не хочу их терять даже сейчас. И Тони...

— Что?

— Есть одна вещь — и только одна, — о которой нужно сказать прежде, чем я приму все, что ты даришь мне так щедро. Или даже две. Во-первых, я бы больше хотела быть твоей любовницей, чем императрицей или... или Пресвятой Девой. Во-вторых, не хочу вешаться тебе на шею. Начиная

с этого мгновения ты всегда вправе покинуть меня, если захочешь.

— Я не хочу.

— Но можешь захотеть. И я именно это имею в виду.

— Я не знаю, так ли я великодушен, как ты, Ката, — сказал Тони с задумчивым видом. — Я был бы ужасно огорчен, если бы ты захотела уйти. Но, может быть, через тридцать три года...

— Почему тридцать три года?

— Потому что мне тридцать три сейчас. Это вторая жизнь. Первая принадлежала тебе, и у нас ее украли, зато вторая будет твоей. Я пойду и оденусь, пока ты напишешь эти телеграммы.

— Нет никакой необходимости посылать телеграмму о моих вещах, — сказала Ката. — Если мы отправим письмо внизу на пьядца, оно будет получено в понедельник утром.

— Сундук нужен тебе здесь? — спросил Тони.

— Не очень.

— Тогда вели своей хозяйке уложить его и поручи конторе Кука в Вене забрать его и послать к Куку в Неаполе, а мы за все заплатим при получении. Пошли ей эти пятьдесят лир на оплату расходов.

— Нет. У меня остается квартирная плата за неделю и десять шиллингов в австрийских деньгах. Я пошлю их.

— Отлично, — сказал Тони, хотя ему неприятно было видеть, что Ката посылает свои последние деньги. Как заставить ее взять побольше? Он пошел назад в комнату, вымылся и закончил одеваться, затем закрыл подносы с завтраком чистым полотенцем от мух.

— Что ты пишешь своему дурацкому хозяину? — спросил он.

— О, это так трудно и выглядит глупо. Я написала: «Глубоко сожалею не могу вернуться взяла другую работу», — так будет хорошо?

— Фу! Ты уж слишком вежлива. Это деловые люди, у них нет никаких чувств. Телеграфируй так: «Предупреждение немедленном прекращении работы не возвращаюсь». Не будь вежлива с этими свиньями.

— Я вовсе не буду телеграфировать, — сказала Ката, разрывая листок бумаги. — Зачем нам зря тратить деньги? Я просто напишу то, что ты сказал, на листе бумаги и подпишу его. Годится?

— Великолепно! Не будь шепетильной. Какой мерой вы мерите, такой и вам отмерится. А когда ты покончишь с этим, мы отправимся.

Отправиться, однако, было совсем не так уж просто. Во дворе Мамма и Баббо должны были насладиться своей частью спектакля; они улыбались и твердили, как они рады, что синьорина еще остается! Что бы они еще могли сделать, чтобы ей было удобнее? Тони понял, что они сгорают от желания знать, что случилось, и не смеют спросить.

— Вот что, Ката, — сказал он по-английски, — ты не будешь возражать, если я скажу им, что мы собираемся пожениться?

— Нет, — сказала она, слегка краснея.

— Это им страшно понравится, — они как раз мечтают о чем-нибудь в этом роде. И, в конце концов, они должны же знать, что мы — любовники, а то они сами узнают это скоро. Право, они вполне заслужили наше доверие.

И Тони сказал им, что он и синьорина собираются sposare¹ (нельзя сказать по-итальянски — *convoler en justes nocces*²), и двое стариков затрепетали от волнения — такой роман происходит в их доме! — и Мамма поцеловала Кате руку, а Баббо похлопал Тони по плечу и сказал: «Бра-

¹ Жениться.

² Вступать в законный брак.

во!» — как если бы тот произнес спич в похвалу итальянскому фашистскому режиму или переплыл через Ла-Манш. Наконец Ката с Тони ушли, провожаемые улыбками и помахиваниями и a givedercis¹; и вот они, наконец, на улице.

— Нам не нужно идти по дороге, — сказала Ката, — теперь есть новая тропинка все вниз, которая ведет к пьядца. Дорога очень пыльная и полна повозок и лошадей. Vetturini² — настоящее несчастье.

— Мне вчера вечером не понравились эти цветы, — сказал Тони, когда они дошли до маргариток и волчьих бобов, — но сегодня я к ним полон расположения. Ты знаешь, Ката, я чувствовал, что что-то не в порядке, когда мы сюда пришли, и не мог себе представить, в чем дело. Почему ты мне тогда не сказала?

— Я не могла. Я так боялась, что стану не нужна тебе больше, что ты отнесешься ко мне с оскорбительной вежливостью. Это убило бы меня. Поэтому я подумала, что лучше пусть будет в моей жизни один прекрасный день, а потом я уйду навсегда.

— А теперь ты рада, что осталась?

— О, так рада, так счастлива! Сегодня утром я вставала как на свои похороны, и я так испугалась, когда ты вошел. Я поняла, что ты заставишь меня рассказать тебе, и не хотела портить твое воспоминание обо мне. А теперь это похоже на... я не помню в моей жизни времени, достаточно счастливого, чтобы сравнить с этим, кроме наших дней здесь прежде, — но теперь это гораздо глубже и сладостнее. Может быть, это из-за всех страданий. И потом так чудесно быть избавленной от этого ужасного магазина и от этой Вены, которую я любила, а теперь так ненавижу. У меня такое ощущение, как будто ты выкупил меня из рабства. Может быть, другие женщины любят работать — я ненавидела.

¹ До свидания.

² Извозчики.

— Удивительно, как это ты не вышла замуж, — ты молода и красива.

— Мужчины в Австрии теперь не могут себе позволить жениться на девушках вроде меня, не имеющих денег. Я могла бы иметь тысячу романов, если бы захотела, но я не хотела. Или я могла бы выйти замуж за какого-нибудь канцелярского служащего или мелкого чиновника. Каких богов мне благодарить, что они меня сохранили от этого?

— Вот был бы ужас — встретить тебя, когда ты проводила бы здесь свой медовый месяц с чиновником!

— Ужас! Какие отвратительные вещи ты воображаешь, Тони!

— Это только для того, чтобы показать, насколько все могло бы быть хуже. Что бы ты сделала?

— Убежала бы с тобой, если бы ты захотел, или покончила бы жизнь самоубийством, если бы ты не захотел.

— Кстати, об отвратительных вещах, — сказал Тони, — я тебе еще не рассказал, как я искал и не нашел тебя. Ты можешь это выдержать сейчас? Или отложить пока? С тобой было гораздо хуже.

— Лучше расскажи мне сейчас, — ответила Ката, нагибаясь понюхать душистый дикий нарцисс, — а то все это будет в тебе бурлить. И потом:

Полно, сердце! Что с тобою?

Покорись своей судьбе,

И весна вернет тебе

Все, что отнято зимою.

Так прекрасен Божий свет!

Так чудесна жизни сила!

Все, что любо, все, что мило,

Все люби — запрета нет!¹

¹ Гейне, «Опять на родине».

Они пришли на пьядцу как раз тогда, когда воспоминания Тони дошли до момента его приезда в Вену.

— Ну, — сказал он, — отправим наши письма. Я расскажу тебе остальное в другой раз.

— Что ты делал в Вене?

— О, я бродил как лунатик в попытках найти тебя, пошел по старому адресу, расспрашивал всяких неприятных людей, меня унизил, отчитал проклятый бош-полицейский, — прости, голубчик, но он был бош.

— Я не сомневаюсь, — сказала Ката, вздыхая. — У нас их до сих пор много даже в Австрии.

— Правда, он был не так уж плох, ничего похожего на прусских полицейских, которых я никогда не устану ненавидеть. Но забудем их. Моя Германия — Германия Гейне, и Моцарта, и Каты!

Они отправили письма, а затем завернули в маленькую улочку с магазинами, ведущую вверх от пьядцы к аллее акаций и саду с каким-то кафе. Магазины были не очень хорошие, а цены абсурдно высокие; но Тони очень хотелось купить Кате каких-нибудь платьев. Покупки надо было сделать в тот же день, иначе это уже не будет так приятно. Он попросил ее подождать его минутку у Farmacia¹, купил ненужную ему зубную пасту, а затем спросил, нет ли здесь какой-нибудь солидной и недорогой портнихи. Аптекарь сказал, что его сестра держит магазин дамских платьев по той же улице, через шесть домов с правой стороны, и дал ему без особой необходимости рекламную карточку.

— А белье? — спросил Тони. — Есть тут кто-нибудь, кто не так уж дико запрашивает?

— А, синьоре, этого я не знаю. Вы должны спросить мою сестру.

¹ Аптека.

С наружной стороны магазина висел ряд платьев, и Тони, как будто случайно, остановился перед ними. Он потянул одно, другое и показал их Кате:

— Что ты думаешь о них? Очень убогие, не правда ли?

— О, они вовсе не так плохи, Тони, но это дорого, почти так же дорого, как у нас.

— Войдем и посмотрим, что у нее есть. Идем. Мы можем не покупать, если ты не захочешь.

Тони предъявил карточку аптекаря и потребовал *la ragione*¹, которой шепнул, что синьоре нужно одно платье немедленно и два надо сшить, — если найдутся хорошие материи и цены будут христианские.

— Ты не должна обращать внимания на то, что я торгуюсь, — сказал Тони Кате, — просто это необходимо с такими людьми. Для них это часть обязательного удовольствия.

— Что, неужели я их не знаю! Но, правда, мой дорогой, мне не нужны платья. У меня есть это и еще одно со мной, и еще несколько придут из Вены.

— Ничего. Давай посмотрим.

Им показали много готовых платьев, замечательно хороших, если принять во внимание, что все это происходило на забытом острове. Правда, магазин снабжал платьями население вилл, а также и приезжающих на Эю на зиму. Ката прикладывала платья к себе перед зеркалом по очереди одно за другим, и Тони заметил, что ей особенно понравилось одно — красного шелка. Потом она посмотрела на билетик с ценой и положила платье, как будто бы билетик укусил ее.

— Мне, пожалуй, нравится это, — сказал Тони. — Примерь его, Ката.

— Это ужасно дорого, Тони.

¹ Хозяйка.

— Сколько?

— Семьсот лир.

— Ничего. Надень его. Мне хочется посмотреть на тебя в нем.

Приказчица поставила ширму, и Ката переделась в это платье.

— Выйди к свету, и дай я на тебя погляжу.

Она была очаровательной в нем, и на неопытный взгляд Тони платье, по-видимому, сидело отлично. Поскольку дело касалось Тони, выражение удовольствия на лице Каты было для него гораздо дороже цены платья. За минуту до того Тони испытывал искушение морализировать над любовью лучших из женщин к тряпкам, но теперь он уже допускал, что женщины вправе обращать внимание на свои платья. Платья больше, чем социальный паспорт; они — признание эстетического принципа, моральной истины — прекрасное тело должно быть одето подобающим образом. Разница между Катой, одетой в модельное платье (даже итальянское), и Катой в убогом ситцевом платье была так разительна, что это заметил бы даже муж. Казалось, что она получила моральную поддержку от хорошего материала и фасона. Все это пробежало в мыслях Тони, когда он слушал, как приказчица красноречиво объясняла, что платье было сделано для *Duchessa di Pignatelli Montaleone* и ни разу не было надето, — она капризная, но зато богатая, эта герцогиня; разумеется, им пришлось взять его обратно, так как оно ей не понравилось.

— Тебе оно нравится, Ката?

— Оно чудесное. Но, Тони, это уж слишком дорого. Ты и думать не должен о нем.

Все же она не могла удержаться от удовольствия поглядеться еще раз в зеркало и грациозно поворачивалась из стороны в сторону, поглядывая через плечо на свое отражение. Поразительный талант приспособления, — по-

думал Тони; сразу видно, что она привыкла к хорошим *soutugières*¹, а еще вчера была скромной мелкой служащей в отпуску. Объяви я сейчас, что я переодетый король испанский, сбривший свой габсбургский подбородок, — она отлично справилась бы с высоким положением. А я бы не справился!

— Тут нужно кое-что переделать, — сказала суетливая приказчица, — и тогда оно будет синьоре как раз.

— Мы возьмем его, — сказал Тони по-английски, — пусть она переделывает, Ката...

— О, я могла бы это сделать сама, но Тони...

— Прости, что я на тебя так наседаю, дорогая, но я буду упрям. Ну-ка, примерь два-три других и сделай вид, что хочешь купить их, а затем пойдя посмотри материи и выбери несколько отрезков на платье. Не показывай, что тебе нужно действительно, — техника тебе знакома. А я вернусь через минуту.

Когда они шли по улице, Тони заметил в одном окне ожерелье в стиле восемнадцатого века из самоцветов, оправы была совсем как настоящая. Ему пришло в голову, что оно, вероятно, подойдет к платью. Во всяком случае это была красивая вещь. Спор и сражение с продавцом заняли около пятнадцати минут, и Тони вышел с ожерельем в кармане, чувствуя, что он переплатил за него и что ему это все равно. Ценность вещей только в том удовольствии, которое они могут доставить.

Он увидел, как Ката, одетая в свое старое платье, роется в материях и оживленно разговаривает с портнихой.

— Есть очень красивые материи, — сказала Ката взволнованно, когда он вошел, — но одного платья мне достаточно. Право, достаточно.

Но Тони был тверд. Надо было выбрать материю по крайней мере на два платья и сшить их. На все это и на торг

¹ Портнихи.

пошло немало времени, но наконец все было улажено: за шелковое платье им надо было заплатить пятьсот лир, а за остальные они расплатятся, когда все будет сшито так, как хочется Кате. Ката взяла шелковое платье и приложила его к себе перед зеркалом.

— Ты хочешь надеть его сейчас? — спросил Тони. — Или изъяны, которых я не вижу, настолько значительны, что тебе надо исправить их?

— О нет! Ты назовешь меня тщеславной, если я надену его сейчас?

— Это как раз то, что я хотел. Скажи, чтобы она вернула твое старое платье. — Ката снова переделалась и стояла, поглаживая шелк и восхищаясь собой.

— Ну-ка, закрой на минутку глаза, пожалуйста, — сказал Тони и надел на Катю ожерелье.

— Хорошо? — спросил он с беспокойством. — Я уговорился, что ты можешь переменить его на что-нибудь другое, если оно тебе не понравится.

— Даже если бы оно было безобразное, я бы не меняла его, потому что ты его выбрал, — сказала Ката, быстро целуя Тони, пока портниха отвернулась, — но оно красивое и, кажется, очень подходит к платью.

— Его нельзя, пожалуй, назвать свадебным подарком, — сказал Тони. — Но я все равно ненавижу свадьбы, а ты? Свадьбы по всей форме, я хотел сказать. Может быть, мне сказать, что это подарок для «жизни во грехе»?

— «Жизни в любви» — хочешь сказать... Я не чувствую себя грешной, даже если ты и считаешь, что это так. Я чувствую себя красивой — и полна снисхождения к остальному миру.

— Я сам не чувствую за собой никакого греха, — отвечал Тони. — По правде говоря, и никогда не чувствовал, — я чувствую, что согрешил бы, если бы сделал глупость, низость, злой поступок или ошибку, — и сожалел бы об этом. Но я рад, что тебе нравится ожерелье.

Он вложил ей в руку бумажку в тысячу лир, говоря:

— Заплати вместо меня за платье, а сдачу положи себе в сумку. У меня так много всего в бумажнике, что больше нет места. Кроме того, деньги могут понадобиться тебе на разные мелочи, когда меня с тобой не будет.

От портнихи они пошли в магазин чулок и белья, который та им рекомендовала. Ката стала протестовать, но Тони настоял на своем. Он заставил ее купить все красивые вещи, которые, как он видел, ей хотелось иметь, но она удерживалась от покупки потому, что считала их дорогими. Тони понимал, что это безрассудно с его стороны, но, как он сказал Кате, мало кто женится больше чем пять-шесть раз за всю жизнь, и потому им надо спешить насладиться самым лучшим из своих браков.

— Кроме того, — прибавил он, когда она стояла в нерешительности над очень привлекательным гарнитуром вышитого белья, — помни, что это я буду глядеть на него, а не ты.

Здесь он снова применил хитрость с бумажкой в тысячу лир и затем отпустил Катю в Farmacia записаться кремами и духами и тому подобным.

— Здесь придется выбирать тебе, — сказал он, — мои скудные технические познания в области женских дел давным-давно истощились. Я не знаю, что тебе нравится. Но не обманывай меня и покупай все, что тебе хочется. У них, наверное, много немецких вещей.

Когда они снова, смеясь и болтая, вышли на улицу, нагруженные пакетами, в маленькой церкви, которую Эя гордо называла своим собором, раздался звон колокола, а за ним последовали колокола двух других церквей.

— Господи, — сказал Тони, взглянув на часы, — уже полдень. Как быстро прошло утро. Нам надо взять vettura, Ката. Постой — может быть, тебе нужно что-нибудь еще?

Ах, да, я знаю, зонтик. Ты не повезешь его с собой, так что мы купим дешевый, который ты сможешь бросить. Ну, скорее.

— Ты знаешь, — сказал Тони в коляске, — я четыре раза в своей жизни ездил в верхнюю деревню, и вот с тобой в первый раз. Как ясно я помню остальные три поездки и как я буду крепко помнить эту, самую лучшую. Первый раз это было в 1914 году. Я ехал в восторге от красоты местности, и мне и не снилось, что здесь я встречу тебя. Во второй раз — это было после войны, когда я приехал попрощаться, как думал я, со всеми местами, имевшими для меня значение из-за тебя. А третий раз это было вчера. Кажется, это было так давно. Неужели это произошло только вчера? Ты уверена, Ката? Слишком много я болтаю? Я не даю тебе времени вставить и слово.

— Нет, ты не болтаешь слишком много, — сказала Ката, смеясь, — и, да, я знаю наверное, ты приехал только вчера. О Тони, могли ли мы придумать что-нибудь чудеснее, что-нибудь серьезнее? Я ненавижу страдание, и нищету, и горе, и унижение и не верю, что они делают людей изысканнее, тоньше. И тем не менее все это утро я не могла отделаться от мысли, что если бы мы раньше не погрузились в такие беды, мы не поднялись бы на высоту такого счастья.

— Я не знаю, — ответил Тони медленно. — Мы никогда не узнаем, что мы потеряли или выиграли, потому что мы никогда не сможем угадать, какими бы были наши жизни, если бы нас так грубо не разлучили в 1914 году. Может быть, поскольку мы были молоды и глупы, мы зря погубили бы драгоценную жемчужину, а может быть, мы достигли бы такой высоты, какой мы не можем себе вообразить даже теперь. Что же касается этого утра, то покупки — забава, примитивная забава. На самом деле я наслаждался не вещами, но самым дарением, и ты наслаждалась

тем, что дарила мне радость, принимая эти вещи. Ты знаешь, я считаю, это редкость в женщинах. Я говорю не о том, как принимают в дар всякие предметы, имущество — даже самые плохие женщины отлично делают это, — я говорю о том, как принимают в дар человека. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Что нас учили «отдавать» себя и при этом так эгоистически наслаждаться этим; и тогда мы теряли понимание, вернее — смирение, с которым мы должны принимать в дар самого человека? Так?

— В этом роде, хотя ты слишком упрощаешь. Вещи, которые мы купили утром, имеют для меня только символическую ценность. Каждую минуту, если бы ты захотела, ты могла бы сберечь мои деньги и испортить мне утро. Но ты этого не сделала. Моя жизнь, мое тело, мой разум и все мое существо — гораздо ценнее, несравненно ценнее, чем эти грязные клочки бумаги, от которых мы отделались. Если ты примешь в дар самого меня, а я знаю, что ты примешь — так же изящно, как ты приняла мои подарки «на жизнь в любви», — то ты действительно отдашь себя. Как я плохо выражаюсь!

Ката не ответила, но взяла его руку и поцеловала ее.

«Как буржуазно у меня получилось с этими деньгами, — думал Тони, умываясь к ленчу. — Она проста и справедлива во всех таких вещах, и она приняла бы нежно и грациозно все то малое, что я могу подарить ей. Она не презирает вещей, у нее нет ложной скромности. Я надеюсь, она становится счастливее от того, что ест мой хлеб, и пьет мое вино, и носит убогие наряды, которые я могу подарить ей; счастливее, чем если бы все это было ее собственное. Но, черт возьми, нельзя же дать на чай герцогине! И, черт возьми, я забыл купить ей новую шляпу, ей так идет старая».

IX

— Я рада, что сегодня Баббо не проявил всех своих талантов, — сказала Ката, прибавляя себе spaghetti al burro¹, которые Мамма оставила на столе. — Мне понравился твой вчерашний завтрак, Тони. Он был отличный, но я бы не смогла есть это сегодня опять.

— И я тоже. И я думаю, что мы выпьем лимонаду вместо вина. Вино не следует пить в середине дня. Будем пить вино вечером.

— Что за невероятное количество spaghetti, — сказала Ката, глядя на свернувшиеся кольцом массы, которые почти не уменьшились от того, что их ели. — Как итальянцы могут есть столько? Помогает ли климат, или вино, или привычка? Так, например, немцы пьют пиво.

— Как ты мила в этом платье, — сказал Тони, глядя на нее с восхищением. — Я должен достать себе пару туфель на веревочной подошве, чтобы созерцать его.

— Ах, не порти комплимента! Ты всегда будешь говорить мне все приятные вещи, которые тебе приходят в голову, Тони?

— Тогда бы я говорил весь день.

— Ну хоть иногда, один раз в час или вроде этого? Ты знаешь, как важно для женщин, чтобы им говорили, как ими восхищаются, и любят, и желают их? Мы должны делать вид, что мы так сильно уверены в себе, а на самом деле этого нет. Нас все время надо убеждать в этом. Если бы ты знал, как женщина благодарна за каждый краткий миг подлинного восхищения! Мы похожи на кошку перед блюдцем с молоком — мы слизываем только сливки. Но это должны быть настоящие сливки, понимаешь?

¹ Макароны с маслом.

— Теперь ты смутила меня. Я собирался сказать что-то о твоих глазах.

— О, скажи! Ну пожалуйста!

— Это выйдет теперь довольно глупо, когда мне надо думать об этом. Я только хотел сказать, что вчера у меня все время было болезненное ощущение, когда я видел твои грустные и даже немного испуганные глаза. А сегодня...

— Сегодня?

— Почти прошло, но не совсем. Доверься жизни, моя красавица, и пусть она ведет тебя за руку. Но я хотел сказать еще одну вещь. Ах, Ката, я все трещу и трещу! Я не говорил так много с...

— С какого времени?

— С очень давнего. Я был с одной девушкой в одном месте, которое называется Эя, в 1914 году. Она была очаровательна. Ты бы ревновала к ней.

— Ты сожалеешь о ней, Тони?

— Нет, ее родная сестра нравится мне еще больше.

— Ты это хотел сказать?

— Нет, но подожди, пока старушка уйдет. Я не могу говорить при ней. *Grazie, grazie, Signora!*, — это относилось к Мамме, молча хлопотавшей около них. — Я понял, что эта телятина окажется жесткой, как только ее принесли, — обратился он к Кате. — Она всегда жесткая. Они ждут, пока теленок не превратится в быка, и тогда его режут, чтобы получить побольше *vitello*. Самая большая бычья туша, какую я когда-либо видел, висела в Пистойе, и на ней был ярлык — *vitello giovanissimo*².

— Так это о телятине ты хотел со мной говорить? — спросила Ката со смехом, откидываясь на спинку стула.

— Нет, — сказал Тони серьезно. — Я пытался сказать это, когда мы сели в *vettura*, но нам было слишком весело,

¹ Благодарю, благодарю, синьора.

² Молодая телятина.

и это все время мешало. Мне пришло в голову, Ката, милая, что с тех пор, как я приехал, я только и делаю, что навязываю тебе свои желания.

— Очень приятно. Я с радостью буду твоей одалиской, если мне будет и дальше так же чудесно.

— Нет, но, Ката, я говорю серьезно. Я распределял вчерашний день, я распределял все это утро, я влезаю всюду, я даже диктовал телеграмму.

— Но, Тони, мой милый, мне нравится, что ты делаешь это. Ты, конечно, достаточно хорошо знаешь женщин и потому понимаешь, что в таких случаях они обожают целиком предаваться на волю мужчины, в которого влюблены. Мне не было бы это так приятно, если бы ты не вел себя как командир, идущий немного впереди своих войск. Кроме того, ты два раза позволил мне сделать наперекор тебе.

— Когда?

— Вчера днем, когда я ушла и плакала несколько часов подряд, что я тебя покидаю, и... и ночью, — добавила она, опуская глаза.

— Ну, я думаю, что мне пора сдать командование, — сказал Тони. — Во всяком случае, на время, на остаток этого дня ты примешь командование отрядом, а я даже не буду вносить никаких предложений. Сегодня, когда ты отдохнешь, делай, что тебе нравится, со мной вместе, если хочешь, или одна, если ты это предпочитаешь.

— Но, Тони, я не хочу быть одна! Я хочу быть с тобой. А что касается отдыха, то я никогда не сплю днем.

— Почему же ты тогда пошла отдыхать вчера?

— О мой милый, я была так расстроена, и во мне все как будто дрожало! И я хотела обдумать, что мне надо делать.

— Не верю, что можно «обдумать» такие вещи, — ответил Тони. — А ты? Я думаю, что тебе надо было только

подождать и потом следовать своим чувствам. Ты жаждала меня, все в тебе жаждало меня прошлой ночью. И то, что ты должна была сказать мне, если тебе казалось, что это нужно сказать, могло быть сказано и забыто между двумя поцелуями. Но все это ничего не значит. Как ты хочешь распределить сегодняшний день?

— Ты не хочешь побыть один?

— Самое большее пять минут. Ката, ты единственное человеческое существо, которому я когда-либо был в состоянии сказать это честно. Сталкиваясь с другими, я все время хотел уйти от них и остаться в одиночестве надолго, а то я чувствовал, что сойду с ума. Они все время что-то требуют от меня, они навязывают мне мысли и чувства, которых я не хочу. Но ты не только предоставляешь мне думать и чувствовать точно так, как если бы я был в одиночестве, ты делаешь жизнь острее и изысканнее, и самое главное, — ты внушаешь мне чувства и мысли лучшие, чем они были бы у меня самого.

— Как ты думаешь, у всех влюбленных такие переживания, Тони? Ты описал даже лучше, чем я сама могла бы это сделать, мои переживания. Теперь рассказать тебе мои планы на сегодня или просто ты покоришься мне вслепую?

— О, так лучше! Я люблю неожиданности!

— И ты будешь меня слушаться?

— Покорнее покорного, *donna mia bella ed adorata*¹.

Они почти час просидели за кофе, а затем Ката поднялась.

Тони встал и вопросительно взглянул на нее.

— Ах! — сказала она, улыбаясь. — Я вижу, ты хочешь выполнять договор. Идем.

Они остановились перед дверью Каты, и Тони сказал:

— Подождать тебя в моей комнате?

¹ Моя прелестная и обожаемая.

— Нет, я хочу, чтобы ты вошел ко мне.

Ката закрыла за ним дверь на ключ и взглянула на него. В ее взгляде была проказливая веселость, но и робость, которой он никогда не замечал в ней раньше.

— Теперь я увижу, действительно ли ты можешь сделать все, что я захочу, — сказала она.

— Что это? Что-нибудь очень трудное?

— Я хочу, чтобы ты лег со мной на кровать и обнял бы меня. Тебе вовсе не надо раздеваться. Я хочу, чтобы ты держал мою руку и целовал меня, и больше ничего. Это слишком много?

— Господи, конечно нет!

— Это нечестно — брать, не давая ничего взамен?

— Ну конечно же нет! Я не агрессор.

— Что такое агрессор?

— О, нечто между латинским Дон Жуаном и нахальным Джонни в партере театра.

— Вот что это означает? Забавный у вас жаргон в Англии. — Затем она добавила: — Я не могу валяться в этом новом платье и мять его. Я надену старое. Ты можешь смотреть на меня, если тебе это нравится.

— Это мне нравится. Не знаю, почему мужчины любят смотреть, как женщины раздеваются, но они очень любят это. И почти каждую минуту я испытываю к тебе благодарность, Ката, за изящество твоих движений.

— Я сниму и чулки, — сказала Ката, — но это ничего не значит. Для тебя это не обязательно.

— Можно мне снять ботинки, чтобы не запачкать покрывала на кровати?

Ката засмеялась, и он истолковал ее смех как согласие.

Они легли, и Тони обнял ее, ее голова лежала у него на левом плече, и он держал в своей руке ее свободную руку. Потом он начал целовать ее, и постепенно ее прохладные, упругие губы становились горячее, а ее грудь тесно прижи-

малась к его телу. Если бы у него раньше были какие-нибудь сомнения — а их не было, — он теперь узнал бы наверное, что это нежное тело рядом с ним было потерянной половиной его самого. Когда губы ее так долго прижимались к его губам, он ощущал такую полноту физической жизни, какой не только никогда до этого не знал, даже в прошлом с Катой, но и никогда не мог себе представить. Ему казалось, что вся комната вздрагивала в такт биения их крови.

Ката тихо отвела губы и долгое время лежала совсем неподвижно, склонив голову ему на грудь. Тони не двигался, и золотой поток жизни переливался между ними от одного к другому.

— Тони!

— Да?

— Сказать тебе, почему я просила тебя сделать так?

— Если ты хочешь, милая.

— Я... я так долго была целомудренной.

— Бедняжка моя!

— О, мне теперь все равно! Но оказалось, что я стала робкой. Ты не поверил бы этому, зная меня, не правда ли? Мне было стыдно стоять перед тобой обнаженной, стыдно, чтобы меня трогал мужчина, даже ты... даже ты.

— Не бойся, Ката. Я не сделаю ничего, чего ты не хочешь...

— Я больше не боюсь.

Она снова замолчала, а затем подняла его руку к своему лицу и стала нежно целовать ладонь.

— Тони!

— Да?

— Лежи тихо, совсем тихо.

— Не бойся.

Ему казалось, что он прежде всего должен выполнять желания Каты. Ничто не должно было смутить или осквернить ее. А в прошлом ее тело и душа были осквернены,

и надо было стереть это прошлое для того, чтобы ее тело снова стало свободным. Ей так же надо было выздороветь и укрепиться после ее войны, как это было с ним; и Тони поклялся самому себе, что он предоставит Кате вести его шаг за шагом в их браке, какой бы временной сдержанности это ни стоило ему.

Ката лежала тихо, тихо. Тони даже подумал, что она уснула. Но, приподняв немного голову, он по длинным ресницам Каты увидел, что ее глаза широко открыты. Минуты проходили, а оба они продолжали лежать совсем неподвижно. Тони почти вздрогнул, когда Ката сказала тихо:

— Тони!

— Да?

— Подними мою голову, погляди мне в глаза и поцелуй меня.

Он сделал, как она просила, но, встретив ее взгляд, почувствовал, что дрожь острого счастья прошла по всему его телу. Он никогда не видел такого выражения на лице женщины, никогда не глядел в такие сияющие глаза, напоминающие о цветах и звездах. Такой взгляд бывает у женщины, когда она допускает человека в святая святых своей жизни. Тони поглядел в ее глаза и поцеловал ее, поднял ее голову, чтобы увидеть снова это таинственное чудо, и снова поцеловал ее. Она закрыла глаза и слегка отвернулась, и он сразу отодвинулся, глядя на нее.

— Тебе нужно, чтобы я сказала, что я люблю тебя? — сказала Ката.

— Нет.

— А мне нужно.

— Ты не можешь высказать и крохотной доли того, что я увидел в твоих глазах.

— Ты видел?

— Да.

- Надеюсь, что они были так же красивы, как твои.
- Гораздо красивее. Действительно, мои-то глаза!
- Ты их не видишь.

Ката встала, отошла от кровати и, стоя к нему спиной, стала приглаживать волосы перед маленьким зеркальцем.

— Тони, — начала она более простым, житейским тоном.

— Да?

— Это тебе не было трудно?

— Как раз наоборот. Это было лучше всего, что я когда-либо испытал.

— Сегодня утром я благодарила тебя за то, что ты возвращаешь мне жизнь. Теперь я благодарна тебе за то, что ты возвратил мне мое тело и мою женственность.

Тони с трудом проглотил клубок в горле и еле вымолвил:

— Я счастлив...

Ката умылась и напудрила лицо и потом повернулась к нему, весело говоря своим обычным голосом:

— Я буду предводительствовать и дальше? Или генерал хочет сам командовать своими войсками?

— Он согласен оставить их обер-лейтенантше.

— Тогда мы идем гулять. Сколько времени?

— Десять минут четвертого. Мне надо надеть ботинки.

Они быстро прошли через двор, желая избежать встречи с Маммой и Баббо, в которых (хотя те и бывали очень милы по временам) Тони и Ката сейчас не очень нуждались. Апрельское солнце уже припекало, и когда они вышли на деревенскую улицу, Ката раскрыла свой новый зонтик.

— Взять мне твой мешок? — спросил Тони, увидев, что Ката несет свой полотняный мешочек для завтрака, аккуратно застегнутый булавкой.

— Нет. Это входит в новый сюрприз, хотя я боюсь, что ты скоро его разгадаешь.

— Ты не натрешь себе пяток без чулок?

— Ты слишком сообразителен, Тони! Первая часть этого сюрприза — раздобыть туфли на веревочной подошве, и я собираюсь купить их нам обоим.

— А что будет со старыми туфлями?

— Оставим их в лавке, глупышка, и заберем их потом. На этот раз ты не оказался сообразительным.

— Я подыгрываю тебе.

— Ты лжешь мне в первый раз за сегодняшний день, Тони.

— О, не обижайте меня, — захныкал Тони, — как вы можете так обращаться с бедной девушкой?

Они купили туфли на веревочной подошве и переобулись там же, в маленькой лавчонке, с неизменным портретом короля, поглядывавшего на портрет «Дуче». У короля было такое выражение, будто он только что попробовал что-то очень гадкое, а лицо дуче выражало чувства человека, на которого во время исполнения им его общественных обязанностей начала оказывать свое действие принятая им касторка, и уже ничего нельзя было поделать!

— Красивый у вас в Австрии президент, Ката? — спросил Тони, когда Ката вывела его из деревни.

— Нет, мой дорогой. А в чем дело?

— О, ничего, — я только что мысленно снимал шляпу перед королем Георгом.

— Это, должно быть, забавно. У тебя мысленная шляпа?

— Ты заметила, что я болтаю глупости? Конечно, но уверяю тебя, Ката, милая, это самая слабая острота, какую когда-либо сочиняли. Такая слабая, что единственно возможное оправдание для нее в том, что влюбленность сделала меня слабоумным.

— Это не комплимент — говорить, что ты из-за меня делаешься слабоумным.

— Смотри! — воскликнул Тони. — Вот ящерица! Ты когда-нибудь в жизни поймала хоть одну ящерицу, Ката?

— Нет, ни разу. Мне было бы страшно и дотронуться до нее. Если бы она стала извиваться, я бы завизжала.

— Их ужасно трудно ловить, — сказал Тони весьма торжественно. — Голыми руками то есть, и если ловить честно. Нельзя их давить. Я еще никогда не мог их поймать. Вот! Видишь? Она убежала опять.

— А ты лежи тихонько несколько часов, пока какая-нибудь ящерица сама не прибежит к тебе в руку, — сказала Ката, смеясь. — Какой ты глупый, Тони! И ты не догадался еще, куда мы идем?

— Я догадался, когда ты сказала — «туфли на веревочной подошве». Мы идем к маленькому заливику, где мы купались когда-то, — не так ли?

Ката кивнула головой.

— Ну, теперь давай мне мешок. Дорожка очень неровная и крутая.

— Нет, я сама понесу его, а ты можешь взять мой зонтик, когда мы дойдем до самого трудного места.

Они прошли через открытый лужок, заросший ракишником, цитусом и индийскими фигами, спустились вниз по крутой тропинке и, держась за руки, молча остановились у края прозрачной воды.

— За одно мы должны быть благодарны судьбе, — сказал Тони наконец, чувствуя, что он должен говорить беспечно, или клубок снова подкатит ему к горлу, — за тот счастливый факт, что деловые люди еще не открыли этот крохотный уголок. Если бы они обнаружили здесь возможность сделать деньги, они взорвали бы скалу и превратили заливчик в Плавательный Бассейн Хоровода Поразительных Красавиц и построили бы казино, затем по ночам устраивали бы цветные фонтаны.

— О, не надо, не надо, Тони! Пожалуйста, прекрати. Я не могу этого выносить. Я убью всякого, кто захочет испортить это место. В этот свой приезд я спускалась сюда каждый день. Я не была здесь только вчера.

— Что ты делала здесь?

— Садилась и думала, и думала, и вспоминала тебя, и немножко плакала, и жалела, что не умерла в тот день, когда мы вместе покидали Эю, — но теперь я рада, что этого не случилось.

— Я тоже приходил сюда в 1919 году, — сказал Тони задумчиво. — Был осенний день, теплый, но меланхоличный.

— И что ты сделал?

— Вспомнил все так ясно, что увидел твое белое тело в прозрачной воде, и так желал тебя, как будто вся моя плоть разрывалась. Потом мне захотелось плакать, потом я сорвал несколько цветов и бросил их в воду на память о тебе, попросился с этим местом и ушел. Я тогда никак не думал, что буду снова стоять здесь, а еще меньше — что это будет с тобой, с новой, еще более чудесной Катой.

— Я была тогда очень развязна и старалась соблазнить тебя, Тони? Я почти краснею, когда вспоминаю, как бежала за тобой.

— Да, ты была соблазнительна, но не развязна. Кажется, я был уже очень, очень влюблен в тебя, хотя в сравнении с теперешним океаном даже это только лужица.

— Ты был тогда такой ласковый и нежный. Тебе приходилось очень сдерживаться, чтобы вести себя так мило?

— Моя дорогая, я готов был ярррростно повалить тебя на камни и гнусным обрррразом обесчестить тебя!

— Ты этого не сделал. Ты был робкий.

— И неуклюжий. Я знаю. Но ты не настаивай на этом слишком, а то мне станет стыдно за того неловкого мальчика.

— Ты вовсе не был неуклюж, и мне нравилась твоя робость, хотя я тогда не знала, не понимала, насколько она очаровательна. А что касается стыда, — прибавила она, начиная раздеваться, — ты знаешь, ведь сегодня ты заставил меня потерять всякий стыд, так что тебе придется поступать по моему примеру.

— Как чудесно, что мы снова можем купаться здесь, — сказал Тони, тоже начиная раздеваться. — Как ты думаешь, вода холодная?

— Не холоднее, чем была тогда, а нам она показалась теплой.

Она скинула с себя белье и стояла перед Тони, улыбаясь немного застенчиво, несмотря на свое хвастовство бесстыдством.

— Я тебе так же нравлюсь, как та девушка, которая соблазнила тебя раздеться и выкупаться здесь когда-то?

— Она была красива, но она была девочкой. Ты женщина и стала гораздо красивее. Ты так хорошо сложена.

— Никаких критических замечаний?

— Нет. Только ты чуточку худая, Ката.

— Я не хочу жиреть, — сказала Ката. — Ведь было бы ужасно, если бы у меня был тевтонский вид и я ходила бы вперевалку?

— С тобой этого не будет, — уверил он ее. — Так ходят только блондинки. Ты брюнетка. Наверное, твоя бабушка флиртовала с итальянцем, а твоя прабабушка с французом.

— Ты так думаешь? — спросила Ката, заинтересовавшись. — Мне никогда не хотелось быть настоящей тевтонкой, и я была бы в восторге, если бы оказалось, что я дитя незаконной любви и происхожу от внебрачных отпрысков, но боюсь, что я безнадежно законнорожденная. Моя мать была хорошей женщиной, не то, что ее дочь.

— О, ничего нельзя сказать с уверенностью, — сказал Тони подбадривающе. — Даже самые плохие из нас иногда

срываются. Полчаса полнейшей слабости — и вот вам Ката! Дай-ка пощупаю твой затылок.

— Зачем? — спросила Ката, нагибаясь вперед.

— Я хочу знать, ты долихоцефал или брахицефал. Это чрезвычайно важно. — Тони убрал руку и потрогал собственный затылок.

— О, потрогай еще так мою голову, — сказала Ката. — Это восхитительно. Почему это важно, я... как это слово?

— Ах ты, чувственный поросенок, — сказал Тони, лаская ее затылок кончиками пальцев. — Это наука, но слова означают только длинно- и круглоголовых. Но если ты долихоцефал, то не выходи замуж за брахицефала.

— Почему бы нет? Ох, как приятно! Какое значение имеет форма головы?

— Она имеет значение потому, что долихоцефалы всегда убивают брахицефалов, и наоборот, так что если мы разные, то мы всегда будем стараться убить друг друга.

— Что за ерунда! У тебя устанут пальцы, дорогой. Пока достаточно, но ты еще не раз будешь так делать. Я говорю так, как, по общему мнению, всегда говорят женщины? Но кто мы — долихоцефалы или брахицефалы?

— Ну, если говорить строго научно, — сказал Тони важно, — я думаю, мы и не то и не другое. Мы оба, кажется, серединка на половинку. Должно быть, мы принадлежим к особой расе, все остальные представители которой уже вымерли.

— Как чудесно! Так что мы не убьем друг друга?

— Вероятно, нет, разве что твоя голова сплющится, а моя раздуется. Но лучше нам держать это про себя, а то нас могут отравить, чтобы узнать, отчего мы выжили. Все это, конечно, в интересах науки.

Тони опустил в воду.

— Холодная? — спросила Ката, стоя на краю берега и протягивая к нему руки.

— Холодноватая, — сказал Тони и вздрогнул от радости, потому что ее горячие груди прижались к его щеке, когда он снимал ее с берега.

— О, да она совсем теплая, — воскликнула Ката, плеснула ему в лицо водой, а затем поцелуями осушила его глаза.

— Это для того, чтобы ты не думала, что она очень теплая, и не разочаровалась бы.

Они доплыли до конца залива, чтобы посмотреть, нет ли где лодок, и затем медленно отправились обратно. Тони стоял почти по грудь в прозрачной воде, а Ката плыла к нему.

— Ах, — сказала она, опуская ноги и становясь, — в прошлый раз я стояла, а ты подплывал ко мне. Это был наш первый настоящий поцелуй.

Тони взял ее за руки и осторожно потянул к себе по воде, пока ее прохладное влажное тело не прикоснулось к нему, и тогда поцеловал ее. Но на этот раз, хотя Ката стояла, как тогда, Тони вспомнил о своем добровольном обязательстве и не обнял ее (как в тот раз).

— Какой ты красивый, — сказала она, — у тебя широкая грудь, сильные ребра и бока гладкие, как чудесный полированный металл. Как хорошо быть любимой красивым мужчиной, Тони.

Затем она сплела свои пальцы с его пальцами и немножко отклонилась к воде, говоря:

— Тот поцелуй в воде решил всю мою жизнь, Тони. До тех пор я считала тебя прелестным и привлекательным, и мне казалось, что я влюблена в тебя, как я тебе сказала, когда ты поцеловал меня первый раз в моем уголке. Ты помнишь? Мы должны снова пойти туда. Но только когда ты поцеловал меня здесь, я поняла, что действительно влюблена в тебя. Это было что-то новое и неопишное. Я томилась по тебе, и вот почему я не могла удержаться, чтобы не обнять тебя. И тогда я почувствовала, что готова

промучиться миллион лет в аду за счастье быть твоей любовницей. Ты догадывался об этом?

— Отчасти, но не обо всем. Я был молод, Ката, и поглощен своими собственными восторгами оттого, что касался тебя, и переживаниями своей любви. Я только надеялся, что ты чувствуешь то же, что и я.

— Помоги мне вылезти на берег, Тони, милый. А то мы замерзнем. Таинственный мешочек заключает в себе два очень маленьких полотенца, но это лучше, чем ничего. Вытирайся скорее.

Пока они лежали на солнцепеке и потом одевались, Тони рассказал Кате об Эвелин, о том, как много значило для него воспоминание об ее прикосновениях, и закончил рассказом об их встрече в Лондоне.

— Она красива? — спросила Ката.

— Она была красива двадцать лет тому назад.

— Ты когда-нибудь сожалеешь о ней?

— Сожалею о ней? — спросил Тони в удивлении. — Зачем? Ведь я как будто собирал букет весенних цветов и сам знал, что они завянут. Ты ревнуешь, Ката?

— Я завидую ей, и я ей благодарна. В ней было, должно быть, что-то чудесное, если она так сумела разбудить в тебе чувство прикосновения.

— В ней оно было, это чудесное, но разве могла бы она разбудить во мне что-либо, если бы его не было во мне раньше? Тогда я считал ее чудесной, а когда я увидел ее в последний раз, то пришел в ужас. Она напомнила мне Венеру из Капуи, ты знаешь, ту самую прекрасную, которую так грубо изувечил какой-то варвар. Всегда ли женщина превращается в то, чего от нее хотят мужчины?

— Боюсь, что почти всегда!

— Боже мой! — сказал Тони. — Какая ответственность. Ты думаешь, я тебя испорчу, Ката?

— Разве что излишней добротой, мой милый.

* * *

Подымаясь на холм, Ката начала собирать полевые цветы, а Тони перочинным ножом срезал те побеги раkitника, которые она ему указывала. Они медленно брели, болтая и собирая цветы, пока каждый не набрал по большому букету. И Тони сказал улыбаясь:

— Из этих цветов ты готовишь новый сюрприз, Ката?

— Нет! Я хочу, чтобы они стояли в наших комнатах! Мне надо попросить у Маммы вазы или стаканы. Ты не должен предвосхищать сюрпризы, Тони. Но имей в виду, эти цветы не для того, чтобы разбрасывать их на моей или твоей постели.

— Рад этому, — ответил Тони, вздыхая. — Быть может, разбрасывать цветы и очень красиво, но цветы ведь холодные. Они раздавливаются, и они липкие, почти как патока. И стыдно их губить. Для этого годились бы только одушевленные цветы, выращенные для Идалийской Венеры. Да и то если она была бы легкая как воздух.

— Ты веришь в богов и богинь, Тони? Ты всегда о них говоришь.

— Верю ли? А ты веришь в любовь, и в солнце, и в луну, и в землю, и в залив, где мы купались?

— Ну конечно, но разве это то же самое, что верить в них как в богов?

— Да, если ты веришь в них как следует быть. Понимаешь ли ты, что я подразумеваю, когда говорю, что для меня бог или боги или абсолютная дальность есть нечто физическое, лишенное каких бы то ни было духовных, социальных, национальных или абстрактных признаков?

— Думаю, что понимаю, — сказала Ката, соображая, — или, вернее, я чувствую это. Ты хочешь сказать, что бог — это не абстрактные определения и не абстрактные идеи, а таинственная жизнь, заключенная в явлениях?

— Да, да — воскликнул Тони с увлечением, — это то самое. О Ката, ты все понимаешь! Этот материальный бог

заставляет любить и почитать видимые вещи и не желать их разрушения. Когда ты пришла в такой ужас от мысли, что ради барышей могут погубить наш заливчик, — этим самым ты засвидетельствовала свое почтение маленькому богу, который является таинственным хранителем физической жизни этих мест. Каждый цветок — это крохотная, крохотная богиня. То, о чем я говорю, люди называют существом, сущностью или даже красотой явлений, — хотя имеются и безобразные, страшные боги, например Война. Все это не есть абстракция, нет, это нечто живое. Пусть эта скрытая жизнь и не будет такой сконцентрированной, такой сознательной, как та жизнь, которую живем мы, люди. Если так, то почему бы нам тогда не усматривать божественной природы в существе вещей, в их могуществе, в их жизни?

— Да, да, — сказала Ката. — Ты совершенно прав, Тони, ты открыл в вещах жизнь, потому что ты вступил с ними в самое близкое соприкосновение, принудил их срастись с тобой. Ты открываешь мне дверь, через которую можно войти в широкий мир. Я сама понимала, что он там, но я войти боялась! У меня глупые опасения, что я «не просвещенная», а «просвещение», по-видимому, и означает убежденность в том, что мир скучен и что в нем нет богов. Но я терпеть не могу всех этих кровотокающих Христов и плачущих Мадонн.

— Вот до чего доводит культ отвлеченной духовности, — сказал Тони. — В конце концов люди начинают поклоняться страданию, несчастью, гибели и даже болезням. Это обратная сторона той нездоровой духовности, о которой я говорил.

— Что мне особенно нравится, — продолжала Ката, развивая собственную мысль, — это что не нужно думать о земле как о большой кочке, вроде громадного неодушевленного рождественского пудинга, плавающего в соусе.

Ведь это совсем не похоже на истину. Бог земли снова жив для меня, как в моем детстве. Тони, ты наполнил для меня мир богами и богинями!

— Ведь это самое утверждали и некоторые поэты твоей родины.

— О мой милый, — сказала Ката, посылая ему воздушный поцелуй, — ты мне милее, гораздо милее, чем Гете.

В этот вечер их позабавили и развлекли крестьяне, собравшиеся большой группой для того, чтобы пообедать во дворе гостиницы. Эти крестьяне становились все веселее и шумнее по мере того, как росло количество пустых бутылок. У одного была гитара, и он начал петь неаполитанские песенки. Разумеется, здесь были исполнены неизбежные «Santa-Lucia», «O Mari!» и «O Sole mio».

— Верно, у меня плохой вкус, Ката? — спросил Тони. — Ты знаешь, мне, пожалуй, нравятся эти песни, особенно «O Sole mio». Они не были бы очень уместны в Лондоне в туманный ноябрьский день, но здесь они приходится кстати. И мне нравятся эти синкопы — это умение возбуждать внимание. Интересно, почему они веселятся сегодня? Сегодня не воскресенье.

— Кажется, это свадьба. Ты не хочешь этого и знать, но в прошлое воскресенье была Пасха.

— Тебе только кажется, что они играют свадьбу. «Макбет в своих суждениях нетверд». Что же касается светлого воскресенья, gnädiges Fräulein, разрешите мне указать, что я присутствовал на мессе в Латеранской церкви, а эта церковь — мать всех церквей в христианском мире.

— Как это они тебя впустили и как это краеугольный камень чудесным образом не свалился на твою голову, не повредив арки. Ты любишь ходить по церквам, Тони?

— Очень люблю, когда это на юге и когда церковь не протестантская. По-моему, у Рима слишком северный характер и Рим лишен непосредственности. Меня интересу-

ют места, где до сих пор под христианскими названиями сохранились очень старые религии. Я не знаю наверное, что такое парижская Мадонна, скорее всего — что-то среднее между солдатской *magaine* и сентиментальной монашенкой. Но здесь на юге и в Сицилии она Великая Мать, она Венера-Прародительница, она Артемида, она Гера. Люди Средиземноморья должны иметь богинь, и они предпочитают древних, не препираясь об именах. Византийские теологи пытались скрутить их всех в одно имя — Ая София. Они создали какую-то обесцвеченную Афину, но крестьяне не признали ее. Ведь в воскресенье девушки в Кротоне процессией идут в церковь на мыс, совсем как тысячу лет тому назад девушки ходили к храму Геры, который там стоял. И по всей Сицилии до сих пор живы самые прелестные верования и церемонии.

— Мы поедем туда когда-нибудь вместе, Тони?

— Конечно, мы можем отправиться туда хоть завтра, если ты хочешь.

— Ах нет, не теперь. Я хочу теперь пожить здесь. Но когда-нибудь позже мы поедем. Я с 1914 года нигде не была, кроме Эи, и чувствую себя ужасно невежественной горожанкой.

Шум за столом крестьян сделался до того сильным, что Тони и Кате почти приходилось кричать друг другу.

— Пойдем наверх и посидим на твоей террасе, — сказала Ката. — Там их не будет слышно. Мамма забыла о нашем кофе, но я и не хочу его. Тебе принести?

— Нет, спасибо.

Они поднялись наверх, и Тони притащил на террасу два стула. Ночь была удивительно тихая, прохладная после солнечного дня, но не холодная и не сырая. Вечерний туман поднялся с горы, и ее темный край остро вырисовывался на безлунном небе с мириадами роящихся звезд и мягким, сияющим шарфом Млечного Пути. Звезды не были ярки-

ми, не мигали, как на светлом северном небе, а горели тихо, крупнее и ближе. Изредка от веселой компании с той стороны дома долетал слабый раскат смеха... Собака лаяла вдали, звук мандолины и голос поющего человека приплывали через улицу, и затем водворялось молчание. Церковные часы поразительно громко отбили четыре четверти и девять; эхо долгое время отдавалось все тише и тише, пока все волны звуков снова не замерли.

Ката и Тони сидели без слов, да в словах и не было надобности. Хотя у обоих, конечно, мысли были разные, но они знали, что их ощущения одинаковы, что Кату не раздражают тишина и мрак, которыми и Тони наслаждался, и что звуки колокола волнуют его, как и ее. От средиземноморских богинь мечтания Тони естественно перешли к Сан-Джузеппе и Сан-Калогеро — человеко-богам Сицилии; Сан-Джузеппе — нечто вроде крестьянского Зевса, а Калогеро немногим отличался от Диониса. В те дни, которые Тони провел в краю бесплодного монотеизма ислама, как ему не хватало этого ощущения, что кругом присутствуют боги! Он предпочитал созерцать идолов, которые все время напоминали народу о том, что вещи материального мира священны. Он предпочитал этих идолов ковчегу, столь же пустому, как сейф, наполненный бумажными деньгами, — ящик Джоанны Саузкотт*.

Здесь его мечтания раздваивались. Был путь, который вел к тайне Я и не Я, к тайне его тождества с Катой и его отличий от нее. Другой же путь шел к заблуждениям аскетизма, состоявшим в том, что женщина есть зло, что следует насильно подавлять плоть; по мере того, как чувства его сливались с молчанием, ширились и готовы были захватить все небо над ним, по мере этого он убеждался, что эти два вопроса находятся в смутной связи друг с другом, — но он не испытывал желания проследить эту связь. Он с возмущением думал о грязных монахах, внушавших людям

мысль, что женщины — это мешок с навозом. Эти скоты сами были мешком с навозом. Разве нечисты недра моей возлюбленной, разве чрево ее не гнездо ароматов? Удивительно, что Ката могла стать матерью, удивительно, что впервые в его жизни вся его плоть томилась при мысли о живом существе, которое могло бы появиться на свет от их любви, — живое это существо было бы тем же самым, что и они, и отличалось бы от них в то же время.

Ката пошевелилась в темноте и взяла его руку. Тони подумал: неужели она могла угадать, о чем он размышлял, или она инстинктивно почувствовала, что он взволнован? Он говорил себе: «Да, может быть, когда-нибудь, — но не сейчас — не скоро — конечно, нет, пока я не буду знать, что она испытывает то же самое».

Часы пробили половину, и голос Каты произнес, слегка вздрогнув:

— Дай мне папиросу, Тони.

Протягивая ей зажженную спичку, которая была как костер после долгого мрака, он с огорчением увидел, что Ката тихо плачет. Спичка догорела, темнота еще больше сгустилась, и Тони сказал:

— Ты несчастна, Ката? У тебя грустные мысли?

— Я плакала, потому что я счастлива, таковы женщины — всегда льют слезы о чем-нибудь, и я думала, что если бы чудо не следовало за чудом, то я сидела бы сейчас в вагоне третьего класса, выезжавшем из Неаполя, и плакала бы навзрыд. И, так как я сентиментальна, мне взгрустнулось при мысли об этой одинокой женщине, которой там нет, и обо всех одиноких женщинах, и мне захотелось утешить их. И я еще не привыкла чувствовать себя покойной и уверенной в моем счастье. Ты не обращай внимания, если я буду иногда печалиться о прошлом, Тони. И дай мне срок, чтобы привыкнуть жить в свете твоего солнца, после того, как я так долго пробыла во мраке.

Тони не знал, что ответить на это, и это было ему больно. Он сказал как мог беспечнее:

— Я даю тебе столько времени, сколько ты хочешь, моя Ката. Чувствуй себя свободной. Полушутя мы уговорились, что власть будет в твоих руках все то время, которое мы проводим вместе. Продлим твою диктатуру. Я сам чувствую, что проснуться для новой жизни — это так же больно, как и умереть для старой. Живи потихоньку, оставайся одна, когда ты хочешь. Я не буду торопить тебя, только будь откровенна. О многом я могу догадаться, многое я могу сделать или не сделать по инстинкту, но остается еще многое, о чем ты должна предупреждать меня. Если тебе нужна передышка, если ты хочешь поставить между нами какие-нибудь преграды, скажи мне — и не будь несправедлива ко мне; не думай, что я тщеславный дурак, способный обидеться. Я знаю то, что знаю.

— Что ты знаешь?

— Что мы не могли бы теперь расстаться, даже если бы хотели этого, поэтому мы пойдем дальше вместе.

— Я не думала о расставании сейчас, Тони. И все-таки только сегодня утром, только пятнадцать часов тому назад, я была в таком отчаянии, в таком отчаянии, что... о, ты все понимаешь, я могу и не рассказывать об этом.

— Неужели это было только сегодня утром! — воскликнул Тони. — И всего только один день прошел? Впредь время я буду исчислять переживаниями, а не часами, не по четвертому измерению. У счастливых народов нет истории! Но у счастливых людей она есть. Ведь если бы я умел, я бы написал целую книгу об этом нашем дне.

Ката помолчала, и он видел, как в темноте разгорался и потухал огонек ее папиросы. Наконец она сказала просто и весело:

— Мы рано встали, мой дорогой, и мы прожили целую жизнь за этот день. Если ты не устал, то я устала. Я должна лечь.

— Хоть сейчас, если хочешь, — ответил Тони, вставая.

— Не зажигай света, мне и так видно.

В темноте она нашла его руку и, держа ее, сказала так же просто и нежно:

— Будет еще сюрприз, Тони. Вчера вечером я не впустила тебя в мою комнату, но сегодня я приду в твою, если я нужна тебе.

Вместо ответа Тони поцеловал ее, а затем она прошептала:

— Я войду храбро, не стучась, когда часы пробьют десять.

Когда она ушла, Тони включил свет, показавшийся ему совершенно ослепительным. Он лучше закутал лампу своей пижамой, чтобы был полумрак, затем умылся и переделся на ночь и задвинул ставни. Он лежал под прохладными простынями, поджидая Катю. Ката сказала правду, они устали. И он уже начал дремать, когда услышал, что дверь открылась, и увидел, как Ката вошла и закрыла ее на ключ. Она подошла к постели и осторожно поцеловала его, затем сбросила халат — «нужно купить ей халат лучше, — подумал Тони, — и туфли» — и села на постель рядом с ним.

— Ты не ляжешь? — спросил он, откинув простыни. — Ты замерзнешь.

— Я лягу сию минуту, — ответила Ката и взяла его за руки. — Тони, если какая-нибудь женщина была когда-либо безумно, без оглядки влюблена в мужчину, то это я влюблена в тебя. Сегодня вечером я влюблена в тебя больше, чем это было утром, — хотя, видит Бог, я тебя и тогда любила, — и это потому, что ты так деликатно отнесся ко всему больному во мне. Но...

— Что же? Скажи мне!

— Будет ли это несправедливым по отношению к тебе, нехорошо и неженственно с моей стороны, если бы я только лежала в твоих объятиях и мы спали бы вместе?

— Так легко делать только то, что хочешь ты, и ничего больше; мне кажется даже, что ничего иного и не нужно. О боже, разве этого мало — держать тебя в своих объятиях после всех этих загубленных лет?

Х

Каждое утро они не спеша завтракали на террасе, кроме тех дней, когда дул сирокко. Тогда Ката завтракала в постели, а Тони сидел около нее. Каждый солнечный день они спускались к бассейну в скалах и купались. Никто никогда не бывал в этих местах — там не было ни садов, ни олив, требующих ухода. Места для рыбной ловли и маяк были на другой стороне острова, а сети на перепелов раскидывали повыше на горе. Сама тропинка заросла ракишником и цитусом, и ее не разглядеть было тому, кто не знал дороги; если кого и привлекала прогулка по этим местам, то, дойдя до открытого склона, все поворачивали обратно. По утрам они посещали любимый уголок Каты, или взбирались на гору, или ходили по новым для них дорожкам, или опускались на пьядцу за книгами или мороженым, или, наконец, просто сидели в саду. Но чтение очень часто прерывалось — им надо было так много сказать друг другу, — кроме того, в этой стране только больные или меланхолики способны оставаться в домах. И каждую ночь Ката спала в объятиях Тони, все еще не решаясь предоставить плоти полную свободу. Иногда, когда Ката спала, Тони оплакивал зло, причиненное ей; казалось таким невероятным, что Кате былых времен, такой откровенно чувственной, люди могли причинить столько страданий, что она должна была теперь заново учиться радости физического

прикосновения; люди так унизили ее, что она должна была постепенно очищать себя счастьем, прежде чем окончательно соединиться со своим возлюбленным. Что же случилось с мужчинами и женщинами, если они в своем безумии радость жизни обращают в яд и убийство называют любовью?

Дней через десять после своего приезда на Эю Тони увидел на подносе рядом со своим завтраком пакет с письмами, пересланными ему из Мадрида.

— Они не стоят внимания, — сказал он Кате. — Одно дружеское письмо от человека, которого зовут Уотертон и который мне нравится, хотя мы никогда не были близки. Глупые письма от других. Моему банкиру нужна моя подпись. И это все. Кроме вот этого.

И он показал ей нераспечатанное письмо.

— Это что такое?

— Письмо от Маргарет.

— Я думаю, тебе надо прочесть его, — сказала Ката спокойно.

— Я считаю, что надо, но очень боюсь. Я очень боюсь камней, которые люди так любят швырять в сад Гесперид. Ну, раз, два, три.

Он быстро пробежал письмо, а Ката с беспокойством следила за его лицом.

— Но это необыкновенно, — воскликнул он.

— Что такое?

— Подожди чуточку, я должен прочесть еще раз внимательно. — Он вернулся к началу и прочел письмо наново. — Должно быть, что-нибудь случилось. Она, наверное, в кого-нибудь влюбилась.

— Почему? Можно мне знать, что она пишет?

— Она пишет, что ее родственники называют меня самым отъявленным жуликом и негодяем, но на самом

деле очень рады от меня отделаться и вследствие этого увеличили ей содержание. Она пишет, что сама она уже не считает меня ни жуликом, ни негодяем, — ей кажется, что я похож на какой-то персонаж в одной пьесе, название которой она не может припомнить. Она заказывает специальное «разводное» приданое, и собирается нанять самого модного адвоката в Лондоне, и спрашивает меня, не пришло ли я ей какие-нибудь убедительные доказательства измены. Тут написано еще много другого в этом же роде, но кончается все заявлением, что мы будем счастливее, если разойдемся. Она приписала еще, что отказывается брать от меня деньги. Это те деньги, которые я заработал, трудясь в винограднике Навуфея*. Впрочем, почти сама.

Ката прочла письмо и сказала:

— Тони, по-видимому, она странная девушка. Она на самом деле такая?

— Ничуть. Это стиль ее вечеринок с коктейлями — совершенно наигранный.

— Мне все это кажется таким пустым. Наверное, я не могла бы так писать человеку, которого я когда-то любила, даже если бы между нами все было уже кончено.

— Этот жаргон принят в их обществе. Предполагается, что под маской беспечности бушуют дикие страсти. У вас разбито сердце, а вы шутите, орел раздирает вашу печенку, а вы улыбаетесь, сходя с ума от любви, вы сыплете островами. Я сам не верю этому, думаю, что здесь только и есть, что лежит на поверхности, а нет ничего глубокого. Мне нужно еще доказать, что они существуют, эти тайные глубокие страсти, прежде чем я поверю в них. Однако все это не важно. Самое важное, что она оказалась в конце концов порядочным человеком. Она поступает исключительно великодушно, если только не передумает.

— Ты примешь ее предложение?

— Ее предложение? Ах, ты говоришь об этом! Нет, пока не приму. Я буду откладывать деньги, которые должен ей платить, и когда процесс кончится, снова предложу их ей. Если она и тогда станет отказываться, я не вижу причины, почему бы мне не оставить деньги себе. Она богата, будет еще богаче и, вероятно, выйдет замуж за какого-нибудь весьма денежного молодого человека. Кроме того, деньги мне нужны для тебя.

— Тони, не совершай ради меня никаких неблагородных поступков. С нас хватит и того, что есть, — по-моему, мы ведем сейчас роскошный образ жизни. Пусть она берет эти деньги.

— Там будет видно. Во всяком случае я буду ее уговаривать. Ну, а теперь забудем все это. Да, еще одно обстоятельство.

— Что именно?

Тони помедлил и затем сказал:

— Английский закон о разводе — чрезвычайно странная вещь, особенно потому, что предполагается, будто он основан на логике. По английскому закону брак является контрактом. Но в противоположность всем другим контрактам закон не позволяет его аннулировать, когда обе стороны согласны на это и готовы объявить об этом публично. Это было бы слишком просто, и юристы потеряли бы тогда свои многотысячные гонорары. Закон требует, чтобы одна сторона была виновна, а другая невинна, обиженная осквернением супружеского ложа. Обиженный ходатайствует о том, что называется удовлетворением нарушенных супружеских прав, и суд постановляет, чтобы виновный моментально возвратился в постель своей половины. Тебе кажется это совсем диким?

— Немного странно, — сказала Ката, — Но ты же шутишь, не правда ли?

— Нет, это именно так и делается! Ну виновная сторона говорит — не пойду, и поэтому контракт нарушается, невинная сторона оказывается «брошенной» той и плачет как безумная — ей нужны деньги, чтобы залечить разбитое сердце. Но если виновной стороной является муж — а это обычно так, потому что сколько бы прелюбодеяний ни совершала жена, «приличествует», чтобы был виноват муж, — прелюбодеяние должно быть доказано. Теперь, весьма вероятно, что у виновного мужа есть кто-нибудь, на ком он хочет жениться и с кем он прелюбодействовал на самом деле. Но ее имя ни в каком случае не должно упоминаться — это «отнюдь не приличествует». Нет, надо нанять какую-нибудь даму, чтобы она провела с виновным мужем целую ночь в каком-нибудь отеле в Брайтоне, они сидят там и пьют виски с содой, беседуют о бегах и о прошлогодних пьесах и о том, как трудна жизнь. Это и есть «доказательства». Тогда развод разрешен, но совесть закона так чувствительна в вопросе о разъединении тех, кого сам Господь решил разлучить, что им дается еще шесть месяцев, — может быть, они снова захотят воссоединиться. Предполагается, что таинственное лицо, именуемое королевским проктором, все это время наблюдает за ними. Если он не хочет этого делать, или не находит в их жизни ничего пикантного, или решает держаться в стороне, тогда решение nisi¹ наконец вступает в силу. Далее, если виновной является жена, то злостный прелюбодей — ее возлюбленный или соответствующее лицо — должен оплатить мужу все убытки, — то, что он владел чужой женой, и считается убытком. Когда виновной стороной является муж, то он в течение своей жизни должен выплачивать своей экс-жене одну треть своего годового дохода. Таким обра-

¹ Юридический термин, обозначающий недействительность договора.

зом, ни один англичанин не может иметь и не имел никогда больше трех жен.

— Таков закон? — спросила Ката в изумлении.

— Ты сама увидишь акт. Но я веду вот к чему: не думаешь ли ты, что роль брайтоновской дамы отвратительна?

— Думаю, что отвратительна.

— Я тоже, не будем говорить об этом.

— Но ведь ты рассказывал это с какой-то целью?

— О, ничего!

— Я догадываюсь. Ты думаешь, что нам не следует пользоваться подставным лицом, но просто сказать, что это мы сами и были?

— Я этого не говорю. Я хотел только спросить, что ты предпочитаешь.

— Тогда я предпочитаю быть виноватой вместе с тобой. Я встану рядом с тобой и скажу это судьям, хотя мне отвратительна мысль, что эти люди будут вмешиваться в нашу жизнь. Мне не стыдно, что я люблю тебя, я горжусь этим.

— О, тебе не нужно присутствовать на суде. Но ты позволяешь мне сделать все, что нужно для этого?

— Да.

— А теперь я не буду больше говорить об этом, пока не понадобится твоя подпись. Хочешь папиросу?

— Нет, спасибо. И Тони...

— Да?

— Обещай, что ты на мне не женишься.

— Боже мой, почему? Разве мы не женаты?

— По-настоящему — да. Но никаких этих законных безобразий. Это унижительно.

— О Ката, ты не сердись на меня, что я завел об этом разговор? Ты не думаешь, что это было низко с моей стороны?

— Нет, нет, мой милый. Нужно было сказать об этом. Но это возмущает меня. Давай выйдем теперь, и пусть солнце очистит нас от всего этого.

— Вниз на пьядцу? — спросил Тони. Он был доволен, что вопрос решен, но не мог отделаться от чувства, что Ката права, считая все это унижительным. — Мне надо пойти в банк и...

— Больше никаких покупок, Тони.

— О, прошу тебя. Я только хотел купить несколько немецких книг, и новую тетрадь для рисования, и крохотный-крохотный халатик для Каты.

— Ты рисуешь пейзажи, Тони? А меня ты этому тоже научишь?

— Я попробую, но это значило бы учить тебя тому, чего я сам не умею делать. Мои рисунки совершенно любительские, но, поскольку я их никому не навязываю, то, по-моему, они безвредны. Я лучше понимаю вещи, когда рисую их, и рисунки напоминают мне о вещах, которые я видел и любил, — в этом для меня смысл рисования.

— Можно посмотреть их, Тони? Мне бы очень хотелось.

— Их никто до сих пор не видел, и, наверное, никто даже не знает об их существовании. Но ты должна их видеть. Ты единственная, кому я их покажу. Но я тебя предупреждаю, что это только грубые каракули для личного обихода.

Тони пошел в свою комнату и вернулся на террасу с шестью альбомами различной величины.

— Вот, — сказал он, — все, что у меня здесь есть. Остальные остались в Англии у меня в столе, но я их как-нибудь раздобуду.

— Что это за место? — спросила Ката, показывая на рисунок, изображающий реку с деревьями, старые дома и романскую церковь.

— Маленькая деревушка во Франции по имени Брутэн. Видишь, почти вся эта тетрадь заполнена там. Я все это рисовал как раз год тому назад.

— Это восхитительно. Поедем туда когда-нибудь, или ты не хочешь?

— Нет, мне будет только приятно поехать туда с тобой. Это был важный этап на извилистой дороге, которая меня привела к тебе.

— А это что такое? — спросила она, указывая на сложную и пышную лепную работу, зарисованную в другой тетради.

— Это часть бокового придела в церкви в Палермо. Мне пришлось оставить рисунок незаконченным, потому что появился сторож и сказал, что срисовывание оскорбительно для Бога. Он сказал это после того, как потряс своей кассой и получил несколько монет.

— А это?

— Это рисовано в Риме. Но довольно рассматривать эти старые тетради, Ката, давай выйдем.

— Отлично, — сказала Ката, наспех перелистывая их. — Но тебе, Тони, не нужно покупать новую тетрадь. В двух из них всего по несколько рисунков.

— Нет, нужно! Мне нужна особая тетрадь для Каты. Я хочу изучить твоё тело глазами, как я изучаю его прикосновением. Я хотел бы увидеть, как ты шьешь или читаешь совершенно раздетая. Я не говорю о позировании. Тебе не нужно сидеть неподвижно.

— С удовольствием. И я тоже заведу себе тетрадь. Нет, я проявлю расточительность и куплю две. Одну для Тони и одну для Эи. Есть места, которые я должна зарисовать.

Когда они направились к пьядце, Ката сказала:

— Ты рисовал, когда я тебя узнала впервые, Тони? Я не помню.

— Да, рисовал. По правде говоря, в Англии в одном специальном маленьком ящике, закрытом на замок, хранится набросок твоей головы, который я сделал однажды вечером, и еще другой набросок, где ты стоишь на берегу нашего бассейна; там есть еще кое-какие реликвии.

— Что же это?

— О, твои письма, маленький платочек, который ты уронила и который я украл, и тому подобные сентиментальные пустячки.

— Очень мило с твоей стороны, что ты их бережешь. Ты подаришь мне эти два наброска?

— Конечно, но они ужасно неумелые, хоть и лучше того, что я делаю теперь. Я ничего не рисовал с августа 1914-го до прошлого года, и мне пришлось начать с начала.

— Тони! — вдруг сказала Ката.

— Что, милая?

— Можно мне купить гитару?

— Конечно. Тебе нужны деньги?

— Нет, у меня очень много. Но ты не считаешь это глупостью?

— С чего бы? Это было бы забавно. Ты играешь на гитаре?

— Кое-как играю. У меня была гитара, когда я была студенткой. Мы все играли. Ты уверен, что тебе это не кажется...

— Чем?

— О, ребячеством или претензией, чем-то вроде Wandervogel¹?

— По-моему, гитара в миллион раз лучше радио. Для меня нет ничего ребяческого или претенциозного в том, чтобы иметь музыкальный инструмент, даже если не умеешь на нем играть. А ты умеешь. Ты споешь мне что-нибудь из песен Гейне, Ката?

¹ Бродяга, любитель странствовать.

— Попробую, но мне сначала надо поупражняться. Интересно, можно ли на Эе найти какие-нибудь ноты?

— Пожалуй; если нет, то мы попросим их выписать из Германии.

— По-моему, это просто смешно, — сказала Ката, — что в современной жизни и у современных людей считаются неловкими такие естественные и простые вещи, как покупка гитары или любовь. Я считаю, что мужчины и женщины, вероятно, очень злы, злы от природы.

— Я думаю, что это служанки «бизнеса» — война и религия — виноваты в этом. Я не считаю, чтобы люди были злы от природы, по крайней мере в том, что касается подобных вещей. В конце концов, если понаблюдаешь за очень маленькими, еще не говорящими детьми, то видишь, что они делятся своей едой со всеми, кого любят. Кажется, будто все это не важно, но в конце концов пища — это все, чем владеет ребенок. И дети предлагают поделиться именно этим, а иногда и отдают совсем.

— Но они ведь и отбирают подаренное.

— Правда, и это доказывает слабость человеческой природы. Но самое важное, что они предлагают вам подарок и иногда позволяют, чтобы его приняли. Это доказывает, что совсем юный человеческий детеныш еще не окончательно эгоистичен.

— Ты любишь детей? — спросила Ката, с беспокойством взглядывая на него.

— Мне еще не попадался ребенок, который бы мне понравился, — сказал Тони, смеясь, — но может быть, и попадется такой — твой, например.

— Ах, мой, — сказала Ката и тотчас же заговорила о чем-то другом.

Тони пошел в банк, чтобы получить по чеку деньги и проверить, имеет ли силу его новый аккредитив, а Ката тем временем примеряла сшитые для нее платья. Затем они

устроили новую оргию покупок, купили Кате яркий шарф и несколько носовых платков, шляпу, гитару и ноты и написали еще ноты из Лейпцига. Они не забыли купить тетради для рисования, карандаши и резинку — самую необходимую часть всего снаряжения, по словам Тони, и два тома Гейне и Ариосто, так как Тони внезапно решил, что ему хочется все это прочесть. Потом они сидели в кафе на пьядце, попивая лимонад со льдом и глядя на публику, пока не пришло время ехать домой. Заплатив за сшитые платья, они издержали еще около двух фунтов и чувствовали, что ведут роскошную и расточительную жизнь; и, конечно, больше чем два фунта стоили радости этого утра.

— Я рада, что мы живем наверху в горной деревушке, — сказала Ката, — хоть я люблю спускаться иногда на пьядцу. Люди такие забавные. Но я рада бежать прочь от них. Как можно быстрее, с тобою, Тони. Это не потому только, что ты попросту нужен мне, ведь ты знаешь, до чего я люблю быть вдвоем с тобой. Нет, это потому, что я боюсь.

— Боишься? Чего?

— Людей. Когда я вижу солдат или чиновников, мне всегда страшно, не собираются ли они нас разлучить. Это глупо с моей стороны?

— По-моему, иначе и думать нельзя. Мне самому кажется, что все люди нам враждебны. Но я думаю также, что они не могут больше вредить нам. Мы слишком мало знали, мы были слишком доверчивы, Ката. Нам совсем не надо было расставаться в 1914 году. Это была наша ошибка.

— Но мы не могли жить здесь, Тони.

— Нет, но мы поехали бы сразу в Вену, и ты спрятала бы меня где-нибудь в какой-нибудь маленькой гостинице, и мы не теряли бы друг друга из виду. Затем, когда ты была бы готова, мы могли бы вместе уехать в Англию. К началу войны мы уже были бы на Эе.

— Но Италия вступила в войну.

— Не сразу. Мы успели бы уехать в Испанию или Америку.

— Ты думаешь, будет еще война, Тони?

— Я бы хотел, чтобы ее не было, но это неизбежно, пока люди продолжают верить в своих ложных богов. Неверно, что война — «в природе человека», как утверждают идиоты; она навязана человеческой природе ложными понятиями. Она будет, но не сейчас.

— О Тони, что мы будем делать?

— Убежим, моя дорогая. Когда я увижу, что приближается война, вроде этой последней, мы сразу помчимся в самую нейтральную страну, какая только есть; если только там найдется для нас самый крошечный уголок. Но мы сегодня завтракали ужасами, не будем устраивать из них и обеда. Закон и война, и все это в один и тот же день, — нет, этого слишком много.

— Тони, обещай, что ты убьешь меня прежде, чем опять пойдешь на войну.

— Я не стану обещать ничего подобного, милая. Скоро я по старости лет не буду годиться для сражений. Кроме того, следующий раз с войной придется иметь дело людям штатским, и в этом — единственная надежда на мир и спокойствие.

Когда они вечером того же дня сели обедать, Тони сказал:

— Ты знаешь, Ката, мне бы хотелось сегодня попросить бутылку «стравекьо» у Баббо; мы не брали ни бутылочки с нашего первого завтрака, а ведь с тех пор прошло много чудесных месяцев. Мне следовало заказать бутылку вчера вечером, когда мы все вместе пили в честь возвращения Филомены. Взять одну бутылку и позвать их к нам в конце обеда?

— Достань вино, милый, но не зови их сегодня.

— Еще сюрприз?

— Ты не должен задавать вопросов. А вино достань. Я бы хотела.

— Вот хорошо. Мне так приятно, когда ты наслаждаешься благами жизни. Ты не скучаешь о своем австрийском вине?

— Нет. Я не скучаю ни о чем австрийском. Кроме того, я уже давным-давно не пила вина.

— Тебе приятно, что Филомена здесь? — спросил Тони, стараясь поскорее спровадить ненужные воспоминания. — Это была действительно ужасная сцена. Когда-нибудь в жизни приветствовали тебя так?

— Я рада, что есть человек, которому мы нравимся, Тони. Боюсь, что нас одобряют еще очень немногие.

— Они бы одобряли, если бы знали о нас все. И во всяком случае нам это безразлично.

— С нашей стороны было очень эгоистично не купить сегодня подарочка Филомене, — сказала Ката с сожалением. — Мне следовало бы вспомнить об этом.

— Ну, если уж говорить правду, я выбежал на минутку из музыкального магазина и купил ей шарф, — сказал Тони. — Самый яркий, какой только мог найти. Вот почему я предлагал пригласить их сегодня, но мы можем ей подарить его завтра утром.

— Подари ты сам. Она обожает тебя.

— Мы подарим его вместе и хором испоганим спич. «Мы просим вас о принятии этого элегантного шарфа, Филомена». Надо поупражняться. Ну, начинай: «Мы — просим — вас — о принятии...» Ты не должна смеяться, Ката, если не хочешь, чтобы мы оба рассмеялись при слове — «о принятии». Ну, начинай снова...

После того как они посидели некоторое время за кофе, Ката спросила:

— Сколько времени, Тони?

— Почти половина десятого.

— Слушай, ужасно мило с твоей стороны, Тони, предоставить мне командование, как ты это называешь. Я не очень изобретательна в отношении сюрпризов, но в конце концов великий ежечасный сюрприз — это то, что мы с тобой живем в этом прекрасном месте. Если бы ты настаивал, я бы в первую же ночь отдалась тебе, но это было бы через силу и совсем не так прекрасно, как я хочу, чтобы это было и как это и будет. Ты подарил мне эти дни и ночи только затем, чтобы я почувствовала близость к твоему телу, затем, чтобы я могла забыть все, что я должна забыть, и вот ты меня растрогал гораздо глубже, ты крепче привязал меня к себе, чем это могли бы сделать всяческие ухаживания. Все ли я сказала, чтобы выразить мою благодарность?

— Ты сказала больше, чем нужно, Ката, больше, чем я заслуживаю. И мне так легко исполнять твои желания.

— Однако так продолжать нельзя, — сказала Ката, — хотя у меня нет никаких глупых идей насчет того, что называется увенчанием брака. Так или иначе, сюрприз на сегодняшнюю ночь состоит в том, что я хочу, чтобы ты в десять часов пришел ко мне и чтобы все между нами стало по-другому.

— Что ты хочешь этим сказать?..

— Да, я говорю, что хочу, чтобы ты любил меня, как мы любили в то давнее время. Вот почему я говорю — приходи в мою комнату, потому что это там мы любили друг друга.

— Ты совсем-совсем убеждена, что ты того хочешь, Ката? Нет ли у тебя каких-нибудь предрассудков, будто мужчина страдает, будто это твой долг и так далее?

— Нет, мой дорогой. Все эти три ночи я была рядом с тобой и так мечтала о тебе. Мне хотелось соблазнить тебя. Но я хотела быть вполне уверенной. Я хотела, чтобы из моего сердца исчезла всякая горечь.

Она встала и прибавила:

— Приходи, когда пробьет десять, как только услышишь первый удар. Я буду ждать.

Колокола еще отзванивали последние удары, когда Тони осторожно открыл дверь Каты. Он увидел, что комната наполнена слабым рассеянным голубым светом, — так вот почему она обязательно хотела купить голубой шелковый шарф! Он сел на край кровати и нежно поцеловал Катю, а она лежала, улыбаясь ему, и глаза ее были ясные и открытые, и в них не было ни страха, ни печали.

— Ты хочешь, чтобы я лег рядом с тобой, Ката?

— Oh Herz, mein Herz! Ты помнишь, я говорила тебе это раньше? Да, я хочу, чтобы ты лег рядом со мной.

Он заключил ее в свои объятия и целовал ее без конца.

— Ты действительно хочешь меня, любимая? Может быть, лучше подождать?

— Нет, нет. Я хочу тебя теперь.

Тони ничего не сознавал, после того как заснул, пока не почувствовал на своей щеке лица и дыхания Каты и не услышал, как она сказала:

— Мой любимый, мой прекрасный, тебе надо уходить к себе. Давно рассвело, и Мария через несколько минут придет сюда с завтраком.

Но было невозможно уйти сразу, расстаться с Катой. Она лежала рядом с ним, облокотясь на подушку, и глядела в его глаза. Тони прижал ее к себе и прошептал:

— Ката!

— Да.

— Ты была счастлива прошлой ночью?

— Очень, очень счастлива. Нет слов.

— Все было как надо? Ты не грустишь?

— Нет, я счастлива совершенно, и я рада, и весь мир прекрасен.

— Я так любил, так любил тебя.

- А я тебя.
- Я хотел отдать тебе свою жизнь.
- Ты отдал ее.
- Я из-за этого люблю тебя сегодня еще больше.
- Тебя любят, Тони.
- Ведь это только начало.
- Да, только начало!
- Ты не сможешь разлюбить меня, Ката?
- Нет, никогда.
- Не умирай, Ката. Будем жить вечно. Хорошо?
- Да, и с каждым днем любить еще немного больше.
- Да. Ты прекрасная женщина, моя любимая, и в твоём теле живет богиня.
- И Бог в твоих руках.
- Я должен уйти сейчас.
- Да. Она явится через минуту.
- Поцелуй меня еще раз.

Тони вовремя добрался до своей комнаты, чтобы принять поднос, когда его принесли. Он с улыбкой заметил, что добрая и экономная Филомена поставила оба завтрака на один поднос. Тони перенес его на стол, поставил стулья, достал папиросы и передвинул деревцо в кадке, чтобы защитить место Каты от солнца. Не нужно было звать ее — она всегда слышала, как девушка спускалась вниз, и через минуту появлялась с собственным подносом. Ему было интересно, что она скажет, увидев присланный наверх компрометирующий поднос, — может быть, она сама гордо заказала его. Звук гитары донесся из сада под его террасой, и он сделал несколько шагов вперед, чтобы послушать. Тогда он услышал ясный голос Каты, распеваящей: «Wenn ich in deine Augen seh'». Как мило с ее стороны вспомнить эти слова, чтобы показать, что она счастлива своей любовью!

Когда песня окончилась, Тони через перила увидел, что Ката стоит внизу в своем новом халате с гитарой через плечо.

— Благодарю тебя, Трубадур, — сказал он.

Она взглянула вверх.

— А, ты здесь? Лови!

И она бросила ему маленький пучок цветов, который Тони поймал в воздухе.

— Вот цветы для вас, мой господин, а розмарин я вам даю на память.

— Благодарю тебя, Трубадур, — я ничего не забуду. Не фрейлейн ли Ката послала тебя спеть такую хорошенькую песенку?

— Я решила, что нечего все веселье любви уступать мужчинам, и поэтому сама спела aubade¹ своему возлюбленному.

— Как мне благодарить тебя, Трубадур?

— Дайте мне позавтракать, — ответила Ката прозаически. — Я сейчас поднимусь. Все готово?

— Да, молоко стынет.

— Я лечу наверх.

— Ката! — позвал ее Тони, когда она пустилась бежать.

— Да, — ответила она, останавливаясь и оглядываясь.

— Но теперь больше нет никаких — «so muss ich weinen bitterlich».

Ката отрицательно покачала головой и послала ему воздушный поцелуй.

XI

В прохладной темной комнате не было слышно ничего, кроме громкого стрекотания цикад; его ритм был настолько правилен, что ухо бессознательно разнообразило его. Было время дневной сиесты. Лежа рядом с Катой в полу-

¹ Утренняя приветственная песнь.

дремоте и слушая цикад, Тони подсчитывал дни и недели под аккомпанемент их чир-чир-чир. Он представлял себе, как они сидят утром на деревьях, входит цикада-дирижер, все встают и кланяются: «Доброе утро, джентльмены», «Доброе утро, Негг Никиш*», и начинают — чир-чир, чир-чир, чир-чир, и пиликают, как сумасшедшие. Отдавшись своему воображению, он сбился со счета, поэтому пришлось начать с самого начала, а треск цикад в саду тем временем звучал уже как громко плещущий фонтан. Середина мая — значит, они уже пять недель пробыли вместе. Он поднял голову, чтобы взглянуть на Катю, которая, подперев рукой темную голову, лежала спиной к нему. Как чудесны эти линии спины и бедер и согнутой ноги! Они струятся, как источник, превращенный в плоть. Что бы сказали постдарвинисты о причине, заставляющей цикад поднимать такой шум с утра до вечера? Ах да, они трещат, чтобы понравиться самкам. Значит, когда Веласкес писал Рокбайскую Венеру, он старался понравиться миссис Веласкес? Но Ката еще прекраснее. Как эти леди-цикады, должно быть, любят музыку, и как им, должно быть, трудно понравиться! А бедные самцы все лето поют — чир-чир, чир-чир, пока не падают мертвыми от истощения. Когда они находят время для любви? По ночам? Но ночью-то они не поют. И какие разговоры между девушками: «Ты собираешься выйти за Альфонзо, дорогая?» — «Нет, дорогая, он вчера сфальшивил, и я не могу поэтому выйти замуж за него». — «Ну ничего, дорогая, идем и выпьем коктейль из росы».

— Тони.

— Да, моя красавица.

— О чем ты думаешь?

— О тебе и Веласкесе, и сколько времени мы здесь, и о цикадах и фонтанах, и о коктейлях из росы.

— Обо всем сразу?

— Нет, но все это смешано вместе и называется «потомком сознания»*.

— Для кого коктейли из росы? Для меня? Или для Веласкеса?

— Нет, для бедных самок-цикад, они спиваются с горя, потому что их возлюбленные стрекотали фальшиво и теперь опозорены.

— О Тони, какие печальные истории! Бедные маленькие леди-цикады! Они так и не могут найти для себя возлюбленного?

— Им так надоедает свойственная их племени преданность искусству, что они заводят пылкие романы с древесными лягушками, и тогда им приходится постригаться и идти в лягушечьи монастыри, которые устроены под большими мухоморами.

Ката повернулась на спину, вытянулась, зевнула и подняла колено. «Удивительно, — думал Тони, — как мне хорошо с ней; ведь она всегда изящна, даже в свои наиболее бессознательные мгновения. Не думаю, чтобы в ней было много немецкого».

— Сколько сейчас времени, ваше лордство? — спросила Ката.

— Фрейлейн Катарина, разве я не говорил вам, что слово «лордство» не употребляется?

— Да, ваше лордство.

— Без десяти четыре, дорогая. Однажды мне пришлось пойти пить чай к одному старику, который только что получил первый титул. Служанка внесла чай, когда жены не было в комнате. Он окинул служанку грозным взглядом и сказал низким торжественным голосом: «Сообщите ее милости, что чай подан». И бедная служанка, которая нервничала как невеста, пропищала: «Да, ваше лордство». Он был в ярости. Наверное, они муштровали ее много дней и перестарались.

— Я не знала, что в Англии вы тоже разводите эту герр-гехеймратскую* галиматью, — сказала Ката, вставая с постели и приоткрывал ставень. Ее тело внезапно стало белозолотой статуей в луче солнца.

— Какие загорелые у тебя лицо, и руки, и лодыжки, Ката!

— Да, — сказала Ката, грациозно поворачиваясь перед зеркалом. — Я похожа на игрушечных свинок, белых с черными пятнами, не правда ли?

— О, что за богохульство! Почему у тебя такое гладкое и белое тело?

— Я вылупилась из яйца среди гиацинтов. Ты мне сказал это, иначе я бы не знала. Я хочу пить.

— Пойдем и съедим *cassata alla siciliana* в кафе, а потом потихоньку пойдем к нашему бассейну.

— О да, это будет чудесно. Кто выдумал *cassata*, Тони? Это, наверное, был удивительный человек.

— Это был сицилийский поэт при дворе Фридриха Второго, — ответил Тони, тут же на месте сочиняя. — Его мать была сарацинская эмирша, а отец — норманнский рыцарь. И он влюбился в девушку Византии, которая объедалась мороженым, как некоторые другие дамы. И однажды она сказала ему: «Ты всегда поешь о моих глазах, и волосах, и руках, — почему ты хоть раз не сделаешь чего-нибудь практического? Я не допущу тебя к моей постели, пока ты не изобретешь мороженого, такого же замечательного, как я сама, если верить твоим словам». Поэтому он ушел и выдумал *cassata alla siciliana*.

— Ты думаешь, что девушка сверху была твердая, а дальше сплошной крем? — спросила Ката задумчиво. — О Тони, ты заставляешь меня говорить глупости. И не сообщите ли вы его лордству, что пора вставать. Я почти одета.

* * *

После прохладной темной комнаты солнечный свет во дворе, отражавшийся от белых стен и пыльной дороги, казался ослепительным. И зной — прямая и лучистая теплота — был свиреп. Ката надела темные очки и раскрыла зонтик, чтобы защитить и себя и Тони. Но все равно дорога до кафе показалась им длинной и очень жаркой.

— Знаешь, Ката, — сказал Тони, когда они заказали мороженое, — становится действительно слишком жарко, моя дорогая. Мы не сможем здесь оставаться долго.

— О, не говори этого, Тони. Я так счастлива на Эе и хотела бы всегда жить здесь.

— Мы не сможем всегда жить на маленьком острове. Мы заболели бы черной меланхолией и стали бы писать романы. Но я постараюсь завтра отыскать виллу, если ты действительно хочешь остаться здесь.

— О нет, я люблю наши маленькие комнатки и Филомену. Но, вероятно, нам действительно пора уезжать. Однако мы все-таки вернемся сюда, правда, Тони?

— Да, мы вернемся сюда. Я уже все обдумал, Ката. Но сначала скажи, куда бы ты хотела ехать.

— Куда угодно, только бы с тобой, но Австрия исключается, хотя я могла бы быть счастлива с тобой и там. Куда угодно, только не в Австрию.

— Разве нет такого места, куда бы ты хотела ехать?

— Есть, есть, это место — куда хочешь ехать ты.

— По нескольким причинам нам нельзя всегда жить на Эе, — сказал Тони, улыбаясь ей. — Одну я только что привел. Затем, летом здесь слишком жарко и слишком холодно зимой, как говорила мне Филомена. Малярии нет, но никак нельзя сказать, не собирается ли какой-нибудь сицилиец импортировать сюда анофелеса в своей бороде, и затем, здесь водится какой-то летний микроб, который творит прямо-таки ужасы у вас в животике. Влюбленные

не должны страдать несварением желудка, на этом и держится статистика их долголетия. Наконец, при существующем режиме не так-то легко снять дом — налоги, налоги везде, и чиновники лезут к вам, как сумасшедшие. Кроме того, плохо жить во владениях фашистского режима слишком долго.

— Ты описываешь наш остров довольно мрачно.

— Это для того, чтобы никто сюда не ездил. Я предлагаю следующее: мы уговоримся с Филомелой, чтобы она всегда сохраняла для нас эти две комнаты на апрель и май; март тоже, если хочешь, но март здесь почти всегда сырой. Мы будем всегда приезжать сюда на один из наших ежегодных медовых месяцев. Я слишком хлопочу, Ката?

— Нет, мне грустно, что нельзя таскать за собой Эю сообразно времени года. Но это ничего. Куда мы поедem теперь?

— Что ты думаешь о Париже?

— Париж! — воскликнула Ката. — Это было бы довольно мило. Я не была в Париже с тех пор, как мне исполнилось восемнадцать лет. Но там не станут грубо обращаться с бошем, даже если это австрийский бош, как я?

— Ничуть. По правде говоря, там теперь что-то вроде культа немцев, но вести дела с чиновниками буду я. У меня есть друзья во Франции. Я думаю о Париже по многим причинам. Мне кажется, что в Европе есть только четыре либеральных и устойчивых страны: Швейцария, Голландия, Англия и Франция. Бельгия для меня то же, что и Голландия, а скандинавские страны слишком далеко на севере и, значит, годятся только для летней поездки. Ну, нам необходимо какое-нибудь постоянное местечко для всей той ценной интимной ерунды, которая у нас накопится и которой мы не захотим бросать. Нам необходимо место, где бы мы могли проводить лето и зиму. Наверное, мы сможем найти для себя маленький домик где-нибудь на юго-запа-

де Франции. Домик снимем подешевле, чтобы время от времени мы могли заколачивать его на несколько месяцев и остаток года путешествовать где-нибудь или приезжать на Эю. Что ты думаешь об этом?

— Кажется, это хорошо, Тони. Ты, как волшебник, можешь вынуть из рукава целую французскую деревушку?

— Нет, только один район. Ты умеешь управлять автомобилем, Ката?

— Умела перед войной, Тони, но с тех пор, кажется, даже не ездила в автомобиле ни разу.

— Ну, ты скоро вспомнишь, а я научусь. Я думал о Париже по нескольким причинам. Это самый сильный из всех возможных контрастов для Эи, и там мы можем повидать людей. Да, ты должна рискнуть на это, дорогая, мы не должны жить совсем одиноко. Потом я подумал, что попрошу моего друга Крилена купить нам автомобиль, — ты знаешь, из тех маленьких французских, которые напоминают римский саркофаг на колесах. Тогда мы могли бы поехать в Брутэн и посмотреть всю страну. А если в этом году мы не найдем идеального для себя места, то найдем его через год, через два. Что касается Парижа, то мы проведем там не больше двух недель, но ведь приятно послушать музыку, не так ли? И увидеть, что делают художники, и посмотреть Лувр? И выпить немножко французского вина? И — может быть — купить Кате несколько платьев?

— Тони, какой ты искуситель! По-моему, ты настоящий змий, который искушал Еву. Ты заставляешь испытывать желание сорвать запретное яблоко Париса — Парижа. Я и не мечтала увидеть снова этот город.

— Тогда решено. И нам не надо слишком строго держаться наших планов, Ката. Мы их всегда будем менять, если подвернется что-нибудь получше. Ты когда-нибудь ездила пароходом из Неаполя в Марсель?

— Нет.

— Это приятно, если море спокойно, а сейчас оно должно быть спокойное. Я думаю, тебе понравится. Мы так и поедем, и возьмем каюту с двумя постельками, и будем спать в одной из них. Посмотреть в неаполитанской газете расписание пароходов?

— Да.

— Вот, — сказал Тони, перелистывая газеты, — есть пароход двадцатого. Сегодня четырнадцатое. Это слишком рано?

— Слишком рано, я так боюсь, что с отъездом отсюда разобьется моя маленькая чаша счастья, Тони. Но хорошо, хорошо, поедем. Только будь все время близ меня и держи меня за руку ночью, чтобы мне даже и во сне не приснилось, что я теряю тебя.

Солнце пекло так сильно, что они никак не могли решиться выйти на берег из бассейна, расстаться с прозрачной водой, и в конце концов опоздали к обеду. Тони говорил, что они находятся тремя градусами южнее Неаполя, что солнце будет припекать все жарче до самого сентября, что на Эе задерживаются все африканские ветры и что, хотя вечерами будет прохладно и свежо, все же им придется проводить в доме больше, чем половину дня. И Ката с сожалением соглашалась с ним.

Во время обеда Тони был молчалив и, видимо, занят чем-то; Ката не делала попыток начать разговор. Она наслаждалась случайными минутами молчания, когда она могла чувствовать себя в прекрасном единении со своей любовью, и ей не нужны были слова, чтобы высказать все это. Наконец, уже перед тем, как ложиться спать, Тони сказал:

— Я думал, Ката...

— Я заметила, дорогой.

— Я был очень скучен? Прости.

— Нет, мне понравилось. О чем же ты думал?

— О тысяче вещей. Не уверен, что смогу обо всем рассказать словами. Тебе придется читать между строчками. Как глупы люди, болтающие об упрощении языка! Нам нужен язык гораздо более изысканный и сложный.

— Это ты об этом думал?

— Нет, это отступление. Прежде всего, ты считаешь, что сегодня я слишком поглощен устройством всяких дел?

— Нет, мой дорогой. Ты всегда устраиваешь так, как мне нравится, а если случайно мне что-нибудь и не нравится, то ты всегда с ангельской добротой заявляешь, что тебе это тоже не нравится.

— Нам почти всегда нравятся одни и те же вещи, Ката! И все же есть между нами разница, которая создает очарование, и даже большее очарование, чем создало бы наше сходство. Здесь дело не только в твоей женственности, хотя твое женское существо для меня постоянная неожиданность и чудо. Нет, здесь дело в том, что ты чувствуешь иначе. А можно мне устроить еще кое-что сегодня?

— Можно. А что?

— погоди минутку. Чувствуешь ли ты в своей крови приливы и отливы, волнообразные ритмы на фоне большого нескончаемого прибоя?

— Да.

— И я тоже. И мне уже кажется, что ритм моей крови изменился, и она отливает и приливает вместе с твоей.

— Да, я чувствую тоже, как мой ритм потихоньку меняется. Мы приспособились друг к другу, желая быть в согласии друг с другом.

— Мне кажется, это очень важно, Ката, хотя закон не понимает этого и даже не признает.

— Это больше, чем важно. Это божественное чудо, чудо чувств. Это возвращает к жизни.

— Да, это возвращает к жизни, — сказал Тони, — быстро взглядывая на нее. — Теперь пойдем спать? А мне можно прийти в твою комнату?

— Ну конечно.

Когда позже он пришел к ней, Ката сидела на краю кровати, и на ней было только ожерелье, которое он подарил ей на «жизнь в любви».

— Как я тебе нравлюсь в этом костюме? — сказала она весело.

— Ты очаровательна. Мне этот костюм нравится больше всех твоих платьев.

— Ты бы хотел, чтобы я в нем отправлялась на прогулку?

— Если бы все люди были иначе устроены, если бы они умели в красоте воспринимать прекрасное тело, но они оскорбят тебя своими грязными взорами и грязными мыслями. Века пройдут, прежде чем отмоешь все это.

Он подошел к ней, стал перед ней на колени и начал целовать ее, а она оперлась рукой о его плечо и гладила его волосы.

— Ката!

— Да.

— Ты помнишь, как мы молча сидели вместе на террасе к вечеру второго дня после моего приезда?

— Помню.

— Я думал об одной вещи, и, кажется, ты поняла меня, потому что ты протянула руку и коснулась моей. Я хотел бы знать, угадала ли ты?

— Что же это было?

— Нечто такое, чего я никогда не испытывал раньше, странное стремление к тебе и к тому, что превосходит тебя. Это ощущение часто посещало меня в эти недели, и оно меня снова охватило сегодня вечером, с такой силой, что я должен был заговорить о ритме в нашей крови.

Ката не ответила, но перестала гладить его голову и обняла за плечи.

— Я, кажется, хочу просить тебя об одной вещи, — сказал он на ее молчание. — Просить тебя о том, что кажется мне столь прекрасным. Это не должно свершиться сейчас, ни даже в этом году или в следующем. Вообще не надо этого, если ты не хочешь.

Он почувствовал, как ее руки внезапно впились в его плечи, и подумал, что она угадала его желание и разделяет его. Но он не взглянул на нее и продолжал:

— Нет, этого не нужно совсем, если ты не хочешь. Помни это. Его не должно быть, пока ты не станешь желать того же еще сильнее, чем я желаю.

— Что же это? — спросила Ката быстрым, задыхающимся голосом.

— И если это произойдет, то пусть оно произойдет в этой же комнате. О Ката, ты помнишь, что ты сказала, когда я первый раз пришел сюда к тебе? Ты должна это помнить. Но ты и не подозреваешь, как глубоко я был тронут, как был тронут даже незрелый мальчик тех дней, когда ты сказала так прекрасно и просто: «Хочешь ли ты дать мне ребенка этой ночью?»

Он ждал, что она ответит ему, но она ничего не сказала, только ее руки сжимали его все крепче и крепче, и она все нагибалась вперед, пока ее лицо не прижалось к его плечу и ее густые черные волосы не легли ему на щеку.

— Ката! Что такое? О моя дорогая, я причинил тебе боль? Ах, зачем я заговорил об этом!

Она подняла голову и отклонилась от него, и его встревоженный взор встретился с ее глазами. К своему ужасу, он увидел, что печаль и страх, исчезнувшие, как он думал, навсегда, вернулись к ней.

— О Ката! Что я сделал? Я нечаянно ранил мою любимую?

— Ты ни о чем не знал, Тони, и ты был вправе говорить. Это я ранила самое себя. Погляди мне в глаза, Тони. Когда я исповедовалась тебе, я не решалась встретиться твой взгляд. Теперь ты сделал меня достаточно сильной, чтобы вынести твою горе, даже твой гнев.

Он хотел протестовать, но она не дала ему говорить.

— Я исповедалась тебе в то утро, но моя исповедь была неполной. О Тони, поверь мне, это был не обман, это не был расчет. Я забыла. И я забыла потому, что была так напряженно счастлива, мне стало так легко, меня так затопила твоя нежность ко мне, твое великодушие. Верь мне, — скажи, ты веришь мне?

— Я усомнился бы скорее в себе, чем в тебе, Ката. Я пошел бы в огонь, если бы ты сказала, что он не обожжет. Твоему слову я поверил бы, даже если бы весь мир твердил обратное. Но, Ката, Ката, не мучься, не надо. Забудь о моей просьбе. Забудь, забудь! Как бы я хотел, чтобы моих слов не было!

— Надо было сказать это, Тони. И в одном отношении я рада, что ты начал этот разговор, — пусть даже то, что я должна сказать тебе, заставит нас разлучиться. По крайней мере, я буду знать, что значит жить. И даже если это разлучит нас, я буду всегда любить и благословлять тебя.

— Разлуки не будет, Ката, расставания не будет. Не говори, не думай об этом.

— Подожди. Ты не мог не заговорить об этом, потому что и мое сердце посещало время от времени это томление и затем мука, острый нож для моей любви, стоило мне только подумать об этом. Тони, я рассказывала тебе о тех страшных днях в Вене.

— Да, но я надеялся, что они забыты.

— Да, они забыты, но я должна снова вспомнить о них. Тони, я так боялась, что у меня может родиться ребенок! Из армии возвращались доктора такие добрые, такие по-

нимающие, такие снисходительные. Один был другом моего брата, он пожалел меня и выполнил мою просьбу — и вот никогда у меня не будет ребенка. О Тони, Тони, а я хочу иметь ребенка от тебя!

На мгновение Тони застыл от жалости и ужаса и не мог сказать ни слова, не мог шевельнуться; затем, когда он немного пришел в себя, он понял, что нужно одно — утешить ее, успокоить ее, такую одинокую, такую несчастную, а она все сидела, закрыв глаза руками.

— Ката! Посмотри на меня, посмотри на меня. Да не отворачивайся! Разве ты не видишь, что все, все и теперь хорошо, — не видишь? Ты не видишь, что все это совсем не изменило нашей любви? Я чувствую лишь печаль о выстраданном тобой и скорбь, что именно я среди всех людей мог так грубо коснуться твоей старой раны. Но понимаешь ли ты? Теперь или никогда мы должны быть искренними, и этой ночью мы должны решить раз навсегда, что это не будет причинять нам боли, не станет ядом в нашей крови. С моей стороны было эгоизмом думать о плоде, когда я владел прекраснейшим цветком. Я поверил тебе сейчас и сказал, как я верю в тебя. Верь мне, когда я говорю, что владеть цветком, владеть тобою — достаточно для счастья целой жизни, более чем достаточно, сверх меры, с избытком, — верь мне, что я больше никогда не вспомню об этом. «Он уходит от меня, он презирает меня, потому что я бесплодная женщина» — пусть подобная мысль никогда не посетит тебя, в ней не будет правды. Не ты и не я повинны в этом несчастье, ты веришь мне?

Ката наклонилась к нему и поцеловала его в порыве нежности и сожаления.

— О Тони, я верю тебе, я доверяю тебе! Я не буду больше страдать, думая об этом. Но, Тони, Тони, как горько моему сердцу знать, что они отняли от меня даже нашего ребенка!

XII

В последний вечер перед отъездом с Эи Ката и Тони поднялись на гребень горы, чтобы сверху поглядеть на весь остров и попрощаться с ним до нового приезда следующей весной. Солнце, как золотой лев, медленно ползло к западу, и весь воздух, казалось, был океаном ясного света. На нижних склонах горы царил палящий зной, и пение цикад из олив походило на сумасшедший оркестр скрипачей, непрерывно наигрывающих все те же две ноты. Но по мере того, как Тони и Ката поднимались все выше и выше, а солнце спускалось все ниже, воздух делался холоднее, и затихало пение цикад. Как бы занавешенные этим пением, приплывали звуки из деревни — крики играющих мальчиков, звон наковальни, гудение церковного колокола, отбивающего полчаса. В позднем вечернем свете горело спокойное море, без единой волны; оно было все в полосах, похожих на потоки или на след корабля, эти полосы, как оправа из эмали, окружали драгоценности отдаленных островов. Сицилию нельзя было видеть, только большие грозовые тучи, белые и окаймленные бронзой, висели над невидимым мысом. С каждым шагом подъема остров становился все виднее, и смягчались звуки, доносящиеся снизу; и когда, наконец, Тони и Ката остановились на вершине, кругом было молчание, нарушаемое только пронзительными криками стрижей. И тогда снова у их ног распростерлась Эя, как большая раскрашенная рельефная карта.

Они сели в тени разрушенной церковной стены, вдали от деревни, и смотрели на безграничное море, на котором не виднелось ни единого паруса. Ката закрыла зонтик со вздохом облегчения.

— Какая длинная трудная прогулка и как было жарко! — сказала она. — Зато сейчас удивительно прохладно и ясно.

— Да, но я рад, что захватил с собой вот это, — сказал Тони, вынимая из рюкзака бутылку белого вина и два стакана. — Будем пить сейчас или подождем?

— О, подожди, сначала остынем и отдышимся.

Тони поставил бутылку в тень, и они несколько времени сидели молча, следя за невероятно быстрыми кругами, которые чертили стрижи, да глядя в бездонное небо. «Действительно, жаль оставлять все это, — думал Тони, — но как душен воздух в полдень. Кроме того, вдруг мы неожиданно заболеем!» И затем он погрузился в мечтания, в которых было больше ощущений, чем мыслей. То были ощущения воздуха, неба, моря, ощущение живой скалы под его телом, ощущение горного гребня, который казался таким неподвижным, а на самом деле несся через пространство, ощущение присутствия Каты.

Наконец он повернулся, чтобы поглядеть на Катю, и увидел, что у нее довольно задумчивый вид.

— Грустишь, Ката?

— Нет, — ответила она, взглядывая на него и улыбаясь, — не грущу, а только думаю.

— О чем?

— О тысяче вещей. О том, что мои дни в Вене — погубленные дни.

— Не совсем погубленные, Ката. Мы все время приближались друг к другу.

— Если бы мы только знали это! Но неужели все эти годы ожидания прошли бы от этого скорее? Мы могли бы с ума сойти от нетерпения, пока дождались бы.

— Да. Пожалуй, лучше было не знать. У тебя еще какие-нибудь мысли?

— Ты ни о чем не сожалеешь, Тони? Я не причиняю тебе печали? Ты не чувствуешь беспокойства? Может быть, тебе не хватает чего-нибудь?

— Нет! Я хочу жить, и я хочу видеть различные вещи, делать различные вещи, хочу отождествиться с ними, но всего этого я хочу ради тебя. И я ни на что не променял бы тебя. Ни на что! Если бы дьявол появился внезапно, и показал мне все города земли, и предложил мне власть над ними взамен тебя, я бы...

— Что?

— Послал бы его к черту.

— У меня в сердце только одно маленькое беспокойство, Тони.

— Что, милая Ката?

— Я думаю, об одном ты все-таки сожалеешь.

— Ты говоришь о плоде? Нет, нет, мой цветок. Отбрось всякий страх. Я не сожалею об этом!

— Ты уверен?

— Настолько уверен, что даже никогда не думаю об этом. Кроме того, я был бы никудышным отцом.

— О Тони!

— Да, никудышным. Я был бы уверен, что твой ребенок окажется совершенством, а так как этого, очевидно, не произошло бы, то я был бы тираном. Нет большего тирана, чем любящий родитель, который считает, что его младенец должен быть совершенством. Поверь мне, мы всего лучше такие, какие мы есть.

— Как ты научился любить, Тони?

— А ты как? Этому не учатся, это дано или не дано. Все зависит от того, что ты за человек. Как раз после войны я читал в газете о четырех солдатах, которым понадобилась одна и та же девушка. И ты знаешь, как они уладили дело?

— Нет.

— Они выложили свои деньги, и девушка пошла к тому, у кого их было больше. К счастью, человеческая природа сразу же заявила о себе, и они начали ссориться, и их арестовали. Но как это чудовищно! Если бы кто-нибудь появился и сказал: «Ката, у меня в десять раз больше денег, чем у Тони, идем». Ты пошла бы?

— Я сказала бы ему то самое, что ты сказал бы дьяволу.

— Выпьем вина? Да? Надо выпить за что-нибудь. За что?

— За Эю, разумеется.

— Разумеется. И за наше будущее?

— Да.

После нового долгого молчания Ката сказала:

— Мне кажется, что на этом горном кряже живет какая-то очень деликатная и робкая маленькая богиня.

— Маленькая богиня? А может быть, внушительное божество мужского рода? Но нет, ты права, это робкая богиня, которая всегда прячется под большими белыми облаками... Слушай! Звонят ко всеобщей. Нам надо возвращаться. Девять раз пропели «Богородице-дево-радуйся» и два раза «Отче наш». Владыка Аполлон, ныне отпускаеши рабов твоих с миром. Тебе жаль уезжать, Ката?

— Как не жалеть? И потом, отъезд с Эи всегда заставляет сжиматься мое сердце. Я думаю о других отъездах и о том, как мы уезжали вместе счастливые, такие молодые и доверчивые. И мне немного страшно. Тони, ты действительно считаешь, что жизнь может и дальше оставаться такой же прекрасной, что она не потускнеет, не будет испорчена?

— Не будем слишком заглядывать вперед, моя Ката. Заглядывая вперед, мы должны будем увидеть и неизбеж-

ный конец, а это не под силу нашему взору. Мы были разлучены и были несчастны, теперь мы вместе и счастливы. Будем довольствоваться сегодняшним днем, нам этого достаточно. Самая наша трудная задача в том, чтобы беречь свою любовь от мира и людей. Пусть они простят нам счастье, которое мы себе построили, а мы простим им горе, которым они омрачили нашу жизнь. А теперь пойдем.

ПРИМЕЧАНИЯ

А в г у с т (63 до н.э. — 4 н.э.) — первый римский император.

А г а г — царь амалекитян, побежденный и взятый в плен Саулом, царем израильским, а затем умерщвленный пророком Самуилом.

А л ь д е б а р а н — звезда первой величины в созвездии Быка.

А л ь с а т и я — латинское название Эльзаса.

А м ь е н с к и й м и р — заключен в 1802 г. между Англией, Францией, Испанией и Батавской Республикой.

А н а к о н д а — крупная змея из семейства удавов.

«А н г е л» — знаменитая старая гостиница в Лондоне с изображением ангела на вывеске.

А п п и е в а д о р о г а (Via Appia) — знаменитая дорога, проложенная римлянами в 312 г. до н. э. из Рима в Капую, а впоследствии доведенная до Бриндизи.

А р и э л ь — дух воздуха, персонаж шекспировской драмы «Буря».

А с с и з и — в средней Италии, родина Франциска Ассизского (основателя ордена францисканцев), с построенной в XIII в. готической церковью его имени, украшенной фресками Чимабуэ и Джотто.

А т а л а н т а — жительница Аркадии, воспевается в греческих сказаниях как охотница, искусная в стрельбе из лука; героиня классической трагедии Суинберна.

А т т и к (I в. до н.э.) — римский писатель, прославившийся тем, что умел дружить с представителями самых противоположных политических партий.

Б а й и — модное место отдыха знати в эпоху Римской империи.

Б е к и н г е м с к и й д в о р е ц — лондонская резиденция королей.

Б е р л и ц — изобретатель особого метода обучения иностранным языкам (без пользования родным языком).

Б е р н и н и — знаменитый итальянский скульптор, художник и архитектор XVII в.

Б л а н Л у и (1811—1882) — французский политический деятель, историк и теоретик утопического социализма, отстаивавший идею солидарности интересов пролетариата и буржуазии.

Б л у а — французский город на реке Луаре. Богат архитектурными памятниками XIII—XVI вв.

Б л э д — возделанный участок земли (арабск.).

Б о н д - с т р и т — одна из лучших улиц Лондона.

Б о р р о м и н и — итальянский архитектор и скульптор XVII в., времен глубокого упадка итальянского Ренессанса.

Б р а м м а д ж е м — бирмингемская подделка.

Б р о у н и н г Р о б е р т (1812—1889) — крупнейший английский поэт XIX в.

Б р о у н и н г Э л и з а б е т (1806—1861) — английская поэтесса и переводчица.

Б р у м — двухколесный или четырехколесный экипаж особого устройства, впервые введенный лордом Брумом в начале XIX в.

В а з а р и (1511—1574) — итальянский живописец, архитектор и писатель.

Веласкес (1599—1660) — испанский живописец.

Веллингтон (1709—1852) — английский полководец. Во время битвы при Ватерлоо 18 июня 1815 г. с нетерпением ждал прибытия прусских войск Блюхера или наступления ночи.

Вендетта — распространенный в прежнее время на Корсике обычай кровной мести, приводивший к многолетней вражде между отдельными семьями.

Веронезе (1528—1588) — один из живописцев венецианской школы.

Верцингеторикс (1 в. до н. э.) — вождь галлов в их борьбе с Римом за независимость.

Виктор Эммануил (1820—1875) — итальянский король, при котором произошло объединение Италии.

Вордсворт (1770—1850) — английский поэт, глава «озерной школы».

Галахэд — сын Ланселота, одного из рыцарей Круглого стола короля Артура, воспетого в норманнских сказаниях.

Ганновер-сквер — фешенебельный квартал в Лондоне.

Гассенди (1592—1655) — французский физик, математик и философ.

Гвидо Рени (1575—1642) — итальянский художник, мастер церковной живописи.

Геа — древнегреческая богиня земли, у римлян — Теллус.

Гехеймрат — тайный советник (нем.).

Гиббон (1737—1794) — английский историк, автор знаменитой «Истории упадка и разрушения Римской империи».

Гладстон (1809—1898) — знаменитый английский политический деятель, вождь либеральной партии.

Г о й я (1746—1828) — живописец испанской школы.

Г о ц ц о л и (1420—1497) — итальянский художник.

Г ю и с м а н с (1848—1907) — французский писатель.

Д ж и г а — музыка к английскому народному танцу, исполняемому в быстром темпе. Впервые появляется в XVI в.

Д ж и н е в р а — жена короля Артура, героиня сказания о Ланселоте.

Д ж о р д ж о н е (ок. 1478 — ок. 1510) — живописец венецианской школы. Его творчество легло в основание стиля так называемого Высокого Возрождения.

Д ж о т т о (1266—1337) — знаменитый итальянский художник, родоначальник итальянской живописи, друг Данте.

Д и з з и - Б е н ж а м и н Д и з р а э л и (1804—1881) — граф Биконсфилд, английский писатель, государственный деятель, консерватор, поборник свободы торговли, с именем которого связано начало расцвета английского империализма.

Д и о к л е т и а н (245—313) — римский император, преследователь христианства.

Д о н а т е л л о (1386—1466) — итальянский скульптор, глава флорентийской школы.

Д о н и ц е т т и (1797—1848) — итальянский оперный композитор.

Д у к д а м — древнегреческое заклинание, которым созывают глупцов (Шекспир, «Как вам это понравится», акт II).

«З в е н я щ и й о с т р о в» — одна из частей знаменитого романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», где действие происходит на острове с содержащимися в клетках пестрыми птицами; под видом этих птиц сатирически высмеяны представители духовенства, схоластической учености и т. д.

И э х у — в «Путешествиях Гулливера» Свифта дикие существа, живущие в рабстве у гуимигнов.

И з и д а (Искательница) — одна из главнейших богинь древнеегипетского пантеона, сестра и жена бога Озириса. Последний, согласно мифу, был убит Сетом, рассеявшим по земле части его тела. Изиды разыскивает их и предает погребению.

И л и с с у с — река в Древней Аттике.

И л ь - д е - Ф р а н с — французская провинция, занимающая центральную часть Парижского бассейна (историческое ядро Франции).

К а л е н д ы — переходящие начальные дни месяцев римского календаря. Ждать «греческих календ» — значит ждать несбыточного, так как в Греции календ не было.

К а л и г у л а (37—41) — римский император. Сумасбродный деспот, возведенный на престол войсками.

К а л л и м а х (V в. до н. э.) — греческий скульптор.

К а м п а н ь я — болотистая равнина, окружающая Рим и простирающаяся на юг от него вдоль моря.

К а п о р е т т о — в Юлианских Альпах, место поражения итальянских войск осенью 1917 г. во время империалистической войны.

К а р д у ч и — итальянский поэт эпохи объединения Италии, певец национально-освободительного движения.

К а р н а в а л е — один из парижских музеев, в котором собраны предметы, относящиеся к истории Парижа.

К а р р ь е (1756—1794) — член французского Конвента, один из учредителей революционного трибунала.

К а с л р и (1767—1822) — английский государственный деятель, заклятый враг французской революции и Наполеона.

К а т и л и н а (I в. до н. э.) — римский политический деятель, пытавшийся захватить власть, опираясь на обездоленных и безземельных.

Кенсингтон — аристократический квартал в западной части Лондона.

Киммерийцы — народ, кочевавший в VIII—VII вв. до н. э. на северном берегу Черного моря.

Китс (1796—1821) — английский поэт.

Коули (1618—1667) — английский поэт и один из образованнейших людей своего времени.

Коупер (1731—1800) — английский поэт, противник всякой риторики, один из основоположников английского «возрождения поэзии».

Кус - кус — арабское кушанье.

Кьянти — дешевое итальянское красное вино, обычно подаваемое в оплетенных соломой бутылках.

Лэндор (1775—1864) — поэт, представитель неозелинизма в английской поэзии.

Ля - Рошель — укрепленный город во французском департаменте Шаранты. Известен архитектурными памятниками (арсенал, готическая ратуша).

Мальборо (1650—1722) — английский полководец и государственный деятель.

Маффия — тайное политическое реакционное общество в Сицилии, возникшее в начале XIX в. и совершившее множество убийств. Жертвами Маффии пали многие вожди рабочего и крестьянского движения.

Мегарон — святая святых в древнегреческих храмах.

Мем-Сагиб — индийское обращение к жене начальника.

Меншен-хауз — резиденция лондонского лорд-мэра.

Метюен — британский посол в Лиссабоне, заключивший в 1703 г. торговый договор с Португалией, предусматривавший между прочим снижение ввозных пошлин на португальские вина по сравнению с французскими.

М и д л с б о р о — город в Англии при устье реки Тим, в графстве Йорк.

М о р р и с У и л ь я м (1834—1896) — английский поэт, художник и общественный деятель, пропагандировавший внедрение эстетики в практическую жизнь.

М э й ф к и н г — место поражения англичан в бурскую войну 1899—1900 гг.

М э т ь ю А р н о л ь д (1822—1888) — английский поэт и критик.

Н а в у ф е й — упоминаемый в Библии владелец виноградника, который был отнят у него незаконно царем Ахавом по наущению Иезавели.

Н е п о т и з м — продвижение родственников и покровительство им по службе.

Н е ф (иначе — корабль) — продольная часть церковного здания, отделенная от других рядом колонн.

Н и к и ш А р т у р (1855—1922) — немецкий дирижер.

Н и м — главный город французского департамента Гард. Славится римскими древностями: башней, храмами и амфитеатром по образцу Колизея.

Н и м ф о л е п т — одержимый, охваченный экстазом.

О д е о н — у древних греков здание, предназначенное для увеселений и состязаний; название одного из парижских театров.

П а л м е р с т о н (1784—1865) — английский государственный деятель. Руководитель внешней политики, борющийся за мировое преобладание английского капитала.

П а р ф я н с к а я с т р е л а — древние парфяне, сражаясь, часто обращались в притворное бегство, а затем внезапно осыпали врага тучей стрел. Отсюда выражение «парфянская стрела», означающее язвительное замечание,

неожиданно бросаемое человеком, как будто уже уступившим в словесном споре.

П а т и н а — налет на старинной бронзе (и других металлах), придающий ей зеленоватый оттенок.

Пеготти — один из персонажей романа Диккенса «Дэвид Копперфильд».

Пенджен Друм — персонаж из романа Диккенса «Крошка Доррит».

Пиндар (ок. 522—443 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.

Пинчио — самый северный из римских холмов, любимое место прогулок, богато украшенное статуями; там же знаменитые виллы Медичи и Боргезе.

Питт Уильям (Билл) Младший (1759—1806) — английский государственный деятель. Во внутренней политике провел ряд реакционных мер для борьбы с рабочим движением. Подавил ирландское восстание 1798 г., участвовал в организации общеевропейской коалиции против Наполеона.

Плиний - старший (23—79) — римский писатель и ученый, автор «Естественной истории», представлявшей собой энциклопедию знаний, накопленных Древним миром.

Помпадур (1721—1764) — фаворитка французского короля Людовика XV.

Поп (1688—1744) — английский поэт, представитель классической школы, переводчик «Илиады», искаживший, однако, простой стиль Гомера и заменивший его «изящным» языком салонов.

Поток сознания — термин из философии Бергсона.

Прерафаэлиты — группа английских художников и поэтов, образовавшаяся в начале 50-х гг. XIX в. с целью борьбы против условности в английском искусстве, против академизма и слепого подражания классическим образцам (Данте-Габриель Россети, Холман Хэнт и др.).

Птеродактиль — ископаемый летающий ящер.

Путней — одно из лондонских предместий.

Пьеро ди Козимо (1462—1521) — флорентийский художник, склонный к фантастической трактовке сюжетов и ландшафтной живописи.

Пьяве — река, впадающая севернее Венеции в Адриатическое море. Место кровопролитных сражений в империалистическую войну.

Ракка — библейское слово, обозначающее брань по адресу ближнего.

Рамазан — 9-й месяц мусульманского лунного календаря, с конца февраля до конца марта. В продолжение Рамазана мусульмане воздерживаются днем от пищи и питья.

Рескин (1819—1900) — английский писатель и теоретик искусства, близкий к прерафаэлитам, противник индустриализма и поборник эстетизма.

Рестаурация — возвращение Стюартов после смерти Кромвеля в 1660 г. на британский престол.

Ринг — квадратный, обнесенный веревкой помост для бокса.

Ричард III Горбатый (1452—1485) — английский король и герой одноименной трагедии Шекспира.

Россетти Кристина (1830—1891) — английская писательница, автор стихотворений и рассказов, частью иллюстрированных ее братом Данте-Габриелем Россетти.

Руперт (1619—1682) — принц, родственник английского короля Якова I и участник его войн с парламентом.

Саузкотт Джоанна (1750—1814) — англичанка, выдававшая себя за невесту Христа и перед смертью объявившая своим последователям, что вскоре родит нового Мессию.

С в е т о н и й (II в.) — римский писатель, автор «Жизнеописания двенадцати цезарей». Писал также об ученых и художниках своего времени.

С е л и н у н т а — древняя мегарская колония на южном берегу Сицилии.

С е н т - Д ж е й м с — аристократический квартал в Лондоне близ дворца того же имени.

С и н ь о р и я — дворец во Флоренции, в котором в Средние века заседал совет старейшин города.

С о у т и (1774—1843) — английский поэт «озерной школы». В молодости примыкал к идеям французской революции, но затем перешел в правый лагерь.

С п а г е т т и — длинные, тонкие итальянские макароны.

С п е н с е р У и л ь я м Р о б е р т (1769—1834) — английский поэт и переводчик.

С т е р н (1713—1768) — английский юморист, автор романов «Жизнь и убеждения Тристрама Шенди» и «Сентиментальное путешествие».

С у и н б е р н (1837—1909) — английский поэт-лирик и драматург.

Т е р м ы — у древних римлян общественные бани, обычно сочетавшиеся с библиотекой, парком для прогулок и гимнастических упражнений и т. п.

Т и б е р и й (14—37 н. э.) — римский император, пасынок и преемник Августа. Отличался крайней жестокостью и подозрительностью.

Т и м о н (ок. 320—230 до н. э.) — греческий философ-скептик и сатирический поэт.

Т и т Л и в и й (59 до н. э. — 7 н. э.) — историк, автор «Римской истории» в 142 книгах, из которых сохранилось 35.

Т и х о х о д ы — семейство неполнозубых млекопитающих. Конечности приспособлены для лазанья. Поэтому тихоходы всю жизнь проводят на деревьях.

Томас Джимми (род. 1875) — английский политический деятель, самый ярый сторонник сначала либеральной, а затем империалистической политики рабочей партии. Член «рабочего» правительства в 1924 г.

Торриджани (1470—1522) — флорентийский скульптор.

Трансепт — поперечный неф (см. с. 627) в церковных зданиях.

Траян (98—117) — римский император.

Трианон — название двух павильонов в версальском парке.

Трилобиты — ракообразные ископаемые, найденные в древнейших геологических наслоениях.

Триполитанский фронт — в 1911—1912 гг. Италия вела войну с Турцией из-за африканских владений последней и отторгла у нее Триполитанию.

Трувиль — французский город на берегу Ла-Манша. Модный курорт.

Тур — французский промышленный город, расположенный на реке Луаре. Музей древностей, скульптур, картинная галерея. Готический собор с двумя высокими башнями XII—XVI вв.

Уайтхолл — бывший дворец архиепископа Йоркского в Лондоне, построенный в XIII в.; место заключения и казни короля Карла I; теперь от здания остался только один зал, превращенный в часовню.

Уинкл — один из персонажей романа Диккенса «Записки Пиквикского клуба»; фат, претендующий на мастерство в различных видах спорта.

Уистлер (1834—1903) — английский живописец и гравер.

Уолпол Гарри (1717—1797) — английский писатель, автор известных писем и мемуаров.

У о р м в у д С к р э б з — тюрьма в Лондоне.

У ч е л л о (1396—1475) — флорентийский художник и резчик.

У э б б С и д н е й (1859—1947) — английский политический и общественный деятель, один из основателей фабианства. В 1924 г. был министром в «рабочем» правительстве.

Ф е о к р и т (III в. до н. э.) — древнегреческий поэт эпохи расцвета александрийской поэзии, автор идиллий, преимущественно буколик — сценок из пастушеской жизни.

Ф л а в и й (37 — год смерти неизвестен) — еврейский историк. В молодости был военачальником и участвовал в защите Иерусалима от римлян. Остальную жизнь провел при дворе римских императоров. Особенно известны его труды «О войне иудейской» и «Древности иудейские».

Ф л и т - с т р и т — улица в Лондоне, на которой сосредоточено большинство газетных и книжных издательств.

Ф р а н к е н ш т е й н (1797—1857) — молодой студент в одноименном романе писательницы Шелли. Он создал чудовище, наделенное жизнью и человеческими страстями; создание впоследствии жестоко мстит своему творцу, откуда переносное значение этого имени, когда говорится о том, кто гибнет от плодов своих же усилий.

Ф у к и д и д (ок. 460 — ум. ок. 399 до н. э.) — греческий историк, автор «Пелопоннесской войны».

Ф у к ь е - Т е н в и л ь (1747—1795) — деятель Великой французской революции. В эпоху террора — общественный обвинитель при революционном трибунале. При термидорианской реакции был казнен.

Х а й д - п а р к — большой парк в центральной части Лондона, излюбленное место политических митингов.

Х э н т Х о л м а н (1827—1910) — английский художник, один из основателей школы прерафаэлитов.

Челлини (1500—1571) — итальянский скульптор и золотых дел мастер эпохи Возрождения.

Честертон (1874—1936) — английский публицист и писатель, автор юмористических детективных романов.

Шартр — французский город на реке Эре. Собор XII—XIII вв. — один из красивейших во Франции.

Штирнер Макс (1806—1856) — немецкий философ, теоретик анархо-индивидуализма.

Шотт — солёное, полувысохшее озеро на алжирских плоскогорьях (арабск.).

Эвриклея — персонаж «Одиссеи» Гомера, рабыня отца Одиссея Лаерта и воспитательница Одиссеева сына Телемаха. Когда Одиссей в облике нищего вернулся после странствий домой, Эвриклея узнала его по рубцу на ноге и была его деятельной союзницей в борьбе с женихами.

Эксгибиционисты — люди, одержимые психопатологическим стремлением к совершению непристойностей на глазах у свидетелей.

Эон — период времени, охватывающий век или ряд веков, вечность.

Яникул — пологий живописный холм на правом берегу Тибра, составлявший один из пригородов Рима.

**ЗОЛОТОЙ ФОНД
МИРОВОЙ КЛАССИКИ**

В серии вышли:

Альбер Камю

**ПОСТОРОННИЙ. ЧУМА. ПАДЕНИЕ.
МИФ О СИЗИФЕ. ПЬЕСЫ.
ИЗ «ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК»**

Джером Клапка Джером

**ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ.
ТРОЕ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ.
КАК МЫ ПИСАЛИ РОМАН. РАССКАЗЫ**

Генрих Бёльз

**О САМОМ СЕБЕ. ГДЕ ТЫ БЫЛ, АДАМ?
РАССКАЗЫ. БИЛЬЯРД В ПОЛОВИНЕ ДЕСЯТОГО.
ГЛАЗАМИ КЛОУНА. ПИСЬМО МОИМ СЫНОВЬЯМ,
ИЛИ ЧЕТЫРЕ ВЕЛОСИПЕДА**

Редьярд Киплинг


**СТИХОТВОРЕНИЯ. КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ.
РАССКАЗЫ. СВЕТ ПОГАС. КИМ**

Марсель Пруст

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

Джон Гришэм

ФИРМА. КЛИЕНТ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА 
КАЖДАЯ ПЯТАЯ КНИГА РОССИИ

ПРИБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **буква**

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой»
или на сайте: shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве
и ближайшему Подмосковию:
Тел./факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете
на сайте: www.ozon.ru

Издательская группа АСТ www.ast.ru
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Информация по оптовым закупкам:
(495) 615-01-01, факс 615-51-10

E-mail: zakaz@ast.ru

МЫ ИЗДАЕМ  СТОЯЩИЕ КНИГИ

Литературно-художественное издание

Олдингтон Ричард
ВСЕ ЛЮДИ — ВРАГИ
Роман

Ведущий редактор *Е. Ю. Сидорок*
Технический редактор *Н. Н. Хотулева*
Корректоры *Н. В. Лин, Н. В. Миронова*
Компьютерный дизайн переплета *Е. А. Коляда*
Компьютерная верстка: *В. Е. Кудымов*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать 09.03.2011. Формат 84×108^{1/32}
Усл. печ. л. 33,6. Тираж 2000 экз. Заказ № 1111

ООО «Издательство АСТ»
141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

ООО «Издательство Астрель»
129085, Москва, пр-д Ольминского, д. 3а

Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Издательско-
полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78, 20-50-52
www.ippps.ru, e-mail: zakaz@ippps.ru

Ричард ОЛДИНГТОН

Ричард Олдингтон — «голос потерянного поколения» Британии, один из величайших англоязычных прозаиков первой половины XX столетия, блистательный стилист и гениальный «литературный нонконформист», добивавшийся в своих произведениях возрождения силы памфлетно-сатирической прозы XVIII века — и преуспевший в этом. Его проза — неистовая, жестокая, раскаленная — не может оставить равнодушным.

Самый яркий и жестокий роман в литературной истории английского «потерянного поколения».

История Антони — человека, для которого жизнь безжалостно разбита на две половины — «до войны» и «после».

«До» были чувства, надежды и иллюзии, вера и духовные искания — словом, все, что характерно для интеллигентного юноши привилегированного класса.

«После»... не осталось ничего, кроме горечи, разочарования и недоверия к людям.

Любовь? — Болезненная и плотская страсть.

Дружба? — Непонимание и взаимное одиночество.

Однако инстинкт самосохранения по-прежнему заставляет Антони искать в жизни какого-то смысла, какого-то наполнения...

www.ast.ru
www.elkniga.ru

ISBN 978-5-17-070633-4



9 785170 706334